

ПУТЬ СОЛЖЕНИЦЫНА
В КОНТЕКСТЕ
БОЛЬШОГО ВРЕМЕНИ

СБОРНИК ПАМЯТИ
1918–2008

Москва • Русский путь • 2009

УДК 929
ББК 83.3(2Рос)6
П 904

ISBN 978-5-85887-319-8

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Составление, подготовка текста, общая редакция
Л.И. Сараскиной

Оформление:
П.А. Сандомирский

© Авторы статей, 2009
© ГАММА / EAST NEWS, фотография, 1993
© Русский путь, 2009

В сборнике «Путь Солженицына в контексте Большого Времени:» сведены наиболее значимые материалы о событиях культуры и литературы, проходивших в Москве в связи с 90-летием А.И. Солженицына и в память о нем.

Сборник открывается стенографическим изложением круглого стола «XX век в творчестве А.И. Солженицына», который состоялся в рамках XXI Московской международной книжной выставки-ярмарки 4 сентября 2008 года, где с анализом творческого наследия Солженицына и его значения для современности выступили московские писатели, критики, филологи-литературоведы, представители Русской православной церкви, гости ярмарки.

Центральный раздел сборника посвящен Международной научной конференции «Путь А.И. Солженицына в контексте Большого Времени». Раздел открывается выступлениями официальных лиц, научной и культурной общественности на выставке «Александр Солженицын и его время в фотографиях» в Центральном выставочном зале «Манеж», где 4 декабря 2008 года состоялся прием участников и гостей конференции. Вечер на выставке, организованной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы, музеем «Московский Дом фотографии», Русским Общественным Фондом Александра Солженицына, стал, по слову директора Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинского, «прелюдией к серьезному, ответственному разговору на фактически первой международной конференции такого уровня в нашей стране, посвященной А.И. Солженицыну».

Вторая часть раздела – «Слово об Александре Солженицыне»: торжественное открытие конференции, состоявшееся 5 декабря в Российской государственной библиотеке, в Пашковом Доме, где прозвучали приветствия Президента РФ Д.А. Медведева, правительственных и общественных организаций, представителей российской науки, искусства, а также обращения зарубежных гостей, как присутствовавших на конференции лично, так и приславших на ее адрес свои выступления.

Третью часть составили научные доклады и сообщения, включенные в программу рабочих заседаний конференции 5 и 6 декабря 2008 года. В заседаниях приняли участие филологи, историки, философы, педагоги из

Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Воронежа, Саратова, Новосибирска, Благовещенска, а также ученые из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Румынии, Польши, Литвы, Японии, Индии. Отдельная сессия на конференции была посвящена проблемам преподавания творчества Солженицына в средних и высших учебных заведениях страны. Завершается эта часть выступлением Н.Д. Солженицыной, рассказавшей участникам конференции о ближних и дальних задачах по сохранению литературного наследия А.И. Солженицына.

В четвертую часть раздела включены присланные материалы, не вошедшие в программу конференции, – статьи, посвященные творчеству А.И. Солженицына, и публикации мемуарного характера.

Последний раздел сборника содержит стенографическое изложение выступлений, прозвучавших в годовщину кончины писателя, 3 августа 2009 года, в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.

Тексты докладов, сообщений и выступлений отечественных и зарубежных ученых даются в авторских редакциях и публикуются в той последовательности и на тех языках, как они были представлены на круглом столе и на конференции.

Л.И. Сараскина

XX ВЕК
В ТВОРЧЕСТВЕ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Ведущая — Л.И. Сараскина

Выступления: Н.Д. Солженицына, Р. Темпест, о. Петр Мецефинов, Б.Н. Любимов, А.Н. Варламов, С.В. Шешунова, А.С. Курбасов, Г.М. Щетинина, М.М. Голубков, А.С. Немзер, П.Е. Спиваковский, И.Н. Сухих, Ю.Л. Фидельгольц, П.В. Басинский

Л.И. Сараскина: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на круглом столе «XX век в творчестве А.И. Солженицына». Этот круглый стол готовился давно и входил в число мероприятий, которые намечались юбилейным оргкомитетом. Юбилейный оргкомитет начал работать в апреле 2008 года, еще при жизни Александра Исаевича, и планировал провести литературное собрание по самым живым, актуальным вопросам современности, которыми болел Солженицын. Но так получилось, что в процессе подготовки этого собрания Александр Исаевич ушел от нас. И поэтому все мероприятия вокруг 90-летия Солженицына приобретают ныне несколько иной оттенок — как мероприятия *памяти* Александра Исаевича Солженицына. Мы открываем наш круглый стол в новой ситуации, наступившей после недавней кончины А.И. Солженицына. В этой связи первой прошу выступить Наталию Дмитриевну Солженицыну.

Н.Д. Солженицына: Да, действительно, я не предполагала участвовать в круглом столе, мое участие и не было заявлено. В частности, потому, что *в той жизни*, пока был жив Александр Исаевич, у меня был практически один день в неделю, вторник, когда я его оставляла, а остальные дни я была с ним дома. И вот четверг, намеченный для этого круглого стола, не попал в мои возможности. Я думаю — не только я, но и каждый, кто здесь сидит, предпочел бы, чтобы такая возможность у меня не появилась.

Эта книжная выставка и вообще вся та деятельность, о которой сказала Людмила Ивановна, стала реальной потому, что к нам по своей инициативе обратилось (достаточно удивительно для нас с Александром Исаевичем, мы к этому не привыкли) Агентство по печати и

Круглый стол состоялся на XXI Московской международной книжной выставке-ярмарке 4 сентября 2008.

массовым коммуникациям. Их инициативе мы, в общем, обрадовались. Во-первых, потому, что поднять много серьезных мероприятий только своими силами нам было бы трудно. А во-вторых, потому, что еще прежде глава Агентства Михаил Вадимович Сеславинский несколько раз присылал Александру Исаевичу совершенно нестандартные поздравительные телеграммы, фактически — содержательные письма на телеграфных бланках. Александра Исаевича это поражало, удивляло, потому что он никогда не читал представителей власти, выражавшихся таким языком. Одна из последних телеграмм вызвала ответ Александра Исаевича, он написал письмо Михаилу Вадимовичу, в котором далеко вышел за рамки просто благодарности личной, а написал о том, что его в последнее время волновало. Вот если Михаил Вадимович захочет то письмо напечатать, он может считать, что разрешение сейчас получил.

Итак, хотя Александр Исаевич очень тосковал оттого, что наступают юбилей и с ним все эти тщетные и ненужные, как он считал, волнения и трата времени, но все-таки его утешало, что вот такой нестандартный человек стоит во главе Агентства, которое все это затевает.

Но организовать все намеченное совсем не просто. Конкретно этим занялся и продолжает заниматься заместитель Сеславинского Владимир Викторович Григорьев. Он еженедельно собирал рабочие встречи, в которых мы с Людмилой Ивановной и с Виктором Александровичем Москвиным участвовали, и, надо сказать, любовались, с какой непринужденностью и легкостью, даже весельем он эти заседания вел. Но все было внезапно прервано уходом Александра Исаевича. «Прервано» — неправильно сказать, работа, очевидно, будет продолжаться. Но вот случился его уход, и то же Агентство, в обязанности которого это абсолютно не входит, и даже не Агентство, а вот эти два человека взяли на себя помощь в организации прощания и похорон.

И конечно, участвовала Москва, мэр Москвы, участвовала Академия наук и ГАИ, которая позволила кортежу проехать по застывшей Москве. Этот последний путь был ничем не нарушен. И священноначалие наше тоже проявило дружелюбие, в частности, священноначалие Донского монастыря, в некрополе которого похоронили Александра Исаевича... Это не забывается, помощь в такие моменты. И я вообще хотела бы обнять каждого, кто ощутил уход Александра Исаевича как свою личную утрату. Наверное, ко всем, кто сюда пришел, это относится.

Я действительно никакого доклада не готовила, но сейчас такие идут дни, они начались с уходом Александра Исаевича, когда неизбежно думаешь о том, что им оставлено, и какова память о нем, и каковы клише, которые живут упрямо. Скажу лишь о двух.

«Бодался теленок с дубом» — русская пословица, которую Александр Исаевич избрал в название своих «Очерков литературной жизни» в Советском Союзе, «Теленок» в просторечии. Вот это словосочетание, «бодался теленок с дубом», — уже привычно клишировано и употребляется по обе стороны бывшего железного занавеса только в одном значении: что, мол, ничего себе теленок, вот он дуб поборо! Только так и употребляется. Ну, в самом ли деле это так и в какой степени Солженицыну удалось побороть систему, этим будут заниматься историки литературы, общества, историки государства. Меня же тут занимает совсем другое.

В интерпретации друзей Александра Исаевича «бодался теленок с дубом» звучит как победный ликующий рог. В интерпретации его оппонентов — как хвастовство. А ни то ни другое — неверно. Ведь во второй половине 60-х годов, когда Солженицын выбрал это название, схватка была в разгаре, и даже еще не в разгаре, еще впереди было много боев и совершенно нельзя было предвидеть, чем кончится, предположить, что Дуб хоть чуть-чуть треснет, не то что надломится. Только в середине 70-х у Александра Исаевича появились какие-то сверхчувственные впечатления, что он, может быть, живым вернется в Россию. Но тогда Дуб стоял несокрушимо, а Теленок в своем бодании тоже не уступал и готов был погибнуть. И вот я свидетельствую, что выбор Александром Исаевичем этой прекрасной, ироничной, но и горькой пословицы знаменовал неотклонимость его собственного жизненного выбора, а вовсе не победный клич. (Другое дело, что верность избранному пути была, видимо, оценена Судьбой.)

Конечно, с годами менялся Теленок, отчасти менялся и Дуб, как внешний вид его, так и содержательное наполнение, — и оттого менялись и приемы их схватки. Наверное, можно написать целую работу, и достаточно увлекательную, о том, как преобразовывались эти три слова в судьбе Солженицына и в судьбе страны от 60-х годов до последнего времени, когда, как мы знаем, Теленок бодался так или иначе до самого конца. Это — первое, что мне хотелось сказать.

А второе, гораздо более важное в связи с боданием Теленка с Дубом, — это явная недооценка достаточно успешных действий Дуба. Эти действия были упорны, последовательны и не прекращались много лет. И Дуб, я считаю, очень преуспел. В первую очередь, он сыграл большую и тяжелую роль в литературной судьбе писателя Солженицына. Вокруг имени Солженицына шум был всегда, с разным знаком, но всегда. И этот шум вызывал и по сей день вызывает аберрацию у людей, которым кажется, что они Солженицына знают, читали. На самом деле по просторам огромной страны люди были же-

стко отсечены от его книг, просто не имели физической возможности читать Солженицына. Ну, «Один день Ивана Денисовича» в свое время прочли, да и того из библиотек изъяли, а все последующее — хорошо, если названия слышали. А разрешили Солженицына уже на излете перестройки, в самом конце. Его вернули позже всех, позже всего того, от чего нас раньше отлучали, позже Булгакова, Платонова, Бердяева, ну всего, всего. И когда в вихре новой жизни, информационных ливней, телевизионных съездов появились книги Солженицына — многим казалось, что все это они уже слышали, знают. И даже «Архипелаг...» — книга по-настоящему не прочтенная. Или прочтенная как политическая сенсация, но не как великая литература. А уж что говорить о «Красном Колесе»? Так что преуспел Дуб, в том преуспел, чтобы Солженицын и его читатели во времени разминулись. Это несомненно.

Конечно, выносить суждения о том, что удалось Солженицыну при жизни, что не удалось, — это не моя задача. Это вообще не дело близких, не дело семьи. Мое дело — донести до читающей общественности все, что еще не было опубликовано, или последние редакции прежде опубликованного, а уж судить будете вы.

Но еще одно клише, которое стоило бы упомянуть. Также повсеместно считается, что Солженицын был гениальный или по меньшей мере выдающийся тактик. Что у него было такое высокое чувство *timing'a* — талант правильного определения времени: когда нанести удар, как нанести удар, по кому нанести удар, какой силы нанести удар. А я бы хотела это до некоторой степени оспорить — на правах человека, который сорок лет принимал участие в его тактических решениях. Я думаю, что Александр Исаевич обладал адекватной способностью выбирать тактические шаги — как и всякий умный человек, чей ум к тому же дисциплинирован математикой. Как умный человек, который вынужден принимать решения в трудные моменты жизни и умеет правильно расставить приоритеты. Не более того. Я могла бы немало привести примеров, когда Александр Исаевич принимал тактически невыгодные решения, ясно понимал это — и все-таки их принимал. Это было потому, что все важное в его жизни было подчинено не тактике, а стратегии. Вот стратег, мне кажется, он был действительно великий. И если свести все к одной фразе, то я бы сказала, его стратегия была — «одно слово правды весь мир перетянет». Это, конечно, — идеализм, это, конечно, может казаться наивным, но такова была его стратегия. И в пользу ей он принимал иногда решения тактически проигрышные.

Мне представляется, что каждый из тех, кто пришел сегодня сюда, во всяком случае всякий, кто занимается Солженицыным, может до-

вольно много сделать для преодоления, для низведения тех побед, которые числятся на счету Дуба. Это будет справедливо к Теленку, но главное — нужно всем нам. Я думаю, что наша страна — в тех колдобинах, по которым все еще скачет, в тех изломах, в которых бьется, в том нравственном почти одичании, в которое погружается, — нуждается в слове и мысли Солженицына. Лично я, сверх публикации его наследия, ставлю себе задачей способствовать тому, чтобы слово его было в самом деле услышано. И каждый, кто может работать в этом направлении, будет делать доброе дело — не для того, чтобы имя Солженицына вошло в пантеон, ему, наверное, то или иное место там уже обеспечено, а вот просто для нашей настрадавшейся страны.

Спасибо.

Л.И. Сараскина: Спасибо, Наталия Дмитриевна! Вы дали мне возможность сказать то, о чем я как-то стеснялась говорить, начиная круглый стол. Действительно, последние полтора десятилетия, обретаясь в кругу литераторов и гуманитариев, я обнаружила, что заниматься Солженицыным — это значит порой идти на конфликт, а то и на разрыв с кем-то, с кем ты дружил, сотрудничал, контактировал. Почему? Потому что Солженицын всем нам болит. Он болит стране и сегодня, и будет болеть еще очень долго. Это обнаружилось и в самые последние, уже траурные дни, когда мне пришлось отвечать на вопросы, присланные в агентство «Lenta.ru». Вопросы (их оказалось более шестидесяти без учета повторяющихся) были жесткие, дерзкие, резкие, порой ненавистные по отношению к герою обсуждения. Но все в совокупности они означали, что Солженицын — это не архив, не музей, не депозитарий, не склад или камера хранения, а абсолютно живое явление, живая боль. И сегодняшний круглый стол, который тоже, кстати, предложен был Федеральным агентством, как раз и дает возможность обозначить многие болевые точки сегодняшнего дня. Я уверена, что, доживи Александр Исаевич до юбилейных дней, материалы этого круглого стола он читал бы с огромным волнением и интересом. Чтобы не затягивать свое вступительное слово, я обозначу тот круг вопросов, которые, надеюсь, мы сегодня рассмотрим.

1. Различное понимание итогов XX века, когда за основу берется либо уважение к прошлому, либо отвращение к нему, и сегодня разделяет российское общество. Политики, общественные деятели, историки призывают либо возненавидеть свое прошлое, либо возлюбить его, либо хотя бы понять его. Интерпретация уроков истории русского XX века, оценки знаковых его эпизодов формируют идеологии политических партий. На построениях философии истории строится национальное сознание. У нас по-прежнему работает старая марк-

систская схема об истории как о политике, опрокинутой в прошлое, об истории, писать о которой достается победителю. Но кто у нас победил сейчас? Вот круг проблем, о которых мы сегодня поговорим.

2. Солженицын свою роль писателя понимал так: «Я хочу вернуть России ее память». Он хотел быть «памятью народа, который постигла большая беда». И он не хотел находиться в плену иллюзорных сравнений и сопоставлений. «Я прошу, — писал он 20 лет назад, — чтобы вы все время имели в виду, что после Толстого и Достоевского вырыта в русской истории бездна. Мы пришли в XX век в условиях жизни как бы другой планеты. Сознание нашего народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с XIX веком и параллели с XX веком становятся трудными, их очень осторожно надо проводить. Бездна, вырытая в русской истории и разъединившая две эпохи, — это не локальная, пусть даже и огромная, яма, а это геологический разлом, прошедший через всю жизнь и требующий пересмотра всех духовных ценностей и всех координат бытия».

3. Третий пункт нашего обсуждения. Фактор бездны, о которой говорил всегда Солженицын, сопоставляя XX и XIX век, заставляет по-иному видеть самые трагические, самые больные точки XIX века. И все читатели «Архипелага ГУЛАГ» прекрасно помнят ту выстроенную подборку сопоставлений XIX и XX века в аспекте гуманизма, так сказать. Вот он пишет: «Семь раз покушались на самого Александра II, и что же? Разорил и сослал он пол-Петербурга, как было после Кирова? Применил профилактически массовый террор, сплошной террор, как в 18 году? Взял заложников? Такого и понятия не было. Посадил сомнительных? Да как это можно! Тысячи казнили? Казнили пять человек, не осудили за это время и 300. А если бы одно такое покушение было на Сталина? Во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось?» Это — вопросы Солженицына, которых очень много в «Архипелаге...» и в других его текстах.

И вот сопоставление того колоссального разлома, того различия между XX и XIX веком было лейтмотивом публицистики и художественного творчества Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное Колесо» полны фактов неслыханного по меркам XX века либерализма царского времени. Мягкость царского режима сформировала политические взгляды писателей-классиков, повлияла на их нравственно-историческое чувство, при этом пресловутый воздух свободы был уже непоправимо отравлен. Солженицын утверждал: царизм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, а гораздо раньше. «Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городского хотя бы с долей симпатии есть черносотенное подхалимство. Когда

не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, но только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казалось уже позором». Потому-то, — считал Солженицын, — у Толстого, Достоевского, Чехова и сложились убеждения, будто не нужна политическая свобода, а только моральное совершенствование. Не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Ясная Поляна при Толстом была открытым клубом мысли. «А оцепили б ее в блокаду, как квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя! А прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу! Запросил бы тогда и Толстой политической свободы». И в самое страшное время сталинского террора либеральная газета «Русь» на первой странице без помех печатала крупно фрагменты из толстовского «Не могу молчать» — о 20 казнях в Херсоне. И Толстой рыдал и говорил, что жить невозможно, что ничего нельзя представить себе ужаснее. Солженицын в «Архипелаге...» показал, насколько все может быть ужаснее и непредставимее...

4. Человеку XX века век XIX представляется золотым по благополучию и вегетарианству. Но Пушкин назвал свой век «жестоким», Баратынский «железным». Вслед за обоими поэтами эти эпитеты повторил Блок, добавив определения «ужасающий», «погребальный», «вампирический», «жалкий», «трижды проклятый». На всем протяжении XIX столетия в России и Европе раздавались голоса, предупреждавшие о шаткости такого мирового порядка, который обещает бесконечный путь развития. В начале XX века вместо торжества прогресса разразилась мировая катастрофа. Солженицын по этому поводу пишет: «Наша революция была частным проявлением мирового процесса, так же как и французская революция. Французская революция конца XVIII века была первый сигнал человечеству. Русская революция XX века — второй сигнал. Очевидно, мы должны были вследствие духовных потерь XVIII и XIX века пройти через ад XX века».

5. Смысл русского XX века Солженицын формулирует как расплату, которая была предъявлена историей за революционные увлечения и либеральные заблуждения. Он пишет: «Я многие годы страдал, ну что за такая несчастная судьба у России? И я понял, значит, вот это и есть узкие, страшно тяжкие ворота, через которые мир должен пройти. Просто Россия прошла первая. Мы все должны протиснуться через этот ужас». Солженицын говорит о перерождении гуманизма в XX веке, того рационалистического гуманизма, которому раньше удавалось смягчать зло и жестокость. Однако в XX веке, пишет он, дважды взорвались котлы запредельной жестокости. И тогда возникает вопрос, можно ли действительно измерять зло истории одной меркой. Или тут как раз тот случай, когда запредельность жестокос-

ти, обширность катастрофы, массовость ее участников и безмерность жертв, то есть общая сумма зла, придает истории XX века некое новое качество. То есть условия жизни как бы другой планеты, о которых пишет Солженицын.

6. Пункт шестой, самый, на мой взгляд, тяжелый. По Солженицыну, на XX веке лежит неизмеримо большая вина за катастрофы истории. Солженицын-историк пишет о народе, который не оправдал, подчеркиваю, не оправдал звания богоносца и добровольно сочетался с коммунизмом. Это тяжелейшее обвинение, которое мы должны осмыслить. Он пишет: «Надо понять, что после всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе семнадцатого года. Наши деды и отцы, втыкая штык в землю, во время смертной войны дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, уже сделали выбор за нас пока на одно столетие, а то смотри, и на два». Приходится признать следующий тяжелейший вывод Солженицына, что весь XX век жестоко проигран нашей страной. Достижения, о которых мы трубили, они все — мнимые. Это слышать трудно, на пределе возможности, и тем не менее, в это надо вслушаться, это надо понять нам и осмыслить. Мы сидим на разорище — вот вывод Солженицына. И в другом месте: «Не уклонимся осознать и страшнее. Русский народ в целом потерпел в долготе XX века историческое поражение, и духовное, и материальное». Это — вывод, исполненный мужества и, как это ни парадоксально, патриотизма! Рамки такого патриотизма нам надо осознать, потому что у нас ура-патриотизм никогда не признает, что мы в поражении, что мы проиграли, что потерпели крах, что мы сидим на разорище. Но патриотизм Солженицына иного склада.

7. И последний пункт. Тоже крайне тяжелый, особенно если учесть восторженные настроения к якобы наметившемуся у нас религиозному ренессансу. Сопоставим эти настроения с предчувствиями людей конца XIX — начала XX века, они хорошо знакомы Солженицыну. «Перед революцией вера в России испарилась из кругов образованных. И повреждена была вера в необразованных», — утверждает он. «Однако изнутри времени утрата веры ощущалась намного болезненнее. Вера испарилась не перед революцией, а много раньше. Мир на глазах людей XIX века делался неспособным к христианству и заявлял об этом громко, не чувствуя раскаяния. Безбожие становилось нормой для образованного человека уже в середине XIX века». Солженицын пишет, что интеллигенция (Чехов это фиксирует в самом начале века) от нечего делать только играла в религию, на самом деле уходя от нее все дальше и дальше. И вот примечание Солженицына: «Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, мир еще не знал прежде».

Значит, бездна возникла не в XX веке, вот та самая бездна, о которой предупреждал Солженицын. Ее усиленно рыли весь XIX век. И Солженицын — один из немногих, я бы так сказала, чуть ли не единственный современный исторический писатель, кто не доверяет политически удобной, но ложной мифологии, будто Россия достигла пика своего развития в 1914 году, когда Церковь и государство были якобы вместе, а царь, армия и народ были якобы православными. Солженицын жестко говорит: в XIX благополучном веке на самом деле подготавливалось падение человечества, которое созревало в XIX веке. В 1914 году разразилась катастрофа, которая не кончилась и сегодня. Весь XIX век Европа шла к этому. Шла к этому утерей высших мерок жизни и, так сказать, отдаваясь благам и материальному процветанию. Она подготавливала весь XIX век эту войну, а в начале XX века Европа уже катилась в бездну. Вот сейчас, в эти траурные дни, а так получилось, что на следующий день после похорон Александра Исаевича, после 6 августа, начался грузино-осетинский конфликт, и не было такой газеты, не было такой телекомпании, не было такого радио, которое бы не спрашивало, как же это так произошло, буквально на следующий день это случилось. Как бы к этому относился Солженицын, что бы он сказал? Есть, наверное, какие-то рабочие ответы. Мы их услышим.

Вот круг вопросов, который обозначен в программе, — она есть у каждого из вас. Мы и будем их обсуждать. Я приветствую здесь специалистов по творчеству Солженицына. Это молодая, становящаяся наука, солженицыноведов пока не так много. Я приветствую литераторов, критиков, публицистов, священников, которые дали свое согласие участвовать в круглом столе. Я уверена, что каждый, кто будет выступать, так или иначе затронет тот или иной аспект программы. Я надеюсь, мы справимся.

Поэтому приглашаю того, кто отважится выступить первым. Пожалуйста, Ричард Темпест. Я хочу представить вам профессора Иллинойского университета Ричарда Темпеста, специалиста по творчеству Солженицына. В 2007 году Ричард Темпест был организатором конференции в университете штата Иллинойс, и некоторые из нас были ее участниками.

Р. Темпест: Спасибо, Людмила Ивановна! Я хочу рассказать о том, что меня привлекает как исследователя и как читателя в Александре Солженицыне, и, может быть, найти связь с некоторыми из тем, о которых говорили Наталия Дмитриевна Солженицына и Людмила Ивановна Сараскина.

Меня всегда интересовала причина, почему Александр Исаевич так любил Набокова, говорил о нем хорошие слова и даже выдвинул на Нобелевскую премию по литературе. Ведь художественные миры, ими созданные, принадлежат двум различным культурным вселенным и подчиняются различным законам.

Для Набокова литература — это изящная игра писателя с читателем. Или даже писателя с филологом, причастие которого к литературному тексту в него уже заранее вписано. Набоковский нарратив — это ребус или кроссворд, искусно сконструированная совокупность смыслов и подтекстов, маленькая энциклопедия культурных аллюзий и ссылок, причем на всем своем протяжении исполненная игровых моментов. Каждый роман Набокова — это приглашение на филологическую расшифровку. Приглашение на козни! Солженицынская же поэзия, драма и проза имеют просветительно-нравственную функцию как нерукотворные памятники, часто надгробные, человеческому страданию.

Но когда я начал серьезно заниматься Солженицыным, то оказалось, что в его художественных текстах тоже присутствуют элементы игры, причем игры по-набоковски деликатной, разветвленной, тайнописной. Я пришел к заключению, что, может быть, этот аспект его творчества не все читатели уловили и не все исследователи отдали ему должное. Так что я хочу сказать несколько слов о том, каким остроумным писателем Солженицын был. Остроумным не только в открытом, риторическом, ораторском измерении, как, скажем, в «Архипелаге ГУЛАГ» или в публицистических работах, где он обливает злодеев прошлого потоками божественного сарказма, но и в некоем подспудном, художественно закодированном измерении.

И если опять процитировать книгу Александра Исаевича «Бодался теленок с дубом» и повторить, что дуб — это метафора, о которой говорила Наталия Дмитриевна, то теперь, безусловно, дуб повержен, но остались дубины и дубинки, даже какие-то дубцы и поддубки, которые нападают на Солженицына. Не критикуют, не полемизируют, а именно нападают, атакуя его *ad hominem*, обвиняя в разных политических грехах и преступлениях и, самое печальное, отрицая художественные достоинства его текстов. Солженицына можно и, наверное, даже нужно критиковать. Для меня его публицистические статьи и книги диалогичны — это именно посильные соображения, а не проповеди или диатрибы. А его литературные тексты тем более. Но очень часто, к сожалению, его оппоненты не учитывают тонкой, изящной стороны его творчества, пускаясь вместо этого в кустарные разборки, написанные деревянным языком. В конце концов, вряд ли кто-то из здесь присутствующих согласен с политическими взглядами

Эзры Паунда или Владимира Маяковского, поэтов, эстетически опытных тоталитарными утопиями своей эпохи, но отрицать их художественный талант было бы нелепо. Тот же принцип приложим и к Солженицыну, но с той поправкой, что он был противником всех тоталитаризмов XX века.

Сегодня я хочу дать несколько примеров художественного мастерства Солженицына, которые, может быть, будут вам интересны.

Возьмем «Один день Ивана Денисовича». В самом начале главный персонаж приходит в санчасть, с тем чтобы отпроситься с работы, поскольку с утра он прихворнул. Там, сняв шапку, «как перед начальством», он разговаривает с юным фельдшером Колей Вдовушкиным, который в этот момент пишет или, вернее, переписывает стихи собственного сочинения. Вдовушкин не дает Ивану Денисовичу отписное, не разрешает ему остаться в бараке, где он мог бы отдохнуть и восстановить силы. Парой страниц позже мы узнаем, что лагерный врач приютил Вдовушкина в санчасти, чтобы дать ему возможность дописать то, что он не смог написать на свободе. И я подумал, почему Вдовушкин, такая смешная фамилия? У Александра Исаевича очень часто фамилия персонажа нест в себе конкретный смысл. Его тексты полны именами говорящими (угловатый, непреклонный Костоготов в «Раковом корпусе»; стремящийся *вернуться* на исторический поединок с мировой революцией Воротынцев в «Красном Колесе»), поющими (возлюбленная Воротынцева Ольга Андозерская), рычащими (надзиратель Волковой в «Одном дне...») и даже шипящими (эмвэдэшники Мишин и Шикин в «Круге первом»).

В фамилии Вдовушкин, кажется, присутствует созвучие с Макаром Девоушкиным. Конкретной смысловой связи с героем «Бедных людей» я не нашел, и это, возможно, моя неудача. Но тут я вспомнил Набокова. Имена его героев (Цинциннат, Адам Круг, Долорес Хейз) представляют собой зашифрованные объяснения или сообщения, и я подумал, а почему бы не посмотреть на то, как он бы обыграл эту фамилию?

Набоков обыграл бы так, что если персонажа зовут Вдовушкин, то он именно вдовец, причем вдовец тайный, вдовец закодированный. Тогда возникает вопрос, кто же умершая жена этого вдовца. Наверное — одна из муз. И можно даже понять какая. Или Каллиопа, или Эвтерпа, или Эрато, богини эпической, лирической и любовной поэзии соответственно. В таком прочтении наш Коля Вдовушкин предстает довольно зловещей фигурой. Графоманы — явление в России распространенное, видимо, из-за традиционного примата литературы в русском обществе. Как тип патологической одержимости круглосуточное, фанатическое сочинительство, наверное, не самая

страшная из культурных болезней. Но если Вдовушкин – графоман, то он графоман *гулагский*. Он сидит у себя в лазарете, на теплом, чистом месте, и сочиняет свои, скорее всего, никчемные стихи – в то время как люди вокруг него доходят на общих работах, мучаются в карцере. Он пишет, и пишет бесталанно, за счет страданий других. Он – эстетический преступник, не ведающий, что творит.

Сколько пластов трагических смыслов содержит эта забавная на первый взгляд фамилия!

Семантически насыщенные ономастиконы Набокова и Солженицына – одна параллель. А вот другая, связанная с систематическими познаниями двух писателей в определенной научной области. Набоков, как известно, был выдающимся лепидоптеристом, и бабочки разных видов и форм порхают во многих его романах. Солженицын же преподавал в школе астрономию, и его произведения, от поэмы «Дороженька» до самых последних, полны описаний и упоминаний звезд и созвездий, которые несут заданную художественную функцию.

В заключение позволю себе сказать следующее. Наша задача как исследователей творчества Солженицына должна состоять и в том, чтобы указывать литературной аудитории, подсказывать ей, что он не только вития, не только (как часто и не совсем правильно говорят) пророк, не только публицист, но в первую очередь художник. Художник изобретательный, даже изошренный, шепотом, под поверхностью текста рассыпающий намеки и юморески и местами понабоковски играющий с читателем. Этими подспудными смысловыми и эстетическими приемами, доступными читателю вдумчивому, Солженицын приглашает его замедлить чтение, вдуматься в текст, яснее воспринять печальные истины, которые он содержит.

Потому что, в конце концов, для меня Александр Исаевич в первую очередь – писатель. Я очень уважаю и ценю его статьи и эссе, но думаю, все сидящие в этом зале согласятся, что сегодня мы его приветствуем и вспоминаем как создателя прекрасных литературных произведений.

Л.И. Сараскина: Спасибо большое, профессор Темпест!

Я хочу предоставить слово отцу Петру Мещеринову. Нам с ним повезло вместе побывать в Римини, там совсем недавно в рамках ежегодного христианского фестиваля проходила выставка, посвященная Солженицыну. Отец Петр был свидетелем того колоссального успеха, который она имела, того огромного внимания, которое молодая Европа, Италия в первую очередь, проявляет к Солженицыну. Мы ходили по выставке с отцом Петром и с отцом Иоасафом Полуяновым и едва не плакали, почему это все происходит не у нас.

Там состоялась презентация моей жэзээлской книги о Солженицыне, в зале на 800 человек, и он был переполнен. А выставку посещали ежедневно три тысячи человек и больше. В это не верилось, казалось невозможным. Но это так и было. Пожалуйста, отец Петр!

О. Петр Мещерин: Спасибо за приглашение на этот круглый стол! Да, это так и было. За несколько дней христианский форум в Римини посетили миллион человек — это подсчитали аппараты. Я бы хотел вернуться к тем темам, которые Людмила Ивановна озвучила. А Наталия Дмитриевна задала лейтмотив дуба. Вот предыдущий выступающий сказал, что дуб рухнул, остались дубины и щепки. У меня несколько иное мнение — что дуб никуда не делся, просто он видоизменился, мимикрировал, и любой честный человек продолжает с ним бодаться, пусть даже внутренне.

Мне хотелось бы отметить очень кратко несколько важных для меня вещей, исходящих из оценки XX века Александром Исаевичем Солженицыным.

Первый фактор, вообще, в наше время, я считаю, уникальный — что Александр Исаевич исходил в оценке истории из нравственного и религиозного начала. Я не буду приводить цитаты — думаю, они всем известны. Во всяком случае, свое упование о возрождении России Солженицын возлагал на Бога. Он писал, что, «кто за жизнь свою уже убеждался в правоте и могуществе высшей силы над нами, тот поверит, что и после прокатного по нам столетия есть у русских надежда, не отнята». Исходя из этого нравственного и религиозного импульса, Солженицын предложил в качестве вектора главного развития страны сбережение народа — и в самой численности его, и в физическом и нравственном здоровье. Он считал это высшей из всех государственных задач. Несомненно, это нравственный импульс. И само наличие его не только в художественном, в писательском, но и в общественном пространстве в лице Александра Исаевича было чрезвычайно важно — потому что, если бы его не было, было бы, на мой взгляд, совсем тоскливенько.

Можно ли говорить сегодня о том, что великая русская катастрофа, этот самый дуб, рухнул, катастрофа миновала? На мой взгляд, такое утверждение было бы неоправданно оптимистично. Конечно, в материальном плане жизнь людей стала лучше. Но это произошло не за счет развития страны, а за счет высоких цен на нефть, когда всем немножко от них перепало. Конечно, укрепилась государственность, но не за счет социальной ответственности и не за счет права и закона, а за счет совсем других вещей. Действительно, через народ сейчас в меньшей степени пропускается «шоковый электрический ток», как

говорил Солженицын, но ток бескультурия, ток повсеместного «опосения» (от слова «попса»), стадного навязывания гламура, наоборот, набирает обороты. И с точки зрения тех самых нравственно-религиозных категорий, с позиции которых рассуждал Солженицын, та трагедия, которая началась в семнадцатом году, не исчерпала себя до настоящего времени. Дух зла, тот самый дуб, который овладел нашим отечеством, никуда не делся, он мимикрирует, он видоизменяется. В моменты смены ракурса мы начинаем радоваться и думать, что «ну, вдруг», «ну, наконец», «ну, наладится». Но проходит какое-то время, и оказывается, что все остается на своих местах. А это место, главная характеристика этого дуба — это абсолютное нечеловеколюбие, неуважение к человеку.

В своей Кавендишской речи Александр Исаевич говорил про коммунизм, про то, что русский народ страдает от него уже 60 лет, и мечтает излечиться, и наступит когда-нибудь день — излечится он от этой болезни. Вот здесь я должен признаться, что с годами эта надежда Александра Исаевича становится для меня все более и более дискуссионной. Долгое время я сам думал так же и надеялся на это. Но в последнее время я убеждаюсь, что народ вовсе не мечтает излечиться. Народ хотел совсем другого, народ хотел потребительской жизни, культивируемой в 90-е годы в верхах общества, а сейчас вылившейся в более широкие слои. И коммунизм, сбросив с себя идейную оболочку, никуда не делся, потому что безбожие, ложь, стадность, бескультурие и нечеловеколюбие остались. И то, о чем Людмила Ивановна сказала, — что Александр Исаевич писал, что коммунизм стал органичным нашему народу — к сожалению, верно. Это заставляет меня сделать неутешительный вывод, что после проигранного столетия у России на данный момент нет надежды на возрождение. Ну это, разумеется, моя субъективная точка зрения.

Но что же — значит, Солженицын ошибся в своей надежде? Я бы так не ставил вопрос, потому что бывает, что один человек прав, а народ ошибается. И в истории Церкви это очень хорошо видно. Были в ней несколько моментов, например, когда Максим Исповедник и папа Мартин вдвоем выражали вселенскую истину Церкви, а вся остальная Церковь отпала в заблуждение. Александр Исаевич как раз был прав в своем нравственном импульсе, в своей надежде; но, к сожалению, изломанная народная жизнь до этого уровня подняться не смогла.

И тут я перехожу к вопросам, несколько касающимся — скажу несколько самонадеянно — моей компетенции. Неверно было бы останавливаться только на констатации этого факта. Нужно ответить на вопрос, почему так произошло. И коль скоро сам Александр Исаевич

дал мне в руки метод религиозно-нравственный, то, исходя из религиозно-нравственного начала, я и попытаюсь ответить на данный вопрос.

В пятой главе Книги пророка Даниила повествуется, как на пиру царя Валтасара «вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала... И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано мидянам и персам» (Дан. 5: 5, 25–28). По контексту Священного Писания это случилось тогда, когда царь Валтасар преступил определенные нравственно-религиозные границы. То, что я скажу дальше, является моим субъективным, очень индивидуальным ощущением, но я поделюсь им с вами. Мне чувствуется, что как раз сегодня Россия взваливается на эти ужасные, роковые, судьбоносные Божьи весы и идет процесс взвешивания нашей страны. И показания этих весов уже никто не может изменить. И в процессе этого взвешивания, боюсь – такое вот мое чувство, – Россия оказывается перед Богом слишком легкой. Со всеми вытекающими последствиями.

Но нельзя в этом видеть какую-то судьбу или фатум, потому что православное христианство не знает никаких «роковых вещей». Православие утверждает, что все строится из взаимоотношений Бога и человека. Не так просто отняты у народа его духовные силы, а вот по какой причине, о которой говорил другой ветхозаветный пророк – пророк Исайя: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Евангельская правда заставляет сделать вывод, что наш народ (а народ – это власть и большинство общества – власть в данном случае не отделена от народа; отделять власть от народа некорректно) не сделал нравственных выводов из своего прошлого. «Одно слово правды весь мир перетянет», но это слово правды не было произнесено и не было воспринято.

Один пример. Вот выпускается новый учебник по истории, в котором Сталин назван успешным менеджером, а репрессии – хоть и не одобряемым, но необходимым этапом развития страны. Это прямо свидетельствует об отсутствии моральной оценки. И таких примеров можно привести сотни.

Я уже заканчиваю, и вот каким положением: это не повод к пессимизму. Выход из тупика 90-х мне видится в том, что никто из нас сегодня не лишен возможности называть вещи своими именами и внутренне противиться духу лжи и нечеловеколюбия. Вот с чего и начи-

нается то покаяние, то осознание, которого у нас в народе не произошло. Только нужно осознать, что эта возможность ушла из сферы общественной в сферу частной жизни. И здесь как раз уроки Солженицына, его оценка XX века и сам его образ — теленка, бодающегося с дубом, — для нас очень важны. Это прекрасный образец того, как нравственная личность идет против течения, против господствующего духа жизни, уклоняющегося с путей истины. Может быть, наступит такой момент, когда частные личности, осознавшие и принявшие слово правды, составят какую-то критическую массу, которая может повлиять на общество. Лично я в это мало верю. Но даже если этого и не произойдет, даже если правдивая, религиозно-нравственная оценка, пример которой дал нам Солженицын, останется достоянием лишь частных людей, то это уже с точки зрения христианства будет большая победа и достижение. И подвиг жизни и творчества писателя от этого нисколько не умалится, но всегда будет воодушевлять ищущего правды человека. Спасибо за внимание!

Л.И. Сараскина: Спасибо большое, отец Петр! Отец Петр — выдающийся полемист. Я могла в этом убедиться в Римини за десять дней нашего интенсивного общения. Отец Петр, приглашаю Вас участвовать в дискуссии, если таковая случится.

Отец Петр сказал вещи болезненные, с которыми не хочется сразу соглашаться. И мне кажется, в зале есть человек, который захочет ему возразить. Я приглашаю Бориса Николаевича Любимова.

Б.Н. Любимов: Я невольно оказался в положении человека, который заведомо должен спорить с отцом Петром. Конечно, не со всем, что было сейчас сказано, я готов согласиться. Солженицын — великий писатель или великий публицист? Или великий историк? Для меня здесь нет противопоставления. Александр Исаевич был великая, вероятно, в XX веке — величайшая личность. Он мог избрать и другой путь. Я думаю, что, если бы он с той же силой и энергией, с которой он занимался литературой, посвятил бы свою жизнь своему, так сказать, первоначальному призванию — математическому, — он бы и здесь добился бы немалых успехов. Мне почему-то кажется, что он был бы блестящий офицер. Когда я читаю его поздние произведения, посвященные войне, тоже у нас непрочитанные и просмотренные, я по-прежнему вижу в нем писателя, которому рука не изменила в 90-е годы. Но я вижу в нем человека, который был бы, и был наверняка, замечательным командиром. Но он стал великим писателем, великим историком, крупнейшим в XX веке, и лучшим в XX веке публицистом.

Самое значительное, что им сделано, — это «Красное Колесо». Самая выдающаяся вершина в этом «Красном Колесе» — это «Март Семнадцатого», сплав великой литературы, замечательного языка, глубокого исторического, историософского мышления и блистательной публицистики.

За месяц, что прошел после кончины Александра Исаевича, начинаешь понимать, что начался не календарный, настоящий XXI век и в истории литературы, и в истории культуры, а как выяснилось теперь, и в мировой истории. Понимаешь, что немало значительного Александр Исаевич сказал, уже успел сказать и про XXI век. И мне кажется, что мы, останавливаясь только на книге «Бодался теленок с дубом», не заметили и другой книги и тоже ее не прочитали (уж ее-то тем более не прочитали) — «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Между *двух* жерновов, отец Петр. Да, дуб-то дуб... Но все те тяжелые реалии российской современной жизни, о которых Вы говорили, не противоречат и тому, что писал Александр Исаевич. Но то, каким он вышел (наш народ и мы, не отделяя себя от этого народа) в 90-е годы... Весь ужас заключался в том, как замечательно дуб, или его осколки, или, скажем так, первый жернов сомкнулся со вторым жерновом. И вот тут уже с двумя жерновами действительно очень трудно потягаться. А второй жернов был, и Александр Исаевич об этом говорил. Он говорил о темных знаках, под которыми человечество и Россия вступают в XXI век. Он говорил о том, что Россия в (если не ошибаюсь, это было в последнем интервью, которое он давал для журнала «Форбс» Полу Хлебникову в 94-м году, совсем незадолго до возвращения сюда) еще ох как пригодится Европе и Америке. То, что имел в виду Александр Исаевич (а он еще в одном интервью повторил о том, как необходима будет Россия Европе и Америке в тех вызовах, которые сулит XXI век), он и сформулировал, что же это будет — тот страшный конфликт, который ждет нас. Это — конфликт «золотого миллиарда» и третьего мира. Увы, первые восемь лет XXI века никак не оспаривают того, о чем говорил Александр Исаевич.

Он говорил и о военном конфликте, который ждет Россию в XXI веке. Даже сформулировал — в первой четверти XXI века. Но и это тоже тогда было не услышано ни властью, ни народом, ни, увы, мне кажется, интерпретаторами Солженицына.

Мне кажется, парадокс... Величие и сложность его в том, что он, с одной стороны, был, конечно, историк. В одной из бесед со студентами Саратовского университета в 95-м году, где тот XX век, о котором мы сейчас говорили, он назвал «волчьим» веком, он говорил о необходимости знать и любить историю России не вообще, не после 91-го года, не после 17-го, и даже не наш любимый XIX век, и даже не нашу по-

слепетровскую культуру, а 1100 лет. И в этом смысле, может быть, он был единственный из писателей XX века, для которого Россия была дорога во всем ее историческом пути за 1100 лет.

Конечно, у него есть свои приоритеты, и прежде всего XX век. Но, по крупицам собирая, мы видим и то, что он говорит о Киевской Руси, и то, что он говорит о Руси до раскола. Но, пережив страшную катастрофу и две войны, он выделяет в истории России эпохи смуты, раскола и катастрофы. Именно поэтому он начинает... Его историософия, его история больше всего начинается с истории русского XVII века. Обращая внимание на катастрофы, на падения, на раскол, на смуту, он становится великим собирателем. Он взывает к объединению после раскола, он взывает к подъему после падения. Не случайно одна из его пьес называется «Пир победителей» (кстати, не случайно он похоронен недалеко от Ключевского, который говорил, что отличительная черта России – быстро подниматься после падения). После такого падения, после таких двух падений, которые прошла наша страна за эти 70, а теперь уже 90 лет, меня удивляет не то, как глубоко она пала, а как она все-таки еще держится вопреки пессимизму. Произведения Солженицына на меня производят почти физиологическое возрождающее воздействие своей энергетикой. Вот кто-то по завету Пушкина, «как мысли грустные придут», перечитывает «Женитьбу Фигаро», а я, это уже абсолютно субъективно, если испытываю какое-то недомогание, перечитываю «Раковый корпус». И вы знаете, как-то сразу становится легко.

Мы будем обращаться не только к главным его мыслям, которые так всегда емко сформулированы, но и к тому, что кажется периферией, что в первый момент кажется «ну, это не самое существенное, не самое важное», но остается в памяти. И ты тогда уже не совсем не подготовлен к тому будущему, о котором он говорит. Здесь Людмила Ивановна в своем выступлении упомянула о тех событиях, которые произошли уже после похорон Александра Исаевича, и многие думают, а что бы сказал по этому поводу Александр Исаевич. А он кое-что об этом уже сказал. Просто тогда это тоже было не замечено. Мало кто прочитал и вообще оценил «Как нам обустроить Россию?», но там есть, скажем, фраза о том, что из будущего, как он пишет, а это будущее – уже сегодняшнее наше настоящее, он ожидает «разительной неожиданности». И он обращает внимание на то, как Грузия борется за свою независимость, и на то, что Россия и не лишала независимости Грузию. Но несколько удивляется тому (цитирую его дословно), тому притеснению абхазов, притеснению осетин, и это ли есть «свидетельство борьбы за свободу и независимость своего народа». И еще раз на эту же тему в интервью, которое он дал телекомпании «Остан-

кино» в апреле 92-го года: да, конечно же, вот как Грузия старательно борется за свою независимость, но почему она не предполагает возможности независимости Южной Осетии и Абхазии. До того ли нам было тогда — в 90-м и 92-м годах! А впоследствии, позднее, уже в конце 90-х годов он говорил вообще о том, а что такое независимость, а самопровозглашенные республики, а Украина — это не есть ли самопровозглашенная республика. И даже так ставит вопрос: а Соединенные Штаты, а разве это не самопровозглашенная страна?

Он не боялся ни первого жернова, ни второго жернова, с которым он столкнулся и на Западе и с которым он продолжал сталкиваться здесь. И поэтому вспомним и то, что он едва ли не единственный из значительных деятелей русской литературы и русской культуры заметил бомбардировки Сербии. Можно сказать, до последнего момента, когда он еще публично выходил к своим слушателям, те, кто ему внимал, скажем, в речи о перерождении гуманизма во французском посольстве, где сформулированы были мотивы тех испытаний, которые ждут не Россию только, а весь мир в XXI веке. Поэтому, мне представляется, он и значителен не только теми своими замечательными, которые действительно у него существуют, находками стилистическими, его тонким юмором. Меня всегда поражало, что у Александра Исаевича, по-моему, один из самых любимых зарубежных писателей — это Диккенс. Казалось бы, ну вот Солженицын и Диккенс. Тут «Красное Колесо», а тут — «Пиквикский клуб» или «Оливер Твист». А оказывается, это так. И исследователи еще не раз с этим столкнутся. Почему он считается традиционалистом и консерватором? Дело даже не только в том, что он, скажем, рекомендовал на Нобелевскую премию Набокова, а почему он так восхищается Замятиным и Цветаевой. Но его поиски обновления и конструкции романа, сюжетосложения, уж не говоря о языке, — это еще адская работа для не одного поколения литературоведов. Но вопреки тому, что говорилось в начале XX века, нас интересует не только как сделана «Шинель» Гоголя, но и то, что за этим стоит. И Солженицыным будут заниматься и историки литературы, и теоретики литературы, языковеды и историки, и публицисты, и философы. И самое главное, его будут читать читатели. В этом смысле XXI век ему принадлежит в гораздо большей мере, чем век XX. Вот почему, я думаю, отец Петр со мной согласится, тут мы с ним сойдемся, что так трудно перестать молиться о его здравии и так трудно говорить «вечная память».

Н.Д. Солженицына: Я прошу меня простить. Хочу сказать несколько слов — поспорить с отцом Петром. Простите!

Л.И. Сараскина: Видите, я так и знала.

Н.Д. Солженицына: Дело в том, что мы с Александром Исаевичем много говорили о природе власти, прежней и нынешней, в нашей стране. И тут у нас с ним было полное согласие. Конечно, сейчас люди в огромном числе встречаются с трудностями, пакостями, несправедливостями — и осуждают то, что творится вокруг. А для тех, чьи семьи не раздавил тот губительный коммунистический каток или чья вера в коммунизм осталась неповрежденной, — наверное, предпочтительней кажется прежняя власть. И это вполне понятно. Но Александр Исаевич настаивал, что природа той власти и этой — кардинально разная. Теленок менялся, как все мы меняемся с годами, но Дуб, но власть преобразилась кардинально. Та советская власть, — правда, она не была реально *советской*, большевики сразу отпихнули советы невесть куда, и осталось только слово пустое, — но та коммунистическая власть была дьявольской властью, вот именно дьявольской властью, потому что она претендовала на обладание не только нашим трудом, нашим телом, но нашей душой. И претендовала совершенно открыто. А сейчас... Вот отец Петр сказал: сегодня надежда состоит в том, что каждый из нас может сказать что угодно и не будет за это наказан. Но это же — основная, глубинная разница. У нас есть выбор. У нас его не было раньше. Выбор был у единиц, которые шли буквально на смерть. Но и те, кто не шел сознательно на смерть, тоже погибали, миллионы. Всех тех, кто хоть чем-то заметно выделялся, власть срубала. Поэтому нынешнюю власть — ну с чем угодно сравните, ну хотите, Латинская Америка, — но она не отличается принципиально от власти в развитых странах, она отличается только недоразвитостью. У нас еще слабое общество, слабые институты общественные, мы не умеем проверять свою власть, у нас жадный капитализм, ничем не обузданный. Но все-таки от каждого из нас зависит эту власть очеловечить. Это возможно, потому что это просто капитализм, это просто частная собственность, пусть несовершенная, но вполне людская форма организации жизни. Да, в силу внезапности и нашего неумения кого-либо проверять эта частная собственность досталась совсем ничтожному числу людей, которые по своей жадности, тупости и неспособности учить уроки прошлого...

Л.И. Сараскина: Ничтожному числу ничтожных людей.

Н.Д. Солженицына: ...ничтожному числу по большей части ничтожных людей, которые не понимают, что надо делиться, даже тяжело заработанным надо делиться, а уж не то что ворованным. Так или

иначе — это две разные власти. Та была — дьявольская, а эта власть — обычная, человеческая и тем самым страдающая огромным числом человеческих пороков. От каждого из нас зависит сделать ее более человеческой.

Л.И. Сараскина: Отец Петр, быть может, вы хотите ответить?

О. Петр Мещерин: Не буду спорить с Наталией Дмитриевной. Она права: советская и наша власть различаются. Но — может быть, я скажу какие-то высокие слова — с точки зрения духовной «дьявольскость» не девается же никуда. Она может быть только преодолена в процессе покаяния, о чем я и говорил. В том числе и покаяния власти — но его не заметно. Может быть, это дело будущего развития нашей власти. Но — я еще раз подчеркиваю, что высказываю только свое субъективное мнение и ощущение, — мне не видится предпосылка, по которым эти векторы оставшейся и мимикрировавшей дьявольщины могут быть преодолены, по крайней мере, сейчас, на данном историческом отрезке времени. Хотя, безусловно, невозможно спорить, что тоталитаризм и нынешний авторитаризм — это две очень разные вещи. Да, и еще, в связи с тем, что Наталия Дмитриевна провела некий водораздел между ельцинским и путинским временем: тут-то и встает вопрос о соотношении власти в 90-х годах и власти в 2000-х. Многие разделяют власть ельцинской эпохи и власть путинской. Лично я не разделяю. Это одна власть, которая, скажем так, просто продолжает осваивать страну.

Л.И. Сараскина: Спасибо большое. У нас в зале присутствует писатель, который осваивает XX век (и делает это блестяще) через писательские судьбы. Пришвин, Грин, Алексей Толстой, Распутин. Угадывать не надо. Алексей Варламов замечательно ориентируется в XX веке. Алексей Николаевич, пожалуйста.

А.Н. Варламов: Я думаю, что на сегодняшнюю нашу беседу все равно, конечно, накладывает большой отпечаток то, что случилось 3 августа. Я хотел бы сказать, что я узнал о смерти Александра Исаевича неподалеку от Москвы, на берегу большого озера. Рано утром мне позвонили из Би-би-си, разбудили и попросили сказать несколько слов в эфир о том, что я испытываю, о том, что я думаю. Для меня это действительно была полная неожиданность. Вот я вышел как раз на берег этого большого озера, стал мысли пытаться собирать. И вот мысль, которая у меня возникла, что... Мы говорим сегодня: бодался теленок с дубом. Солженицын боролся, выступал против... Но... Как

бы ни была сильна в Александре Исаевиче энергия отрицания, в нем сильнее была энергия утверждения. Он все-таки боролся не «против», он боролся «за». Вот этот позитивный момент, вот это утверждающее начало, которое было в его творчестве, оно для меня очень важно.

Формулировка, что «Россия проиграла свой XX век», действительно весьма жесткая. Я впервые услышал ее, может быть, немножко в другом виде, но схожую по мысли. Произнес эту мысль Никита Алексеевич Струве, когда мы вместе выступали в Хельсинки. Было это года два или три тому назад. Я помню, тогда она меня все-таки своей жесткостью резанула. Потому что, ну, может быть, и можно говорить о больших числах, о большой истории «проиграла, не проиграла». А если говорить о конкретных человеческих судьбах, о поколениях наших родителей, то как им скажешь – вы проиграли? Как скажешь тем, кто погиб, был замучен или тому, кто честно прожил свою жизнь – ты проиграл? И потом в каждом поражении есть победа точно так же, как в каждой победе есть свое поражение. А XVIII век Россия выиграла, проиграла? А XIX – выиграла, проиграла? Особенно если учесть, что многие беды двадцатого столетия были заронены тогда. Вот почему я не защитити хочу советскую, нет – русскую историю XX века, я лишь исхожу из того, что дать однозначный ответ очень сложно и такого рода обобщения допускают большую неточность.

Но вот что можно, на мой взгляд, утверждать с большей определенностью – это то, что XX век не проиграла, конечно, но и не выиграла русская литература как нечто целое. Череда отдельных, блестящих побед на фоне общего разгрома. И не потому, что она оказалась слабее литературы века XIX, а потому, что минувшее столетие оказалось для России катастрофически сложным, неподъемным. Его можно сравнить со знаменитой булгаковской квартирой номер 50, но не в отношении смеховой культуры, хотя и это в XX веке было, не в смысле демонического начала, хотя этого в XX веке было еще больше, а в смысле огромного, бесконечно расширяющегося времени и пространства, их плотности и насыщенности. Так много событий, так много всего сгрудилось.

Александр Исаевич был практически ровесником этого века, вся его жизнь почти умещается в XX век (особенно если вслед за Ахматовой считать, что век начался в 14-м году), но он увидел выход России из катастрофы – мучительный, трудный, но выход. А те писатели, которыми я занимался в последние годы, – Пришвин, Грин, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Андрей Платонов – видели только вход, и у них была в этом смысле не то что б более сложная задача или бо-

лее сложное положение, но им должно было прожить свою жизнь в этих условиях. Это имеет отношение не только к писателям. Писательские судьбы сами по себе показательны, но то было поколение людей, и не одно, заключившее союз с коммунистами. Порою вынужденно, порою по любви, порою от безысходности — но ведь фактически за редким исключением литературы сопротивления в СССР до 50-х, а скорее даже до 60-х годов не было.

Это не упрек, не сожаление, это констатация факта. Что за ним стоит? Думаю, больше всего — желание понять, что происходит с народом. Ибо, прежде чем сделать вывод о злокачественности коммунистической опухоли, эту болезнь надо было исследовать, привив ее самому себе. Наиболее глубоко все это попытался понять и показать, что такое коммунизм в судьбе русского человека и что сделал коммунизм с русским человеком, а русский человек с коммунизмом — Андрей Платонов. Но свой «роман» с коммунистами был и у Пришвина, и у третьего Толстого. Написал «Батум» Булгаков. Не желая перебирать время, все-таки много еще выступающих, я бы очень хотел поддержать мысль, которую Борис Николаевич Любимов произнес об оптимизме Солженицына. Опять-таки к вопросу о победах и поражениях. При всем том, что Александр Исаевич затрагивал в своем творчестве самые болезненные, самые трагические страницы русской истории, все равно в его творчестве, в его произведениях бил этот свет выхода, уверенности в конце коммунизма. Предчувствия этого конца не найти ни у кого из писателей первой половины столетия. Та литература была болезненной, пессимистичной, очень встревоженной. Она порой пыталась уходить от действительности, в той или иной степени действительность мифологизируя. Отсюда огромное влияние эсхатологических мотивов, попытка понять русскую революцию как апокалипсис, а русскую историю как апокалиптическую историю, подошедшую к своему концу.

Я думаю, что все мировоззрение Солженицына, вся жизнь Солженицына были вольной или невольной, гласной или негласной, но полемикой с жизнеотрицающим началом русской мысли. Солженицын-писатель питался и жил за счет энергии отрицания советской действительности, но свою жизнь он прожил на утверждении и свое творчество построил на вере в действительность христианских ценностей, показав всю меру той бездны, в которую оказалась ввергнута Россия в 17-м году. В этой бездне как ни была исковеркана душа русского человека и душа русского народа, она, душа, оказалась неуничтожима. И то, что Солженицын вошел в русскую, советскую тогда еще, литературу с образом Ивана Денисовича, с образом Матрены, то есть, несомненно, с, пользуясь советским штампом, положитель-

ными героями, героями, которые несут мощное духовное начало, чрезвычайно важно.

Автор «Архипелага ГУЛАГ» больше утверждал, чем отрицал. И его победа, победа писателя, победа человека, заключается, на мой взгляд, в защите человеческого достоинства. Была бездна в русской истории, были каменоломни, была трясина, по которой, может быть, мы до сих пор пробираемся. Но все равно, была и тропа, по которой шел Александр Исаевич шел. Когда он умер, возникло такое чувство... Вот сколько я себя помню, Солженицын всегда был. Сначала очень далеко, потом ближе. Он откликнулся не на все события, которые происходили в нашей жизни, но, тем не менее, само его присутствие среди нас было гарантом, потому что есть человек, в ком очень сильное чувство ответственности за Россию. И пока России плохо, он будет. И то, что он ушел, а России по-прежнему плохо, в этом, конечно, есть глубокая несправедливость и какое-то сиротство, которое мы испытываем. Но в жизни писателя есть то великое чудо, что, даже уходя, он остается своими книгами, своими мыслями, своими поступками. Солженицын был очень энергичный человек, это чувствуется и по его прозе, и по его жизни. И хотя он ушел, эта энергия осталась. Спасибо!

Л.И. Сараскина: Слово — Светлане Шешуновой из Дубны. Она одна из самых успешных и интересных исследователей творчества Солженицына. Пожалуйста, Светлана Всеволодовна!

С.В. Шешунова: Я хотела бы продолжить эту мысль о позитивном начале в творчестве Александра Исаевича, но несколько с другой стороны. И Наталия Дмитриевна, и отец Петр, и Людмила Ивановна говорили о том, что Александр Исаевич, как никто, показал падение России в XX веке. Но падение возможно, только если есть изначальная высота. Александр Исаевич совершил несколько огромных, как бы сверхчеловеческих подвигов в литературе, и один из этих подвигов — восстановление доброго имени той России, которая была уничтожена большевиками. Солженицын открыл нам, читателям, на какой она была высоте, насколько она была во всех отношениях выше СССР. Он ее не идеализировал, это была зрячая любовь. Но в «Красном Колесе» он восстановил облик России как страны во многом очень светлой, очень многообразной, во многом цветущей.

Людмила Ивановна напомнила слова Александра Исаевича о том, что в русской литературе не принято было выводить образ жандарма или городского хотя бы с долей симпатии. А он это сделал — вспомним хотя бы, как в «Марте Семнадцатого» показано убийство жан-

дармского офицера Крылова. Политики, чиновники в русской классике изображались или холодно, отчужденно, или сатирически. Так было у Льва Толстого, у Чехова. А у Солженицына все не так. К его изображению русской истории можно применить ту знаменитую формулу, которую нашел отец Александр Шмеман. Я имею в виду его слова, что у Солженицына присутствует христианская интуиция «сотворенности, падшести и возрожденности». Интуиция сотворенности — в том, что сама первооснова мира изображается как нечто доброе, одухотворенное. Так Александр Исаевич рисует человека: в нем есть добрая основа, образ Божий. И так же он показывает стихию государственной жизни, политической истории: это часть сотворенного Богом мира, она не обречена быть бездуховной. Конечно, здесь в первую очередь бросается в глаза образ Петра Аркадьевича Столыпина. Но и кроме него Солженицын показал созидателей — офицеров, инженеров, политиков, которые выглядят очень достойными. И падение нашей национальной жизни, ее разращение он раскрывал с надеждой на ее возрождение, на благое «изменение ума» миллионов людей.

Отец Петр только что произнес горькие, но справедливые слова о том, что нет сейчас оснований для таких надежд. Не только Сталин, но и антигерой «Красного Колеса» Ленин сегодня намного популярнее, чем Столыпин и Колчак, которых любил Солженицын. И это теперь свободный выбор народа, а не принудительный, как при советской власти. Но хотелось бы, как отец Петр, верить, что весь титанический труд Александра Исаевича, труд по воссозданию исторической правды, был не напрасным.

Солженицын создал, по-моему, больше положительных героев, чем все другие русские писатели. И может быть, самый поразительный из этих героев — сам Солженицын, который проходит по страницам своих произведений, — то в облике Нержина, то как образ автора в «ГУЛАГе» и в «Теленке». То, что он явил образ такого потрясающего героя — это, мне кажется, для нас очень важно. Он явил образ человека, который может в самом себе изжить те искушения, те падения, которые стали участью нашей страны. Этот человек в годы войны писал: «Если Ленина дело падет в эти дни, для чего мне останется жить?» — а пришел от безбожия к вере, от ленинизма к тому, что мы сейчас пытаемся постичь. Это, мне кажется, для нас и утешительно, и вдохновительно. И хотелось бы закончить теми словами Жуковско-го, которые можно применить и к целому ряду героев Александра Исаевича, и к самому Александру Исаевичу:

Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

Л.И. Сараскина: Спасибо большое, Светлана Всеволодовна! Прекрасно, что у нас так много желающих выступить. И не только из предполагаемых участников круглого стола, но и из свободной аудитории. Поэтому в оставшееся время мы немного сократим время программных выступлений, но обязательно слушаем тех, кто хочет выступить вне программы. Пожалуйста, Вам слово. Только представьтесь.

А.С. Курбасов: Я Курбасов Александр Севастьянович, профессор, инженер, доктор технических наук. Здесь разговор очень интересный и выступают в основном гуманитарии. Я знаком со всем, что опубликовано Александром Исаевичем, и пытался представить, что же все-таки главное в его творчестве.

Первое. Кого бы я назвал великим гражданином России? Люди, которые пытались понять, как можно помочь России, болели за это. Я бы назвал: Чаадаев, Толстой, Солженицын. Теперь можно, конечно, по-другому подойти. Кто же является совестью, наиболее яркой совестью России? За последние, скажем, сто лет. Здесь, конечно, список гораздо шире — и Сахаров, и Лихачев. Этот список можно продолжать и продолжать. Наконец, последнее, что мне хочется сказать. Я подумал, кто же все-таки в XX веке из наших мыслителей может рассчитывать на долгую память. И опять-таки я называю Александра Исаевича Солженицына. Потому что он не только пророк, но еще и страдалец. Я закончил, спасибо за внимание!

Л.И. Сараскина: Большое спасибо, Александр Севастьянович! Ваша реплика обязательно войдет в наш сборник. Я получила записку следующего содержания: «Каково Ваше мнение о новой книге в серии ЖЗЛ “Солженицын”, изданной в 2008 году?» Мне неловко отвечать на этот вопрос, потому что написала эту книгу я. Но если все-таки мне следует ответить, то должна сказать, что к этой книге отношусь вообще-то хорошо.

Г.М. Щетинина: Мало того, не только Людмила Ивановна к ней хорошо относится. Мы все радовались вчера на торжественной церемонии нашего национального конкурса «Книга года», когда Людмила Ивановна вместе с главным редактором и директором издательства «Молодая гвардия» поднималась на сцену и ее чествовали в номинации «Humanitas». Так что — замечательная книга!

Л.И. Сараскина: Кроме шуток, действительно. Если бы я к своей книге плохо относилась и считала ее, по совести, неудавшейся, ну не вышла бы я с ней на люди. Это было бы стыдно и невозможно. Зна-

чит, если я ее выпустила все-таки, значит, я к ней отношусь положительно. Но конечно, работы еще много и надо продолжать накапливать материал.

Я бы очень хотела, чтобы выступил участник нашего круглого стола профессор Голубков, который давно и плодотворно занимается Солженицыным. Он автор учебников, методических разработок для студентов. От Вас много зависит, Михаил Михайлович, как студенты МГУ и студенты других вузов будут воспринимать личность и творчество Солженицына. Прошу вас!

М.М. Голубков: Уважаемые господа, здравствуйте! Спасибо, Людмила Ивановна, за то, что предоставили мне слово.

Сейчас мы переживаем во многом уникальную для русской культуры ситуацию. Возможно, она уникальна для русской цивилизации в целом. Я имею в виду то состояние общества, когда интерес к мысли художника резко снизился. И не только художника: публичное слово утратило свой высокий статус, будь то слово мыслителя, ученого, критика. Если оно и производит некое впечатление, то лишь в ближайшем социально-бытовом окружении говорящего, не больше. Когда мы вспомним конец 1980-х годов, миллионные тиражи журналов, тот ни с чем не сравнимый интерес, с которым общество воспринимало новое произведение, те же тексты Солженицына, которые публиковал тогда «Новый мир», и сопоставим эту ситуацию с нынешней, то увидим, сколь разительно изменилось общественное сознание. Утрачена некая составляющая кода национальной культуры – причем важнейшая составляющая: литературоцентризм. Увы, литература утратила свою важнейшую функцию – перестала быть сферой созидания общественного мнения и национального сознания. Она больше не формирует общего взгляда на мир, и в этом вина не писателя, скорее, читателя, ряды которого сильно поредели. Голос писателя сейчас почти не различим в симфонии (или какофонии?) современной цивилизации.

В связи с этим, мне думается, принципиально меняется роль учителя литературы, где бы он ни учительствовал: в школе, в лицее, в университете. Если говорить о Солженицыне, то задача преподавателя состоит в том, чтобы рассказать, что такое Солженицын, и не только как писатель. Рассказать, что такое Солженицын как явление русской культуры, как автор целого корпуса текстов, составивших своеобразную литературную галактику. Ведь это, в сущности, уникальное явление, и не только в литературе прошлого века: художник, составивший в одиночку целое литературное направление, сильное и полноводное. Мне как-то приходилось писать о том, что Солженицын как литера-

турное явление определяется его синкретизмом. Его творчество вмещает в себе предмет изучения для филолога, историка, философа, богослова — этот аспект очень подробно осветил отец Петр.

И здесь-то кроется удивительное противоречие: творчество Солженицына оказывается не по зубам нынешнему читателю: слишком уж много, трудно, требует глубокой интеллектуальной и душевной работы. И для оправдания собственной лени читатель последнего десятилетия, прибегая к помощи услужливой критики, создает собственную мифологию. Важнейшей ее составляющей стал тезис о нечитабельности «Красного Колеса» (много, скучно, не «продерешься» через нагромождения исторических фактов). Кстати, исследование нынешней мифологии о Солженицыне могло бы дать интересные штрихи к портрету современности.

Задача учителя — этой мифологии противостоять и учить будущего читателя читать художественную литературу — в том числе Солженицына. Объяснять, что чтение — не развлечение, а большой труд и тем оно полезно и притягательно. Серьезное литературоведение (а не зевотная заказная критика) освоило Солженицына, созданы очень серьезные работы, которые интереснейшим образом трактуют его творчество. Недавно вышла замечательная книга в серии ЖЗЛ, которую написала Людмила Ивановна Сараскина, подробным образом предстала перед нами биографическая канва творчества писателя. Но надо сделать так, чтобы слово филолога было услышано не только коллегами, но и востребовано обществом. И чтобы слово самого Солженицына тоже было услышано. В этом, мне кажется, важнейшая задача филологии как науки понимания и учителя, преподавателя-филолога, который приходит к своим ученикам, школьникам или студентам, чтобы научить понимать.

В самом деле, хватит рассматривать Солженицына как автора двух рассказов: «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича». В образовательные стандарты, в школьные учебники и программы нужно вводить другие произведения. Почему бы не развеять миф о нечитабельности «Красного Колеса»? Почему бы, например, не ввести в школьную программу «Август Четырнадцатого»? Замечательный роман, который прочитывается на одном дыхании? Или же, например, почему не изучается в школе роман «В круге первом»? В ответ часто приходится слышать аргументы, на которые не знаешь, как реагировать: «Это сложно, это ученик не поймет». Как объяснить, что не сложно и что не стоит так самоуверенно отвечать за некое абстрактного ничего не понимающего ученика, я не знаю. Просто приходится отвечать: «Нет, не сложно. Нет, поймет». Если ученик понимает Достоевского, то и Солженицына поймет. Одну из своих основных

задач (надеюсь на поддержку коллег) я вижу в том, чтобы вернуть Солженицына в школу, потому что именно со школы вновь может начаться обретение литературой своего исконного статуса в модели русской культуры. Спасибо!

Л.И. Сараскина: Спасибо, Михаил Михайлович! А сейчас я хочу, чтобы выступил один из самых тонких наших критиков, который пишет о Солженицыне давно и упорно, анализирует «Красное Колесо» для Полного собрания сочинений в 30 томах, Андрей Семенович Немзер. Повторяю, это один из самых умных, замечательных критиков Солженицына, делающий честь молодой, становящейся солженицыноведческой науке. Пожалуйста, Андрей Семенович!

А.С. Немзер: Попробую вернуться к заявленной теме нашей беседы, то есть к вопросу о том, как видел Солженицын XX век.

Бессмысленно спорить с тем, что Солженицын очень остро ощущал специфику своего (и нашего) столетия, начавшегося роковым срывом (а затем — срывом) не одной только России, но всей Европы, всей европейской цивилизации в Первую мировую войну. О глобальности катастрофы лета 1914 года совершенно отчетливо (для умеющих читать) было сказано уже в «Матренином дворе». Конечно, ужас XX века в его «особом качестве» был Солженицыным прожит, постигнут, художественно осмыслен. Но есть у нашего сюжета другая сторона, которую никак нельзя упускать из виду. Приведу цитату из 29-й главы «Ракового корпуса». Повод для вспыхивающего в больничной палате спора очень простой: казнокрадство, дом, построенный на ворованные деньги. «Доцент развел одной рукой, другую держал на горле:

— Остатки буржуазного сознания.

— Почему это — буржуазного? — ворчал Костоглов.

— Ну, а какого же? — насторожился и Вадим <...>

— А такого, что это — жадность человеческая, а не буржуазное сознание. И *до* буржуазии жадные были, и *после* буржуазии будут!»

Не об одной «жадности» тут речь, но, думается, обо всех присущих нам (тем, кто называется *homo sapiens*) греховных, темных, искажающих Божий замысел о человеке страстях. А они были (и несли зло) и до XX века, и, увы, с уходом этого столетия никуда не делись.

Солженицын при всей остроте его исторического взгляда всегда одновременно мыслит о человеке как человеке, о роде человеческом и его перспективах в Большом, самом Большом Времени. Именно поэтому он не может не быть историком, то есть не фиксировать изменения, не показывать, как люди, оставаясь людьми, поднимаются и опускаются.

Потому так важны в «Красном Колесе» ретроспективные ходы, ищущие XX век (то, что мы зовем XX веком), до XX века. «И кто теперь объяснит: *где ж* это началось? *кто* начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! все началось — отсюда! <...> Есть любители уводить этот разрыв к первым немецким переодеваниям Петра — и у них большая правота. Тогда и к соборам Никона». Я цитирую 7-й главу «Октября Шестнадцатого». Здесь это сказано концентрированно, но вся конструкция, вся плоть «Красного Колеса» наводит именно на такие — далеко в глубь времен ведущие — размышления.

Нельзя не увидеть, как ужас XX века гнезвился в прошлом (для чего и нужно рассуждение о том, как власть и общество несли Россию вразнос). Но нельзя не увидеть и иного — той самой человеческой красоты и силы, духовной высоты, которые сохранялись и в страшном XX веке, о чем, на мой взгляд, чрезвычайно убедительно говорили здесь и Алексей Варламов, и Светлана Шешунова. Так что можно их не повторять. Солженицын, безусловно, верит и в человека вообще, и в Россию, и в русского человека. Видя проигрыш (тяжелый, с большим, по сей день еще как ощущаемым последствием), он не подразумевает обязательности проигрыша тотального. Хотя, разумеется, касаясь столь серьезной, сложной, многоплановой и болезненной проблемы, и Александр Исаевич не произносил окончательного вердикта. Вспомним, как противоречат друг другу сны Варсонофьева в 640-й главе «Марта Семнадцатого». Что будет: взрыв, уничтожающей весь мир бомбы, с которой мальчик Христос приходит на биржу, или запечатление церкви, тайное сбережение святыни, которая некогда явится вновь?

Понятно, что слова «оптимизм» и «пессимизм» ужасно плоские, если не сказать — пошлые... Настоящий писатель уж точно нашел бы другие. Но отказать Солженицыну в доверии русскому человеку, русской истории и, подчеркну, истории и человеку вообще я никак не могу. Поэтому, мне кажется, так необходимо Солженицыну было после «Марта Семнадцатого», книги соблазнения и катастрофы, написать «Апрель...». Там ведь вроде бы все еще хуже, но в то же время возникает (и не раз) предчувствие будущей великой битвы, отнюдь не минутной, выходящей за рамки даже и очень широко увиденной исторической эпохи.

Закончу своей любимой цитатой из 44-й главы «Марта Семнадцатого». 26 февраля на дворе. Кажется, что революции нет и не будет. (Хотя нас-то Солженицын много раньше убедил — она уже пришла.) Струве и Шингарев стоят на Троицком мосту, видят величественную панораму поразительно красивого и, как мнится Шингареву, незбываемого Петербурга. Герои не знают, что это прощальное видение, что

на их глазах стремительно уйдет в небытие петербургский – имперский – период русской истории.

«— В нашей свободе, — медленно говорил Струве, щурясь, — мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сидение. И свободных архангельских крестьян. Народ — живет сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру».

Л.И. Сараскина: Большое спасибо, Андрей Семенович! Хотелось бы сказать, что в течение лет пятнадцати активного развития солженицыноведения я наблюдала, как складываются эти штудии. Кто-то укреплялся на поприще новой науки, кто-то, попробовав, уходил, переключался на другие занятия. Сейчас я хочу предоставить слово коллеге, который являет собой образец преданности предмету и занимается творчеством Солженицына с завидным постоянством. Павел Евсеевич Спиваковский, пожалуйста!

П.Е. Спиваковский: Добрый день, друзья! Вначале я хотел бы сказать несколько слов на тему, которую затронул профессор Темпест. Он, сопоставляя творчество Солженицына и Набокова, обратил особое внимание на то, что в текстах Солженицына много очень тонких деталей, которые часто недостаточно хорошо прочитываются и далеко не всеми воспринимаются. К сожалению, это действительно так: художественный мир этого писателя воспринят пока лишь на самом поверхностном уровне. Но в сопоставлении Солженицына и Набокова неизбежно присутствует и столь же естественный элемент противопоставления, в частности, и потому, что Набоков — писатель *чисто элитарный*, тогда как для Солженицына принципиально важно то, что он писатель *не только элитарный*. Например, если мы обратимся к роману Солженицына «В круге первом», то в нем очень определенно и весомо звучит мысль о том, что два основных слоя общества — это интеллигенция и крестьянство. При этом очень интересны размышления героев романа о роли элиты: что представляет из себя элита в подлинном смысле этого слова? В романе об этом думают многие, в частности и Нержин, который в одном из эпизодов романа пристально вглядывается в картину художника Кондрашева-Иванова, изображающую рыцаря, впервые увидевшего замок Святого Грааля: «Растерянный, изумленный, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на все верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-то еще чище Солнца, скрытого от

нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита, — не четко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и все же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства, — стоял в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля». Этому образу совершенства (фактически речь идет о неназванном по имени Христе) отныне и будет служить Парсифаль, герой картины Кондрашева-Иванова, и такой возвышенный пример рыцарского преклонения перед Истиной производит на Нержина неизгладимое впечатление, а читатель видит здесь очень высокий образец элитарного поведения. Однако для Нержина это хотя и очень важный, но не единственно возможный путь. Ведь в то же самое время Глеб дружит с простым дворником Спиридоном, так что друзья Нержина, куда более элитарно настроенные, чем он, добродушно-иронически называют это «хождением в народ». Рубину и Сологдину такого рода умонастроения кажутся бессмысленными, нелепыми, исторически и культурно дискредитированными, в то время как Нержин видит в общении с простым русским мужиком источник глубины и потому просто не может вести себя иначе. Впрочем, не забыты героем романа и высокие, элитарные задачи. Не случайно, когда Глеба везут из шарашки в лагерь, он спрашивает: «А что должна делать элита в лагере?» И мы видим, что слово «элита» не только естественно для речевого мышления Нержина, но он вполне определенно проецирует данное понятие, в частности, и на себя. Как же разрешается эта антиномия?

Среди героев романа мы видим друга Нержина, Дмитрия Сологдина, который тоже очень увлечен рыцарством. Казалось бы, все в этом увлечении возвышенно, красиво, да и сам он похож на князя Александра Невского. Но потом, в споре с Рубиным внезапно выясняется, что Сологдин — радикально настроенный последователь Чаадаева и тайный сторонник католицизма. По мнению Сологдина, Россия совершила роковую ошибку, приняв православие вместо католичества: «И получилась косопузая страна. Страна рабов!» — провозглашает он. Поэтому и Александр Невский для Сологдина вовсе не святой: «...он не допустил рыцарей в Азию, католичество — в Россию! ...Он был против Европы!» И вдруг, казалось бы, этически безупречный собирательный образ рыцарства поворачивается к нам неожиданно агрессивной стороной: «прекрасные рыцари» оказываются враждебны российской государственности и культуре. Так ненавязчиво, без малейшей доли дидактики (что вообще очень характерно для Солженицына, это *недидактичный* писатель, вопреки широко распространен-

ному мифу) в сознании читателя возникает мысль о том, что *элита* только тогда по-настоящему достойна называться этим словом, когда она небезразлична к народной боли. И озабочена народной судьбой. Спасибо!

Л.И. Сафаскина: Спасибо большое! Слово попросил запиской Игорь Николаевич Сухих из Санкт-Петербурга. Если я не ошибаюсь, Игорь Николаевич, Вы представляли на стенде книжной ярмарки семитомник Зоценко, да? Это Вы, да? Спасибо. Я увидела Вас в программе, и Ваше мнение исключительно интересно.

И.Н. Сухих: Я действительно случайно из провинции оказался на книжной ярмарке. Из провинции Санкт-Петербург. В программе я не обозначен и попросил слова, потому что мне было интересно, что происходит здесь уже почти два часа. Но я ничего не буду говорить про Зоценко и про отношение Александра Исаевича к Зоценко, потому что это — совсем другая тема. Смысл того, что я услышал здесь, и того, над чем думаю уже достаточно давно, я хочу сформулировать в виде трех достаточно простых тезисов.

Во-первых. Мне кажется, очень часто мы выступаем, говоря о книгах Александра Исаевича как о книгах великих ответов. Мне кажется, да и часто запросто сами даем ответы, каким был XX век: таким или другим. Мне кажется, что книги Солженицына — это скорее книги не великих ответов, а великих вопросов. И так к ним и нужно относиться. Поэтому вопрос о том, проиграла или выиграла Россия XX век, оказывается гораздо сложнее. Это действительно, с одной стороны, проблема каждой индивидуальной судьбы. А с другой стороны, хорошо, мы сейчас согласились, что проиграла, проголосовали, улыбнулись и довольные разошлись. Но проблема остается в том, что мы живы, пока существует государство, в котором мы живем. И значит, нужно каким-то образом продолжать искать выход, сбивать эту сметану, нужно как-то жить на развалинах. Поэтому у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Мне кажется, что история России XX века — это не четкая синусоида, где все ясно: взлеты и падения, а это такая лихорадочная кардиограмма. И проблема в том, чтобы относиться к этому, как говорил мой любимый писатель, относиться и исследовать это очень мелко и четко. А не в каких-то очень грандиозных очертаниях.

Простой эксперимент способен об этом дать представление. Я слушал, оглядывался по сторонам и сопоставлял себя с теми, кто в этом зале оказался вместе со мной. Согласитесь, что в лучшем случае один, два человека здесь присутствуют, для которых «Архипелаг ГУЛАГ» — это личная книга. В том смысле, что их судьба отчасти рифмуется с

судьбой этих персонажей. Они, наверное, есть, но их немного. Большинство других людей прожили иные жизни. Жизни, существующие по каким-то иным сюжетам. Поэтому мы смотрим на эту историческую эпоху уже несколько издалека, со стороны и не можем дать окончательных ответов.

Во-вторых. Книги великих вопросов нуждаются в объяснении, в интерпретации, в диалоге. Не потому, что мы умнее, а потому, что так строится история. Хорошо, давайте пропагандировать творчество Александра Исаевича в школе. Давайте расширим круг произведений, заинтересуем новое поколение. Давайте, здесь есть люди, которые связаны со школой. Попробуйте в школьную программу, я не так давно написал учебник, где тоже есть глава об Александре Исаевиче, попробуйте в школьную программу 11-го класса наряду с «Тихим Доном», «Мастером и Маргаритой», огромным и замечательным корпусом русской поэзии XX века включить «Красное Колесо». Хотя бы фрагменты. Попробуйте даже «Раковый корпус», который относительно невелик.

Так что здесь опять для меня вопрос не какого-то лозунга, а очень большая и мучительная проблема. С одной стороны, она связана с тем, что действительно круг интересующихся сужается, как шагреновая кожа. Опять же, вспомните, каким тиражом выходил «Новый мир», когда главы из «Архипелага ГУЛАГ» там начинали печататься. Посмотрите на тираж этого издания, которое сейчас продается на стенде одного издательства. Я думаю, что пройдет десять лет, и, может быть, тиражи сократятся до 300 экземпляров уже, а не трех тысяч. И нам придется ходить, как софистам по улицам, кого-то дергать за свитер и пытаться рассказать им о Чехове, о Солженицыне, о ком-то еще.

То есть здесь есть очень большая, очень большая проблема. И это действительно предмет конкретных коллективных усилий. Я, скажем, вижу, что возможен, наверное, какой-то «школьный» Солженицын, какая-то книга с тщательно отобранными текстами, где будут фрагменты художественных произведений, публицистика, литературная копилка — и какой-то комментарий. Может, еще что-то возможно. Но опять же здесь видится не столько четкий ответ, сколько большой вопрос. Мне кажется, что в этом смысле Солженицын, оставшись писателем XX века, оказывается и писателем века XXI.

Л.И. Сараскина: Спасибо, Игорь Николаевич! Вы были совершенно правы, говоря, что в этом зале мало найдется людей, для которых «Архипелаг ГУЛАГ» является личной книгой, книгой о пережитом. Но все-таки такой человек среди нас есть, он написал записку, и я ее

прочитаю. «Разрешите сказать пару слов узнику сталинских лагерей Фидельгольцу Юрию, члену Союза писателей Москвы». Пожалуйста, прошу вас.

Ю.Л. Фидельгольц: Редко, конечно, нашего брата подпускают последнее время к микрофонам. Здесь много специалистов, конечно, они обсуждают великое значение Солженицына. Для нас лично — это писатель нашей судьбы. И вы знаете, что, когда эта книжка, «Один день Ивана Денисовича», впервые вышла в «Новом мире», это было целое событие. Оно отразилось в первую очередь на тех, кто был непосредственным героем этого произведения и многих следующих, ведь Солженицын в своем творчестве пошел вширь и вглубь. И все-таки я могу сказать, что до сих пор этот рассказ как «пепел Клааса» стучит в каждом сердце людей моей и нашей общей судьбы.

Безусловно, значение его велико в русской литературе. Это — классик русской литературы, русский патриот и гражданин. Я надеюсь, что мы, оставшиеся в живых, будем его чтить. Он будет служить нам ярким примером всего самого лучшего, самого светлого.

Л.И. Сараскина: Большое спасибо! Я хочу пригласить Павла Валерьевича Басинского. Надеюсь, он сможет подвести итоги. Павел Валерьевич Басинский — один из самых блестящих литературных критиков. Он работает в «Российской газете», где совсем недавно опубликовал прекрасную статью «Солженицын — победитель судьбы». После этой публикации почти вся пресса подхватила его формулу, выдавая ее за свое изобретение. Но на самом деле это не плохо, если Ваша мысль, Павел Валерьевич, так активно работает. Прошу Вас!

П.В. Басинский: Я думаю, успех этого круглого стола, безусловно, определяется тем, что здесь сразу завязалась дискуссия. И хотя я готовился произнести какую-то речь, но по ходу круглого стола понял, что после ухода Солженицына главный вопрос, который стоит перед нами, который как-то будет решаться и должен решаться, это, извините за иностранное слово, месседж, который оставил после себя Александр Исаевич. Причем к этому месседжу относится не только то, что он написал, и даже не только его поздняя публицистика, сколько некий общий посыл, который он нам оставил.

Не случайно сегодня один из выступавших сказал, что Россия обречена, а Алексей Варламов сказал, что все совсем не так. Дело в том, что месседж Солженицына разный для разных поколений.

Скажем, для шестидесятников — это «Архипелаг ГУЛАГ». И есть люди, которые обожают «Архипелаг ГУЛАГ» и не любят ничего дру-

гого у Солженицына. Это месседж как бы отрицательный, разрушающий социальную ложь.

Для поколения Варламова, для моего поколения, — посыл Солженицына совершенно другой. Мы воспринимаем его как фигуру абсолютно позитивную. Как человека, который показывает, как *надо* жить России, а не то, как жить *нельзя*.

Но, скажем, мой сын, которому 24 года, по десятому разу перечитывает именно «Архипелаг ГУЛАГ». Я его спросил: «А зачем? Тебя что, история лагерей волнует? Или тебя интересует судьба?» — «Да мне, — говорит он, — просто *интересно* это читать». И я вдруг понял, что для него, мальчика, воспитанного в комфортных условиях, не испытывавшего страданий, не испытывавшего лишений, ему просто интересно читать, как люди голодают, как они себя ведут на допросе, на грани жизни и смерти. Он читает это как «Остров сокровищ». Понимаете? Он читает это как роман. И поэтому, мне кажется, Солженицына каждое новое поколение будет читать совершенно по-новому, по-другому. И не только его вещи, но его личность, его судьбу.

Ведь у Солженицына очень парадоксальная судьба. Мы, русские, всегда очень пристально всматриваемся в то, как уходит писатель, как он умирает. Обстоятельства гибели Пушкина, Лермонтова нас волнуют больше обстоятельств их рождения. Об уходе Толстого написаны горы литературы. И мы все время думаем: почему, как это случилось? Солженицын был очень мятежной фигурой, что видно по книге Людмилы Ивановны Сараскиной. Он был студентом, зэком, солдатом, офицером, диссидентом, эмигрантом, вот такая бурная жизнь. Но посмотрите, как он тихо и мирно ушел! В Москве, в своем доме, в своей семье. И в этом тоже есть какой-то месседж, послание о том, как нам надо жить дальше. Спасибо!

Л.И. Сараскина: Уважаемые коллеги, друзья! Мы уложились ровно в два часа, это время нам и было отведено. Поэтому, завершая круглый стол, от имени организаторов и участников я благодарю всех, кто здесь присутствовал. Не все успели выступить. Но у нас есть несколько месяцев до конца года, когда мы начнем собирать материалы для большого сборника, куда войдут материалы и этого круглого стола, и той конференции, которая должна состояться в декабре. Так что все те, кто здесь выступал, и те, кто не выступал, но хотел и не успел, и те, кто даже не думал выступать, но сегодня, сейчас надумал тоже что-то сказать, пожалуйста, готовьте свои тексты. В конце декабря я буду их собирать и надеюсь, у нас получится хороший, добротный сборник в честь 90-летия Александра Исаевича Солженицына. И мы еще поздравим друг друга с этим прекрасным юбилеем. Всем спасибо!

Путь А.И. Солженицына
в контексте
Большого Времени

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

*Русский Общественный Фонд Александра Солженицына
Российская академия наук
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям*

ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ

Ведущий — *М.В. Сеславинский*

Выступления: *С.О. Шмидт, С.С. Говорухин, Н.Д. Солженицына*

М.В. Сеславинский: Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас всех приветствовать в главном выставочном зале нашей страны на выставке «Александр Солженицын и его время в фотографиях», организованной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Правительством Москвы, Русским Общественным Фондом Александра Солженицына и музеем «Московский Дом фотографии».

Собственно говоря, сегодняшний наш вечер — это прелюдия к начинающемуся завтра серьезному, ответственному разговору на фактически первой международной конференции такого уровня в нашей стране, посвященной А.И. Солженицыну. И если завтра мы предполагаем погрузиться в гигантское творческое наследие Александра Исаевича Солженицына, то цель нашего сегодняшнего вечера — соприкоснуться со зрительным образом Александра Исаевича, потому что, конечно, мы все рассчитывали, что в эти дни Александр Исаевич будет с нами. И сегодня мы можем на самых различных фотографиях, от крохотных, 3×4 сантиметра, до широкоформатных, увидеть, что же из себя представлял ХХ век, век Александра Солженицына.

Наш краткий разговор прошу начать академика Российской академии наук, председателя археографической комиссии Сигурда Оттовича Шмидта. Прошу Вас, Сигурд Оттович.

Прием состоялся на выставке «Александр Солженицын и его время в фотографиях» в Центральном выставочном зале «Манеж» 4 декабря 2008. Выставка проходила 26 ноября — 14 декабря 2008.

Автор выставки: директор музея «Московский Дом фотографии» О.Л. Свиблова. *Организаторы:* Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Правительство Москвы; Департамент культуры города Москвы; музей «Московский Дом фотографии»; Русский Общественный Фонд Александра Солженицына. *Фотографии предоставили:* семья А.И. Солженицына; музей «Московский Дом фотографии»; Государственный архив Российской Федерации (Москва); Российский государственный архив кинофотодокументов (г. Красногорск Московской области); Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник; частные коллекционеры.

С.О. Шмидт: Весьма знаменательно, что жизнь и судьба Александра Исаевича Солженицына будут отражены в программе образования, что его творческое наследие будут изучать в школе. В представлении большинства он великий писатель. «Матренин двор», может быть, — одно из самых лучших прозаических произведений русской литературы Нового времени. Но Александр Исаевич — еще и очень крупный историк. Он осмелился сделать то, что не могли сделать профессиональные историки, не решались, у них не хватало ни знаний, ни, может быть, нравственного подхода. Он сумел не только остановиться на темах, которые недостаточно были осмыслены, но он необычайно обогатил источниковую базу знания российского XX века. Может быть, можно с ним не соглашаться. Может быть, был субъективен его выбор, но ведь в истории исторической науки, если исключить сталинские времена, всегда было разномыслие и разный подход к источникам. Я — профессиональный историк, и поэтому я хочу подчеркнуть именно этот момент. Но важно оказывается вот что. Конечно, все думали, что больше всего Александр Исаевич обращает внимание на глобальные явления в отечественной истории: начало XX века, война, большевизация, ГУЛАГ и так далее. Но оказывается, уже очень знаменитый Солженицын в 2000 году сумел высказаться о краеведении. То есть об отношении к своему краю. Краеведение настоящее — всегда краелюбие. И вот для меня это было открытием, поскольку я этим занимаюсь, и это — одно из важных явлений в истории общественной жизни и науки России настолько, что в 2000 году в Сорбонне, по инициативе Сорбонны, естественно, на средства Сорбонны состоялась международная конференция «100 лет российского краеведения: 1890–1990. История падения и перспективы». Это был 1990 год, создание Союза краеведов России, когда я стал председателем этого Союза. И сейчас мы наблюдаем возрождение того, что было очень важным в 20-е годы, когда интеллигенция хотела приобщить к культуре тех, кто был от нее далек. Профессора были отторгнуты от преподавания, а ведь они отдали все свои силы, создавая библиотеки, музеи, местные вузы. Краеведение пало первой жертвой репрессий в зловещий 1929 год, ибо нельзя было объединять вокруг себя интеллигенцию. Александр Исаевич написал в редакцию журнала «Щелково» (9 июля 2000): «Ваш журнал радуется уже тем, что он издается *всего лишь* районными силами, а такой разнообразный, чуткий одновременно и к родной старине, родному краю, но отзывчив и к повседневной сегодняшней жизни. Повседневная сегодняшняя жизнь, история повседневности — главная тема последних международных конгрессов, и то, что сделали наши краеведы 20-х годов, — они выработали ту методику, которая интересует

весь мир. Краеведение – драгоценное занятие и лучшее воспитание патриотизма. Это многолетне подавленная у нас область исторического знания». Это формула, которая действительно определяет самое существенное. Она очень значима для внутреннего, непоказного демократизма Солженицына: «Каждому району средней России пожелал бы я иметь такой журнал». Знаменитый писатель написал в малоизвестный журнал: «Считаю, что это нужно». Вот это есть настоящая демократическая традиция краеведения, она очень созвучна сегодняшнему дню, потому что и та коллекция, которая создана в Фонде «Русское Зарубежье», – это, собственно, коллекция людей всей России, вовсе не знаменитых. И начал знакомство с Россией, возвратившись, Солженицын со знакомства с российской провинцией. И жил он в российской провинции. Мы сейчас наблюдаем буквально бум краеведения, мы проводим ежегодный конкурс краеведческой литературы, работ все больше, а премий мало. Я думаю, когда наши краеведы узнают, что великий Солженицын является и частицей их занятия, они будут очень этим горды. Спасибо.

М.В. Сеславинский: У каждого из нас свой опыт первого прочтения литературных произведений Александра Исаевича Солженицына. У моего поколения, конечно, всегда был животрепещущий интерес узнать, какой же он на самом деле, Солженицын, всегда очень хотелось увидеть его живьем. Первым прорывом для отечественного зрителя стал фильм Станислава Сергеевича Говорухина, в котором мы увидели и Александра Исаевича, и его семью. И так мы познакомились не только с литературным классиком на бумаге, но и с великим человеком. Станислав Сергеевич, прошу Вас.

С.С. Говорухин: После прочтения «Одного дня Ивана Денисовича» у моего поколения был повышенный интерес к личности писателя: какой же он на самом деле? Увидеть бы его живым! Но где? И как...

Я лично уже полвека живу с именем Солженицына. Да не я один. День прочтения его первой книги стал для меня поворотным. «Иван Денисович» вызвал к жизни новую литературу, совсем не похожую на кондовый соцреализм: это и «лейтенантская» проза, с ее жесткой правдой о войне, и книги писателей-деревенщиков.

Вся Россия читающая следила за схваткой одного гражданина с этой всепожирающей государственной машиной. И гражданин победил! И это сражение оказало огромное влияние на все общество. Изменился нравственный и политический климат в стране. И это ускорило кончину Совьи Глазьевны, как мы называли на кухнях советскую власть.

Всегда вспоминаю свои счастливые дни, которые я провел в Вермонте, соприкоснулся с великим писателем, был допущен в святая святых — в его творческую лабораторию. Говорят, дружба с великими — это дар богов. Конечно, я не был его другом в житейском понимании. Но я уже был его другом до того, как познакомился с ним лично.

М.В. Сеславинский: Вы знаете, дорогие друзья, когда 3 августа пришла скорбная весть о том, что не стало Александра Исаевича, то, наверное, каждый из нас почувствовал опустошение в своей душе, в своем сердце. И все это время, в общем-то, мы не представляли, как масштаб этого человека сохранить и передать всем его поклонникам и всей стране. И вот этой осенью очень отчетливо и ярко проявился соратник, подвижник, последователь Александра Исаевича — его супруга Наталия Дмитриевна, которая вдруг на свои плечи взяла и эту эстафету тоже. И с честью ее понесла дальше. Я смотрел по телеканалу «Культура» Ваш разговор, Наталия Дмитриевна, с А. Максимовым и обратил внимание, с чего начинаются звонки в студию. Звонки в студию начинаются со слов благодарности Вам лично. Мне кажется, Вас благодарят не только за то подвижничество и за тот подвиг, который происходил в Вашей жизни вместе с Александром Исаевичем, но и за то, как достойно, как значимо для страны Вы ведете себя эти месяцы. Какое это большое дело, как к Вам люди прислушиваются, начиная от вопросов воспитания детей и заканчивая крупными мировоззренческими вопросами. Слово Наталии Дмитриевне.

Н.Д. Солженицына: Я себе позволю говорить не об Александре Исаевиче, а обо всех нас, его читателях. И вообще о стране. Вот прошло уже, будем считать, двадцать лет, как мы живем в совсем новой стране. Со всеми болячками прошлого, с родимыми пятнами, это понятно, но все-таки страна — совсем новая. Двадцать лет — это очень много. Уже выросли студенты, которые еще не родились в 88-м году. И мы уже попривыкли настолько, что как бы и не чувствуем, насколько страна изменилась. А я вот на днях пережила удивительный опыт. Мы готовим к открытию сайт, первый официальный сайт Солженицына. В связи с этим я погрузилась в обильное чтение, отбирая, что поставить на сайт. И вот перечитала статьи Генриха Белля, очень давние. Всего четыре таких статьи. Одна из них — приветствие Александру Исаевичу к его 60-летию, 30 лет назад. Я, конечно, их читала прежде, и не раз. И вдруг какие-то слова совершенно по-новому прозвучали. Я хочу их вам прочитать.

Вот Белль пишет (это 78-й год, железный занавес в действии):

«Ни в одном государстве, ни в одной стране на свете нет таких замечательных музеев, как в Советском Союзе; взять хотя бы оба толстовских музея — в Ясной Поляне и Москве, чеховские дома — в Ялте и Москве, два музея Достоевского, — везде великолепные экспозиции, их прекрасно содержат, хорошо посещают... Уверен, что в Советском Союзе будут чтить и Александра Солженицына, которому ныне исполняется шестьдесят лет.

...Будет ли праздноваться день его рождения лишь подпольно, тайком? Появятся ли цветы перед последней его квартирой на улице Горького, откуда началось его изгнание? Не бросит ли кто-либо на ходу из машины букет цветов к воротам Лефортовской тюрьмы? ...Трудно себе представить, чтобы этот день остался без внимания в Советском Союзе.

...Александр Солженицын совершил переворот в сознании, переворот всемирного значения, который нашел отклик во всех концах света. Он разоблачил не только ту систему, которая сделала его изгнанником, но и ту, куда он изгнан...

Откроют ли к его восьмидесятилетию 11 декабря 1998 года или к его столетию 11 декабря 2018 года музей Солженицына в Кисловодске, Рязани или Москве?»

Это тогда воспринималось просто риторикой, некоторым даже реверансом в сторону пусть не Советского Союза, но нас, его жителей. И вот поразительно — мы дожили до того, что в Кисловодске музей Солженицына открывают, в Рязани он уже есть некоторое время, есть маленький школьный музей в Мезиновке, где Солженицын учительствовал, живя у Матрены, наверное, будет когда-то и в Москве. И нам это не кажется удивительным — ну просто мы уже живем в такой стране, где это возможно. А на самом деле это же — поразительно, что это все случилось, и вовсе не в 2018 году, а вот уже в 2008-м.

Конечно, очень много трудностей, конечно, много несправедливости, много горя. И все-таки какое счастье, что возможна такая выставка, что на ней и в будние дни — масса молодежи. Это же замечательно.

В течение этих месяцев, когда мы готовились к 90-летию Александра Исаевича, я узнала много новых людей, с которыми подружилась. Это и Ольга Свиблова, которая сделала эту выставку, это — и самые разные люди в Агентстве по печати и массовым коммуникациям, от руководства до самых скромных людей, которые сначала просто работали, потому что это их работа, а вот сейчас я чувствую, что в этой работе мы все как-то заново полюбили Солженицына. Он от нас ушел и тем самым к нам пришел, каким-то совсем другим, в другой ипостаси. Я хочу всех поблагодарить и порадоваться вместе со всеми, что

все-таки мы в свободной стране живем, со всеми «но», со всеми зако-рюками, но в свободной стране. И от нас зависит, как мы будем беречь и хранить наше достояние. Вот память Солженицына и его книги и книги многих других. Это теперь зависит от нас, от читателей. Прежде мы сопротивлялись, потому что нам не разрешали, — это было очень легко. А вот сейчас, когда мы свободно можем выбирать, нам никто ничего не запрещает, — сейчас наша собственная цена очень быстро проявится. Вот я всем нам желаю, чтобы у нас оказалась высокая цена. Спасибо всем!

М.В. Сеславинский: Спасибо большое, Наталия Дмитриевна! Разрешите, дорогие друзья, всех вас пригласить к осмотру выставки. Поздравляю вас. И завтра в 11 часов мы начинаем нашу конференцию. Спасибо.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ: «СЛОВО ОБ АЛЕКСАНДРЕ СОЛЖЕНИЦЫНЕ»

Ведущий — *М.В. Сеславинский*

Приветствия: *Президент РФ Д.А. Медведев, мэр г. Москвы Ю.М. Лужков, Принц Уэльский Чарльз, историк Р. Конквест, главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Д. Рэмник, директор издательства «Файар» К. Дюран*

Выступления: *Дж.Р. Полльева, И.О. Щеголев, Ю.С. Осипов, В.П. Лукин, А.Н. Сокуров, В.Ю. Виноградов, М.Е. Швыдкой, Н.Д. Солженицына, Е.В. Миронов, С.В. Мирошниченко, Э. Каррер д'Анкокс, В. Страда, С.Ю. Юрский, С. Фредриксон, А.Г. Филиппенко*

М.В. Сеславинский: Дорогие друзья, уважаемые гости, приветствую вас на фактически первой в России столь масштабной Международной конференции «Путь Александра Исаевича Солженицына в контексте Большого Времени», посвященной 90-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Эта конференция готовилась, пожалуй, целый год, в первую очередь — Русским Общественным Фондом Александра Солженицына, и, безусловно, без энергии Наталии Дмитриевны она не могла бы состояться. Конференция организована при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Министерства связи и массовых коммуникаций, Правительства Москвы, Министерства культуры, Российской академии наук. Сегодня в этом зале собрались около двухсот участников конференции. Одна десятая их — представители зарубежных государств: Австрии, Венгрии, США, Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Японии, Индии — люди, которые давно занимаются изучением наследия великого русского мыслителя и литератора Александра Исаевича Солженицына. Вчера участники конференции побывали в главном выставочном зале страны — в Манеже, где могли познакомиться с приуроченной к нашей конференции выставкой, наглядно рассказывающей о жизненном пути Александра Исаевича и о том, что сопровождало этот длинный XX солженицынский век в самой нашей стране — в Советском Союзе и в Российской Федерации. Наша конференция построена следующим образом: первая ее часть, которая займет примерно два часа, до 13 часов, — это приветствия. Но не формальные приветствия, а приветствия, ко-

Российская государственная библиотека, Пашков Дом (Москва), 5 декабря 2008.

торые мы сформулировали как «Слово об Александре Солженицыне». И, с вашего позволения, я проведу эту сессию. Извините, что не представился в начале. Моя фамилия — Сеславинский, зовут меня Михаил, я руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я хотел предоставить слово помощнику Президента Российской Федерации Джахан Реджеповне Поллыевой.

Дж.Р. Поллыева: Дорогие друзья! У меня сегодня очень почетная обязанность, и я бы хотела ее исполнить. От Президента РФ Д.А. Медведева поступило приветственное послание в адрес организаторов, участников, гостей Международной научно-практической конференции «Путь Александра Исаевича Солженицына в контексте Большого Времени». Разрешите огласить его.

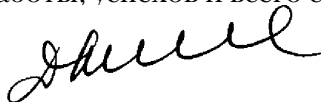
ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА

Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Международной научно-практической конференции «Путь Александра Исаевича Солженицына в контексте Большого Времени». В череде мероприятий, посвященных памяти этого выдающегося мыслителя и литератора, гражданина и патриота, она занимает особое место.

В характере Александра Исаевича всегда жили неуспокоенность и свободолюбие цельной, неординарной личности, острое неприятие несправедливости и фальши, твердость духа и моральных принципов. И конечно, безграничная сыновняя любовь к Отечеству, к родной земле и согражданам. Обладая мощным интеллектом и гражданской совестью, он до последних дней продолжал думать о том, «как лучше обустроить Россию».

Многие из идей Александра Солженицына сегодня актуальны и способны принести огромную пользу в укреплении государственности и гражданского общества. И собравшиеся на вашем форуме представители российской и мировой интеллигенции, видные ученые и деятели культуры будут обсуждать проблемы современного развития в контексте наследия Солженицына. Наследия — мировой философской мысли, в котором его фундаментальные труды занимают достойное место.

Желаю вам плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.



Д. Медведев

Дж.Р. Полльева: Я не буду долго занимать ваше время. Конечно, каждый, кто здесь находится и у кого, конечно же, будет возможность высказать свое мнение и поделиться своими чувствами в ходе этого форума, будет это делать с большим удовольствием. Потому что прикоснуться к наследию этого великого человека, быть сегодня вместе со своими единомышленниками и находиться в таком кругу, среди философов, литераторов, правозащитников, актеров, литературных критиков и многих, многих других – это значит присутствовать на удивительном действии, которое касается человека многогранно одаренного, и оставившего после себя очень многое, и давшего нам всем так много, что мы можем об этом думать, говорить и собираться в таком интересном обществе и таким интересным кругом людей, приехавших сюда из многих стран мира. Я поздравляю вас с открытием этой конференции и желаю ей огромных успехов, потому что она действительно очень многое обещает. Я думаю, эта конференция будет далеко не последней в череде последующих событий такого же рода и такого же масштаба. Благодарю вас.

М.В. Сеславинский: Джахан Реджеповна, прошу Вас передать приветствие Президента в Фонд А.И. Солженицына. Я хотел попросить выступить министра связи и массовых коммуникаций Игоря Олеговича Щеголева.

И.О. Щеголев: Добрый день, уважаемые друзья! Вы все читали, как Александр Исаевич запоминал на память строки, которые не мог хранить на бумаге в лагерях и которые затем сложились в «Архипелаг ГУЛАГ». Так он открыл для себя возможности человеческой памяти, о которых ранее не подозревал. В тот момент Солженицын обладал драгоценным содержанием, но был лишен, извините за технократичность, средств обработки, хранения и распространения информации. А сегодня зачастую бывает наоборот: в наличии целый арсенал технических средств, носителей, форматов, а человеку почти нечего сказать или же ценность содержания намного ниже стоимости средств его доставки. Можно переводить книгу в звуковой формат, выводить на электронную бумагу, на экран телефона и даже на потолок в ванной проецировать. Возникает вопрос: что же читать? Чем наполнить постоянно расширяющуюся информационную вселенную? Черными дырами и космическим мусором?

Роль системообразующих объектов, крупных светил, вокруг которых вращаются частные понятия и смыслы информационного пространства, играют большие книги. И художественный мир Солженицына диктует свои законы гравитации, воспитавшие уже не одно

поколение. Главный закон его творчества, на мой взгляд, очевиден и ощутим каждому читателю: сохранить в человеке, в обществе достойное содержание при любых условиях, а часто — и вопреки обстоятельствам. Главная ценность для Солженицына — человек содержательный. Это человек любой национальности, принадлежащий к нашей русской цивилизации. Несмотря на все мифы о людях русской цивилизации, всему миру известно, что человек наш в высшей степени одарен. Он отзывчив ко всему миру, он опирается на опыт мирного сосуществования многих культур, национальностей, религий. По природе своей этот человек доброжелательный и обладающий талантом в науках, искусствах, технологиях, в покорении духовных вершин.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» — манифест внутреннего содержания человека. Солженицын показывает, что человек русской цивилизации сильнее самых страшных условий. Он не вырождается в зверя, не беснуется, не превращается в ноль, но морально побеждает, потому что сохраняет лицо, и душу, и достоинство, то есть внутреннее содержание. В «Красном Колесе» глубоко содержателен образ Столыпина, личности, которая настолько наполнена этим внутренним содержанием в интеллектуальном, нравственном, культурном и даже стилистическом плане, что способна морально противостоять хаосу ползущей революции, угрожающей обществу. Даже в «Крохотках» Солженицын может показать победу человека над обстоятельствами, над целой системой сталинских лагерей. Вспомним неведомого заключенного из рассказа «Абрикосовое варенье», который, умирая с голоду, отправляет письмо известному советскому писателю и заставляет маститого мэтра поразиться верному и живому стилю этого письма, недостижимому для всей официальной советской литературы.

Люди — главное сокровище всех без исключений произведений Солженицына. Сохранение человека в «круге первом», в раковом корпусе, в жерновах революции, в ужасе ГУЛАГа, на фронте — вот стратегическая задача писателя. И мы разделяем эту цель. В современном информационном пространстве сохранение ответственного, образованного, деятельного и внутренне содержательного человека становится задачей номер один. Содержательный человек — это неисчерпаемый ресурс нашей страны. Цены на нефть и газ могут колебаться, а ценность человека неизменна. Поэтому мы намерены воспользоваться всем, что увеличивает и наращивает эту ценность: гражданское общество и семейные ценности, информационная грамотность и непрерывное образование, свежие и честные газеты, доступ к Интернету и глобальным научным сетям. Мыслящий, талантливый человек, создавший драгоценное содержание, сегодня должен

располагать огромным арсеналом технических средств и носителей для распространения этого содержания в своих собственных интересах и в интересах своей страны. Без Солженицына нам не научиться внутренней свободе и содержательности. Возможно, поэтому наше национальное информационное пространство немислимо без Солженицына, как немислимо без Достоевского, Лескова, Шолохова. Благодарю вас за внимание.

М.В. Сеславинский: Спасибо, Игорь Олегович! И я хотел пригласить к микрофону человека не только занимающего очень ответственный пост, но человека очень близкого и Александру Исаевичу, и семье Солженицына, президента Российской академии наук Юрия Сергеевича Осипова. Прошу Вас, Юрий Сергеевич.

Ю.С. Осипов: Дорогая Наталия Дмитриевна! Уважаемые коллеги! Александр Исаевич Солженицын...

Совсем недавно он закончил свой жизненный путь. Но он с нами: в сердцах, умах, воспоминаниях, в творческом наследии, в судьбах многих людей. «Выдающийся русский характер, которомучастливилось быть осуществленным в России раз в 300 лет», — сказал о нем поэт Давид Самойлов. Путь Александра Исаевича Солженицына в Большом Времени продолжается.

В канун его 90-летия нельзя не задуматься о масштабе великого дарования этого сложного мыслителя, художника с пророческим призыванием, о глубине его взаимосвязей с Россией, с «Узлами» ее исторического бытия, о его литературных и исторических шедеврах.

Огромное по масштабу документальное исследование «Архипелаг ГУЛАГ» (1968), полифоничное «Красное Колесо» (1986), трактат «Двести лет вместе», научный труд «Русский словарь языкового расширения» (1947–1988) и литературная «коллекция» портретов русских писателей (его история в лицах) поражают величайшей фактичностью, силой исследовательской мысли. Однако они не заслонили его «малой прозы» — ставших классическими «Один день Ивана Денисовича» (1962), «Матренин двор» (1963) и серии поздних двучастных рассказов 1990-х годов: «На изломах» (1996), «Крохотки» (1958–1998). Как «персонификация пророка» (используя метафору В. Максимова), как «гений борьбы», шедший сквозь бурную историю России XX века, предстает Солженицын в своей публицистике: «На взврате дыхания и сознания», «Образованщина», «Жить не по лжи!», «Русский вопрос» к концу XX века».

Нельзя не напомнить о тонких и глубоких размышлениях Солженицына о русском языке, которые отражают взгляды писателя отно-

сительно необходимости сохранить богатства родного языка, размываемого в результате «энтропийных» процессов. Язык самого писателя, который ждет еще множества внимательных исследователей, представляет практическую реализацию этих взглядов.

На фоне грандиозных творческих деяний, которые во многом изменили образ отечественной литературы, способствовали отказу от управления литературным процессом, поражает редкая цельность мировоззренческой, нравственной модели поведения писателя, цельность его личности. О чем он мечтал, что завещал потомкам, пребывая, как говорил он сам в стихотворении в прозе «Молитва», «на хребте славы земной»?

Он обозревал собственный творческий путь как посланец Бога, как пророк, которому Творец дал особую высоту:

Откуда и я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих.
и сколько надо будет,
чтобы я их еще отразил, —
Ты дашь мне.
А сколько не успею —
значит, Ты определил это другим.

К счастью, писатель многое успел в утверждении главной своей идеи — идеи народосбережения, спасения мира от зла, насилия и лжи. На изломах судьбы, среди трагедий века, скитаний и преследований он создал характеры, которые поражают чистотой души, верой в жизнь. Это, прежде всего, Иван Шухов из «Одного дня...», Матрена из владимирской деревни Мильцево. Поэтому не совсем правы те критики, которые рассматривают художественную панораму Солженицына только через призму «лагерной прозы». Наивны, на наш взгляд, и попытки противопоставлять Варлама Шаламова как «стойка» и Солженицына, которому навязывается роль «мстителя».

Сейчас очевидно, что идеи народосбережения, сохранения в человеке совести и воли к добру были так глубоко укоренены в писательском сознании Солженицына, что он обрел моральное право на диалог с обширнейшим кругом читателей в России и во всем мире. Не случайно центр его творческих интересов постоянно перемещался — от «ГУЛАГа» к «Красному Колесу», этому прообразу смуты, от «оранжевой революции» к керенщине. Нравственная программа писателя, отраженная в его известном высказывании: «Совесьть — вот что внесла русская литература в мировое сознание» (эту мысль разделял и наш великий композитор Г.В. Свиридов), подняла гуманизм Солженицына до масштаба явления всемирного значения.

Творящая сила памяти... Однажды Солженицын сказал о себе: «Я хотел быть памятью. Памятью народа, которого постигла большая беда». Он исполнил эту мечту, не обойдя, конечно, и побед этого народа, и его великих духовных открытий, и подвигов, свершенных среди бед и потрясений. Он увидел с горечью и «Россию в обвале». Но память его не изнемогла, не померкла от тягостных впечатлений. Сейчас мы с благодарностью можем говорить о писателе как о великом заступнике России, как об осуществленной надежде Родины. Солженицынские страницы в истории русской литературы, его знаменитые «Узлы» – то есть трагедийные коллизии катастроф и побед, восхождений и обвалов – это величайшая школа жизни, это поистине возврат дыхания и сознания для грядущих духовных побед России.

Позвольте мне от имени Российской академии наук пожелать участникам конференции успеха.

М.В. Сеславинский: Спасибо, Юрий Сергеевич. Честно говоря, дорогие друзья, даже хочется делать какие-то паузы, чтобы вдуматься в те слова, которые произносятся с этой трибуны, потому что мы видим, что это не формальные выступления, а серьезное философское слово об Александре Исаевиче Солженицыне. Но, учитывая, что материалы конференции будут изданы, мы можем к этому вернуться еще раз, когда эти слова уже увидим в качестве печатного текста. И сейчас я хотел попросить выйти к микрофону еще одного человека, близкого Александру Исаевичу, близкого друга семьи Солженицыных, тоже занимающего серьезный государственный конституционный пост, уполномоченного по правам человека Владимира Петровича Лукина.

В.П. Лукин: Дорогие друзья! Я совершенно искренне считаю одной из самых, а может быть и самой большой, удачей своей жизни то, что мне удалось вручить Александру Исаевичу и его семье отобранные у него незаконно российские паспорта и российское гражданство. Это событие – особое в моей жизни. Я думаю, это – незаурядное событие и в жизни семьи Александра Исаевича. За несколько минут вряд ли можно сказать об Александре Исаевиче что-либо серьезное и содержательное. Тем более что его юбилей почти совпал с его уходом от нас. Прощаясь с ним, каждый уже сказал, по меньшей мере самому себе, самые главные, самые сокровенные слова о нем.

Для меня Солженицын означает огромное расширение предела человеческих возможностей. Он показал нам, что может сделать один человек. Насколько человек может быть велик и силен. Ведь он, казалось, бросал вызов самой судьбе. И вот все мы, пораженные, уви-

дели, что, если человек этот — на стороне или, лучше сказать, в потоке метафизических сил истории, иными словами, на стороне Бога, он может так поступать и побеждать. Такой опыт уникален. Его вряд ли кто-либо из нас в силах повторить. Но он внушает надежду.

Говорят, что Солженицын противоречив. Возможно, это правда. Но кто из великих не противоречив? Окончательное разрешение противоречий означало бы конец истории. Но история продолжается. Мне кажется, что в творчестве Солженицына есть две темы, две сквозные линии, составляющие в совокупности мотив его жизни, мысли, судьбы. Это, во-первых, — Россия, ее история, ее идентичность, ее драма. И во-вторых, это — нравственная сила, непоколебимость и достоинство человека в любых обстоятельствах, включая совершенно экстремальные, казалось бы, безвыходные. На стыке этих двух линий противоречия абсолютно неизбежны. Их яркий свет пронизывает всю российскую историю, всю российскую культуру. Несколько ярких имен олицетворяют в наших душах эту неразрешенную и вряд ли до конца разрешаемую проблему. Я абсолютно уверен, что отныне и навсегда имя Александра Исаевича в этом круге наших душ будет стоять одним из первых.

А теперь позвольте мне сказать несколько слов словами поэта, имя которого уже называлось:

Вот и все. Смежили очи гении.
И, когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и мутно, и темно.
Как нас чествуют
И как нас жалуют.
Нету их — и все разрешено.

Спасибо!

М.В. Сеславинский: Спасибо, Владимир Петрович! У нас будут еще два очень важных выступления от представителей органов власти. Но я хотел немного такую субординацию выступлений нарушить. В зале много людей, которые пропустили через себя и художественно осмыслили труды Александра Исаевича, его путь и судьбу. И я хотел попросить сказать несколько слов нашего великого, выдающегося режиссера Александра Николаевича Сокурова. Александр Николаевич, прошу Вас.

А.Н. Сокуров: Большая честь для меня — быть здесь сейчас, говорить — еще бóльшая честь. И с нежностью, и с благодарностью я вспоминаю встречи с писателем, и когда говорил с ним (а бывало, и спорил), ни на секунду не забывал, с кем я говорю. Но это происходило не из-за особой какой-то стати его внешней или его характера, не по этой причине, а по причине глубины и стремительности течения его реки. И как будто бы ты находишься на берегу и бежишь по этому берегу, пытаешься догнать, успеть, а вот уже и поворот, а там уже и в море вода упала, и не догнал. И понятно, что Господь преподнес нам его как какое-то особое явление, опасное, непонятое, неоцененное, и никогда, наверное, на Родине по-настоящему не будет оценен этот человек.

Ну вот смотрите: «Сбережение народа...», «Как обустроить...», «Русский словарь языкового расширения», «Бодался теленок...», «Люди забыли Бога...»... Обратим внимание, сколько энергии и сколько действия, как велико значение глагола. Может быть, за очень многие и многие десятилетия Господь подарил нам писателя, который как бы является глаголом русской литературы, человека, который отказался от роли простого бытописателя и который не стал созерцателем, а стал совершать поступки. Мы прекрасно понимаем, что означает совершить поступки для образованного, интеллигентного человека в России, какая страшная цена за эти поступки всегда была, и как многие из нас сжимались в страхе от ужаса при мысли о том, что за этим последует. Совершать поступки для писателя особенно опасно, мы понимаем это. Поступок — это действие, это омут, это водоворот, это бой, это стирание границ между тактикой и стратегией, и что еще опаснее, потому что нет ни щита, ни меча, ни доспехов, только ты сам, а перед тобой — люди, перед тобой твой народ, который сам готов пойти на сговор ради своего собственного спасения. Я хотел, чтобы мы обратили внимание именно на эту ситуацию.

В тяжелейшие годы скитаний, срама, предательства и лицемерия Солженицын послал всему нашему народу (не только русскому народу — всему народу уникальной страны, имя которой Советский Союз) энергию совести культуры и почувствовал, как никто другой, что вот этой гуманитарной энергии у собственного народа не хватает. Он видел, что этот народ устал, может быть, от самого себя устал, может, устал от хождения по кругу, но этот народ устал. У него хватило смелости сказать людям, что впереди очень тяжело, все, что впереди, очень тяжело, а позади, к сожалению, срам. Он всеми возможными средствами пытался восстановить цепь совести и достоинства русского литератора и показывал библейское благородство жертвы, что принципиально важно, потому что именно в его случае это — осмыс-

ленное, осознанное поведение, а не случайность ареста. Его поступки и его поведение совсем не являются случайностью.

И много виноваты мы перед ним, как и перед всеми, кто был в то время с ним. И значительную часть вины я беру на себя. Я говорил Наталии Дмитриевне, я говорил Ростроповичу, я говорил Вишневской, что тогда, когда я был студентом, учился на историческом факультете и видел вокруг себя тихий-тихий, задавленный страхом ропот, я никоим образом и ни одним движением не встал рядом с этими людьми. И эта вина будет со мной до конца дней моих. И вина на моем поколении до конца дней будет за это также.

Но если говорить, как я представляю себе этого человека, то он в моем представлении — лесник. Он изучает, охраняет и расчищает, и в этом лесу он многое успел сделать. Для меня это совершенно очевидно. Но далеко не во все стороны этого леса мы еще добрались, и многое еще мы не видели. Когда мы добредем, мы увидим, что он уже здесь был, поляны расчистил, от упавших деревьев расчистил тропинки, а на берегах лесных озер закрепил мостки, да и с перилами, осторожно спустил ступенечки в чистую воду, и вот тихо, свежо и солнечно вокруг, только деревья и птицы.

Как-то спросил я его о возрасте души: она — душа его — старше или младше его тела? И он помолчал и сказал: «Трудный вопрос, жили мы в согласии год за годом», — а потом последовало многоточие. На остальную часть вопроса, наверное, как-то душа его пыталась ответить, но он не решился называть вещи своими именами, а может быть, и не надо.

Я хочу пожелать всем нам и нашим литераторам, нашим писателям быть не брошенными собственным народом, быть понятыми собственным народом, любимыми собственным народом и не быть никогда в одиночестве в этом колоссальном, огромном море и просторстве этого процесса дегуманизации, который набирает темпы каждый день сегодня, когда с каждым днем положение внутри общества, не только русского общества, но и европейского с точки зрения гуманитарных принципов становится катастрофическим, когда дегуманизация проникла во все сферы жизни. Дегуманизирована политика, дегуманизирована экономика, дегуманизировано образование. Эта стремительная потеря позиций гуманизма в современном общественном развитии, всемирная потеря этих позиций гуманизма является самой главной и самой большой угрозой, которая стоит перед литературой. Современная литература отстает перед напором и агрессией дегуманистических настроений, политических настроений.

Будем читать Солженицына и будем помнить его. И будем понимать, что Солженицын — это трудное, тяжелое, сложное явление, что это тайга, что никогда до конца мы не сможем понять всю полифо-

нию, все поразительное многозначие его языка. Это уникальный русский язык, это абсолютно уникальная литература, и за это ему отдельное спасибо, потому что это эволюционный шаг писателя. Он русский язык, русскую литературу, мысль русскую поднял на еще одну эволюционную ступень, не совершая при этом никаких революций. Спасибо Александру Исаевичу за это и благодарность ему. И всем, кто помнит его, кто собрался, всем гостям нашей страны, кто приехал к нам сюда, проявляя любовь к русской литературе, к русской культуре, сердечная вам всем благодарность. Всем, кто из разных стран приехал, сердечная благодарность. Спасибо!

М.В. Сеславинский: Спасибо, Александр Николаевич. В качестве, может быть, небольшой паузы и продолжения слов Александра Николаевича хочу сказать, что мы чувствуем необычность конференции. По много лет мы, все выступающие, знаем друг друга, но сплошь и рядом о самом главном не говорим. И вот Александр Исаевич, объединив нас в этом зале в сегодняшний день, пропитал воздух этого зала интеллектом, нравственными исканиями, моральными сомнениями, и я хотел от лица организаторов конференции поблагодарить Российскую государственную библиотеку, генерального директора Российской государственной библиотеки Виктора Васильевича Федорова, который нам предоставил этот зал. Потому что все те мысли, которые сегодня звучат, усиливаются в десятки раз теми миллионами книг, рукописей и архивных материалов, которые сосредоточил комплекс этих зданий. Давайте аплодисментами поприветствуем нашу главную библиотеку страны.

Спасибо! Очень много в эти дни, с третьего августа этого года, и при жизни Александра Исаевича, и сейчас для организации этой конференции сделало Правительство Москвы, и я хотел пригласить к микрофону заместителя мэра Москвы Валерия Юрьевича Виноградова. Прошу Вас!

В.Ю. Виноградов: Спасибо. Добрый день, уважаемая Наталия Дмитриевна, уважаемые коллеги! Вы знаете, сегодня в Москве, помимо нашей конференции, в которой мы имеем честь участвовать, на Нижней Радищевской, дом 2, в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье», которую основал Александр Исаевич, буквально несколько минут назад началась конференция Международного совета российских соотечественников, в которой я тоже принимал участие, а в храме Христа Спасителя в эти же минуты проходит конференция в рамках Русского собора «Духовное слово писателя». Это случайность? Нет! Мне кажется, это закономерность. Нас всех собрала общая память, общая любовь и почтение к великому творцу и гражданину земли рус-

ской. И сегодня, отмечая эту дату, глядя на эти замечательные фотографии, мы незримо чувствуем присутствие юбиляра, окормляющее нас мудростью, мужеством и верой в возрождение великой России.

Кажется, мы обязаны Божественному провидению за появление на Руси человека, родившегося в годы очередной великой русской смуты и завершившего свой жизненный путь во времена возрождения великой и процветающей России. Александр Исаевич не закрывает прошлое столетие, он олицетворяет собой этот страшный и великий для России XX век. Век, в который российская нация была отдана, говоря опять же словами Солженицына, «на распыл» в революциях, двух мировых войнах, Гражданской войне. Последствия этого в полной мере испытал на себе и сам студент, солдат, узник концлагеря, диссидент и эмигрант, великий писатель. Наверное, поэтому его проникновение в таинственность смуты как вихря, обладающего внутренней формой, его формула «Революция — это хаос с невидимым стержнем» является наиболее глубокой и точной.

На вопрос, какова жизненная цель человека на земле, устами своих героев он отвечает: служение добру, активное противление злу. Приверженность этим принципам он демонстрировал не только в своих трудах и сочинениях, но и в практической жизни. Та Россия, о которой грезил Солженицын, нуждается в стабильном обществе и сплоченной нации. Вот почему и в теоретическом, и в чисто практическом плане нам нужен Солженицын, объединяющий Россию и ее граждан сегодня. Кажется, его меньше всего интересовала идеология, он весь был погружен в философию русской жизни. Как важно, чтобы этим прониклись все наши политические партии и общественные движения! Ибо никакая самая возвышенная идея не заслуживает уважения и поддержки, если она не делает человека счастливее и свободнее.

Последние годы жизни, сразу же после возвращения из эмиграции, с 21 июля 1994 года, когда его и его семью встречал на Ярославском вокзале мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, Александр Исаевич провел в Москве — вначале в Козицком переулке, затем в Троице-Лыково. Здесь им были завершены и опубликованы и книга «Двести лет вместе», и рассказы «Настенька», «Молодняк», «Абрикосовое варенье», «На изломах», и другие произведения. Мы видим свою задачу в том, чтобы в Москве творческое и идейное наследие Солженицына стало достоянием широких масс. В этих целях мы будем и дальше содействовать развитию Русского Общественного Фонда, созданного по его инициативе, оказывать ему помощь в укреплении связей с учебными и научными учреждениями.

Я хотел бы в заключение передать самые теплые и добрые слова Юрия Михайловича Лужкова и завершить такими его словами:

ПОСЛАНИЕ МЭРА Г. МОСКВЫ
Ю.М. ЛУЖКОВА

Летописец и сын XX века Александр Солженицын в личной и творческой судьбе впечатляюще отразил трагизм ушедшего в историю столетия. На долю России в нем выпали войны, революции, невиданные по суровости и жестокости испытания. Но главным содержательным итогом огромного творческого пути Солженицына является для нас вера в Россию, ее неизбывные силы, духовную мощь и красоту, великое будущее великого государства. Желаю участникам конференции уверенного и твердого шага на кремнистом пути научного поиска. Желаю Вам, дорогие друзья, гармонии разума и сердца, крепкого здоровья и счастья.

Мэр Москвы Юрий Лужков

М.В. Сеславинский: Вы знаете, друзья, в эти дни, в эти месяцы появились новые улицы в Москве и в Париже — Александра Солженицына. Давайте аплодисментами поприветствуем эти новые названия. Я хотел пригласить к микрофону специального представителя Президента по гуманитарному и культурному сотрудничеству Михаила Ефимовича Швыдкого.

М.Е. Швыдкой: Уважаемая Наталия Дмитриевна! Уважаемые друзья! Знаете, есть определенная неловкость в том, что мне предоставили слово. Неловкость очень простая: людям, которые прожили в Советском Союзе вполне благополучную или, скажем так, «нормальную» жизнь, говорить о Солженицыне не то чтобы негоже, но в этом есть элемент определенной бессовестности. Когда мы говорим о Большом Времени, надо понимать, что Большое Время в метафизическом смысле — это Бог, с которым Солженицын вел диалог всю свою жизнь, будучи его мессией, пророком (как угодно его можно величать, и все будет впору). Но Большое Время — это еще и люди, с которыми он вел постоянный диалог. Помимо тех двух важных конференций, о которых говорил уважаемый заместитель мэра, сегодня открывается и конференция, посвященная проблемам сталинизма. И если Большое Время (в метафизическом смысле) имеет Божественное измерение, то оно имеет еще и дьявольское измерение. И тот диалог, который вел Солженицын с миром, это прежде всего — битва с дьяволом, причем с дьяволом вполне персонифицированным, вполне конкретным, с тем дьявольским, которое никуда не исчезает.

Я вас повеселю немножко. Был такой замечательный русский артист Леонид Марков. Однажды он пришел к своему руководителю

(он работал в Театре имени Моссовета) и сказал: «Вы меня не цените, Вы вообще здесь не коренной национальности. Я — великий русский артист, я уйду в Малый театр. Мне там дали роль, я буду играть Юлия Цезаря!» Прошло две недели, он вернулся и сказал: «Извините, я был не прав, я не читал пьесы. Юлия Цезаря убивают в первом акте, а я — великий русский артист, я должен был играть все пять актов». Просто при всем своем величии он не понимал, что Цезаря убивают в первом акте, но цезаризм никуда не исчезает.

В этом смысле нам кажется, что мы попрощались с прошлым, а оно все равно живет внутри нас. Оно никуда не исчезает. В этом смысле эта конференция (как и последующие конференции и последующие размышления о Солженицыне, потому что общаться на конференциях с Солженицыным — это важно, но важнее общаться с Солженицыным один на один, с его текстами) для нас, людей, проживших жизнь в Советском Союзе, в уникальной стране, как сказал Сокуров, очень существенна. Потому что наступит день, и мы уйдем из этой жизни, и нам надо уходить внутренне, я не скажу — свободными (это уж слишком шикарно), но освобождающимися, скажем так.

И еще одно, очень важное: Большое Время для Солженицына — это его люди, с которыми он вел диалог. Потому что понять Солженицына просто как человека, который нес свою ношу и писал один непрерывный монолог, совершенно неправильно. XX век (и вообще человеческое понимание мира) — это диалог Солженицына с Сахаровым. Безусловно. И без этого понять его нельзя. И в какие-то моменты каждому из нас был ближе Сахаров, а в какие-то моменты ближе Солженицын. И понять, какой путь для России нужно выбрать — это тоже диалог этих двух великих, в данном случае — политических мыслителей и философов. Большое Время создают люди, но потом оно становится Божественным. Солженицын был Божественным человеком, и не нам, простым смертным, о нем судить. Благодарю вас!

М.В. Сеславинский: Спасибо, Михаил Ефимович! Мы продолжаем и мысли Михаила Ефимовича, и мысли, прозвучавшие во многих предыдущих выступлениях. Я хотел зачитать один документ из прошлого, который долго искал, и так получилось, что он оказался в моих руках буквально вчера. Наталия Дмитриевна вчера в прелюдии к сегодняшней конференции во время посещения выставки, посвященной Александру Исаевичу, вспоминала слова Генриха Белля, сказанные в середине 70-х годов Наталии Дмитриевне (по-моему, в 78-м году) о том, как будет праздноваться юбилей Александра Исаевича Солженицына, его восьмидесятилетие, его столетие. Эти 70-е годы

не так уж далеко от нас ушли. Короткий документ на одной странице, с вашего позволения я его зачитаю полностью:

«Для служебного пользования.

Приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР.

Номер 10-ДСП.

Город Москва, 14 февраля 1974 года.

Содержание: об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А.И.

Изъять из библиотек общего пользования и книготорговой сети следующие отдельно изданные произведения Солженицына А.И., а также журналы, где они были опубликованы:

“Один день Ивана Денисовича” – повесть в журнале “Новый мир”, 1962, № 11.

То же, повесть, Москва, Госиздат, 1963, 47 стр. “Роман-газета” № 1, 700 000 экз.

То же, повесть, Москва, Советский писатель, 1963, 144 стр., 100 000 экз.

То же, повесть, в двух книгах, Москва, Учпедгиз, 1963, книга 1, 75 л., 250 экз., для слепых.

То же, книга 2, 80 л., 250 экз., для слепых.

То же, повесть, на литовском языке, Вильнюс, 15 000 экз.

То же, повесть, перевод с русского, на эстонском языке, 40 000 экз.

Два рассказа в журнале “Новый мир”, 1963, № 1.

“Для пользы дела”, рассказ в журнале “Новый мир”, 1963, № 7.

То же, перевод с русского языка, на эстонском языке.

Рассказ “Захар-Калита”, в журнале “Новый мир”, 1966, № 1.

Изъятию подлежат также иностранные издания (в том числе журналы и газеты) с произведениями указанного автора. Романов».

Н.Д. Солженицына: Я прошу прощения. Вот только что мой сын прислал эсмэску, что умер Патриарх. Встанем.

(Минута молчания.)

Н.Д. Солженицына: Какой скорбный год выдался. Умирают люди, нужные России.

М.В. Сеславинский: Спасибо. Слов, конечно, не найдешь. И в общем, даже не очень понятно, какая у нас должна быть реакция на это скорбное известие. Действительно, гиганты XX века уходят на наших глазах. Наверное, наше как раз предназначение в том, чтобы сохранить все это для истории, сохранить через свое в том числе, субъективное восприятие. В последние годы Солженицын по-разному возвращался к людям. Возвращался и с телевизионного экрана. Возвращался сильными, яркими телевизионными образами, и вслед за этим волной в книжных магазинах появились новые издания, в первую очередь «В круге первом». Я хотел такую трудную миссию передать после известия, о котором сказала Наталия Дмитриевна, актеру и режиссеру Евгению Миронову. Женя, прошу Вас.

Е.В. Миронов: Знаете, так получилось, что я был последним, исключая родных и близких, кто видел Александра Исаевича живым. Принес ему свои фильмы, мне хотелось, чтобы он посмотрел.

Я дважды с ним встречался, мне посчастливилось. В моей жизни это очень сильный поворот — то, что вообще я познакомился и с Александром Исаевичем, и с Наталией Дмитриевной. Мало того, я все-таки сыграл альтер эго Александра Исаевича в «В круге первом». Мне это очень тяжело далось, потому что я знал, что он это будет видеть. Сегодня я, может быть, по-другому бы сыграл. Более, может быть, жестко. Меня что-то останавливало каждый раз, я понимал масштаб личности его. Каким я его увидел... Я даже не имел права показать противоречивость характера! Я за этой противоречивостью поехал к Вам тогда домой, Наталия Дмитриевна. Приехал с бутылкой шампанского, как дурачок какой-то (я не знал, можно ли ему выпивать, нельзя ли выпивать)... Он уже не спускался вниз, на первый этаж, находился только на втором этаже. И мы с таким удовольствием откупорили эту бутылку и за пирожками с мясом, с яблоками, которые Наталия Дмитриевна испекла, сидели, разговаривали... Я не увидел в нем никаких черт, которые мне как артисту что-то подсказали бы, обозначили какие-то противоречивости натуры... (Знаете, для актера очень важно, чтобы был «в объеме» человек.) Но я не мог увидеть ничего — кроме спокойствия духа полного, ясности мысли и радости, невероятной радости, которую он испытывал от встречи со мной (что меня потрясло больше всего)... (Еще назвал меня: Евгений Витальевич!) Но при всем потрясении я понимал, что ухожу с пустыми руками, что никак не могу найти то, что мне хотелось... Кроме каких-то деталей: я увидел мелкий почерк, очень-очень мелкий, это, видимо, лагерная привычка, конечно же, я это использовал в фильме; и еще одной фразы, которую Александр Исаевич мимоходом бросил, а

я включил потом в речь Нержина. Александр Исаевич сказал, что надо каждый день поступком отпечатывать свой жизненный путь. Для него — это естественно. Для меня — это было открытием. И очень сложным было превращение этого в жизнь...

А во вторую встречу... Дух его был настолько сильнее его уже немощного тела, что даже мысли не возникало... Мне казалось, что он будет жить еще очень долго... Сегодня историческое событие — и мы уже без него, но мы с ним. Теперь начался новый этап, новая жизнь с Александром Исаевичем. И я хочу поделиться с вами самым сокровенным — я эту встречу записал (никогда такого не делал). Какие-то вещи, они очень просты... И я хочу, чтобы они прозвучали сегодня.

Как он заговорил о смерти: «Я ее не боюсь, готов хоть сейчас. Вот дверь откроется, она войдет — нисколько не испугаюсь». Щупленький, с большим лбом, лучистыми глазами, да еще всегда улыбающимися.

Решили пить чай в другой комнате. Оказывается, одна рука не работает. «Я теперь калека». Переехали, остались вдвоем, и вдруг он опять заулыбался своими этими лучами: «Какое счастье, что я могу работать, что правая рука работает! Это последнее, что осталось. Правда, теперь работаю меньше, всего восемь часов в день». Я спросил: «Сколько же Вы работали до этого?» — «Четырнадцать».

Я рассказал про Театр Наций. «О, какое хорошее дело Вы сейчас делаете!» И не просто так сказал, а стал расспрашивать, ему было это интересно.

...Обсуждали «В круге первом». Он сказал, что удалось передать, что очень точно актеры подобраны. А Наталия Дмитриевна говорила про плохую судьбу экранизаций, неудачную судьбу. Вспомнили французскую картину «В круге первом» — иностранцы все-таки не могут понять этого всего и сделать не могут — получается какая-то «клюква». Очень интересна реакция Александра Исаевича: он только улыбался, ни тени злости, он понимал, что текст не пропадет и — рано или поздно — все равно будет экранизация, достойная его произведения.

Говорили про политику (это я начал, мне было очень интересно, я его стал спрашивать). Он очень волновался по поводу сегодняшней ситуации, про партии говорил, что там теряется личность — не сам думает человек, а где-то там верхушка, а человек должен только выполнять. Я спросил: «Александр Исаевич, что мне делать? У меня очень сложный период в жизни. Вот как быть до конца верным себе, не сбиться с пути, не уйти куда-то в сторону?» Он даже рассердился на меня: «Да Вы что? Ваши сердце и душа помогут. Не надо навешивать на себя страхи». Для А.И. это настолько естественно, что на такие мысли ему даже не надо тратить время — они бы мешали его самому главному делу, которое он оставил теперь для нас. Меня это потрясло.

А когда прощались, он обещал обязательно посмотреть фильмы и сказать свое мнение. Уже на пороге с Наталией Дмитриевной мы задержались... Почему так долго Бог дал ему жить? Видимо, сейчас для России это очень важно — некий ориентир или камертон, по которому надо себя сверять... Столп... Без такого столпа, боюсь, еще не сможем, пошатнемся...

Знаете, я очень волнуюсь, потому что мне предстоит еще одна встреча с Александром Исаевичем — последняя встреча. Наталия Дмитриевна сказала, что он посмотрел одну из моих работ и начал письмо писать мне, но не успел дописать. Пусть там хоть несколько строк, но я их очень жду. Для меня это — продолжение разговора с Александром Исаевичем.

Спасибо вам большое.

М.В. Сеславинский: Спасибо, Евгений. И я хотел пригласить к микрофону еще одного человека, который соединил образ Александра Исаевича Солженицына с телевидением — Сергея Мирошниченко, режиссера, автора диалогии об Александре Исаевиче Солженицыне.

С.В. Мирошниченко: Я хочу попросить заранее прощения, я не литератор, а документалист, и поэтому говорить буду немного скомканно. К тому же для меня большим потрясением стало, что сегодня ушел и Патриарх, которого я тоже снимал. И у меня такое впечатление, что совесть оставляет Россию для каких-то, видимо, испытаний.

Когда я работал над новым фильмом «Слово», над тем многочасовым материалом, который я снимал много лет и который не вошел в предыдущие два фильма, я вдруг заметил закономерность, которой я хочу с вами поделиться. Дело в том, что Александр Исаевич все время думал, зачем Господь дает ему дополнительное время. С одной стороны, это были личные испытания, которые нужны были ему и его душе перед уходом. С другой стороны, мне кажется, это было ему дано для того, чтобы он оставил важные вопросы для XXI века. Я их так сформулировал для себя и попробую поделиться с вами.

Может ли человек себя ограничивать? Может ли самоограничение стать частью жизни общества, мира? Если может, то человечество будет спасено. А если человечество пойдет по другому пути, если, например, наша страна будет ограничивать лишь финансирование культуры или образования, но не ограничит отдельных людей, чей уровень жизни зашкаливает за разумные пределы, то человечество, общество и страна придут к тупику. Вот первый вопрос. Самоограничение в условиях кризиса.

Второй вопрос, который возник из сказанного им: можно ли нам жить не по лжи? Не вспоминать статью, не вспоминать о том, что «жить не по лжи» надо было тогда — в коммунистическое время. А можно ли нам самим сейчас жить не по лжи? Ну, например, публично исповедовать веру в Бога — и лгать? Лгать и себе, и обществу? Это очень важный вопрос, а с уходом Патриарха он будет еще острее и важнее.

Третий вопрос: Александр Исаевич всегда говорил, что национальная идея — это сохранение народа. В нынешних условиях найдутся ли люди, лидеры в нашей стране, которые будут сохранять народ? Не уговаривать нас, а сохранять его, реально занимаясь этим вопросом. Остановить, например, вымирание практически всех народностей, живущих в нашей стране.

И последнее. Он всегда говорил о справедливости. Он боролся, вел в справедливость. Сможем ли мы в рамках морали — христианской морали — добиваться справедливости, но не привести страну к Красному Колесу? Вот эти четыре вопроса, по-моему, главные, которые оставил нам Александр Исаевич. Я думаю, что наше общество сможет положительно ответить на эти вопросы, и надеюсь, что литераторы, кинематографисты и политики смогут помочь нашему народу. В заключение просто хочу сказать, что очень трудно будет жить без таких сильных личностей, как Александр Исаевич Солженицын и Святейший Патриарх Алексий II. И тот огромный крест, который несли эти люди, конечно же, нам, каждому в отдельности не поднять. Нет сейчас таких личностей, но мне кажется, что мы должны собраться все вместе и вместе понести этот крест дальше. Спасибо.

М.В. Сеславинский: Спасибо, Сергей, за Ваше выступление. И я хотел, чтобы мы в первой части нашей конференции выслушали приветствие трех иностранных гостей, которые находятся в этом зале. Хочу предоставить слово Постоянному секретарю Французской Академии Элен Каррер д'Анкосс.

Э. Каррер д'Анкосс: Я не буду говорить о Солженицыне как о писателе или как об общественном деятеле, потому что все здесь присутствующие способны это сделать лучше меня. Я выступаю как свидетель и как француженка хочу сказать две вещи. Во-первых, о том, что представил Солженицын общественному мышлению Франции, как он его изменил. А во-вторых, хочу поставить вопрос, что он может сейчас дать Франции и может ли влиять на мнение французов о России. Потому что Россия, франко-русские отношения — это у нас громадный исторический вопрос.

Когда сочинения Александра Исаевича Солженицына появились во Франции, это был гигантский шок. Потому что еще в середине 1950-х годов Франция была не то чтобы прокоммунистически настроена, но все-таки очень благоприятно относилась к советской системе. Четверть избирателей голосовали за коммунистическую партию — в конце концов, люди во Франции мало понимали, что делалось в СССР. Даже после XX съезда КПСС общественность относилась весьма скептически к новым политическим веяниям и избегала публично критиковать советскую систему. Несомненно, французская интеллигенция поддавалась коммунистическому и советофильскому соблазну. До появления первой повести Александра Исаевича в начале 1960-х годов это мнение абсолютно не менялось, и вдруг — «Один день Ивана Денисовича». Это было огромное потрясение. Ведь во Франции существовало табу: никто никогда не смел говорить у нас о лагерях, о ГУЛАГе, о том, что происходило в СССР, хотя уже судили людей, которые смели об этом говорить. Но они, эти люди, были. Им, правда, никто не верил, хотя было много свидетелей и была громадная русская эмиграция во Франции. Но подозревали, что они были просто антисоветчики. Шок начался тогда, когда французы поняли, что существует ГУЛАГ и в ГУЛАГе есть настоящие люди, а не какие-то оппозиционеры советской системе.

Когда «Архипелаг ГУЛАГ» появился во Франции, коммунистически настроенная интеллигенция сразу сказала: «Это — антисоветчина». У нас все, что появлялось на эту тему, долго считалось антисоветчиной, и эти настроения приписывалось обломкам старой, умирающей русской аристократии или проплаченным агентам влияния американской пропаганды для дискредитации Советского Союза. Интеллектуалы считали, что все-таки Советский Союз всегда прав. Кто-то сказал, что лучше быть согласным с Сартром (Сартр очень позитивно воспринимал Советский Союз), чем с Ароном, который его критиковал. Если вы умный, воспитанный, образованный человек, вы — с Сартром, и вы считаете, что все-таки советская система — это прогресс. А после «Архипелага ГУЛАГ» оставаться в прежних убеждениях стало до какой-то степени невозможным. Людям пришлось принять тот факт, что, во-первых, советская система — тоталитарная и поэтому на нее нужно смотреть так же, как смотрели на немецкую тоталитарную систему. Это, быть может, ясно для вас, но говорить такое во Франции — это был какой-то тихий ужас, это невероятно было, нельзя было такие вещи говорить. Ясно, что Гитлера можно было считать тоталитарным, но Советский Союз и Сталин — это совсем другое дело (хотя и прошел XX съезд КПСС). Это — первый факт.

Второй факт. Солженицын показал, что существуют в советском обществе люди, которые способны, не считаясь ни со своей свободой, ни с всякими препятствиями, поднять голос от имени всех. У нас очень быстро поняли, что Александр Исаевич до какой-то степени — память всех пострадавших, память и голос всей России. Во Франции под влиянием Солженицына началась интеллектуальная революция. Сначала общество разделилось: остались те, кто мечтал о каком-то прогрессивном государстве советского образца, но появились и те, кто понял, что это было за государство на самом деле. И ведь было много диссидентов, которых потихоньку выписывали во Францию, но они не имели высокого морального авторитета. Тут сыграла роль личность Александра Исаевича, столь сильная, что даже те, кто хотел бы его опровергнуть или дискредитировать (дескать, за ним стоят американские деньги), даже они не смели. В результате революции в политическом сознании французов, случившейся в конце 1960-х — начале 1970-х годов, Франция пришла в себя, интеллектуалы стали отходить от коммунистической партии, и наша коммунистическая партия потихоньку развалилась.

Хочу подчеркнуть и другое обстоятельство. Именно теперь все, что писал Александр Исаевич, очень важно для французского общественного мнения. Потому что во Франции, даже сейчас, привыкли смотреть на Россию сквозь очки Кюстина. Люди не читают авторов XIX века, но у них очки Кюстина. Это видно и сейчас, в последние 20 лет, с распадом Советского Союза. Многие у нас так считали: «Они странные, эти русские. Что они выдумали, зачем они выходят из советской системы? Нормальные люди, такие как французы, демократы, те, которые уже знают, что такое демократия, могут такие вещи делать. Но русские — ненормальные люди, они какие-то странные, как писал Кюстин, они любят кнут, они отсталые». У нас много специалистов по России, и они очень хорошо о ней пишут. Люди читают и говорят: «Как интересно!» Но потом забывают и вспоминают только то, что они знают из Кюстина о кнуте и отсталости России. И я скажу, что есть важные вопросы, которые Александр Исаевич ставит и освещает и которые нужно освещать, если мы желаем, чтобы между нашими двумя странами, которые всегда были исторически близки, даже если и возникали моменты ненависти, существовало бы взаимопонимание.

Первый круг вопросов — почему катастрофа революции пала на Россию? Почему (я об этом даже в учебниках читала) нормальные люди совершают революцию, 10 лет потом они живут в какой-то чудовищной системе, как в период Французской революции, но потом возвращаются в нормальное русло? И почему русские после своей ре-

волюции не смогли вернуться к нормальной жизни, а 75 лет сидели в тоталитарной системе? Может быть, что-то у них не так в голове? Есть ли что-то такое в России, в русском человеке, что притягивало эту катастрофу, что приготавливало советскую систему? Или это *что-то* могло произойти со всеми и в таком случае русская сущность тут ни при чем?

Второй круг вопросов – что было бы, если бы Россия пошла другой дорогой? Это было возможно или нет? Этот разрыв революционный – было ли это несчастье исторически предопределенным? Была ли какая-то дорога к модернизации уже открыта? Александр Исаевич дает ответы на эти вопросы. И является ли Россия материалом для катастроф. И о том, что Россия – это нормальная страна, а русские – нормальный народ, который должен был идти здоровым историческим курсом, если бы с ним не случилось революционного несчастья. «Красное Колесо» показывает, какая дорога была открыта и почему она закрылась.

Что именно сегодня актуально в произведениях Солженицына (и может быть, не было так актуально несколько лет назад, ибо люди не ставили себе задачи понять Россию)? Поскольку теперь Россия вышла из коммунизма, нужно понимать, что это за страна, как она сбросила коммунистический режим, куда она идет, может ли она пойти нормальным путем и что для этого нужно делать – то есть как надо «обустроить Россию».

Надеюсь, обсуждение этих вопросов продолжится. Люди читают Солженицына, очень много читают. Но нужно показать, что это не только история страны, не только советская история, но и история XIX века, и это именно будущая Россия. Понять Россию, понять ее место в Европе, понять, что она собой представляет – ведь у каждой страны есть своя личность, свой менталитет. Эта, мне кажется, важнейшая задача именно теперь, когда ставится серьезный вопрос – какие сложатся отношения между Францией и Россией. Я вас благодарю!

М.В. Сеславинский: Спасибо, госпожа Элен Каррер д'Анкосс! Теперь я хотел бы пригласить к микрофону господина Витторио Страда, профессора Венецианского университета.

В. Страда: Cari amici! Перевожу: дорогие друзья! Я хотел, чтобы итальянские слова звучали здесь, в этом зале. Кончина Александра Солженицына ознаменовала собой конец целой исторической эпохи, которую без преувеличения можно назвать «эпохой Солженицына». Эпохи, каких мало в истории по интенсивности и драматизму, оказавшейся переломной для России и всего мира. В эту эпоху Рос-

сия, как эпицентр глубоких изменений, изобиловала выдающимися, яркими личностями, фигурами многообещающего духовного возрождения после слишком долгого периода регресса. Достаточно вспомнить, оставаясь в сфере литературы и литературоведения, имена Бориса Пастернака, Василия Гроссмана, Варлама Шаламова, Михаила Бахтина, Дмитрия Лихачева, Юрия Лотмана и, удаляясь во времени, вновь открытого Михаила Булгакова, а за пределами литературы — Андрея Сахарова и мощный приток новых сил в литературу и вообще в русскую культуру, частично совпавший с так называемым инакомыслием.

И все же в многосложной панораме постсоветского русского возрождения, если мы хотим найти эмблематическую фигуру, которая бы наиболее исчерпывающе представила эту эпоху перелома, перехода и обновления, имя Александра Солженицына незаменимо. Парадоксально, что этот символ целой эпохи — необычный ее представитель, особняком стоящий даже относительно «инакомыслия», частью которого он был, но далеко шагнул за его рамки, так что вряд ли можно считать Солженицына инакомыслящим: скорее он был самостоятельно мыслящим, он сознательно ставил себя вне всякой «инакости», противопоставлявшей себя советской идеологической системе, против которой он, тем не менее, обрушился всей мощью своего отрицания.

Как охарактеризовать фигуру этого писателя, который, подобно другим, и не только русским, художникам-гигантам от Данте до Достоевского, от Гете до Толстого был больше чем писатель? Поклонники часто называют его трафаретно «пророком», а хулители — эквивалентным словом с обратным знаком — «аятолла». Я полагаю, что фигуру Солженицына нужно рассматривать в ином плане. В нем, в его художественном творчестве и публицистике поражает мощь рационального воззрения и духовной страсти, закаленных в его личной судьбе непоколебимой волей, которая позволила ему выстоять во всех жестоких испытаниях и выполнить миссию по утверждению истины в мире лжи. Не пророк, а борец, выработавший собственную стратегию и тактику ради того, чтобы дать своей стране и всему миру противоядие от чудовищной, не ограниченной одним Советским Союзом системы физического и морального угнетения. Если бы мне пришлось выявить сердцевину духовного склада Солженицына, то, что связывает его литературный труд и нравственный долг, — я стал бы говорить о самобытном взгляде на историю, позволявшем ему смело искать в русском прошлом корни октябрьской катастрофы, доказывая, что любовь к Родине не противоречит любви к истине. В этом смысле «Красное Колесо» является центральным моментом

солженицынского творчества, «Архипелаг ГУЛАГ» — его вершина. Когда появился «Один день Ивана Денисовича», немногие поняли, что в этой повести на самом деле представлена сконцентрированная в событиях одного дня заключенного и его товарищей по несчастью история угнетенной, но непокоренной России и что автор повествования — больше чем простой бытописатель одного лагерного дня, хотя для тогдашних хозяев Советского Союза все сводилось только к этому. Наоборот, возник «феномен Солженицына», и родилось то, что я называю «эпохой Солженицына», и все больше и больше сотрясало болото застойного порядка, а лучше сказать — беспорядка идеологической системы, которая претендовала на вечность, а в перспективе собиралась охватить весь мир.

Как трезво и честно исторически и политически мыслящий человек, Солженицын понял, что так называемый сталинизм — не самостоятельное явление, а органическая часть марксистско-ленинской идеологии и практики и как таковой имеет не чисто советское, а интернациональное измерение. Свободный антифашист, он знал, что тоталитаризм — зло многоликое.

Творчество Солженицына идет намного дальше обличения ГУЛАГа и дальше сопротивления коммунистической идеологии. И сегодня, когда появились новые исторические исследования о советской концлагерной системе, его «Архипелаг ГУЛАГ» остается непревзойденным памятником жуткой лагерной трагедии, и создание этой книги — выдающийся подвиг, снискавший ее автору признание и признательность во всем цивилизованном и свободном мире. Не Солженицын первым открыл этот ужасающий аспект коммунистического эксперимента, но именно он сумел донести до всех людей доброй воли это «открытие», добившись успеха в этом деле благодаря уникальности своего историко-литературного таланта, а более всего — благодаря нравственному чувству человека, провозгласившего, что нельзя и не должно жить по лжи.

Явление глубоко русское, Солженицын стал явлением европейским и мировым, феноменальной частью культуры нашего времени и его неперменной точкой отсчета. И удивительно ли, что такой независимый ум, как Солженицын, критически смотрел, и часто вполне справедливо, на Запад, гостеприимством которого он пользовался во время своего долгого изгнания? Органически присущая Западу и его культуре черта — исключительно критическое отношение к себе и открытость свободной критики, рождаемой осмыслением катастрофического исторического опыта, подобного тому, через который прошла Россия. Солженицын — живая часть европейской христианской культуры, которая, в свою очередь, имеет право критически отно-

ситься к нему, ничуть не принижая при этом его огромной роли в освобождении от мифов, за которые и Запад несет ответственность, будучи отчасти их жертвой, и не умаляя признательности этому борцу за истину.

Кончина Александра Солженицына действительно знаменует конец эпохи, которую нельзя не назвать его именем. Какой будет наследующая ей Россия? Требование Солженицына «жить не по лжи» звучит для нее с неизменной силой. Спасибо.

М.В. Сеславинский: Спасибо. И я хотел просить выступить человека, которого не надо длинно представлять. Это актер и режиссер Сергей Юрьевич Юрский.

С.Ю. Юрский: Здравствуйте, господа! Я пришел посидеть и послушать, потому что это уровень, на котором мне говорить не следует. Но коли я здесь уже, на трибуне, я скажу, что сроки жизни и сроки смысла не совпадают. Не всегда совпадают, иногда вовсе не совпадают. В случае с Солженицыным сроки жизни мы знаем, а сроки смысла его жизни, я думаю, что очень нескоро еще сумеем узнать и определить.

Когда я читал по радио его двойные рассказы (это было трудное занятие, потому что это трудный текст), и я, так сказать, потел несколько дней, пробираясь сквозь этот текст, и каждый раз в результате понимал, что он обеспечен, абсолютно обеспечен и смыслами, и вторыми смыслами, потому что там сопоставление времен, и что это вообще громадный труд. Потом мы беседовали с Александром Исаевичем о том, что можно было бы еще читать, что можно было бы читать по радио, а потом я сам испугался, потому что это, как мне казалось, большая, длинная работа, которая длилась несколько часов, составляет, я не знаю, какую часть процента, какой-то микрон от того, что сделано этим человеком, написано, продумано, сказано, прочувствовано и всегда обеспечено тем, что эта вязь слов, вязь мыслей — она гарантирована, она не подлежит никакому разжижению, никакой инфляции.

«Дайте мне точку опоры, и я переверну мир» — было сказано. Солженицын — человек, который (без всяких преувеличений) заставил вздрогнуть целый мир и, может быть, на какой-то градус повернул мир, найдя опору внутри себя. Это — чудо. Кланяюсь его памяти.

М.В. Сеславинский: Спасибо, Сергей Юрьевич. И следующий у нас выступающий — наш гость из Швеции, господин Стиг Фредриксон,

международный обозреватель шведского телевидения. Стиг, прошу Вас.

С. Фредрикссон: Дорогая Наталия Дмитриевна, дорогой Ермолай Александрович! Уважаемые участники конференции! Спасибо за приглашение и за возможность говорить здесь сегодня. Я первый раз увидел Александра Исаевича в Консерватории имени Чайковского. Это было в конце марта 1972 года. Он там появился вместе с Наталией Дмитриевной, и в антракте он прогуливался в коридоре с Ростроповичем и Шостаковичем. В тот раз, в 1972 году, я попросил у него только автограф. Только автограф (я сохранил программу здесь) и не попросил интервью у него, хотя я только что приехал в Москву, чтобы работать корреспондентом.

В последний раз я видел Александра Исаевича в конце мая этого года. Он согласился дать мне интервью, наверное самое последнее интервью, о романе «В круге первом» в связи с показом по шведскому телевидению сериала Панфилова по этому роману. Но возвращаюсь к 1972 году. Вскоре после того концерта в консерватории я получил первое задание от Александра Исаевича. Мы встретились в подземном переходе Белорусского вокзала. Александр Исаевич описал эту встречу следующим образом в главе «Невидимки» книги «Бодался теленок с дубом» издания 1996 года: «В конце апреля встретились (у меня в кармане — пленка нобелевской речи, которую не сумели иначе отправить, да и опять же — в Швецию надо). Я стоял в незаметном месте, он — с женой Ингрид проследовал под руку, я, выждав, — за ними, а Аля — из другого места, еще выждав, проверяя, не следят ли. Все оказалось благополучно, и потом, нагнав их, мы вчетвером пошли не спеша по Ленинградскому проспекту... В разговоре я предложил ему, он согласился, и в темном дворе я передал ему пленку. По народной примете, беременная баба при деле — к удаче. А тут — две было беременных, наши обе жены, и он увозил свою в Швецию на роды. (Рассказывал Стиг: эту пленку он вставил в маленький транзисторный приемник, так и увез и передал в Шведскую Академию)».

И после того, как я успешно увез пленку в Стокгольм, Александр Исаевич сделал вывод, что я — надежный контакт для него. И так в течение почти двух лет, до февраля 1974 года, я был его тайным курьером для связи с Западом. Очередная наша с ним тайная встреча (и всего таких тайных встреч было около двадцати) была назначена на 14 февраля 1974 года. Но за два дня до этой встречи Александр Исаевич был арестован. И здесь я хочу привести еще одну короткую цитату из «Теленка»: «И всю осень 1972, зиму на 1973 продолжались наши встречи, всегда в темноте, в темных переулках и дворах близ Белорус-

ского вокзала. (Час встречи был постоянный, а следующую дату и еще резервную мы всегда назначали, расставаясь). И как-то теперь прояснилось, что это совершенно необходимо, без этого даже жить мне нельзя, — как же это я 9 лет жил без прямых личных встреч с западным человеком?! Появилась маневренность, которой прежде не было, быстрота передачи, и всякий раз было и что передать, и что получить (так пошли теперь все мои *левые* письма к Струве, Бетте и адвокату, вся жила главных связей). И небольшие скрутки пленок, новые варианты, новое написанное. А Стиг дальше передавал через дипломатическую почту, но не свою шведскую, которая была, по-арестантски и по-советски выражаясь, *сучья*, — а через иную». Да, сейчас можно открыто говорить, что нам помогало норвежское посольство в Москве, так как я был корреспондентом не только шведского телеграфного агентства, а и норвежского агентства. Норвежцы давали мне пользоваться дипломатической почтой, чтобы отправить письма и тексты Александра Исаевича и чтобы получить письма с Запада. Мое шведское посольство не оказало такое содействие корреспондентам.

Сегодня, после стольких лет, мне кажется, что моя самая основная помощь Александру Исаевичу заключалась в том, что я был там в связи с тем, что он назвал провалом «Архипелага...», то есть когда Госбезопасность перехватила книгу «Архипелаг ГУЛАГ». В тот день в начале сентября 1973 года Александр Исаевич позвонил мне рано утром домой ошибочным звонком, о котором мы заранее договорились. Александр Исаевич позвонил и сказал: «Простите, это химчистка?» И я ответил: «Нет, Вы не туда попали» — и положил трубку, но его слова были достаточны, чтобы я узнал его голос. Это был сигнал. И вечером в тот же день мы встретились. Александр Исаевич передал мне сообщение всему миру об «Архипелаге...» и распоряжение о наборе и издательстве на Западе первых томов книги на разных языках. Вам всем известно продолжение истории: «Архипелаг...» был издан в самом конце декабря 1973 года, и 12 февраля 1974 года был арестован Александр Исаевич, и выслали его на Запад.

Я счастлив, что жизнь дала мне возможность познакомиться с Александром Исаевичем. Я всегда буду гордиться тем, что я мог делать и что мне удалось сделать для него. Для меня он по-прежнему остается самым мужественным человеком нашего времени. Он проявлял и нравственное, и физическое мужество, когда он вел свою одинокую борьбу против тоталитарного и лживого государства.

И чтобы закончить, я бы хотел вам показать очень короткий отрывок из интервью, которое я взял у Александра Исаевича ровно десять лет назад, накануне его дня рождения в 1998 году, то есть когда ему

исполнилось восемьдесят лет. Я спросил у него: «Откуда Вы все эти годы брали Вашу силу?» И я считаю, что его ответ может дать нам всем вдохновение и сегодня. Спасибо.

(Звучит запись интервью.)

А.И. Солженицын: У меня прирожденный какой-то вектор, пружина, которая меня всю жизнь подает вперед. Мне даже не нужно себя собирать. У меня не бывает упадка духа, усталости, скажем: «Ой, что-то мне плохо на душе, не буду сегодня ничего делать». Так не бывает, просто не бывает. У меня не бывает воскресенья, что вот «сегодня воскресенье, свободный день, я отдыхаю», — нету таких дней. Я просто всегда работаю. Встаю, чтобы работать, и у меня всегда полное настроение работать, и я работаю. Конечно, сейчас, когда возраст стал постарше, рабочий день уменьшился. Рабочий день не такой у меня. Раньше у меня был четырнадцать — шестнадцать часов рабочий день, сейчас не больше десяти или даже восьми. Но все время я интенсивно работаю. Я считаю, это Божья помощь. Я верующий человек, я все отношу за счет Бога. Ну, от рождения Он вложил в меня вот эту пружину, которая подает меня, подает и подает, подает вперед.

М.В. Сеславинский: Спасибо, Стиг. Спасибо за то, что Вы дали нам возможность всколыхнуться, увидеть бодрого Александра Исаевича с такими словами, которые нас всех должны воодушевить. И, постепенно завершая первую часть нашей конференции, я хотел, чтобы мы сейчас соединили этот зрительный образ Александра Исаевича с его творчеством. Вспомним его культовое произведение «Один день Ивана Денисовича». Я хотел пригласить к микрофону актера Александра Филиппенко.

А.Г. Филиппенко: «Один день Ивана Денисовича», фрагмент. «Все ж говорят, что проверка вечерняя бывает в девять....»

(Читает фрагмент.)

...Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»

М.В. Сеславинский: Спасибо, Александр. Я думаю, что у нас всех чувства всколыхнулись и где-то вот под сердцем, в глубине души, все вспомнили, как читали эти строки.

Дорогие друзья! Завершая первую часть нашей конференции, я хотел сказать, что нам пришло много приветствий в адрес конференции, и у вас в папках розданы приветствия от Принца Уэльского Чарльза, от всем нам известного историка Роберта Конквеста, от Дэвида Рэмника, главного редактора журнала «Нью-Йоркер», от Клода Дюрана, бессменного издателя произведений Александра Исаевича Солженицына. И позвольте, я многие другие приветствия, которые к нам поступили, зачитывать не буду, а передам в Русский Общественный Фонд Александра Солженицына.

ПРИВЕТСТВИЕ ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО
ЧАРЛЬЗА

28 ноября 2008

Дорогая госпожа Солженицына!

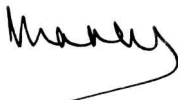
Двадцать пять лет спустя после нашей памятной встречи мне захотелось написать Вам и воздать честь Вашему поистине замечательному мужу, Александру Солженицыну, по случаю его девяностолетия, до которого он немного не дожил. Свидетель жестокости коммунистического режима, он соединил в себе недюжинную физическую смелость, ясное этическое видение и огромный литературный талант — чтобы высказать неприглядную правду своего времени. Он стал человеком, необходимым своему веку, и заслужил восхищение многих людей во всем мире.

Сегодня, когда вместе с Вами я вспоминаю эту уникальную личность, я более чем когда-либо думаю о его провидческой обеспокоенности проблемами нашего XXI века. Нам нужна будет каждая крупинка его мудрости для того, чтобы противостоять тем вызовам, которые встают перед нами. Начиная с разного рода человеческих конфликтов и кончая изменением климата — эти вызовы тесно взаимосвязаны и требуют от нас такого всеобъемлющего ответа, на который способны великие умы, подобные Вашему мужу.

Хочу процитировать заключительные слова из его Гарвардской речи: «Ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх».

Я шлю Вам мои самые добрые пожелания и самое сердечное соболезнование.

Искренне Ваш



Чарльз (Принц Уэльский)

ПРИВЕТСТВИЕ ИСТОРИКА Р. КОНКВЕСТА

Я был очень тронут, когда в ответ на мое письмо, в котором я сообщал, что, к сожалению, не смогу принять участие в этой конференции, Наталия Дмитриевна ответила мне, что ей «особенно приятно» читать отклики тех из нас, «кто видел в Солженицыне прежде всего и главным образом — писателя».

Но конечно, писатель — это не просто тот, кто пишет. Писатель — это тот, чьи тексты несут в себе некое послание. И не только несут — но еще и доносят это послание до других. В сознании писателя что-то происходит, а в случае Солженицына произошло обогащающее вызревание неких смыслов — и в таких случаях очень личное, но одновременно и глубоко объективное понимание преобразует читателей.

Как одному из таких читателей — для меня большая честь получить приглашение выступить по этому печальному, но одновременно и торжественному поводу; выступить перед столь взыскательной аудиторией, чтобы воздать должное — и в литературном, и в моральном, и в историческом плане — личности столь великой и для России, и для всего мира. Прежде всего, я благодарю вас за то, что вы сочли меня достойным представлять здесь часть мировой читательской аудитории Солженицына, часть его последователей и поклонников — достойным говорить о его наследии. Конечно, я всего лишь один из многих, кто испытал на себе сильное влияние многообразных произведений, подаренных им миру.

Меня самого как писателя, но не пишущего ни художественной прозы, ни литературной критики, обычно называют «историком, поэтом и политическим философом». И именно во всех этих качествах я — преданный поклонник Солженицына. Но это не значит, что я не воспринимаю и не ценю его в высшей степени искусных романов. Просто мои суждения в этой области не имеют большого веса и, вероятно, должны учитываться в рубрике «Прочие мнения».

Как великий писатель, Солженицын знал, что в нем самом есть нечто такое, что он должен отдать миру, всем людям. Его память, его сознание были хранилищем такого опыта, который многих мог бы сокрушить. Но сознание Солженицына обладало мощной способностью не только вмещать подобный опыт, но еще и исследовать, обдумывать его в течение многих лет — противопоставлять этому опыту силу духа; и было еще владение языком, средством художественного преобразования сырого материала реальности. «Один день Ивана Денисовича» изменил представления его родной страны о реальностях тоталитаризма. Это был важнейший урок, хотя пониманию и непониманию предстояло сражаться между собой и впредь.

Подобным же образом, но в гораздо более широком масштабе, в масштабе всего мира, «Архипелаг ГУЛАГ» разрушил неприступные прежде бастионы непонимания.

Как это получилось? Как одному усилию — после стольких других — удалось изменить историческое равновесие? Ведь и задолго до того мир в принципе все уже знал. До Запада и прежде доходили книги, некоторые — даже основанные на серьезных исследованиях, сообщавшие много достоверных фактов. А в самой России сотни тысяч людей и подавно знали правду. Но до поры до времени правда не могла восторжествовать.

В обоих случаях все дело было в мощной энергии одного человека. Чтобы победить в тех заданных условиях, нужен был не просто героизм, нужна была гениальность. Солженицын противостоял своему опыту и своим испытаниям как герой. Но чтобы описать все это, нужен был гений — гений литературы.

Я познакомился с ним в Цюрихе в 1974 году. К тому времени он был обвинен в государственной измене, лишен гражданства и депортирован в Западную Германию в наручниках — через шесть недель после публикации «Архипелага ГУЛАГ» в Париже. Он был уже известен как бесстрашный и непреклонный проповедник своих этических и исторических взглядов. Но при нашем личном знакомстве он оказался привлекательным и легким в общении — он даже слегка подшучивал над своими гонителями. Он вышел к воротам сада, чтобы встретиться нас. Чуть позже я сказал ему, что с этой точки он был виден на расстоянии сотен ярдов — не боялся ли он стать мишенью для убийцы? Он засмеялся и сказал, что его гонителям это было совсем ненужно: ведь сразу обвинили бы их, так что их репутация еще более бы пострадала. У меня есть фотографии той нашей встречи — и на одной из фотографий Солженицын держит в руках, с явным одобрением, русский перевод моей книги «Великий Террор».

Помимо интереса (взаимного) ко мне как историку он знал обо мне и как о литераторе (возможно, благодаря «Ежегоднику БСЭ» за 1957 год, где я упомянут как поэт и составитель поэтических антологий). Во время нашей беседы он спросил меня, не мог бы я сделать стихотворный перевод его «небольшой поэмы». Разумеется, такая просьба была для меня честью. Речь шла о «Прусских ночах». Это поразительное и очень недооцененное произведение — «военная» поэма несравненной мощи.

Поэма основана на его личном опыте как капитана артиллерии во время наступления советской армии в 1945 году в Восточной Пруссии — за несколько недель до его ареста (арестован он был за то, что неуважительно отзывался о Сталине в письме к другу). В начале свое-

го долгого срока — тюремного, лагерного, потом в ссылке — Солженицын сочинял, не записывая, и сохранял в памяти отчасти героическую, отчасти комическую, отчасти трагическую поэму, в которой среди прочего описывается, как «студебеккеры», «доджи» и «шевроле» тянули советские пушки. Я сам видел это на 3-м Украинском, на другом конце длинной линии фронта.

В поэме — более двух с половиной тысяч строк, и работа над переводом длилась много месяцев, в течение которых я консультировался с автором и его друзьями. Поэма почти вся написана балладным размером, одним из самых легких для перевода. Это поразительное произведение; оно много дает для понимания и самого автора, и его времени. Поэму надо читать и перечитывать и потому, что она описывает необычайные исторические события, и потому, что позволят нам глубже постичь душу ее создателя.

Что касается этики войны, то «Август Четырнадцатого» описывает с симпатией полковника, который настаивает на соблюдении определенных норм даже в военных условиях. Полковник говорит молодому офицеру: «Политические разногласия — это всего лишь рябь на воде». Полковника спрашивают, какие различия он считает важными, и он отвечает: «Различия между достойным и недостойным». Тут можно вспомнить доктора Живаго, который в условиях войны также стремился сохранить — пусть и не признаваемые другими — остатки гуманного рыцарства.

Как нам судить о Солженицыне — об одной из самых поразительных знаменитостей нашего времени? Как общественный деятель он считал своим долгом быть совестью своего народа. Он говорил: «Мои взгляды изменялись со временем. Но я всегда верил в то, что делал, и никогда не поступал вопреки своим убеждениям» (Шпигель. 2007. 23 июля). Несомненно, он был писателем. Но не просто производителем слов или беллетристики, которая может быть поверхностной и декоративной. Он использовал свое дарование для того, чтобы пером — а порой и будучи лишенным пера — запечатлеть неповторимый образ своего духа, своих воззрений и своих испытаний. И этот запечатленный им образ мы не можем ни забыть, ни превратно понять.

Быть писателем — это значит устанавливать трудно определимый контакт с читателями. Это подразумевает — иметь собственный голос, собственное видение мира. Это предполагает определенный угол зрения и определенный эмоциональный мир. Таково было представление о писательстве, унаследованное Солженицыным и принятое им. При этом простого понимания правды было недостаточно. Надо было стремиться к правде, добиваться правды с непреклонной

убежденностью — и на протяжении многих лет. Задача могла показаться непосильной, почти безнадежной. На одной стороне — огромная бюрократическая машина, мощный полицейский аппарат, неисчислимы средства пропаганды. А на другой стороне — горстка диссидентов, вооруженных ручками или в лучшем случае пишущими машинками, способными под копирку выдать несколько копий. И среди них, над ними — человек, научившийся мельчайшим почерком писать на клочках бумаги, которые легко было прятать и тайно передавать другим.

Но мы не должны забывать, что на его стороне было богатое наследие русской литературы. Все попытки подчинить это наследие Главлиту были тщетны. Не очень успешны были и попытки сотворить некую сервильную замену. Глубоко в национальном сознании крылось отвращение. Но оно нуждалось в голосе. Как я уже сказал, в качестве общественного деятеля Солженицын считал своим долгом быть совестью своего народа. Но прежде всего он считал себя писателем — русским писателем.

Из всего сказанного вовсе не следует, что Солженицын был всегда прав. Утверждать такое о любом человеке, сколь бы мы им ни восхищались, — это преувеличение. Но ко мнениям Солженицына всегда следовало прислушиваться. Он накопил в себе огромный арсенал истины. И по любому вопросу, важному для человечества и глубоко им, Солженицыным, прочувствованному, будь то фундаментальный вопрос истории или вывод из его личного опыта, он имел собственные, выверенные им самим взгляды. При этом он не стремился никому угодить. Он считал, что ясное и несмягченное выражение мнений — это знак уважения к читателям или слушателям.

В самом деле, даже когда он жил в США и выступал там публично, как, например, в Гарварде в 1978 году, он резко высказывался о многих сторонах американской культуры. Он откровенно говорил о том, что считал слабостями западного общества: о привычке забалтывать факты, о склонности к компромиссам между пониманием реальности и комфортным уклонением от понимания.

Нет сомнения в том, что он действительно видел эти признаки упадка. Их можно увидеть и по сей день. Некоторые считали, что Солженицын преувеличивает. Но расхождения во мнениях на сей счет были не столь важны, как споры о природе тоталитарного строя. Солженицын не уставал обращать внимание на самообольщения западных интеллектуалов относительно тоталитаризма.

Он резко отзывался об американских «либералах», которые проливали слезы по поводу Анджелы Дэвис, арестованной за вполне реальные правонарушения, — что в тюрьме ее якобы плохо кормили и

доставляли прочие неудобства; те же «либералы» молчали или не знали о том, что происходило в ГУЛАГе, где многим – сидевшим обычно по ложным обвинениям – приходилось гораздо хуже, чем Анджеле Дэвис. Вместе с тем Солженицын признавал, что Запад был «достаточно динамичен и изобретателен», чтобы исправлять свои заблуждения.

История России на протяжении более чем двух поколений, пришедшихся на коммунистическую власть, на Западе понималась превратно – отчасти потому, что значительные доли реальности или замалчивались, или искажались под влиянием того, что можно назвать политическим гипнозом. А ведь были, как я уже сказал, книги, мемуары и исследования, которые содержали подлинные свидетельства. Те, кто стремился разоблачить сталинизм и противостоять ему, – и на Западе, и в СССР – узнавали истину из подобных источников, важнейшим среди которых стал Александр Солженицын. Сам он утверждал, что «мировая литература может перенести концентрированный опыт из одной страны в другую – так, что сохраняется ясность видения».

Ирония истории заключается в том, что на Западе наиболее эффективными антитоталитарными текстами тоже были романы, хотя и фантастические; особенно романы Джорджа Оруэлла. В «Скотном дворе» и в «1984» он создал несколько суперсталинистских терминов, например «unperson», восходящий к речам Крыленко; или «facesgime» – преступление, заключающееся в недостаточном энтузиазме по поводу партийных речей; или «Joucamp» («Лагерь радости») – название для исправительно-трудового лагеря. В этом же ряду – создание нового языка, «newspeak» («новояз»), на котором невозможно будет ни сказать, ни написать ничего такого, что не соответствовало бы идеям Партии. В таком случае было бы невозможно и быть писателем в традиционном смысле этого слова.

Оруэлл (который не имел личного опыта жизни при подобных режимах) отчасти открыл глаза Западу, как и – хоть и в меньшей степени – некоторые другие, более серьезные, но менее популярные сочинения научного или мемуарного характера. Но то было лишь начало. Солженицын продолжил эту борьбу, бросив миру в лицо правду, как вызов, в своих прославленных произведениях. К счастью, мировая слава писателя не позволила его врагам расправиться с ним так, как они это делали прежде с другими бунтарями. Конечно, у Солженицына были помощники в его долгой борьбе. Но если вспомнить слова Уильяма Блейка о «борьбе умов», то именно Солженицын был передовым бойцом, вдохновителем других и стратегом. Высший триумф Александра Исаевича – в том, что он разрушал повсюду накопившиеся завалы лжи.

Его уже нет с нами — в обычном смысле слов. Но разве мы не можем взглянуть на вещи шире? Мы обязаны ему очень многим. И мы оплакиваем, как я уже сказал, гения и героя в одном лице — редкое сочетание, которому суждено оказывать на мир непрестанное воздействие.

ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «НЬЮ-ЙОРКЕР»
Д. РЭМНИКА

Александр Солженицын был, несомненно, одним из важнейших писателей XX века, а с точки зрения истории — писателем несравненным. Он возвещал правду в эпоху лжи, губительной идеологии и тайных убийств; он был истинным патриотом в империи, где честность была преступлением, а криводушие обеспечивало привилегии; он был писателем, который отдал всего себя описанию истории своей страны; он был русским человеком, изгнанным с любимой родины, — и всей своей жизнью, пером и личным примером, Солженицын с честью служил всем нам.

Поистине, его жизнь — это редкостный пример смелости, сострадания, достоинства, трудолюбия, реализованных человеческих возможностей и бескомпромиссной правдивости. Мне доставляет гораздо больше удовольствия читать Солженицына, даже не соглашаясь с ним, чем читать многих других авторов, чьи взгляды ближе к моим. Его честная убежденность обладает огромной жизненной силой и буквально вдохновляет, вдыхает жизнь в читателя. Мне посчастливилось встречать его и беседовать с ним — и в Вермонте, и в Троице-Лыково; помимо прочего, я видел в нем мужа замечательной женщины и отца не менее замечательных сыновей. Нам будет его не хватать, но мы будем читать его — и он всегда будет для нас неподдельным голосом своего века.

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ФАЙАР»,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АГЕНТА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
С 1975 ГОДА К. ДЮРАНА

Дорогая Наталия Дмитриевна!
Дамы и господа!

Недавно созданные государства обозначают пересекающиеся улицы своих городов — номерами; государства древней Европы в былые времена давали улицам предметные имена, позволявшие ориентиро-

ваться в пространстве, — улица Пекарей, Базарная площадь, Лесная аллея, Кладбищенская дорога. Ныне они посвящают их людям, событиям, которые хотят выделить, чтобы сохранить о них память: топографический ориентир уступил место историческому. В наших странах городская экспансия была менее значима, чем демография смертей, и с течением времени переименовывались места, отдельные улицы получали новые названия, другим частично возвращались прежние, — все для того, чтобы удовлетворить непомерные запросы памяти. Во Франции это делается часто по причинам, связанным с тем, как меняется — в каждый момент — представление о нашей истории. Тот или иной режим или идеология изгоняют предшествующие, и вот в Париже Королевская площадь становится площадью Революции, а затем, повинувшись желанию вернуть утраченное братство, кровь обезглавленных высыхает на площади, ставшей площадью Согласия.

На смену какому имени придет имя Александра Солженицына, которое спустя несколько недель после его смерти Совет города Парижа решил дать улице или площади в столице Франции? Существует в Париже Ленинградская улица, Сталинградская площадь и станция метро, но нет ни улицы Ленина, ни улицы Сталина. А что касается улочки Мари-Роз, на которой жил в изгнании Владимир Ильич и откуда ходил от ресторана парка Монсури к модным кафе Монпарнаса — ее имя уже не упоминается в путеводителях. Будет ли имя Солженицына дано площади, бульвару, просто улице, или одной ее части, или тупику? В центре или на окраине? В богатом квартале или народном? В современном или старинном? Ответ на эти вопросы даст возможность ученым экспертам, каковыми вы являетесь, дамы и господа, сделать заключение о мотивировках, скрытых или неосознанных, того решения, за которое проголосовал Совет Парижа. Но тут мне следует уточнить, что решение прошло голосование и было принято неожиданной коалицией, и сама эта неожиданность может навести на размышления: это коалиция, соединившая правых, сейчас находящихся в меньшинстве, и часть левого большинства Совета.

Вот неплохая тема для студента, ищущего предмет для исследования! Почему в столице, где ни одна улица не носит имени Толстого или Достоевского, муниципальные власти решили, что автор «Архипелага ГУЛАГ» и «Красного Колеса» является одним из ее почетных граждан и заслуживает, чтобы заблудившийся в столице провинциал коверкал бы его имя, выпрашивая дорогу?

Этот вопрос, если на нем немного остановиться, подразумевает бесчисленное множество других.

То ли это потому, что Солженицын удостоил не раз город своим присутствием за те двадцать лет, что провел в изгнании, что он с эн-

тузиазмом был встречен здесь средствами массовой информации, в частности Бернаром Пиво, что обедал с премьер-министром Балладюром, что Ширак, будучи мэром столицы, нанес ему визит?

Или потому, что в Париже впервые на русском языке появились многие его книги благодаря заботам его издателя Никиты Струве? Или потому, что во Франции увидело свет в переводах наибольшее количество его произведений, и часто с наибольшим откликом?

Будет ли это имя автора «Архипелага...» или «Красного Колеса», имя, примирившее в себе идеологически разнородное большинство, или это имя автора «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матрены», которого в былые времена хотели представить как восходящую звезду недолговечной и осторожной хрущевской «оттепели»?

Или же это имя того, кто после взорвавшейся бомбы «Архипелага...» был превознесен до небес когортой молодых философов, среди которых одни шли от маоизма, другие от левацкого католицизма, но чей пылкий антисоветизм превратился, с возрастом и знатностью, в не менее рьяную антирусскость, не пощадившую их прежнего идола?

Те, кто голосовал «против» — отвергли ли великого русского писателя XX столетия, который, по их мнению, изуродовал свою прозу документализмом и полемичностью, или же великого свидетеля русского несчастья, неспособного, по их мнению, подняться над материалом? А те, кто голосовал «за» — не просто ли на это решились, чтобы отметить того, кто первый дал киркой решительный удар по Великой Стене коммунизма?

Одни аплодировали новому Толстому, в «Красном Колесе» показавшему себя беспощадным аналитиком зарождения русской революции, в Узлах, где гигантизм мирится с новизной формы, лексически особенностями, законченностью эпических описаний? Другие бичевали того, кто, по их мнению, тосковал по Старому режиму, архаичного мужика-старовера?

Какой Солженицын был предметом этого голосования? Мятежник, памфлетист, брeтер или тот, кого модернисты всех мастей бичуют как моралиста-ретрограда? Тот, чьи смелые обличения повалили на пол вперемешку заядлых врагов и неверных друзей? Или же автор, который вознес к небесам смиренную молитву Самсонова или Матрены?

Преследуемый ли писатель, запрещенный, лишенный своей земли или человек, оставшийся верным самому себе, неизменившийся, вернувшийся победителем в свою страну, освободившуюся от ига?

Тот ли, кого принял Запад за то, что он собою олицетворял, или тот, кого Запад, не сумев обратить в свой материалистический подход к человеческой судьбе, отверг как врага безудержного прогресса,

сторонника скромной и степенной жизни, эколога еще до появления этого термина?

Скромное событие, каким является решение города Парижа, показывает, что, уже будучи классиком, Александр Солженицын отнюдь не всеми одинаково принят.

Это можно доказать и более широким исследованием географического и исторического характера относительно распространения и читаемости его творчества по всему миру, по крайней мере так, как мог это наблюдать его генеральный агент последние три-четыре десятилетия: почему он был так почти единодушно и одобрительно встречен в 60-е годы, до Нобелевской премии? Почему «Архипелаг...» получил такой огромный резонанс, но значительно меньший в латинских, в частности в испаноязычных, странах? Почему упали интерес к нему и популярность у англосаксов начиная с 80-х годов? Почему появился некоторый интерес у китайцев, сначала на Тайване, затем в Пекине? Почему так размножились за последние десять лет переводы во всех бывших демократических республиках, включая крошечную Албанию?

Почему Солженицын, хотя и прославленный повсюду, всюду понят по-разному, был и остается писателем универсальным, но не везде в одно и то же время?

Его значение несколько поторопились преуменьшить в начале нового тысячелетия, но, может быть, именно его голоса нам больше всего не хватает в сегодняшнем мировом кризисе при полном молчании всех духовных авторитетов?

М.В. Сеславинский: Приглашаю всех на рабочие заседания нашей конференции.

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ: НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Сессия 1

Модератор — *Л.И. Сараскина*

Людмила Сараскина

МОСКВА

«ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ»: УРОКИ ПРИЖИЗНЕННОЙ БИОГРАФИИ

Хорошо известно, что Александр Исаевич Солженицын весьма скептически относился к идее создания его прижизненной биографии. Так было со всеми биографами, кто проявлял подобную инициативу до меня. Так было и в моем случае. Я принимала его резоны как должное. И что создание прижизненных биографий не в русской традиции. И что не следует подводить итоги преждевременно, пока не явлена высшая точка жизни — ее завершение. И что создавать писательскую биографию можно лишь спустя полвека — если писатель останется в истории литературы. Я принимала во внимание эти аргументы — и если все же удалось написать биографическую книгу о Солженицыне еще при его жизни (потом окажется, что при самом конце жизни), то это случилось благодаря совпадению в высшей степени счастливых для меня обстоятельств.

Но вот прошло полгода после выхода книги, и я с радостью убедилась, что читатели и критики восприняли прижизненную биографию позитивно, то есть признали безусловное право этого писателя на обстоятельное, подробное жизнеописание, появившееся в условиях, когда его биография продолжалась. Значит, масштаб его личности, результаты труда, всемирная известность, колоссальный интерес во всем мире и груз прожитых лет дают право на исключение из тех правил, которые вывел из феномена прижизненных биографий сам Солженицын. Если согласиться с мыслью, что мир — это художественное создание, сырье искусства и черновик литературы, то титаниче-

Российская государственная библиотека, Пашков Дом (Москва), 5–6 декабря 2008.

ский герой, каким был реальный Солженицын, намного превосходит все, что сказала искусство на эту тему в форме вымысла.

Но — любил цитировать Александр Исаевич — «хвали день по вечеру, а жизнь по смерти»¹. Разумеется, «хвали» не означает здесь «прославляй», а означает «делай выводы» — и о прожитом дне, и о прожитой жизни. Искать высший смысл в том, что же с человеком случилось, когда уже поставлена финальная точка, — это и значит «хвалить жизнь по смерти». То есть увидеть персональное прошлое человека — чем оно могло бы быть и чем оно в конце концов стало. Только после его ухода я поняла, что сопротивление писателя созданию прижизненных биографий имело не только формальные, внешние причины, но содержало немалый внутренний смысл. Этот смысл проступает теперь, когда необходимо заново осмыслить все обстоятельства его прошлого, особенно с точки зрения того, что было ему уготовано условиями и обстоятельствами рождения.

Прибегну к сослагательному наклонению, которого не хочет знать история, но которое всегда волновало литературу. Альтернативная индивидуальная судьба, то есть судьба, зависящая и от зигзагов истории, и от выбора человека, — законный предмет размышлений. Солженицын оставил замечательно интересные свидетельства о своей альтернативной, возможной судьбе.

Напомню одно его размышление: «Мы, каждый человек, плохо понимаем свою жизненную задачу. Мы построим план, вот буду делать так-то. Но потом вдруг поворачивает нас судьба, верующие люди говорят — Бог, нас поворачивает совсем не так. Происходит с нами несчастье, провал. А потом проходит время, и мы понимаем, что за нас был сделан высший и верный выбор, что мы по своему неразумию не туда шли, то есть, имея в виду свою цель, мы шли в другую сторону, не так. А нас поправляет судьба, Бог, — поправляет и направляет нас туда, куда надо. Это поразительно, я много раз в своей жизни наблюдал. *Я сам бы не мог так жизнь построить, как за меня она построена, не моими руками.* Наверное, и с человеческой историей так, не только с личностями отдельными. <...> Но мы не имеем права и так сказать: ах, Бог все исправит, будем сидеть спокойно. Нет. Мы должны биться. В этом смысл жизни на земле. Мы бьемся, как можем, как понимаем, сколько хватает нашего зрения, мужества, ума. Конечно, есть божественный смысл в истории, божественный взгляд. Но нам нельзя ни предвидеть, ни все на него оставить, самим сидеть сложа руки, без действия. Мы не имеем права»².

Вся жизнь Солженицына — ярчайшая иллюстрация этого принципа: счастливого объединения двух встречных усилий, условно говоря, двух пар рук — его и не его. И он, этот принцип, работал, кажется, уже с момента рождения писателя. Поясню, что именно я имею в виду.

Осип Манделштам, ровесник отца Солженицына, отвечая в 1928 году на анкету «Советский писатель и Октябрь», писал: «Октябрьская революция не могла повлиять на мою работу, так как отняла у меня “биографию”, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту»³.

Еще раньше, в 1923-м, в «Шуме времени» он признавался: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого»⁴.

Эти два высказывания большого поэта, приложенные к судьбе Солженицына, выявляют поразительный обратный эффект. Солженицыну в самый момент рождения судьба выставила сплошные рогатки, с наглядной жестокостью продемонстрировав, что он мог бы иметь, но чего иметь никогда не будет.

Октябрьская революция колоссально повлияла на работу Солженицына, хотя тоже отняла у него его возможную ДРУГУЮ «биографию». Октябрьская революция стала центральной, пожизненной темой всей работы Солженицына — писателя и публициста, концентрацией всех усилий его как романиста, историка, мыслителя. Она волновала его лично, персонально, он горел ею, пытался прописать в ее события, точно называя место и время. «Сколько жив — живу иных событий ради, / У меня в ушах иного поколения набат! / — Почему я не был в Петрограде / Двадцать восемь лет тому назад?» — риторически восклицает герой поэмы «Дороженька» в конце 1945 года. Для чего, спрашивается, ему надо быть в Петрограде в это время? Для того чтобы броситься под ноги тому вознице, кто правит колесницей революции. «“Кто здесь русский? стой!! — по праву смерти / Я бы крикнул им из-под подков, / — Семь раз семь сходите и проверьте — / Путь каков?!”»⁵

Не этим ли именно и занимался автор «Красного Колеса», целую жизнь работая над эпопеей о революции? «Этот путь у Революции — один? неумолимо? / Или был — другой?»⁶

Разрешению этих сомнений он посвятит всего себя.

ДРУГАЯ, альтернативная биография Солженицына не может не волновать воображение биографа, исследователя, читателя.

Октябрьская революция не то чтобы положила «конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту», как пишет о

себе Мандельштам, она дала жизни Солженицына социальный старт даже не нулевой, а отрицательный. Можно представить, как бы сложилась жизнь единственного наследника Захара Федоровича Щербака, его единственного внука: богатый дедов дом, парк, земли, обширное процветающее хозяйство, возможность получить самое лучшее образование, хоть в России, хоть в Европе, заграничные путешествия. Вспомним, что писатель впервые пересек границу СССР (если не считать дорог войны, в которых он был не волен) в 56 лет, и тоже не по своей воле, а в результате насильственной высылки. А его молодые дядя и тетя Роман и Ирина Щербаки до революции успели объездить всю Европу и планировали, когда окончится война, поехать в Иерусалим, Константинополь, Америку.

Однако радужные эти перспективы обратилось в прах в самый момент рождения их племянника, так что ни о какой материальной, духовной или культурной ренте не могло быть и речи. Судьба Солженицына в пункте ренты резко контрастирует и с судьбой его старшего современника Владимира Набокова: ведь тому тоже пришлось отказаться от собственных культурных, то есть аристократических, дивидендов. Однако это были реальные, а не потенциальные или виртуальные потери: революция лишила его наследства в буквальном смысле этого понятия: благородного происхождения, богатого барского дома, аристократической родни, образа жизни и всей обстановки его молодости и его культурного круга.

Солженицыну терять было нечего. Первая его возможная судьба стала судьбой несбывшейся. Замечу, что сам Солженицын никогда, кажется, не испытывал личной ностальгии по утерянному раю в столице Новокубанской, никогда не воображал себя хозяином дедовой латифундии, владельцем овечьих стад, промышленником или предпринимателем. Самыми яркими красками изобразив дедов дом в «Красном Колесе», любовно (а не враждебно!) описав и дом, и деда, «крестьянского Столыпина», и мать в ее счастливой молодости, и труд, вложенный в хозяйство, он нигде ни одним намеком не указал на возможное там и свое место. Деду, потерявшему все, что у него было, одиннадцатилетний внук сказал в 1930 году: «Ты — не жалея. / Наследства б я из принципа не взял»⁷.

Вряд ли все же это были только слова утешения. То его потенциальное наследство, та его несбывшаяся судьба больно аукнулись пунктом неблагонадежного социального происхождения, которым долгие годы терзали мать. Только и всего. Несбывшаяся судьба стала не культурной рентой, а социальным налогом, который заплатили мать и сын Солженицыны советской власти, — нищетой, неустроенностью, убогим бытом.

Загадка судьбы Солженицына, которая стала окончательно очевидна теперь, после его ухода, в том, что он проживал ВСЕ свои ЖИЗНИ – И СВОЮ РЕАЛЬНУЮ, персональную, И НЕСОСТОЯВШИЕСЯ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ. Не только как художник или артист проживают судьбы своих героев, но и как реальный человек. Несбывшиеся варианты судьбы, волновавшие Солженицына всю жизнь, становились источником его замыслов и его реальных поступков. Его страстно волновала альтернативная судьба отца – что было бы, если бы он не погиб так нелепо? «Может быть, к лучшему умер отец / В год восемнадцатый смертью случайной: / С фронта вернувшийся офицер, / Кончил бы он в *Чрезвычайной*»⁸. «Горд бы я был, – пишет Солженицын в «Зернышке», – если б отец мой воевал против захватчиков, – в Белом ли движении, или еще лучше, в крестьянском... И в той борьбе если б и убили отца – это был бы подвиг его и зов ко мне»⁹. Несомненно, он искал зримые следы той возможной отцовской судьбы и на дорогах Тамбовщины, куда ездил собирать материалы по крестьянским восстаниям, и в книгах, и в рассказах очевидцев.

Он держал в поле зрения все свои возможные, но несостоявшиеся жизни. «Всю мою советскую юность я с большой остротой жаждал видеть и ощутить русскую эмиграцию – как второй, несостоявшийся, путь России. В духовной реальности он для меня не уступал торжествующему советскому, занимал большое место в замыслах моих книг, я *просто мечтал: как бы мне прикоснуться и познать*. Я всегда так понимал, что эмиграция – это другой, несостоявшийся вариант моей собственной жизни, если бы вдруг мои родители уехали»¹⁰. Как не связать с этим признанием пристальное внимание писателя к первой русской эмиграции! Как не думать о более чем культурной, то есть о кровной, родственной, связи с ней. В 1975-м, уже в изгнании, он пишет, обращаясь к русской эмиграции, к тем, кто *старше революции*: «Дорог всякий человеческий материал – и даже тем более, чем дальше он от великих событий, а ближе к простой жизни. Не ограничивайте себя ни темой, ни формой. Это может быть – последовательная ваша биография. Или отдельные эпизоды из нее... *Время* событий, которые я собираю, – 1917–1922... *Места* событий, более всего важные для меня: Петроград, Москва, Могилев, Рязань, Тамбов и Тамбовская губерния, Новочеркасск и Дон, Ростов-на-Дону, Пятигорск-Кисловодск»¹¹.

Понятно, что это материал для «Красного Колеса». Но чудится, что не только...

Прикосновение к тем вариантам своей судьбы, которые не сбылись, но могли бы сбыться, становится мощным стимулом его писательского и человеческого интереса, средством самопознания, глубиной психологизма. Что, если бы он остался на шарашке и не попал в каторжный

лагерь и не выучился на каменщика? Не было бы «Ивана Денисовича». Что, если бы он навсегда остался в своей «Прекрасной ссылке», учителем математики в казахском ауле? Если бы не поехал во владимирскую Мещеру? Многочисленные ЕСЛИ волновали и будоражили писателя.

«Если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах, что б из меня вышло?»¹² Этой мучительной альтернативе посвящены многие пылающие страницы «Архипелага ГУЛАГ». Дерзновенная попытка заглянуть в чудовищную версию своей судьбы давала ему мужество сказать самому себе: линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. «И кто уничтожит кусок своего сердца?..»¹³ То есть злого его участка? Его, не совершившего жестокого зла в реальности, терзала совесть за то зло, которое, по логике *другой* судьбы, он мог бы совершить. «Перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. А кликнул бы Малюта Скуратов н а с — пожалуй, и мы б не сплошали!..»¹⁴ Способность *повернуть глаза зрачками в душу* сделала его крупнейшим писателем современности и дала силы выстоять при всех поворотах судьбы. Не подробности саморазоблачений, а сами *факты покаянных признаний* в том, чего он никогда не совершал, станут важнейшей вехой биографии Солженицына. Признания эти, помещенные в составе главных произведений, которых не минует ни один читатель, — суть биографические документы высшего разряда.

Он искал эти «если» и в уже прошедшей реальности, заставляя видеть себя таким, каким никогда не был, но каким мог бы быть. Он подвергал свое безупречное офицерское прошлое такому порицанию, как будто это было не совсем его или совсем не его прошлое. Он смотрел на себя с такой стороны, с какой никогда не смотрит на человека в погонах даже и военный трибунал. Бывший комбат, ставший эком, не забыл ни одного неловкого эпизода своего командирства; припомнил каждую мелочь, которая входила в противоречие с правилами деликатности, душевной тонкости. Доходя в раскаянии до последней черты, он никогда не унижался до самозащиты.

И вот самое главное «если», волнующая загадка судьбы Солженицына. Перспектива уцелеть на войне и вернуться домой с боевыми наградами, но с *довоенными* мыслями и целями могла означать для Солженицына только одно: как исторический писатель он мог стать трубадуром Красного Октября и написать что-то вроде «Хождения по мукам»: вполне солидарно с общим пониманием темы: красные начинают, побеждают и завершают историю. В рассказе «Абрикосовое варенье» (1995) автор исторической трилогии показан как отвратительный циник и виртуозный мерзавец. Альтернативная биография

писателя Солженицына могла бы стать еще одним поучительным примером драмы большого таланта, загубленного собственным малодушием и ложной идеологией.

Что было бы с ним как с писателем, если бы арест 9 февраля 1945 года миновал его и он не попал бы в ГУЛАГ? Такой вопрос много раз задавал себе и сам Солженицын и неизменно отвечал: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили»¹⁵. Почему именно это слово — *страшно*? Страшно попасть в официоз, в секретарскую обойму? Не в этом дело. В канун ареста комбат Солженицын уже знал, зачем ему нужна литература и зачем он нужен ей. Написать правдивую историю Октября — ради этого фронтовик-орденоносец готов был пожертвовать и своим послевоенным благополучием, и семейным ладом, и литературной славой. «У борцов не бывает “славы”. “Слава” бывает у балерин, скаковых лошадей, “модных поэтов” и прочих кукол, — писал он домой в конце ноября 1944-го, повторяя, что не ждет от будущего тихих радостей, уютного быта и устойчивого счастья. — С каждым месяцем мои литературные планы и намерения захватываются, завихриваются, впитываются, уносятся Политикой. С каждым месяцем я все меньше и меньше живу *лично для себя*». Литература для него рифмовалась с правдой. Но что считать за правду? *Какая* история Октября отвечала критерию правдивости? В 1945-м Солженицын не видел в официальной литературе никого, кто бы мог создать художественную историю революции.

Победную весну 1945 года капитан Солженицын, минув арест и тюрьма, мог бы встретить не на Лубянке, а в Померании, куда из Восточной Пруссии в течение трех месяцев двигался его дивизион. Капитан Солженицын постарался бы демобилизоваться как можно раньше и, быть может, уже в мае 1945-го поехал бы домой — конечно же, через Москву: сошел бы на Белорусском вокзале, куда прибывали тогда украшенные цветами эшелоны с освободителями Европы. Он привез бы (если бы только не успел переслать раньше) несколько связок запрещенных книг, пишущую машинку «Континенталь» и блоки чистой бумаги для письма — главные военные трофеи. Он собрал бы все свои уцелевшие рукописи и блокноты, нашел бы зачетку и той же осенью поехал бы в Москву, на университетский литфак, вобравший в себя МИФЛИ, откуда в военные годы был отчислен с *правом восстановления*. Учась в Московском университете и работая в какой-нибудь школе, он пробовал бы свои силы в литературе. Фронтовик Солженицын мог бы предъявить корифеям Союза писателей драгоценный багаж — военные блокноты. Они содержали колоссальный материал. «Эти дневники были — моя претензия стать писателем... Я безоглядчиво приводил

там полные рассказы своих однополчан... и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это все рассказывал»¹⁶.

Можно представить, как стали бы воплощаться писательские притязания Солженицына, рискни он использовать военные блокноты. Вряд ли его литературные «крестные», при их официальном положении, одобрили бы интересы начинающего прозаика. Литературный дебют Солженицына, осуществись он по блокнотному варианту, даже на стадии рукописей привел бы автора в конце сороковых туда же, куда он попал в феврале 1945-го.

Если бы обладатель военных блокнотов, осмотревшись (в Москве, Ленинграде или Ростове), понял бы, что сюжеты его сочинений небезопасны и не могут быть реализованы без тяжелых последствий, то оказался бы перед жестким выбором, который стоял перед всеми собратьями по перу. Ему пришлось бы таиться, работать впрок, в стол — или строить литературную судьбу, следуя правилам легального советского писательства: сочинять «проходные» вещи. Легальное писательство, выбери Солженицын под давлением обстоятельств этот путь, еще более, чем любой другой выбор, отдалило бы его от цели — или эта цель была бы сознательно подменена.

«В советских условиях, если б меня не арестовали в конце войны, — да, большие духовные опасности были передо мной, потому что, если б я стал писателем в русле официальной советской литературы, я, конечно, не был бы собой, и Бога потерял бы. Трудно представить, кем я был бы все-таки, при всех моих замыслах»¹⁷ — писал он много позже. Так что, повернись колесо судьбы иначе, русский читатель мог бы узнать совсем другого Солженицына — успешного, скорее всего, партийного писателя с секретарской должностью в Союзе писателей. В лучшем случае уже в хрущевские времена он стал бы публично бороться за чистоту ленинизма и проповедовать социализм с человеческим лицом. Памятуя о своем былом интересе к истории Октября, *такой* Солженицын в начале шестидесятых мог бы писать пьесы о Ленине и его верных соратниках и в духе решений оттепельных партсъездов разоблачать культ личности. Наверное, еще лет через двадцать, в эпоху политических перемен середины восьмидесятых, он дозрел бы до разочарования в марксизме-ленинизме. Само собой разумеется, *этот* Солженицын ни «Ивана Денисовича», ни «Архипелага ГУЛАГ», ни «Красного Колеса» не написал бы никогда. Вряд ли под пером благополучного легального писателя могли бы появиться откровения из военных блокнотов. «Кто здесь был — потом рычи, / Кулаком о гроб стучи — / Разрисуют ловкачи, / Нет кому держать за хвост их — / Журналисты, окна «РОСТА», / Жданов с платным аппаратом, / Полевой, Сурков, Горбатов, / Старший фокусник Илья... /

Мог таким бы стать и я...»¹⁸ — замечал Солженицын-зэк, отлично понимая, в какую сторону могла бы после войны устремиться его писательская судьба. «Победим — отлакируют...»¹⁹

«Если бы я не попал в тюрьму, — писал Солженицын через сорок лет после победы, — я тоже стал бы каким-то писателем в Советском Союзе, но я не оценил бы ни истинных задач своих, ни истинной обстановки в стране, и я не получил бы той закалки, тех особенных способностей к твердому стоянию и к конспирации, которые именно лагерная и тюремная жизнь вырабатывает. Так что меня писателем, тем, которым вы меня видите, именно сделали тюрьма и лагерь»²⁰.

Имея в виду призвание Солженицына-писателя, которое с девяти лет жило в его сознании, формировало характер и жизненный выбор, трудно сокрушаться, что спасительное «если бы» весной 45-го обошло стороной Солженицына-офицера и что он встал на самую первую ступеньку своей уникальной судьбы. Арест 9 февраля 1945 года не дал повернуться этой судьбе в сторону легального литературного преуспевания.

Судьба, однако, причудливо столкнет Солженицына и с этой пугающей альтернативой, даст ему шанс экстремально проверить и этот вариант судьбы. Двадцать лет спустя после ареста он вплотную столкнется с той самой «ненастоящей», то есть с официозной, литературой, представителей которой Твардовский презрительно называл «вурдалачьей стаей» и «сурковой массой». Он воочию увидит писателей с обликами ядовитых змей, хищных птиц и порочных волков и будет втянут в роковую схватку с ними. Он не уклонится ни от своего Шевардино, ни от своего Бородино и познает наконец всю необратимость разрыва с этим потенциалом судьбы, органическую несовместимость с ней. Эта литература, обладая безошибочным инстинктом самосохранения, жестко и грубо даст понять, насколько он непереносим для нее, и, доведя до пограничной черты свое неприятие к чужаку, навсегда избавится от него.

Я назвала далеко не все потенциальные версии судьбы Солженицына, которые играли роль в его реальной судьбе. Тщательный анализ этих субстанций впереди. Остановлюсь лишь на самой последней. Солженицын цитировал пословицу: «Умирают не старые, а поспелые» — то есть те, кто уже выполнил свою жизненную задачу и поспел к смерти. В последний год мне казалось, что судьба его, подходя вплотную к последнему рубежу, готовит некий урок, назидание. Так и получилось: желаемая возможность ухода (умереть летом, а не зимой, умереть от сердца, а не от тяжелой и продолжительной болезни, умереть не на чужбине, а на родине, вблизи любимых людей и посреди сплошной работы) полностью совпала с реальностью — прора-

ботав весь день в своем кабинете в Троице-Лыково и устав под вечер, он ушел в ночь. Так буквально желаемое и действительное соединились еще только в одном пункте биографии Солженицына — в его возвращении на Родину, которое он предвидел, воображал и в которое верил с первого дня изгнания.

Если пытаться разгадать шифр его судьбы, как это всегда делал он сам, его уход означает, что свою жизненную задачу он выполнил полностью, по тем критериям, которые применял к себе. Он стал к смерти существом духовно более высоким, чем родился («Цель жизни человека не в счастье, а в том, чтобы за долгий жизненный путь духовно подняться, стать к смерти существом духовно более высоким, чем родился»²¹). Всецело отдаваясь литературе, он занимался главными вопросами человеческой жизни²², а не «игрой на струнах пустоты»²³. Для решения главных вопросов и посылалась ему энергия жизни — только в этом и можно видеть секрет его удивительного, даже поразительного долголетия. Он говорил правду и, значит, возрождал свободу («Говорить правду — это значит возрождать свободу. Не считаясь ни с давлением. Ни с интересами, ни с модами»²⁴). В каждом броске своей жизни он стремился понять истинный разум происшедшего, то Нечто, что направляло его («Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая верного пути, — и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надежно, что только и оставалось задачи: правильной и быстрее понять каждое крупное событие мой жизни»²⁵).

Он стал для своих современников уроком и поучением²⁶, пока, к сожалению, плохо усвоенным. Он невесело признавал, что в тяжком своем знании слишком «забежал от соотечественников вперед — и нет с ними кратких путей объяснения»²⁷. Он пропустил через себя весь объем российской истории и российских проблем с конца XIX века²⁸. Он корнями уходил в прошлое, но мощно прорастал в будущее, освоив историческое пространство и смысловой горизонт целого столетия. Он называл себя летописцем лагерной жизни, а стал строителем и главным действующим лицом истории XX века. Несомненно, в этом качестве его легендарная биография продолжается.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 186.

² Он же. Телеинтервью японской компании Net-Tokyo. Париж, 5 марта 1976 // *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1995–1997. Т. 2. С. 373–374. Курсив мой. — *Л.С.*

- ³ *Мандельштам О.Э.* Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст. С.С. Аверинцева. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 49.
- ⁴ Он же. Шум времени: Воспоминания. Статьи. Очерки. СПб.: Азбука, 1999. С. 64.
- ⁵ *Солженицын А.И.* Дороженька // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. М.: Наш дом – L'Age d'Homme, 1999. С. 115–116.
- ⁶ Там же. С. 113.
- ⁷ Там же. С. 35.
- ⁸ Там же. С. 29.
- ⁹ *Солженицын А.И.* Угодило зернышко промеж двух жерновов. Ч. 5 // *Новый мир.* 1999. № 2. С. 116.
- ¹⁰ Там же. Ч. 1 // *Новый мир.* 1998. № 9. С. 99. Курсив мой. – *Л.С.*
- ¹¹ *Солженицын А.И.* Обращение к русским эмигрантам, старшим революции // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 2. С. 316.
- ¹² Он же. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1 // *Собр. соч.: В 9 т.* М.: Терра, 1999–2005. Т. 4. С. 167.
- ¹³ Там же. С. 173.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом. С. 10.
- ¹⁶ Он же. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1 // *Собр. соч.* Т. 4. С. 142–143.
- ¹⁷ *Солженицын А.И.* Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве. Париж, март 1976 // *Публицистика.* Т. 2. С. 443–444.
- ¹⁸ Он же. Дороженька. С. 144.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Телеинтервью в Париже. 11 апреля 1975 // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 2. С. 262–263.
- ²¹ Круглый стол в газете «Йомиури» // Там же. Т. 3. С. 88.
- ²² См.: «Я не мог бы отдаться литературе, которая занимается не главными вопросами человеческой жизни... какими-нибудь необязательными посторонними пустяками, самовыражением так называемым» (Радиоинтервью о «Марте Семнадцатого» для Би-Би-Си. Кавендиш, 29 июня 1987) // Там же. С. 283.
- ²³ См.: *Солженицын А.И.* Игра на струнах пустоты: Ответное слово на присуждение литературной награды Американского Национального Клуба искусств // *Собр. соч.* Т. 8. С. 88.
- ²⁴ Интервью журналу «Ле Пуэн» // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 2. С. 329.
- ²⁵ *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом. С. 126.
- ²⁶ См.: Телеинтервью с Малколмом Магэриджем для Би-би-си. Лондон, 16 мая 1983 // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 3. С. 144.
- ²⁷ *Солженицын А.И.* Угодило зернышко промеж двух жерновов. Ч. 5 // *Новый мир.* 2003. № 11. С. 66.
- ²⁸ См.: Там же. С. 73.

Елена Чуковская

МОСКВА

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН В ПЕРЕПИСКЕ С ЧУКОВСКИМИ

Идя сюда, я вспоминала те юбилеи Солженицына, которым я была свидетелем. И пожалуй, я начну с юбилея 1968 года. В 1968 году Солженицын уже был под запретом, его имя в печати не упоминалось, но самиздат распространял его фотографию, ту самую, которая сейчас на обложке последнего номера журнала «Континент». Эта фотография на многих полках в домах заменила фотографию Хемингуэя, который стоял там до тех пор. Александр Исаевич получил горы писем со всех концов страны, несмотря на то что те, кто посылал эти письма, рисковали многим. Рисковали своим местом на работе и многими неприятностями.

Дальше наступил 1978 год. Солженицын был уже выслан из России. Я прочту отрывок из письма Лидии Корнеевны накануне этой даты:

«Поздравляю Вас. Очень ясно помню, что было в этот день 10 лет назад. “Десять лет! Вымолвить тяжело, а вытерпеть!” Но, слава Богу, и эти десять лет — прошли.

А сегодня мы — я и Вл. Корнилов — загодя передаем корреспондентам, с просьбой опубликовать, поздравительную телеграмму. Исполнят ли они обещание? Увидите ли Вы, услышите ли наши слова? В каком обратном переводе, с какого языка? На всякий случай посылаю Вам наш подлинный текст:

“Ложь, клевета, изгнание не властны разъединить Вас и Россию. Вы всегда здесь. Желаем Вам покоя и здоровья для Вашей Великой работы”.

Только две подписи — я да Володя. Больше мне ни с кем не захотелось...

В Ваш день соберемся, отпразднуем. Меня пригласили люди, которых я знаю как хороших людей, хотя и не всех знаю лично. Я поеду. Но уверенности, что доеду или что всем дадут возможность (физическую) доехать — у меня нет...

Даже если и соблюдать осторожность — смотреть будут в этот день за всеми зорко. Попробуем» (28 ноября 1978¹).

А в 1988 году началось уже печатанье и упоминание имени Солженицына в России. И его семидесятилетие отмечалось многочисленными очень многолюдными и памятными вечерами. Я помню вечер в Доме медиков. Затем был большой вечер в Доме кино. В Доме архитекторов и во многих других местах. Люди тянулись к этому имени, и было огромное желание прочесть эти недоступные тогда в России книги.

Я помню выступление на вечере в Доме медиков Анны Самойловны Берзер, которая читала письма к ней Александра Исаевича, и в частности, очень интересные его суждения о Владимире Набокове.

Дальше наступил 1998 год – 80-летие, в которое мне выпало быть в Театре на Таганке, где был и Александр Исаевич. В этот день давался спектакль «Шарашка», тот самый, который вы сегодня увидите. И мне запомнилось, что в антракте, когда все прогуливались или шли в буфет, Александр Исаевич стоял около своего места и надписывал бесконечные книги. К нему стоял длинный ряд читателей, и он весь антракт надписывал свои книжки.

По этим датам видно, как менялась эпоха и обстановка в стране.

И вот сегодняшний юбилей проходит уже опять совсем по-другому. Прежде всего – впервые без юбиляра.

Я хочу сказать о переписке Александра Исаевича с членами нашей семьи. Это большая тема, и я постараюсь лишь кратко упомянуть главное. Началась эта переписка с Корнея Ивановича. Александр Исаевич написал ему 27 февраля 1963 года:

«Дорогой Корней Иванович! В редакции “Нового мира” мне рассказывали, что Вы – не только один из первых читателей “Ивана Денисовича”, но и автор первой письменной рецензии на него – в то время, когда такая рецензия еще требовала мужества. (Правда самой рецензии Александр Трифонович мне не дал, “боясь испортить”, хотя опасность испортиться от похвал давно миновала с возрастом.) Все передавали мне, что Вы отнеслись к моей повести и ко мне с большим личным участием. Я глубоко этим тронут и благодарю Вас.

Ответно признаюсь Вам, что в тумане моего младенчества не вспоминаю никакой книги прежде Вашего “Крокодила” – она отпечаталась раньше всех и сильнее всех. Вообще, это был самый большой ужас моего детства, и выходя за калитку, я спрашивал у взрослых и оглядывался: не идет ли Крокодил, нет ли массового нашествия зверей (пацифистское окончание у меня почему-то запечатлелось меньше)».

И еще один короткий отзыв Александра Исаевича в следующем письме от 16 ноября 1965:

«Отчего же Вы никогда не дали мне прочесть Вашу книгу “От Чехова до наших дней”? Такой подарок ждал меня дома – жена достала ее здесь, в Рязани, и на время, разумеется, в издании 1908 года.

Я прочел ее с восхищением, всякое другое слово было бы недостаточным. Я никогда не представлял себе, что в опыте нашей отечественной критики есть такое! Книга написана с блеском, при малом объеме статей они очень содержательны и чрезвычайно убедительны...

Лично для меня эта книга объяснила и многое, чего я не знал о той литературе вовсе или не знал отчетливо».

В ответных письмах Корней Иванович писал о своих впечатлениях от читаемых тогда произведений Александра Исаевича. Эти ответные письма вскоре будут напечатаны в составе 15-го тома Собрания сочинений Чуковского.

Следующая большая переписка — это переписка с Лидией Корнеевной. Она тянулась с 1967 по 1992 год и насчитывает около сорока писем Лидии Корнеевны и около семидесяти писем Александра Исаевича. Отзывы Лидии Корнеевны на читаемые книги Солженицына я пока пропускаю. Скажу о том, что писал сам Александр Исаевич. Он писал в марте 1978 года:

«С великой благодарностью и теплотой вспоминаю свою жизнь на Вашей даче именно и особенно в последние тяжкие месяцы 1973 года, как-то врзалось все так остро, с такою силой! Незабываемые месяцы!

Спасибо, что ждете нас и верите в возврат. Мы тоже — мало сказать — верим, но только этим и живем... А Вы помните, что за два часа до моего взятия мы с Вами уговорились по телефону, что в тот вечер я к Вам приду? Так надо же исполнить обещание, правда?»

Во многих письмах обсуждались общественные вопросы. В одном из них Александр Исаевич писал: «Вероятно, у Вас верное ощущение, что сила зла там у нас давит как никогда. Но и здесь разложение, разврат и падение духа никогда еще не были такими крайними. Очевидно, спасение человечества, если оно возможно, — на каких-то новых и третьих путях. И, во всяком случае — не на бескрайней “идеологии прав человека”, как говорят диссиденты и Сахаров тоже: нельзя говорить о правах, упуская обязанности: человечество тут же и рассыпется. “Идеология прав человека” — это давно знакомая нам — *анархия*» (28 апреля 1981).

Тут надо сказать, что эта переписка интересна тем, что в ней все время происходит взаимоуважительный спор. Лидия Корнеевна отвечает: «Вы пишете: “надо искать третий путь”. Согласна. Но каким способом его искать, если у тебя и у других — кляп во рту? Мычанием? Вот и начинаешь требовать (как Андрей Дмитриевич) пресловутой гарантии свободы слова... Без этого никуда не двинешься, ни на какие поиски. Я послала Андрею Дмитриевичу к 60-летию телеграмму. Она

была довольно забористая; в частности, о незаконном изъятии его дневников² (Вы пережили изъятие архива, понимаете, *что это такое*). Моя телеграмма не дошла. Квитанция есть, но *управы* — нет. Вот и ищите третий путь без права общения» (14 июня 1981).

Александр Исаевич возражает на еще одну реплику Лидии Корнеевны. «Еще один Ваш упрек меня удивил: “...неуважение к тем, кто лишен прав в Союзе”? Что же можно было сделать больше, чем напечатать “Архипелаг”, а затем учредить Фонд помощи преследуемым, да действовать под советской властью? Кто сделал больше? Только вот упущено: что “права” не только у диссидентов, но у миллионов “бытовиков”, зажатых бытовыми статьями, их миллионы, мы их не знаем и не помогаем. Так такое “неуважение” разрешите вручить и всем тем, кто “уважает” одну свободу слова да эмиграцию». И дальше он пишет: «Одними пожеланиями демократии — ее не создашь. Воспитываться к ней, для этого предварительно ее *получив*? А кто же ее *даст*? *Взять*? — чем? Кстати, с 1901 по 1917 наше общество не так мало к ней воспитывалось — а в 17-м обнажилось, что это — ничто, мы совсем не готовы. Так после 50-ти лет большевизма — мы еще меньше к ней готовы, если б еще один 17-й — и вообще никого не останется, всех вырежут» (23 июня 1974).

И еще спор, и опять возражает Александр Исаевич:

«Что ж, дорогая Лидия Корнеевна, Вы мне объясняете: что такое был 1937 год? Как-нибудь я это знаю. Но Вы сравниваете его с 1935 — вот она и ошибка — характерная и типичная. Я в “Архипелаге” пишу: было *три* великих потока, *три*: раскулачивание — 1937 — и послевоенный (“итоги войны”). *Три*, но не один. А когда говорят все о 37-м, а раскулачивания и послевоенного не услышишь, так вот за то и “пресловутый”: что нельзя им забивать, затирать два остальных» (22 сентября 1975).

Дальше еще один спор — о Сахарове, к которому Лидия Корнеевна относилась с большим восторгом. Она пишет: «Вчера весь вечер провел у меня дорогой гость: Андрей Дмитриевич. От каждого его рассказа волосы становятся дыбом. Как у него хватает сил переносить непрерывно стекающиеся к нему со всей страны ужасы? Даже если не говорить о его борьбе; душа его вся насквозь изрешечена чужими несчастьями. Он не жалуется, — так же, как всегда, спокоен, невозмутим, ровен, тих. Если бы я разглядела нимб вокруг его головы, я не удивилась бы» (12 сентября 1977). И в другом письме: «А Сахаров — он как был чудом, таковым и остался; “творит дело милосердия” и проповедует “дело милосердия” повседневно. Я очень обрадовалась, что Вы его поздравили³; между им и Вами любой холод — зло» (14 июня 1981).

Александр Исаевич отвечает: «Вы упомянули о “холодности с Сахаровым”. Если такая и создалась (в общественном мнении, а лично мы расстались осенью 1973 самым теплым образом), то создал и холодность, и противопоставление — Сахаров, а не я. Я до десятка раз выступал в его защиту, иногда в очень критический момент для него (“арабские террористы”), выдвигал его на Нобелевскую премию, защищал от Жореса (тот развенчивал Сахарова именно в Осло). И даже когда я его критиковал, то всегда мягко: статью о его меморандуме дал прочесть *ему одному* и 4 года не показывал в Самиздат. Я всегда выступал, даже споря с ним, крайне почтительно и расположено» (31 августа 1981).

Здесь я обрываю это цитирование. По этим примерам видно, что переписка очень содержательная, большая, в ней выражены многие существенные взгляды Солженицына.

И наконец, хранится еще одна переписка — это переписка со мной. Переписка тоже большая, насчитывает более 150 его деловых записок до высылки Александра Исаевича и около восьмидесяти писем после высылки. Вообще, я думаю, что собирание писем Солженицына даже еще и не начинается, но когда-нибудь это будут новые и очень существенные страницы в его будущем необозримом собрании сочинений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ 11 декабря 1978 года — 60-летие А. Солженицына. Л.К. пригласили выступить о нем на каком-то домашнем, неофициальном собрании.

² Поздравительную телеграмму Л.К., адресованную Сахарову по случаю его юбилея, см.: Сахаровский сборник. М.: Книга. 1991. С. 8. Л.К. пишет в своей телеграмме в Горький: «...хочу пожелать Вам, чтобы нравственная мощь взяла верх над грубым насилием, чтобы отнятые у Вас сокровища были возвращены Вам...»

³ 14 мая 1981 года Солженицын направил Сахарову в горьковскую ссылку поздравительную телеграмму ко дню его 60-летия (см.: *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995–1997. Т. 2. С. 553).

Владимир Котельников

С.-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕЛОВЕК ЭПИЧЕСКИЙ — АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Чтобы ответственно говорить о *явлении*, которое останется в истории (и в нравственной памяти) под именем Солженицын, мы, оперируя научными средствами понимания, должны, во-первых, исходить из опыта, по своему содержанию гораздо более *сложного* и *динамичного*, чем опыт, необходимый для суждений о любом ином крупном деятеле, писателе, гражданине. Нам нужно быть во всеоружии опыта исторического, политического, социопсихического, морального и литературного, который и сейчас еще подвижен, остро актуален. Это диктует нам особый масштаб и состав явления.

Во-вторых, мы должны поставить рассматриваемое явление на ту высоту, где не только происходило *описание* мировых событий, но где эти события *совершались*.

Солженицын активно присутствовал во всех областях современной жизни, где протекали ее фундаментальные и рефлексивные процессы. В этом его свойстве он может быть сопоставлен с одним лишь Достоевским. Кругозор и деятельность Солженицына включали социальную ретроспекцию и текущую политику, борьбу с тоталитаризмом (не только советским) и общественно-нравственную проповедь, гуманитарную практику и художественное творчество. В каждом его поступке и слове отражаются и фокусируются эти области, и мы должны учитывать *все* такие отражения во *всей* их значительности — значительности для Солженицына и для нас: это должен быть наш *общий* с Солженицыным опыт — насколько то возможно. По широкому и отважному захвату действительности сегодня Солженицыну нет равных. Это человек не сегментарно, не тенденциально, а *универсально открытый* миру — универсально, однако, не созерцательно.

В названном качестве Солженицына следует усматривать не только его личное свойство, но, если угодно, задание человеку — и не на XXI даже век, а, может быть, на XXII — в лучшем случае.

Вопрос о высоте, на которой действовал Солженицын, — вопрос не о ранге данного деятеля, но о *статусе субъекта* исторического про-

цесса. Солженицын в наше, почти невозможное для этого время, вновь персонифицировал *героическое начало в истории* — то начало, о котором с истинно романским великолепием рассуждал (и оправдал его жизненно) Джордано Бруно, которому возвел философско-этический памятник Томас Карлейль и деградацию которого в Европе констатировал врач и мыслитель Константин Леонтьев.

Более чем уместно сейчас вспомнить максимум Карлейля: «Одно из двух: или мы должны научиться узнавать истинных героев и вождей, когда смотрим на них; или, в противном случае, нами неизменно навеки будут управлять негероические люди; а будут ли шары ударяться о дно баллотировочных ящиков на каждом перекрестке или нет — это вовсе не поможет делу»¹.

Он же, говоря о Книге Иова, пронизательно увидел в ней «дух благородного *универсализма*» и связал его с «*эпической* мелодией» этой книги, «правдивой во всех отношениях: правдивый взгляд на все и правдивое понимание всего, материальных предметов точно так же, как и духовных <...>. Возвышенная скорбь, возвышенное примирение, древнейшая хоровая мелодия, исходящая из самого сердца человеческого»².

Культурно-историческое воображение и последовательность мысли заставляют нас увидеть начальный, праисторический исток Солженицына в этом библейском писателе, потрясенном страданием, отвергшем авторитетную идеологию книжников и пошедшем на риск личного вмешательства в бытие своим вопрошанием Бога о смысле сущего. Иов — и герой, и создатель ветхозаветного эпоса.

Солженицын имел дар, силу и смелость вмешаться в ход истории по праву *эпического героя* Нового времени и сказать о том по праву *эпического писателя*. Последнее очевидно и было замечено в свое время И. Бродским³.

Он вмешался в основную коллизию Нового времени: коллизию человека современной цивилизации (оставляем последнюю без определений — все они давно банализировались) и человека духа. Не теоретический спор о них решен Солженицыным — он будет длиться еще долго, пока Восток не вынесет первому свой приговор; нет — на «весах Иова» им взвешена внутренняя ценность того и другого и определена их внешняя участь.

Он также вмешался в опаснейшую для человека коллизию нашей эпохи — коллизию насилия и свободы, массы и личности. И *героически* подтвердил неуничтожимость личности и свободы, и *эпически* показал их жизненное осуществление.

Историк и драматург Шекспир разложил познанное им бытие на трагических персонажей мирового театра, дав каждому его меру ви-

ны и правоты, равное право жить и умирать. Историк и эпик Солженицын собрал трагических персонажей действительности и соединил их в эпическое целое, создав не мир рассеянных одиноких существований, а человеческий космос, связанный со своим абсолютным смысловым центром.

* * *

В «Архипелаге...» классический реализм достиг предельной, сплошь документированной полноты и не только индивидуально-авторской, но объективно-жизненной экспрессии.

Но помимо мощно действующих на воображение и нравственное чувство фактов, поражало необычное, казалось бы совсем не соответствующее теме и материалу, ощущение *простора*. Сгущенный мрак и ужас «революционного террора», то грубо зверская, то изощренно-садистская обстановка преследований, миллионы уничтоженных, загубленные судьбы, муки, отчаяние — все это представляло воочию, вызывало у читателя боль, негодование, побуждало что-то немедленно совершить. И все-таки, переполняемый этими чувствами, читатель двигался вместе с повествователем через все этапы гулаговской эпохи — *вдаль*. В самом этом *познавательном* движении, которое не признавало ни пределов впереди, ни ограничений вокруг, в самом темпе развертывания материала была динамика, несомненно предполагавшая выход за пределы описываемой действительности, к верховной позиции ее осмысления, конечного понимания в свете абсолютной истины.

Применительно к познавательно-художественным задачам Солженицына и речевому их решению в «Архипелаге...» это представление соответствует масштабу работы; здесь всем словам возвращены настоящий вес, подлинная цена, они вне подозрений в риторичности, «литературности», ибо обеспечены личным опытом страдания, познания, борьбы, воскресения в жизнь и страстной любви к жизни. Только такие слова в своей живой совокупности развертывают процесс *понимания*.

Здесь нужно сказать о языковой работе Солженицына.

Он точно акцентировал языковой аспект внедрения зла в человека и в общество: «Революция спешит все переименовать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и “смертная казнь” была переименована — в “высшую меру” и не “наказания” даже, а “социальной защиты”»⁴.

Истреблялись не только люди, носители религии, культуры, традиции, — истреблялась и фальсифицировалась сама национальная речь, а с нею сознание, память, личность. Процесс обезличивания и маскировки зла в большевистском социуме — это в значительной степени процесс выработки и насаждения «новояза» (отраженный, в частности, и в антиутопии Е.И. Замятина «Мы»), это создание языка совет-

ской идеологии — языка «коммунистического общества», языка газет и собраний, языка лжи и насилия. За таким конгломератом разнородных языковых элементов (канцелярит и славянизмы, научная терминология и военная лексика), за смесью демагогии, невежества и наивности постепенно исчезали подлинные смыслы и истоки слова.

Важнейшей задачей Солженицына стало сокрушение прежде всего языковой «сплотки» (одно из любимых и метких его словечек) зла. Он вернулся к коренной русской речи — недаром же он еще на первых этапах (во всех значениях слова) своего лагерно-литературного пути избрал себе неразлучным спутником «Словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Писатель не поддался соблазну вернуться к языку старой России, устроить для себя литературный заповедник чистопородной русской речи. Он смело заговорил уже тогда новым, послебольшевистским языком, *речью* своей предвосхищая конец режима, называя все вещи их настоящими именами, возвращая русским словам их фундаментальные смыслы. И тогда словесные завесы зла разодрались, разошлись грубо сметанные швы, отлетели все нашивки, позументы, кумачовые заплатки.

Живой язык правды и свободы — вот что создавал Солженицын, когда в 1958 году задумывал книгу о лагерях, когда работал над «Иваном Денисовичем» (первым, «подрывным» фрагментом задуманной книги) и когда потом в течение десяти лет описывал неведомый миру «Архипелаг...». Он дал не только собственно стиль (что само по себе стало событием в литературе и глубоко повлияло на развитие русской прозы) — он предложил новую парадигму русского языкового сознания, очистил и расширил языковое пространство. Крупным результатом его деятельности в этом необходимейшем направлении стал знаменитый «Словарь»⁵.

Для этого понадобилось раскопать и разобрать по деталям слои российской истории, социально-государственного быта, сознания эпохи великого кризиса двадцатого столетия. Писатель предпринял небывалый еще «опыт художественного исследования» (подзаголовок «Архипелага...»), который он не случайно уподобил «археологическим раскопкам»⁶. Действительно, в книге предстает не только антропология, но и своего рода «археология» зла, скопившегося в вековых отложениях нашей жизни.

Обозревая историю карательных учреждений 1920–1930-х годов, набрасывая портреты тех, кто планировал и осуществлял беспримерные по жестокости и масштабам репрессии, он ставит неизбежный вопрос: «Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось?» (1, 160). Ответ вытекает из всего содержания книги: зло скапливалось в тех наших недрах, которые оставались не просвещенными идеаль-

ным светом, не развитыми в человеческом общении. Но автор спрашивает сам себя и требует, чтобы каждый поставил перед собою вопрос: «А повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я? Это страшный вопрос, если отвечать на него честно» (1, 160).

Беспристрастно оглядываясь на свое прошлое, вспоминая, с каким энтузиазмом принимал он привитое молодежи тридцатых годов «строелюбие и маршелюбие» — вместо «студенческого вольнолюбия», — вспоминая испытанную им в армии «радость опрощения» (то есть нравственного упрощения себя, отказа от самостоятельного ответственного мышления и поведения), наконец, и свое отношение к солдатам, которых он, офицер, считал несравненно ниже себя, — вспоминая все это на тюремных нарах, он «ужаснулся». «Вот что с человеком делают погоны. И — куда те внушения бабушки перед иконкой! И — куда те пионерские грезы о будущем святом Равенстве!» (1, 163). «Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность, — продолжает автор свои “раскопки”. — А между тем был — вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове, — может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте?» (1, 167).

Это в большевистскую эпоху, в XX веке. А в XVI, при не менее, пожалуй, жестокой опричнине Ивана Грозного, которую возглавлял «зверь» Малюта Скуратов? «А кликнул бы Малюта Скуратов нас, — довершает Солженицын признание, — пожалуй, и мы бы не сплошали!» (1, 167).

На третьем курсе, в 1938 году, его с товарищами настойчиво звали в училище НКВД. Он не согласился. «Сопротивлялась какая-то вовсе не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать: “надо!”, и голова твоя собственная тоже: “надо!”, а грудь отталкивается: не хочу, воротит!» (1, 161).

Но тысячи — пошли. И исполняли все, что от них требовали вожди и начальство; хуже того — действовали «по велению долга». На чем можно было основать такое представление о долге? Чем можно было оправдать насилие, унижение и уничтожение людей? Ведь всякий творящий зло нуждается в таком обосновании и оформлении его, чтобы оно представало необходимостью в мировом порядке вещей, казалось частью некоего блага и чтобы личное право на него оказывалось несомненным.

«Идеология! — отвечает Солженицын, — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. <...> Благодаря Идеологии досталось XX-му веку испытать злодейство миллионное» (1, 172). «И, видимо, злодейство есть тоже величина пороговая, — размышляет автор. — Да, колеблется, мечется чело-

век всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства – в его возможностях возврат, и сам он – еще в объеме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков или какой-то степенью их или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог – он ушел из человечества. И может быть – без возврата» (1, 173).

Тут уже вопрос не нравственного, а антропологического порядка. За той гранью, о которой говорит Солженицын, в самой человеческой природе происходит какой-то качественный сдвиг. Это, конечно, далеко не новое явление, оно столь же древнее, как род человеческий, – от первого грехопадения, от замысла и действия Каина.

Но мотив его нов: теперь это уже не взрыв стихийной ярости, гнева, не алчность, не личная ненависть, не месть, что всегда таится в глубине человеческой природы. Нет, теперь это овладевшая ущербными умами и душами новая «религия» – коммунистическая идеология, соблазнительный плод антихристианского гуманизма. У нее есть свое «богословие» – «диалектический и исторический материализм», есть «Великий учитель», имеющий своих «предтеч» (социалистов-утопистов) и верных учеников и «апостолов». Есть своя «церковь» (партия), есть «вселенские соборы» (партийные съезды), провозглашающие идеологическую догматику, моральную доктрину, предписывающие формы и порядок «культы» (партийные собрания как «церковная служба», демонстрации, праздничные шествия как «крестный ход»). Коммунистическая идеология – это последовательное и системное выражение антропатрии, религиозного поклонения человеку тварному. Она стремится из элементарных представлений о материальном мире и научнообразных объяснений его создать цельную картину мира, но сам этот мир она берет лишь частично, в таком его составе, который предполагает возможность и необходимость волевой переделки этого мира и управления им. Она не признает глубокого генезиса и сложных связей, она непримирима ко всему трансцендентному, идеальному. В своей самоуверенности схематического миропредставления идеология становится деспотичной и преследует всякую мысль, всякое чувство, которые за пределы схемы пытаются выйти. Она тупа и беспощадна в своем теоретическом монизме тем более, чем решительнее она ставит задачи социально-политической практики – революционной ломки общества и создание «нового человека».

Не все могли это понять, не все хотели это признать. Соблазн коммунистической идеологии именно в том, что она удовлетворяет простому человеческому инстинкту единства среды, цельности окружающего мира; инстинкту достаточно, что такой цельностью охватывается только «свой», ближайший мир. О другом мире инстинкт не

знает и не хочет знать и населяет его «классовыми врагами», «империалистами», которых и следует истребить, чтобы сохранить цельность «нашего нового мира».

Заражаются идеологией прежде всего люди, «лишенные верхней сферы человеческого бытия» (1, 149), как определяет их Солженицын. Таких оказалось в России неисчислимое множество. Их всегда было немало, они просто не были столь активны; советская власть и идеология санкционировали их активность — дали понятное всем обоснование и оправдание зла, дали ему свои — ложные — «освященные» большевистской религией имена.

Развитие другого человеческого типа, обладающего «верхней сферой», то есть духовностью, происходило слишком медленно, единично и разрозненно; оно так и не создало сколько-нибудь значительной социальной силы, способной успешно сопротивляться идеологическим соблазнам и власти большевиков. Поэтому в стране, с горечью констатирует писатель, не сложилось «граждански-мужественное общество» (1, 57).

«Не было в стране общественного мнения — и оттого укрепилась Тюрьма Нового Типа» (1, 455); так было в 1930-е годы. Но не находит его Солженицын и позже, после хрущевской «оттепели». «Общественное мнение. Я не знаю, как определяют его социологи, но мне ясно, что оно может состояться только из взаимно влияющих индивидуальных мнений, выражаемых свободно и совершенно независимо от мнения правительственного или партийного, или от голоса прессы. И пока не будет в стране независимого общественного мнения — нет никакой гарантии, что все многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнется любой ночью, каждой ночью — вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днем» (3, 98–99).

Можно указать на возникновение нескольких независимых «общественных мнений» в России в девятнадцатом и в начале двадцатого столетия. Из их борьбы и взаимовлияния могло возникнуть со временем некое действительно общероссийское «мнение» — исторически обоснованное, социально ответственное, нравственно авторитетное. Но слабо дифференцированная в личной вере и убеждениях масса, движимая общинными инстинктами и простыми социальными интересами, подавила этот процесс.

Чтобы создалось «общее мнение», нужны мнения частные, нужна мыслящая и волевая личность. И самый большой, самый трудновосполнимый изъян русской жизни, особенно заметный в моменты переходные, кризисные, — умаление личного начала в человеке, пренебрежение им в обществе.

Разумеется, всегда были личности замечательные, выдающиеся. Не было прочной традиции облекать жизненное содержание в личностную форму, неуклонно доводить его до выражения в твердой личностной форме — не только в великой, исключительной, а хотя бы в средней, даже малой, повседневной, но отчетливо личностной форме. «Я», как это засвидетельствовал в начале революционного разворота М.М. Пришвин, привыкло прятаться за «мы», а то и вовсе растворяться в нем.

И Солженицын вспоминает, как он заново открывал в себе собственную личность, о которой как будто и не вспоминал в прежней жизни, которая как будто и не нужна была ему тогда (в тридцатые годы) и тем более была подавлена в лагере. Его вызвали к начальству и велели писать автобиографию. «И от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, мое “я”. (Да, мой гносеологический субъект “я”! А ведь я все-таки был из универсантов...)» (2, 168).

Для полноценной развитой личности необходимо прочное бытийное основание, прочувствованное и продуманное в его связях с идеальными надличными началами. Без него личности не на чем утвердиться в мире; без него — шаткость, слабость, невозможность сопротивляться стихиям и злу.

Последнее состояние — почти обычно для многих, попавших в лагерь. Сам Солженицын не раз находил себя в подобном состоянии и только усилием воли и мысли преодолевал его. Так в нем восстанавливалась личность.

А чекистам пришлось уже с самого начала их деятельности столкнуться с несколькими настоящими личностями, с настоящим сопротивлением. То были люди действительно укорененные в абсолютных началах бытия.

Солженицын вспоминает о Бердяеве, чье поведение разительно выделяется на фоне малодушия как многих прежних революционеров (декабрист Завалишин, анархист Бакунин в своей «Исповеди» перед императором Николаем, Рысаков, участвовавший в покушении на Александра II), так и новых — видных партийных руководителей, которых Сталин заставил играть жалкую роль на знаменитых политических процессах 1930-х годов. Бердяев, арестованный в 1922 году и приведенный на допрос к Дзержинскому (там же присутствовал и Каменев), «не унижался, не умолял, а изложил им твердо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти, — и не только признали его бесполезным для суда, но — освободили» (1, 132). Вслед за тем Бердяев пишет еще и «Философию неравенства», одно из сильнейших обличений большевизма.

(Но каков парадокс — и каков соблазн коммунизма! — позже Бердяев (отрекшийся, кстати сказать, от упомянутой книги) признает «сталинскую конституцию» манифестом гуманизма и социальной справедливости.)

Примеров сопротивления в «Архипелаге...» приводится немало: инженер П.А. Пальчинский, биологи Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, студент Б. Гаммеров, моряк Г.П. Тэнно — ряд можно продолжать. Однако тут скорее исключительные личности, их натура и судьба складывались под влиянием особых обстоятельств.

Есть ли на что опереться, есть ли в чем почерпнуть силы человеку, чья жизнь протекала не на авансцене истории, кто не был призван играть значительную роль в политической, управленческой сферах, в науке и искусстве?

Исследование Солженицына показывает, что есть. Далеко не сразу и в «Архипелаге...», может быть, еще и не окончательно, он убеждается, вначале наблюдая за другими, а затем вглядываясь в себя самого, что самым прочным основанием для личности оказывается вера. Постепенно различил он среди массы эзков людей особенных, хотя «они невидимы и неслышимы были нам. Они были немые. Немее всех остальных. Рыбы — их образ.

Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были непоколебимы в своих убеждениях!» (2, 285).

Для Солженицына это стало открытием: «Мы проглядели, что у грешной православной Церкви выросли все-таки дочери, достойные первых веков христианства, — сестры тех, кого бросали на арены ко львам.

Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близости от себя. Это были лучшие христиане России. <...> Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко всплывет нам рассказ об одном или другом» (2, 286).

Автор все-таки упоминает некоторых, ставших известными: архиеерея Преображенского, отказавшегося войти в состав учрежденного под контролем большевиков Синода и снова отправленного в лагерь; знаменитого епископа Луку (В.Ф. Войно-Ясенецкого), пастыря Церкви и одновременно выдающегося хирурга; о. Павла Флоренского и других.

Он оказывается свидетелем удивительных эпизодов в судьбах сидевших с ним людей, неисследимыми путями приводимых к Богу.

«Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном: о мировом порядке — и Высшем духе его; о звездах; об их внутреннем состоянии; и о том, что же такое есть Время и ход Времени». Но чтобы привести эти мысли в научную систему, ему потребовались сведения из специальной литературы. Из тюремной библиотеки ему раз за разом приносили издания «пролетарского поэта» Демьяна Бедного, и вряд ли там были книги иного рода. Казалось — тупик; Козырев был на грани сумасшествия. Солженицын рассказывает, что случилось потом: «И ученый взмолился: Господи! Я сделал все, что мог. Но помоги мне! Помоги мне дальше. <...> Минуло полчаса после его молитвы — пришли сменить ему книгу и, как всегда, не спрашивая, швырнули — «Курс астрофизики»! Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке!» Козырев накинудся на нее, но через несколько дней книгу отобрали — именно потому, что он астроном. «Но мистический приход ее освободил пути для работы, продолженной в норильском лагере» (1, 465).

Иногда трудно было понять, откуда могла взяться искра Божия в советском человеке и, главное, — как могла сохраниться под глухими пластами зла. Но убедился Солженицын: «бывают скрыты в рядовом облике — рядовые души».

«Бывший беспризорник, воспитанник детдома, атеист» Анатолий Васильевич Силин, попав в немецкий плен, впервые взял в руки книгу на религиозную тему — и не отбросил, а стал читать, и она захватила его. «С тех пор он стал не только верующим человеком, — но философом и богословом!» Никогда не входивший в храм, лишенный духовного окормления, он ошупью искал свою дорогу к Христу. И излагал эти поиски в поэмах, сочиняя и запоминая тысячи стихотворных строк (записывать в лагере не разрешалось). Многие поразило Солженицына во взглядах Силина; особенно его дерзновенное объяснение страданий Христа в человеческой плоти: они были нужны не только ради искупления людских грехов, но и потому, что Бог желал почувствовать земные страдания. Силин говорил так: «Об этих страданиях Бог з н а л всегда, но никогда раньше не чувствовал их!» (3, 113–114).

О допустимости таких идей с богословской точки зрения можно спорить, но заслуживают внимания свобода и тонкость религиозного воображения в этом человеке. Великолепен и его аргумент против материалистов: «Они не хотят задуматься над тем — а как могла грубая материя породить Дух? В таком порядке — разве это не чудо? Да это было бы чудо еще большее!» (3, 114).

Из плена советского материализма сам Солженицын выходил не легко. Нескоро и непрямо пришел он к принятию Бога. По крайней

мере в 1946 году он искренне отозвался о напечатанной в газете молитве президента Рузвельта: «Ну, это, конечно, ханжество». И вдруг получил неожиданный отпор — от студента Бориса Гаммерова, также попавшего в Бутырскую тюрьму. Солженицын тогда еще мог ответить «очень уверенными фразами» — из известного идеологического арсенала. «Но, — замечает он, глядя на себя уже из времен позднейших, — уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное: живет в нас отдельно от убеждений какое-то чистое чувство, и оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение свое проговорил, а это в меня со стороны вложено. И — я не сумел ему возразить. Я только спросил: А вы верите в Бога? — Конечно, — спокойно ответил он.

Конечно? Конечно... Да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди первых заметил это» (1, 574).

Даже вовсе неверующих спасал Христос в лагере от соучастия в зле, от пособничества палачам. Лагерного знакомого Солженицына прибалта У. оперчекисты шантажом и угрозами принуждали к сотрудничеству, не принимая никаких отговорок. У него не оставалось больше доводов для отказа, и он, человек вполне безрелигиозный, прибег к последней защите: «Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне совершенно невозможно!» Это подействовало немедленно; его оставили в покое.

Рассказ об этом случае Солженицын заключает знаменательным суждением: «А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как бесы от крестного знамения, от колокола к заутрене?»

Вот почему наш режим никогда не сойдется с христианством! И зря французские коммунисты обещают» (2, 345).

В. Шаламов считал, что все попавшие в лагеря неизбежно или подвергаются растлению, или неисцелимо травмируются душевно. С этим Солженицын решительно не согласен. «Никакой лагерь, — утверждает он, — не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология “человек создан для счастья”, выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына» (2, 579).

Самое же прочное ядро личности — его вера, если она подлинна и глубока. Христиане проходят через Архипелаг, как будто «какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. <...> Твердость, не виданная в XX веке!» (2, 577).

Героизм в мученичестве, твердость в испытаниях — да. Но и верное понимание *смысла* этих испытаний. Безвестная старушка Дуся Чмиль, где-то случайно встреченная автором, на вопрос конвойного о лагерном сроке сначала задумывается, потом отвечает: «Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит — потоль и сидеть буду» (2, 577).

Закончив и издав книгу, подведя последние итоги лагерного опыта, Солженицын пришел к замечательному выводу: «Идеология там полностью исчезает. Остается, во-первых, борьба за жизнь, затем откровенно смысл жизни, а затем Бог»⁷.

* * *

Когда возникает необходимость рационально обозначить род миропредставления, созданный «Архипелагом...» и в «Архипелаге...», то подсказывает его сам автор в начале второй части («Вечное движение»): «...вступили вы в страну э п о с а. Приход и уход разделяются здесь десятилетиями, четвертью века».

У Шаламова и в прозе — напряженная *лирика*, беспощадная к себе и к другим, с перехватом дыхания. Мотив *отрицания* пронизывает ее насквозь; внутренне отрицается и в любом месте обрывается само повествование — ибо: «Что толку в *человеческом опыте?*» — вопрошает он с без-надеждной скорбью («Мой процесс»)⁸.

У Солженицына именно *эпос*, естественно вырастающий из опыта личного, с которым соединился опыт общий — и пережитый как опыт лагерного человеческого множества, единого «лагерного тела», и пришедший из чужих рассказов, из документов, из общей памяти. При иногда субъективном нравственном и политическом заострении этого опыта Солженицын не только эпический писатель, но, главное, *эпический человек*, что, с одной стороны, уводит нас к архаическим типам мировосприятия, а с другой — предвосхищает новый «протоисторизм» в литературе — может быть, уже в нынешнем, XXI веке.

В «Архипелаге...», «Красном Колесе», малой эпике Солженицына улавливаются некоторые линии русского эпического миропонимания.

Уместно определить положение Солженицына относительно двух главных классиков эпических жанров — Достоевского и Льва Толстого.

Несомненно, обнаруживаются тяготения, сознательные или бессознательные, к тому и другому. Однако при известной, не столько даже литературной, сколько гуманистической близости к сильной толстовской традиции, преимущественно морально-эпической, Солженицыну ближе — если можно так его назвать — антропологический эпос Достоевского.

У Достоевского эпическая событийность развертывается в сфере личности как уходящий вглубь сюжет психологической и идейной проблематизации человека. У Толстого эпическая событийность развертывается в природной, общественной, личной сферах как моральный и жизнестроительный сюжет. Но Солженицын идет уже *после* того, как произошли реальные исторические развязки этих сюжетов. Его деятельность приходится на ту эпоху, когда для движения к пониманию и

изображению истины о человеке существенно не знаменательное когда-то противоположение Достоевского и Толстого (из чего вслед за Д.С. Мережковским выводили две как будто несовместимые философии человека), а возможность и необходимость связывания духовного и литературного опыта обоих, что Солженицын осуществляет на новом материале, в новом культурно-историческом пространстве.

Вместе с тем Достоевский был для него особенно дорог. Как известно, в Марфинской шарашке он вместе со словарем Даля (тогда им разрешалось выписывать из библиотеки книги почти без ограничений) он выписывал Достоевского, прочитал у него все и неоднократно к этому возвращался позже. Именно как Достоевский — и в этом плане Солженицын оказывается гораздо ближе именно к нему — как и Достоевский, он захватывал действительность в ее живых состояниях, в кризисных, в преступных, в гибельных, почти безысходных состояниях, чего Толстой избегал. Толстой установил твердое русло суждений о человеке и о жизни, широкое, но неглубокое, без омутов и донных течений, профиль и направление русла определялись этико-социальной программой писателя. За пределы этого русла Толстой не выходил. Достоевский выплескивался наружу, и Солженицын в этом ему наследует — в расплеске, в раскате беспредельно вдаль и в разные (но всегда самые важные) стороны, захватывая по ходу движения безмерно большой материал. Так ведется повествование в «Красном Колесе», где разнородное содержание индивидуальной и общей жизни втянуто в мировые катастрофические процессы. Толстому эпоха «Красного Колеса» была бы уже не под силу, потому что те события, которые происходили в ту эпоху и в эпопее Солженицына отразились, уже лишены былой социальной почвы, не поддавались бы толстовскому морализирующему осмыслению и на нем основанному эпическому изображению. Русло оказалось размыто, религиозные и национально-патриархальные опоры разрушены, началась абсолютно новая эра. С этой поры проблемой для мысли и творчества стали не дальнейшие интеллектуальные интроспекции в сферы личности и социума и не новое литературное оформление их, центральным стал вопрос о сохранении человека и человеческого сообщества как субъектов истории и культуры. Солженицын начинает эпически отвечать на этот вопрос с «Архипелага...» и продолжает в «Красном Колесе».

Существенны возникающие именно в «Архипелаге...» как будто непредумышленные отзвуки средневекового эпоса о «погибели земли русской», о кознях, борьбе, смерти, о разорении общественного и душевного уклада людей. Трагизм героики и жертвенности соединяются здесь с всеобъемлющей основательностью летописного сказания.

Столь же эпично, как и в древнерусских повествованиях, предстает в книге вся реальность русской жизни (только шире захваченная, подробней прописанная и в фактичности своей доведенная до документальной точности, без чего современник не признает ее за истину), так же крупно и просто выступают первоначала бытия и человеческой природы — смерть, страх, страдание, любовь, свобода, труд. Все те же силы действуют в эпическом мире Солженицына, хотя политические формы, орудия действия принадлежат уже двадцатому веку, веку нового Ирода, нового Вавилонского пленения, нового Святополка Окаянного.

Это современная эпоха и современный эпос. Не только по историческому содержанию, но и по острейшей нравственной проблемности, которой не знал эпос старый. Повсюду обнаруживается новая податливость злу, новая готовность его совершать, новая способность предать свою личность таким сверхличным формациям, которым неведомы не только высшие идеи и побуждения, но и обыкновенные чувства сострадания, жалости. В «Архипелаге...» эпически разрастается устрашающая «картина человека», в которую, однако, автор — как сказано, человек эпический — не боится вписать и себя самого. Того требует эпос как всеобъемлющая, универсальная форма: здесь необходимо взаимосвязаны общим смыслом Иоанн Грозный, Андрей Курбский, Малюта Скуратов, Дружина Морозов, Борис Годунов.

Жесточайшими обстоятельствами эпохи жизненный круг как будто замыкался безысходно. Но эпос не может действовать в замкнутом пространстве. Символ круга, железного красного колеса возникает неоднократно, чтобы показать преодолевающий их напор жизни и героической личности. Эпическое миропонимание и эпическая воля Солженицына разрывают круги — и первый, и второй, и третий и выходят на простор Большого Времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. С. 176.

² Там же. С. 43–44.

³ Бродский И. География зла // Литературное обозрение. 1999. № 1. С. 4.

⁴ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования: В 3 т. М., 1989. Т. 1. С. 423. В дальнейшем при цитировании этого издания в скобках будет указываться том и страница.

⁵ Посл. изд.: Русский словарь языкового расширения / Составил А.И. Солженицын. 3-е изд. М.: Русский путь, 2000.

⁶ Беседа со студентами-славистами в Цюрихском университете (20 февраля 1975) // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995–1997. Т. 2. С. 211.

⁷ Интервью журналу «Ле Пуэн» [Point. 1975. 29 Déc. № 171] // Там же. С. 322–323.

⁸ Шаламов В. Колымские рассказы. Книга первая. М., 1992. С. 285.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
И ПОЭТИКА ДОСТОЕВСКОГО

В научной литературе о творчестве Достоевского давно установлено, что в его повествованиях автор («первичный автор», по выражению Бахтина), как правило, находится как бы «за кулисами», а на авансцене выступают разного рода рассказчики: или особые «хроникеры», или сами герои, или второстепенные персонажи. Они ведут повествование исходя из своего ограниченного кругозора: это может быть или некая исповедь, или рассказ, основанный на слухах, и т.д. Еще одна общая черта поэтики Достоевского состоит в том, что по ходу повествования автор-повествователь то идентифицирует себя с ощущениями и сознанием персонажей, то отделяется, отдаляется от них и, держа дистанцию, комментирует и происходящее, и ситуацию извне.

Эти сложные взаимоотношения между автором-повествователем и его героями: «вживание», «сопереживание», с одной стороны, и «внезаходимость», «дистанцирование», с другой, — в плане повествовательного стиля выражаются прежде всего в «несобственно прямой речи». И именно здесь, в области повествовательного стиля, мы можем увидеть несомненные аналогии, несомненное сходство между творчеством Достоевского и творчеством А.И. Солженицына. Рассмотрим конкретные примеры.

В «Преступлении и наказании» Раскольников, когда после убийства старухи-процентщицы и ее сестры он выходит из их квартиры, слышит чьи-то шаги. В описании этой сцены автор-повествователь совершенно вживается в героя:

«Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы <...> Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уже он прошел первый этаж, вот поднялся еще; все слышней и слышней! Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уже и третий начался... Сюда! И вдруг показалось ему, что он точно окостенел <...>» (6–66)¹

Такой же способ повествования мы находим в рассказе Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вот эпизод из самого начала

рассказа. Рано утром Шухов, еще не встав, лежа на вагонке, по звукам угадывает, что происходит вокруг:

«Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается инвалид, легкая работа... <...> Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот — и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит» (3–8)².

В таких описаниях у обоих писателей повествователь буквально сопереживает ощущения героев, и передача информации читателю о происходящем ведется через ощущения и сознание героя. Такой способ повествования часто используется во многих произведениях Солженицына.

В связи с подобным повествовательным стилем у Достоевского Д.С. Лихачев написал так: «Незаметные и быстрые переходы от авторской речи к речи повествователя происходят на всем протяжении произведений Достоевского»³.

По наблюдению другого исследователя, «слово автора и слово главного героя не отделены друг от друга резкой гранью, речевой поток свободно переносит читателя из русла общего повествования в душу героя и из нее вновь в колею внешних событий»⁴.

Чтобы продемонстрировать контрастные различия между таким стилем, таким способом повествования, общим для Солженицына и Достоевского, и, например, стилем повествования в произведениях Льва Толстого, рассмотрим и сравним сцену из романа «Анна Каренина», с одной стороны, и сцену из романа «В круге первом», с другой.

В известной сцене встречи на вокзале Анна, посмотрев на встречающего ее мужа, думает: «Ах, боже мой! Отчего у него стали такие уши?» А в романе Солженицына зэк Герасимович смотрит на жену во время свидания в лагере — и «первая мысль была — какая она стала непривлекательная» (1–309). Однако после объективного описания «непривлекательной» наружности жены идут слова повествователя, в которых выражено сопереживание герою и, можно сказать, слышен его внутренний голос: «Но подлую мысль, что жена некрасива, исподнюю мысль существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось все, что носила память» (1–309).

У Толстого стиль повествования об Анне Карениной совсем другой: «Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала уви-

деть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним»⁵. В этих словах не слышится ни вживания автора в героиню, ни внутреннего голоса самой героини, а есть только объективное описание ее психики, ее душевного состояния. Анне Карениной вообще чужда *память*, имеющая такое важное, можно сказать ключевое, значение для персонажей и Достоевского, и Солженицына и их внутреннего голоса.

Характерно, что Толстой заставляет Анну по дороге к смерти так думать о памяти — «Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего. Нельзя вырвать, но можно скрыть память о нем. И я скрою»⁶.

Для Солженицына, так же как и для Достоевского, память является не только основой духа, почвой личности, но и основой идейной структуры сюжета.

Можно сказать, что — по самой своей форме — рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Случай на станции Кочетовка» принадлежат к жанру воспоминаний, иначе говоря, мы видим в них «мемуарную форму повествования». Один день Ивана Денисовича, представленный нам в одноименном рассказе, — это не какой-то исключительный день, а обычный, типичный день из тех более чем трех тысяч шестисот дней, сохраненных в памяти героя. Образ простой крестьянки Матрены воспроизводится в воспоминании, в памяти повествователя — в его памяти она сохранилась как образ праведницы. Герой «Случая на станции Кочетовка» Зотов «никогда потом во всю жизнь не мог забыть этого человека», встреча с которым составляет центральный сюжет рассказа. Таким образом, герои Солженицына, можно сказать, живут или оживляются в пространстве памяти.

Именно *память, воспоминания* как внутренние голоса героев определяют идейную структуру сюжета в романах «В круге первом» и «Раковый корпус».

В романе «В круге первом» — что побудило дипломата Иннокентия Володина совершить столь рискованный *поступок*, рискнуть своей судьбой? Побудительные мотивы этого поступка тесно связаны с памятью героя о его покойной матери, с «Этическими записями» в ее дневнике. Володин там прочитал: «Жалость — первое движение доброй души», «Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя» (2–72). Эти слова матери оказали сильное влияние на сына, хотя он это и не сразу осознал: «Раньше истина Иннокентия была, что жизнь дается нам только раз. Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже дается нам один только раз» (2–76). Главный сюжет

романа тесно связан с решением Иннокентия, подсказанным мыслями матери.

На другого главного героя того же романа, Глеба Нержина, сильное влияние оказывала память о жене и их совместной жизни. Именно это удержало его в последний момент от продолжения «романа» с Симочкой, полюбившей его в «шарашке». Глеб признается Симочке: «Ты знаешь... она ведь меня ждет в разлуке — пять лет тюрьмы да сколько? — войну. Другие не ждут. И потом она в лагере меня поддерживала... подкармливала... Ты хотела ждать меня, но это не... не... Я не вынес бы... причинить ей...» (2–308).

В этой сцене примечательно еще и то, что повествователь соперничает Симочке и в повествовании отражается именно ее голос, ее реакция. Сразу после только что процитированных слов Глеба: «Я не вынес бы... причинить ей...» идет такой текст: «Той! — а этой? Глеб мог бы остановиться!.. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепелочка уже была убита».

Вообще, для повествовательного стиля Солженицына, как для стиля Достоевского, характерно то, что повествователь то свободно «вживается» в одного из персонажей, соперничает его сознание, его ощущения, то вдруг отдаляется от него, так сказать, меняет свое местонахождение. И голос каждого персонажа звучит равноправно — в общей полифонии. Например, мы слышим голос Симочки в таком пассаже: «Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, она, если правда красива, и молода, и без ребенка — неужели монашествовала?» (2–311).

Контрастно с этим голосом Симочки звучит голос Нержина: «Симочка, я не считаю, что я хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, что делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но поверь, что этого всего я набрался в *вольном* мире — поверхностном, благополучном. Поддался внушению, когда плохое изображается дозволенным. Но чем ниже я опустился туда, тем... странно... Не будет меня ждать? — пусть не ждет. Лишь бы меня не грызло...» (2–311).

Сила памяти как святая основа духа определяет сюжет о выборе будущей жизни и у Олега Костоглотова, главного героя романа «Раковый корпус». Перед бездомным Олегом после выписки из больницы были три возможности выбора: или посетить медицинскую студентку Зою, или пойти к «докторше» Веге, пригласившей его в свою квартиру, или, наконец, отправиться на землю своих воспоминаний. Более увлеченный «докторшей» Вегой, Олег направился к ее квартире, но

встреча не состоялась, так как он много времени потерял на прогулку по городу. Воображаемая встреча с Вегой волновала Олега и вызвала у него одновременно и страх, и радость: «Он все больше волновался, подходя к ее дому. Это был самый настоящий страх! — но счастливый страх, измиращая радость. От одного страха своего — он уже был счастлив сейчас!» (4–480).

Он впал в двойственное психологическое состояние. С одной стороны — стремление к высшей человеческой ценности, любви, сочувствие Веге, переданное несобственно прямой речью: «Почему же не поехать? Разве они не могут — подняться? Не могут быть выше? Неужели они — не люди? Уже Вега-то, Вега во всяком случае!» (4–490). С другой стороны, предчувствие, что ничем хорошим это кончиться не может. В конце концов Олег отказывается от встречи с Вегой, написав ей в письме с вокзала: «Но Вега! Если б я вас застал, могло бы начаться что-то неверное между нами, что-то насильно задуманное! Я ходил, потом понял: хорошо, что я вас не застал. Все, что мучились вы до сих пор и что мучился до сих пор я — это по крайней мере можно назвать, можно признать! Но то, что началось бы у нас с вами — в этом нельзя было бы даже сознаться никому! Вы, я, и между нами это — какой-то серый, дохлый, но все растущий змей» (4–498).

Здесь глубоко изображены изгибы сознания героя. Олег — человек, способный разумно рассмотреть в ракурсе памяти свое настоящее с точки зрения предполагаемого будущего. Зое он написал: «Вы были благоразумнее меня — зато теперь я могу уехать без угрызений. Вы приглашали меня зайти — я не зашел. Спасибо! Но я подумал: останемся с тем, что было, не будем портить. Я с благодарностью навсегда запомню все ваше» (4–497).

Олега в последний момент притягивает к себе та земля, Уш-Терек, где он жил в ссылке и подружился с супругами Кадмиными. Глава об этом называется «Воспоминания о прекрасном». Олег научился у супругов Кадминых восприятию ссыльной жизни «со смехом, с постоянной радостью». Что бы ни случилось, они всегда повторяли: «Как хорошо! Насколько это лучше чем было! Как нам повезло, что мы попали в это прекрасное место!» (4–261). Олег был согласен с мнением Елены Александровны Кадминой: «...совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь» (4–262).

Тема «жалости» и «сочувствия», тесно связанная с проблемой «отношений сердец и нашей точки зрения на нашу жизнь», по-моему, звучит во всем творчестве Солженицына. В его произведениях неоднократно встречается мысль, что люди молодого поколения были воспитаны на такой идее: «Жалость — чувство унижающее: и того уни-

жающее, кто жалеет, и того, кого жалеют» (Демка в «Раковом корпусе», 4–122). Та же мысль повторена, например, в связи с Иннокентием Володиным (2–72) и Руськой Дорониным (1–381) в «Круге первом».

Как противоречит эта идея — идея отрицания жалости — наставлению матери Иннокентия в ее «Этических записках»: «Жалость — первое движение доброй души!» Сын был верен совету матери.

Герой «Ракового корпуса» Олег Костоглотов испытывает «сочувствие» к Ефрему, приближающемуся к смерти. Об этом повествуется непосредственно-прямой речью: «Костоглотов смотрел на него не с жалостью, нет, а — с солдатским сочувствием: эта пуля твоя оказалась, а следующая, может, моя. Он не знал прошлой жизни Ефрема, не дружил с ним и в палате, а прямота его ему нравилась, и это был далеко не самый плохой человек из встречавшихся Олегу в жизни» (4–202).

То, что за глазами Олега находятся глаза повествователя, подтверждает другая ситуация. Влюбленные Олег и Зоя, увлеченные друг другом, не обращают внимания на умирающего больного — и повествователь комментирует: «Он был жив еще — но не было вокруг него живых. Может быть, именно сегодня он умирал — брат Олега, ближний Олега, покинутый, голодный на сочувствие. Может быть, подсев к его кровати и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его последние часы. Но только кислородную подушку они ему положили и пошли дальше. Его последние кубики дыхания, подушку смертника, которая для них была лишь повод уединиться и узнать по-целуй друг друга» (4–237, 238).

Таким образом, повествователь в творчестве Солженицына всегда находится за персонажами или рядом с ними и то вживается в них, то комментирует извне происходящее в качестве спутника, стоя как бы на одном уровне с персонажами. В произведениях Солженицына никогда не бывает образа всеведущего автора (как у Льва Толстого). Даже с наружностью и биографией персонажей читатель знакомится или через взгляд и со слов других персонажей, или через рассказ самого персонажа в ходе развертывания сюжета.

Рассмотрим конкретные примеры.

Облик Олега Костоглотова описывается сначала так, как он предстает перед глазами Русанова, новичка в больнице: «Морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею); а может быть от непричесанных дыбливых черных волос, торчавших и вверх, и вбок; а может вообще от грубого жестокого выражения» (4–17).

Кто он такой? Эта загадка для читателей решается постепенно через восприятие персонажа девушкой Зоей. Сначала Зоя узнает биографию Олега фрагментарно — по регистрационной карточке: «От всего этого

не яснее стало, а только темней»(4–157). После этого Зоя даже пугается: «Вот теперь действительно сердце ее сжалось. Все неспроста – и шрам этот, и вид у него бывает жестокий. Он, может быть, убийца, страшный человек, он, может быть, тут ее и задушит, недорого возьмет...» (4–162). Кто он такой? Этот вопрос для Зои и читателей выясняется в конечном счете через рассказ Олега о себе: «...он молчал, но все, что Зоя хотела слышать – она уже слышала. Он был прикован к своей ссылке – но не за убийство; он не был женат – но не из-за пороков; через столько лет он нежно говорил о своей бывшей невесте – и видимо был способен к настоящую чувству», «Устойчивость и силу после всего перенесенного – вот это Зоя ясно ощущала в нем, силу проверенную, которую она не встречала в своих мальчишках» (4–166). Заручившись доверием Зои, Олег рассказывает ей «историю» своего шрама: однажды, на красноярской пересылке, он ввязался в драку на стороне японских военнопленных против напавших на них русских уголовников. В момент этого рассказа, образ Олега вдруг озаряется новым советом.

Такое же чудесное «переключение» в освещении образа мы видим и в случае Матрены в рассказе «Матренин двор». В начале повествования крестьянка Матрена – существо, не привлекающее особого внимания других. Она незаметна и скромна – с точки зрения обычных эгоистических людей. Типичную оценку Матрены со стороны, с точки зрения третьего лица, вероятно, представляют отзывы золовки Матрены в финале рассказа. Сначала повествователь передает неодобрительные отзывы золовки. По ее мнению, Матрена «и нечистоплотная была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно». Даже о сердечности и простоте Матрены «она говорила с презрительным сожалением»(3–158).

Но сразу после этих отзывов повествователь вдруг освещает якобы недостатки Матрены с совсем другой точки зрения и переворачивает оценку, представляет нам образ праведницы: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» (3–159).

Такой крутой поворот освещения образа Матрены позволил повествователю создать образ многогранный и объемный. С одной стороны – сочувственное отношение самого повествователя к героине, с другой стороны – позиция вненаходимости, позволяющая – по ходу повествования – ссылаться на взгляды, слова и отношения других персонажей к героине. Такое сложное, комплексное отношение автора-повествователя к герою можно назвать диалогическим. На мой взгляд, здесь есть очень близкое сходство с поэтикой повествования у Достоевского.

Не менее драматический поворот освещения образа — поворот, отражающийся в стиле и способе повествования, — мы наблюдаем и в рассказе «Случай на станции Кочетовка». И здесь нет всеведущего автора-повествователя. В большинстве случаев облик персонажей, выражения их лиц, их поступки и мнения описываются так, как они предстают перед другими персонажами, собеседниками — через их реплики и реакции. Лишь изредка мы слышим голос самого автора-повествователя. В этом рассказе все персонажи — как «повествовательные точки зрения» — равноправны.

Герой рассказа, лейтенант Зотов, — повествовательный центр, вокруг которого один за другим появляются другие персонажи — с разными судьбами, но в одной военной ситуации. Зотов — патриот, человек принципиальный, справедливый и сердечный, но его повествовательный кругозор ограничен. Стоящий «за его спиной» рассказчик как бы поддерживает его и помогает обрести более широкое видение. Можно сказать, что Зотову «подарена» компетентность автора-повествователя, его способность сочетать «сочувствие» и «вживание», с одной стороны, с «внезаходимостью» — с другой.

Центральный эпизод рассказа — встреча Зотова с неким Тверитиновым, солдатом-окруженцем, опоздавшим на свой эшелон в ситуации, вызывающей у Зотова сомнение. Этот загадочный человек на первый взгляд кажется Зотову очень симпатичным. Их встреча напоминает нам встречу Раскольниковца с Мармеладовым или Рогожина с Мышкиным⁷.

Зотов был просто захвачен улыбкой, первым впечатлением от Тверитинова — и интересуется им. Несколько раз Зотов говорит о своем расположении к этому незнакомцу: «Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка у этого небритого чудака» (3–233), «Тверитинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить...» (3–236), «...но свое невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову все же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством» (3–240). Зотов даже рассказывает важную часть своей биографии этому незнакомому человеку, назвавшемуся бывшим актером. После откровенного рассказа о себе Зотов вдруг столкнулся с неожиданной репликой собеседника. По поводу Сталинграда этот актер спрашивает: «Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше? И — все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек — не знает Сталинград? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!» (3–247).

В этот момент доверие Зотова к Тверитинову рухнуло. Зотов, скрывая подозрение к Тверитинову, передал его в отдел дознаний.

Тем не менее в душе у Зотова осталось что-то, не разрешающее ему до конца подозревать Тверитинова в шпионстве. Следует такой текст: «Прошло несколько дней, миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. Все сделано было, кажется, так. Как надо. Так, да не так...» (3–254). На первое обращение с вопросом в оперативный пункт ответ был: «Разбираются!» На второе обращение к следователю через некоторое время ответ был: «Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает».

Таким образом, истина осталась в тумане и для Зотова, и для читателей, и рассказ кончается следующим пассажем: «Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека» (3–255)⁸.

В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что описанный мною повествовательный комплекс, включающий в себя «сочувствие» и «вживание», с одной стороны, и «внезаходимость», «дистанцирование», с другой, характеризует не только эстетическую тактику и авторскую манеру (в частности, несобственно-прямую речь), но и — шире — то, что я бы назвал «антропологической идеей» героев Солженицына, представляющую авторский подход к миру. Как я попытался показать, автор, как правило, ставит своих главных героев на некоем пороге или на некоей развилке и заставляет их выбирать путь по своей воле. И в этом выборе большую роль играют такие факторы, как «память» («воспоминание») и «жалость» («сострадательность»). Названные понятия очень важны и для Солженицына, и для Достоевского — они тесно связаны с тем, что я назвал «антропологической идеей», иначе сказать, — с идеей диалогичности. Полифонизм, характерный для творчества обоих великих писателей, по-моему, происходит из этой общей для них диалогической антропологической идеи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Все цитаты из произведений Ф.М. Достоевского приводятся по изданию: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. В скобках указываются том и страницы.

² Все цитаты из произведений А.И. Солженицына приводятся по изданию: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 6 т. Paris: YMCA-Press, 1978–1980. В скобках указываются том и страницы.

³ *Лихачев Д.С.* Литература — реальность — литература. Л., 1984. С. 88.

⁴ *Гиголов М.Г.* Типология рассказчиков раннего Достоевского // *Достоевский: Материалы и исследования.* Л., 1988. Т.8. С. 5.

⁵ *Толстой Л.Н.* Анна Каренина // Собр. соч.: В 14 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 8. С. 113.

⁶ Там же. Т. 9. С. 341.

⁷ Рассказчик, «стоящий за спиной» Раскольников, так комментирует начало его встречи с Мармеладовым: «Бывает иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника» (6–12).

Рогожин после первой встречи в вагоне поезда, прощаясь на вокзале, говорит Мышкину: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в эту минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь» (8–12).

⁸ В этой связи интересно вспомнить одно признание Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ». Солженицын пишет, что осознал в себе некое «постоянное природное свойство», которое он назвал «реле-узнавателем». Этот «узнаватель» «срабатывал прежде, чем я вспоминал о нем, срабатывал при виде человеческого лица, глаз, при первых звуках голоса — и открывал меня этому человеку нараспашку, или только на щелчку, или глухо закрывал <...> Узнаватель помогал мне отличать тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшее, глубины и тайны, за которые рубят головы. Так прошел я восемь лет заключения, три года ссылки, еще шесть лет подпольного писательства, ничуть не менее опасных, — и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам людей — и не оступился ни разу! Я не читал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даем ему развиваться в нас» (глава 5, 5–183).

Можно предположить, что память Зотова о Тверитинове поддерживалась работой некоего «реле-узнавателя», подобного тому, о котором пишет Солженицын.

Никита Струве

ФРАНЦИЯ

РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА СОЛЖЕНИЦЫНА

Мандельштам писал, что все слова об искусстве, поэзии, литературе должны отличаться большой сдержанностью, целомудрием. Еще большим целомудрием они должны отличаться, когда речь идет о религиозном значении творчества того или иного писателя, в частности Солженицына, поскольку у самого Солженицына все высказывания о религии отличаются большим целомудрием. А в то же время на глубине его творчество целиком пронизано, оплодотворено религиозным духом, верой во Всевышнего, основами христианского откровения. Эта вера, восходящая к впечатлениям от церковных служб в детстве, затем потухла. Подкрепленная чтением Пушкина, Достоевского и Толстого, которых Солженицын считал своими вдохновителями и судьями, она возгорелась вновь от собственного крестного опыта.

Пожалуй, впервые четко и определенно обратил внимание на христианское значение творчества Солженицына о. Александр Шмеман, самый крупный православный проповедник и церковно-общественный деятель второй половины XX столетия, автор едва ли не лучших трех статей о Солженицыне¹. В заключительных страницах своей первой статьи о Солженицыне он писал: «Не будучи литературоведом, я конечно никогда не дерзнул бы вообще писать о Солженицыне, если бы меня не поразило то, что я не могу назвать иначе как христианским вдохновением его творчества. Для меня в “чуде” Солженицына самое главное, самое радостное то, что первый национальный писатель советского периода русской литературы является одновременно и писателем христианским». Шмеман тут же оговаривается, что писать об этом трудно, что дело не в личной вере или неверии автора, не в принятии или неприятии им христианских догматов и обрядов, а в чем-то гораздо более глубоком и всеобъемлющем. Он называет творчество Солженицына христианским, наподобие того, как однажды Георгий Федотов назвал «самым христианским произведением русской литературы» «Капитанскую дочку» Пушкина. Тем не менее свою оценку, опираясь в основном на «Раковый корпус», Шмеман определяет как «три-

единую интуицию сотворенности, падшести и возрожденности» мира. И поясняет: «Творчество Солженицына почти целиком — об уродстве, о страдании и зле. И вместе с тем ни разу в нем нет и намека “хулы на мир, на человека и на жизнь”, наоборот, из вопля страдания [раздается] та самая “хвала”, что составляет последнюю глубину библейского и евангельского рассказа о мире».

Двумя годами позже в подпольном письме ко мне из Москвы от 14 мая 1972-го А.И. откликнулся на эту статью. Письмо было написано, когда А.И. узнал, что «тот доктор философии о. Александр», проповеди которого он уже давно с духовным наслаждением слушал по «Свободе», не кто иной, как о. Александр Шмеман, только что написавший одобрительный отзыв об открытом письме А.И. к Патриарху Пимену. «Это и было, — пишет А.И., — мне духовной наградой за письмо и для меня окончательным подтверждением моей правоты». И в том же письме А.И. добавлял, что «его статья обо мне в № 98 тоже очень много мне дала: объяснила мне самого себя и Пушкина... и сформулировала важные черты христианства, которых я не мог бы сформулировать...» Вот эти слова мне кажутся весьма существенными, подтверждающими, что христианское восприятие мира у А.И. идет не от разума, не от традиции, а от глубинного опыта, который я назвал бы жизненно-мистическим (хотя боюсь быть плохо понятым). Потому я сразу же поясню это определение цитатой из одного телеинтервью изгнанника Солженицына с Бернардом Пиво. Тот спросил А.И., что такое счастье, испытывал ли он его. А.И. ответил: «Когда врачи мне сказали, что мне остается жить несколько недель, в тот момент я, безусловно, не был счастлив, но я испытал такое возвышенное состояние, такой мир: психологически я перешел через грань смерти... Это такое возвышенное состояние, что его даже нельзя сравнить со счастьем...» Собственно, это то, что Достоевский называл «прикасаемостью мирам иным», которое у А.И. было не только в исключительный момент умирания 1953 года, но затем в менее явной степени, в разных проявлениях в течение всей жизни.

Тридцать пять лет тому назад, в июне 1973 года, еще до выхода «Архипелага...», во Франции собрался едва ли не первый в мире симпозиум о творчестве Солженицына². В нем участвовали писатели, критики разных воззрений (один его участник, проф. Нива, сидит здесь в зале). Вопрос о религиозном значении Солженицына прозвучал на нем с большой силой в докладе Петра Соломоновича Равича (1920–1985), французского писателя польско-еврейского происхождения, отсидевшего три года в нацистском концлагере Маутхаузене. Петр Равич поставил себе задачей объяснить явление Солженицына, «его величие, его исключительность, его “уникальный статус”», которые, считал он,

всем очевидны. «Как объяснить ошеломляющее впечатление, произведенное его творчеством и самим человеком через его творчество? Я предвижу, — говорил он, — что та формула, которую я Вам предложу, возможно, вызовет улыбки, если не смешки, но я иду на этот риск, утверждая, что мы имеем перед собой случай, может быть единственный в наше время и редчайший в истории литературы, где эстетика и этика сливаются воедино до того, что создают оригинальную и грандиозную сущность. Перечитывая недавно Солженицына, — продолжает Равич, — я себя иной раз спрашивал, нельзя ли видеть в святости, при определенных условиях, еще и эстетическую категорию и ценность. Очевидно, она таковой является, когда пропитывает творчество до того, что ей удается придать ему необыкновенное сияние, необыкновенную силу внушения. И это происходит без того, чтобы автор прибегал к изощренности, к формальным трюкам, к какому-либо чисто эстетическому приему...» Равич как бы извиняется, признает себя виновным, что в такой категории видит Солженицына. «Концептуализировать явление Солженицына (чем мы здесь и занимаемся более или менее удачно вот уже четыре дня) — это ему уже изменять. Мне остается, — заключает Равич, — в итоге только этот термин, такой ненаучный, неопределимый, уязвимый — святость». Определение, данное Равичем, смешков не вызвало, но все же привело большинство слушателей в некоторое недоумение. В дискуссии, следовавшей за докладом Равича, поднимались скорее побочные темы, разве что коснулся святости в краткой реплике католический философ Морис де Гандильяк, уточнивший, что не следует понимать святость в каноническом церковном смысле. «В том, что касается Солженицына, все поняли, что дело идет о “полностной отдаче себя”, об особом отношении к ценностям, в жизни пережитым и возведенным до абсолюта».

На этом симпозиуме прозвучал еще пространный доклад профессора-компаративиста Михаила Евдокимова (сын богослова Павла Евдокимова, ныне он уже не профессор, а православный священник), озаглавленный «Тема искупительного страдания у Солженицына». К актам симпозиума была приложена статья православного французского богослова Оливье Клемана, автора одной из первых западных книг о Солженицыне³. По методу медленного чтения оба прослеживают все положения в судьбах героев, все символические аллюзии во временных уточнениях или именах героев, свидетельствующие о религиозном и христианском духе, который пропитывает все первые повести и романы Солженицына. Разумеется, это в первую очередь образ Иннокентия Володина в «Круге первом» и Олега Костоглотова в «Раковом корпусе». Не ускользнуло от их внимания символическое значение (отчасти скрытое в его русской форме) имени советского

дипломата *Иннокентий*, то есть невинный (что так же в символическом смысле стоит в противоборстве с его фамилией *Володин*, – тут, обратно, русский корень не позволил ни Евдокимову, ни Клеману схватить это противоречие). Жертва Иннокентия, приведшая его на Лубянке к полному уничтожению, наводит Клемана на мысль, что Иннокентий в каком-то смысле образ, отклик совершенно Невинного человека, каким является Христос. Глеб Нержин, променявший ради правды выживание на шарашке на почти верную смерть в ГУЛАГе, не случайно носит имя первого русского святого, невинно убиенного. А действие романа происходит тоже не случайно в дни Рождества Христова, когда воссиял на земле Свет во тьме... И таких совпадений, ономастических переключек (в том же «Круге первом» – церковь Никиты Мученика, картина Грааля, убогая деревня *Рождество*, куда попал случайно Володин) можно проследить множество. Но это не литературный вымысел, а проекция испытанного в жизни. В подтверждение могу привести своеобразную деталь из моей переписки с А.И., когда он отметил, что к Троице произошло в нашей работе удачное событие и добавил: «я придаю этому празднику особое значение, так как он не раз сыграл спасительную роль в моей жизни».

Когда от личной своей судьбы А.И. перешел к историческим образам и событиям в «Красном Колесе», то он остался верен своим основным религиозным установкам. Так, в «Августе Четырнадцатого» он осмелился – можно так выразиться – несчастного генерала Самсонова уподобить Христу, вернее, соотносить с Христом, назвав его противоречивым определением «семипудовый агнец», несущий или берущий на себя, сознательно или подсознательно, всю тяжесть грехов России и своей собственной немощи и потому кончающий с собой как бы в их искупление. То же соотношение со Христом имеется и в образе отрекающегося от своей власти столь виновного, по мнению А.И., в катастрофе России Николая II. Некоторые, наверно, сочтут, что такие соотношения неправомерны и даже кощунственны (особенно в образе Самсонова). Но вспомним, как кончает свою жизнь князь Мышкин, этот литературный герой, в которого вписан прямую и убедительно образ Христа.

Мироощущение Солженицына христоцентрично (о чем мне уже не раз приходилось говорить и писать). Оно покоится на необходимости человеку не только покаяться, но совлечься от всей своей власти, принести себя в жертву и через это обрести свою подлинную человеческую сущность, а иной раз получить счастье и неотъемлемую радость жизни. Чтобы в здешнем эоне одержать победу над смертью, необходимо пройти через уничтожение, опустошение, «кенозис» (греческое слово обрело устойчивое богословское значение). Я не знаю, прочел

ли внимательно, помнил ли А.И. послание апостола Павла к филиппийцам, где во второй главе в нескольких стихах обрисована вся суть Христова спасения (кстати, послание к филиппийцам написано Павлом в узлах). Напоминаю вкратце основные мысли этой главы:

*Он, будучи образом Божиим,
Не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек...*

(это первая стадия кенозиса, в буквальном смысле смертным недоступная, но указывающая путь)

*...смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной.*

(это вторая стадия кенозиса, нам в определенных судьбах и условиях доступная); и посему

Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени.

Солженицын познал уничижение невольное, посланное свыше, — арест, умирание от рака, долголетие, опустошение жизненных, некогда сверхчеловеческих, сил, но и вольное: идя сознательно на жертву, согласие на жертву — собой, семьей, своей жизнью ради высшего призвания и правды, правды не только сиюминутной, внешней, но и глубинной, сущностной, той, где *истина* сродни глаголу *есть* или сливается с ним.

Первый заговорил об «опустошении» Петр Равич, когда пытался определить черты «святости» в художественном творчестве Солженицына. Вот как она ему представляется: «После каждого нового опустошения продолжать любить то, что остается, и память (или творческую память) того, что было. Никакой жалости, никакой снисходительности во взгляде. Все жалости в душе и в неотступающем духе, который берет на себя всю реальность человека, какая бы жестокая она ни была». Оливье Клеман пошел дальше, в своей книге употребил и само слово *кенозис*, правда его не развив, не противопоставив его той сверхприродной силе, которой обладал Солженицын и которая превращала отказ от нее в настоящий подвиг. Через жертву, через опустошение, отмечает он, человек не только обретает свою сущность, свое подлинное призвание, но еще получает возможность общения с себе подобными, даже со зверями, со всем творением, получает возможность видеть как бы первый день творения. Так христоцентричность у Солженицына в

представлении о человеке тем более убедительна, что она выражена целомудренно, даже в каком-то смысле не явно, и к тому же не исключает космоцентричности, любви ко всему творению и любования его красотой. Нет сомнения, — так заключал свою статью Оливье Клеман, — что Бог для Солженицына Живой Бог Библии и Евангелия, тот, с кем «легко жить», тот, «в кого легко верить». Но тут я даю слово самому Солженицыну и позволю себе привести полностью его молитву, заключающую первую часть «Крохоток»:

Как легко мне жить с тобой, Господи!
 Как легко мне верить в Тебя!
 Когда расступается в недоумении
 или сникает ум мой,
 когда умнейшие люди
 не видят дальше сегодняшнего вечера
 и не знают, что надо делать завтра, —
 Ты снисылаешь мне ясную уверенность,
 что Ты есть
 и что ты позаботишься,
 чтобы не все пути добра были закрыты.
 На хребте славы земной
 я с удивлением оглядываюсь на тот путь
 через безнадежность — сюда,
 откуда и я смог послать человечеству
 отблеск лучей Твоих.
 И сколько надо будет,
 чтобы я их еще отразил, —
 Ты дашь мне.
 А сколько не успею —
 значит, Ты определил это другим.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О Солженицыне // Вестник РСХД. 1970. № 98; Зрячая любовь // Там же. 1971. № 100; Сказочная книга // Там же. 1973. № 108–110. Все три статьи были затем переизданы отдельной брошюрой по инициативе архиеп. Сильвестра (Монреаль, 1975), а в 2009 году вошли в том всех статей о. А. Шмемана, богословских, литературных и общественных, выпущенных в Москве издательством «Русский путь».

² SOLJENITSYNE. Colloque de Cerisy. Paris: Éd. 10/18, 1974. — 312 p. Доклад Равича и его обсуждение на с.165–210.

³ Clément O. L'esprit de Soljénitsyne [Дух Солженицына]. Paris, 1974. — 384 p.

Андрей Немзер

МОСКВА

ДИАЛОГ С РУССКОЙ КЛАССИКОЙ В «АВГУСТЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Реминисценции русской классической литературы проходят сквозь весь текст «Красного Колеса», буквально — от первой страницы «Августа Четырнадцатого» до последней «Апреля Семнадцатого». Не имея возможности исчерпывающе охарактеризовать диалог Солженицына с его великими предшественниками (в первую очередь — Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, Толстым), мы сосредоточимся лишь на первом Узле «повествования в отмеренных сроках», где и сформировались солженицынские принципы переосмысливающего цитирования высших образцов отечественной словесности¹.

«Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высылся он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывая все сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта»².

Два начальных абзаца «Августа Четырнадцатого» задают две важнейших смысловых линии не только Первого Узла, но и всего «повествования в отмеренных сроках». С одной стороны, первые главы «Августа...» строятся на описаниях «правильной» созидательной жизни (крестьянин Лаженицын может позволить своему странному отпрыску учиться в университете; энергично и успешно хозяйствует Захар Томчак; в пятигорском магазине Саратовкина «приказчики считали позором ответ “у нас нету-с”»³). Человеческий труд весом, осмыслен и прекрасен. Далее, на протяжении всего повествования Солженицын будет тщательно и восхищенно описывать тружеников-мастеров — крестьян, рабочих, инженеров, ученых, мыслителей, даже администраторов, политиков, военных, если они действительно мастера и труженики, то есть заняты делом, а не пустой либо корыст-

ной говорильней. Человек обязан трудиться, по труду (физическому и духовному) он на земле оценивается.

С другой же стороны, всякий труд (даже в самых высших проявлениях) есть слабое подражание и продолжение сотворения мира, а всякое создание ума и рук человеческих – малость перед лицом Божьего мира.

Горы – традиционный символ величественного совершенства, сверхчеловеческой красоты и мощи. Само их присутствие в мире – напоминание о Боге, о вечности, о небесной отчизне, к которой тянутся снеговые, словно из чистого света составленные вершины, к которой вольно или невольно стремится человеческая душа. Горы напоминают человеку о его малости (что прямо сказано Солженицыным), но и зовут его в высь. Не случайно мотив горной выси и восхождения к ней звучит и в Священном Писании, и в молитвах, и в мирской словесности (устной и письменной) многих народов. В том числе в русской литературе Нового времени. Обычно речь идет о движении к горам, чье неожиданное появление ошеломляет странствующего и наполняет его душу каким-то особым чувством. Так у Пушкина («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»), убиравшего эмоции в подтекст: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за десять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи»⁴. Так в толстовских «Казаках»: «Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.

– Что это? Что это такое? – спросил он у ямщика.

– А горы, – отвечал равнодушно ногаец»⁵.

В присутствии гор мир для Оленина радикально меняется. Это относится не только к первым впечатлениям героя («С этой минуты все, что он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор»), но и – при понятных оговорках – ко всей кавказской истории Оленина.

Несколько иначе мотив этот представлен у Лермонтова. В записи, открывающей «Княжну Мери», Печорин запечатлевает грандиозную картину: «На запад пятиглавый Бешту синее, как “последняя туча рассеянной бури”; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее <...> амфитеатром громоздятся горы все синее и туман-

нее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине, — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления?» Горы напоминают человеку о его первоначальной чистоте, однако их присутствие не отменяет тех «страстей, желаний, сожалений», что владеют Печориним и обуславливают весь ход истории, случившейся на кавказских водах. Дуэль, в ходе которой Печорин становится убийцей, происходит в горах. Прямо перед поединком, уже предложив страшные его условия, Печорин вновь (не в первый раз за это утро) обращает внимание на пейзаж, причем взгляд его направлен сперва вверх, к горам, а затем вниз, в ту бездну, куда низвергнется Грушницкий: «Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи». На таком фоне жалкими выглядят как интриги Грушницкого и драгунского капитана, так и гордыня Печорина. Эффектная фраза, произнесенная им после гибели противника — «*Finita la comedia*» — не только свидетельствует о демоническом цинизме героя, но и, не отменяя трагизма развязки, характеризует всю случившуюся историю. Характерно, что запись о дуэли (сделанная уже в крепости N) открывается пейзажной зарисовкой, главное в которой — отсутствие гор (хотя формально Печорин, переместившись в Чечню, к ним приблизился): «Я один; сию у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы...»⁶

Кавказские вершины у Лермонтова становятся свидетелями и другой, куда более масштабной, трагедии — войны, жестокая нелепость которой становится очевидной в присутствии величественных гор, соединяющих землю с ясным небом. Это ключевая мысль стихотворения «Я к вам пишу случайно, — право...» (неоднократно отмечалось, что здесь Лермонтов «предсказывает» толстовское понимание войны). Вечные горы, однако, могут не только равнодушно взирать на безумие человеческой вражды и ее следствие — смерть (так в стихотворении «Сон», где смертельно раненного героя окружают «уступы гор»), но и вкупе со всем природным миром (скрыто противопоставленным миру социальному) одаривать умирающего освобождающим просветленным покоем (или его обещать). Так в стихотворении «Па-

мяти А.И. О<доевско>го»: «И вокруг твоей могилы неизвестной / Все, чем при жизни радовался ты, / Судьба соединила так чудесно: / Немая степь синее и венцом / Серебряным Кавказ ее объемлет; / Над морем он, нахмураясь, тихо дремлет, / Как великан склонившись над щитом»; так в поэме «Мцыри», где герой просит перед смертью перенести его в сад: «Оттуда виден и Кавказ! / Быть может, он с своих высот / Привет прощальный мне пришлет, / Пришлет с прохладным ветерком...»; так в стихотворении «Горные вершины»⁷.

У Солженицына горы не возникают (Пушкин, Толстой) и не присутствуют как неизменный фон жизни и смерти (Лермонтов), а, обнаружившись в зачине повествования, затем исчезают. Реальный маршрут (Саня Лаженицын едет от гор) обретает символическую окраску — из мира уходит вертикаль, связывающая землю с небом. Первая — северокавказская — сплотка глав завершается мотивом, ассоциативно связанным с начальным: освобожденный от воинской повинности Роман Томчак, прочитав газетные известия о русском наступлении, с удовольствием играет в войну: «От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать верст Пруссии.

Осторожно, не рвя карту, он теперь переколол все флажочные булавки — вперед, на два дневных перехода.

Корпуса шагали!»⁸

Корпуса шагают по чужой земле, удаляются от России (и от гор). Гибельность этого движения становится основной темой следующих — собственно военных — глав. Но еще раньше в тексте возникает антитеза горной выси — низвержение в ад. Причем происходит это в присутствии «лермонтовских» гор, в Пятигорске («На юг, поверх сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор»), где Варя Матвеева из-за собственной наивности (она хочет послужить революции и поддержать человека, в котором видит героя-страдальца) становится жертвой анархиста-насильника. Войдя в мастерскую жестянщика, а затем в «скрытый задний чулан» (убывает свет, сужается пространство, нарастает звуковая какофония), «она — если и начала понимать, то не хотела понять!

А он — страшно молчал!

Она задыхалась от страха и жара в этом черном неповоротливом капкане! колодце!

И ощутила на плечах неумолимое давление его нагибающих рук.

Вниз»⁹.

Сюжетно эта — восьмая — глава продолжает первую (в Минеральных Водах Варя случайно сталкивается с Саней, но встреча, о которой девушка мечтала, горько ее разочаровывает), мотивно же сопрягается с «томчаковскими». В шестой главе рассказывается, как в

первую революцию Роман отдавал деньги террористам («наставникам» коммуниста-анархиста, «подземного кузнеца», тоже вспоминающего *экссы*); в девятой возникает — внешне в совершенно иной связи — мотив страшного колодца: «А жалко стало ей (Ирине Томчак. — А.Н.) своей прошлой отдельной ночи и даже томительного одинокого, но и свободного дня. Если стянуть покрывало — обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в ночную бессонницу ей лежать на спине, разможенной, — и нет горла крикнуть, и нет наверх веревки»¹⁰.

Напомним, что восьмая глава появилась лишь во второй — двухтомной — редакции «Августа...», что это единственная из новых глав, посвященная не историческому персонажу и что именно в ней впервые вспыхивает роковой красный цвет. Заглавный символ повествования задан пока намеком: «В дешевой соломенной шляпке она шла по безтеновому жаркому тротуару — и вдруг оказался перед ее ногами, поперек тротуара — ковер! Расстеленный роскошный текинский, темно-красный с оранжевыми огоньками <...>

Кто — все-таки миновал, кто — смеялся и шел. И Варя — пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши, — необычайный какой-то счастливый знак». И далее в ходе разговора с анархистом: «Не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лег ей под ноги ковер»¹¹.

Вводя главу о Варе и анархисте, Солженицын усилил тревожное (знаменующее будущие беды) звучание всей «северокавказской увертюры»¹²: вступление России в войну подразумевает пробуждение (возрождение) революции, что и символизирует утрата вертикали.

Вертикаль эта, однако, исчезает не вовсе: в нескольких эпизодах «Августа Четырнадцатого» она вновь открывается солженицынским персонажам, а потому и читателям. В Восточной Пруссии, где разворачивается «самсоновская катастрофа», гор, разумеется, нет. Но есть то, что выше и величественнее гор, то, что старше, «первичнее», а потому ближе к вечности, даже чем грандиозные хребты, то к, чему обычно влекут горы взор человека, — небо, покрытое звездами.

«До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да и вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло все. Густо-черная неразличимая мертвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где все было на месте, где все знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной <...> и смотрел на небо. Как лежал он — как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звездам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришел: что нельзя его отличным тяжелым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы».

Звезды существовали до появления человека и его грехопадения. Звезды останутся и после того, как пройдет земное время. Сама Земля (и уж тем более — человечество) видится сейчас Смысловскому «блудным сыном царственного светила». «Придет час — наше теплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..»

Упомянув Сербию, Смысловский имеет в виду причину вступления России в войну летом 1914 года, что вызывает несогласие у его собеседника («Сербия была давима хищным и сильным, и защита ее не могла умалиться даже перед звездами. Нечволодов не мог тут не возразить»). Однако имя балканской страны (а затем и весь спор Смысловского и Нечволодова, большей частью — ведущийся не вслух¹³) рождает ассоциации с другим — более ранним и безусловно известным как героям Солженицына, так и его читателям — мировоззренческим столкновением, толстовским скептическим взглядом на участие русских добровольцев в войне на Балканах (защите Сербии), выраженным в восьмой части «Анны Карениной» (где позиция Левина максимально сближена с авторской), и возражениях Достоевского в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год¹⁴. Существенно и то, что «космогонические» размышления Смыловского в известной мере захватывают его оппонента, и то, что ни взгляд на земные дела с космической точки зрения, ни несогласие с политической позицией Нечволодова («Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее — и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтешь») не мешают Смысловскому оставаться патриотом («как раз отечество он очень понимал»¹⁵) и безукоризненно воюющим офицером. Непримируемые доктрины двух великих писателей здесь обнаруживают не только свои изъяны, но и ту глубинную правду, одна часть которой явлена Толстым, а другая — Достоевским. Характерно, что это преодоление непреодолимого противоречия ясно скорее читателю, чем героям. Впрочем, и они легко обходятся без тех резкостей, что непременно бы окрасили (и измельчили) спор, происходи он в другой обстановке. Но Смыловский с Нечволодовым беседуют «под звездами» (так именуется фрагмент 21-й главы в «Содержании»), при восстановленной вертикали, — и потому утишает собственно идеологическое противостояние и на-

мечает (для читателя) важную смысловую перспективу, которая вполне раскрывается в монологе вышедшего из окружения Воротынцева.

Мысли, которыми Воротынцев делится со Свечиным, пришли к нему как ответ на вопрос «а почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а... вообще на этой войне?..». Сам же вопрос настиг полковника, когда он в Грюнфлисском лесу «ходил <...> часовым, под звездами». Воротынцев формулирует: «мы всю жизнь учимся как будто только воевать, а на самом деле не просто же воевать, а как верней послужить России? Приходит война — мы принимаем ее как жребий, только б знания применить, кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну подумай, ведь последняя неизбежная и всем понятная война была — Крымская. А с тех пор...» Свечину эти мысли Воротынцева, его противопоставление службы «войной» и службы «одной силой стоящей армии» кажутся доходящими «до бессвязности». Он, добросовестный службист, что знает свое место, не может (и не хочет) понять, почему Воротынцев, сперва под звездами, а потом и в разговоре «вспомнил Столыпина»¹⁶.

Между тем ход мысли Воротынцева строго логичен. То, что открылось ему «под звездами», может (и должно быть) истолковано на трех уровнях. Высший — война вообще есть «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие»¹⁷. Воротынцев чувствует эту высшую правду примерно так же, как лежащий на поле Аустерлица князь Андрей или герой упоминавшегося стихотворения Лермонтова «Я к вам пишу случайно, — право...»: «Я думал: жалкий человек. / Чего он хочет!.. Небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он — зачем?»¹⁸

Следующий уровень — общеполитический. России 1914 года (не решившей множества экономических и социальных задач, не изжившей до конца язву революции, не сумевшей достигнуть общественного согласия и правильно выстроить отношения власти, народа и образованного сословия) война не нужна и опасна.

Наконец, уровень третий — собственно военный. Русская армия воюет плохо — не только из-за того, что план кампании составлен бездарно, а среди генералов немало трусов и карьеристов, но и потому, что к *новой* войне она вообще не готова (явно недостаточно вооружена, экипирована, обучена).

Может показаться, что к Столыпину имеет отношение лишь средний — политический — уровень мысли Воротынцева. Но это не так. Столыпин, согласно Солженицыну (и в данном случае представляющему автора Воротынцеву) понимал, что именно сильная, профессиональная, свободная от придворных и политических вмешательств армия, где генеральский чин не может быть достигнут интригами и

протекциями, офицеры по-настоящему образованны, а солдаты не мыслятся безликой массой, которую не жалко бросить в любую мясорубку, — только такая армия способна уберечь страну от войны. И равным образом он понимал, что мирное развитие России (как и любой страны) на разумных социально-экономических началах не только «выгодно», но и соответствует назначению человечества. (Потому так важны в «Августе Четырнадцатого» главы о мирной жизни, прежде всего — вступительные.) Ибо хотя рая на земле не будет никогда, человек обязан сколько возможно землю беречь и благоустраивать.

Восстановление вертикали (обращение взора к звездному небу, корреспондирующее с открывающей Узел картиной Хребта) предполагает возможность нормальной земной жизни (о чем и печется Воротынцев). Но вертикаль возникает и при трагическом завершении земного пути — при описании ухода из жизни Самсонова, композиционном и смысловом центре Узла (48-я глава завершает первую книгу «Августа Четырнадцатого»¹⁹).

После катастрофы Воротынцев еще надеется переменить течение событий — и потому выходит из Грюнфлисского леса со своей случайно сложившейся группой (армией в миниатюре) и дает бой в Ставке, пытается раскрыть глаза тем, кто губит Россию. Самсонов осознает свою личную беспомощность перед лицом грозной «силы вещей» — и потому винит в первую очередь себя («Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже <...> Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России»²⁰), отрешается от прежних обид и поиска виновных²¹ и кончает с собой в том же самом Грюнфлиссском лесу.

По сути, Самсонов умер раньше, чем выстрелил в себя: сперва — внутренне отодвинув все здешнее (в том числе — своих спутников), потом — потерявшись в лесу, который вдруг волшебным образом изменился. «Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения. Лишь поддвевал свежий ночной ветерок. Пошумливали вершины». Тишина, свежесть, ночь, высь — трудно не расслышать здесь ключевых слов того восьмистишья о скором и счастливом успокоении, что было написано по-немецки Гёте и по-русски — Лермонтовым. Горы, исчезнувшие в зачинной главе, возникают вновь — хотя речь идет о «вершинах» деревьев, контекст и память о лермонтовском слове рождают эту ассоциацию. «Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе». Самсонов и растворяется в лесу, как «всякая тварь», как «всякое умирающее лесное». Земного суда ему больше нет. Об ином же Суде нам знать не дано. Заметим, однако, что, сказав о самом страшном («Только вот почисляется грехом самоубийство» — и герой, и автор, и читатель

знают: не просто грехом, а тяжелейшим), Солженицын *не* описывает рокового выстрела — главу заключает молитва: «Господи! Если можешь — прости меня и прими меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу»²².

Сцена ухода Самсонова переключается не только с бдением Вортынцева в том же Грюнфлиссском лесу, но и с эпизодом Смысловского и Нечволодова «под звездами». Абсолютная тишина вновь напоминает о том мире, что существовал до появления человека. Не случайно и появление «одной единственной звездочки» — «не зная востока — он (Самсонов. — А.Н.) молился на эту звездочку». (В лермонтовских стихах о блаженном успокоении звезды могут заменять горы — «Выхожу один я на дорогу...».)

Грюнфлиссский лес утрачивает свою враждебность, становится «Божьим» в еще одном эпизоде — похоронах полковника Кабанова. Приняв неизбежное решение, Вортынецв объясняет дорогобужцам: «...немцы — не нехристи». Речь идет о чем-то большем, чем конфессиональная принадлежность неприятеля. Перед лицом вечности (прощание с ушедшим в небытие) война словно бы «исчезает». «Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колесным следом (обратим внимание на эту деталь, отсылающую к заглавному символу «повествования в отмеренных сроках». — А.Н.), ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро (как в зачине Узла. — А.Н.), синел смоляной разогрев, приглушенно перещебетывались птицы. Обнимало и людей безопасное, вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят — и по домам разойдутся». Уходят и привычные социальные различия (дорогобужцы не знают, как звали их командира, «солдатам — “ваше высокоблагородие” сунуто») — отпевает Кабанова мирянин Благодарев²³.

Наконец, обе сцены «лесных уходов» напоминают о том лесе, который в мирную пору открылся юному Сане Лаженицыну. «В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбираться, — а еще особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!»²⁴ Хотя Саня ошибся (яснополянский парк начинается лишь за большаком), связь Толстого, каким его пишет Солженицын, и его возвышающегося над суетой социальной реальности (людскими злобой и недомыслием) учения о любви с прекрасным и безлюдным, словно бы первозданным, лесом сомнению не подлежит. Отсюда приглушенные, но ощутимые «толстовские» обертоны в грюнфлиссских эпизодах, особенно — утреннем, «кабановском».

Расхождения Солженицына с Толстым в специальных комментариях не нуждаются (обнаруживаются они уже в «Августе Четырнадцатого», а последовательно и систематично представлены в рассуждениях о Северьяна в «Октябре Шестнадцатого»²⁵), но и присутствие толстовских (и лермонтовских, предсказывающих Толстого) мотивов в Первом Узле никак нельзя считать случайным. Солженицын не только опровергает мифологию Толстого (как, впрочем, и Достоевского; об этом глубоко и точно писал в 1971 году, откликаясь на первое издание «Августа Четырнадцатого» статьей «Зрячая любовь», о. Александр Шмеман²⁶), но и свидетельствует (самим повествованием своим) о глубинной правде Толстого, без которой невозможен разговор о «войне и мире», назначении человека, судьбе России. Но и сближения с Толстым (с отсылками к «предтолстовским», но не столь, как у Толстого, идеологически жестким текстам Лермонтова) не предполагают полного подчинения его «частичной» правде. Характерно, что в главе о прощании с Москвой (где говорится о разочаровании Сани в толстовском учении), «звездочет» (вспомним о мирных откровениях «под звездами!») Варсонофьев произносит то самое слово, стоящая за которым символическая реалья доминировала в начальных абзацах повествования, означала вертикаль, с удалением от которой (метафора вхождения в войну не одного лишь Сани Лаженицына, но всей России) в мире рушится его изначальный божественный строй. «Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли *хребет* (курсив мой. — А.Н.). И для этого молодые люди должны идти на войну»²⁷.

Именно такой разговор (не сводимый ни к полемике, ни к солидаризации с прежним опытом) Солженицын ведет на протяжении всего «Красного Колеса» с авторами ключевых для русской культуры сочинений. Так, в «Октябре Шестнадцатого» переосмысливается «Анна Каренина», роман, в котором пореформенный кризис представлен при свете всепроницающей «мысли семейной»²⁸. Так, в «Марте Семнадцатого» варьируются мотивы «петербургского мифа» (Пушкин, Гоголь, Достоевский). Так, заключительный эпизод «Апреля Семнадцатого» инкрустирован сложно взаимодействующими реминисценциями XI главы «Мертвых душ». Так, само кажущееся неожиданным завершение эпопеи (будущее главных вымышленных героев гадательно; большевики еще не одержали победы в Гражданской войне и не захватили власть) напоминает и об открытых финалах ряда великих русских романов (от «Евгения Онегина» до «Братьев Карамазовых»²⁹) и о том, что вершинные наши сочинения на исторические темы либо посвящены низвержению страны в Смуту («Борис Годунов», драмати-

ческая трилогия А.К. Толстого), либо предвещают будущие катастрофы («Капитанская дочка», «Война и мир»)³⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Во избежание недоразумений сделаем две оговорки. Во-первых, и применительно к «Августу Четырнадцатого» мы не стремились исчислить *все* отсылки к предшествующей словесности (многочисленные схождения с «Войной и миром» видны, что называется, невооруженным глазом). Во-вторых, мы не рассматриваем цитат (как прямых, так и завуалированных) из тех писателей, что были современниками описываемых Солженицыным событий (Горький, Брюсов, Блок, Волошин, Гумилев, автор «Тихого Дона» и др.). Их сочинения используются в «Красном Колесе» несколько иначе, чем классические. Вопрос о диалоге Солженицына с русским «модернизмом» может и должен стать предметом отдельного исследования.

² *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч.: В 30 т. М., 2006. Т. 7. С. 11.

³ Там же. С. 60.

⁴ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 436.

⁵ *Толстой Л.Н.* Казаки // Собр. соч.: В 20 т. М., 1961. Т. 3. С. 174. Заметим, что у Толстого горы открываются Оленину ясным утром (ср. «зорное утро» Солженицына) и возникает мотив оптического обмана (мнимой близости гор), также Солженицыным повторенный.

⁶ *Лермонтов М.Ю.* Герой нашего времени // Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 261, 327, 331, 322.

⁷ Он же. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 61, 76, 39, 489, 54.

⁸ *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого. С. 79.

⁹ Там же. С. 61, 69.

¹⁰ Там же. С. 52–53, 67, 79. В этой связи см.: *Спиваковский П.Е.* Символика Вавилонской башни и мирового колодца в эпопее А.И. Солженицына «Красное Колесо» // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2000. № 2.

¹¹ *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого. С. 62–63, 68.

¹² Газетные фрагменты, представленные в седьмой главе, фиксируют общий переход от мира к войне. Разумеется, рекламные объявления, с которых начинается коллаж, не приурочены к какому-либо локусу, а исторические события, освещаемые далее, происходят преимущественно в столицах и на открывшемся театре военных действий. Важно, однако, что читает эти самые газеты (и проникается их оптимизмом) в девятой главе Роман Томчак — газетная глава (единственная в «Августе...») встроена в контекст сплотки «дофронтowych» глав. Примечательно, что открывается газетный монтаж объявлением: «ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лецитала...» В рекламе используется вульгарно вывернутое речение Толстого (название его трагической пьесы о грешном, но живом человеке в мертвом казенном мире). Тот же оксюморон (опять-таки со значением сдвинутым, но зловеще) служит прозвищем одного из главных виновников самсоновской катастрофы — генерала Жилинского. На совещании у великого князя (заключительная глава Первого Узла) «Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот *Живой Труп*» (*Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 54; Т. 8. С. 470).

¹³ «Но как вся война, действительно, ничтожна перед величием неба, так и рознь их отступала в тот вечер» (Там же. Т. 7. С. 185).

¹⁴ См.: *Толстой Л.Н.* Анна Каренина // Собр. соч. Т. 9. С. 390–445 (в особенности — 430–437); *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 193–223.

¹⁵ *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 186.

¹⁶ Там же. Т. 8. С. 465.

¹⁷ *Толстой Л.Н.* Война и мир. Т. 3, ч. 1 // Собр. соч. Т. 6. С. 7.

¹⁸ *Лермонтов М.Ю.* Полн. собр. стихотворений. Т. 2. С. 61–62. Именно так (словно цитируя неизвестного ему Лермонтова) рассуждает в «Марте Семнадцатого» безмерно уставший от войны (как и все русские солдаты) Арсений Благодарев: «Эх, вся земля — чья-то, везде свое родное — да приведи Бог к нашему вернуться. И куда мы заперлись? И чего третий год сидим, из пушек рываем? <...> Так вот, зажмурясь в тишине, и не знаешь: где ты? кто ты? Одно и то же солнце всем светит — и немцам тоже» (*Солженицын А.И.* Март Семнадцатого // Собр. соч. Т. 14. С. 116). Любимый герой Солженицына не понимает, что естественный рост его «мирного» и «мирного» чувства будет использован для превращения «германской» войны в еще более страшную — гражданскую. Но эта трагическая ошибка не отменяет внутренней правоты мужика, оторванного от дома, обряженного в шинель и обреченного убивать себе подобных. Напротив, она еще раз подтверждает главную мысль «Красного Колеса» — вступление России в войну стало началом ее гибели в революции. Здесь уместно напомнить о том, что подумалось Воротынцеву под истребительным огнем сражения при Уздау (и отозвалось в его раздумьях «под звездами» и разговоре со Свечиным): «умирать не может быть жалко, кому война профессия — у него профессия, но этим мужикам?! — какая награда солдату? только остаться живым» (*Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 240).

¹⁹ Центральные главы несут повышенную символическую нагрузку во всех крупных «романных» сочинениях Солженицына («В круге первом», «Раковый корпус», четыре Узла «Красного Колеса»; в четырехкнижном «Марте Семнадцатого» сходно маркируются и финалы первой и третьей книг).

²⁰ *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 413.

²¹ Здесь не могут не вспомниться размышления толстовского Кутузова после Бородинского сражения: «Но этот вопрос интриги (Бенигсена, настаивающего на новом сражении под Москвой. — А. Н.) не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его <...> “Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?” И далее, отдав приказ об отступлении («властью, врученной мне моим государем и отечеством»), Кутузов думает «все о том же страшном вопросе: “Когда же, когда же наконец решилось то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?”»

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого не думал!» (*Толстой Л.Н.* Война и мир // Собр. соч. Т. 6. С. 309, 314). Разница в том, что Кутузов уверен в своей правоте и будущей победе («Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки...»), а Самсонов — в будущих поражениях. Как рисующий Кутузова Толстой не может отвлечься от своего (и общего) знания об итогах Отечественной войны, так и Солженицын строит образ уходящего Самсонова с учетом печального (и тоже известного) будущего. Следует отметить, что Самсонов отнюдь не играет в толстовского Кутузова (как оправдывающий красивой «аналогией» свои трусость и карьеризм генерал Благовещенский).

²² *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 418–419.

²³ Он же. Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 8. С. 24–26.

²⁴ Он же. Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 23.

²⁵ Он же. Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч. Т. 9. С. 55–65.

²⁶ См. в новейшем издании: *Шмеман А., прот.* Собрание статей. 1947–1983. М., 2009. С. 774–776.

²⁷ *Солженицын А.И.* Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 7. С. 375.

²⁸ Прямые отсылки к роману Толстого возникают в «Октябре Шестнадцатого» дважды. Ольга Андозерская замечает, «что теперь по столицам стали очень часты разводы, во многих парах один из супругов — разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского». Об Ирине Томчак говорится, что она «Анну Каренину ненавидит как самую гадкую из женщин» (гл. 29, 60). См.: *Солженицын А.И.* Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч. Т. 9. С. 392; Т. 10. С. 274. Еще важнее, что, как Толстой в «Анне Карениной», Солженицын в «Октябре...» представляет множество разнообразнейших семейно-любвных сюжетов, причем его «счастливые семьи» вовсе — вопреки Толстому — не похожи друг на друга.

²⁹ Есть соблазн усмотреть отголосок одного из них в названии «конспекта ненаписанных узлов» — «На обрыве повествования».

³⁰ Некоторые соображения на сей счет высказаны также в наших сопроводительных статьях к четырем Узлам «Красного Колеса», опубликованных в 8, 10, 14 и 16-м томах Собрания сочинений Солженицына.

Адриано Делль'Аста

ИТАЛИЯ

СОЛЖЕНИЦЫН И ВОЗРОЖДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ТОТАЛИТАРИЗМА

Каждый год в конце августа в Римини, в Италии, на побережье Адриатического моря проходит культурная акция под названием «Meeting di Rimini», мероприятие, устраиваемое католическим движением «Comunione e Liberazione» («Общение и освобождение»). На «Meeting...» этого года была представлена выставка, посвященная фигуре Александра Солженицына, организованная при поддержке московского Фонда Солженицына и фонда «Христианская Россия» и подготовленная, помимо меня, Людмилой Сараскиной и Джованной Парравичини из «Духовной библиотеки» в Москве. Это был потрясающий успех, в течение недели более чем пятнадцать тысяч человек посетили выставку, демонстрируя удивительные интерес и симпатию. В результате я задался тем же самым вопросом, которым задались все газеты тремя неделями ранее, сообщая о смерти Солженицына: я спросил у самого себя, откуда взялись такой интерес и такая любовь.

Газеты в основном отвечали, что Солженицын вошел в историю, обличив существование концентрационных лагерей в Советском Союзе. Потом все, конечно, признавали его величие как писателя, но вся его новизна все время сводилась к этой самой роли обличителя. На самом деле, конечно, верно, что обвинительный акт, оглашенный Солженицыным, имел большое значение, но вопреки распространенному мнению следует отметить, что ни на какое особенное первенство в этой области он претендовать не может. Он сам всегда подчеркивал, что его «Архипелаг ГУЛАГ» не только не был первой книгой о лагерях, но ему предшествовала публикация «с конца 20-х годов» не менее тридцати книг; на самом деле их число было еще бóльшим: в одном исследовании, опубликованном в Соединенных Штатах¹, подсчитано, что на Западе с 1919 до конца 1973 года, момента выхода «Архипелага ГУЛАГ», в виде статей и отдельных книг было опубликовано по крайней мере 414 работ о лагерях. Причины величия Солженицына следует, таким образом, искать в чем-то еще.

1. «НИКОГДА НЕ ВЛИВАЮТСЯ МИР И ЧЕЛОВЕК В ЕГО ЗАРАНЕЕ ПОДСТАВЛЕННЫЕ ЖЕЛОБОЧКИ»²

Ровно тридцать лет назад, в 1978 году, фон Бальгазар, один из величайших католических теологов XX века, автор наиболее авторитетной книги всех времен по теологической эстетике, определил «Архипелаг ГУЛАГ» как «эпопею нашего века, книгу, которую нужно сохранить, даже если бы пришлось потерять все остальное»³, и затем, в свою очередь задаваясь вопросом, на чем основывается эта ценность, указывал на судьбы людей, в ней описанных, объединенных тем, что они «были осуждены на одно и то же мужество сопротивления»⁴. Теолог, занимающийся эстетикой, уловил суть проблемы: Солженицын был велик не потому, что обличил существование концентрационных лагерей в Советском Союзе, но скорее потому, что показал, как возможно в этих лагерях оказывать сопротивление и оставаться людьми. Именно благодаря этому открытию неунничтожимой человечности его труд сыграл впоследствии решающую роль в обличении советского тоталитаризма и в его поражении.

Одной из наиболее характерных черт XX века было общее для двух тоталитарных систем, нацистской и коммунистической, стремление свести человека к нулю, лишить человека его свободы, его достоинства и самой его реальности, отняв у него физическую жизнь и затем уничтожив даже память о его существовании. Именно на фоне этого стремления полностью уничтожить человека ярким контрастом выступает одна из наиболее часто повторяющихся в литературных трудах Солженицына тем: мысль, что даже там, где человек, кажется, достиг самого дна бездны, предела бесчеловечности и лжи, он может все же остаться самим собой и даже открыть внутри себя силу невообразимую и нерукотворную: «Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!»⁵ – говорит баптист Алешка Ивану Денисовичу.

Лагерный опыт – это опыт полного отнятия, полного уничтожения человеческого; но этот человек, у которого все отнято, таинственным и неожиданным образом обнаруживает, что, после того как у него все было отнято, он сам еще остался: «Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не все. Но человек, у которого вы отобрали все – уже не подвластен вам, он снова свободен»⁶, – говорит один из героев Солженицына в романе «В круге первом», перед тем как отказаться от всех привилегий и согласиться на жизнь в лагере, зная, что там его ждет, если не случится чуда, верная смерть, и уж во всяком случае, годы бесчисленных страданий. До этого полного сведения к нулю человек все еще слишком привязан к околдовывающему прести-

жу, к «приманкам» частичной утраты человеческого статуса: он еще может поместить свое достоинство в какой-нибудь из отдельных частично составляющих его элементов, в силу разума, природы, общества, и, дабы остаться хозяином этой силы, он готов пойти на любое насилие и принять любой компромисс. Кем бы он ни был, рабом или господином, он всегда остается вдали от бесконечности бытия и во власти относительности обладания. Но у того человека, у которого уже отнято все, уже нельзя отнять тот факт, что он обнаруживает в себе нечто несводимое к тому, что он или другие люди могли бы дать ему или отнять у него. «В человека от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы — ядро человека, это его я! Никакое внешнее бытие не может его определить! И еще каждый человек носит в себе Образ Совершенства, который иногда затемнен, а иногда так явно выступает! И напоминает ему его рыцарский долг!»⁷

Сколь бы велико ни было насилие тоталитарной власти или давление доминирующего мировоззрения в так называемом «свободном мире», эту реальность души никогда не удастся уничтожить полностью, и, как все время повторяет Солженицын, она неизменно выплывает вновь на поверхность, неожиданно и непредвиденно: «в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему таинственному места, она вдруг да блеснет нам: я здесь! не забывай!»⁸ Душа обнаруживает себя «сложной» и «непостижимой», как бывает только у людей, способной сделать все «неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете»⁹, и каждый из нас может сказать: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не все я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа. Вы так не чувствуете?»¹⁰ Человек, таким образом, оказывается определяем отношением к бесконечному, абсурдной, но неуничтожимой жаждой бесконечности и бессмертия, которую человек не может дать себе сам или претендовать на способность самостоятельно поддерживать, но которая в то же время позволяет ему сопротивляться лжи, при помощи коей режим хотел бы все время направлять его в соответствии со своими планами, представлениями и идеями.

Что бы ни пыталась сделать власть, человек всегда может сохранить свое сущностное отношение к истине и «жить не по лжи».

2. «НАШ ПУТЬ: НИ В ЧЕМ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЖИ СОЗНАТЕЛЬНО!»¹¹

Если первая составляющая величия Солженицына — это открытие, что человек всегда, даже в самых враждебных обстоятельствах, остается человеком, то вторая составляющая его величия связана с

этим самым открытием центральной роли идеологической лжи и с обличением ее сущности и ее последствий: «Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать *оправдание* своим действиям. У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет»¹². Здесь рождается концепт объективного врага, благодаря которому «впервые в истории *народ стал враг самому себе*»¹³.

Речь идет о новой форме лжи: не традиционной лжи по Макиавелли, которая все еще признавала различие между истинным и ложным, но лжи собственно идеологической, которая каждый день идеологически переинтерпретирует, т. е. заново придумывает, истину и ложь, добро и зло вплоть до потери всякой связи с реальностью. Тот факт, что XX век наделал жертв больше, чем когда-нибудь было видано, в конечном счете определяется не появлением новых средств поражения и не дурным применением хороших в своей сущности идей, искаженных людским умыслом и людскими пороками, и также не появлением чудовищно коварных идей; речь идет не о борьбе между различными представлениями о действительности, но о борьбе между действительностью и фантазией, которая хочет занять место этой действительности: интерпретация, идеологическая над-реальность, должна уничтожить аутентичную реальность; и новизна идеологического зла состоит именно в претензии на существование идеи, во имя которой должна быть уничтожена реальность. Надо раздавить врага, как будто это насекомое, чтобы никто уже не мог заподозрить, что это не насекомое, а человек.

Уничтожение действительности, таким образом, является структурной необходимостью идеологии, и Солженицын изображает ее не столько как форму власти над действительностью, сколько как претензию на способность создать новую действительность, уничтожая старую: тоталитаризм не рассматривается более как форма власти в политико-институциональном смысле (какой все еще остается в некоторых отношениях авторитаризм), цель которой — контролировать и направлять общество, но скорее обретает все черты псевдорелигиозной претензии реконструировать и выстроить заново мир в соответствии с неким мессианским пониманием истории: уничтожить своего врага уже недостаточно, надо его перековать. И потому Солженицын, человек, на собственной шкуре испытавший реальность сталинских лагерей и их террористического насилия, не испытывает сомнений:

«Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она недемократична, авторитарна на основе физического принуждения, — в таких условиях человек еще может жить без вреда для своей духовной сущности. Всемирно-историческая уникальность нашей нынешней системы в том, что сверх всех физических и экономических понуждений от нас требуют еще и полную ОТДАЧУ ДУШИ»¹⁴. Ставкой в игре была именно человеческая душа; тем, что режим хотел изменить наиболее радикально, был именно «духовный мир человека», его совесть, а не что-то еще; и значит, именно здесь нужно было дать бой, чтобы поразить режим в самое его сердце.

3. «В БОРЬБЕ-ТО С ЛОЖЬЮ ИСКУССТВО ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛО»¹⁵

Теперь можно понять настоящую мотивацию величия Солженицына; выход из идеологической лжи и из ее радикального отрицания человечности не был на самом деле возможен, если оставаться только на уровне чистых идей, если идеологии противопоставляется другая идея, пусть даже более плодотворная: такой образ действий означал, что ты остаешься в плену у идеологической диалектики, у принципа, согласно которому истина и реальность определяются всегда идеей. С другой стороны, если не хочешь предлагать новую идеологическую истину, нельзя было и просто ограничиться отказом принимать какую бы то ни было истину: ведь и это тоже значило бы, что ты сдаешься перед законами идеологической лжи.

Чтобы противостоять тоталитаризму, нужно было уйти от этой диалектики примата идеи и найти принцип реальности, найти истину реального, и найти ее в реальном, не как что-то, что человек должен насадить силой, совершая насилие над существующим, но как что-то, что заложено внутри у реального: как «нерукотворное»¹⁶. И правда, Солженицын выбрался из этой диалектики, именно открыв реальность как нечто нерукотворное «в мире сделанных»: «И в чем тут держится душа? Не весит нисколько, глазки черные — как бусинки, ножки — воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет. <...> А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, — за двадцать минут целый мир перепашем. Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького желтенького утенка»¹⁷. Так он смотрит на сам свой труд: «не я все задумываю и провожу, я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный рубить ее и разгонять»¹⁸, и то же самое можно сказать о созданных им персонажах.

Но он добился даже еще более решительного и твердого ухода от диалектики идеологий именно потому, что уход этот был реализован не через новый дискурс, а именно через художественную форму, в образах, фигурах, архитектурных формах, приданных его романам, где бросаются в глаза эти создания, которые оказываются победителями как раз в момент поражения или окончания всех их человеческих сил, в момент, когда кажется, что ресурсы творческих способностей человека исчерпаны; достаточно будет привести пример Матрены, глупой старухи, которая, как обнаруживается после ее смерти, на самом деле была «праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша»¹⁹.

Не менее ясно виден этот способ преодоления идеологической диалектики и в пассаже из «Архипелага ГУЛАГ», в котором Солженицын, хоть и пишет труд, открытым образом являющийся политическим обличением идеологии, не менее открыто утверждает, что труд его располагается в совсем иной плоскости: «Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением. Если б это так просто! — что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? В течение жизни одного сердца эта линия перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не меняется, и ему мы приписываем все. Завещал нам Сократ: *Познай самого себя!* И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. А кликнул бы Малюта Скуратов *на с* — пожалуй, и мы б не сплоспали! От добра до худа один шаток, говорит пословица. Значит, и от худа до добра»²⁰.

Не стоит упускать из виду присутствие в этих двух последних цитатах поговорок и пословично-простонародных форм выражения: это совершенно типичная черта стиля Солженицына, и мы знаем о нем, среди прочего, что он с увлечением собирал в своих записных книжках поговорки в огромных количествах. Так там, где идеология предлагала только бесплодное диалектическое противопоставление своей отвлеченной истины и чистого отсутствия истины, художественное чутье открывает в поговорке новую форму истины, которая, с одной стороны, не отказывается от своих претензий, но, с другой

стороны, является не созданием отдельного человека, а плодом опыта, проверенного веками и народом.

При помощи вот этой истины искусство и призвано бороться с ложью; но, добавляет Солженицын, если все мы призваны помешать тому, чтобы ложь правила, опираясь на нашу поддержку, «писателям же и художникам доступно больше: *победить ложь!* Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает!»²¹.

От исходного парадокса, что человек открывает себя самого там, где он, казалось бы, сведен к нулю, мы приходим здесь к другому парадоксу, который даст нам увидеть основания величия Солженицына еще отчетливее: искусство открывает само себя, свое достоинство и свою силу именно в тот век, который, казалось, объявил ему конец.

Казалось, что искусство закончилось еще до начала Второй мировой войны²², закончилось среди игр и пустоты западного эстетизма в не меньшей степени, чем под грузом социалистического реализма; к этому добавилась потом трагедия войны, и на все это пал знаменитый афоризм Адорно, гласящий, что сочинять стихи после Аушвица было бы «варварством»²³, таким варварством, продолжал Адорно, что «сегодня писать стихи стало невозможно»²⁴. Казалось, этот приговор не подлежал обжалованию, казалось, стал невозможным какой бы то ни было культ прекрасного и образа после триумфа тоталитарного «безобразия»²⁵, которое хотело выкорчевать до самых глубин образ Бога в человеке и так же хотело сделать само искусство инструментом этого безобразия. Но раньше и глубже, чем любая теоретическая дискуссия о весомости этого заявления Адорно, сама действительность продемонстрировала несостоятельность его: лагеря породили искусство²⁶, обладающее силой; просто чтобы назвать несколько имен — Леви²⁷ в Италии, Антельма²⁸ во Франции, Гроссмана, Солженицына и Шаламова в России.

Казалось бы, лагерный опыт по определению не передаваем словами, все свидетели, которые прошли через его бездну, настаивали на его невыразимости и все же в то же самое время сходились в одном: что если уж выражать это невыразимое, то только искусство способно на это (в этом смысле свидетельские показания бесчисленны). Более того: вопреки всем сомнениям, оно действительно это сделало; как сказал Леви по поводу афоризма Адорно, «мой опыт свидетельствует о противоположном. После Аушвица невозможна никакая поэзия, кроме только поэзии об Аушвице»²⁹. Чтобы понять, как могло так получиться, что именно искусство смогло сказать правду о лагерях, нужно сделать два наблюдения.

Прежде всего, пусть этот парадокс может показаться скандальным, нужно помнить, что «[художественному] вымыслу противопос-

тавлена не истина, а факт»³⁰, грубый факт, взятый в своей непосредственной незначительности, факт, который случается, но не оставляет следов; в то время как художественная реальность не случается, а становится вечной. С этой точки зрения скорее слепые факты в их бессмысленности противопоставлены истине и находятся вне вечности; как сказал Пастернак, очевидным образом нарушая обычный ход мысли: «Фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничавшего человеческого гения, какой-то сказки»³¹. И для Солженицына искусство служит именно этому, именно чтобы дать реальное существование фактам, поскольку, как говорит один из его героев, «если слово не о деле и не вызовет дела — так и на что оно?»³².

К этому первому наблюдению нужно добавить, что если для увековечения истины каждого дня необходимо искусство и его слово, то это не значит, что выгнанный через дверь соцреализм должен вернуться через окно; писатель, прошедший через советскую над-реальность и через наглядную школу цензуры, соцреализма и лагерей, прекрасно знает, что не каждое слово может выполнить эту функцию увековечения, не каждый способ видения и описания реальности годится для такой функции и, более того, именно в сердце тоталитарного мира могут рождаться наиболее последовательные теории и фальсификации, в которых сама порожденная идеологией над-реальность представляется как модель идеальной реальности, того, что когда-то называли «светлым будущим»³³. Солженицын прекрасно знает опасность идеологического слова, опасности, заложенные в фантазиях идеологии, которая каждый день порождает новые над-реальности в соответствии со своими нуждами и каждый день с ними разделяется; сознает, что за выражением «исправительно-трудовые лагеря» трагическим образом скрываются обычные концентрационные лагеря и что за слоганом «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства» скрывается — уже совсем трагическим образом — знаменитое «Arbeit macht frei».

Если, несмотря на это, он все же не отступает от идеи силы искусства и художественного слова, то это потому, что он является носителем духовного опыта, давшего ему возможность убедиться, что всякая реальность, даже совершенно абсурдная на вид, содержит смысл. В мире безобразия, где образ уничтожается, это победа иконы, образа *par excellence*, в которой «внешняя и чувственная вещественность может и должна стать реальным орудием и видимым отображением божеской силы»³⁴; как в иконе конечное оказывается способным высказать бесконечное и неопишное становится опишным, так и сегодня вещи являются носителями смысла, и смысл этот

не заложен человеком, но должен быть им просто раскрыт и обнаружен.

Выступить против тоталитарной власти не значит, таким образом, выступить против познания и выступить против истины; просто взгляд Солженицына отличен от всепоглощающего взгляда режима; это в не меньшей степени ищущий взгляд, поскольку в приготовлении инструментов и материалов, необходимых для разворачивания его произведений, становится видна скрупулезность научного исследователя, под микроскопом которого оказываются не бесконечно малые величины природы, но бесконечно большие величины истории: персонажи, их характеры, их произведения, их манера письма, речи и мышления, их окружение, города с их топографией, события с их оборотами, в общем, все. И все-таки на выходе этот взгляд дает совсем другие результаты: это не всепоглощающее открытие нового «научного» (идеологического) знания, считающее, что оно овладело законами реальности, и потому иссушающее и делающее плоскими сложность и мощь жизни; это не подмена идеологии другой идеей, которая вместе с множеством прочих идей составит новую целостность; там, где у человека отобрано все, там, где человек уже не является ни одной из отдельных составляющих реального, вот там-то человек не может более испытывать иллюзий, что его человечность происходит от принесения нового вклада; он практически вынужден открыть, что то, из-за чего он все еще живет, находится по ту сторону всякого разделения на части и вклады и по ту сторону всякой целостности, что это то самое неисчерпаемое бесконечное, которое, как мы видели, является сущностной чертой человека. В солженицынском взгляде мы обнаруживаем новый способ смотреть, раскрывающий «всю правду <...> без слов»³⁵, не сводящий, таким образом, реальность к нашим словам, но постоянно расшевеливающий ее в бытие словом; этот новый способ смотреть означает поэтому открытие той конечной и сущностной реальности, которая по своей сути неисчерпаема и неупростима и которая делает человека таким же, тоже бесконечным, по ту сторону даже всей совокупности деталей, которые его образуют; поскольку, какими бы большими способностями исследования и изобретения ни обладали наука и философия, «никогда не вливаются мир и человек в его заранее подставленные желобочки»³⁶.

Действительно, хотя Солженицын и исследует с замечательной скрупулезностью бесчисленные аспекты детали, это все же не приводит его к тому, чтобы браться за все детали. Достаточно вспомнить устройство «Красного Колеса»: реконструируя историческую память России, он выбирает только отдельные детали, конкретные ключевые моменты, которые он называет «Узлами». Не претендуя на недо-

стижимую целостность, Солженицын концентрируется на очень коротких отрезках, на очень небольшом количестве отдельных дней: на точке, которая позволяет ему описать «всю кривую», на точке, через которую проходят не все плоскости целиком, но бесконечное число плоскостей. И следует отметить, что этот выбор продиктован не только тем фактом, что документы и свидетельства уже недоступны в их целостности³⁷, или пониманием, что времени и сил может оказаться недостаточно; все это так, но суть не в этом; а суть в идее искусства, которая ведет Солженицына и диктует ему выбор прежде, чем любое внешнее обстоятельство. Когда Солженицын дает «Архипелагу ГУЛАГ» жанровое определение «опыт художественного исследования», то он делает это явно не из жеманства художника и не ради ограничения значения совершенно правдивого и научного (на этот раз в собственном смысле слова) обличения, но скорее потому, что он твердо убежден, что «художественное исследование, как и вообще художественный метод познания действительности, дает возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый “туннельный эффект”, другими словами, интуиция проникает в действительность как туннель в гору. В литературе так всегда было»³⁸, так что вполне можно сказать, что она предлагает нам истину, «такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению»³⁹, и открывает возможность действия там, где «бессильны и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства»⁴⁰.

Поэтому искусство очевидным образом занимает важнейшее место во взглядах Солженицына, но не следует путать это признание первенства искусства с простым признанием бессилия разума, с признанием агностического бессилия разума; наоборот, новизна искусства Солженицына, новаторская сущность его творчества состоит как раз в отказе от бесчисленных «ночей разума» и от агностического молчания, порожденного опытом советских и нацистских лагерей.

Действительно, отказ от идеологического знания не является просто отказом от истины, поскольку как раз только через такое обнажение можно достичь возможности говорить о той истине, в существовании которой Солженицын абсолютно уверен, настолько уверен, что делает ее критерием суждения о каждом аспекте реальности. И если отвержение идеологии не является простым отказом говорить что бы то ни было о человеке, открытие доминирующего значения и первенства искусства не является банальной уловкой перед лицом бессилия слова или, что есть то же самое, банальным противоядием перед лицом избытка силы некоторых слов. Потому что «там, где науке не достает статистических данных, таблиц и документов, художествен-

ный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художественное исследование не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям»⁴¹. И за этим следует очень важное уточнение: интуиция должна быть обогащена опытом и духовным содержанием.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Zorin L. Soviet Prisons and Concentration Camps: An Annotated Bibliography. 1917–1980.* Newtonville: Oriental Research Partners, 1980.

² *Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования, 3–4 // Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 6. 1980. С. 47.*

³ *Balthasar H.U., von. Martirio e missione // Balthasar H.U., von. Nuovi punti fermi. Milano: Jaca Book, 1980. P. 259.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича // Собр. соч. Т. 3. С. 117.*

⁶ Он же. В круге первом // Там же. Т. 1. С. 113.

⁷ Там же. С. 369.

⁸ *Солженицын А.И. Раковый корпус // Там же. Т. 4. С. 142.*

⁹ Он же. В круге первом. С. 26.

¹⁰ Он же. Раковый корпус. С. 453–454.

¹¹ Он же. Жить не по лжи! // Собр. соч. Т. 9. С. 170.

¹² Он же. Архипелаг ГУЛАГ, 1–2 // Там же. Т. 5. С. 172.

¹³ Он же. Архипелаг ГУЛАГ, 3–4 // Там же Т. 6. С. 269.

¹⁴ Он же. На возврате дыхания и сознания. (По поводу трактата А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе») // Там же. Т. 9. С. 43.

¹⁵ Он же. Нобелевская лекция // Там же. С. 22.

¹⁶ «Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, — доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай все сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта» (*Солженицын А.И. Август Четырнадцатого // Собр. соч. Т. 11. С. 11.*)

¹⁷ *Солженицын А.И. Крохотки (Утенки) // Там же. Т. 3. С. 166.*

¹⁸ Он же. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-Press, 1975. С. 407–408.

¹⁹ Он же. Матренин двор // Собр. соч. Т. 3. С. 159.

²⁰ Он же. Архипелаг ГУЛАГ, 1–2 // Там же. Т. 5. С. 167.

²¹ Он же. Нобелевская лекция // Там же. Т. 9. С. 22.

²² См.: *Вейдле В.В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества.* Париж: Путь жизни, 1937; *Зедльмайр Х. Утрата середины.* М.: Территория будущего: Прогресс-Традиция, 2008.

²³ *Adorno Th.W. Gesammelte Schriften in 20 Bänden. Band 10.1: Kulturkritik und Gesellschaft I. Prismen. Ohne Leitbild.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. S. 30.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ «Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнения в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям» (*Солженицын А.И.* Нобелевская лекция. С. 8).

²⁶ См.: *Geller M.Ja.* Koncentracionnyj mir i sovetskaja literatura. London: OPI, 1974; *Wieviorka A.* Déportation et génocide. Entre la mémoire et l'oubli. Paris: Plon, 1992; *Parrau A.* Écrire les camps. Paris: Belin, 1995; *Rinn M.* Les récits du génocide. Sémiotique de l'indicible. Lausanne; Paris: Delachaux et Niestlé, 1998; Parler des camps, penser les génocides / Comp. C. Coquio. Paris: Albin Michel, 1999; Les camps et la littérature. Une littérature du XX^e siècle / Comp. D. Dobbels, D. Moncond'huy. Poitiers: La Licorne, 1999; La Shoah. Témoignages, savoirs, oeuvres / Comp. A. Wieviorka, C. Mouchard. Paris; Orléans: Presses Univ. de Vincennes — CERCIL, 1999; *Toker L.* Return from the Archipelago: Narratives of the Gulag Survivors. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2000; *Pipet L.* La notion d'indicible dans la littérature des camps de la mort. Paris: L'Harmattan, 2000; *Grierson K.* Discours d'Auschwitz. Littéarité, représentation, symbolisation. Paris: Champion, 2003; *Jurgenson L.* L'expérience concentrationnaire est-elle indicible? Essai. Monaco: Éd. du Rocher, 2003.

²⁷ См.: *Levi P.* Se questo è un uomo. Torino: Einaudi, 1958.

²⁸ См.: *Antelme R.* L'espèce humaine. Paris: Gallimard, 1996 (др. изд.: 1947, 1957, 1999).

²⁹ *Levi P.* L'ora incerta della poesia // *Levi P.* Conversazioni e interviste. 1963–1987. Torino: Einaudi, 1997. P. 137.

³⁰ *Wellek R., Warren A.* Teoria della letteratura. Bologna: Il Mulino, 1999. P. 42.

³¹ *Пастернак Б.Л.* Доктор Живаго. Milano: Feltrinelli, 1957. С. 124.

³² *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ, 5–7 // Собр. соч. Т. 7. С. 485.

³³ См.: *Горький М., Авербах Л.Л., Фурин С.Г.* Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина, М.: Гос. изд-во «История фабрик и заводов», 1934; *Погодин Н.Ф.* Аристократы. М., 1935; *Лацис М.Я.* Два года борьбы на внутреннем фронте // Речи и беседы агитатора. Вып. 9. М.: Госиздат, 1920; Он же. Чрезвычайные комиссии в борьбе с контрреволюцией. М.: Госиздат, 1921; Он же. Как строится социализм в нашей стране. М.: Госиздат, 1929; *Вышинский А.Я.* От тюрем к воспитательным учреждениям. М.: Советское законодательство, 1934; *Авербах И.Л.* От преступления к труду. М.: ОГИЗ, 1936.

³⁴ *Solov'ëv V.S.* La Russie et l'Eglise Universelle // *Solov'ëv V.S.* La Sophia et les autres écrits français. Lausanne: L'Age d'Homme, 1978. P. 134 [*Соловьев В.С.* Россия и Вселенская Церковь // Собр. соч.: В 12 т. Брюссель: Жизнь с Богом, 1966–1969. 1969. Т. 11. С. 153].

³⁵ *Солженицын А.И.* Раковый корпус. С. 318.

³⁶ Он же. Архипелаг ГУЛАГ, 3–4 // Собр. соч. Т. 6. С. 47.

³⁷ См.: Он же. Пресс-конференция в Мадриде (20 марта 1976) // Собр. соч. Т. 10. С. 331–332.

³⁸ Там же.

³⁹ Он же. Нобелевская лекция. С. 8.

⁴⁰ Там же. С. 14.

⁴¹ См.: *Солженицын А.И.* Пресс-конференция в Мадриде (20 марта 1976). С. 332.

Анджей де Лазарь
ПОЛЬША
КАК БЫТЬ РУССКИМ?

На рубеже 80-х годов, когда Александр Солженицын предупреждал, «чем грозит Америке плохое понимание России», и доказывал, что «коммунизм — у всех на виду и не понят», обращая внимание на распространенное ошибочное использование слов «Россия» вместо «СССР» и «русские» вместо «советские», я проблемы не понимал. Ведь в то время поляки уже более или менее успешно отличали советское от русского. Существовало советское государство, а в нем среди прочих жили русские — с русской культурой, языком и т. п. (не было у них разве что собственной русской компартии), и в Польше умение отличать советское от русского не представляло серьезных языковых проблем. Для польской интеллигенции Булгаков, «русскоязычный» Окуджава, Высоцкий, не говоря уже о самом Солженицыне, были однозначно русскими, и никому в голову не приходило называть их советскими. Польская интеллигенция сочувствовала русской эмиграции, диссидентам, всем несоветским, по ее мнению, писателям, поэтам... Враг был однозначно советский, русскому же человеку мы сочувствовали. Правда, раньше отождествление «русскости» и «советскости» имело и в Польше свою традицию. До войны оно лучше всего отразилось в заглавии семитомной работы Яна Кухажевского «От белого царизма — к красному»¹, но даже тогда это отождествление не было повсеместным. В Польше, к сожалению, был сильный антисемитизм, что отразилось также в сочувствии к русским, попавшим «под оккупацию жидобольшевизма». Это хорошо заметно в польской антибольшевистской карикатуре того времени². Однако в 80-е годы у нас не было уже сомнений — русского и советского не перепутаешь. Не делали этого и мои западные коллеги, правда, в основном литературоведы.

Очередное удивление и непонимание — 1998 год и глава «Быть ли нам, русским?» в «России в обвале». Что за вопрос? Поляки уже окончательно сбросили с себя коммунистическую чушь и снова стали просто поляками, почему бы русским не сделать наконец то же самое и

опять стать русскими – и по форме, и по содержанию? Откуда такой пессимизм и опасения Солженицына?

Конечно, это я был наивен и, несмотря на свои *Russian studies*, мало что тогда понимал. Первый раз мне пришлось серьезно задуматься над вопросом «Быть ли нам, русским?» в 2002 году, когда я организовал в Москве конференцию о взаимных предубеждениях поляков и русских, которую озаглавил «Польская и русская душа: от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына»³. Перед конференцией мне позвонили из польского посольства, указав на то, что я назвал конференцию неполиткорректно, что ее якобы надо назвать «Польская и российская душа...» Разумеется, я не согласился, осознавая, во-первых, что категории «российская душа» в серьезной литературе нет (а «душой» я занимался только как идейной категорией), во-вторых – меня не интересовали предубеждения по отношению к полякам ни народов Сибири, ни народов Кавказа и проч. Тогда же после конференции мы решили провести социологический опрос среди студентов РГГУ о предубеждениях, существующих у русских по отношению к полякам. И вот мой русский российский коллега меня спрашивает: «А как я тебе этих русских из группы выделю, спрашивать буду о национальной принадлежности? – Неудобно!»⁴

Только тогда я сообразил, насколько прав был Солженицын в своих опасениях, задумываясь: «Да быть ли нам русскими?» Десять лет назад он забеспокоился: «Мы дожили до того, что словоупотребление “русский” как бы – под моральным запретом, оно уже кажется дерзким вызовом: а что мы хотим этим “выразить”? от кого “отгородиться”? а как же, мол, остальные нации? Но остальные нации держатся за свои наименования увереннее нас. Сегодня – и особенно официально – пытаются внедрять термин “россияне”. Смысловая клетка для такого слова есть, да, как соответствующая необходимому прилагательному “российский”. Однако слова этого не услышишь ни в каком простом, естественном разговоре, оно оказалось безжизненно. Ни один не-русский гражданин России на вопрос “кто ты?” не назовет себя “россиянином”, а с определенностью: я – татарин, я – калмык, я – чуваш, либо “я – русский”, если душой верно чувствует себя таковым. И в остатке – расплывчатое “россияне” достается нам в удел разве что для официальных холодных обращений да взамен полного наименования гражданства. Но никогда нам не определиться и не понять самих себя, если примем негласный запрет называть себя “русскими»» («Россия в обвале»).

Десять лет прошло, и вот Никита Михалков участвует в телевизионном проекте, решающем, кому быть «именем России», и, если тол-

па поддержит, он готов примириться с тем, что этим именем будет Сталин (когда я пишу это выступление, Сталин на втором месте! за Александром Невским). Получается, что вся многолетняя борьба Солженицына за то, чтобы советскость не отождествлялась с русскостью, проиграна, продана самими русскими. Как они могли согласиться, чтобы в этом проекте Сталин и Ленин оказались среди «двенадцати героев России»?⁵ Как сами россияне (в том числе и русские) могли так отождествить российскость, русскость и советскость, забывая, что коммунизм в принципе безнационален, что нация и национальность для коммунизма основные враги? Поляку этого не понять.

Сам я, конечно, понимаю, для чего Государству нужно это отождествление, почему Государством создается идеологический проект «Российская нация: Купно за едино!»⁶, но не понимаю, почему «новая нация» опять создается, как в СССР, за счет русских и русскости.

Казалось бы, что по принципу, по логике слово «российский» должно быть своеобразным синонимом слов «государственный» и «национальный». Однако это не совсем так, если существует не только Российский государственный университет, Российский государственный архив / музей / телеканал и т. д., но наряду с ними и Российский национальный оркестр, Российский национальный конгресс кардиологов и т. д., Главная Всероссийская премия «Российский национальный Олимп» и даже Российский национальный сервер лесбиянок.

Обратим внимание на название Главная Всероссийская премия «Российский национальный Олимп». Нет в нем слова «государственный», так как «государственность» этой премии хорошо передают слова «российский» и «национальный». Тогда что там делает и что обозначает слово «всероссийский», если «всероссийскость» (в значении «всей РФ») заключена уже в словах «российский» и «национальный»?

И еще. Существует, правда, Государственный Русский музей, зато нет ни одного Русского государственного университета, Русского национального университета (общество «Русский национальный университет» существовало в межвоенный период в Праге), не говоря уже о Русском российском университете, а существует Чеченский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет, Башкирский государственный университет... Это справедливо?! Единственное, что еще радует, так это существование «русских народных оркестров», хотя лучший из них переименовали в Национальный академический оркестр народных инструментов России, несмотря на то что в его составе по-прежнему в основном одни русские народные инструменты — балалайки и домры, а не ко-

бызы, камузы, нярс-юхи, дечик-пондуры, зурны и другие инструменты народов, живущих в России. Еще недавно этот оркестр именовался Государственный академический русский народный оркестр. В «Стране Советов» создавалось единое государство = единый народ, что отразилось, в частности, в абсолютно нелогичном соединении в наименовании оркестра Осипова государственности, академичности, русскости и народности. Но разве теперь не происходит что-то наподобие того «единения», но уже без русскости?

И вот я, поляк, не сдаюсь и не без влияния Солженицына веду в Польше свою маленькую утопическую «борьбу за русскость». А это дело непростое, так как на польском и других «нерусских» языках нет словесных возможностей различить понятия «русский» и «российский», «русский» и «россиянин», чего не скажешь о понятиях «русский» и «советский». К тому же сами русские россияне мало мне помогают в этой борьбе. Для большинства из них словосочетание «русский россиянин» малопривлекательное, если не «бессмысленное». Больше смысла они видят, например, в словосочетании «русская мафия», хотя, кажется, в ней как раз больше других россиян, а не русских. Я умолял своих российских коллег, чтобы в переводе моей книги о почвенничестве присутствовала лишь «русская почва», а все равно кое-где появилась «российская».

Кому нужна эта борьба? По-моему, в первую очередь — самим русским, чтобы и для поляков, и для русских, и для всех жителей Земли ни Сталин, ни Берия, ни Дзержинский, Менжинский, Ягода, ни масса других коммунистов не были «русскими», так как они русскими в действительности не были, а навсегда остались безнациональными коммунистами (!), чтобы за преступления в Катыни, Медном, Харькове, за ГУЛАГ, голодомор на Украине и в других местах СССР ответственность несли не русские, не «москальи», а коммунисты. Солженицын в очередной раз обратил на этот факт внимание читающей публики в апреле этого года (Поссорить родные народы??? // Известия». 2008. 2 апр.), но кто его понял? Глеб Якунин ничего не понял, обращаясь к писателю с открытым письмом и бессмысленно глупо ставя его в один ряд «с думскими политиками и тайно обожающими Сталина»⁷, не поняли Солженицына Лев Пономарев и Евгений Ихлов, аналитики движения «За права человека»⁸ и многие другие россияне. А ведь Солженицын доказывал в своем выступлении лишь одно: нельзя коммунистических преступников отождествлять с «москалями» и на этой почве ссорить украинцев с русскими. То же самое я доказываю в Польше, но с горечью должен констатировать, что меня мало кто понимает, и основная вина за это ложится на тех россиян, которые до сих пор не хотят лишиться русскости и российскости

Сталина, Ленина, Дзержинского, Берию и других коммунистических преступников.

На мой взгляд, получается, что сегодня в России быть русским некорректно. Русским можно быть в Париже, Праге, Лодзи, Нью-Йорке, но в России лучше быть россиянином или даже коммунистом и не высываться со своей русскостью.

Так как быть русским? Неужели снова строить свой Русский национальный университет в Праге?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Kucharzewski J. Od białego caratu do czerwonego: 7 t. Warszawa, 1926–1935 (переиздание: Warszawa, 1998–2000).*

² См.: *Лазари А., де, Рябов О.* Русские и поляки глазами друг друга: Сатирическая графика. Иваново: Ивановский гос. университет, 2007; *Lazari A., de, Riabow O.* Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze. Warszawa: PISM, 2008.

³ См.: Польская и русская душа: от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына / Ред. А. де Лазари. Warszawa: PISM, 2004.

⁴ Оказалось потом, что предубеждений никаких не было по простой причине — студенты РГГУ **ничего** не знали про Польшу.

⁵ См.: <http://www.nameofrussia.ru/>.

⁶ См.: <http://www.rosnation.ru/>.

⁷ «Злая судьба вовлекла Вас в ряды тех, с кем Вы мужественно и самоотверженно боролись!» (Открытое письмо священника Глеба Якунина Александру Солженицыну // <http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=61771>).

⁸ См.: Там же.

Арвидас Юозайтис

ЛИТВА

«ПАРАДОКС СОЛЖЕНИЦЫНА»
И ЛИТОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 60–80-Х ГОДОВ
XX СТОЛЕТИЯ

Знакомство Литвы с А.И. Солженицыным состоялось почти в то же время, что и на всех просторах Страны Советов. Это знакомство олицетворяло знак *необратимости* хрущевских перемен. Значителен и тот факт, что в Вильнюсе повесть «Один день Ивана Денисовича» была переведена необычайно быстро и издана отдельной книгой в госиздательстве «Вага» уже в 1963 году. Удивительный факт, ибо произошел он в условиях планово-идеологического хозяйства советского книгопечатания. Надо ли говорить, что книга разошлась в мгновение ока, стала раритетом.

Однако этим не исчерпывалась необычность социального факта. Обнародование «Одного дня Ивана Денисовича» — это парадоксально переплетенные противоположности шестидесятых годов. Появление такого произведения под покровительством коммунистических властей СССР удовлетворяло оба основных полюса Советской Литвы. Во-первых, А.И. Солженицын пришелся как нельзя лучше литовской партийной номенклатуре, которая узрела в этой публикации толстого московского журнала знак серьезных перемен в Кремле. Это обстоятельство разрешало национальной партийной элите надеяться на кремлевскую снисходительность в непростых отношениях «республика — центр». Во-вторых, «Один день Ивана Денисовича» был воспринят как *знак своим* среди сотен тысяч литовских ссыльных, которые в то время возвращались на родину; этот слой народа признал описание репрессивной системы как правду.

Как бы там ни было, повесть А.И. Солженицына смогла сблизить оба несоприкасающихся полюса общества. Им обоим она вселила надежду, и в этом — литовский «парадокс А.И. Солженицына». Надо полагать, он отличался от всевозможных его русских вариантов.

Так над Литвой появилась первая ласточка перемен, — хотя и поздовато. Но необходимо признать, что все основные советские перемены в республиках Прибалтики приходили с опозданием (это относится и к *перестройке*, которая началась здесь не в 1985-м, а в 1988 году).

К концу 1965 года на Литовской киностудии был снят художественный фильм «Никто не хотел умирать» (реж. В. Жалакявичюс). Это явление — того же рода парадоксальность, что и повесть «Один день Ивана Денисовича». Картина угодила и антисоветским «низам», потомкам «лесных братьев» (а то и им самим), и коммунистическим «верхам». Процесс, что называется, пошел, и многое становилось возможным.

Как производные того же «парадокса сожительства» стали раскрываться уникальные стороны литовской культуры: поэтическая школа (Э. Межелайтис), психологический роман (романист Й. Авижюс), литовская станковая живопись и графика (А. Гудайтис и С. Краусаускас), скульптура (Й. Микенас, Й. Якубонис) и даже фотография (А. Суткус). В тоже время мощно выростала городская архитектура, которая отмечалась Государственными и Ленинскими премиями СССР. Это были, безусловно, парадоксальные явления, ибо они, уходя от официальной идеологии и социалистического реализма, приобретали массовую популярность и признание со стороны высшей власти. Стиралась грани противоположностей. Все это стало возможным после 1962–1963 годов, и к концу 60-х уже казалось, что перспективы взаимопонимания между народом и коммунистическими властями открыты.

Однако дальнейшие перемены возымели совсем другую направленность. Во-первых, был убран Н. Хрущев, и, во-вторых, произошли события в Чехословакии 1968 года. Понятно, что в корне переменялся и статус самого А.И. Солженицына, который в 1967 году написал письмо к съезду советских писателей. «Парадокс сожительства» погас и потерял приобретенный смысл.

В литовском обществе А.И. Солженицын предстал как бы в новом свете. Окончательно произошло это в 1973 году, после его «Письма вождям Советского Союза». Он уже был явным врагом коммунистов и явным «своим» молчаливому большинству. Это произошло просто и понятно.

Во-первых, к началу 70-х годов в Литве сказался эффект транзисторов, массово производимых на рижском заводе ВЭФ — народ повсеместно стал слушать западное «подрывное радиовещание». Слушали как на русском, так и на литовском языках; во-вторых, в 1972 году в самиздате появился самый удачный и самый массовый проект — «Хроника Литовской католической церкви» («ХЛКЦ»). Это мероприятие было организовано таким образом, что при небольшом тираже журнал выходил регулярно и часто. При этом он разными путями (в основном — через Москву) незамедлительно просачивался на Запад, а оттуда его содержание вещалось на СССР и Литву по радиоволнам за-

падных станций. На страницах издания в основном печаталась хроника «не советской жизни». Наряду с этим в радиопрограммах постоянно уделялось время А.И. Солженицыну, читались отрывки его произведений. Таким образом, начиная с 70-х годов вместе с «ХЛКЦ» по всем западным радиостанциям, особенно по волнам «Радио Ватикана» (которое не глушилось советскими службами), Литва стала еженедельно, а то и чаще знакомиться и с произведениями А.И. Солженицына. Авторитет его стал очень велик.

В-третьих, после публикации на Западе «Архипелага ГУЛАГ», последовала организация самиздатских переводов на литовский язык (1977 – Б. Гаяускас с К. Якубинасом), а также перепечатывание произведения на русском языке (ротапринтной машиной на газетной бумаге в Вильнюсе; этим занялся католический священник Ю. Здебскис, работавший и с «ХЛКЦ»; он вскоре трагически погиб).

Обществу было особенно лестно читать и слышать о прибалтийцах. В рассказе «Захар Калита» А.И. Солженицын касался исторических фактов Литвы, в пьесе «Олень и Шалашовка» фигурирует литовец Балтрушайтис; в «Архипелаге ГУЛАГ» прибалтийцы появляются по крайней мере шесть раз. А вот в «Одном дне Ивана Денисовича» про эстонцев говорится так, что лучше и некуда...

При всем этом особое уважение приобрела и Нобелевская лекция А.И. Солженицына, та ее часть, где он говорил, что народы являются богатством человечества, что они – как отдельные личности. Общественное мнение, переживая угнетенное состояние литовской культуры (шло явное усиление советизации и русификации общественной жизни), эту симпатию к «народной личности» приняло с благодарностью. Особое значение такая позиция приобретала и по той причине, что ее высказал русский творец. А.И. Солженицын в Литве 70-х годов становился самым непререкаемым авторитетом среди диссидентов.

Но грянули радикальные перемены. Историческое положение Литвы и России повернулось таким образом, что после 1985 года, и особенно с середины 1988 года (время основания литовского движения за независимость «Саюдис»), значение А.И. Солженицына резко пошло на убыль.

К примеру – его обширная статья 1990 года «Как нам обустроить Россию?». Работа, напечатанная миллионными тиражами, возымела в России и все еще в СССР неоднозначный отклик. Ее обсуждали и на предприятиях, и на съезде народных депутатов СССР. В Литве же она не получила ни малейшего политического резонанса. Более того, эта работа, с которой даже не спорили, стала точкой перелома отношения к А.И. Солженицыну. Практически все слои литовского обще-

ства, а главное — политическая элита, как левая, так и правая, норовила сказать словами М. Горбачева: «Он весь — в прошлом».

Однако не умалим тот факт, что именно в это время (1989) в Литве массовыми тиражами печатался «Архипелаг ГУЛАГ» — он был предназначен для распространения за пределами Литвы.

И это были еще не все перемены.

После обретения Литвой независимости в 1991 году А.И. Солженицын в средствах массовой информации быстро был перемещен в лагерь *русского шовинизма*. Все его высказывания по поводу переустройства России, взгляды на дореволюционную Россию и монархию, его оценка причин упадка и возможностей восстановления России, — все это было поставлено в тот же ряд ценностей, которые защищали сторонники В. Жириновского или КПРФ. В принципе Литва конца XX и начала XXI века перестала слышать А.И. Солженицына. Даже тот факт, что писатель не принял ордена Андрея Первозванного из рук президента Б. Ельцина, был почти не замечен.

Таким образом, «парадокс А.И. Солженицына» в последнее десятилетие возымел в Литве обратный эффект.

Позиция писателя, в которой уже не учитывались его произведения, стала в одинаковой мере безразлична как для «верхов», т.е. политической элиты, так и для «низов», т.е. разношерстного литовского общества. В массовом сознании, которое претерпело роковую *вестернизацию*, стали преобладать не исторически значимые личности, а *брэнды* и *символы* рынка власти. Поэтому в массмедийном пространстве, а также в культурной и даже в художественной среде чаще всего встречаются знаковые персонажи, те, которые сведены до уровня инстинктов, т.е. оппозиция *враги — товарищи*. Не следует удивляться, что повсюду преобладают *Ленин, Сталин, Дзержинский, Брежнев, Горбачев и даже Жириновский*, — ныне они олицетворяют историческую *Россию*. Разумеется, А.И. Солженицыну в *такой* России места нет.

Однако не все значимое утеряно и ушло в прошлое. В 90-х годах на литовском языке был издан роман «В круге первом», а в начале XXI века — «Двести лет вместе» (I т.). Сейчас готовится к печати обновленный перевод полного издания «Архипелага ГУЛАГ».

Можно предвидеть, что достижения жизни и деятельности А.И. Солженицына никуда не уйдут. Он произвел на свет Божий не только *содержательный* образ творца и писателя, но и показал пример, создал стиль *сопротивления* одурманиванию — как идеологией, так и властями. Он — *гений борьбы* — боролся не только за выживание России, но и за равновесие в Европе. А это — борьба за европейскую аутентичность, сохранение которой становится необычайно важным делом грянувшего столетия.

Юрий Рокотян

С.-ПЕТЕРБУРГ

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СОЛЖЕНИЦЫНА

Возвращение Александра Исаевича на родину весной 1994 года миллионами русских людей было воспринято с радостью и надеждой. С радостью потому, что мы верили каждому слову Солженицына. С надеждой потому, что думали: он, как и тогда, в далекие 70-е годы прошлого столетия, сумеет в одиночку победить уже новую власть. А мы сумеем ему чем-то помочь, только бы он нас наставил. Но как мы тогда ошибались. Уже прошло четыре года, как Александр Исаевич опубликовал многомиллионным тиражом работу 1990 года «Как нам обустроить Россию?» В этой работе он четко и подробно объяснил, как сохранить единство России, как избавиться от КПСС, КГБ и номенклатуры, как сохранить промышленность, науку и сельское хозяйство, как проводить выборы и т. д. Однако выбранная нами в те годы власть при нашем одобрении приняла по этим вопросам прямо противоположные решения.

Перед самым возвращением в начале 1994 года Солженицын публикует статью «“Русский вопрос” к концу XX века», в которой не говорит, а кричит о «Великой Катастрофе», в которую свергнута страна, но мы не слышим. А ведь тогда, в 1991 и в 1993 годах, многое можно было сделать сверху, многое исправить. Но ни в окружении Президента, ни в СМИ, ни в обществе не возникло движения в поддержку идей Солженицына. Олигархия, номенклатура и криминал полностью захватили власть. Спасение России, «сбережение народа» стали трудным и долгим делом. Однако и в этих условиях ни одна из идей «Обустройства» не потеряла значимости и актуальности. И, как и прежде, он один начинает сопротивление уже с нынешней властью. Он прекрасно понимает, что в этот раз в одиночку он победить не сможет, что это возможно только вместе с народом, который, увы, не то чтобы не дорос до его идей, но силы которого сверх всякой меры подорваны в течение «бесконечно жестокого» XX века. Но поступать иначе Солженицын не может. Он ездит по стране, готов выступать где угодно и когда угодно. Он не бережет ни времени, ни

здоровья. Со своей стороны, власть поняла, что идеи Солженицына о народном самоуправлении, о новой системе выборов и т. п. сегодня, при пассивности народа, для нее пока неопасны. Поэтому, не вступая в прямую конфронтацию и проявляя показное дружелюбие, власть избрала тактику максимального замалчивания имени и идей Солженицына. В итоге в год одно-два телеинтервью, несколько публикаций в прессе, и, пожалуй, все. Но может быть, этого и достаточно? Ведь Солженицын писатель, а не политический деятель, и писать и издаваться ему никто не запрещает. Утверждение верно, но лишь частично. Да, действительно, Солженицын – великий писатель, читать его – огромное удовольствие. Да, он совсем не политик и не экономист. Но ведь он еще – национальный мыслитель, философ, историк, пророк, праведник... Можно еще долго продолжать. Хотелось бы закончить этот перечень высказыванием И. Шафаревича, который в своем поздравлении Александра Исаевича с 70-летием в 1988 году сказал примерно следующее: «Сегодня, когда Россия, да и все человечество, находятся в страшном кризисе, не имеющем прецедентов в мировой истории и выхода из которого не видно, возможность спасения надо искать на сверхиндивидуальном уровне, в мудрости народа, чувствовать которую дано Свыше одному Солженицыну. Он не просто великий писатель, он открыватель путей нашего народного выживания». Поэтому не только чтение Солженицына, не только индивидуальное осмысление прочитанного, но и коллективное (всенародное) восприятие его творчества очень продуктивно и крайне сегодня необходимо. Но как это сделать?

Вспоминается 1998 год – год 80-летия Александра Исаевича. В середине года выходит его книга «Россия в обвале». Нам казалось, что потрясение от книги будет похожим на потрясение от «Архипелага...», но ничего такого не произошло. Появились две-три заметки в прессе, и, кажется, все. В декабре, в дни юбилея Александра Исаевича, прошла двухдневная конференция в Пушкинском Доме. Было сделано 16 неплохих докладов. Но беда в том, что в этих докладах Александр Исаевич представал живым классиком, а не нашим современником – непосредственным участником нашей жизни. Никто не обмолвился даже словом об «Обвале». Конференция благополучно закончилась, но никому в голову не пришло послать поздравление юбиляру. И тогда мы – несколько единомышленников – решили сделать маленький шагок: создать общество друзей, почитателей, последователей Солженицына. В общем, как получится. И хотя бы раз в год, ко дню рождения Александра Исаевича проводить собрания и посылать ему поздравления. Составили краткий устав (в соответствии с Законом об общественных объединениях), провели впяте-

ром собрание учредителей, оформили так называемый протокол № 1, в общем, создали общество (без регистрации). Вот несколько выдержек из устава:

«Мы полностью разделяем мировоззренческие и творческие принципы Солженицына:

– оценивать литературу в русском понимании этого слова: не только сам текст, но и его вклад в общественную жизнь страны;

– каждое явление, видимое в современности, должно пониматься в контексте всего исторического процесса, иначе оно не имеет смысла;

– нам сегодня больше всего надо подняться сперва на нравственный уровень, а потом на религиозный;

– наше спасение – только в нашем самодействии, возрождаемом снизу вверх;

– все добрые семена, какие на Руси еще чудом не дотоптаны – мы должны сберечь и вырастить;

– нам надо спасти и наш характер, наши народные традиции, нашу национальную культуру, наш исторический путь;

– сбережение народа... ничего для нас нет сегодня важней».

И еще выдержка:

«Деятельность Общества осуществляется в следующих формах:

– проведение собраний, семинаров, литературных вечеров, конференций, в том числе с использованием аудио- и видеоматериалов;

– выпуск и распространение итоговых материалов;

– участие в мероприятиях, идейно близких к мировоззрению Солженицына;

– сбор и систематизация публикаций и др. материалов о творчестве и личности Солженицына;

– составление отзывов на недобросовестную критику Солженицына».

При создании общества нас смущали три вида трудностей – помещение, участники, докладчики. Но с первого же года мы убедились, что эти трудности практически всегда преодолимы. И главная причина этому – уважение, доверие и любовь к Александру Исаевичу. Собрания мы чаще всего проводили в библиотеках, но не отказывали нам также и школы, вузы, Союз писателей. Новых участников собраний мы всегда просили оставлять номера телефонов. Так постепенно список членов Общества вырос с трех десятков до полутора сотен. И это не предел, все зависит от способа оповещения (телефон, радио, газета) и площади помещения. Трудная, но преодолимая проблема – докладчики. Было приятно, что приглашение выступить на собрании большинством писателей, ученых, известных общественных деятелей воспринималось почетным и важным.

Итак, мы стали готовить первое собрание. Нашу идею активно поддержал гл. редактор журнала «Посев» ныне покойный, А.Ю. Штамм, подключивший к Обществу весь свой коллектив. Повезло с помещением. М.Л. Ростропович (во время случайной с ним встречи) с радостью согласился с нашей просьбой провести собрание в музыкальной школе его имени и обещал прийти, если в это время будет в России. На первое собрание 8 декабря 2001 года пришло около 30 человек. Было сделано два доклада и пять сообщений, много выступлений было с мест. Составили текст поздравления, под которым подписались все присутствующие, и отправили факсом. Послали также краткие сведения о собрании. По общему мнению, собрание получилось удачным. Но самое неожиданное и радостное нас ожидало впереди. Александр Исаевич получил наше поздравление и ответил письмом и телефонным звонком. Вот небольшая выдержка из его письма. «Уважаемый Юрий Васильевич! Очень тронут присланным письмом с подписями Ваших коллег, моих друзей, и сведениями о содержании выступлений на Вашем серьезном обсуждении (какие теперь не в моде). Благодарю всех Вас за дружественное начинание и за понимание». Это письмо не только обрадовало нас, но и воодушевило. Мы убедились, что мы на верном пути.

Вслед за первым провели еще восемь собраний. Собрания, посвященные дню рождения Александра Исаевича, мы назвали Петербургскими Солженицынскими чтениями. Члены Общества выступали на радио «Россия СПб», ТРК «Петербург», «Радио Мария». Опубликовано несколько статей в газетах Петербурга, в журналах «Москва» и «Посев». Следим за публикациями в прессе о Солженицыне. Послали несколько критических отзывов на статьи о Солженицыне в «АиФ» и в «ЛГ». Не упустили поздравить Александра Исаевича с экранизацией «Круга». Одно из собраний, которое мы провели в Европейском гуманитарном университете, запомнилось присутствием большого количества молодежи, принимавшей к тому же участие в обсуждении докладов. Мы увидели, что молодежь готова к восприятию творчества Солженицына и надо настойчивее привлекать ее на наши встречи. В юбилейном 2003 году совместно с Пушкинским Домом организовали двухдневную конференцию, подготовили и провели автобусную экскурсию «Петербург Солженицына», заказали в Троице-Измайловском соборе молебен. Особенно плодотворным был 2004 год – год 10-летия возвращения Солженицына на родину. Было два собрания, посвященных этой дате, где коснулись всего написанного Солженицыным за это десятилетие. В этом же году провели круглый стол в «Мемориале» в память выхода в свет «Архипелага...». Поздравили Александра Исаевича с высшей наградой Сербской пра-

вославленной церкви. Но главным событием были три телефонных звонка Александра Исаевича. Одним звонком он поблагодарил Общество за поздравления, а два других — разговоры Александра Исаевича с членом Общества Г.С. Васюточкиным, опубликовавшим статьи: одну — о поэме «Дороженька» и вторую — по теме «Петербург Солженицына», понравившиеся Александру Исаевичу.

Проводя собрания разного формата, мы убедились, что важно не количество докладов, а их обсуждение. Выступающих с мест надо готовить так же, как и докладчиков. Удачными в этом смысле нам представляются собрания, проводимые по одной теме. Таких собраний было два: «Жить не по лжи!» и «Интеллигенция сегодня. (Образованщина)».

За прошедшие восемь лет было озвучено немало интересных мыслей, сделано много работы неплохого уровня, но в то же время мы поняли, что только прикоснулись к трудам великого мыслителя, что необходимо углубление в его творчество и осознание его применительно к сегодняшней действительности. Главное, мы почувствовали, что Солженицына в нашем городе стало чуть больше, что праведник, державший Россию, получал от нас маленькую духовную поддержку.

Его недавняя смерть была нами воспринята как невосполнимая утрата, но в то же время она подчеркнула, что его жизнь и творчество являются великим даром Бога русскому народу.

Что же из наследия Солженицына изучать и осмысливать в первую очередь? Наш опыт показал, что можно брать для обсуждения его любой рассказ, любую статью, любой роман и при этом быть уверенным, что при соответствующей подготовке обсуждение получится интересным, актуальным и важным. У Солженицына нет неверных или неактуальных произведений, в этом смысле его творчество приближается к Новому Завету. Оно на века.

Однако в нашей российской действительности есть очень острые, не терпящие отлагательств вопросы, на которые творчество и жизнь Солженицына дают четкие ответы. До самой кончины Александр Исаевич просил, умолял, требовал от нас внимания к таким темам, как покаяние, нравственность, национальные корни, народное самоуправление, школа, армия, ГУЛАГ, а также к таким сверхбольным, как деревня и провинция. Это трудные темы, но мы надеемся, что некоторые из них сможем раскрыть, и именно так, как их понимал Солженицын. И мы обязаны это сделать, так как после ухода Солженицына России не на ком держаться, кроме как на всех нас — его друзьях, сторонниках, учениках, последователях. В этих словах нет преувеличения. Ибо в России сегодня нет организованной общест-

венной силы, способной объединить народ для решения этих проблем.

В 1994 году в Воронеже Александр Исаевич говорил: «Возрождение России произойдет тогда, когда сорок самых крупных городов России будут иметь такой же крупный культурный потенциал, как Москва». Но ведь его творчество и жизнь — это одна из вершин русской культуры. И если в этих городах появятся Общества друзей Солженицына, вокруг которых будут собираться люди, близкие ему по духу, то это будет весомым вкладом в возрождение России.

Сессия 2
Модератор – Р. Темнест

Madhavan K. Palat

INDIA

SOLZHENITSYN: HISTORIAN OF DECLINE
AND PROPHET OF RESURRECTION¹

INTRODUCTION

In the well-established tradition of the Russian intelligentsia, Solzhenitsyn reflected on Russia's past, her relation with the West, and the crisis of modern civilization; but he departed from that tradition in significant ways. He did not propose a Russian leadership of the planet as sometimes done by the Slavophiles, the civilization theorists Danilevskii and the Eurasianists, certainly the Bolsheviks, and eventually the Soviet Union in mid-career until the optimistic reign of Khrushchev. Nor did he suggest joining hands with the West to assert leadership over the world as in the uninterrupted tradition of the Russian state as a colonial great power in the nineteenth century, as a centre of world communism during the caesura of the interwar years, as a superpower in the latter half of the twentieth century, or even as a «democratic» state of the perestroika years and early post-Soviet phase when many fantasized that a «liberal» and truly «Western» Russia had returned like the prodigal son to her home in the liberal West after shedding her Soviet and Asiatic dross. Russia, like post-War Europe, would become more self-contained, more civilized, and more liberal. Solzhenitsyn adumbrated the post-Soviet, post-Cold War, and presumably postmodern retreat of Russia into her shell, a shell in which she shall in seclusion but not isolation cultivate her priceless cultural and moral pearls and contain the baleful impact of modern (not necessarily Western) culture.

He traced the crisis of the modern world logically enough to the origins of the modern world; and he adhered to venerable tradition by locating it in the European Renaissance, Reformation, and Enlightenment. Man replaced god as the centre of the universe and became the measure of all things; and his subsequent Faustian career has led to the degeneration of the species and of the planet². Having liberated himself from restraint of any kind, he uses his liberty to pursue his wants, his material well-being, and equality with others. The more he seeks to satisfy his

wants, the more they become insatiable; and he has been trapped in the vicious cycle of satisfying and escalating wants without limit. The entire world has been sucked into this process, Russia of course included. It is not only Russians as individuals, but also the Russian state as an individual agent in human history, that has been enticed into this trap; and Solzhenitsyn had given himself the task of proposing the means to extricate Russia and Russians at least, if not all of humanity, from this abyss.

This reads like a fundamental rejection of modernity itself, of human history turning in the wrong direction as it headed toward the modern. Consistently, he rejected most of the elements of revolutionary modernity for its corrosive implications: rationalism denies or denigrates lived experience, atheism is pretension, abstract constructions of society are artificial and unfeasible, individualism atomizes the social organism, egoism destroys community and undermines the commitment to duty, the profit motive privileges sheer greed, equality leads to indiscriminate leveling, mass democracy could amount to a deceptive empowering of the masses, the drive to unlimited growth is suicidal, and much else in that vein. The diagnosis was two centuries old, assembled from numerous elements of the conservative and romantic critiques of modernity, whether European or Russian; but it was couched in an apocalyptic strain and charged with a moral fervour as revolutionary as that of the revolutionaries whom he ceaselessly castigated. He sought to rescue humanity from itself in the manner of a Tolstoy or a Dostoevsky. His thinking was utterly historical, that is, the theory of human existence must be constructed from the record of human action in history and cannot be derived from nature; in this respect he was like any Christian or a Marxist; and in his redemptive doctrine as in theirs all the evil and contradictions of modernity had accumulated to the point of crisis and regeneration. Of this condition of humanity, he was the historian, artist, and prophet.

The vision was apocalyptic, that is, all the events of history head toward a central drama and all else follows from it³, and his apocalyptic moment was the prolonged trial of the Soviet century to the explanation of which he committed his creative energies. His was not conventional history by any means and it was not intended to be anything of the kind; it was the history of evil, obtuseness, human frailty, and suffering, endurance, and moral regeneration. Solzhenitsyn was the historian of a Russia that had the eagle tearing at its vitals for centuries; but that ordeal had readied her for the «moral blaze» of her own resurrection, of a revolutionary and Soviet Russia that girded herself for a post-Soviet Russia.

His histories encompass at least four major themes: 1) self-limitation by Russia; 2) nationalism; 3) democracy; and 4) the catastrophic twentieth century.

SELF-LIMITATION

His doctrine of self-limitation was carried to extreme in his judgement on Russian history⁴. He complained that for nearly four centuries, the Russian state had imposed insupportable burdens on the country through adventures beyond its borders. The only worthwhile Russian conquests were, according to him, those for access to the seas to the north, the south, and the east, and for the recovery of Russian people trapped in servitude to foreign states, like those in Belorussia under the Polish crown. In short, Russia created an empire, engaged in great power politics, and eventually assumed the burden of a superpower, all to its detriment. Only from 1991, it would seem, had Russia acquired the discipline of self-limitation, concentration, and functioning at an optimal level.

He summed it all up in his early poem *Dorozhen'ka* as he commented on the Petrine imperial project and its debilitating legacy:

It's obvious – *progress!* But I'm a heretic:
 By what right was our country spurred into line?
 Let's make a note. I'll call it the «Swedish thesis»:
 Was the cost of Poltava truly justified?
 Two hundred years of conquest, conquest, conquest,
 Destruction and strife, wars with their endless ruin—
 Yet the Swedes we crushed on the Vorskla
 Have grown fat as capons⁵.

Sweden was decisively defeated by Russia at Poltava in 1709 and has ever since been confined to the northern extremity of Europe; but her capitalist prosperity has been enviable, her democracy is exemplary, and her welfare provisions a worldwide model, all while remaining neutral in great power conflicts during the twentieth century. Russia on the other hand compulsively extended her empire and dominion, plunged ceaselessly into wars, remained perpetually backward, never could evolve a democracy, and was subjected to the most unspeakable horrors through most of the twentieth century. He brushed aside all her European diplomacy and wars of the eighteenth, nineteenth, and early twentieth centuries as futile and wasteful. Even the high moment of the Napoleonic wars and of Alexander I entering Paris as the liberator of Europe seemed to him an indulgence that should have been avoided. He accused Catherine II of succumbing to a sort of Roman Empire illness with her plan to recreate Dacia in what is now Romania; and her dream project of investing Constantinople and resurrecting the Byzantine Empire was an absurd fantasy which provoked the hostility of all Europe to Russia until 1917. The whole of the Transcaucasian and Central Asian conquest and the Balkan imbroglio were unnecessary. He was unim-

pressed by the argument that Russia had to go to the aid of the fellow Christian country of Georgia or the Orthodox brethren in the Balkans; and he purveyed the typically conservative grievance that the only contribution of colonies was financial loss to the metropolis. Alexander III (1881–1894) is the only one who earned full marks for self-limitation; but his reign was tragically short, and that of his son Nicholas II was an unmitigated disaster.

With the onset of war, revolution, and totalitarianism in the twentieth century, he assumed a more censorious tone against the West without toning down his attack on the Imperial Russian, now Soviet, leadership. Instead of avoiding World War I Russia rushed to the aid of her western allies and sacrificed herself in the revolutionary holocaust. In 1915, Russia passed up the opportunity to make a separate peace with Germany and continued to sacrifice herself for the West. (But in 1917–1918 the Bolsheviks did make such a separate peace with Germany!) During the Civil War, Western governments repudiated the White armies and allowed the Bolsheviks their victories. In 1941, Russian armies protested against Soviet rule by retreating headlong along a 2000 kilometre front before the German advance. But the West abandoned the beleaguered Russian anti-communists and sustained the Soviet regime against Hitler by using Russian lives and resources to save themselves when they could have fought off Hitler on their own. The war helped Stalin consolidate his grip on the country when the West could have loosened it. In 1945, the West made peace with the Soviet Union instead of overthrowing the regime along with that of the Nazis. The West always failed to confront communism when it was the duty of every moral person or entity to have done so, over Berlin in 1953, Budapest in 1956, Prague in 1968 and so on⁶. The Soviet Empire was ruinous for Russians and for everybody else except its nomenklatura; and he famously welcomed the dissolution of the Union in 1991 for being an intolerable burden on Russia. With the non-Russian parts hived off, Russia could concentrate on herself and develop morally and otherwise, without external distractions and internal disruption. Russia, at long last, would be limited to herself.

SLAVOPHILISM AND NATIONALISM

His second overarching theme is of a pure Russia for Russians. He imagined a state of purity when Russia was unpolluted by alien, that is, Western, influences in the seventeenth century; he catalogued the manner in which Russia was degraded over the past three centuries and a half; and he looked forward to a restoration of that pristine condition after 1991. It started with Aleksei Mikhailovich's virtually original sin of adopting western technology to defeat the Poles in mid-seventeenth century, after which everything west-

ern became «a sort of “fashion”», down to altering the canon and inducing the permanent schism in the Church. But nothing could compare with the «wild whirlwind» of Peter who brutally transplanted western culture to Russia, pursued the «demented idea of splitting the capital», and left a legacy of such loss and destruction. Anna's reign was «the darkest of all – for the complete domination of foreigners over Russia had summarily suppressed the Russian national spirit». Even if Elizabeth's reign was better in this respect, contempt for all things of the «Russian essence» remained ingrained in the ruling class throughout the eighteenth century. As for Peter III, not only did he «surround himself with men of Holstein and Prussia, but all of Russian policy was directed by the Prussian Ambassador Goltz». Strangely, he was not so damning about Catherine II's cultural effect and he concentrated on her foreign policy, which he found expectedly wasteful of Russian resources. Alexander I's western liberal training and western obsessions led him to neglect the internal development of Russia. His brother Nicholas I thought of himself as a Russian sovereign placing «Russian interests above the common interests of the European monarchs», but soon European temptations overtook him also. The imperial borderlands from Finland to Central Asia drained Russian resources, contributed proportionately less than Russians to defence and taxes, and distorted priorities in economic development and foreign policy.

If Russia until 1917 was in various ways permeated or dominated by foreign culture, foreign concerns, or otherwise enfeebled by the presence of foreigners, she was from 1917 under a species of foreign occupation. This alien was Bolshevism and Communism, which slaughtered about 66 millions in an internal war in less than forty years between 1918 and 1956⁷. The Soviet system placed «the weightiest yoke» on the Slavic Republics, and the chief economic burden of the USSR was borne by the Russian Republic. Russian budgets contributed proportionately more to the Soviet budget, and the internal terms of trade were weighted against Russian producers. «To undermine specifically the Russian people and to exhaust precisely *its* strength was one of Lenin's undisguised objectives». During Brezhnev's tenure the centre of Russia was once again impoverished, just as it had been during the late Empire. Three million Russians fled the alien Soviet regime into German captivity during the summer of 1941 alone, with «entire caravans of people» following the Germans in their retreat. The true «voice of the Russian people» was the Russian Liberation Army organized by Vlasov with German support against the Soviet regime. The entire Soviet edifice was an alien monstrosity which rightly came apart in 1991 at long last.

He squarely faced the prickly problem of the cohabitation of Russians and non-Russian Slavs. Russians are a part of the Eastern Slavs, along with the Ukrainians and the Belorussians. He preferred to see them together in

a single state and country, but he was consistently democratic in not objecting to their remaining outside a union if they so desired. But this came with an important irredentist qualification. He spoke of peoples and not states; hence the lands settled by Russians in these other states would revert to Russia. This is the special problem of Ukraine where the eastern segment along with the Crimea is said to be Russian, and of Kazakhstan where the northern provinces are again wholly Russian. Soviet borders would have had to be redrawn, new states fashioned, and a pure Russia for the Russians would at long last rise from the ashes. The opportunity has come with the end of the Soviet Union.

He presented Russian history of the past three centuries as a vast mistake; but they are the centuries of what is understood as modern Russia, and without which we would not recognize Russia. But that possible critique merely spurred him on to discern the essential substance of Russia over which flowed these three centuries of another history. Russia consisted of the people and their Orthodox faith, and she had been betrayed and tormented over three and a half centuries by an alien element, the ruling establishment. If this establishment were genuinely Russian, it could not have taken the wrong turning at every conceivable fork in the road as it seems to have done. Thereafter Bolshevism, communism, or Soviet socialism, whichever the term used, was an infliction on Russian and non-Russian alike; it was not a Russian imposition on non-Russians; and the Revolution of October 1917 was not Russian but Bolshevik⁸, something that the Bolsheviks themselves had vociferously asserted. Russians suffered as much as non-Russians did under this international or supranational ruling aristocracy known as the nomenklatura. Russia in her Soviet captivity was ruled by ideologies that were entirely of European provenance and not native to Russia. If nothing else, Solzhenitsyn provided a sharp riposte to Europeans dismissing Soviet socialism as a uniquely, indeed chthonian, Russian phenomenon and nothing to do with Europe; to him, it was the exact reverse. But in this account Europe or the West emerged as the prime mover of Russian history, with Russian rulers as mere agents, a species of compradore if you will. It was a globalized vision of human history with Europe and the West as the centre, and Russia as a provincial appendage fated to endure the consequences of strategic decisions taken in the metropolis, the West, to emulate it as best it can, and fall short as is so often the destiny of imitators⁹.

He was ambivalent about whether he reposed his faith in the Russian tradition or in the ruling caste which had so violated that tradition since the seventeenth century. On the one hand he imagined the people and Orthodoxy, the bearers of tradition, as a sacred subterranean river Alph debouching into the post-Soviet ocean of light. But in the almost uninterrupted lineage of the intelligentsia, be it of Belinskii or Chernyshevskii,

Mikhailovskii or Lenin, his faith in the people amounted to no more than a conviction that they could attain the standards set by the intelligentsia. They were not privileged by virtue of their origins, an ideological position he deplored throughout his career, and he elaborated that detail through his character Spiridon, the janitor in *The First Circle*. The measure of virtue was the capacity to make individual moral choices and live with the consequences. On the other hand, as he repudiated the imperial ruling caste and the Soviet nomenklatura as aliens, he discerned creative possibilities in the imperial bureaucracy and nobility, and at times seemingly even in the nomenklatura¹⁰. In *The Red Wheel* he projected the imperial state as capable of survival if only it had found the wit to act with resolution and intelligence. He discovered that potential in Stolypin in *August 1914*, and throughout the work in Vorotynsky and others like him. They stood out from the benighted ruling establishment of the emperor and his court, and of the sundry imbeciles and charlatans who passed through the revolving doors of the ministries and general staff. This was a sustained polemic against the determinism of a Tolstoy who held that individuals could not alter the course of history¹¹, and of those Marxists-Leninists to whom it had been virtually pre-ordained. He denounced the Petrine reforms as exempla of brutality and mindless westernization; yet he mythologized such a vigorous carrier of that legacy in Stolypin. As if aware of the inconsistency, he resorted to singularly bad history by asserting that Stolypin was restoring the medieval solidity of Autocracy and not Europeanizing Russia¹². As he chronicled the descent into tragedy in the subsequent volumes of *The Red Wheel*, he yearned for a Stolypin to rescue Russia in the manner that Churchill and De Gaulle had rallied Britain and France during World War II¹³. But he was surprisingly realistic and accurate in his judgement on that history. His epic works showed how the imperial state tradition of dynamic reform and a vibrant popular culture of local democracy and creativity in the zemstvo had all been reduced to ashes in the holocaust of the Revolution and asphalted over by the gulag. *The Gulag Archipelago* gave voice to the millions broken and crushed under the Stalinist juggernaut, and *The Red Wheel* was an immense sigh of regret for possibilities forever lost. Everything would have to be created afresh in the post-Soviet resurrection.

His history is not as bizarre as it may seem on first reading, for it is largely a provocative and morally driven version of much conventional history. The central charge that modernizing Russia has been inspired by European models, ideologies, and even personnel, is well established. While everything in Russia appears different from Europe, that does not alter the main proposition. Even for the Soviet period, while Europeans have been quick to absolve themselves of responsibility for anything Soviet, Lenin inscribed his life's work in a pan European socialist movement that

repudiated so many Russian traditions. Stalin and his successors saw themselves as Soviet and socialist, not Russian; and Solzhenitsyn agreed with them in this respect. On the issue of imperial overreach he was on shakier ground in that there have not been many sweeping denunciations of this sort. We have only more limited critiques of failures like the Crimean War, the Russo-Japanese War, and of course World War I. But for the later Soviet period it was common to deplore the Soviet Union's *folie de grandeur* as it competed with the USA for worldwide domination and eventually came a cropper. The thesis of the self-limitation of Russia to what Russia can reliably handle is a dissident, democratic, and liberal position of the perestroika and post-Soviet years. Solzhenitsyn has merely extended the argument backward in time to the eighteenth century to fit in with the rest of the general thesis that the rot had set in then, or shortly before, in the seventeenth century. It is a familiar polemical device to fortify an argument with the appearance of continuity and an appropriate pedigree.

His critique of the West as decadent and his expectation that Russia was possessed of the spiritual resources to dam that moral erosion may appear to be utterly Slavophile of the nineteenth century. But there is an important difference. Ivan Kireevskii for example claimed that the West was spiritually hollow but materially robust while Russia had reversed that combination by being spiritually superior and technologically retarded. Eventually, the conflation of Eastern spiritual radiance and Western material progress would spark an unexampled brilliance of moral and material creativity and potency that shall pulse through all of humanity¹⁴. In this utopian vision for the future, Kireevskii saw Russia harnessing the resources of the West for what amounted to a joint leadership claim over the human species. Russian technological backwardness did not hamper her onward march as the West would supply what was lacking; but the West, in its moral decay was incapable of establishing its sway. If Russia was the architect, the West was the engineer, and the two together would construct the brave new world.

Unlike his famous forbears, Solzhenitsyn entertained no such messianic illusions, and, utterly devoted as he was to Russia, he recoiled from assigning a leadership function to her. He did claim occasionally that the enormity of the Russian ordeal and her abiding religious faith had equipped her better than the crisis-ridden and irreligious West for the imminent moral revolution. Humanity stood on the brink of a tectonic shift akin to the transition from the medieval epoch to the Renaissance; as modern civilization was to be superceded by another, Russia was the «voice of the future» that would rescue a world in spiritual distress¹⁵. Russian technological inferiority should arouse no anxiety, for not only was her moral substance more than compensation, the pursuit of unrestrained technological development was ruinous. But he was keenly aware of the ambiguity of his position, for the

spiritually enriched Russia needed the resources, both material and spiritual, of that same spiritually impoverished West for his moral crusade against the Soviet system and for the eventual eradication of that evil¹⁶. In sum, he was pointing to the moral inadequacies of both the West and of Russia, the different ways in which they were deficient, and the sources of renewal, both Western and Russian, and their interdependence. He rejected any notion of sin and virtue being specific to geography or culture; his career was devoted to arguing that these attributes were determined by ideology; but most of all, the individual was responsible for making the ideological and moral choice without the right to an alibi, whichever the nation or culture he was located in. He distilled his reflections on his experience and observation of both himself and others into an eloquent statement of faith: «Gradually it was disclosed to me that the line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either – but right through every human heart – and through all human hearts. This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained. And even in the best of all hearts, there remains... an unrooted small corner of evil»¹⁷. These articles of faith were not compatible with messianism; and as he retained his faith in the uniqueness of Russia and her capacity for spiritual regeneration, he evolved at best into a Slavophile in its minimalist variant, a Slavophile of political decline and retreat into the fortress, not one of exuberant expansion to disseminate the Word. But that did not make him a typical nationalist either.

His nationalism, like that of any nationalist, accorded primacy to Russians, their state, and to their culture in the territories inhabited by them; but he constructed his national state differently. The Russian state was imperial by constitution and its territory imperial or heterogeneous in composition until 1917; the Soviet state was multinational although from the 1980s it has been called imperial by some; and the post-Soviet Russian state was a reduced version of the Soviet one in that it was still polyglot and not purely Russian in composition. Russian nationalists pursued the usual European processes of nationalizing the Russian public through cultural homogenization, and attempted or dreamt of the extinction of other national cultures within the territory of the state, with ideologues like Mikhail Katkov being exemplars of such thinking in the late nineteenth century. But they have always faced the impossible task of creating a Russian national state in a territory that is so heterogeneous and can never therefore be national, unless of course all the non-Russians were to become Russian. For this reason, both the imperial and Soviet states were supranational states governed by the supranational principles of dynasticism and Soviet socialism respectively even as they intermittently exploited Russian nation-

alism without permitting it to dominate. Russian nationalism embraces the contradiction of supranationalism or the inclusion of non-Russians; by a purely nationalist logic this contradiction may be resolved only through russification as in the late imperial period, or through ethnic cleansing and genocide, the preferred techniques of the twentieth century. Neither need or is likely to happen, but the tension is palpable and Russian nationalists must bear this particular cross inherited from their history.

Solzhenitsyn cut this Gordian knot by excising non-Russians and their territories from his ideal Russian construct. According to him, Russia should never have acquired non-Russian territories; he blamed the empire for being an empire and not a nation; and he sought to correct that error for post-Soviet times by redrawing the maps to exclude non-Russians and to include Russians trapped in other states like Kazakhstan and Ukraine. The accusation is anachronistic since nations and nationalism, with their attendant homogeneous cultural spaces coinciding with the political territory, began to appear at best only in the late eighteenth century and gathered momentum in the course of the nineteenth century in Europe. Dynastic empires like the Russian, Ottoman, or Habsburg, or for that matter any other, were never national even if a particular culture was dominant; rulers accumulated (and distributed) territories promiscuously and apparently irrationally as far as a nationalist was concerned, but utterly rationally in the eyes of a dynast. He missed or denied the principal logic of Russian imperial history of the past three centuries; but his purpose was to prescribe the timeless existence of a Russian nation, and in this he followed a well-established tradition of nationalist history writing the world over¹⁸. He thus departed from the traditions of both the Russian state of the past three centuries and from those of the nationalists of the past century and a half as he discarded a nationalism that harked back to imperial or Soviet domination. His was a post-Soviet nationalism for an exclusively Russian nation and state; it was a self-limiting nationalism without an imperialist or expansionist purpose; for that reason it was liberal in international relations however uncertainly liberal for its domestic politics¹⁹. As both Slavophile and nationalist he differed from the classical Slavophiles and from the typical nationalist.

His forms of self-limitation and nationalism were peculiarly attuned to the condition of Russia after 1991. He was often said to have lived in the world of ideas of the nineteenth century and to have been so marked by the Soviet experience that his significance ebbed with the Union. However, he turned out to be a prophet of post-Soviet Russia rather than an incorrigible romantic or a despairing nationalist. He was not a mere pragmatic, regretting the defeat, disintegration, and reduction of the Soviet Union, and adjusting to the inevitable; he arrived at these conclusions from his understanding of Russian history over the past three centuries and its

peculiar relation to the West. He was emphatic that in this post-Cold War globalized world Russia shall not be a leader since she had never been one in the first place; and if there was going to be a centre of power it must lie elsewhere. He presented the Russian rout in the Cold War and contraction thereafter as an opportunity for Russia to become truly herself again, which she had failed to be for three and a half centuries. He drew an astonishingly optimistic conclusion from a situation that most in Russia would have regarded as the gloomiest imaginable. Like his fictional heroes immured in camps and hospitals and cultivating themselves spiritually to become freer than all their oppressors and their morally confused or inadequate fellow inmates, Russia shall nurture her self in the circumstances she found herself in. Kostoglotov, Nerzhin and Ivan Denisovich were not only models of conduct for individuals facing the severest trials of their lives, they were also metaphors for the new post-Soviet Russia. We may not agree with much of his history, but he has extracted from that history a thread which guides us into the post-Soviet world of Russia. Other, and I think, more convincing, explanations of Russian and European history are available; but none of them could secrete the promise of a more wholesome future for Russia. Instead of a defeated and further declining Russia, which is what my «better» explanations would lead me to, Solzhenitsyn painted the prospect of a Russia morally and culturally resurrected to a life in Orthodoxy and harmony. Much as he was product and victim of the Soviet century, he was the prophet to the post-Soviet age.

DEMOCRACY

The third major theme is the nature of democracy in Russia. He placed his faith in local democracy far more than on central or parliamentary democratic institutions. Both the Russian historical record and modern mass democratic politics seemed to justify that preference. Democracy appeared meaningful only on the foundation of vibrant local communities, and he discerned them as much in Russian history in the *veche*, the *mir*, Cossack self-government, and the *zemstvo* as in the cantonal and county politics that he experienced directly during his exile in Switzerland and America. Consistently enough, but imbued with a dreamy utopianism, he repeatedly called for nurturing vigorous local democratic institutions after the collapse of the Soviet Union. His commitment to democracy as the foundation of a modern politics remained unequivocal.

But he was wary of party politics and mass democracy as a fertile source of evil and totalitarian menace. He dreaded, and with good reason, the tyranny of the majority over the minority and the individual as foreseen or seen by John Stuart Mill and Alexis de Tocqueville in mid-nineteenth cen-

ture. Universal, equal, direct, and secret suffrage, had everything wrong about it. Universal and direct suffrage crushed the real inequality among individuals, «it represents the triumph of bare quantity over substance and quality», and it «assume[s] that the nation lacks all structure», that it is putty to be moulded at will. Secret voting favoured insincerity; and direct voting in national elections ensured that the candidates were unknown to their voters. Such mass democracy also entailed the domination of a minority over the majority, or elite rule; it engendered party politics, in which a party bureaucracy erased the individual, and whose mobilizing processes polarized society and split the nation; and it produced the professional politician, a «jurocracy» of lawyers who fattened themselves in the profession and were neither responsive nor responsible to their voters²⁰. These familiar critiques of mass democracy, advanced at various times during the nineteenth century by liberals and conservatives, revolutionaries and counter-revolutionaries, each after their own fashion, were revived and restated with vigour and passion by Solzhenitsyn in the late twentieth century; and it demonstrated, as with so many of his techniques and arguments, that what seemed passé in one part of the world could be very live in another.

With the searing experience of the twentieth century in mind, he placed his faith in a foundational local democracy and endorsed a limited authoritarianism for the post-Soviet transition. As he explained it, a secure democracy could not be established overnight after the totalitarian century, and any attempt at doing so would reproduce the evil it sought to eliminate. It must be built up from the base, brick by brick; and local democracy was the obvious foundation to this vast edifice. In the circumstances, even a limited authoritarianism at parliamentary levels could be contemplated, but not the reverse, of the absence of local democracy and an attempt at it at the apex. The reasoning was symmetrical with that for the «dictatorship of the proletariat» in the transition to the communist utopia; but he bolstered his argument with a romantic reach into Russian history, that «Russia too has existed for many centuries under various forms of authoritarian rule, Russia too has preserved itself and its health, did not experience episodes of self-destruction like those of the twentieth century...»²¹. His concerns were utterly contemporary of the twentieth century; his thought processes belonged more to early Soviet Marxism than to any other ideological structure; but his legitimation arguments were romantically Slavophile.

Not surprisingly, his most detailed prescriptions concerned local democracy and its upward progression. It began with the basal zemstvo directly elected; these deputies would select the next level of deputies from among themselves; each level would continue to elect in this manner until it reached a national All Zemstvo assembly. All such deputies would be known and responsible to their electors unlike parliamentary deputies; and here

he repudiated one of the central principles of parliamentary representation, first established in Britain and France in the late eighteenth century, by which a deputy is chosen by a territorial constituency but does not take further instruction from them on his conduct as a parliamentary deputy²². All of this bore an astonishing resemblance to the structure of revolutionary soviets before the Bolshevik dictatorship finally established itself over them.

He virtually replicated the arguments of the early Soviet jurists advocating the Soviet electoral structure over the parliamentary one; and not surprisingly, he warmly welcomed that most original, democratic, and revolutionary creation of the Russian revolutionary movement, the soviet. Like him, they denounced mass democratic parliamentary systems functioning through the so-called four tail suffrage of universal, equal, direct and secret voting. It generated professional politics run most often by lawyers, or an *advokatokratiia* akin to Solzhenitsyn's «jurocracy», and of course unknown to the mass of electors. Soviet publicists extolled the virtues of the lowest soviets of town and village as composed of deputies directly known to the people, and the hierarchy of soviets, with each level being elected by the one below, as satisfying this requirement of direct knowledge at each stage²³. Ironically, Nadezhda Krupskaja, Lenin's wife, preferred exactly the same argument as Solzhenitsyn, that the deputies would be known to the voters and be in constant contact with them unlike other systems where everything ended with the election²⁴. Like Solzhenitsyn, they deplored the atomization of the bourgeois individual; hence the voting process would represent the social organism, which in Solzhenitsyn's case was the community, and in the Soviet case, the productive unit or the working collective and the like²⁵. By that same logic, both sought representation for professional groups and institutions, what Solzhenitsyn called *sosloviia* and the Soviet theorists called unions or associations²⁶.

He dismissed the soviets of late Soviet times as so emaciated that they would have to be replaced by the *zemstvo*, which had themselves been replaced by the soviets in 1917–1918²⁷. But the analogy between the *zemstvo* and the soviet is obvious, and he admitted to considerable respect for the early soviets before the Bolsheviks imposed their monopoly after the Fifth Soviet Congress and inaugurated the new constitution on 18 June 1918. When Tvardovskii, the editor of the journal *Novyi Mir*, expostulated in 1967 that Solzhenitsyn was too unforgiving of the Soviet regime, he protested «that he was fully in favour of the Soviet regime in its original form – freely elected deputies to independent workers' soviets»²⁸. A few years later, in 1974, he publicly reaffirmed that faith through his *Letter to the Soviet Leaders* as he called for a resurrection of the genuinely soviet system in lieu of the one that had degenerated into an extension of the Party: «May I remind you that the SOVIETS, which gave their name to our sys-

tem and existed until 6 July 1918 were in no way dependent on ideology: ideology or no ideology, they always envisaged the widest possible *consultation* with all working people»²⁹. This declaration in favour of the soviets, which embodied the revolutionary tradition as little else could do, came after his conversion in 1969 to the non-monarchist conservatism of the *Vekhi* and *De Profundis* miscellanies, and of the group around Berdiaev, all of which were so critical of the radical traditions of the intelligentsia³⁰. He echoed the words of one he professed to despise, Trotsky, who defended himself at his trial that the soviet of St Petersburg in 1905 had been a non-party body, that it was a purely democratic body without a necessary ideology, and hence akin to the Duma or the *zemstvo*³¹. The soviet was indeed competitively democratic until 1918, although it had already excluded the bourgeoisie and *tsenzovye elementy*, which restriction Solzhenitsyn endorsed, unlike the socialist critics in Europe led by Karl Kautsky³². He revisited these arguments in 1994, but now to plead the case for the *zemstvo* in almost the same terms as for the soviet.

He found the party monopolies odious, but not the principle of the soviet structure. Martov, an important victim of the Bolshevik dictatorship, had endorsed the limited Soviet franchise as typical of bourgeois democracies also, but he specified political competition within the soviet structure as indispensable to democracy³³. Since contested elections to the soviets had indeed been held in November 1918 – March 1919³⁴, and February – May 1920³⁵, he sustained his faith or hope until 1920. As the Bolshevik monopoly became irrevocable thereafter, he resigned himself to the darkness that was descending on Russia. His faith now appears touching, but it is not so outlandish were we to transport ourselves to the vigorous electoral battles of the soviets before the Bolshevik dictatorship of 1918 and intermittently until mid-1920. Solzhenitsyn however imagined the curtain descending as early as July 1918. Had Martov survived into the thirties to experience the Nazi dictatorship rising out of universal suffrage and parliamentary democracy, he might have felt vindicated and despaired for humanity. Both saw that the soviet structure did not necessarily entail the Bolshevik dictatorship, that the Bolsheviks had perverted the democracy of the soviets, and that competitive electoral politics, otherwise known as democracy, was no guarantee of its own survival whether in soviet or parliamentary form. It is not so surprising that Solzhenitsyn's arguments seem to reproduce those of the early Soviet propagandists. But his argument on the genuinely democratic attributes of the revolutionary soviets establishes a discontinuity between the early Leninist revolution and the subsequent phases of both Lenin's regime and of course Stalinism; and this contradicts his passionately argued thesis of the continuity of Leninism and Stalinism.

THE CATASTROPHIC TWENTIETH CENTURY

By far his greatest obsession was the fate of Russia in the twentieth century, comparable in his mind only to the Holocaust and elaborated in his titanic works, *The Red Wheel* and *The Gulag Archipelago*. *The Red Wheel* was to tell the story of the War, the Revolution, and the Civil War until its denouement in the Soviet Union in 1922 in twenty volumes and five epilogues; but even a person of Solzhenitsyn's industry and stamina could manage only ten volumes of about 6000 pages of dense fiction and history up to April 1917³⁶. *The Gulag Archipelago* takes the story up to 1956 as an account of how Russia became a prison camp, such that the «free» citizens outside the camps were as unfree as those inside. Often described as one of the most important books of the twentieth century and the nemesis of the Soviet regime, its metaphor of the Soviet Union as a prison camp can never be erased.

He presented the revolutionary myth through Agnessa Lenartovich's words of Stolypin as the ultimate reactionary and of Bogrov as a revolutionary saint. He then set the record right by reversing their mythological attributes. Stolypin was morphed into the saint and Bogrov into the demon. Stolypin emerged as the bearer of the exemplary virtues of courage, foresight, devotion, and patriotism with a heroic genealogy that included Suvorov and Lermontov. During his four days in the agonies of death in 1911, his fevered mind was focused wholly on the future of Russia and the reform process that would now be aborted. His assassination collapsed the millennium of Russian history: it occurred in Kiev, «the cradle of Russia, the city in which Russia had its earliest roots»; the bullets portended the tragedy of Russia and of the dynasty, for «they were the opening shots of the fusillade at Yekaterinburg»; and his death befitted the bogatyrs, those larger-than-life heroes of Russian myth, as he «went to meet his death as an equal. He passed like a sovereign from one kind of life to another»³⁷. Bogrov was turned into the noxious object emerging from the dark folds of the earth to perpetrate his heinous crime, with a sinister predecessor in D'Anthès, Pushkin's killer. Solzhenitsyn drew, not real historical figures, individuals acting in particular situations, but idealized and demonized mythological figures, timeless and extreme in their virtues and vices. His characters did not belong to a historical time and place but to a mythic eternity where they cannot be particularized. It reads like hagiography and reproduces the principal features of socialist realism, its formulaic pattern, its didacticism, its exaggerated optimism, of exemplary characters overcoming great odds and thus orienting the reader to a positive future. Solzhenitsyn had imbibed the socialist realist tenets of the revolutionary epoch, but now to send an anti-socialist message³⁸.

But as his epic work progressed, it imperceptibly shifted from fiction to dramatized history, and the protagonist Colonel Vorotyntsev receded in favour of the historical personalities. Leaders repeatedly failed to discharge their duties, leaving the way open to revolutionary evil, and even Vorotyntsev dallied with his mistress instead of attending an important meeting in St Petersburg in 1916. The gripping story of the chaos and frenzy takes us through the drama of the abdication, the Soviet of St Petersburg, the Provisional Government, and numerous other revolutionary events until Lenin took charge in April 1917. As Russia plunged into the abyss through *November 1916*, *March 1917*, and *April 1917*, her crust split open to reveal the flames of the revolutionary and Soviet inferno leaping up from the depths of the earth. The apocalypse of 1917 heralded its dreadful aftermath, the Soviet Union, which may be grasped only as a gulag, an archipelago of prison camps congruent with the limitless geography of Russia herself.

THE CONSERVATIVE

Solzhenitsyn professed to abhor revolution and anything akin to revolution after his ideological transformation and religious conversion in the camps in the late forties; subsequently he advocated a most controlled gradualism in the transition from authoritarianism to democracy in order to avoid the menace of revolution. He would have wholly agreed with the spirit of Joseph de Maistre's riposte to Condorcet, «*L'établissement de la monarchie n'est point une révolution contraire mais la contraire d'une révolution*». (Of course, he despised the Russian monarchy and never remotely considered its restoration, but like de Maistre he hoped to undo the consequences of the Revolution without inducing another revolution.) He was well aware that the past could not be revived, and that any such attempt would have been as alienating as imposing Western culture, as Ivan Kireevskii had warned in his time. He projected himself as a conservative and Christian thinker, he licensed such an image of himself in both Russia and the West, and he welcomed his apotheosis as a prophet in the tradition of the Old Testament when Father Alexander Schmemmann delivered his Easter Sermon in 1972: «And now this forgotten spirit of prophecy has suddenly awakened in the heart of Christianity. We hear the ringing voice of a lone man who has said in the hearing of all that everything that is going on – concessions, submission, the eternal world of the church compromising with the world and political power – all this is evil. And this man is Solzhenitsyn»³⁹.

His conservatism lay, not so much in his political prescriptions as in his according primacy to the individual overcoming internal imperfections

rather than to society structuring an ideal external environment of institutions and practices. In his Christian view of life, these imperfections were understood as the sin and evil inherent in human beings. It led to his proposing to Soviet leaders the radical disjunction between political power and public opinion, or between the state and the spiritual and ethical domain. At times he seemed to be proposing the familiar liberal dichotomy between state and public opinion⁴⁰; but at other times the distinction seemed to be heavily indebted to his Slavophile reading of Russian history and especially to Konstantin Aksakov's redaction of it, as Professor Confino has well analysed it. Solzhenitsyn's vision of a Rousseauvian (he preferred to call it Athenian) direct democracy at the base effortlessly melding with an authoritarian but self-limiting central power reproduces Aksakov's ideal of autocratic power and popular opinion functioning in perfect symbiosis⁴¹. The disjunction between inner and external freedom and the stress on the former, if necessary at the expense of the latter, is a concept familiar to European conservatism but attaining its height or drawn to its extreme in Russia in the Slavophilism of Ivan Kireevskii and Konstantin Aksakov and in Leo Tolstoy's doctrine of non-resistance.

Certainly, the cultivation of inner freedom for moral self-perfection whatever the external circumstances is one of the grand themes of Solzhenitsyn's *œuvre*. In the gulag, the relations of power were raw in the extreme, and he paraded all the moral choices available. It was always possible not to succumb to the Great Lie that was perpetrated daily and to think through the fundamental questions of life, however searing the answers they threw up. The zek (prisoner) who has lost everything and has nothing to lose, like the proletarian of the Marxian imaginary, is the freest person. Prisoners' minds could range over fundamental issues freely without anxiety about losing their «liberties»⁴². They could live more deeply, more fully, and engage with life in its many dimensions. As they do so, they endure their travails and privation with a growing moral fortitude that is so often unavailable to those who are «free». But they go beyond mere endurance. They do not struggle and revolt, nor do they fall into despair; they neither resist nor become passive. Like the martyred saints of Christianity, they grow in moral beauty, and having passed through the many circles of the nether world they approach the gates of Paradise. Such Christian ascetics gain knowledge of the self, of Creation and of Christ through participation in the Passion; and prison and its suffering is the «martyrdom [that] facilitates one's eschatological quest for enlightenment»⁴³. Without degenerating into masochism or naïve optimism, Solzhenitsyn discerned the potential for moral regeneration in the prison experience which may have been denied the free person outside; he understood why Tolstoy dreamed of being in prison; and both Nerzhin

and Solzhenitsyn «blessed» the experience for the enlightenment that it had bestowed upon them⁴⁴. Like Socrates being freer in prison than the despot who had thrown him in there, so Solzhenitsyn's protagonists nurtured their freedom in the gaols of their enslaved tyrants.

These multiple processes of self-discovery have been brought together in his fictional masterpieces, especially of Solzhenitsyn-Nerzhin as Dante incarnate gaining in spiritual worth in *The First Circle* as he was guided through the many circles of Inferno by Virgil-Sologdin⁴⁵. Gleb Nerzhin retains his independence of mind, refuses to work on cryptography, and is bundled off in a Black Maria to a grim and dark fate. On the other hand, the true believing communist, Rubin, amiable and kindly though he was, ceaselessly validifies the perversions of Stalinism on the ground that it served a higher cause; and he willingly invented the voice-recognizing machine that led to the arrest of Innokentii Volodin who had rashly telephoned the American Embassy to warn that their nuclear secrets were being transmitted to the Soviet Union⁴⁶. The unresisting Ivan Denisovich Shukhov created himself through the productive labour of bricklaying, while the privileged Tsezar resisted and the despairing Fetiukov became a toady. Bobynin in *Cancer Ward* was utterly free; but the minister is nervous that he might put his foot wrong, and the Stalin of *The First Circle* is a pitiable slave to so many demons of his own making while the entire hierarchy of subordinates, starting with Abakumov, bow and scrape in terror.

Oleg Kostoglotov in his cancer ward ponders the paradox that Chance is utterly arbitrary and irrational and can visit cancer and death randomly on anybody; but monstrous bureaucracies have raised their rational structures of repression that denies life everyday by rational choice. As he accepts that fatal disease does not make a rational choice of victims in the manner that tyrannical bureaucracies do, and that death is inevitable, he feels liberated from fear and from the compulsion to adjust to the rationality of the vicious bureaucracy. It permits him to endure the further trials that life and fate have in store for him. He must accept sexual impotence as the consequence of his treatment for cancer: for the chance to prolong his life he cannot hope to reproduce his life. He sees it is possible to have a deep emotional relationship with Vega despite his impotence. When he loses Vega, he realizes it was just as well as he could not have made her happy. As he emerges into the free world from his prolonged imprisonment, he discovers how alien he is to this world of philistine triviality. He gives thanks that he has been able to cherish whatever has been given to him in life without his having accommodated himself to injustice, while Shulubin participated passively in such Stalinist iniquity⁴⁷.

However, the commitment to self-purification was not peculiar to the conservative; it was carried to extremes in the Russian revolutionary tra-

dition; and Solzhenitsyn, despite himself, was drawing as much on the Russian revolutionary heritage as he was on Tolstoyan, Slavophile, conservative, or medieval Christian precepts. Russian revolutionaries have been famously admired and derided for being a community of apostles, ascetics and martyrs like Christian saints and missionaries. Such radicals laboured strenuously to perfect themselves spiritually and morally to undertake the daunting task of emancipating the Russian people. They demanded of themselves the purity of motivation and absolute integrity of medieval knights *sans peur et sans reproche*. They pursued the most exacting theoretical studies like hermits at their rigorous ascetic exercises; and both species gained access to superior knowledge which they might or might not have been able to share with the rest of their fellows. They endured endlessly hellish experiences in prison and exile, becoming more and more aware or «conscious», and eventually creating a heavenly community on earth through the camaraderie of the discussion group of like-minded persons (the *kruzhok*). Iconic radical fiction from Chernyshevskii, Gorkii, Gladkov and others provided just such models, especially Rakhmetev in Chernyshevskii's *What is to be Done?*⁴⁸ In real life, the Chaikovskii circle attained heights of self-perfection that became an inspiring myth to generations of revolutionary intelligentsia: they represented that perfection of inner development that Solzhenitsyn himself demanded from his characters. They sacrificed their biological families to nurture their revolutionary families, and persons like Sofiiia Perovskaia slept on bare boards if not on nails⁴⁹. Indeed many of the heroes of the resistance in the Gulag were themselves revolutionaries who had undergone just such a spiritual awakening in the revolutionary movement before 1917, including among them Trotskyites, whom he otherwise contemned⁵⁰. As Solzhenitsyn-Nerzhin engaged in animated discussion and argument with Sologdin and Rubin in his sharashka and slowly converted from his youthful Marxism to his own version of religious faith and individual self-perfection, he seemed at times to be describing the Russian radical intelligentsia's self-education groups, the *kruzhki*, and at times the spiritual exercises of Christian martyrs in the catacombs or of monks in their cells. He conflated the two sources of inspiration, but the more proximate and palpable one is of Russian revolutionaries themselves.

THE REVOLUTIONARY

His instincts and temperament were revolutionary, and despite his professions and convictions, he endorsed extreme forms of action that included murder and terror. He accorded primacy to moral revolution; but his moral revolution was pervasive, it embraced all power structures,

it was not segregated into an autonomous sphere of its own. Quite unlike his non-resisting tolstoyan fictional characters, he enthusiastically welcomed conventional revolutionary action when a reasonable opportunity seemed to present itself in the gulag. The *Gulag Archipelago* opens with the question why people did not fight off such iniquity, and after numerous reflections and narratives the work swells to the climacteric of the great rising at Kengir in 1954. It is a vast phenomenology of incarceration and an epic of endurance and revolt; but it is as much an optimistic affirmation of the capacity of human beings to resist injustice in mind and body should the choice be made to do so. Consistently enough, he regarded it as a moral choice of the individual to resist violently as long as it was arrived at freely. In the fifth part of the *Gulag*, he reflected on violent resistance in the overture to his account of the rising at Kengir. His own words say it well:

«Now as I write this chapter, rows of humane books frown down at me from the walls, the tarnished gilt on their well-worn spines glinting reproachfully like stars through the clouds. Nothing in the world should be sought through violence! By taking up the sword, the knife, the rifle, we quickly put ourselves on the level of our tormentors and persecutors. And there will be no end to it...

There will be no end... Here, at my desk, in a warm place, I agree completely.

If you ever get twenty-five years for nothing, if you find yourself wearing four number patches on your clothes, holding your hands permanently behind your back, submitting to searches morning and evening, working until you are utterly exhausted, dragged into the cooler whenever someone denounces you, trodden deeper and deeper into the ground – from the hole you're in, the fine words of the great humanists will sound like the chatter of the well-fed and free»⁵¹.

He recalled how murders of traitors became utterly normal, how prisoners would ask each other every morning whether anybody had been killed, how «In this cruel sport the prisoners heard the subterranean gong of justice»⁵², and how these terrorist acts were profoundly liberating:

«Out of five thousand men about a dozen were killed, but with every stroke of the knife more and more of the clinging, twining tentacles fell away. A remarkable fresh breeze was blowing! On the surface, we were prisoners living in a camp just as before, but in reality we had become free – free because for the very first time in our lives, we had started saying openly and aloud all that we had thought! No one who has not experienced this transition can imagine what it is like!»⁵³

As he warmed to the theme he uttered this paean to the glory of violent resistance and how the land of the free had been created within the confines of the labour camps:

«A time such as we had never experienced or thought possible on this earth: when a man with an unclean conscience could not go quietly to bed! Retribution was at hand – not in the next world, not before the court of history, but retribution live and palpable, raising a knife over you in the light of dawn. It was like a fairy tale: the ground is soft and warm under the feet of honest men, but under the feet of traitors it prickles and burns. If only our Great Outside were as lucky, the Land of the Free, which never has seen and perhaps never will see such a time»⁵⁴.

These were akin to the revolutionary soviet governments during the revolution of 1905 setting at naught the writ of the tsarist state within the «liberated» territories; and like those revolutionary soviets, the Kengir rebels set up an entire bureaucracy and governmental structure to run their own liberated space⁵⁵. The Camp Administration regarded this as «gangsterism», but he saw it as «political», like any revolutionary of tsarist times⁵⁶. He went on to recount the heroic resistance at Kengir in which eventually 600–700 prisoners were killed⁵⁷. And, in his enthusiasm, he uttered the forbidden word, that this was indeed a «revolution», a high moments of which was on the anniversary of one of the most sacred days of the revolutionary calendar, on 9 (22) January, a Bloody Tuesday in 1952 instead of the Bloody Sunday of 1905⁵⁸. His apostrophe to the Kengir heroes seems to be in flat contradiction with his preaching of inner concentration and non-violence.

But it is nowhere written that a person must be consistent; and we have often been cautioned against the myth of coherence in our effort to understand human action⁵⁹. If heterogeneous elements go into constituting a discourse among a community of people, they do so in the body of thought of a single person also. Solzhentisyn detested revolution and violence, but he also felt that an atrocity like the Soviet Union could justify revolution; he favoured self-perfection above all else, but he could see that it ensured only the necessary but not the sufficient condition to the outcome of the power struggle he was engaged in and to which he summoned everybody with a conscience. By his own prescriptions, it would have been irresponsible and immoral on his part not to have saluted the martyrs of Kengir. Georges Nivat, one of the most acute and eloquent scholars of Solzhenitsyn, has presented it as a contradiction that need not be resolved: «This apostle of a certain non-violence is also a fighter of extraordinary combativeness. The hymn of Kengir remains one of the most beautiful hymns of revolt written in this century. But how is Kengir to be related to

Matriona?»⁶⁰ And Susan Richards has shown well how it flowed from uncertainty, the refusal to judge, and from debate with himself, for the questing mind could not take an absolute position on many matters⁶¹.

Solzhenitsyn realized how far he had gone, and for the American edition, he deplored terrorism while justifying it as the consequence of the forty-year terrorism of the state, that evil begets evil, that it may be necessary to resort to «evil ways even to escape it»⁶². This is the most ancient excuse or argument, but, from within the traditions of Russian politics, it belonged unequivocally to the lineage of the radical intelligentsia, its revolution and terror. His account could have passed effortlessly into the pages of the *Revoliutsionnaia Rossiia*, or any other publication of the Socialist Revolutionary party before 1905, a party that carried its revolutionary action to the extremes of possibility, called upon its following never to let a single humiliation pass unanswered, gloried in terror and vengeful violence, and saw only cowardice and hypocrisy in the Bolsheviks. Bakunin and Chernov, Narodniks and the Narodnaia Volia, the Socialist Revolutionary Party, its sundry offshoots, and even the Anarchists, all of them could have hailed him as a kindred spirit after reading the fifth part of *The Gulag Archipelago*. The Socialist Revolutionary Party asked how the people were to respond to the terrorism of the tsarist state, to beatings, lashings, shootings, and torture, the humiliation of women, or being ridden down by Cossacks, and the answer was that it should come «in burning letters etched into the consciousness of tsarist oprichniki»⁶³. The Social Democrats responded warmly to the faultlessly revolutionary instincts of the terrorists while rejecting the action as wrong-headed, for which they earned the undying contempt of the Socialist Revolutionaries. Even Petr Struve, when launching his new liberal journal, *Osvobozhdenie*, in 1902, addressed primarily to a non-revolutionary public, employed the identical argument, that «Government terror begets revolutionary terror»⁶⁴. It routinely reported the dying declarations of heroic terrorists trudging to execution, and it happily noted that the Western press agreed that the «red terror is engendered by white terror»⁶⁵. The Socialist Revolutionaries were comfortable in their revolution; they assaulted the imperial state without equivocation or apology, and they fervently advocated every means of struggle, including individual terror⁶⁶. Solzhenitsyn was just as absolute in his repudiation of the Soviet state; but given the origin, history, and legitimation processes of that state, he pursued alternatives to revolution through inner self-development and non-violence, while being drawn to revolution and even terror. Revolution and non-violence were tactics, not dogmas, and he pursued both equally. In the event, he proved himself an enthusiastic legatee of the

most violent of Russian revolutionary traditions, which he also repudiated in his conservative *Vekhi* moment.

Unlike a conservative and like a good revolutionary, he sought to construct society anew, from its foundations, to undo error and to scrape off the carbuncles. He firmly rejected rationalist constructions of society as wholly artificial, and he stood with the Slavophiles and conservatives in general to demand that society must evolve from its own lived experience, that it cannot spring from the pages of a book. But he dismissed more than three centuries of Russian history, that is, the Petersburg or imperial period and the Soviet Union, as misbegotten deformities that had grown more grotesque by the decade; and he looked forward to wiping the slate clean and constructing a new Russia according his own theories of local democracy, Russian culture, and central political institutions. He claimed inspiration from the traditions of popular democratic Russian culture; but he was well aware and it was obvious to others that what he proposed lacked continuity with those political traditions which had atrophied in tsarist times and had been extinguished thereafter. He was prescribing innovation on a scale that was revolutionary for his epoch, the late Soviet one. He was, despite himself, constructing his new Russia from the pages of a book.

As soon as the Soviet Union collapsed he composed just such a book⁶⁷. Here he lovingly outlined his vision of a new Russia, built upward from the local democracy of the zemstvo to the parliamentary institutions of the All Zemstvo Assembly, drawing his inspiration and models from early Soviet democracy, the zemstvo reform of 1864, and Swiss and American local government which he had witnessed at first hand and come to admire. He argued or realized that after such a prolonged dictatorship it would be too severe a shock, indeed revolutionary, to institute the mass democracy that had spread over the West; and, like the early Soviet Marxist theorists prescribing a dictatorship of the proletariat until the utopian withering away of the state, he also propounded a benign authoritarianism for the transition to his perfect moral, just, and democratic political dispensation of the future. He redefined the contours of his new Russia, drew borders anew to lop off the non-Slavic parts, and left it open to the Ukrainians and Belorussians to choose to be in one state with Russia. He suggested that Kazakhstan be broken up and that the northern Russian districts be merged with Russia. It may require a species of black humour to compare Solzhenitsyn with Stalin, but identities are often found in the unlikeliest of places, as between Hitler's New Order for Europe and Schumann's plan for post-War co-operation between France and Germany, which culminated in the European Union⁶⁸. Through some of the darkest chapters of *The First Circle*, the insomniac predator

from the Caucasian ravines padded nightly through the halls of the Moscow Kremlin, tore into entire nations and peoples, and scattered their dismembered parts across the Eurasian landmass. Stalin was solving his political problems by inflicting punishment and destruction on a scale that may have defied the imagination until then; Solzhenitsyn was solving *his* problem of establishing justice and morality through the wholesale restructuring of nations and states across that same Eurasian plain, unaware of the enormous misery and dislocation of such vivisections and grafting. More than the specific proposals, the tone of his work betrayed the mind of the utopian dreamer exercising his option when history provided it, but to which he had also applied himself so intensely over the decades. He recalls to mind Lenin, who had endlessly dreamt of the Revolution and the socialist ideal, stepping up to the podium of the Second All Russian Congress of Soviets in the evening of 25 October 1917 to declare matter-of-factly, «Now we shall proceed to construct the socialist order»⁶⁹.

He resorted to one more revolutionary instrument against the Soviet Union and Marxism that may not have sat comfortably with his conservative ideal of moral self-perfection in a stable community and nation at peace with itself and with the world. After his forced emigration to the West in 1974 he repeatedly called for an end to the *détente* with the Soviet Union, accusing the West of being ensnared by Soviet intrigues in a pseudo-*détente*. He justified himself against charges of being a warmonger by claiming that he sought a genuine *détente*, not one that merely reinforced the Soviet tyranny; but then he did not, perhaps because he could not, adequately explain what he meant by the genuine article⁷⁰. He saw the Cold War for what it was, another world war and a continuation of the incomplete World War II; and he chased the dream of overthrowing the Soviet regime by international war as much as by domestic revolt and moral refusal to submit to the Great Lie. Like his revolutionary predecessor and antagonist Lenin, he refused to succumb to what appeared to him as putrid appeals to loyalty and patriotism, and he cannily exploited the Cold War as he headed westward with his one-way ticket in a «sealed aircraft».

He was converted to a conservative and religious view of life during his gulag days and he glorified Stolypin, but the most potent presence in his life, looming over him and shaping him psychologically and intellectually, was Lenin. Lenin was a major character in *The Red Wheel*, naturally enough, and Solzhenitsyn excerpted the Lenin portions of his opus to publish them as a separate book, *Lenin in Zürich*, long before the rest of the work was completed. The portrait of the monologic ideologue and a leader who shall not be crossed was sharply drawn and by no means laudatory, but it

was not perverse and unsympathetic⁷¹. He seemed to enter so deeply into Lenin's mind and imagination, employing his usual technique of *erlebte Rede* or «narrated monologue», of both third person narrative and direct speech⁷², that Vladimir Krasnov has proposed Lenin as a co-author⁷³. His Lenin was «a fully realized, three-dimensional character with believable motives who bears moral responsibility for bringing much evil into the world»⁷⁴. As an iconoclast and prophet, so much did he «quiver with the intoxication of struggle» that his portrayal of Lenin was perhaps a means of releasing the immense violence dammed within. He was attracted to rebellion and dissent, as in the Old Believers, Stenka Razin and Pugachev, or the Populists who sacrificed themselves in the nineteenth century, or for that matter Zwingli to whose statue in Zürich he bowed in homage; like Lenin he despised the liberals, as also Plekhanov, the «Bolshevik grand bourgeois» of Swiss villas⁷⁵. He seemed to blame Lenin for the Revolution less than his evil genius Parvus, the Satan and the tempter, the Peter Verkhovenskiï to Stavrogin. He wrote eleven chapters or 300 pages on Lenin against a mere five chapters on Stalin in *The First Circle*⁷⁶; and his portrait of Lenin revealed respect and fascination for the founder of the Soviet state, not the hatred and contempt that he reserved for Stalin. He laboured hard to prove the continuity between Lenin and Stalin against those who claimed that Stalin had perverted Leninist ideals. He did so by assembling a vast array of the facts on the origins of terror during Lenin's reign. But as he did so, he diminished Stalin into an evil midget, a mere product of his times, and incapable of being the demiurge of the epoch that was known by his name⁷⁷, and Lenin emerged the incomparably greater man, the creator of the conditions that threw up a Stalin. Michael Scammell summed it up well: «Solzhenitsyn's portrait of Lenin was highly personal, with autobiographical overtones. The picture of a lonely and unheeded prophet, self-centred, short-tempered, miserly with his time ("a single wasted hour made Lenin ill"), suspicious of others, virtually friendless, cut off from his homeland, and dreaming of leaving his wife for another woman seemed uncannily close to certain biographical details in the life of the author – breathtakingly so to those who knew him well – and there was much comment among Russian readers about Solzhenitsyn's psychological identification with his revolutionary predecessor and ideological opponent»⁷⁸. In 1976 he was asked by his BBC interviewer whether he admired Lenin; revealingly, he refused to answer. He also admitted to Nikita Struve: «Lenin is one of the central figures in my epic and a central figure in our history. I have been thinking of Lenin from the very moment I conceived the idea of my epic, for forty years already, and have collected every crumb and fragment that is known about him, absolutely everything...»⁷⁹ It was a compliment he did not pay to anybody else.

CONCLUSION

The three levels of personal integrity, domestic rebellion, and international war, albeit of the Cold War variety, belonged to a seamless strategy of inaugurating justice and morality in this world. He stressed personal development above all else owing to his personal experience of the gulag, but as much because the overwhelming might of the Soviet state made internal self-perfection for long the only course of action open, not only to prisoners, but even to «free» Soviet citizens. Like his younger contemporary, Foucault, he ceaselessly reflected on the carceral condition of humanity, in prison and out of it, through the multiple levels of discourse, scientific discipline, and physical coercion; like him he investigated the manner in which this was peculiar to modernity, to the Soviet version of it in particular; and again like him he sensed that he was witness to the imminent end of this form of modernity and of the «modern episteme» that had invented man at the end of the eighteenth century⁸⁰. Two wholly divergent experiences, the one of «saturation with freedom» in the West⁸¹, the other of being walled into the Gulag, yielded comparable reflections on servitude in modern times with intimations of the mortality of modernity, each according to his own experience of it.

The conservative preceptor's preaching of inner concentration was complemented by strategies of revolutionary politics and international warfare. His sustained anti-Soviet, anti-revolutionary, and anti-liberal Western rhetoric, has blinded us to the depth of his revolutionary message. Like a revolutionary of the eighteenth century, he sought to construct society from his own books of theory. In the tradition of the revolutionaries of Russia he gained «consciousness» in the *kruzhok* or study group of like minded seekers; he was inspired by the democracy of the early revolutionary soviets; he drew heavily on both critical realism and socialist realism to compose his two epic works; he endorsed revolutionary assault and terror as the only means of responding to the terror of the state; and he worked to overthrow the Soviet state initially through a new party organization when he was still a young army officer, and later, in his maturity, through the international Cold War.

Of the four ideologies on offer in the Russian nineteenth century, he discarded liberalism and Marxism and resurrected in different ways the two long submerged traditions of Slavophilism and Narodnichestvo without explicitly saying so. From the Slavophiles he drew on the dream of a pristine Russian culture and the democracy of robust local communities; and from the Narodniks he took the rising of the people against the state as a purely democratic commitment without the class analyses so beloved of liberals and Marxists. Those conservatively inclined would applaud his

Slavophilism; those radically disposed and critical of the development excesses of industrialism and the omnipotence of the modern state would welcome his Narodnik leanings and fondly recall the eschatological inspiration of the people's final contest with the state. He projected himself as the prophet to a post-Soviet and reduced Russia, when Russia shall not aspire to lead, where the centre of power in the world shall lie elsewhere, and Russia shall be delicately balanced between independence and subordination to that centre, in the manner of Europe. He presented it as an opportunity, not as a loss; as hope, not despair; as an aspiration, not reconciliation to a miserable fate, and the conflation of these multiple prescriptions may set the course for a Russia writhing to slough off her imperial and Soviet skin. He remained a revolutionary who detested the idea of revolution; he yearned to be a conservative in a Soviet world which he did not wish to conserve; he dreamt of his ideal Russia of the future which he must build from scratch like a revolutionary; and his iconoclasm could be accommodated only in the plural world of liberal capitalism which he found despicable for its addiction to both excess and compromise. He repudiated the three great competitive ideological systems of the twentieth century, communist, fascist, and liberal capitalist as he prefigured the twenty-first century, the post-Soviet epoch, and perhaps postmodernism, with all their maddening uncertainties; and he wandered a lonely prophet and artist whose mixed bag of offerings attracted acolytes, provoked outrage, and exasperated ardent admirers.

NOTES

¹ Revised version was paper to the International Conference «Aleksandr Solzhenitsyn: The Course Of His Life In The Context Of Greater Time», held in Moscow, 5–6 December 2008.

² *Solzhenitsyn A.* Nobel Lecture in Literature, 1970 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1970/solzhenitsyn-lecture.html) accessed 8 November 2008, section 1; *Solzhenitsyn A.* Letter to Soviet Leaders / Transl. H. Sternberg // Index on Censorship. London, 1974. P. 12; *Solzhenitsyn A.* A World Split Apart: Address at Harvard Class Day Afternoon Exercises, 8 June 1978; *Confino M.* Solzhenitsyn, the West, and the New Russian Nationalism // Journal of Contemporary History. Vol. 26. № 3/4; The Impact of Western Nationalisms: Essays Dedicated to Walter Z. Laqueur on the Occasion of His 70th Birthday. 1991. (Sept.) P. 611–636, here p. 612–614.

³ *Collingwood R.G.* The Idea of History. Oxford: Oxford University Press, 1961. P. 50–52.

⁴ The following sections on self-limitation and Russia for Russians are summarized from: *Solzhenitsyn A.* The Russian Question at the End of the 20th Century / Transl. from the Russian by Yermolai Solzhenitsyn. London: The Harvill Press, 1995.

⁵ *Solzhenitsyn A.* Proterevshi glaza. Sbornik. M.: Nash Dom – L'Age d'Homme, 1999. P. 4–177, here p. 20 in chapter 2, translation from: *Scammell M.* Solzhenitsyn: A Biography.

London: Hutchinson, 1985. P. 104. The poem was composed in 1948–1952 in Marfino and Ekibaztuz.

⁶ *Solzhenitsyn A.* The Mortal Danger: How Misconceptions about Russia imperil America / Transl. from the Russian by M. Nicholson and A. Klimoff. New York: Harper and Row Publishers, 1980. P. 39–46.

⁷ *Mahoney D.J.* Aleksandr Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology. London: Rowman and Littlefield, 2001. P. 3.

⁸ *Solzhenitsyn A.* The Mortal Danger.

⁹ *Confino M.* Solzhenitsyn, the West, and the New Russian Nationalism. P. 614, citing: *Vestnik russkogo khristianskogo dvizheniia.* 1974. № 111. P. 69.

¹⁰ As in his «Letter to Soviet Leaders».

¹¹ *Krasnov V.* Wrestling with Lev Tolstoi: War, Peace, and Revolution in Aleksandr Solzhenitsyn's New «Avgust Chetyrnadsatogo» // *Slavic Review.* 1986 (Winter). Vol. 45. № 4. P. 707–719, here p. 711–713, 719.

¹² *Solzhenitsyn A.* Krasnoe Koleso: Povestvovanie v otmerennykh srokakh. Uzel 1: Avgust Chetyrnadsatogo. Kniga 2 // *Sobranie sochinenii:* 30 vol. M.: Vremia, 2006. Vol. 8. P. 104.

¹³ *Mahoney D. J.* Aleksandr Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology. P. 90–92.

¹⁴ *Kireevskii I.V.* O neobkhodimosti i vozmozhnosti novykh nachal dlia filosofii (1856) // *Polnoe sobranie sochinenii I.V. Kireevskago* / Ed. M. Gershenson: 2 vol. Vol. 1. P. 222–264, here p. 242.

¹⁵ Interview to Janis Sapiets of the BBC Russian Service in 1974, letter to the «*Vestnik russkogo khristianskogo dvizheniia*» (1975. № 116) and again in a BBC interview of 1976, cited in: *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 899, 920–921, and 935 respectively.

¹⁶ *Solzhenitsyn A.* Nobel Lecture in Literature, 1970 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1970/solzhenitsyn-lecture.html) accessed 8 November 2008, section 5.

¹⁷ *Idem.* Arkhipelag Gulag. 1918–1956: Opyt khudozhestvennaia issledovaniia. Part IV. Ekaterinburg: U-Faktoriia, 2006. P. 500, translations from: *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago 1918–1956. An Experiment in Literary Investigation. [Vol. 2, part IV] / Transl. from the Russian by Th. P. Whitney. London: Collins & Harvill Press, 1975. P. 615; *Ericson E.E., Jr;* *Klimoff A.* The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn. Wilmington, Delaware: ISI Books, Intercollegiate Studies Institute, 2008. P. 186–187; *Mahoney D.J.* Aleksandr Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology. P. 50–51, 105–106.

¹⁸ *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983. P. 31 and *passim*.

¹⁹ *Rowley D.G.* Aleksandr Solzhenitsyn and Russian Nationalism // *Journal of Contemporary History.* 1997 (Jul.). Vol. 32. № 3. P. 321–337.

²⁰ *Solzhenitsyn A.* Rebuilding Russia: Reflections and Tentative Proposals / Transl. and annot. by A. Klimoff. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1991. P. 63–82, esp. p. 76.

²¹ *Idem.* As Breathing and Consciousness Return // *Solzhenitsyn A. et al.* From Under the Rubble. Boston: Little, Brown and Co., 1975. P. 3–25, here, p. 23; see also: *Solzhenitsyn A.* Letter to Soviet Leaders. P. 52.

²² *Chicherin B.N.* Obshche gosudarstvennoe pravo. M.: Zertsalo, 2006 (orig. ed.: 1894). P. 173–179.

²³ *Brodovich S.M.* Sovetskoe izbiratel'noe pravo. L.: Gosudarstvennoe izd-vo, 1925. P. 16.

²⁴ *Krupskaiia N.* Konstituttsiia rossiiskoi sotsialisticheskoi federativnoi sovetskoi respubliki. M.: Izd-vo VTsIK, 1918. P. 13–14.

²⁵ *Vladimirskii M.* Organizatsiia sovetskoi vlasti na mestakh. M.: Gosudarstvennoe izd-vo, 1921. P. 32–36; *Brodovich S.M.* Sovetskoe izbiratel'noe pravo. P. 61–71; *Gurvich G.S.* Osnovy sovetskoi konstitutsii. 5th ed. M.; L., 1926. P. 105–108; *Mikhailov G.S.* Mestnoe sovetskoe upravlenie: Konspekt i materialy: Uchebnoe posobie dlia komvuzov. M.: Izd-vo komunisticheskogo universiteta im. Ia. M. Sverdlova, 1927. P. 64–65.

²⁶ *Reisner M.A.* Osnovy sovetskoi konstitutsii. P. 184–187; *Gurvich's critique of Reisner's proposals in: Gurvich G.S.* Istoriia Sovetskoi konstitutsii. M.: Izd. Sotsialisticheskoi Akademii, 1923. P. 28–32, separate pagination.

²⁷ *Solzhenitsyn A.* Rebuilding Russia. P. 85.

²⁸ Michael Scammell's words, see: *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 579.

²⁹ *Solzhenitsyn A.* Letter to Soviet Leaders. P. 53.

³⁰ *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 666–667.

³¹ *Trotzky L.* 1905. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 382–383, 384; *Obvinitel'nyi Akt o chlenakh soobshchestva prisvoivshiiusia sebe naimenovanie: S.Peterburgskii obshchegorodskoi «Sovet rabochinkh deputatov», s predisloviem L.M. S.-Peterburg, 1906.*

³² *Kautskii [Kautsky] K.* Diktatura proletariata // *Kautskii K.* Diktatura Proletariata. Ot demokratii k gosudarstvennomu rabstvu. Bol'shevizm v tupike. [orig. German ed.: 1918, Russian transl.: 1919] (M.: Antidor, 2002. P. 74–75; *Naarden B.* Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice, 1848–1923. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992.

³³ *Martov Iu.O.* Mirovoi Bol'shevizm. Berlin: Iskra, 1923. P. 43–44.

³⁴ *Brovkin V.N.* The Mensheviks after October. Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship. Ithaca; London: Cornell Univ. Press, 1987. Ch. 5.

³⁵ *Brovkin V.N.* Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918–1922. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1994. Ch. 7.

³⁶ *Ericson E.E., Jr; Klimoff A.* The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn. P. 151–152.

³⁷ *Solzhenitsyn A.* Krasnoe Koleso: Povestvovanie v otmerennykh srokakh. Uzel I: Avgust Chetyrnadtsatogo. Kniga 2. Ch. 65 especially on Stolypin's character and programme, quotes on pp. 272, 225, 274, translations from: *Solzhenitsyn A.* The Red Wheel. P. 614, 573, and 616 respectively.

³⁸ I have followed the analysis in: *Davis G.A.* Myth, History, and Solzhenitsyn's «Krasnoe Koleso: Avgust Četyrnadcatogo» // *Slavic and East European Journal.* 1992 (Spring). Vol. 36. №. 1. P. 84–100, and on socialist realism: *Clark K.* The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago; London: The Univ. of Chicago Press, 1981.

³⁹ *Ericson E.E., Jr; Klimoff A.* The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn. P. 202–203; *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 769. Father Schmemann was Dean of the St Vladimir Orthodox Theological Seminary in New York State and a regular broadcaster on religious issues to the Soviet Union over Radio Liberty.

⁴⁰ *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago. Parts V–VII [or vol. 3]. P. 79–81, 344.

⁴¹ *Aksakov K.S.* Ob osnovnykh nachalakh russkoi istorii (1849) // *Polnoe sobranie sochinenii Konstantina Sergeevicha Aksakova* / Ed. I.S. Aksakov. Vol. 1. M.: Tipografia P. Bakhmeteva, 1861. P. 1–16 composed in two sections, with the second titled «O tom zhe»; *Confino M.* Solzhenitsyn, the West, and the New Russian Nationalism. P. 611–636, here p. 618.

⁴² He experienced this personally in the Marfino sharashka through his uninhibited discussions with his friends Dmitrii Panin and Lev Kopelev, see: *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 238, 497–498.

⁴³ *Kobets S.* The Subtext of Christian Asceticism in Aleksandr Solzhenitsyn's «One Day in the Life of Ivan Denisovich» // *Slavic and East European Journal*. 1998 (Winter). Vol. 42. №. 4. P. 661–676, here p. 666.

⁴⁴ *Halperin D.M.* Continuities in Solzhenitsyn's Ethical Thought // *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials* / Ed. J.B. Dunlop, R. S. Haugh, M. Nicholson. Stanford, California: Hoover Instit. Press, 1985. P. 267–283; *Nivat G.* Solzhenitsyn's Different «Circles»: An Interpretive Essay // *Ibid.* P. 211–228; *Kern G.* Solzhenitsyn's Portrait of Stalin // *Slavic Review*. 1974 (Mar.). Vol. 33. № 1. P. 1–22; *Layton S.* The Mind of the Tyrant: Tolstoj's Nicholas and Solženicy'n's Stalin // *Slavic and East European Journal*. 1979 (Winter). Vol. 23. №. 4. P. 479–490, here p. 483–485; *Boyers R.* Atrocity and Amnesia: The Political Novel Since 1945. New York: Oxford Univ. Press, 1985. P. 104–105. Even soldiers of the victorious Red Army were prisoners to their fears and prejudices of the archetypical «Germany» they looted and raped in their race to Berlin in 1945, see: *Brostrom K.N.* «Prussian Nights»: A Poetic Parable for Our Time Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials. P. 229–242, here p. 232.

⁴⁵ *Nivat G.* Solženitsyne. Paris: Seuil, 1980. — (Ecrivains du Toujours). P. 50–51.

⁴⁶ *Muchnic H.* Solzhenitsyn's «The First Circle» // *Russian Review*. 1970 (Apr.). Vol. 29. № 2. P. 154–166.

⁴⁷ *Burgin D.L.* The Fate of Modern Man: An Examination of Ideas of Fate, Justice and Happiness in Solzhenitsyn's Cancer Ward // *Soviet Studies*. 1974 (Apr.) Vol. 26. № 2. P. 260–271.

⁴⁸ *Morris M.A.* Saints and Revolutionaries: The Ascetic Hero in Russian Literature. Albany: State Univ. of New York Press, 1993. Ch. 6–7.

⁴⁹ *Davis G.A.* Myth, History, and Solženicy'n's «Krasnoe Koleso: Avgust Četyrnadcatogo».

⁵⁰ *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago. Parts V–VII [or vol. 3]. Part V. Ch. 12; for the convergence of some of Trotsky's and Solzhenitsyn's views on Stalinism, see: *Mudrick M.* Solzhenitsyn versus the Last Revolutionary // *Hudson Review*. 1981 (Summer). Vol. 34. № 2. P. 195–217.

⁵¹ *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago. Parts V–VII [or vol. 3]. P. 234–235, and generally ch.10, the Kengir rising in part V, ch. 12.

⁵² *Idem.* The Gulag Archipelago. Vol. 3. P. 236.

⁵³ *Ibid.* P. 238.

⁵⁴ *Ibid.* P. 241.

⁵⁵ *Barnes S.A.* «In a Manner Befitting Soviet Citizens»: An Uprising in the Post-Stalin Gulag // *Slavic Review*. 2005 (Winter). Vol. 64. № 4. P. 823–850, here p. 831.

⁵⁶ *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago. Vol. 3. P. 242–243.

⁵⁷ *Idem.* The Gulag Archipelago. Vol. 3. P. 276–331.

⁵⁸ *Ibid.* P. 248, at the end of part V, ch. 10; *Sarashina L.* Aleksandr Solzhenitsyn. M.: Molodaia Gvardiia, 2008. P. 370–374.

⁵⁹ *Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // *Skinner Q.* Visions of Politics. Vol. 1: Regarding Method. Cambridge UK: Cambridge Univ. Press, 2002. P. 57–89, here, p. 67–72; *Tully J.* The pen is a mighty sword: Quentin Skinner's analysis of politics // *Meaning and Context. Quentin Skinner and His Critics* / Ed. J. Tully. UK: Polity Press, 1988. P. 7–25, here p. 17–18, 21–24.

⁶⁰ *Nivat G.* Solženitsyne. P. 36, 105.

⁶¹ *Richards S.* «The Gulag Archipelago» as «Literary Documentary» // *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials*. P. 145–163, here p. 156–158.

⁶² *Solzhenitsyn A.* Preface to the English Translation // *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago. Vol. 3. P. xi–xii.

⁶³ *Kak otverchat' na pravitel'stveniya zverstva* // *Revoliutsionnaia Rossiia*. 1902 (Oct.). № 12. P. 1–3; for other articles in the same journal in this vein, see: *Terroristicheskii element v nashei programme* // *Ibid.* 1902 (June). № 7. P. 2–5; *Terror i massovoe dvizhenie* // *Ibid.* 1903. 15 May. № 24; *Eshche o kritikakh terroristicheskoi taktike* // *Ibid.* 1903. 15 June. № 26; and the numerous reports of conflicts with the police.

⁶⁴ *Struve P.* Ot redaktora // *Osvobozhdenie*. Stuttgart. 1902. 18 June (1 July). №. 1. P. 1–7, here p. 5.

⁶⁵ *Osvobozhdenie*. Stuttgart. 1902. 19 July (1 Aug.). №. 3. P. 46.

⁶⁶ *Hildermeier M.* Die Sozialrevolutionäre Partei Rußlands. Agrarsozialismus und Modernisierung im Zarenreich (1900–1914). Köln, Wien: Bohlau Verl., 1978. S. 58–68, 358–394.

⁶⁷ *Solzhenitsyn A.* Rebuilding Russia.

⁶⁸ *Mazower M.* Dark Continent. Europe's Twentieth Century. New York: Vintage Books, 2000. 487 p. (orig. ed.: UK, Allen Lane, Penguin Press, 1998). P. 183–191.

⁶⁹ *Trotsky L.* The History of the Russian Revolution. London: Sphere Books, 1967. Vol. 3. P. 300–301.

⁷⁰ See: *Dunlop J.B.* Solzhenitsyn's Reception in the United States // *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials*. P. 24–55, here p. 27–30, 46; *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 875, 912–915, 935.

⁷¹ *Nivat G.* Soljénitsyne. P. 80–81.

⁷² *Ericson E.E., Jr; Klimoff A.* The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn. P. 84, 118.

⁷³ *Krasnov V.* Wrestling with Lev Tolstoi. P. 717.

⁷⁴ *Ericson E.E., Jr; Klimoff A.* The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn. P. 119.

⁷⁵ *Nivat G.* Soljénitsyne. P. 105, 157, 168–169.

⁷⁶ Four chapters in the 87 chapter edition.

⁷⁷ *Richards S.* «The Gulag Archipelago» as «Literary Documentary» // *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials*. P. 145–163, here p. 145.

⁷⁸ *Scammell M.* Solzhenitsyn. P. 943.

⁷⁹ *Solzhenitsyn A.* An Interview on Literary Themes with Nikita Struve, March 1976 // *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials*. P. 298–328, here p. 309.

⁸⁰ *Foucault M.* The Order of Things. Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books, 1973 (Transl. of the French: *Les Mots et les Choses*. Paris: Gallimard, 1966. P. 386–387).

⁸¹ His words were «saturated with boundless freedom», in reference to Western terrorists of the 1970s. See: *Solzhenitsyn A.* Preface to the English Translation // *Solzhenitsyn A.* The Gulag Archipelago. Vol. 3. P. xi–xii.

Владимир Лавров

МОСКВА

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНАЯ КАТАСТРОФА

*(А.И. Солженицын о сути того, что привело
к Октябрю и ГУЛАГу)*

Статья А.И. Солженицына «Размышления над Февральской революцией» выросла и выделена из многотомного «Красного Колеса». Статья содержит выводы по каждому из четырех томов, посвященных Февралю¹. При этом некоторые грани выделенных выводов не могли не остаться в томах. К тому же история познается произведениями различных жанров, и не существует жанра, имеющего монополию на историческую правду. Поэтому попытаемся обратиться к этим произведениям как единому целому, созданному с целью познать исторический и духовный смысл событий, которые по традиции называют Февральской революцией 1917 года.

А.И. Солженицын в «Размышлениях...» делает важнейший вывод о причинах Февраля, причем исходит из того, что никто не может отрицать: из факта согласия высшего генералитета в необходимости отречения Николая II. Солженицын констатирует, что такое единодушное согласие «нельзя объяснить единой глупостью или единым низменным движением, природной склонностью к измене, задуманным предательством». А раз так, то произошедшее должно объясняться объединяющей нематериальной причиной, которую автор определяет как «общую моральную расшатанность власти». И более политически конкретно как «всеобщую образованную захваченность мощным либерально-радикальным (и даже социалистическим) Полем в стране».

Вынесение вперед прилагательного «образованная» связано с огромной и решающей ролью образованных людей, в первую очередь интеллигенции, в формировании общественного мнения в стране. Как бы ни было мало образованных людей в России, но все равно именно они играют такую роль. И тут Солженицын снова констатирует, что либерально-радикальное и даже социалистическое Поле или настроения «почти полностью владели интеллигенцией» и стали «идеологией интеллигенции»².

Поскольку среди генералов того времени было много образованных людей, то такая идеология проникла и в их среду и подвигла к

поддержке переворота в Петрограде, который представлялся либеральным при его восприятии в Ставке и в штабах фронтов, т.е. на удавлении и без объективной синхронной информации. Последнюю в «Красном Колесе» начальник Генерального штаба генерал Алексеев называет «разведданными». Иначе говоря, достоверных разведданных у генералов не было, однако они поспешили принять действительно судьбоносные решения, причем не военные решения, а касающиеся государственного строя. Пример того, что получается, когда страной начинают незаконно рулить самоуверенные генералы.

Именно в связи с М.В. Алексеевым в «Красном Колесе» замечено: «Да и кто куда мог уйти от общественных представлений, если, едва выучась грамоте, и уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое что узнает: что наше правительство никуда не годится»³. А о самом председателе Госдумы М.В. Родзянко автор «Размышлений...» отмечает: «Этот гипноз вполне захватил и Родзянку — и он легкомысленно дал революции имя свое и Государственной Думе, — и так возникло подобие законности и многих военных и государственных чинов склонило не бороться, а подчиниться». И далее следует обоснованный исторический прогноз: «Называлось бы с первых минут “Гучков — Милюков — Керенский” или даже “Совдеп” — так гладко бы не пошло»⁴.

Что же противостояло либерально-радикальной и социалистической идеологии? «Национальное сознание (“примитивный патриотизм”», «интересы национального бытия», — отвечает автор. Такое сознание за время якобы «освободительного движения» (т.е. от декабристов) было «отброшено» интеллигенцией и «обронено» верхами, результат — «национальный обморок» и «национальная катастрофа»⁵. «Через наших высших представителей мы как нация потерпели духовный крах. У русского духа не хватило стойкости к испытаниям», — ставит духовно-исторический диагноз и проговаривает вслух Солженицын⁶. И получается, что освободились от самих себя, от русского духа, от Святой Руси и «извратили всю Россию!»⁷ А кто не освободился от тысячелетней России, тот пережил внутреннюю русскую трагедию, берущую за сердце в мастерски написанной главе «Война потеряна» в «Красном Колесе».

Духовно противостоять происходящему разложению была призвана Русская православная церковь. Она могла бы справиться с такой духовно-воспитательной миссией, если бы была «сильной авторитетной Церковью». Однако насильственные, с протестантским настроением реформы Петра I оставили Церковь без патриарха, прямо подчинили государственному управлению... Но и сама Церковь ответственна за то, что в дни величайшей национальной катастрофы даже не попыта-

лась образумить Россию. «Духовенство синодальной церкви, уже два столетия как поддавшееся властной императорской длани, — утерало высшую ответственность и упустило духовное руководство народом. Масса священства затеряла духовную энергию...»⁸; «все эти старцы полностью растерялись: не только не промямлили ничего в защиту царя, но распространяли отречение оглашением в церквях и поспешно снимали поминания царя из церковных служб. А ведь сколько могло быть конфуза и затора Временному правительству, если б иерархи уперлись»⁹.

Поэтому не стоит удивляться, что даже среди православных интеллигентов имели место социалистические настроения и священники входили во фракцию социалистов-революционеров Государственной думы, а семинаристы устраивали забастовки. И ведь до сих пор «красные» в Церкви...

Уберечь Российскую империю от худшего могло бы патриархальное и богобоязненное крестьянство. Однако экономические преобразования, начатые аграрной реформой 1861 года и не сопровождавшиеся духовно-нравственным возрождением, «долгая пропаганда образованных» и «падение священства» меняли крестьян. Среди них «множились отступники от веры, одни пока еще молчаливые, другие — уже разверзающие глотку»; «дележ чужого добра готов был взречь в крестьянстве без памяти о прежних устоях, без опоминанья, что все худое выпрет боком и вскоре так же точно могут ограбить и делить их самих. (И разделят...)»¹⁰.

Таким образом, в первую очередь приходилось надеяться на власть предрежащих, на государя Николая II и его правительство. Однако они много лет допускали открытую революционную и антиправительственную агитацию, даже во время войны (чего не было в демократических Великобритании и Франции). Например, накануне Февральской революции лидер конституционных демократов Милюков с трибуны Государственной думы «клеветнически обвинил императрицу и премьер-министра в государственной измене, — его даже не исключили с одного думского заседания, не то чтоб там как-то преследовать... И вся эта ложь, как хлопья сажки, медленно кружилась и опускалась на народное сознание, наслаивалась на нем — вместе с темными «распутинскими» слухами — из тех же сфер великосветья и образованности»¹¹. При этом правительство не использовало возможности государства и вообще не создало свой пропагандистский аппарат. Оно проиграло информационную войну, как сказали бы сейчас; не Первую мировую, а — информационную.

На кого же могло опереться царское правительство? На монархические организации? — «да не было их серьезных, а тем более способ-

ных к оружию: они и перьями-то не справлялись, куда оружие. А Союз русского народа? Да все дуто, ничего не существовало. Но — обласканцы трона, но столпы его, но та чиновная пирамида, какая сверкала в государственном Петербурге, — что ж они? почему не повалили защитной когортой? стары сами, так твердо воспитанные дети их? Э-ге, лови воздух, они все умели только брать. *Ни один человек* из свиты, из Двора, из правительства, из Сената, из столбовых князей и жалованных графов, и никто из их золотых сынков, — не появился оказать личное сопротивление, не рискнул своею жизнью. Вся царская администрация и весь высший слой аристократии в февральские дни сдавались как кролики...» — констатирует Солженицын¹².

И ведь это тоже приложимо к современной неустойчивости. Насколько надежны сегодняшние «столпы» и «обласканцы»? Многие из них способны на личное сопротивление нарастающей бездуховности?

Не по крови, а по органичной принадлежности к русской православной культуре и по глубокой искренней вере являлся царь русским человеком. Однако, как и остальные, он по-настоящему не боролся против бунтовщиков в 1917 году. Он олицетворял «режим, не желавший себя защищать»¹³. А «за крушение корабля — кто отвечает больше капитана?»¹⁴. Действительно, страна напоминала корабль с названием «Россия»; корабль, попавший в небывалый шторм и получивший пробоину рядом с капитанской каютой. И в такой-то момент капитан оставил одного помощника рулить кораблем из капитанской рубки, другому помощнику поручил заделывать пробоину, а сам направился в свою уютную каюту к любимой супруге... Солженицын беспощадно оценивает действия такого потонувшего вместе с кораблем капитана. Автор, в голосе которого слились голоса миллионов граждан России, сгинувших в ГУЛАГе, имеет на то право.

Одновременно отметим, что православные моего поколения и младше не прошли ГУЛАГ и склонны милосерднее относиться к Николаю II. К тому же кто из нас самих без греха? И к тому же есть тот, кто в первую очередь должен быть согласен с Солженицыным и беспощаден более его. Говорю о самом «Хозяине Земли Русской». Сердцем чувствую, что государь одним из первых встретил Александра Исаевича в том мире. Чувствую, что глаза их встретились... встретились два духовно близких человека, готовых отдать все Святой Руси...

В результате глубокого вживания в историю России А.И. Солженицын пришел к выводу, что перед государственной властью было два пути, предотвращавших революцию. Первый — «подавление, сколько-нибудь последовательное и жестокое (как мы его теперь узнали)». Но «на это царская власть была не способна прежде всего морально». Второй путь — «деятельное, неутомимое реформирование всего уста-

ревшего и не соответственного». Однако на это власть была не способна «по дремоте, по неосознанию, по боязни». И в результате — третий, средний и «губительный путь» — «и не давить, и не разрешать, но лежать поперек косным препятствием»¹⁵.

При характеристике второго пути следует уточнить: наша страна занимала первое место в мире по темпам экономического развития, была на пороге военной победы в Первой мировой войне и создавала российский парламентаризм, многопартийность и демократию. В последнем власть скорее забегала вперед под давлением первой русской революции, ведь восьмидесятипроцентная неграмотность народа и несформированность хоть какой-то политической культуры в стране обернулись тем, что так называемые политические партии не столько представляли народ или его составные части, сколько стали инструментами реализации субъективных взглядов и карьеристских устремлений своих вождей, стали вождистскими от октябристов до большевиков. Возможно, в течение десятилетий и за столетие сложилась бы плодотворная и ответственная партийно-представительская система; однако такие партии и, соответственно, такая Государственная дума в 1905–1917 годах смогли лишь расшатать и обрушить то, что созидалось тысячу лет. Поэтому приходится признать, что именно последовательное усмирение революций при одновременном продолжении экономического развития требовались России. Требовалось продолжение курса Александра III и Столыпина в более жестком варианте, который не вполне соответствовал характеру Николая II. Последний заставил бы себя следовать такому курсу, если бы знал — к чему приведет его собственный. Но Николай II не был пророком...

Усмирять требовалось не только заговорщиков-авантюристов и циничных революционеров-вождей. «Красное Колесо» содержит потрясающую по художественному мастерству и вживанию в революционную атмосферу главу «Убийство капитана Фергена»; она написана о конкретном штабс-капитане, а чувствуешь, что вместе с ним злобная серая толпа подняла на штыки саму Россию! Да и сам Гучков прозревает в «Красном Колесе», что «революция... сделана руками черни»¹⁶, а генерал Крымов проговаривает вслух самую сокровенную правду, которая объясняет пролетарско-уголовную направленность Февральской революции. «Получила сволочь свободу — вот те и объяснение»¹⁷, — незамысловатые слова военного, насмотревшегося на русский бунт.

Однако как не задать вопрос: за что Святая Русь захвачена чернью и сволочью? И Солженицын пишет: «В Константинополе, под первое свое эмигрантское Рождество, взмолился отец Сергей (Булгаков): “За что и почему Россия отвержена Богом, обречена на гниение и

умирание? Грехи наши тяжелы, но не так, чтобы объяснить судьбы, единственные в Истории. Такой судьбы и Россия не заслужила, она как агнец, несущий бремя европейского мира. Здесь тайна, верою надо склониться»¹⁸. Одновременно Солженицын упоминает народный ответ: «Я еще сам хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли: — Смута послана нам за то, что народ Бога забыл». И Александр Исаевич признает, что именно «это привременное народное объяснение уже глубже всего того, что мы можем достичь и к концу XX века самыми научными изысканиями»¹⁹.

Многого стоит такое признание. За ним научные изыскания самого А.И. Солженицына, которые по глубине, объективности и объему проделанной работы превосходят все, сделанное советской и постсоветской исторической наукой на сегодняшний день. Потребовались свобода мысли и способность к критическому анализу, многие годы труда и всесторонние знания, чтобы прийти к тому, что говорили простые и старые христиане.

Как писатель и православный мыслитель Солженицын находит такие слова: «...надо всей Россией была как будто кем-то прочтена разрешительная противомолитва — не от грехов, но ко грехам, отпущенье делать худое и запрет защищаться». От таких слов становится страшно. Но противомолитва не поразила самого Солженицына... Наконец, как не вспомнить, не перефразировать слова Ф.М. Достоевского: дьявол с Богом борется, а поле битвы — Святая Русь.

В связи с этим в «Размышлениях...» делается важнейший вывод о том, что Россия является моделью мирового развития. Причем «процесс померкания национального сознания перед лицом всеобщего “прогресса” происходил и на Западе, но — плавно, но — столетиями, и развязка еще впереди», — предчувствует и знает А.И. Солженицын²⁰.

...Не так давно в одном из сел Кировской области был проведен референдум. Мужиков и баб спросили: оставить в церкви Дом культуры (т.е. продолжать ли там плясать) или вернуть церковь Церкви? И результат референдума — продолжать плясать... Вот только свято место пусто не бывает. Не осознавали себя православными русскими — стали «новой исторической общностью советский народ». Не придем в себя после семидесятилетнего обморока — пойдем под тех, кого враг найдет, а Господь попустит.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: *Солженицына Н.Д.* «Красное Колесо» — новый жанр романа ответственно точного // Российская газета. 2007. 27 февр.

² *Солженицын А.И.* Размышления над Февральской революцией. М., 2007. С. 50, 51.

³ *Солженицын А.И.* Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках в четырех Узлах: В 10 т. М., 1994. Т. 5: Узел III. С. 304. Следует добавить, что именно интеллигенция в августе 1991-го вернула свой исторический долг, выведя Россию из красного плена.

⁴ Он же. Размышления над Февральской революцией. С. 52.

⁵ Там же. С. 94, 51.

⁶ Там же. С. 94.

⁷ Там же. С. 73.

⁸ Там же. С. 89–90.

⁹ *Солженицын А.И.* Красное Колесо. Т. 8. С. 291.

¹⁰ Он же. Размышления над Февральской революцией. С. 91.

¹¹ Там же. С. 14, 15. Необходимо иметь в виду, что тогда не только народу, но и высшему генералитету не было известно о неизлечимой болезни наследника и роли Распутина в его спасении. И вдруг какой-то непонятный, подозрительный мужик в царских покаях...

¹² Там же. С. 21–22.

¹³ Там же. С. 20.

¹⁴ Там же. С. 23.

¹⁵ Там же. С. 86.

¹⁶ *Солженицын А.И.* Красное Колесо. Т. 6. С. 614.

¹⁷ Там же. Т. 8. С. 262.

¹⁸ *Солженицын А.И.* Размышления над Февральской революцией. С. 93.

¹⁹ Там же. С. 92.

²⁰ Там же. С. 94.

Edward E. Ericson

USA

WORLDVIEW CRITICISM OF SOLZHENITSYN

The Russkii put' publishing house will soon bring out a book entitled *Solzhenitsyn's Thought and Art: Essays from the West*; it comprises essays written in the West about Aleksandr Solzhenitsyn and translated into Russian. Natalia Solzhenitsyn came up with the idea of this book, and I put it together. The book presents a wide range of studies but highlights a particular kind of essay that in fact few Slavic specialists in the West produce. These neglected studies explore issues of worldview; they constitute what we may therefore call worldview criticism. Russian readers will soon be able to judge the book for themselves. This paper, which draws heavily on my Introduction, is about the thinking that went into creating it.

«Worldview» is used here to mean, in the form of a straightforward dictionary definition, a comprehensive interpretation or image of the universe and humanity. It refers to one's understanding of ultimate reality. Everyone has a worldview, whether it is consciously constructed or simply absorbed from the surrounding culture. A worldview deals with perennial issues that normally fall within the scope of religion, metaphysics, other branches of philosophy, and intellectual history. A worldview provides the framework within which a person's mind operates. The German term *Weltanschauung* has long been used to identify this frame of reference. When applied to literature, it brings to the foreground the context of ideas that underlie everything the author writes. This is the ultimate in contextualizing, and standard scholarly journals claim to prize contextualizing. Yet those journals rarely publish worldview criticism. This sort of criticism has fallen by default to persons we may call scholarly amateurs, who publish mostly in general-interest periodicals. All in all, this is a curious situation.

It is instructive to note that Solzhenitsyn himself uses verbal constructions in which the concept of worldview is embedded. He refers to «Orthodox *Weltanschauung*», «a Christian point of view», the «spiritual foundations» of the «great cultural tradition», «my perception of the world» and «Christianity» in consecutive sentences, and «the Orthodox faith» as «part of the very pattern of thought... of our people». These expressions occur in pieces as various as *A Minute a Day*, his address at Liechtenstein, his speech

at the New York Arts Club, and his «Templeton Lecture». Philosophical abstraction is not Solzhenitsyn's *métier*, but these fugitive references do suggest, in their glancing way, a certain affinity between worldview discourse and the workings of his mind. Indeed, the formulations are all the more compelling for the unpremeditated ease with which they spring to his mind. Thus, the «of» in my title, «Worldview Criticism of Solzhenitsyn», can be said to encompass writings about him and by him.

You will have noticed that the terms listed above have to do with religion. In their cumulative effect they suggest that, when Solzhenitsyn exercises habits of mind accrued through long years of experience and reflection, his mind runs to religious — specifically, Christian — understandings of ultimate reality and meaning. The film *Solzhenitsyn at His Last Reach of the River*, which came out in 2007, reveals that at the deepest, subterranean level his thinking is directed by a religious cast of mind. He seldom writes at length on explicitly religious themes and certainly is not a theological writer — or even well-versed in formal theology. To bring religion into the discussion of Solzhenitsyn too soon or too relentlessly is to foreshorten a proper appreciation of his work. But to leave religion out is to sever his writings from their deepest taproot. The basic point can be put simply and directly: It matters to Solzhenitsyn's writings that his mind is Christian.

When Solzhenitsyn was forcibly exiled to the West in 1974, neither religion nor worldview criticism played a leading role in the prolific commentary about him. Initially, criticism was dominated by familiar literary concerns, and the reactions to his early fiction were strongly favorable. But certain politically tinged remarks in his ensuing speeches and interviews surprised critics, and in short order they were viewing him primarily through the prism of politics. That word «primarily» signals the problem. Solzhenitsyn obviously did not avoid political issues. Yet he sensed keenly the problem of the improper emphasis — and of a narrowly conceived sort that analyzed him in terms of a Western spectrum of political opinion, at that; so he went out of his way to offer a corrective. He asserted, for example, that politics is not his «framework» or «task» or «dimension», and that he therefore «cannot be regarded in political terms»¹. He even cautioned that *The Gulag Archipelago*, a work rich with political implications, should not be approached in primarily political terms: « [L]et the reader who expects this book to be a political exposé slam its covers shut right now»². The West's overemphasis on politics shows that an error in degree can be every bit as serious as an error in kind.

Amid the plethora of commentary on Solzhenitsyn during the 1970s, back when opinion was unformed and fluid, was anyone offering a different approach? Yes. Alexander Schmemmann was then describing the basic elements that shaped Solzhenitsyn's moral vision — moral, as distinct from political. These elements, Schmemmann maintained, were fundamentally

religious in nature. Although religiously tinged moral discourse was not entirely absent from other early commentary on Solzhenitsyn, with Schmemmann it was central.

In a 1970 essay Schmemmann called Solzhenitsyn «a Christian writer» before knowing if the author was a believing Christian. Schmemmann was not trying to judge «whether [Solzhenitsyn] accepts or rejects Christian dogma, ecclesiastical ritual, or the Church herself». Rather, he was focusing on Solzhenitsyn's art, and therein he discerned «a deep and all-embracing, although possibly unconscious[,] perception of the world, man, and life, which, historically, was born and grew from Biblical and Christian revelation, and only from it». At the heart of this perception lay what Schmemmann described as the «*triune intuition of creation, fall, and redemption*». He then proceeded to show the informing function of this triune intuition in Solzhenitsyn's writings, and in two subsequent essays he used those broad theological categories to analyze *August 1914* and *The Gulag Archipelago*, respectively. In writing about Solzhenitsyn, was Schmemmann the theologian guided by his own predilections as surely as those public intellectuals who were preoccupied by politics? Yes, but there is this difference: Solzhenitsyn, far from cautioning against some imagined overemphasis on religion, says he found Schmemmann's groundbreaking essay «very valuable», because «it explained me to myself». And in expressing his gratitude he echoes the critic's very words («my perception of the world»)³. Those words are synonymous with the term «worldview». Solzhenitsyn understood clearly that Schmemmann was practicing what I am calling worldview criticism.

Donald Treadgold, an astute American historian of Russia, picked up this thread in a 1985 essay, in which he observed that Solzhenitsyn's reaction to Schmemmann's insights must have been «puzzling or even ridiculous to a certain sort of critic». Treadgold uses Solzhenitsyn's biography to explain why no one should have been puzzled. In his writings Solzhenitsyn drew upon the religious beliefs in which he was reared and to which he returned in adulthood, yet he grew up in an officially atheistic state that blocked the normal process of growing in knowledge of those beliefs. In Treadgold's words, Solzhenitsyn's «formal education could not have touched on the essentials of a Christian outlook or many other features of the Russian cultural tradition»⁴. Schmemmann controlled a theological vocabulary that allowed him to articulate what Solzhenitsyn could not – not in 1970, anyway. That is exactly what Solzhenitsyn recognized when he declared that Schmemmann's essay «formulated important traits of Christianity which I could not have formulated myself»⁵.

Treadgold remarks that Soviet literary critics, who also had been reared within the intellectual constraints of Soviet ideology, had long endured a «black-out on fundamental aspects of the national tradition» that deprived them of certain tools and categories for their academic explo-

rations. (Nor should we be surprised if it takes a while for the Soviet legacy to be flushed out of post-Soviet Russian intellectual life.) As Treadgold also observes, Western critics did not suffer that sort of deprivation. Therefore, «there is every reason why Western students of Russia should be able to do what few if any Soviets... are capable of doing by way of giving an account of that [aforementioned] tradition»⁶. Should be able to do but don't do. Treadgold does not move on to explore why so few Western Slavists have engaged in the kind of broad-gauged, contextualizing study of Solzhenitsyn that Schmemmann pioneered and he, Treadgold, values.

Time allows only a quick, suggestive glimpse into the abundant manifestations of Solzhenitsyn's worldview within his works. For him, ultimate reality starts with the transcendent realm, and moral principles are as much a part of divine creation as natural objects and human beings. These principles are neither self-generating nor humanly constructed. One of many thematic components of this moral universe — namely, justice — comes to the fore in the development of Gleb Nerzhin, the authorial alter ego of *In the First Circle*. Having moved through phases of youthful Marxism and subsequent skepticism, he eventually arrives at the view that «justice is never relative» but rather is «the cornerstone, the foundation of the universe», and that «we were born with a sense of justice in our souls». These reflections are part of Nerzhin's conscious effort to work out his own worldview, conducted through ongoing discussions with two friends in the Marfino sharashka, each with his own fully formed worldview, Lev Rubin the Marxist and Dmitri Sologdin the Christian. In the same novel Innokenty Volodin is also revising his view of life and the world. Whereas he formerly governed his actions according to the principle that «we only live once», he comes to realize through hard experience that «you are given only one conscience, too». Volodin even posits the idea of «a correct world view»⁷. Worldview criticism is not an end in itself; it is an aid to wise reading.

Belief in the moral universe also shapes Solzhenitsyn's self-concept as a writer. In his *Nobel Lecture*, Solzhenitsyn describes two kinds of artists. His kind «recognizes above himself a higher power and joyfully works as a humble apprentice under God's heaven»; he has «no doubts about [this world's] foundations». The other kind of artist «imagines himself the creator of an autonomous spiritual world» that takes its impetus from his own subjective experience⁸; his conception of literature depends upon the notion of the autonomous self. He thereby embodies what Solzhenitsyn identified in his Harvard address as «humanistic autonomy», or «anthropocentricity», which is the core of the Enlightenment-inspired worldview of philosophical modernism⁹. Solzhenitsyn stands athwart this modern worldview, as well as its bastard offspring, postmodernism¹⁰.

The decades since Schmemmann wrote his essays show that some other Western critics have followed his lead; what he heralded they developed.

The collection of essays forthcoming from *Russkii put'* has as its premise that the current generation of Russian scholars of Solzhenitsyn, which is also the first generation, is more likely to be familiar with standard Western studies of Solzhenitsyn than with the worldview criticism that has emanated from a relatively small band of Western critics. Bringing these nonconformist and overlooked studies to general attention may be the best service that the West can now provide to Russians who are studying Solzhenitsyn. These studies fill a void left by the conventional academy.

Richard Tempest, the host of the conference on Solzhenitsyn at the University of Illinois in 2007, observed in his conference report that Solzhenitsyn, while on the merits deserving «structured disciplinary treatment» from scholars specializing in Russian literature, «has been severely – strangely – under-researched»¹¹. Why is that? Imagine for a moment some future scholar who searches for the reason. Surely, he will discover a major disconnect between Solzhenitsyn and the academic departments that should have been studying him. Our imagined scholar will describe the revolution that occurred in Western studies of literature during the late twentieth century, a time when theory (sometimes with a capital «Т») became the dominant interest of scholars. And that account will bring him to some excruciating variances between author and academy. He will observe that the theoretical turn eclipsed interest in literature per se, devalued the close reading of literary works on their own terms, and raised the critical act to a level of importance rivaling or even surpassing that of the creative act – as he tries all the while to figure out how these developments can assist in understanding Solzhenitsyn. He will ask how the ascendant interest in questions of race and gender can be used to illuminate the core of Solzhenitsyn's moral vision. He will ponder how the theory of the Death of the Author can be harmonized with a body of literature as strongly rooted in autobiography as Solzhenitsyn's. He will ask how a critic operating on relativistic assumptions should approach the work of an author committed to the fundamentally non-arbitrary character of the moral life. He will discern the same problematical relationship between an author who assumes such trans-historical universals as an unchanging human nature and an objective moral order and a critic who accepts historical contingency as a full explanation for everyone's beliefs. As these questions generate a cascading skein of further such questions, our future scholar may well be led finally to ask a «why» question: Why would any member of a literature department be drawn to spend any significant portion of his life's energies studying the worldview of a writer whose values are so flagrantly out of keeping with the concepts that the critic and profession hold dear? Solzhenitsyn would indeed, as Treadgold said, be a puzzle to a certain sort of critic.

Actually, one could bypass metaphysical issues – as some of the entries in the forthcoming essay collection do – and still be left with many

options for studying a writer of recognized world-importance, including studies of language, aesthetics, psychology, politics, history, intellectual antecedents, literary relationships, social impact. Somewhere in the mix there surely is room for studies of his worldview. As Russian scholars dig into aspects of their national heritage that had long been covered over, they will find the best context for studying Solzhenitsyn and the ideal context for studying his worldview.

In fact, in the few short years since liberation from Soviet shackles, Russia has already forged ahead of the West in laying the groundwork for systematic, sophisticated scholarship on Solzhenitsyn. He himself worked hard during his final years to bring forth a thirty-volume, richly annotated collected works, scheduled to appear in complete form in 2010. N.G. Levitskaia, D.B. Aziattsev, and others have amassed an annotated, cross-indexed bibliography of more than eight thousand Russian-language items by and about Solzhenitsyn. Liudmila Saraskina has delivered, with the author's cooperation, a nine-hundred-page biography that will set the standard for years to come. To this list could be added breakthrough works by such scholars as Aleksandr Urmanov and Pavel Spivakovskii. It is only fitting that Solzhenitsyn should be among the beneficiaries of a cultural liberation that he did more than anyone else to bring about.

NOTES

¹ Quoted in: *Scammell M. Solzhenitsyn: A Biography*. New York: Norton, 1984. P. 981.

² *Solzhenitsyn A. The Gulag Archipelago*. Vol. 1. New York: Harper & Row, 1973. P. 168.

³ *Schmemmann A. On Solzhenitsyn // Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials / Ed. J.B. Dunlop, R. Haugh, and A. Klimoff*. 2nd ed. New York: Collier, 1975. P. 39. The same volume contains Schmemmann's two other essays on Solzhenitsyn's literature, «A Lucid Love» [on «August 1914»], p. 382–392, and «Reflections on “The Gulag Archipelago”», p. 515–526. Solzhenitsyn's reply is on page 44.

⁴ *Treadgold D. Solzhenitsyn's Intellectual Antecedents // Solzhenitsyn in Exile: Critical Essays and Documentary Materials / Ed. J.B. Dunlop, R. Haugh, and M. Nicholson*. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1985. P. 251–252.

⁵ In: *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials*. P. 44.

⁶ *Treadgold D. Solzhenitsyn's Intellectual Antecedents*. P. 251.

⁷ In: *The Solzhenitsyn Reader: New and Essential Writings, 1947–2005 / Ed. E.E. Ericson, Jr., and D.J. Mahoney*. Wilmington, DE: ISI Books, 2006. P.127, 129, 131–132.

⁸ In: *The Solzhenitsyn Reader*. P. 513.

⁹ In: *The Solzhenitsyn Reader*. P. 572.

¹⁰ The key text on this subject is «Playing upon the Strings of Emptiness», his 1993 speech to the National Arts Club in New York City (*The Solzhenitsyn Reader*. P. 585–590).

¹¹ *Tempest R. Mezhdunarodnaia konferentsiia «Aleksandr Solzhenitsyn kak pisatel', mifotvoret i obshchestvennyi deiatel'» // Novoe literaturnoe obozrenie*. 2008. № 88.

Борис Любимов

МОСКВА

«УПЛОТНЕННОЕ ВРЕМЯ»:
КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

В радиоинтервью для Би-би-си о «Марте Семнадцатого» (29 июня 1987) Солженицын заметил: «У человека есть неоценимый верный помощник: это — время. И самая трудная задача, если она разложена во времени, облегчается». Солженицын ссылается на теорию астронома Козырева: «Сам ход времени рождает энергию. Мы получаем энергию в самом ходе времени». Эта теория как нельзя лучше подтверждается жизнью и творчеством Александра Солженицына. В том же интервью он утверждает, что время становится осью и творцом повествования в «Красном Колесе». В «Марте Семнадцатого» — играет роль каждый час, каждые полчаса, и там же Солженицын дает ключ к пониманию временной концепции «Архипелага...»: «Он написан в уплотненном времени». Уплотненное время представляется ключевым понятием жизни и творчества писателя (попутно замечу, что слово «плотность» и «уплотнение» и близкие к нему однокоренные слова чрезвычайно важны для понимания поэтики Солженицына, — владеющий богатейшим словарем Солженицын в интервью Никите Струве (март 1976) использовал однокоренные слова 12 раз). Для понимания концепции времени у писателя необходимо составить полный словарь использования им в художественных произведениях, публицистике, письмах всего набора единиц времени, от секунды и минуты до века и тысячелетия (вспомним роль минуты в творчестве Достоевского). Выйдя к читателю с произведением, которое называлось «Один день Ивана Денисовича», и дав название частям своей главной книги «Август Четырнадцатого» и т. д., Солженицын указал читателю на основные категории времени в его творчестве — день, месяц, год (отмечу, что не сразу, но в его произведениях год стал писаться буквами, а не цифрами, и в самом цифровом обозначении этого года Солженицын прибегает к заглавной букве). В его математически точной поэтике случайностей не бывает. Сейчас нет возможности представить результаты всего нашего исследования XX века глазами Солженицына. В идеале это должна быть хронологи-

ческая таблица, расписанная по годам, по месяцам, а в иных случаях, как подсказал нам сам Солженицын, по часам. Фрагменты незавершенной работы будут предложены погодно и в той последовательности, в какой солженицынская хронология приходила к читателю, хотя, признаться, так и подмывает начать с часов, ведь первая фраза «Одного дня...» начинается со слов «в пять часов утра», а через два абзаца мы узнаем, что до развода было «часа полтора времени» — значит, подъем лагеря в пять, а развод в 6.30. И все же — погодно.

Старый лагерный волк бригадир Куземин «сидел к *девятьсот сорок третьему* году уже двенадцать лет». Читателю нетрудно было догадаться, что арестован он был в *тридцать первом*, и, кстати, задать себе наивный по тем временам вопрос: как, разве кого-то сажали раньше тридцать седьмого года? Можно догадаться, и за что сажали Куземных в *тридцать первом* — колхоз, в котором живет жена Шухова, тянут «те бабы, каких еще с *тридцатого* года загнали». *Тридцатый* год потом еще раз возникнет в рассказе бригадира Тюрина: «Мне тогда, в *тридцатом* году, что ж, двадцать два годика было, теленок» (нетрудно догадаться, что в начале *пятьдесят первого* года Тюрину всего-то сорок третий год идет). Тюрин в это время служит в Красной армии. Комполка на него кричит: «Отец твой кулак, а ты скрылся, второй год тебя ищут... Год писем домой не писал, чтоб следа не нашли». Так Солженицын неявно вводит в сознание читателя год великого перелома — *тысяча девятьсот двадцать девятый*. Без всякого нажима вводится в ткань повествования и знаменитые *тридцать седьмой* и *тридцать восьмой*: «Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар — оба расстреляны в *тридцать седьмом*». Помнит бригадир и *тридцать пятый*: рассказывая о знакомстве с ленинградскими студентками в поезде, бригадир вспоминает: «Одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил: она в *тридцать пятом* в Кировском потоке попала... я ее в портняжную устроил». Для Шухова *сорок третий* год тоже памятен: «Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прорезанных цингой в Усть-Ижме в *сорок третьем* году, когда он доходил». Усть-Ижма еще раз возникнет: вместе с годом на ложке Шухова стояла накладка: «Усть-Ижма, 1944». А вот *сорок первый* год пришел к читателю Солженицына в несколько неожиданном контексте: «От бабы меня, гражданин начальник, в *сорок первом* году отставили». Чуть далее появляется еще одно хронологическое уточнение: «Из дома Шухов ушел двадцать третьего июня *сорок первого* года». *Сорок первый* не прошел и мимо Сеньки Клевшина — «ухо у него лопнуло одно, еще в *сорок первом*». Солженицын дает читателю возможность уточнить и собст-

венно время действия рассказа: «Начался год новый, *пятьдесят первый...*» Таким образом читатель понимает, что Шухов сидит как минимум семь лет. Впрочем, дальше Солженицын уточняет: «В феврале *сорок второго* года на Северо-Западном окружили их армию всю...» Далее плен, побег, «чудом к своим попали» — «и за решетку». Хронология заключенных особая: у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до *сорок шестого* года». «А с *сорок девятого* такая полоса пошла — всем по двадцать пять...» И последний раз появляется важнейший год в первом опубликованном произведении Солженицына с чрезвычайно важным комментарием Ивана Денисовича: «А я за что сел? За то, что в *сорок первом* к войне не приготовились?» (Кстати, одна эта фраза говорит о том, что Шухов гораздо умнее и тех оппонентов Солженицына, что упрекали его в выборе недалекого персонажа и иных, нынешних, интерпретаторов и историков Второй мировой войны.) И заканчивает рассказ Солженицын, вновь вводя важнейшую и для этого рассказа, и для мировоззрения Солженицына временную категорию: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов три дня лишних набавлялось». (Можно было бы предложить задачу для школьников — сколько ж дней отсидели те, кто сидел с *тридцать первого* и сколько дней должны были отсидеть те, кому в *сорок девятом* дали двадцать пять?) Категория дня и года в мировоззрении Солженицына проясняется его поздними «Крохотками»: из «Завесы»: «...в острой стадии сердечная болезнь — как сиденье в камере смертников. Каждый вечер — ждешь, не шуршат ли шаги? Это *за мной*? Зато каждое утро — какое благо! какое облегчение: вот еще один полный *день* даровал мне Господь. Сколько, сколько можно прожить и сделать за один-единственный только день». Но и лишний *год* радуется и дорог. Из крохотки «Лиственница»: «Ну, а возвратится снова, всякий год, как внезапным даром, ласковое тепло — знать, еще годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть...» В рассказе «Материн двор» Солженицын почти не пользуется хронологическими категориями, давая обобщенный образ времени: в *двадцатые* годы электричество в деревню подтянули от Шатуры. В поселке Торфопроduct разбросаны «однообразные, худо штукатуренные бараки *тридцатых годов* и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики *пятидесятых*». Лишь три конкретные даты вводит Солженицын в ткань рассказа, но зато ключевые и для истории России, и для самого Солженицына: «И вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль *четырнадцатого года*: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом». Прочитав эту строчку в *январе 1963* года, читающая и мыслящая Россия еще не знала, что мень-

ше чем через десять лет она встретится с романом под названием «Август *Четырнадцатого*», но автор-то уже давно был погружен в замысел «Красного Колеса» и, думается, с особым значением и любовью выводил эту фразу. И еще две важнейшие даты: «в *сорок первом* не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли». И еще одна дата, с которой начинается рассказ «Матренин двор» после преамбулы: «Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад просто в Россию». После «Ивана Денисовича» читатель примерно мог догадаться, из какой пустыни едет автор. 14, 41 и 56-й — важнейшие вехи истории России, которые не забывает писатель ввести в контекст небольшого рассказа. Рассказ «Случай на станции Кочетовка» (в подцензурном издании — «Кречетовка») пришел к читателю одновременно с «Матрениным двором». Время действия определяется фразой «в эти дни, уже осененные двадцать четвертой годовщиной» (кстати, сегодняшний старшеклассник или студент может и не сразу догадаться, что же это за любимый праздник героя рассказа). Но уже вскоре отмечается «мужская толчея *сорок первого года*» и еще раз «осень *сорок первого*». И для тех, кто постепенно входил в художественный мир Солженицына, возникал контраст между тем, как воспринимали *тридцатые годы* зеки из «Одного дня...» и герой «Случая...» Вася Зотов, читающий «заветную» книгу «Капитал» «на шершавой рыжеватой бумаге *тридцатых годов*» и для которого «опыт *тридцать седьмого года*» связан с тем, что он штурмовал военкомат.

Рассказ «Для пользы дела» целиком посвящен злободневной современности, и один из персонажей его, секретарь горкома Грачилов, не любил военных воспоминаний и все же вспомнил, что в *сорок втором* году его ранило двадцать девятого августа, а в *сорок четвертом* — тридцатого. К тому времени, когда читатель познакомился с первыми четырьмя произведениями, Солженицыным был написан еще один рассказ, «Правая кисть», хорошо известный по самиздату. И хотя время этого рассказа предельно сконцентрировано, финал его вводит еще один год, а заодно и отодвигает восприятие солженицынской хронологии на десяток лет назад, и в какой-то мере показывает предысторию событий тридцатых — сороковых годов: в справке, которую достает умирающий больной, сказано: «дана сия товарищу Боброву Н.К. в том, что в *тысяча девятьсот двадцать первом* году он действительно состоял в славном Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов». Тридцатые годы возникают и еще в одном известном по самиздату рассказе, «Пасхальный крестный ход», где антирелигиозники называются «штурмовиками» *тридцатых годов*. То, что Солженицын не замкнут внутри советского периода, почувствовалось в рассказе «Захар-Калита».

И то, что писатель интересуется полем Куликовым, и то, *Четырнадцатый век* он пишет с большой буквы, так же как и *Девятнадцатый*. И то, что «эта земля, трава, эта луна и глушь были все те самые, что и в 1380 году», и то, что на уничтоженной плите было написано «посвящение Дмитрию Донскому и год поставлен — 1848». Так в этом рассказе появилась пока крайняя дата — 1380 — с одной стороны, и с другой — «в *пятьдесят седьмом* постановили эту конструкцию делать». Так Солженицын устанавливает для читателя связь времен. И в ключевой фразе чуткий читатель увидел того Солженицына, которого мы знаем теперь: «Проходят *столетия* — извивы Истории сглаживаются для дальнего взгляда, и она выглядит как натянутая лента топографов». Значит, не только современность давняя и недавняя, но и извивы Истории волнуют писателя, не только СССР, но и Россия, дух которой больше всего чувствовался в ранних его «Крохотках», где уже намечалось его духовное мироощущение, а в «Молитве» — религиозное. И наконец, в одном из первых своих публицистических произведений — в «Письме съезду» (16 мая 1967) — Солженицын вспоминает недавнее прошлое, *двадцатые годы*, тех писателей, «которые очень рано указывали и на зарождение культа личности, и на особые свойства Сталина», «и тот блеск эксперимента», которым отличалась наша литература в 20-е годы. И в то же время Солженицын отстаивает право писателя «высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстрадавший в нашей стране». И чуть ли не впервые вспоминает о грядущем *XXI веке*, до которого дожили мы и до которого, вопреки всякой очевидности, дожил Александр Исаевич. Пройдет еще год, и читателю романа «В круге первом» (к слову сказать, представляющем собой кладезь солженицынских временных координат) была предложена формула, объясняющая сверхзадачу писателя: «В численном интегрировании дифференциальных уравнений безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно в те *годы*, когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чье-то большое дорогое тело. Но еще было теплое то место, где оно лежало. И, никем никогда на него не возложенное, Нержин принял на себя это бремя: по этим еще не улетевшим частицам тепла воскресить мертвеца и показать его всем, каким он был; и разуверить, каким он не был». Сейчас можно сказать, что всеми доступными средствами художника, историка, мыслителя, публициста Солженицын совершил невозможное — он связал Россию прошлую и Россию сегодняшнюю, отобрал у Мирового Ничто любимую им страну и по *десятилетиям, годам, месяцам, дням* показал ее, какою она была, и разуверил, какою она не была.

Dietrich Beyrau

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

SOLSCHENIZYN ÜBER DIE JUDEN IM SOWJETISCHEN EXPERIMENT

Die jüdische Frage... ist die zentrale
Gewissensfrage eines jeden Menschen¹.

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Solschenizyns Deutungen über die Rolle von Juden in den revolutionären Bewegungen Ende des 19. Jahrhundert, im Bolschewismus und schließlich in der Sowjetunion. Es geht also um eine Kommentierung und Analyse vornehmlich des 2. Bandes «Zweihundert Jahre zusammen», der die sowjetische Periode behandelt. Um Solschenizyns Interpretation des russisch-jüdischen Verhältnisses anschaulicher zu machen, wird sie eingebettet in westliche und östliche Meistererzählungen (Narrative) zum Schicksal der Juden im 20. Jahrhundert.

Die westliche Meistererzählung stellte den Holocaust ins Zentrum, die östliche die auffällige Teilhabe von Juden an den kommunistisch-revolutionären Bewegungen des 19. und an den kommunistischen Regimen des 20. Jahrhunderts. Solschenizyns «Zweihundert Jahre zusammen» ist zweifellos ein Teil des östlichen Narrativs, allerdings in mancher Hinsicht ein sehr spezifischer.

DAS WESTLICHE NARRATIV: DER HOLOCAUST

In den vielfältigen Debatten um die westliche Zivilisation und um die (westliche) Moderne kommt dem Holocaust ein zentraler Stellenwert zu, weil er ihre Ambivalenzen und innere Gefährdung symbolisiert². In den westlichen Meistererzählungen gilt dabei die neuere deutsche Geschichte als Paradebeispiel. (In geringerem Umfang gilt dies auch für die sowjetische Geschichte.) Die jüngere deutsche Vergangenheit wird manchmal ausschließlich unter die Perspektive des Dritten Reiches und des Holocausts gestellt. Beide erscheinen gewissermaßen als Fluchtpunkte deutscher Geschichte³. In einzelnen Staaten der USA wird die Geschichte des Zweiten Weltkrieges zugunsten des Holocaust marginalisiert und letzterer fast schon als isoliertes Phänomen präsentiert. Neben trivialen Feindbildern dürfte es vor allem die Monstrosität industrieller

Vernichtung von Menschen sein, die immer wieder fasziniert. Darüber hinaus konstituiert der Massenmord an den Juden nicht nur für die jüdische Bevölkerung in den USA und Europa einen wesentlichen Teil ihres kulturellen Gedächtnisses. In dem Maße, in dem die religiöse Vergemeinschaftung gerade unter der urbanen jüdischen Bevölkerung an Bedeutung verlor, hat die Erinnerung an den Holocaust seit den 1970er Jahren ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen, das als Zivilreligion definiert werden könnte⁴.

In Israel erlebte der Umgang mit der Shoah einen Wandel: Von der zionistischen Gründergeneration wurde der Massenmord an den Juden zunächst als «Niederlage» der jüdischen Diaspora und als ihre Schande verstanden, weil sich die Juden widerstandslos hätten umbringen lassen. Widerstandsaktionen wie im Warschauer Ghetto schrieb man den Zionisten zu. Die überlebenden Diaspora-Juden kamen als «Sklaven ihrer Vergangenheit» nach Palästina bzw. nach Israel und nicht als zionistische Hoffnungsträger. Man begegnete ihnen oft mit Misstrauen und heimlicher Verachtung. Sie repräsentierten die bettelnden, unterwürfigen Diaspora-Juden, von denen sich die heldenhaften Sabras, die in Palästina geborenen Juden abgrenzten. Erst der Prozess gegen Adolf Eichmann im Jahre 1961, einen der maßgeblichen Organisatoren des Holocaust, hatte in der israelischen Gesellschaft so etwas wie eine nationale Katharsis zur Folge. Staat und Gesellschaft verstanden sich seither auch als Erben des Holocaust und als Sprachrohr aller Juden⁵.

Als Gedächtnisgemeinschaft mit je eigenen Akzenten «institutionalisieren» nun Yad Vashem, das Holocaust-Memorial in Washington, das Holocaust-Mahnmal in Berlin und Gedenkstätten an anderen Orten jüdische Geschichte als Geschichte jüdischen Leidens und jüdischen Opfertodes (shoah). Der Wald aus Stelen im Zentrum Berlins soll zudem deutsche Schuld und Verantwortung für den Holocaust vergegenwärtigen. So in auch der breiten Öffentlichkeit – mehr als in der historischen Wissenschaft – jüdische Geschichte bis in das letzte Jahrzehnt hinein vor allem eine Geschichte des deutschen bzw. des europäischen Antisemitismus und des jüdischen Leidens.

In Deutschland als dem Land, von dem der Massenmord an den Juden ausgegangen ist, wechselten nach 1945 Schweigen, Verdrängen und Betroffenheit über die eigene Involvierung in die Verbrechen des Nationalsozialismus. In der DDR wurde der Massenmord an den Juden, sofern überhaupt explizit thematisiert, dem «Faschismus» zugeordnet. Da sich die kommunistischen Eliten als antifaschistische Kämpfer verstanden und den neuen Staat der antifaschistischen Tradition an der Seite der Sowjetunion zuordneten, wurde die Verantwortung für den Holocaust «exterritorialisert». Er wurde der Bundesrepublik als Erblast

des Dritten Reiches zugeschoben. In der Bundesrepublik selbst wurde eine kollektive Schuld der Deutschen bestritten, stattdessen war seit den 1950er Jahren von kollektiver Verantwortung oder kollektiver Scham die Rede⁶. Im übrigen waren Gesellschaft und Regierung nach Gründung der Bundesrepublik zunächst mit der Liquidation der vor allem von den USA betriebenen Entnazifizierung beschäftigt, bevor 1952 mit Israel und der Jewish Claims Conference über eine materielle Entschädigung der jüdischen Opfer und ihrer Erben (im Westen) verhandelt wurde⁷. Im Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main (1963–1965) wurden die NS-Verbrechen zum ersten Mal vor deutschen Justiz-Instanzen verhandelt. Der amerikanische Fernsehfilm «Holocaust» (1979) war in der Bundesrepublik ein großes Medienereignis, das im breiten Publikum heftige Reaktionen auslöste. Erst jetzt gab es eine die weitere Öffentlichkeit erfassende Diskussion über die NS-Verbrechen. Die beiden folgenden Auseinandersetzungen beschränkten sich wieder auf ein eher intellektuelles Publikum: der sog. Historiker-Streit (1986) um die Singularität des Holocaust und die Aufregung über Daniel Goldhagens «Willige Vollstrecker» mit der These vom Antisemitismus als konstitutivem Bestandteil der neueren deutschen Geschichte⁸. Ganz anders waren die Reaktionen auf die Wehrmachtsausstellung von 1997/98, die in vielen Städten gezeigt wurde und vereinzelt von Tumulten begleitet war: mit vielen Photos belegte sie die Beteiligung von Wehrmachtsoldaten an Massensexekutionen von Juden und anderen Bevölkerungsgruppen in Polen und der Sowjetunion. Denn bis dahin galten in der breiteren Öffentlichkeit die Gestapo, die SS, die Einsatzgruppen in der Sowjetunion und zum Teil auch die Waffen-SS als die eigentlich Schuldigen an den Verbrechen der nationalsozialistischen Besatzung und Kriegführung, nicht aber die Wehrmacht. Die Ausstellung zerstörte nun den Mythos von der «anständigen» Wehrmacht, den ehemalige Generale nach 1945 fast schon systematisch konstruiert hatten⁹.

Wie schon bei der internationalen Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der 1950er Jahre spielte das Erbe des Nationalsozialismus auch nach der Vereinigung Deutschlands eine Rolle. Da kein formeller Friedensvertrag abgeschlossen wurde, konstituierte sich unter dem Druck von Klagen in den USA im Jahre 2000 eine deutsche Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft», welche 2001 die Auszahlung von Raten zwischen 5000 und 15 000 pro Person, insgesamt 8,7 Milliarden Deutsche Mark (4,4 Milliarden Euro), an 1,7 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen und KZ-Insassen in etwa 100 Ländern auszahlen sollte. Damit wurde ein weiterer Anlauf genommen, Schuld in Schulden zu transformieren¹⁰.

In dieser oder jener Weise kannten fast alle deutsch besetzten Länder Westeuropas eine lange und wechselvolle Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Erst relativ spät wurde auch hier die aktive oder passive Involvierung von Teilen der Bevölkerung und nationalen Behörden in Deportationen und andere Hilfsdienste für den Massenmord ein Thema öffentlicher Debatten¹¹.

DAS ÖSTLICHE NARRATIV I: OSTMITTELEUROPA

Im östlichen Mitteleuropa (baltische Länder, Polen, Ungarn, Rumänien), die im 19. und 20. Jahrhundert in unterschiedlicher Weise unter deutscher und russischer oder sowjetischer Hegemonie oder Besatzung gelitten haben, wird die Geschichte der Juden ganz anders verortet. Gemeinsam war ihnen schon in der zeitgenössischen Wahrnehmung der 1930er bis 1950er Jahre und dann wieder seit den 1980er Jahren, dass man vor allem die eigenen Völker als Opfer deutscher oder russisch-sowjetischer Herrschaft sah und sieht. In den baltischen Ländern ist manchmal gar vom doppelten Genozid – von deutscher und sowjetischer Seite – die Rede gewesen¹². In Polen wurde das Vernichtungslager Auschwitz – das wichtigste Symbol für den Holocaust – zum umkämpften Schauplatz von Erinnerung: mit der Errichtung eines Klosters und von Kreuzen sollte der Vorrang polnischen Leidens hervorgehoben werden¹³.

In allen Ländern war in der publizistischen Öffentlichkeit (seit den 1980er Jahren) und in den (nationalistischen) Gegenöffentlichkeiten (schon seit dem Zweiten Weltkrieg) die Vorstellung fest verankert, dass die Juden als Kommunisten oder gar als Agenten Moskaus gehandelt hätten und maßgeblich an der Etablierung kommunistischer Regime beteiligt waren. Vor allem in den 1930er Jahren wurde die fast überall vorhandene Judenfeindschaft mit dem Vorwurf gerechtfertigt, die Juden seien Verfechter des Kommunismus. In Polen liefen die Schlagworte von der «zydokommuna» und der «folksfront» um¹⁴. Die Ausschreitungen gegen Juden zu Beginn des deutschen Einmarsches in die Sowjetunion – von Wilna bis Lemberg – werden in der neueren Forschung zwar auch mit deutscher heimlicher Unterstützung, hauptsächlich aber mit der Polarisierung der Bevölkerung in den seit 1939 sowjetisch besetzten Gebieten erklärt. Stalin und die lokalen Machthaber bedienten sich – ähnlich wie die nationalsozialistische Seite – der nationalen Spannungen zwischen Juden, Polen, Litauern, Letten und Ukrainern¹⁵. In der verzerrten Wahrnehmung der ohnehin seit der Zwischenkriegszeit jüdenfeindlich gestimmten Bevölkerung bestätigten sich die Vorwürfe von den Juden als Wasserträgern Moskaus.

Die angebliche Kollaboration der Juden war der Vorwand und eine Erklärung dafür, warum die Pogrome im Sommer 1941 im Gedächtnis der Gesellschaften Ostmitteleuropas – von den baltischen Ländern bis Rumänien – in den 1990er Jahren keine Rolle spielten.

Stattdessen wurde in der Zeit der Solidarnosc (um 1980) in Polen über «die Generation» diskutiert, d. h. über jene Juden in der Partei, in der Berling-Armee und in den Sicherheitsdiensten, welche in sowjetischem Auftrag mithalfen, das kommunistische Regime in Polen zu errichten¹⁶.

Als Solschenizyn die «Zweihundert Jahre zusammen» veröffentlichte, tobte in Polen gerade eine heftige Diskussion darüber, ob die antijüdischen Ausschreitungen im Sommer 1941 von den Deutschen initiiert worden seien, ob sie etwas mit der jüdischen Unterstützung für die Sowjets zu tun hatten und ob polnische Einwohner von sich aus bei der Ermordung von Juden aktiv geworden seien. Ausgelöst wurde dieser Streit durch Jan T. Gross' «Nachbarn»: in der Untersuchung geht es um die Beteiligung von Polen an den Massakern an Juden in dem Städtchen Jedwabne kurz nach dem Rückzug der Roten Armee und dem Einmarsch der Deutschen¹⁷. Hier wie an vielen anderen Orten wurden die Juden als Helfershelfer der Sowjetherrschaft stigmatisiert und Polen, so die These von Jan T. Gross, agierten ohne besondere Aufforderungen von deutscher Seite als Judenmörder. Polen, die sich immer nur als Opfer deutscher und sowjetischer Gewalt gesehen hatten, wurden hier zum ersten Mal als «Täter» (prestupniki) dargestellt. Ein Autor polnischer Herkunft wollte gleichzeitig nachweisen, dass die Radikalisierung nationalsozialistischer Politik gegen die Juden in der Sowjetunion im Herbst 1941 sowohl durch deren «Kollaboration» mit den Sowjets als auch durch die Massaker des NKVD in Gefängnissen in Lwiv und anderswo angestoßen worden sei¹⁸.

DAS ÖSTLICHE NARRATIV II: DER MASSENMORD AN DEN JUDEN AUF SOWJETISCHEM TERRITORIUM

Die sowjetische Berichterstattung über die Massenmorde an den Juden auf sowjetischem Territorium war sehr ungleichmäßig, z. T. camouflierend. Statt über die Massenmorde an den Juden war zumeist die Rede von den «friedlichen sowjetischen Bürgern» als Opfer der deutsch-faschistischen Eroberung. Auch das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen 1941 und 1942 und der Ostarbeiter(innen) wurde kaum öffentlich thematisiert. Erst Babij Jar wurde zum Symbol dafür, dass sich die Diskussion über den Mord an den Juden nicht ganz unterdrücken ließ¹⁹.

Im Vergleich selbst zu Polen, besonders aber zum Westen, fällt auf, dass in der sowjetischen Öffentlichkeit und auch noch in den postsowjetischen Öffentlichkeiten mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg das

Schicksal der Opfer von Krieg und Besatzung vergleichsweise marginal behandelt wird. Im Vordergrund stand und steht vielmehr ein Helden-Diskurs über die frontoviki, die Partisanen und – wie es in der Zeit Breshnews hieß – über den «Widerstand des ganzen Volkes» (vsenarodnoe soprotivlenie). In diesen Diskurs gehört auch eine Art Heldenkonkurrenz, der Streit oder ein Wettbewerb um den eigenen (nationalen) Anteil – also der Russen, der Ukrainer, der Juden und selbst der Osseten – am Sieg über Hitler²⁰.

DAS ÖSTLICHE NARRATIV III: «JÜDISCHER BOLSCHEWISMUS» UND BOLSCHEWISTISCHE JUDEN

Der gegenöffentliche (in Dissens und Folklore) und seit den 1980er Jahren dann auch öffentliche Diskurs über die «Schuld» oder wenigstens über den Anteil der Juden am bolschewistischen oder kommunistischen Regime in der Sowjetunion und in Osteuropa (nach 1944/45) ist das eigentliche Thema von Solschenizyns zweitem Band «Zwei Jahrhunderte zusammen».

Er selbst begründete sein Interesse an dieser Frage mit seinen Arbeiten zur Geschichte Russlands vor und nach 1917, in der die Rolle von Juden nicht zu übersehen sei. Wenn die «Vechi» ihm die wichtigsten Impulse geliefert hatten, um die Geschichte und die Verantwortung vor allem der Intelligencija zu erörtern²¹, so lieferte ihm ein Sammelband von russisch-jüdischen Emigranten aus dem Jahre 1924 die Kriterien und Anregung zu einer neu-alten Sicht auf die Geschichte der Juden unter Lenin und Stalin²². Anstoß erregten bei ihm insbesondere die Diskussionen der 1960er und 1970er Jahre über das Verhältnis zwischen bolschewistischer Herrschaft und russischer Bevölkerung. Diese publizistischen Diskussionen (im Sam- und Tamizdat) waren im Geiste dieser Jahre geprägt durch Fragen nach historischen geistigen und politischen Traditionen Russlands – in heutiger Terminologie – nach der Pfadabhängigkeit. Im Westen wie zum Teil auch in der Sowjetunion waren solche Fragen strukturalistisch-marxistisch geprägt, d. h. durch Fragen nach den Strukturen und gesellschaftlichen Kräften, nach Modernisierungschancen und «objektiven» Situationen, welche das Verhalten der Bolschewiki und der Bevölkerung bestimmt hätten. Den konkreten Akteuren und ihren Optionsmöglichkeiten wurde dabei vor allem im Westen wenig Aufmerksamkeit geschenkt²³. In den Beiträgen von sowjetischen Autoren zumeist wohl von jüdischer Herkunft wurde sehr viel über defizitäre Merkmale des russischen «Volkes» (Rückständigkeit, mangelnde Zivilisiertheit, politischer Analphabetismus etc.) geklagt (II 454–468)²⁴. Im Sinne von Boris Pasternaks «Doktor Schiwago» wurde das Leiden und der

Untergang der alten Intelligencija unter der neuen Herrschaft betrauert. Über den Anteil von Juden an der bolschewistischen Gewaltherrschaft wurde eher geschwiegen. Dieser Tatbestand verschwand hinter dem Schock über die Anti-Kosmopolitismus-Kampagne der späten Stalinzeit²⁵.

Eine komplementäre Diskussion von nationalistisch-«patriotischen» Zirkeln kreiste um Stalin als Repräsentanten russischer Machtstaatlichkeit (derzhavnost'), um die Wiederherstellung russischer politischer und kultureller Hegemonie, die ihm zu verdanken sei. Dies habe er gegen den «jüdischen» Internationalismus der Trotzki, Bednyjs u. a. Bolschewiki der ersten Generation durchgesetzt. Gegen Trotzki als destruktive Kraft wurde Lenin manchmal als großer Staatsmann und nicht mehr als großer Revolutionär gefeiert²⁶.

DIE KRITIK SOLSCHENIZYNS

Im Vordergrund stand für Solschenizyn offenbar auch in den 1990er Jahren der Aufruf zu Reue und Besinnung als Voraussetzung einer Katharsis angesichts der Geschichte ununterbrochener Verbrechen der sowjetischen Machthaber bis zu Stalins Tod. Dieser Aufruf zu Reue, Besinnung und Selbstkritik galt für Russen und für Juden gleichermaßen (II, 117–119, 470–475).

Die wesentlichen Gesichtspunkte Solschenizyns lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Viele Kapitel der Arbeit dienen dem Nachweis des jüdischen Anteils an den revolutionär-terroristischen Bewegungen vor 1917 (besonders I, 358–374), an der bolschewistischen Herrschaft und den Sympathien, welche sie unter den Juden auch außerhalb der Sowjetunion genossen habe (II, 42, Kap. 14–18). Hervorgehoben wurde die Rolle jüdischer Bolschewiki bei der ersten Besetzung der Ukraine 1918 und dann wieder bei der Kollektivierung (II, 133–136, 270–273). Ihn faszinierte die Tatsache, dass die Juden in vieler Hinsicht den aktivistischen, also auch den gewalttätigen, und oft ebenso den intellektuellen Kern des Bolschewismus ausgemacht haben (II, 79–81).

2. Für den hohen Anteil von Juden an der revolutionären Bewegung wie am bolschewistischen Regime bis in die Stalinzeit hinein lieferte Solschenizyn keine eindeutigen Erklärungen. Weder die Diskriminierungen vor 1917, die er im Unterschied zur vorherrschenden Historiographie ohnehin entdramatisierte, noch die jüdische Not habe viele Juden in die Arme der Bolschewiki getrieben. Er sah vielmehr eine Krise des jüdischen Geistes und einen fehl geleiteten Idealismus als Ursache (II, 102–103). Von den jüdischen Bolschewiki sprach er als von «Abtrünnigen» (otscepency). Sie seien «Abtrünnige» insofern, als sie sich von der jüdischen

Tradition und dem jüdischen Volk abgewandt hätten, im moralischen Sinne entwurzelt waren und sich in einen aus seiner Sicht höchst problematischen Internationalismus flüchteten. Als «Abtrünnige» müssten sie auch deshalb gelten, da die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung bei den Wahlen zur Konstituante im November – Dezember 1918 für zionistische Parteien, also national abgestimmt hätten (II, 73, 75–81).

3. In der Anziehungskraft revolutionärer und bolschewistischer Ideen sieht Solschenizyn eine «Kreuzung» (*peresečenie*) zwischen russischer und jüdischer Kultur (I, 239, 474). Wie ein erster Biograph Solschenizyns schrieb: nach Ansicht des Autors von «Reue und Selbstbeschränkung» und des «August 14» waren die Revolutionäre Schuld am Untergang Russlands. Die russischen und jüdischen «Smerdjakovs der Revolution verwirklichten ohne überflüssige Worte das, wovon ein halbes Jahrhundert ihre Iwan Karamasows geredet hatten»²⁷.

4. Im ersten Band hat Solschenizyn mit einer eindeutigen Vorstellung davon operiert, was ein Jude sei. Er folgte hierbei der amtlichen Definition vom Juden als Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, implizit sah er sie aber auch gemäß der sowjetischen Definition als Nationalität und gar als Volk in der emphatischen Bedeutung, wie Solschenizyn Volk und Nation definiert²⁸. Es ist der «Abfall» von der Religion und vom Volk, die er als eigentlichen Sündenfall definierte. Im zweiten Band stellte er sich aber dem Problem, was im 20. Jahrhundert unter Judesein überhaupt zu verstehen sein könnte: Was bleibe vom Judentum angesichts der Entfernung von der Tradition oder gar ihrer bewußten Zerstörung, angesichts der Entwurzelung und der teils gewollten, teils einfach vollzogenen Abwendung vom traditionellen Judentum? Es war der «nicht-jüdische Jude» oder der Typ des «Ex-Juden», wie es in Ungarn heißt, der, so Solschenizyn, sich der bolschewistischen Herrschaft verschrieben hatte²⁹.

5. Trotz Assimilierung und Russifizierung vieler Juden hielt Solschenizyn deren vorbehaltlose Identifizierung mit Russland und den Russen für unmöglich: es bleibe eine doppelte Loyalität, die Solschenizyn nicht als Bereicherung, sondern als Problem und als Dilemma sah (I, 453–457, 467–468; II, 369). Einen Ausweg aus der «Gespaltenheit» (*razdvoenost'*) (I, 506) erkannte er für Juden letztlich nur im Zionismus und in Israel als dem jüdischen Nationalstaat (II, 499–521). In der Wanderung der Juden, ihrer Diaspora und ihrer aktuellen «Rückkehr» in ihr Ausgangsland waltete seiner Auffassung nach eine «höhere Absicht» (*nadceloveskij zamysel*) (II, 498). Denn, so argumentiert er bereits 1974, das 20. Jahrhundert habe neben seinen Katastrophen und der Beschimpfung und Diskreditierung der Nation auch zu ihrer Erneuerung geführt. «Die wunderbare Geburt und Stärkung Israels nach zweitausendjähriger Zerstreung ist nur das leuchtendste aus einer Vielzahl von Beispielen»³⁰.

6. Die sichtbare Präsenz von Juden in den sowjetischen Apparaten der 1920er bis 1940er Jahre habe dazu geführt, dass ihr Anteil sich in den Augen der Bevölkerung verzehnfacht habe (II, 223). Wenn die Juden, so spekulierte Solschenizyn, engagiert gegen den Bolschewismus gekämpft hätten, dann wäre vielleicht die Gleichsetzung von Judentum und Bolschewismus in der nationalsozialistischen Propaganda nicht so überzeugend gewesen (II, 186). In den Juden sah er die hauptsächlichen Opfer der nationalsozialistischen Besatzung. Die sowjetischen Behörden hätten zwar ihre Evakuierung und Flucht zum Teil aktiv gefördert, aber auffällig blieb die ungleichmäßige und selektive sowjetische Berichterstattung über den Genozid an den Juden (II, Kap. 21, 342–354). Gemessen an der Dimension der Katastrophe sind seine Ausführungen hierüber recht knapp.

7. Dem verbreiteten Vorwurf der Wehrdienst-Drückebergerei von Juden widerspricht er mit quantitativen Angaben zur Anzahl von jüdischen Generalen, Offizieren und Auszeichnungen für jüdische Angehörige der Roten Armee. Er anerkennt ihren hohen Einsatz an der Front wie in der Heimat, hier besonders in Rüstung und Forschung. Gleichwohl konnte er sich nicht des Hinweises enthalten, dass in einem Fall bei der Aufzählung aller jüdisch-sowjetischen Helden der «Super-General» Lev Z. Mechlis vergessen wurde, der sich bekanntlich durch das ständige Erschießen von Offizieren hervorgetan hatte, im übrigen aber militärisch inkompetent war. In einem anderen Fall tauchte «aus Versehen» einer der Organisatoren des stalinschen Lagersystems Naftalij A. Frenkel' in der Liste der Helden auf (II, 356).

8. Den Hass und die Ausschreitungen gegen Juden, welche in die ehem. besetzten Gebiete zurückkehrten, erklärte er mit den Wirkungen der nationalsozialistischen Propaganda (II, 372). Dass Teile der einheimischen Bevölkerung teils direkt, teils indirekt von der Beraubung und dann der Ermordung der jüdischen Bevölkerung materiell profitiert hatten und sie auf diese Weise zu Komplizen des Holocausts geworden waren, ist erst in letzter Zeit ein Thema der Forschung³¹.

9. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Solschenizyn mit Blick auf den Holocaust dem östlichen und in mancher Hinsicht dem (post-)sowjetischen Narrativ verpflichtet bleibt: Dies zeigt sich im Missverhältnis zwischen der Aufmerksamkeit für den Holocaust und die moralischen Verstrickungen unter nationalsozialistischer Besatzung und dem «Helden-Diskurs» der Sieger. In diesem Diskurs geht es um den eigenen Anteil am Sieg. Die banale Einsicht, dass diejenigen, die sich auf sowjetischer Seite befanden, gar keine Alternative hatten, als in dieser oder jener Weise für die «gerechte Sache» (za pravoe delo) (W. Grossman) eingesetzt zu werden, wird im Diskurs der Sieger zur individuellen Willensentscheidung verklärt.

10. Mehr als die Leiden und die Heldengeschichten von Juden dies- und jenseits der deutsch-sowjetischen Fronten interessierte sich Solschenizyn allerdings für theologische und moralische Deutungen des Holocausts. Dabei konnte er sich auf ein breites Spektrum jüdischer Autoren und Meinungen stützen. Sie reichen von einer sehr traditionalistischen Auffassung von der Strafe Gottes, konkret der Strafe für den Abfall von der Religion und den Traditionen des Judentums, über den Holocaust in seiner Funktion als «Staatskult» Israels bis hin zur apodiktischen Aussage der Publizistin Sonja Margolina, dass das «moralische Kapital» von Auschwitz aufgebraucht sei (II, 390).

Diese Urteile faszinierten Solschenizyn insofern, als er sich ähnliche Diskussionen über «Sünden» und Fehlentwicklungen für die russische Seite wünschte. «In der unerträglichen Last des Bewusstseins, dass wir Russen in diesem Jahrhundert die russische Geschichte zerstörten... und in der quälenden Sorge, dass diese Zerstörung nicht wieder gut gemacht werden kann – muss man darin nicht auch die Bestrafung durch eine höchste Macht (Vyssaja Sila) erkennen?» (II, 390).

11. In der allmählichen Abwendung vieler Juden – spätestens nach den antikosmopolitischen Kampagnen unter Stalin – vom sowjetischen Projekt und in ihrer Hinwendung zu den eigenen religiösen und nationalen Wurzeln erkannte er einen Heilungsprozess. Auch in diesem Fall faszinierte ihn ihr Verhalten, weil sie als erste den Kommunismus verließen, als er «faul» wurde und «verbreschnewte» (verdämmerte) (olenevil, obreznevil) (II, 440). Ein Symptom dieser neuen Einstellung war der Dissens, der sich zu einem erheblichen Teil aus jüdischen Milieus rekrutierte. Juden erscheinen so als Avantgarde im Kampf für die Revolution und den Bolschewismus, dann wieder im Kampf gegen ihn.

VORWÜRFE

Aber das Schweigen der meisten Dissidenten jüdischer Herkunft zum hohen Anteil von Juden an den bolschewistischen Eliten bis nach Ende des Großen Vaterländischen Krieges hat Solschenizyn gekränkt. Er warf den Autoren im Dissens und im Tamizdat vor, sich nicht der eigenen oder der Involvierung der Väter – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – in die bolschewistischen Verbrechen zu stellen. In «Zweihundert Jahre zusammen» wird dies am Beispiel von Aleksandr Galitsch und anderen mehr oder minder prominenten jüdischen Dissidenten, Literaten und Künstlern thematisiert (II, 306–307, 441, 445–452, 454). (Was er nicht erörtert, ist die Frage, ob das Jüdischsein für sie noch eine Rolle spielte.) Das Schweigen bedinge ein Desinteresse an den Opfern, für die auch und manchmal sogar vorrangig – wie im Falle der ukrainischen Bauern –

jüdische Bolschewiki verantwortlich seien. Gegen die in den sechziger und siebziger Jahren verbreiteten Thesen von Juden als Opfer sowjetischer und kommunistischer Herrschaft (seit den stalinschen Antikosmopolitismus-Kampagnen) (II, 273, 277, 280–281) betont Solschenizyn die Opfer unter der russischen bzw. ostslavischen Bevölkerung – von der Intelligenz über die Geistlichen bis hin zu den Bauern. An den Diskussionen der 1960er und 1970er Jahre verletzte ihn insbesondere, dass jede Äußerung russischen Nationalbewusstseins und russischen Nationalismus unter den Verdacht eines «Pogrom-Nationalismus» gestellt wurde.

TRANSFERS ZWISCHEN OSTEN UND WESTEN

Wie bekannt, hat Solschenizyns «Archipel Gulag» seit Mitte der 1970er Jahre wesentlich zu einem Umdenken ehemals linker und kommunistischer Denker vor allem in Frankreich beigetragen. Die «neuen Philosophen» sind in vieler Hinsicht ein Produkt dieser Abwendung vom realen Sozialismus ebenso wie von den intellektuellen Traditionen des Marxismus. Ein spätes Produkt dieses Umdenkens ist das «Schwarzbuch des Kommunismus» (1997)³², eine umfassende Darstellung der Verbrechen aller kommunistischen Regime einschließlich der Dritten Internationale, in der französischen Fassung allerdings ohne die in der DDR. Mit dem Erscheinen dieses Bandes wurde auch der Vorwurf verbunden, dass in der westlichen Öffentlichkeit ausschließlich der Opfer des Holocausts gedacht werde, während die Opfer des Kommunismus marginalisiert würden. Das «Schwarzbuch...» thematisierte damit ein Problem, das auch Solschenizyn umgetrieben hat: warum ist das Gedenken an die Opfer der kommunistischen Herrschaft vergleichsweise schwach entwickelt und nur dort ausgeprägt, wo es konstitutiv für nationales Selbstbewusstsein ist, also dort, wo es um vermeintliche oder tatsächliche nationale Konfrontationen geht. So wird die sowjetische Gewaltherrschaft in Polen, in den baltischen Ländern und oft auch in der Ukraine wahlweise als jüdisch oder als russisch imaginiert, d. h. sie wird ethnisiert. Warum gibt es keine lieux de mémoire (Gedächtnisorte) für die von den Bolschewiki zu Konterrevolutionären und Klassenfeinden gestempelten Bevölkerungsgruppen, also z. B. für die russischen und ukrainischen Bauern, für die kasachischen Nomaden, für die ermordeten «bürgerlichen Spezialisten» oder «Nationaldemokraten» in den nicht-russischen Republiken?³³

Ob Solschenizyns im Allgemeinen eher kritisch aufgenommene Bände über die «Zwei Jahrhunderte Zusammen» dennoch Anstöße zu einer neuen Sicht auf die Geschichte der Juden geliefert haben, bleibt zu prüfen. Es fällt auf, dass in jüngster Zeit die Rolle von Juden in der revolutionären Bewegung relativ häufig thematisiert worden ist. Neben den wichtigen

Studien zur revolutionären Bewegung schon in den 1990er Jahren³⁴ sei auch auf den 20. Band der «Studies in Contemporary Jewry» verwiesen³⁵.

Größere Beachtung fand der amerikanische Historiker jüdisch-russischer Herkunft Yuri Slezkine mit seiner kulturhistorischen Arbeit. Unter dem Titel «Das jüdische Jahrhundert» wurden Teile des östlichen Narrativs nach Westen transportiert. Im Unterschied zur westlichen, auf den Holocaust zentrierten Meistererzählung stehen hier die Transformationen und der Aufstieg des Judentum in den USA, der UdSSR und die Staatsbildung in Palästina als zentrale Themen jüdischer Geschichte des 20. Jahrhunderts im Vordergrund. Dass der Holocaust auf diese Weise marginalisiert wurde, scheint weniger Anstoß erregt zu haben, als die spöttische Kommentierung des zionistischen Projekts – in der Sprache Slezkines: die Transformation der Merkurier zu Appolinariern, also die Transformation der klassischen Diaspora-Juden und Händlerklasse in Kämpfer und Landwirte³⁶. Dabei erkennt er in Israel allerdings kein «leuchtendes Beispiel» nationaler Wiedergeburt wie Solschenizyn in den 1970er Jahren.

RESÜMEE

Solschenizyn entwirft in diesem historischen Essay ein Panorama, das sich vor allem auf das politische Verhalten der jüdischen Population und hier besonders auf die politischen Aktivisten konzentriert. Die Geschichte stellt er – wie das aller Völker der Sowjetunion – unter das Gebot von Reue und Besinnung in der Hoffnung auf Katharsis. Seine transzendente Sicht auf Geschichte und seine Geschichtserzählung als ein moralischer Appell sind manchmal vor allem von jüdischen Autoren als judenfeindlich, zumindest als einseitig kritisiert worden. Dies ist insofern berechtigt, als die Existenz und das Verhalten der jüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion nicht auf die jüdischen Bolschewiki fixiert werden kann³⁷. Das Schweigen jüdischer Autoren, die sich möglicherweise gar nicht primär als Juden definierten, provozierte Solschenizyn, der in moralisch aufgeladenen nationalen Kategorien dachte. Aus dieser eigenartigen Asymmetrie ergibt sich wohl der gelegentliche polemische Unterton, der dann auch heftige Reaktionen provoziert hat³⁸.

Diese mögen dadurch hervorgerufen sein, dass Solschenizyn eine Perspektive wählte, welche die Juden als Täter und die Nicht-Juden – Bauern, Priester, Intelligenz – als Opfer jüdisch-bolschewistischer Gewaltherrschaft beleuchtet. Dies entspricht im wesentlichen dem östlichen Narrativ, wie es auch in Ostmitteleuropa vorherrscht. Dabei wird die Leidensgeschichte der Juden – von den Diskriminierungen vor 1914 über die Pogrome des Bürgerkrieges bis zum Holocaust – zugun-

sten des Aufstiegs einer Gruppe, der jüdisch-bolschewistischer Aktivisten, marginalisiert. Diese Perspektive hat sicher auch damit zu tun, dass die akkulturierten und assimilierten «sowjetischen» Juden in den Apparaten und in den Zentren und Großstädten mehr Chancen hatten, dem Holocaust zu entkommen, als die kleinstädtischen Juden und die Angehörigen der unteren Mittelschichten in den westlichen Gebieten der Sowjetunion. Die überlebenden Juden gehörten daher zu einem erheblichen Teil jener Schicht an, die im Einsatz an der Front oder der Heimat auf sowjetischer Seite kämpfend überlebten, aber auch zu erheblichen Teilen in den 1920er bis 1940er Jahren aktiv oder passiv in moralische Verstrickungen aller Art und in Verbrechen des kommunistischen Regimes involviert waren.

Solschenizyns Kritik ist zugleich ein Produkt der für die Sowjetunion typischen Ungleichzeitigkeit, der unterschiedlichen Arten und der wechselnden Zielgruppen, die diskriminiert, verfolgt und ermordet wurden. Denn die Repressalien trafen die einzelnen Bevölkerungsgruppen zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlicher Intensität und – die Rollen zwischen Opfer und Henker konnten im Lauf der Jahrzehnte auch wechseln. Hierin liegt der macchiavelistische Grundzug des imperialen Systems unter Lenin und Stalin. Diese Situationen boten und bieten bis heute ein breites Feld von gegenseitigen Beschuldigungen, Ressentiments und Rivalitäten, die besonders eingängig sind, wenn sie sich auch noch national aufladen lassen. Auffällig im sowjetischen wie im postsowjetischen Raum ist die parallele Opfer- und Siegerkonkurrenz. Für die Opferkonkurrenz wäre, um ein Beispiel zu nennen, I.B. Safarevics Aufsatz «Abgrenzung oder Annäherung» zu nennen. Hier wollte er beweisen, dass der russische Bevölkerungsteil in der Sowjetunion mindestens so gelitten habe und «entnationalisiert» worden sei wie andere Völker³⁹. Bis in die Gegenwart dauert der immer gleiche Streit an um die Hungersnot (Holodomor) von 1932–1933 in der Ukraine als spezifisch gegen die Ukrainer gerichteter Genozid⁴⁰. Und jüdische wie Autoren anderer Völker sind bis heute bemüht, den Anteil ihrer Volksgruppe am Sieg über Hitler herauszustreichen.

Ein weiteres Element weist Solschenizyns Erzählung dem östlichen Narrativ zu: Es ist das Konzept von der Nation als Persönlichkeit (*nacijal'nost'*), wie es in «Iz pod glyb» von V.M. Borisov expliziert⁴¹ und von Solschenizyn offensichtlich geteilt wird. Wohl in Anlehnung an «idealistische» Denker um 1900, die sich zum Teil auch an den «Vechi» beteiligt hatten, entfaltet Borisov gegen den Universalismus der Aufklärung ein christlich fundiertes organologisches Konzept von Nation, das der Tradition der Romantik und konservativen Denkens des 19. Jahrhunderts angehört. Von daher ergibt sich Solschenizyns Rede von den jüdischen

Bolschewiki als «Abtrünnigen» und von der Assimilation als Irrweg. (Nicht zufällig gibt es hier Parallelen zum Zionismus.)

Das organologische Konzept von Nation, die Nation als «Persönlichkeit» und als höchster Wert finden bis heute im östlichen Europa eine stärkere Resonanz als im westlichen Europa. Patriotismus und die Wahrnehmung nationaler Interessen gelten hier ebenso wie im östlichen Europa, aber sie sind eingebunden in Konzepte universaler liberaler Werte. Sie repräsentieren eben jene Tradition, in der Solschenizyn den Bolschewismus verankert sieht.

Vor dem Hintergrund dieser liberalen Traditionsbestände hat sich auch seit Jahrzehnten in der historischen Wissenschaft im Westen das Konzept von der Nation als eines historischen, veränderbaren und auch transitorischen Konstrukts durchgesetzt. Dabei bleibt unbestritten, dass dieses Konstrukt seit der Französischen Revolution eine große Wirkung entfaltet hat und von vielen Menschen auch als moralische Instanz erfahren wurde, welche die Religion ersetzte. Angesichts dieser Relativierung wird der Nation aber kein moralischer Wert per se zugeschrieben. Dazu sind die Verbrechen im Namen des Nationalismus zu auffällig, selbst dort, wo er sich auf christliche Grundlagen berufen hat⁴².

Eine solche Sicht auf das nationale Problem erleichtert – vermutlich mehr in der Theorie als in der Praxis – auch plurale Identitäten. Dann könnten sie nicht als «gespalten» und belastend sondern als bereichernd und produktiv erfahren werden.

Eine weniger auf die Nation als Persönlichkeit fixierte Beschreibung der jüdisch-russischen Beziehungen würde zweifellos andere Akzente setzen. Dies ändert nichts daran, dass die Fehlentwicklungen Russlands und seiner Völker im 20. Jahrhundert Fragen nach den Verantwortlichen und Tätern aufwerfen, ein Problem, das auch Solschenizyn nicht auf die Juden beschränkte. Davon zeugen seine Appelle an Reue und Selbstbesinnung, die für alle gelten. Ihre christliche Fundierung, die auf den Einzelnen als Persönlichkeit zielt, überwindet die nationalen Schranken. Die Appelle sind auf ihre Weise «universal» zu verstehen: immerhin sah Solschenizyn in der «jüdischen Frage... eine Gewissensfrage eines jeden Menschen».

ANMERKUNGEN

¹ *Solzenicyn A.I.* Dvesti let vmeste. 2 Bd. M., 2001–2002. Bd. 2. S. 437 (weitere Zitate im Text: Band in römischen und Seitenzahlen in arabischen Ziffern: II, 437).

² *Bauman Z.* Modernity and the Holocaust. N.Y.: Ithaca, 1989.

³ *Greenfeld L.* Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge/Mass., 1992

⁴ *Novick P.* The Holocaust in American Life. Boston; New York, 1999; *Mearsheimer J.J., Walt S.M.* The Israel Lobby and US Foreign Policy. New York; London, 2006.

⁵ *Segev T.* The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust. New York, 1993.

⁶ *Habermas J.* Was bedeutet «Aufarbeitung der Vergangenheit» heute: Bemerkungen zur «doppelten Vergangenheit» // Ders. Die Moderne. Ein unvollendetes Projekt. 3. Aufl. Leipzig, 1994. S. 242–266; *Schwan G.* Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des Schweigens. Frankfurt/M., 1997; *Schulz-Hageleit P.* Verdrängung in der Geschichte – kein Thema für die Geschichtswissenschaft? // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1999. № 47. S. 237–253.

⁷ *Blänsdorf A.* Zur Konfrontation mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich. Entnazifizierung und Wiedergutmachungsleistungen // Aus Politik und Zeitgeschichte 1987. H. 16–17, 3–18; Die geteilte Vergangenheit: Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten / Hg. J. Danyel. Berlin, 1995; *Frei N.* Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München, 1996; *Henry M.* Confronting the Perpetrators. A History of the Claims Conference. London – Portland/OR, 2007.

⁸ *Habermas J.* Eine Art Schadensabwicklung. Frankfurt/M., 1987; «Historiker-Streit». Eine Dokumentation der Kontroverse über die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. München, 1987; *Goldhagen D.J.* Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust. N.Y., 1996.

⁹ Die Wehrmachts-Ausstellung. Dokumentation einer Kontroverse / Hg. H.-G. Thiele. Bremen, 1997; Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte / Hg. Ch. Hartmann, J. Hürter, U. Jureit. München, 2005.

¹⁰ *Goschler C.* Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945. Göttingen, 2005.

¹¹ Der Umgang mit dem Holocaust. Europa – USA – Israel / Hg. R. Steininger. Wien u. a., 1994.

¹² *Christophe B.* Staat versus Identität. Nation und nationales Interesse in den litauischen Transformationsdiskursen 1987–1995. Köln, 1997; *Onken E.-C.* Demokratisierung der Geschichte in Lettland. Staatsbürgerliches Bewusstsein und Geschichtspolitik im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit. Hamburg, 2003; *Blume R.* Das lettische Okkupationsmuseum. Das Geschichtsbild im Kontext der Diskussion über die Okkupationszeit in der lettischen Öffentlichkeit. (=Forschungsstelle Osteuropa Bremen. Arbeitspapiere und Materialien № 83). Bremen, 2007.

¹³ *Friedrich K.-P.* Die Legitimierung «Volkspolens» durch den polnischen Opferstatus. Zur kommunistischen Machtübernahme in Polen am Ende des Zweiten Weltkrieges // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2003. № 52; 1, 1–51; *Holc J.P.* Memory Contested: Jewish and Catholic Views of Auschwitz in Present Day Poland // Antisemitism and its Opponents in Modern Poland / Ed. R. Blobaum. London: Ithaca, 2005. S. 301–325.

¹⁴ *Jews in East Central Europe Between the World Wars* / Ed. E. Mendelsohn. Bloomington, Ind., 1983; *Juden und Antisemitismus im östlichen Europa* / Hg. M. Hausleitner, M. Katz. Wiesbaden 1995; *Hagen W.W.* Before the «Final Solution»: Toward a Comparative Analysis of Political Anti-Semitism in Interwar Germany and Poland // Journal of Modern History. 1996. № 68. P. 351–381.

¹⁵ *Felder B.* Lettland im Zweiten Weltkrieg. Zwischen sowjetischen und nationalsozialistischen Besatzern. Paderborn, 2009.

¹⁶ *Toranska T.* Oni. London, 1985; *Schatz J.* The Generation. The Rise and Fall of the Jewish Communists of Poland. Berkeley, 2001; *Friedrich K.-P.* Die Anfänge der «volkspol-

nischen» Presse 1944/45. Ihr (jüdisches) Personal, ihre Organisation, ihre Themen und Tabus, in *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* 54. 2006. 2. S. 207–228.

¹⁷ Gross J.T. Neighbors. The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne. Princeton, N. J., 2001.

¹⁸ Musial B. «Konterrevolutionäre Elemente sind zu erschießen». Die Brutalisierung des deutsch-sowjetischen Krieges im Sommer 1941. München, 2000.

¹⁹ Sheldon R. The Transformation of Babi Jar // *Soviet Society and Culture. Essays in Honour of Vera Dunham* / Eds. T.L. Thompson, R. Sheldon. London: Boulder & Co, 1988. S. 124–161; Grüner F. Die Tragödie von Babij Jar im sowjetischen Gedächtnis. Künstlerische Erinnerung versus offizielles Schweigen // «Zerstörer des Schweigens». Formen künstlerischer Erinnerung an die nationalsozialistische Rassen- und Vernichtungspolitik in Osteuropa / Hg. F. Grüner. Köln; Weimar, 2006. S. 57–96.

²⁰ Beyrau D. Totaler Krieg. Begriff und Erfahrung am sowjetischen Beispiel // *Formen des Krieges von der Antike bis zur Gegenwart* / Hg. Ders. u. a. Paderborn u. a., 2007. S. 327–353; *Klufte der Erinnerung Russland und Deutschland 60 Jahre nach dem Krieg* // *Osteuropa*. 2005. № 55, 4–6 (russ.: *Neprikosvennyj Zapas*. 2005. № 3 (40–41), 2.

²¹ Vechi: *Sbornik statej o russkoj intelligencii*. M., 1909; *Iz glubiny: Sbornik statej o russkoj revolucii*. 1921. 2-e izd. Paris, 1967; *Schlögel K. Jenseits des Gossen Oktober. Das Laboratorium der Moderne*. Berlin, 1988. S. 67–122; *Iz pod glyb: Sbornik statej*. M.; Paris, 1974.

²² Bikerman I.M. *i dr. Rossija i evrei: Sbornik* 1. Berlin, 1924. (2-e izd.: Paris, 1978); Margolina S. *Das Ende der Lügen. Russland und die Juden im 20. Jahrhundert*. Berlin, 1992; zum Problem von Erinnerung und Verantwortung wegen der Involvierung von Juden in den Bolschewismus vgl. auch die Kommentare von David Shneer, Aleksander Etkind und Yuri Slezkine // *Ab Imperio*. 2005. № 1. S. 157–189; Diner D., Frankel J. *Introduction* // *Dark Times, Dire Decisions. Jes and Communism (= Studies in Contemporary Jewry. An Annual XX)*. Oxford, 2004. S. 10–11.

²³ Medvedev R.A. *K sudu istorii*. New York, 1974; *Politiceskij dnevnik* / Red. R.A. Medvedev. 2 Bd. Amsterdam, 1972–1975; Gerschenkron A. *Economic Backwardness in Historical Perspective*. Cambridge, Mass., 1962; Moore B. *Soviet Politics, the Dilemma of Power: The Role of Ideas in Social Change*. New York, 1965; Black C.E. *The Dynamics of Modernization. A Study in Comparative History*. New York; London, 1966; Hofmann W. *Stalinismus und Antikommunismus. Zur Soziologie des Ost-West-Konflikts*. Frankfurt/M., 1970.

²⁴ Solschenizyn bezieht sich hierbei u. a. auf die Autoren V. Gorskij, O. Altaev, I. Denisov // *Vestnik Russkogo Christianskogo Dvizenija* (Paris). 1970. Bd. 97; 1971. Bd. 99; wohl auch auf Artikel, die dann im: *Sammelband R., Litvinov i dr. Samopoznanie: Sbornik statej*. New York, 1976 erschienen sind sowie auf *Pomeranc G. Celovek niotkuda* // *Ders. Neopublikovannoe*. Frankfurt/M., 1970. S. 123–175 und auf *Sragin B. Protivostojanie ducha*. London, 1977; vgl. *Beyrau D. Intelligencija, Volk und Macht. Zu einer Debatte um die politische Kultur in der Sowjetunion* // *Lebensstile und Kulturmuster in sozialistischen Gesellschaften* / Hg. K. Mänicke-Gyöngyösi, R. Rytlewski. Köln, 1990. S. 191–214.

²⁵ *Kostyrchenko G.B. Tajnaja politika Stalina. Vlast' i antisemitizm*. M., 2001.

²⁶ Dunlop J.B. *The Faces of Contemporary Russian Nationalism*. Princeton, N. J., 1983; *Mitrochin N. Russkaja partija: Dvizenie russkich nacionalistov v SSSR 1953–1985*. M., 2003.

²⁷ «...Smedjakovy revolucii osusestvili bez lisnich slov to, o cem polveka tolkovali ee ivany karamazovy» (*Kogan E. Soljanij stolp. Politiceskaja psihologija A. Solzenicyna*. Paris, 1982. S. 41).

²⁸ Maßgeblich für Solschenizyns Verständnis von Volk und Nation sind offensichtlich die Ausführungen von *Borisov V. M. Nacional'noe vozrozdienie i nacija-licnost' // Iz pod glyb S. 199–215.*

²⁹ *Deutscher I. The Non-Jewish Jew and Other Essays. Oxford, 1968; Patai R. The Jews of Hungary. Detroit/Mich., 1980. S. 464.*

³⁰ *Solzenicyn A.I. Obrazovanscina // Iz pod glyb. S. 217–259, 245–246: I cudodejstvennoe rozdenie i ukreplenie Izraelja posle dvuchtysjaceletnego rassejanija – tol'ko samyj jarkij iz mnozestva primerov.*

³¹ *Aly G. Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt/M., 2006 (2. Aufl.); Deák I. Jews and Communism. The Hungarian Case // Dark Times, Dire Decisions / Eds. D. Diner, J. Frankel. S. 38–61; Gross J.T. Fear. Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An Essay in Historical Interpretation. New York, 2007.*

³² *Courtois S. et al. Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression. Paris 1997 (deutsch: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. München, 1998).*

³³ *Diner D. Gedächtnis und Erkenntnis. Nationalismus und Stalinismus im Vergleich // Osteuropa 50. 2000. 6. S. 698–708.*

³⁴ *Geifmann A. Thou shalt kill. Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton, N. J., 1993; Haberer E. Jews and Revolution in Nineteenth Century Russia. Cambridge, 1995.*

³⁵ *Dark Times, Dire Decisions. Jews and Communism // Studies in Contemporary Jewry. An Annual XX, 2004. Oxford, 2004.*

³⁶ *Slezkine Yu. The Jewish Century. Princeton, N. J. – Oxford, 2004.*

³⁷ *Budnickij O.V. Rossijskie evrei mezdu krasnymi i belymi (1917–1920). M., 2006; Impulse für Europa. Tradition und Moderne der Juden Osteuropas / Hg. M. Sapper. Osteuropa 58. 2008. S. 8–10. Engl. Ausgabe: Impulses for Europe. Tradition and Modernity in Eastern European Jewry / Eds. R. Brandon et al. // Osteuropa: Special Issue. Berlin, 2008.*

³⁸ *Bereits in den 1970er Jahren: Pomeranc G. Son o spravedlivom vozmezdii (Moj zatjanij spor) // Sintaksis. 1980. № 6. S. 13–87; soweit ich sehen konnte, hat es besonders viele Reaktionen auf den ersten Band gegeben. Vgl. u. a. V istoriceskom prostranstve chvatit mesta dlja vsech. Diskussija... 10. ijulja 2001 g. v fonde «Russkoe zarubez'e» (<http://www.moskvam.ru/2001/09/book.htm>); Reznik S. Vmeste ili vroz'n'? (<http://www.Vestnik.com.issues/2002/0415/win/reznik.htm>); Maksudov S. Ne svoi (<http://www.guelman.ru/slava/maksud.htm>).*

³⁹ *Safarevic I.R. Obosoblenie ili sblizenie // Iz pod glyb. S. 97–113.*

⁴⁰ *Lindner R. Der «Genozid» im Gedächtnis der Ukraine und Weißrusslands. Vernichtungstraumata in sowjetischer und postsowjetischer Zeit // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2003. № 2. S. 109–151; Vernichtung durch Hunger. Der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR/ Hg. M. Sapper u. a. // Osteuropa. 2004. № 54. H. 12.*

⁴¹ *Borisov V.M. Nacional'noe vozrozdienie i nacija licnost' // Iz pod glyb. S. 199–215.*

⁴² *Maßgeblich für das historische Nationsverständnis der letzten Jahrzehnte: Anderson B. Imagined Communities. London, 1983; Hobsbawm E. Nations and Nationalism Since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge, 1990; für die deutsche Forschung maßgeblich: Langewiesche D. Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. München, 2000.*

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В РОМАНЕ «В КРУГЕ ПЕРВОМ»:
НАБЛЮДЕНИЯ КОММЕНТАТОРА

Два рассказа, напечатанные сплоткой в «Новом мире» вслед за «Одним днем Ивана Денисовича», обращены к нам из разных времен. «Случай на станции Кочетовка» замкнут в прошлом. «Матренин двор», напротив, весь в настоящем. А достигается это присутствием автора, который выступает здесь и как рассказчик, и как персонаж (Матрена Васильевна зовет его Игнатич).

В редакции «Нового мира», чтобы обойти цензуру, решили составить рассказ, увести его дальше в прошлое — из полноценного хрущевского времени в раннее послесталинское. Отодвинули начало на три года: с 1956-го в 1953-й. Но, не убрав автора — рассказчика и персонажа, — оторвать рассказ от современности не могли. Казенные критики (вроде Виктора Полторацкого, набросившегося на автора за то, что он загородился в безнадежном Матренином дворе и не видит его преображенных окрестностей) хорошо почувствовали, что это не историческая глушь, а самая живая современность.

Роман «В круге первом», действие которого разворачивается с 24 по 27 декабря 1949 года, соединяет оба эти пласта: исторический и современный. Автор, узнаваемо укрывшийся за именем Глеба Нержина, переводит в нынешний план всю жизнь шарашки. Но в «сталинских» главах Нержину ни под каким именем не было и не могло быть места. И значит, они рисковали замкнуться в прошлом.

Автор мечтал о публикации в «Правде» «сталинских» глав из «Круга» под названием «Одна ночь Сталина» (естественно, вслед «Одному дню Ивана Денисовича»): «Такая правдинская публикация с тиражином в 5 миллионов мне очень ясно, почти зрительно рисовалась, я ее видел как въявь»¹. Очевидно, эта публикация воспринималась бы читателями как беспримесное сочинение исторического жанра.

Чтобы «сталинские» главы не выглядели вставными, чужеродными, недостаточно было сообщить, что сам Сталин «августейшим пальцем с желтым пятном никотина у ногтя»² выбрал на карте объект Марфино и велел срочно изобрести секретную телефонию; что ми-

нистр госбезопасности Абакумов является к нему на доклад и как куратор шарашки. Компенсируя неизбежные потери при переносе прозы на экран, писатель добавит в сценарий многосерийного фильма по роману «В круге первом» эпизод, в котором Абакумов все-таки сообщает Сталину о предательском звонке в американское посольство и Сталин приходит в ярость, напрямую подключаясь к стержневому, атомному сюжету сериала.

В романе сам атомный сюжет проясняется и приобретает полноту только в сочетании того, что знает Сталин, с тем, что доступно его согражданам.

У себя на кунцевской даче он грезит о последней, Третьей мировой войне. «Начать можно будет, как атомных бомб наделаем и прочистим тыл хорошенько» (С. 131). Значит, есть уже у него в руках ядерные бомбы, нет только нужного их количества. Действительно, успешное испытание атомной бомбы в Советском Союзе состоялось еще четыре месяца назад, 29 августа 1949 года. Но об этом не знают на шарашке. Глеб Нержин говорит: «А теперь если у *наших* бомба появится — беда» (С. 551). Об этом не знает даже Иннокентий Володин, который рвется помешать передаче Советскому Союзу «важных технологических деталей производства атомной бомбы» (С. 513). «Атомная бомба у коммунистов — и планета погибла» — уверен он (Там же).

Но ведь еще 25 сентября 1949 года, за три месяца до событий, описанных в романе, в сообщении ТАСС, напечатанном в «Правде» и других газетах, утверждалось, что Советский Союз имеет в своем распоряжении атомное оружие. Для меня, учившегося тогда в первом классе, этого было достаточно, потому что я в свои неполные семь лет по неведению считал «Правду» источником информации, а Глеб Нержин, проживший на свете 31 год, прекрасно понимает, что она лишь источник пропаганды.

Надо сказать, что упомянутое сообщение ТАСС было лживым от начала и до конца. Через месяц после испытательного атомного взрыва под Семипалатинском оно уверяло, что ничего подобного в Советском Союзе не было, а за атомный взрыв приняли за рубежом используемые при строительстве взрывные работы, которые «происходили и происходят довольно часто в разных районах страны»³.

Наличие у Советского Союза атомного оружия подтверждалось ссылкой не на результаты технических испытаний, а на заявление В.М. Молотова 6 ноября 1947 года в Большом театре, что-де секрета атомной бомбы «давно уже не существует»⁴. Однако слова эти не поддаются однозначному истолкованию. К тому же они были произнесены в одном ряду с таким, например, анекдотическим заклинанием, позаимствованным у самого Хозяина: «Последний советский гражда-

нин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства»⁵.

Этот пассаж в полной мере должны были оценить арестанты, хохотом покрывшие известие о том, что Уголовным кодексом предусмотрено наказание, лишь немногим мягче смертной казни, а именно: «объявить врагом трудящихся и и з г н а т ь из пределов СССР!» (С. 328).

И вот на давнем блефе Молотова громоздился новый блеф сообщения ТАСС.

Роман воспроизводит всю социальную вертикаль страны: от дворника Спиридона в самом низу до самодержца Сталина наверху. И как раз эти два персонажа, разведенные дальше любых других, представлены наиболее подробными жизнеописаниями: Спиридон — по преимуществу семейным, Сталин — главным образом карьерным. И это Спиридон готов лечь под атомную бомбу вместе с семьей и, может быть, еще миллионом людей, лишь бы заодно извести «Отца Усатого и все заведение их с корнем» (С. 420).

И дядюшка Авенир, оказавшийся ровесником *Самого*, шуточно приоткрывает свои с ним счеты в разговоре с Иннокентием: «Согласись, нескромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться» (С. 369).

С разоблачением Сталина как сотрудника охраны соотносится разоблачение стукачей на шарашке. «Страна должна знать своих стукачей!» (С. 485) Недавно по телевидению был показан часовой документальный фильм «Привет от Кобы», доказывавший, что Сталин был двойным агентом. Возможно, с благословения Ленина⁶. Это — случай Руськи Доронина.

На шарашке Лев Рубин, проникшись идеями Николая Яковлевича Марра, с увлечением разыскивает по словарям древние связи между языками. А на даче в Кунцеве Сталин, решивший навести порядок в языкознании, уже занес руку над покойным Марром и пока еще живыми его последователями.

Не первый раз Сталин с удовольствием просматривает книгу Рено де Жувенеля «Тито — главарь предателей», написанную, конечно, с учетом его прямых указаний. И эту же книгу с омерзением листает в доме прокурора по спецделам Петра Афанасьевича Макарыгина его друг еще с Гражданской войны, строптивец, выживший при Сталине только потому, что не вылезал из больниц, — серб Душан Радович.

На Рождество, в воскресенье вечером шестеро друзей Нержина и сам он седьмой собираются в щели между двухэтажными кроватями на его день рождения.

«Мне тридцать один год... — говорит он. — Я горжусь, что мой сегоднешний скромный юбилей собрал такое отобранное общество» (С. 339).

Тридцать один год — это реальный возраст Александра Солженицына в декабре 1949 года. Но почему далеко не круглая дата названа юбилеем? Не оговорка ли это? Нет, не оговорка, а отсылка к отгремевшему три дня назад семидесятилетнему юбилею Сталина. Там, на вершине власти, было торжественное чествование в Большом театре. Потом — широкий банкет. Еще потом — узкий банкет. И отдельное застолье на пару с Берией, взбадриваемое кахетинским вином и грузинскими песнями. На следующий день — дипломатический прием. Затем — просмотр фильмов о себе. И — твердое сознание полного одиночества: «Никого он сейчас не мог вспомнить как своего друга. Ни о ком не вспоминалось доброго больше, чем плохого» (С. 89). Здесь же, в недрах тюрьмы, за «лицейским столом», составленным из трех тумбочек неодинаковой высоты, с темной литровой банкой спирта, разбавленного водой и покрашенного сгущенным какао, наслаждалась вольными разговорами тесная мужская компания, соединенная дружеской теплотой.

Так слово «юбилей», употребленное с некоторой натяжкой, позволило обнаружить еще одну скрепу, на контрасте удерживающую «сталинские» главы в пространстве романа.

Сопоставление можно продолжить. Зэки Марфинской шарашки изготовили для вождя на его семидесятилетие самый большой в Советском Союзе телевизор с гравированной надписью «Великому Сталину от чекистов». Юбиляр постоял перед ним, повернулся и уехал. А Андрей Андреевич Потапов сладил Нержину на день рождения портсигар из прозрачной темно-красной пластмассы с бледно-розовой защелкой, перевил его полоской бумаги, на которой чертежным шрифтом вывел: «Вот как убил он десять лет, Утрата жизни лучший цвет». И тем доставил имениннику неподдельную радость. С этим новым портсигаром на двенадцать папирос Нержин едет на свидание с женой. Можно предположить, что к телевизору тот же редкостный умелец Андреич тоже приложил руки.

Обратимся, наконец, к фамилии Нержин, которую выбрал автор «Круга» для себя самого. О том, как она была выстроена, Александр Исаевич рассказал в телефонном разговоре Мире Геннадьевне Петровой (22 марта 2001): «На фронте я встретил название деревушки — Свержень, которое очень приглянулось. Решил взять для фамилии героя, убрав “с”, чтобы снять смысловую перекличку с глаголом “свергать”. Получилась фамилия “Вержин”, которая казалась красивой.

Потом изменил на “Кержин”. Затем решил устранить созвучие со старообрядцами <кержаками>, заменил первую букву» (С. 692).

Поэт-фронтовик Юрий Белаш рассказывает, что в окопах меньше всего думали о Сталине.

И если бы не газеты,
право слово, мы бы так и забыли
эту не встречавшуюся в русском языке
фамилию⁷.

Признаемся, что фамилия Нержин встречается в русском языке не чаще. Но, при исключительности обеих фамилий, переключка их явственно ощущается. «Нерж», как отметила Мира Геннадьевна, прежде в изобилии штамповалось на столовых приборах и кухонной утвари. Это означало, что вилка, ложка или мясорубка сделаны не из простой стали, постоянно разьедаемой коррозией, а из нержавеющей, вечной. Так Нержин изначально получал очевидное превосходство над Сталиным. Хотя тому, конечно, достало бы «только ресницею одной пошевелинуть — и отлетит у Нержина голова» (С. 46).

Александр Твардовский, сразу же по прочтении романа поставивший себе целью напечатать его, первым делом попросил автора убрать главу «Этюд о великой жизни», где, в частности, обосновывалась версия о сотрудничестве Сталина с царской охранкой. Затем, еще до обсуждения романа в редакции, решил, что «сталинские» главы «придется дружными усилиями таки снять»⁸.

Роман тогда из печати так и не вышел. А если бы вышел — ужатый и искаженный в надежде на публикацию, с фальшивым «лекарственным» сюжетом вместо реального «атомного», да еще без широкого исторического контекста «сталинских» глав, но с оставшимися от них торчащими скрепами? Да с неизбежными постраничными редакторскими исправлениями? Вроде того, как реальная церковь Никиты Мученика на спуске от Таганской площади к Язуе была переименована в церковь Иоанна Предтечи, чтобы не вызывать ассоциаций с Н.С. Хрущевым. Так, может быть, и лучше, что вымученная подцензурная публикация не состоялась?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 35.

² Он же. В круге первом: Роман. М.: Наука, 2006. С. 48. Далее цитаты из этого издания сопровождаются номером страницы в скобках.

³ Правда. 1949. 25 сент. С. 2.

⁴ Правда. 1947. 7 нояб. С. 2.

⁵ Там же. С. 3.

⁶ Фильм прошел на Первом канале 17 ноября 2008. Начало в 22.30.

⁷ *Белаш Ю.* Окопные стихи. М.: Советский писатель, 1990. С. 282.

⁸ *Твардовский А.* Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000. № 12. С. 127.

Жорж Нива

ФРАНЦИЯ

СНЫ В МЕЖУЗЕЛЬЯХ ПОЭТИКИ СОЛЖЕНИЦЫНА

Издавна человек воспринимает сны как вещие сны, как завуалированные предвестья о будущем. Аристотель в «Правде о сне» положил основу другому пониманию снов, физиологическому. Если наяву мы воспринимаем мир видением, слухом, обонянием — во сне мы не видим, не слышим, не осязаем. Однако, пишет Аристотель, мы не рассуждаем, как бы нас посетила лишь идея лошади. Нечто другое действует, а именно чувствительность, изменяемая воображением. Как естествовед, Аристотель ищет во снах, что сон говорит о теле, об организме видящего сны.

«Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами — с живыми или умершими, только зашифрованными всегда, иногда слишком для нас трудно, а иногда мы не хотим потратить время разгадать. Из той жизни никто не может выразить живущим здесь свою мысль адекватно — и наша случайная с ними связь всегда обречена на неточность, на догадку, на истолкование. А характер и настроение — так почти и нескрывяемо выражаются во снах всегда»¹.

Как всегда у Солженицына, происходит контаминация речи автора и речи персонажа. Мы не знаем, кто здесь выражается — Варсонофьев (Звездочет) или писатель. Но и подход ко снам тоже двойственен. Не совсем естествоведческий (как у Аристотеля) и не совсем наивно-интерпретативный, как у народа.

Ибо до и после Аристотеля человек всегда был склонен именно расшифровать сны, искать «шрифт». В Библии Иосиф становится любимцем фараона потому, что он сумел истолковать его сны. (О даре Иосифа много пишет Томас Манн в своем романе «Иосиф и его братья»). Литература всегда прибегала, вслед за Библией, ко снам. Сны Макбета перешли в трагедию Пушкина «Борис Годунов». В трагедии Расина «Аталия» знаменитый сон Аталии — вдохновлен сном Энея в «Энеиде» Вергилия, а сам сон Аталии вдохновляет Бодлера в стихотворении «Метаморфозы упыря». Другими словами, сон пере-

ходит из одного произведения в другое и является тем, что Шатобриан называет «литературными махинами» (Гений христианства. Ч. 2. К. 4. Гл. 11). Эти «поэтические махины» устрашают (волосы дыбом встают, они исходят из «безобразия глубокой ночи» (Расин), и они предвещают гибель одного, победу другого – гибель Трои, основание Рима во сне Энея, когда Гектор ему снится; гибель Аталии, победа законного наследника престола, когда сама мать Аталии ей снится, пригибается к дочери и превращается в лохмотья плоти, за которые дерутся псы).

Эти поэтические махины присутствуют и в творчестве Солженицына. В первой части повести «Раковой корпус» – это страшный сон Русанова. В «Красном Колесе» это сны Зины Алтанской, любовницы Ковынева, кающейся грешницы, и прежде всего многочисленные сны Звездочета – Варсонофьева. Самое название этого огромного повествования исходит из видения, то есть из сновидения Иезекииля: красное колесо с живыми глазами...

Куда катится колесо? Откуда? Можно ли избежать надвигающейся катастрофы? Каждый Узел посвящен одному этапу катастрофы. И само название Узла, помимо математического значения, еще отводит нас к идее Рока, некоего Фатума, завязывающего узлы Судьбы. На конференции в Middlebury я выдвинул тезис о структуре романа: «Нога certa, mors incerta». То есть некий принцип, противоположный латинской поговорке «Mors certa, hora incerta». Счетчик включен, читатель «Колеса» очень ощущает разбег событий, ускорение и раздробление временной структуры. Часы и минуты определены, и даже как бы predetermined. Некоторые действующие лица борются всеми силами против разбега времени. Например, инженер Ободовский, всегда спешащий, просящий, приказывающий. Другие – жертвы этого головокружительного разбега счетчика – адмирал Непенин. Есть и понимающие, но немощные – полковник Воротынцев. Есть понимающие, и предсказывающие гибель – профессор Андозерская. Есть загадочный Звездочет – Варсонофьев.

Сама его фамилия, по-моему, таинственным образом намекает на его роль: слышится и слово «сон» – Варсонофьев. Слышится, в особенности после 641-й главы «Марта...», слово «Варфоломеевская ночь». Кто Варсонофьев?

«Едва увидели – сразу узнали, они привыкли и со спины часами видеть его; это был их знакомец по Румянцевской библиотеке. И Костя, тыча в бок Исаакию, объявил: – Смотри, Звездочет!»²

Павел Иванович приглашает Саню и Костю в пивную; они ему сразу же объяснили, что отправляются воевать, добровольно. В них легкость от принятого решения, великого скачка в жизнь. А Котя – геге-

льянец, любит идею скачков в истории. Старик Варсонофьев писатель, публицист; мы потом узнаем, что он участвовал в сборнике «Вехи». Он, как Сократ-маевтик, приводит юношей в логический тупик, но без всякого издевательства. Как можно любить государство и скачки? Как проповедовать непротивление злу и идти добровольно на войну? Государство не любит дискретность. Говорит Звездочет загадками, поговорками. «Лучшая поэзия в загадках». Разговор Звездочета с русскими мальчиками похож на тот же разговор у Достоевского, но перед русскими мальчиками — некий Сократ, учитель не скептицизма, а философского воздержания. Не идеальный общественный строй и не обожествление народа — а строй души.

«Мы всего-то и позваны усовершенствовать строй своей души».

Философ Варсонофьев из всех авторов «Вех» ближе всего к Михаилу Гершензону и его статье «Творческое самосознание».

«Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет заодно с волею <...>. Русский интеллигент — это прежде всего человек, с юных лет живущий в н е с е б я»³.

Жить в себе, не изнасиловать себя — важнее идеологии. Звездочет тронут поведением Сани: молодой толстовец забывает о своей идеологии и следует «строю души», идет на войну добровольно. «Нельзя человеку жить вечно снаружи».

Из Узла в Узел количество русских людей, «живущих снаружи», растет и растет! Вся страна живет вне себя, не по строю души, а по какому-то надрыву.

Так что Варсонофьев незло усмехается над логическими парадоксами этих двух русских мальчиков, но явно им симпатизирует, ибо они нашли истинный «строй души» своей! Иррациональность, органицизм — приблизительно так можно определить позицию философа-Звездочета. В нем есть и дух «Вех», и некий бергсонизм, чем воодушевлен очень на него похожий Веденяпин в «Докторе Живаго». Тезис Бергсона о значении времени, о двух источниках морали и религии — общественном и пророческом источнике — находится где-то на фоне историософии Варсонофьева.

Русские мальчики узнают многое на войне, познают зло, ужас, абсурд. Когда Саня вновь видится с Котей, они с трудом возобновляют разговор, ибо они уже не мальчики. Котя в Скробатове пережил невероятное зверство рукопашного боя. В его глазах все еще лицо того немца, из тела которого он не мог вырывать штык. «А еще и газы! — сдавливал голову руками... Если уж газами травим — то мы уже не люди <...>. Ты знаешь, отчаяние, когда уже все равно, убьют тебя или нет. Уже как бы принял смерть и ничего не страшно. И ничего не хочется»⁴.

Для Коти вся эта европейская всемирная война разделилась на до и после кошмара на скробатовском участке. Там Котя потерял веру и любовь к Владимиру Соловьеву, к идее теократического государства, то есть реальной формы Царства Божия. А Соловьева они с Саней читали в Румянцевском музее, и перед ними сидел загадочный Звездочет.

Первой встрече мальчиков со Звездочетом соответствует в «Апреле...» последняя встреча не с мальчиками, а с одним из них, с Саней. Они с невестой навещают старого, шестидесятиоднолетнего московского Сократа в Малом Власьевском переулке. Варсонофьев не сразу узнает Саню, потом вспоминает о вечере в пивной и спрашивает: «И который же вы из двух? – Который тогда расставался с толстовством. – Ага»⁵.

Расспрашиваемый Саня говорит об армии: «Разброд. Все в разные стороны». Старик объясняет: «Революция подобна плавлению кристалла. Она разгоняется медленно, сперва лишь отдельные атомы срываются со своих узлов и кочуют в межузельях. Но температура растет – и упорядоченность строения теряется все быстрее...» Когда исчезла последняя упорядоченность – «наступает плавление»⁶.

В 641-й главе «Марта...» мы узнаем об одном сокровенном аспекте иррационального философа. Описание сна начинается с середины, без подготовки, *in medias res*. Большое помещение, толпа, все смотрят в разные стороны. То есть не как на иконах, где все смотрят в одну сторону, к центру, и праведники, и окаянные. Всеобщий разброд взглядов, криков, голосов. «Мимо него входит в зал – мальчик с дивно светящимся лицом, и словно он хочет объявить всем необыкновенную новость» (то есть добрую новость, Евангелие). «И вдруг в едином жарко-ледяном дыхании, дыблящем волосы <...> Варсонофьев понимает, что этот мальчик – Христос, а в руках у него бомба! – ужасного взрыва для целого мира – и сейчас, через секунду, она взорвется!»⁷

Мальчик Христос с бомбой, Христос – террорист, или же, говоря языком Евангелия, не с миром, а с мечом. И вот здесь я узнаю сон Аталлии: юноша – предвестник Христа с кинжалом в руке. Не мир, а меч. Или в романе Андрея Белого «Петербург» (о нем писал А.И. Солженицын, но позднее) смешение красного домино и белого домино, Террора и Христа.

Варсонофьев, как и Ремизов, записывает все свои сны. Под рукой у него на столике всегда карандаш и клочок бумаги.

«Павел Иванович был восприимчив и вообще богат снами» («Октябрь Шестнадцатого», гл. 73). Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными встречами – с живыми или умершими, только зашифрованными.

В Малом Власьевском переулке Варсонофьев живет один, разошелся с женой Леокадией. Умерла теща Мария Николаевна. А вот возвращается она во сне из царства теней и просится обратно к нему в дом, то есть на землю. «Хорошо, что не зовет его к себе», — думает Павел Иванович. Но этому не быть. Не к себе зовут мертвые, как в древности, а обратно просятся к жизни. «По отношению к умершему грех застывает навсегда». И вот это застывание и есть главная тема снов Варсонофьева, то есть главная цель, самое лучшее, что может случиться с ним и с Россией.

Дальше, в 362-й главе «Марта...»: «С годами совсем преобразилось влияние сна: из крепкого, радостного отсутствия, где беспмятно почти стыкаются начало с концом, сон вытянулся в длинную тяжелую работу». Лека, его жена, мучит его снами, «все снилась, снилась», то прячет в ящик туалетного столика топоры, то лежит в детской коляске. «И тайна сна охватывала ужасом сердце». Однако сон не превращается у Солженицына в сюрреалистический кошмар а ля Эрнст или а ля Бальтюс. Главное давление на сердце верениц ошибок.

В 532-й главе еще сон Варсонофьева. Ему подают телеграмму, и «он сразу почему-то понял, что телеграмма та — не простая, но — *астральная*». Буквы исчезают по мере чтения, бес их размывает, «не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие»⁸.

«Варсонофьев знал, что почему-то избран принимать и тайнопись вещей снов». Он обладает каким-то даром провидческим, или, говоря на более низком уровне, телепатией. Он в особенности принимает тайные телепатические сообщения по воде, по струям воды, по фонтанам, «то по струе передается как по телефону»⁹. Да и прямо по телефону даже он принимает заранее сообщения.

Что не может не напоминать нам кошмар Павла Русанова в 16-й главе «Ракового корпуса», озаглавленной «Несуразности». Такое же внезапное начало «in medias res», то есть «in media somnia».

«Он полз. Он полз какой-то бетонной трубой»¹⁰. Русанов ползет на полу, его плющит со всех сторон, он прижат к земле. Кошмар вызван воспоминанием об одной его жертве, утопившейся. «И еще догадался он, что если она утопилась, а он сидит с ней рядом — так он тоже умер». А посередине кошмар — телефонный аппарат вдруг появляется. Между прочим, то было время, когда телефон играл огромную роль в кино. Есть фильм Вернона Сюэла (Vernon Sewell) 1959 года «Wrong Number» («Вы ошиблись номером»); композитор Пуленк пишет оперу по «Человеческому голосу» Кокто, а кинорежиссер Росселлини снимает по Кокто фильм. В фильме Кеслёвского «Девятая заповедь» телефон прямо занимает весь экран, как связь с другим миром. Так и здесь в кошмаре аппаратчика Русанова. Он снимает аппарат и слышит голос: «Зайдите

в Верховный Совет». В кошмаре Ивана Ильича (тоже ползание по тоннелю) свет светится на том конце. Здесь не свет а страшная жажда. И не живая вода, а стоячая, мертвая мерещится.

Телефонный аппарат, партийный аппарат, мучительное ползание... Весь роман «В круге первом» на тему о живом и мертвом голосе. Вокодер, которые ученые-рабы создают по приказу, должен поработить, умертвить человеческий голос.

Среди записей о снах, приснившихся Варсонофьеву, есть странные записи. «Сны анемподиста в Анапобожьи»¹¹. Как это расшифровать. Анемподист – это греческое слово: «не поддающийся стеснению» (εμπодиζω = стреножить, стеснять, препятствовать). И сон действительно снимает преграды, как об этом столь громко в XX веке объявили и доктор Фрейд, и сюрреалисты типа Макса Эрнста. А Анапобожье – смесь греческого и русского. Побожье – как Поволжье или Поморье, а префикс «ана-» – вверх и назад. Это верхняя часть около божеской реалии. Есть в мартирологе святой Анемподист. По велению персидского царя его зашили в кожаную сумку, бросали в море, в яму, в пещеру. Он все выживал, выплывал.

А самый потрясающий сон Анемподиста – запечатление (зашивание) церкви. Снится Варсонофьеву, что он с товарищами участвует в обряде запечатления церкви, церкви-России. Сон напоминает о запечатленном ангеле Лескова (упомянуты даже староверы). Враг спешит, а обряд требует времени: они все – мужчины – должны оползти храм по каменному полу.

И тут появляется одна женщина. Конфронтация мужчина/женщина играет главную роль в поэтике А.И. Солженицына, как и другие основные конфронтации человек/Бог, мир/война, старшие/младшие. Отец с дочерью разорвали связь, жена ушла от мужа и все снится, теща умерла и все просится обратно в снах, а вот Марина – дочь в крестьянском сарафане – смотрит на обряд и будет свидетельницей. Отец с дочерью «как будто никогда, ни на сколько они не разделялись, не размежались – снова были душами слитно».

Мы помним сон Пьера Безухова о «живом глобусе», состоящем из живых капель, или о том, как слово *запфрягать* превращается в слово *сопфрягать*. Здесь сон совершенно противоположный: о разброде, о том, как ничто уже не сопфрягает людей, остается лишь запечатлеть храм. Авось успеем его «запечатлеть».

А настоящий храм рушится. «Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил. Да земных».

Сны в поэтике Солженицына играют мало замеченную, но определяющую роль. Они определяют не только диагноз, степень разброда

умов, рушения храма, но еще «запечатлевают» будущее. Оно как бы *стало*, движение к будущему затушевывается. В лучшем случае можно, как говорил Леонтьев, не Россию заморозить, но будущее России заморозить, хранить в душе, в элитных душах, которые сохранили строй.

Мальчик с бомбой ходит посреди исступленной толпы. Он ничего не обещает, толпа его не видит. Но он несет бомбу, революцию, террор. Меч Божий, бич Божий. «На то я и романист, чтоб выдумывать», — иронически заключает Достоевский свой рассказ-сон о «Мальчике у Христа на елке». Кошмар Русанова ведет в Верховный Суд (Страшный суд). «В Верховный Суд? Есть! Сейчас! Хорошо! — И уже клал трубку, но опомнился: — Да, простите, а какой Верховный Суд? Старый или новый? — Новый! — ответили ему холодно. — Потопитесь! — И положили трубку»¹².

В снах Варсонофьева не Страшный суд нас ожидает, а некая демоническая, озверевшая толпа. «Богов край» еле мерещится, церковь пуста, и на двери написана таинственная надпись металлической вязью: «Кто не был князь — поди, ведась». Ребус непонятный, кроме одного: князь мира бушует, лишь избранные могут навеститься о ждущем Россию и мир Суде... Ангелы Апокалипсиса потом когда-то распечатывают Храм. А пока идет не «переим огонька» друг у друга, как в церкви, а «переим кошмара». Но в снах великая тайна «связи и несвязи вещей», даже когда эта связь полностью, кажется, пропала...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч.: [В 20 т.] Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 14. С. 545.

² Он же. Август Четырнадцатого // Там же. Т. 11. С. 397.

³ Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 74.

⁴ *Солженицын А.И.* Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч. Т. 14. С. 249.

⁵ Он же. Апрель Семнадцатого // Собр. соч. Т. 20. С. 528.

⁶ Там же. С. 530.

⁷ *Солженицын А.И.* Март Семнадцатого // Там же. Т. 18. С. 575.

⁸ Там же. С. 9.

⁹ *Солженицын А.И.* Апрель Семнадцатого. С. 576.

¹⁰ Он же. Раковый корпус // Собр. соч. Т. 4. С. 205.

¹¹ Он же. Апрель Семнадцатого. С. 576.

¹² Он же. Раковый корпус. С. 209.

Майкл Николсон

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«ДА ГДЕ Ж ТЫ БЫЛА, ДОРОЖЕНЬКА?»
ЖАНРОВЫЕ ПОИСКИ СОЛЖЕНИЦЫНА
В 40–50-Е ГОДЫ

В орлы я перился ранешенько.
Схватили – швырнули – глядь...
Да где ж ты была, Дороженька?
Да как же тобой шагать?¹

В творчестве раннего Солженицына большая поэма или повесть² «Дороженька» (1948–1952) занимает особое место. Она служит мостом между его ранними прозаическими замыслами большой формы, относящимися к тридцатым и сороковым годам, и первыми редакциями романа «В круге первом» середины пятидесятых. Композиционное построение романа, который возник в ссылке уже после «ученичества» в стихах и в драматургии и за несколько лет до первого наброска рассказа «Один день Ивана Денисовича», сильно отличается от ранних прозаических фрагментов студенческого и военного периодов. Четырехлетняя работа в стихах над «Дороженькой», начатая в марфинской шарашке в 1948 году³, но осуществляемая главным образом на «общих работах» в экибастузском особлаге в начале 1950-х годов, не только свидетельствует о феноменальной памяти писателя⁴, но и представляет собой немаловажный этап в переходе Солженицына к зрелой прозе.

«Это было, конечно, насилие над жанром», – пишет Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»⁵ о своей лагерной работе в стихах. При частом повторении заученного наизусть сочиненное «примелькивается, перестаешь замечать в нем сильное и слабое»⁶. Но это трезвое суждение не должно умалить любовь автора к собственному детищу, подтвержденную в той же самой книге: «Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху <...>. В такие минуты я был и свободен и счастлив»⁷.

В авторском рукописном предисловии к первому изданию его произведений «тюремно-лагерно-ссылных лет» мы читаем: «Они были моим дыханием и жизнью тогда. Помогли мне выстоять»⁸. Реминисценции в этом духе подкрепляются тремя стихотворениями, сохранившимися с 1953 года, периода «навечной» ссылки в Кок-Тереке.

В одном из них поэма «Дороженька» предстает в виде известной васнецовской девушки-сиротки:

Дочь моя! Душа моя! Кудерьки альяные
И тоска Аленушки в глазенках голубых!
Ты растешь без воздуха. Кругом — кругом чужие,
И тебя мне прятать надобно от них⁹.

А в другом запечатлено отчаяние ссыльного, которому удалось как будто спасти свой труд, но тут же он узнает у врачей, что жить ему осталось всего недели три. Он перебирает в уме образы затравленных и погибших русских поэтов:

Да счесть ли всех? Да кто сберет алмазы
В рассеянных, разбитых черепках?..
Безумный я! — пополз подземным лазом
Сберечь их горсть в невидимых стихах, —

И вынес их!! — но пальцы слабые разжаты:
Мне — смерть! мне — смерть!
— кто эту грань нарушит? —
Она взросла в груди тарантулом мохнатым
И щупальцами душит...¹⁰

Но вернемся к месту, которое занимает «Дороженька» в составе солженицынских произведений. Как известно, замысел Узла «Август Четырнадцатого», да и всей эпопеи «Красное Колесо» в целом, возник у Солженицына в общих чертах еще при окончании школы в 1936 году. Будучи студентом, он не просто мечтал о создании апофеоза толстовских размеров победоносной революции, но серьезно занимался сбором материала, сделал значительную подготовительную работу и оставил несколько глав в черновиках, которые потом чудом уцелели. Но годы проходили, и фронтовые события и общий ход войны надолго вытеснили из жизни лейтенанта Солженицына литературный проект его юности. В 1943 году в перерывах между военными действиями он задумывает большое произведение в прозе. Этот замысел так и останется в виде небольшого неопубликованного фрагмента и отдельных набросков, но не подлежит сомнению, что это повествование должно было вестись от первого лица, рассказывающего о молодых офицерах, бывших студентах, которые перешли на «шестой курс» и участвуют, как и Солженицын со школьным другом Виткевичем, в сражении за Орел. Исторический напор юношеского

революционного эпоса Солженицына уступает место автобиографическому замыслу. Предусматривается линейное разворачивание сюжета во времени и пространстве, продвижение вперед полных пылкости и жизненных сил, целеустремленных героев.

Замысел «Шестого курса» не был воплощен в текст, но существуют и другие источники, свидетельствующие о настроениях и миропонимании Солженицына в это время. В университете он чувствовал себя на гребне успеха и уверенности в себе. Позже, в «Дороженьке», он с сожалением будет вспоминать о тех годах:

Словно звездным дождем мне дороги усыпало,
Словно горы верстались мне по плечу,
Словно есть это счастье, и мне оно выпало:
Все могу, чего хочу! (С. 20)¹¹

Его взгляд в будущее в это время был отмечен крайней убежденностью в правоте марксистско-ленинских идей.

Только-только вылупясь из желтеньких скорлуп,
Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь!
Есть закон движения! Другого Абсолюта
Нет! (С. 11)

Для осуществления соответствующих этой идеологии целей смерть была вершиной стремлений и апофеозом. Как он писал в 1940 году в стихотворении, торжественно адресованном «Моему поколению»:

Мы умрем!! По нашим трупам
Революция взойдет!!! (С. 26)

И в «Архипелаге ГУЛАГ» этот образ превалирующей целенаправленности тех лет опять неоднократно подтвержден самим Солженицыным.

Помимо «Шестого курса», второй попыткой создать объемную прозаическую работу о военном времени стала неопубликованная повесть «История одного дивизиона», которую мы знаем по более поздней версии «Люби революцию» (1958) и нескольким опубликованным страницам факсимиле¹². Солженицын написал этот значительный фрагмент в 1948 году, уже во время своего заключения в марфинской шарашке. И здесь также было повествование от первого лица, классическое линейное развитие автобиографического сюжета. Если бы он продолжил эту работу, он смог бы проследить ста-

новление и боевые действия своего родного артиллерийского разведывательного дивизиона, и по общему замыслу повествование имело шанс «догнать» сюжетные перипетии, предназначенные в свое время для «Шестого курса».

Но хотя в «Истории одного дивизиона» автор в повествовании от первого лица продолжает вспоминать свою жизненную дорогу, протоптанную в военные годы, здесь в его голосе все же улавливаются с самого начала скептические, саморазоблачительные интонации. Лет через десять, при переработке «Истории одного дивизиона» в «Люби революцию», автор откажется от повествования от первого лица, и ироническая дистанция между ним и героем увеличится. Но уже в оригинале 1948 года героический пафос юности приглушен и чувствуется, как опыт молодого солдата пересматривается через призму ареста автора, его тюремного заключения и жизни в лагерях. Уже здесь, в конце сороковых годов производится радикальная переоценка ценностей. Потом, в течение трех экибастузских лет и первых лет ссылки Солженицын не будет больше писать прозы¹³. Главным хранилищем его творческих порывов этого периода станет повествование в стихах «Дороженька». Только в 1955 году он начнет другую большую прозаическую работу с иными композиционными качествами, которые, по всей видимости, вынашивались в период сочинения «Дороженьки».

«Дороженька», хотя она и написана в стихах, — еще один эксперимент с большой формой. Скромное определение самого автора («Вот этих строк неемких горстк[а] тысяч» (С. 100)) не совсем соответствует действительности. В первом издании более 170 страниц и одиннадцать глав, по объему гораздо больше «Евгения Онегина». На первый взгляд и «Дороженька» может показаться сродни военным фрагментам-наброскам («Шестой курс» и «История одного дивизиона») в плане того, что она ярко автобиографична, написана в основном от первого лица и в ней уделяется много внимания не только эпизодам детства, но и описанию военного опыта Солженицына. Более того, *дорога* из названия наталкивает на мысль о линейном прямом пафосе, который мне уже доводилось связывать с уверенным максимализмом его юности. Но сходства этих деталей здесь обманчивы.

В то время как ранние герои-повествователи Солженицына с готовностью и настойчивостью продвигались вперед по своему пути, увлекая читателя за собой, в «Дороженьке» взрослый рассказчик определяет, какие этапы путешествия попадают в поле нашего зрения, и переосмысливает пережитое. Повествовательный ряд, хотя и хронологически выстроенный, разбит на эпизоды, разделенные временным интервалом. Эти небольшие сценки выбраны из-за их провалов-неудач, как, например, неспособность героя постигнуть важность

событий, которые могли бы открыть ему глаза на происходящее, или чтобы зафиксировать момент морального компромисса. За несколько лет до его первых безуспешных попыток написать во многом «исповедальную» книгу «Архипелаг ГУЛАГ» автор «Дороженьки» качает головой, вспоминая свою юношескую заносчивость:

Я! Я верю до судорог. Мне не свойственны
Колебанья, сомненья, мне жизнь ясна... (С. 25)

Что дважды два так часто – не четыре,
Не знал я. Оттого был свят и нетерпим... (С. 56)

Во время путешествия по реке, которое открывает поэму, он и его друг-студент проплывают на лодке мимо строительных площадок, не задумываясь о цене, заплаченной человеком за чудо Третьей Пятилетки.

...Так мы плыли в гладком беззаботьи,
И, наверно б, нам на ум не вспало:
Что за люди там кишат в лохмотьях?
Что за люди бьют вручную скалы,
Катят тачки в гору по тропинкам? (С. 16)

Позже, на фронте, авторитет и «холодн[ая] решимость» его, молодого капитана («быстр[ого], ловк[ого] звер[я]» (С. 74)), так велики, что однажды случайный взмах его руки интерпретируется подчиненным как разрешение на расстрел женщины, которая была или, возможно, и не была невестой офицера СС:

Я – зачем махнул рукой?!
Боже мой!
«Машина, стой!
Эй, ребята!..» (С. 143)

Но слишком поздно, и смерть женщины ложится тяжким бременем на уже обремененную совесть поэта.

Солженицын торжественно уходил на войну, наученный разделять добродетельное «мы» и различные виды пагубного «они», вполне созвучно строкам из песни «Священная война», которая с первых дней войны стала как бы гимном защиты отечества.

Как два различных полоса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся.
Они – за царство тьмы¹⁴.

Со временем под воздействием сомнений, исканий и разочарований начинает проявляться глубоко волнующая, созерцательная интуиция. «Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце...»¹⁵ — так звучит кредо, воспроизведенное в «Архипелаге ГУЛАГ» и впоследствии приписываемое многими комментаторами позднему, мистическому этапу развития Солженицына. Но менее известен прообраз этой мысли в аналогичных строках из «Дороженьки», написанных и сразу заученных в экибастузском лагере в начале пятидесятых годов:

Соблазнившись властью над толпой покорной,
Отшагав дороженькой кандалной,
Равно я не видел ни злодеев черных,
Ни сердец хрустальных.
Между армиями, партиями, сектами проводят
Ту черту, что доброе от злого отличает дело,
А она — она по сердцу каждому проходит,
Линия раздела (С. 150).

Это совсем не случайное созвучие. Из лагерной поэзии Солженицына вообще не исчезают воинственные, мятежные порывы — иногда наоборот — но, как мы видели, через «Дороженьку» красной нитью проходит самобичевание — обвинение себя в моральной слепоте, нетерпимости, мстительности¹⁶. В третьем из вышеупомянутых отдельных стихотворений пятидесятых годов, посвященных написанию и сохранению «Дороженьки», поэт боязливо отдает свой только что заверченный труд на «страшный» суд литературного триумвирата: Пушкина, Достоевского и Толстого. Но в какой ипостаси предстает каждый из этих высоких судей?

Как Пушкин, хотел я о мрачном,
Сказать, осветляя боль <...>
Безжалостным, как Достоевский,
Лишь быв к самому себе <...>
Что в мире нет виноватых,
Хотел я провесть, как Толстой,

Чтоб вызрел плод поэта
Не к ненависти — к добру.
...Бог знает, насколько это
Моему удалось перу...¹⁷

Итак, несмотря на свое уменьшительно-ласкательное народное название, прослеживаемая у Солженицына дорога не просто мило-лубочно извивается (в духе строк Кольцова «Запылился ты, путь-дороженька; / Дай мне вестку, моя пташечка!»)¹⁸. Она не лишена и другого, мрачного традиционного оттенка, особенно когда к концу поэмы за поэтом захлопывается дверь Лубянки. Читаем, например, в стихотворении В.В. Крестовского «Владимирка»:

Ой, дорога ль ты дороженька пробойная,
Далеко ты в даль уходишь непроглядную,
Во студеную сторонушку сибирскую...

А у Солженицына:

Морошка под тундренным настом,
Болотных повалов ржа...—
«Шоссе Энтузиастов» —
Владимирка каторжан!.. (С. 172)

И не зря Солженицын выдумал для своей «Дороженьки» второе, ироническое название «Шоссе Энтузиастов»¹⁹.

Но главное состоит в том, что эта дорога, как и линия, разделяющая добро и зло, не остается на месте: она подвижна, неоднозначна. Над прозревшим юношеским альтер эго Солженицына тяготеет проклятие зоркости, как у А.К. Толстого:

...дойдет он до распутыща,
Не одну видит в поле дороженьку,
И он станет, призадумается,
И пойдет вперед, воротится,
Начинает идти сызнава...²⁰

И герой Солженицына стоит «Во многом сам на перекрестьи» (С. 113), а название настоящей статьи взято из того места в поэме, когда он уныло прощается с прожитой жизнью:

Жилось мне поверху, сполагоря
И, проживши двадцать шесть, —
Да полно, да знал ли, что лагеря
В Советском Союзе есть?
В орлы я перился ранешенько.
Схватили — швырнули — глядь... —
Да где ж ты была, Дороженька?
Да как же тобой шагать?²¹ (С. 172)

К тому времени, когда, уже на воле, Солженицын переходит от своей поэмы к прозаическому произведению большой формы в Кок-Тереке в 1955-м, он уже, кажется, потерял или теряет интерес к структуре, которую он планировал для своей военной прозы и которая отслеживает «пробойную» дорогу через жизнь. В романе «В круге первом» он будет преследовать иные принципы построения: выказывает минимум движения вперед, сокращает временной охват и концентрирует места расположения героев, используя параллельную, паратактическую структуру. Эта тенденция связана также и с интересом писателя к драматургии. Посредством воспоминаний и созерцательных исканий в главах «Дороженьки» возникает ощущение насыщенности момента, выразительной драматичности. Наконец, «Дороженька» рождает целую пьесу. Это односуточная пьеса «Пир победителей», которая изначально составляла десятую главу «Дороженьки» — и она будет первым из трех театральных экспериментов ранних пятидесятых годов. Таким образом, уже в «Дороженьке» Солженицын в начале 1950-х пишет не только эпизодами, но и использует сцены и действия, отказывается от первого лица, соединяет автобиографического героя с другими действующими лицами, варьируя эти соединения посредством различной фокусировки повествования. Это уже другая история, но среди основополагающих черт прозаических произведений зрелого Солженицына такие приемы и решения занимают немаловажное место. Значит, «Дороженька» не в самую последнюю очередь является этапом на пути к зрелости.

Общая тема конференции, на которой читались эти заметки, называлась «Путь Солженицына в контексте Большого Времени». У меня вышло скорее «Путь-дороженька Солженицына в контексте переосмысления его хронотопа и становления его как прозаика».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Солженицын А.И. Дороженька // Протеревши глаза. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. С. 172.

² Солженицын употребляет и то и другое название. Ср., напр.: Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 87 и: Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. Т. 3. Ч. V. С. 93.

³ В биографии А.И. Солженицына Людмила Сараскина пишет, что «Дороженька» начата в 1947 году (Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 908). Не исключено, что процесс записывания заученного текста в ссылке с мая 1953 года включал в себя элемент переработки.

⁴ Как бы ни была велика в условиях заключения необходимость писать в мнемонических целях именно в стихах, она не одарила бы совсем неопытного поэта спо-

собностью профессионально «писать» в голове в разнообразных размерах (до конца второй главы «Дороженьки» их уже четыре — ямб, дактиль, хорей и анапест) или структурировать длинные главы, с их лейтмотивами, припевами, смешанным диалогом, и пр. Умение Солженицына справляться с такой почти неимоверной задачей никак не умаляется, но отчасти объясняется тем, что среди его литературных попыток студенческих годов были одна небольшая поэма и фрагменты и наброски другой, большой повести в стихах, которая занимала тогда его мысли.

⁵ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. Ч. 5. С. 94.

⁶ Там же. С. 95.

⁷ Там же. С. 93.

⁸ Протеревши глаза. С. 3.

⁹ «Над “Дороженькой”» // Там же. С. 206.

¹⁰ «Поэты русские! Я с болью одинокий...» // Там же. С. 208.

¹¹ Здесь и далее цифры в скобках означают ссылки на поэму «Дороженька» в кн. «Протеревши глаза».

¹² Они включены в издание «Протеревши глаза».

¹³ За исключением части пьесы «Пленники», написанной и заученной в прозе, и всей пьесы «Республика труда», сочиненной в ссылке.

¹⁴ Под аккомпанемент этой песни (В.И. Лебедева-Кумача и А.В. Александрова) танки Красной армии врываются в лагерную зону, чтобы подавить восстание заключенных в киносценарии А.И. Солженицына «Знают истину танки» (1959).

¹⁵ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. Ч. 4. С. 500.

¹⁶ См. мою статью «Иван Денисович: мифы происхождения» («Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст / Под ред. А.В. Урманова. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 3–36). Републ. в: *Континент*. М. 2003. № 4. С. 408–429 (см. особенно с. 410–414). См. также строки «Дороженьки», относящие аналогичную дихотомию к детству писателя: «Жарко-копировый, бледно-лампадный, / Рос я запутанный, трудный, двуправдный» (С. 30).

¹⁷ «Триумвирам» (1953) // Протеревши глаза. С. 207.

¹⁸ *Кольцов А.В.* Русская песня (1841). В Экибастузе Солженицын пытался приобрести стихи Кольцова. См.: *Решетовская Н.А.* Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 28.

¹⁹ Ср. аналогичные названия, иронизирующие над революционно-демократической и советской риторикой: «Декабристы без декабря» («Пленники»), «Республика труда» («Олень и Шалашовка»), «Люби революцию» («История одной дивизии»).

²⁰ *Толстой А.К.* «Хорошо, братцы, тому на свете жить...» (1858).

²¹ Курсив мой. — М.Н.

Ирина Роднянская

МОСКВА

ЛЕНИН: ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЗА ГРАНЬЮ ИДЕОЛОГИЙ

Портрет Ленина... Во время работы писателя над этими главами «Красного Колеса» он присутствовал зримо — в несомненной роли антиконы, то есть места реальной встречи с тем, кто на ней изображен. «Двое в комнате: я и Ленин — фотографией на белой стене», — писал Маяковский. Поразительно, с какой буквальностью — не столь важно, что история литературы, но история отечества — воспроизвела эту сцену словно для того, чтобы почти через полвека (через 45 лет) погасить ее прежний заряд новым, несущим правду смыслом.

Из дневниковых записей «Р-17» известно, что чувствовал автор, глядя за работой на этот портрет, — он чувствовал присутствие оригинала: «...потрясающая фотография: сколько зла, пронизательности и силы. В и д и т мой замысел — и не может (не может ли?) ему помешать. Посмертная пытка ему — а мне земное соревнование» (27 февраля 1975). Состояние, прямо противоположное молитвенному, если искреннему («Я себя под Лениным чищу...»), у Маяковского, но столь же интенсивно диалогическое: у того — может помочь, у этого — не исключено, что может помешать. Но — не помешал, и вот уже победительный миг еще одной встречи. В ресторане «Белый лебедь», на прощальном застолье с дюрихскими знакомцами-помощниками: «Поднимаю глаза: на близкой низкой стене прямо против меня портрет Ленина! — да какой: тот, мой избранный для книги, — самый страшный и выразительный, где он и дьявольски умен, и безмерно зол, и приговоренный преступник. Три недели он висел у меня на стене в горах, с ненавистью и страхом следил за моей работой. И вот — здесь, разве не символ?..» (17 марта 1975).

В «Красном Колесе» — при всей динамике завязанного в немногочисленные Узлы исторического действия — избыточны портреты деятелей и фигурантов государства и революции — от императора до какого-нибудь Стеклова-Нахамкиса; важнейшим из них посвящены так названные автором «обзорные главы» (пространные ретроспекции,

наплывы и флешбэки), как правило, лица эти поданы и «изнутри» (что так поразило о. Александра Шмемана в изображении Ленина и повлекло к далеко идущим у него выводам) и/или стереоскопически, глазами окружающих и через строку документа, с принципиальным избеганием толстовского нависающего всеведения, — и, казалось бы, Ленин здесь не исключение, один из эпопейного ряда, в контрастном соседстве с «крестьянскими» главами, с семьей Ники и Аликс, с Гучковым... Но не тут-то было. «Земное соревнование», влияющее, по внутреннему чувству автора, на русское будущее, идет только с ним — сила на силу, — и поэтому его портрет (говорю уже о портрете литературном) углубляется до последних оснований и корней бытия: от психологизма и историзма до онтологии и, если угодно, мистики. Иначе и быть не могло. «Единственно, к чему он был призван, — повлиять на ход истории...» — мысль Ленина о себе и одновременно мысль автора о нем (здесь, как и во множестве других случаев излюбленной Солженицыным косвенной речи, голоса обоих сливаются). Солженицынское же призвание, по словам Н.А. Струве, переданным в «Дневнике» Шмемана, — «очищение истории и человеческого сознания от всевозможных миазмов» и (это уже пишет сам Шмеман) возвращение России на ее изначальный путь. Другими словами, перед нами два лица, призванные повлиять на ход истории, так что дело одного должно быть разрушено делом другого: *человек судьбы* (я потом остановлюсь на сути этого летучего выражения) — и художник, наделенный даром визионерского постижения «рока событий»¹. Цели обоих — хотя противоположные, но симметричные («Антилениным» чувствует себя автор в ходе работы над «ленинскими» главами). Ну а средства — средства, естественно, разноприродные, хотя в чем-то тоже соположные.

Соположные в том отношении, что Ленин тоже был *литератором* (так, помнится, он и ответил в одной из анкет на вопрос о роде занятий). Не будет большим преувеличением сказать, что вождь овладел Россией отнюдь не на баррикадах и даже не в штабах восстаний, а с помощью неостановимого потока идеологически нагруженных слов, извергаемого на пути к власти келейно или подпольно скорее, чем публично. Н. Валентинов в своих «Встречах с Лениным» отмечает «пугливое самооберегание» этого профессионального революционера, столько раз выстреливающего словами «драка» и «драться». Солженицын тоже не проходит мимо этой черты, мельком отмечая то страх перед каким-нибудь мужицким нападением «с вилами» на них, беглецов из Пороина, то ретираду от гимназистиков, демонстрирующих у дворца Кшесинской, — вдруг случайный выстрел? Но в этих штрихах — и вообще нигде в солженицынской лениниане — нет эмоции презрения: силу не презирают. Не трус Ленин, а фехтовальщик словесным оружием.

В апрельском Узле верная приспешница вождя Коллонтай подмечает: «Пустопорожний Чернов, у него всегда одна беллетристика <...> Кажется, оба они с Лениным всю жизнь были только эмигрантскими журналистами? только писали? Но как по-разному: Ленин через писания физически организовал партию». «...Именно *так* и движется история: от одной завоеванной резолюции к другой, натиском меньшинства — сдвигать и сдвигать все резолюции — влево! влево!» и — притом: «...надо быть архиосторожным <...> ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены — чтоб никто не мог выбрать незащищенную» (это в Цюрихе, в октябре 16-го, коварные промельки ленинских мыслей). К этой же словесной войне размежеваний на пути к безраздельной власти, своей и своего меньшинства, примыкает образ Ленина-«суфлера», за сценой впаривающего своим загнипнотизированным адептам набор лозунгов для дальнейшего тиражирования. И само оформление «партии нового типа» совершается через *словесное* переключивание — из «социал-демократической» в «коммунистическую», — в апрельском Узле этот факт отнюдь не обойден, а упомянут в числе значимых событий (да и теперь, сколько ни подталкивают зюгановскую партию к обратному переименованию, те все противятся — чуют, что слово изменит и дела).

Разоружить, обезвредить слово идеологическое антидотом — словом художественным: пластическим и мелодийным — вот задача, вставшая перед творцом «ленинских» глав. Ее можно было решать проторенным путем — 19-я и 20-я «сталинские» главки из романа «В круге первом» («Юбиляр», «Этюд о великой жизни») в сумме прототипичны построению обзорных глав «Красного Колеса»; но в них персонаж дан еще по-толстовски, в духе сниженного Наполеона из «Войны и мира»: физиологическая жалкость немощного тела плюс безумное самообольщение властолюбца гротескно смешны — вплоть до утрированного акцента. Умный и злобный взор со стенки горного домика подталкивал к другому, более трудному решению.

«В ленинских главах впервые встречаюсь с языковой задачей, противоположной моей собственной <...> чтоб не создать неверного *фона* <...> надо выплощивать, высушивать речь — и только так приблизиться к реальной ленинской». Эта «языковая задача» была решена — именно как изобразительная, а не докучливо цитатная — благодаря художническому навыку Солженицына — публициста и полемиста. Его необычайное умение хирургически вырезать из речи оппонента опорные места в их беззащитной голизне нередко вызывало упреки в неточном, предвзятом цитировании. Между тем дело тут в интонационном монтаже, по-новому озвучивающем доподлин-

ные слова противника. В отдельном издании «Ленина в Цюрихе» (1975) Солженицын даже дает список источников из ленинских писаний, чтобы показать, насколько он здесь корректен. Вкладывать в горящие уста исторических персонажей цитаты из их письменности — справедливо считается литературным моветоном, бичом слабых книжек из жэзээловской серии. Солженицын перелетает через эту опасность, как на крыльях; у него получается! «Живо, подвижно» — звучат в одном месте слова как указание исполнителю на нотной странице. Задавая речам и мыслям Ленина быстрый темпоритм, рваную, судорожную перечислительность, Солженицын, сохранив присущий им бескрасочный лексикон, превратил их в живой абрис устройства личности, в личную *мелодию* своего Ленина. «Почти вся жизнь, половина каждого дня — в этих нескончаемых письмах, никто не живет рядом, единомышленники рассеяны по всем ветрам, и надо издали держать их, стягивать, управлять ими, давать советы, расспрашивать, просить, благодарить, согласовывать резолюции (это — с друзьями, а все ж это время не прекращать острейшей борьбы с толпами врагов!) <...> Обсылаться проектами статей, корректурами, возражениями, поправками, рецензиями, конспектами, тезисами, чтением и выписками из газет, целыми повозками газет...» Как видим, ни тени сарказма, скорее даже некое сочувствие, так сказать, «вхождение в положение» субъекта этого внутреннего монолога, — а между тем поток *такого* сознания наводит оторопь, смешанную с изумлением: неужто так и влияют на ход истории — вот так, «от резолюции к резолюции»?

В том и загвоздка, что Ленин, в этом ближайшем срезе представленный кипящим в действии пустом, между тем явлен «центральной фигурой нашей истории»², Ленин у Солженицына и сам сознает эту свою центральность: «А он — не левый-левый фланг социал-демократии, а центр событий, этого еще не поняли» («Апрель Семнадцатого»).

Сидящие в этом зале наверняка помнят, что само ее ультрасимволическое название отсылает к фигуре Ленина. «Большое красное колесо у паровоза, почти в рост» — колесо того паровоза, который увезет Ленина из Поронина в Швейцарию, где, следуя послесловному замечанию Солженицына к отдельному изданию цюрихских глав, совершатся «события, определившие ход XX века, но <...> старательно скрытые от истории...» И в той же 22-й главе «Августа Четырнадцатого»: «Крутится тяжелое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. <...> Как будто кому-то посильно схватиться руками за разогнанное паровозное колесо»³.

Ленину *по пути* с этим кровавым паровозом мировой войны, обаянной перераста — по озарившей его, в пути же, на чемоданах, мысли — в войну гражданскую, куда его доведет еще один, немецкий паро-

воз. *He он разогнал красное колесо, но он его оседлал.* И Солженицын прослеживает эту узурпацию истории шаг за шагом, не выпуская захватчика из поля своего внимания ни в один из отмеренных сроков.

Каковы историософские грани ленинского портрета в эпопее? Уважаемый Жорж Нива в некрологической статье для № 137 «Континента» пишет: Солженицын «думал, что нашел “узел”, с которого все завязалось, — болтовня и трусость Февральской революции 1917 года в России. Не Октябрьская революция, не Ленин, о котором давно говорили, что у него есть общие с Солженицыным черты и потому у писателя он пользуется скрытой индульгенцией, а Милюков, генералы, шкурники...». Не слишком понятно, принадлежит ли это суждение «давно говорившим» («Эта книга [«Ленин в Цюрихе»] написана “близнецом”, и написана с каким-то трагическим восхищением». — О. Александр Шмеман) или самому исследователю. Но как то бы ни было, историософия «Красного Колеса» куда сложнее, чем подытожено в приведенной фразе Ж. Нива. В том числе — применительно к фигуре Ленина.

Стратегия — отнюдь не сильная его сторона. События 1914–1917 годов, решающие из которых он не предвидел, «проморгал», но с невероятной быстротой изловчился использовать, — эти события вообще не направляются согласно чьему-либо стратегическому плану. Можно еще раз вспомнить есенинское: «рок событий», — а для верующего человека: Божье попущение за исторические грехи. (Это не значит, что все те, кого этот рок вовлекает в свое движение, были бессильны и потому невиновны — от государя до фигурантов Февраля. Солженицын — не фаталист; например, и его Воротынцев, и его Ленин знают, что затормозило бы качение Колеса — вовремя заключенный сепаратный мир между двумя империями. И это не единственный момент, когда атрофия воли ответственных за Россию лиц открывает дорогу для злой воли ее разрушителей...) Итак, Ленин стратег никудышный. Но — гениальный тактик, *гений въезда в историю на чужих стинах*, гений обнаружения наималейшей щели в монолитах социальных структур и организаций, куда можно вклиниться и, расколов, протиснуться к своей цели. Он — крот Истории (любимое выражение Маркса, а может, и Гегеля, из Гамлета: «Ты хорошо роешь, старый крот!» — и недаром мелькает сравнение Ленина, сидящего в своей комнате на Шпильгассе, с норовым зверьком).

Солженицын блистательно разгадывает сквозной принцип ленинской победоносной тактики и не устает предъявлять его читателю. Принцип этот парадоксален: всегда оставаться в меньшинстве! И даже — всегда оставаться одному! Тактические преимущества здесь понятны: меньшинство всегда атакует, большинство вынуждено обороняться и уступать пядь за пядью; одиночество же, отсутствие

союзнических обязательств, — развязывает руки и позволяет по собственному отбору («как гипнотизер, переливаешь ток своей воли в того, кто будет действовать...») сколотить группу захвата — собственно, она и есть «партия нового типа». Но за этой разгадкой кроется очередная загадка: как может быть успешна такая рискованная тактика, тем более проводимая систематически, как тут не сорваться и не потерять разом все? Недаром «традиционные» социалисты колют словом «бланкизм».

Разгадка лежит за пределами рациональной изворотливости Ленина; сюда вторгается метафизика истории. У Солженицына Ленин, повторю, — «человек судьбы», «муж судеб», и потому-то — «центральная фигура». Это выражение — *l'homme du destin*, — имеющее античные корни, прилагалось чаще всего к Наполеону (в том числе и в пушкинских стихах; у него же — к Петру: «О мощный властелин судьбы!»), и христианин Честертон как раз предостерегал от увлечения «темной мистикой человека судьбы». Вот и Ленин видится зомбированному им Саше Ленартовичу «сверхчеловеком», да и сам Троцкий вынужден признать: «Всюду берет как имеющий власть» (эта произвольная цитата из Евангелия не в Троцком уже, а в нас возбуждает мысль об Антихристе). Появление вождя в Петрограде, во дворце Кшесинской дано на контрасте между его «непредставительной», «негероической» человеческой оболочкой (глазами того же Ленартовича — одна из самых жестких зарисовок внешности) — и тем сверхличным, чем эта оболочка наполнена: «...что-то более сильное и горячее, чем сам Ленин, дуло через него как через трубу — и подхватывало лететь! И не страсть в голосе, нет, а как будто неотклонимо шла и прокладывала себе дорогу какая-то мощная машина». Такова двойная атрибутика человека судьбы. Вихрь, ветер, дующий в его паруса, сила, прокачиваемая через него, — то, что его подхватывает при «бланкистском» прыжке очертя голову и не дает упасть (вспомним одно из искушений Христа) и что ему не принадлежит как личности (даже в убогие дни Цюриха примечен «косо-крылатый» Ленин, — «вот взлетит сейчас над площадью»). И то, что входит в *личный* инструментарий такого избранника: машинная неуклонность, отсутствие какой бы то ни было моральной рефлексии, даже цинизма. В своем очерке из «Литературной коллекции» Солженицын выписывает из романа Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» понравившееся ему выражение: «Острый запах судьбы вокруг человека». Мало кому известный человек, распространяющий вокруг себя этот запах темной харизмы, в считанные недели становится и в обывательских, и в интеллигентских, и в мятежных петроградских кругах «модой» и «сенсацией» (слово «сенсация» повторено анализирующим апрельскую обстановку Солженицыным не один раз). После этого Октябрь Семнадцатого,

действительно, уже предreshен, и автор с полным правом ставит точку, ограничиваясь конспектом дальнейших событий, не исключая едва не ставший поворотным июльский кризис.

Отец Александр Шмеман, чья прикованность к личности и творчеству Солженицына надолго останется источником наших размышлений, восторженно оценивая художественную силу «ленинских» глав, тем не менее, совершает ошибку. Он принял изображение Ленина за портрет *психологический*. И тут действительно мог найти черты сходства между автором и его объектом. Речь не только о процессе таинственного художнического перевоплощения и избирательного использования своего внутреннего опыта как материала для образа («Я из сердца взял его» — Достоевский о Ставрогине, что, естественно, вспоминает Людмила Сараскина в своей биографической книге; «Мадам Бовари — это я», — приходится верить и Флоберу). Нет, того больше: между человеком судьбы и посланцем высшей, противопоставленной Силы — между носителями разного рода и з б р а н и я — не может не быть совпадающих психических точек. «Наибольшая плотность усилий, ведущих к цели»; страх «бесцельной потери времени», когда заболеваешь «от одного потерянного часа»; когда «собственный, даже малый просчет, днем и ночью сжигает»; особое отношение к прогулке как к энергообеспечению — все это характерно солженицынское, без колебаний переданное автором Ленину. Но, повторю, все дело в том, что в эпопее дан не столько психологический (как преимущественно в других случаях портретирования), сколько антропологический и онтологический портрет роковой персоны. То есть портрет, диагностированный духовно.

Отец Шмеман с удовлетворением отмечает, что Солженицын — не «мистик». И это справедливо: он не перескакивает в поисках надмирной аргументации, упрощающей задачу анализа, через земную данность. Тем удивительней то, что у него, так сказать, само получилось («это дивное ощущение, когда “все само начинает вязаться”», выплывает то, чего «я не подстраивал» — из «Дневника Р-17»). Так *сама* получилась смыслонагруженная топография ленинской внешности. Автор «Красного Колеса» стремился к минимуму описательности, минимуму традиционной изобразительности исторических романов а-ля Алданов, но что-то понуждало его снова и снова, сменяя преобладающую подачу изнутри на взгляд извне, будь то взгляд повествователя или очевидца, выкладывать, словно, мозаику, *состав облика*. При неподвижной нижней части лица, изредка мимически тревожимой чем-то вроде усмешки, и «упрятанных» глазах, в чей взор нельзя проникнуть, как в острие шила, важней всего оказывается архитектура верха, головы, как бы ушедшей в лоб. Это главный штаб ленинской, если восполь-

зоваться выражением Петра Струве, «инфернальной политики», котел, где она варится. И этот по-всякому примечаемый автором купол головы становится символическим лейтмотивом ленинского существа, ленинской начинки: «лоб, котлово наклоненный», «лысота непроницаемого котла», «катал и катал шар головы...», «огненные вихревые спирали, провинчивающиеся в мозгу», «кубышчатая лысая голова»; «Губы его под темно-рыжим накладом усов не выражали ничего, а весь центр и важность головы поднялись к раздутому куполу, и уши послушно прилегали к нему, не выдаваясь собою отдельно». А когда Ленин в унынии или растерянности, он клонит тяжелую голову ниц или даже как бы роняет ее рабочую часть: «...голова утопла в плечи <...>. И нос придавленным своим передом выставлен вперед».

Но этот огнедышащий мозг уже тронут тленом, столь же преисподним, как и вращающиеся в нем замыслы. «...У левого виска была пустотка»; «...Голову носил Ленин как самое драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов — аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвленно поражен <...> Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого <...> налетом зеленоватой пленки и ниточками, уходящими в глубину...» Это не «физиологическая критика» ленинской телесности, как было опять-таки с Наполеоном у Толстого и со Сталиным в «Круге первом». Ленин такого рода «разоблачению» не подвергается; телесные процессы его тактично обойдены и даже, как бы к его чести, несущественны; «ему можно было и мало есть, в нем энергия вырабатывалась почти и без еды». Нет, это спроецированный в ткань неуточняемой болезни духовный провал, «пустотка», бездна, которая его в конце концов поглотит — победителя, но «приговоренного преступника».

Еще одна доведенная до символа внешняя черта солженицынского Ленина — его монголоидность. О ней нередко говорилось в исторической лениниане, хотя Валентинов, отметивший как распространенное общее место это впечатление, пишет, что внешность Ленина показалась ему средневожжско-русской. Солженицын настойчив в выделении этого элемента: «выплеск взгляда разящего из монгольских глаз, и голос, лишенный сочной глубины, зато режущий, ближе к сабле калмыцкой»; «хитро-добродушный азиатский оскал»; «улыбнулся, как калмык на астраханском базаре, хваля арбуз»; «закованное азиатское лицо с реденькой рыжей бородкой»; «калмыцко-монгольский застывший взгляд». Как истолковать этот нажим в линиях антропологического портрета? Можно в первую очередь подумать, что для Солженицына тут важнее всего чуждость Ленина России, этой «ро-

гожной», «вечно-пьяной» стране с «невоспламеняемыми дровами». «Ленин был струна, Ленин был стрела» — таким виден он себе, да и автору. В сознание Ленина вписана досаждающая его мысль о четвертушке русской крови, которую он не ощущает как родную. (Думаю, Ленин все-таки понимал себя русским, что, конечно, не мешало его ненависти к традиционной России, между строк сквозящей и в написанной в начале мировой войны лукавой статье «О национальной гордости великороссов», кажется не отмеченной его антиподом.) Но «монгольский» мотив имеет более глубокие основания. Он звучит предостережением от воскрешаемого ныне евразийского приятия Октября и Ленина (о каковой тенденции, кстати, упоминала Рената Гальцева в своем докладе 1990 года «Ленин и Россия»). Эта степная стрела пущена в сердце оседлого русского бытия, — дает почувствовать Солженицын, чуждый «евразийского соблазна».

Не к области психологии, а к особому антропологическому типуажу относится у Солженицына и специфическая *психомоторика* Ленина. Невыносимость для него состояния физического покоя, когда «никакого простора бегать ногами», — один из признаков того, что в христианской аскетике называют одержанием. Во время перерыва в цюрихском библиотечном зале «Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь <...> в этом быстром настигающем хождении, шагом охотника...»; с «движениями ерзкими, суетливыми»; с перекидчивым оборотничеством: «как всегда, без инерции, мгновенно и без остатка, покинул прежний настрой и обернулся в новый», — делающим его неуловимым в слове и действии. Даже газетный репортер, возможно, и не читавший «Бесов», и не помнивший о Петруше Верховенском, зарисовывает: «...характерная голова и беганье по трибуне, ни минуты не может стоять спокойно, а все время бегают и скачет».

Это уже Ленин, так сказать, окончательный, после совершившегося в нем нового рождения, или своеобразного грехопадения. При всем единстве образа в Цюрихе мы видим до известного момента одного Ленина, а по прибытии в Петроград — уже чем-то другого. Тот Ленин, что был болезненно-драматически подвержен переходам от возбуждения к унынию и обратно, сжатию и распрямлению душевной пружины, что пасовал перед своей зависимостью от Инессы Арманд и столь человечно поддавался шепоту ревности, тот, кто бродил по альпийским горным тропам, и красота ландшафта прорывалась даже сквозь его безлюбовый взор (ибо введены эти пейзажи не совсем «от автора», а и в соприкосновении с сознанием центрального лица), кто еще мог остудить внутренний мотор, глядя с моста на покойную холодную воду реки, — такой Ленин навсегда умирает, чтобы воскреснуть в виде чело-

века-бомбы в немецком вагоне и на броневике Финляндского вокзала. Перерождение же совершается в ауре Парвуса. Это глубоко интимный акт, при котором сам Парвус, как помните, физически не присутствует.

Из «Дневника Р-17» мы узнаем, что писатель именно ради того, чтобы не жертвовать буквой исторической достоверности, за которую чувствовал себя ответственным, решил ввести фантазмагорическую сцену. В октябре 16-го Ленин и Парвус не встречались, но готовность Ленина поступиться «честью социалиста» (то есть своей идейной репутацией в международных левых кругах) и воспользоваться помощью воюющей против России империалистической державы вызревала именно тогда, при обдумывании «плана Парвуса». Плана того, кому — как неистовому заговорщику против самого существования России — Солженицын отводит огромную роль в сложении событий 17-го года. Парвус тут мог бы, как Петр Верховенский, воскликнуть: «Я выдумал первый шаг. Никогда Шигалеву (то есть социалистам-прожектерам. — *И. Р.*) не выдумать первого шага». Ленин же, определив точнее Парвуса будущий нужный час, подхватил этот «первый шаг» как равный, но еще более изощренный и осмотрительный соавтор.

И вот писатель, воспроизводя это «соавторство», предпочитает правдоподобной выдумке (какую, возможно, выбрал бы Тынянов, рекомендовавший давать волю воображению там, где кончается архивный факт)⁴ — ирреальную *невывдумку*. Свою фантастическую посылку он в том же «Дневнике...», как бы извиняясь, называет «легкими декорациями», способными, не исключено, вызвать улыбку у читателя: не гаснущая без подлива керосина лампа, Парвус, всей тушей выпрастывающийся из баула своего курьера, доставившего письмо с пресловутым «планом». Но получились не «легкие декорации», а тот самый «реализм в высшем смысле», какого добивался Достоевский, вместо улыбки пронизывающий нутряным ужасом. Солженицын непроизвольно стал на рельсы исконной традиции, которую Михаил Булгаков в своем случае использовал осознанно, — явление демона уже готовому к падению или падшему человеку: Мефистофеля — Фаусту, черта — Ивану Карамазову.

Да, Ленин у Солженицына — человек судьбы, то есть орудие попущенного «рока событий», но все-таки человек. Парвус — хотя его появлению сопутствует внимательнейший историко-биографический экскурс на манер «обзорной главы» — Парвус, явленный Ильичу, так сказать, в своем астральном теле, — нечеловек. Баул, из коего ему предстоит полуматериализоваться, очертаниями напоминает корпус свиньи, нечистого животного, в которое некогда были впущены басы. Изумительна своей ненавязчивой символикой, кошмаром, дан-

ным в ощущении, мизансцена: эти двое на старенькой аскетической кровати в комнатке Ульяновых, и Парвус необъятным боком теснит, теснит Ленина под скрип расшатанных пружин. «Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь!» Помнил ли автор, когда писал это, что Бегемот — один из средневековых демонов, знать мне не дано, но такое «переливание крови» сродни антипричастию; да и сам Солженицын в «Дневнике Р-17» подытожит то, что «неподстроено» получилось: «дьявольский дуэт».

Мне чудится, в «Марте Семнадцатого» запечатлен самый миг завершившегося обезчеловечения Ленина — миг, не побоюсь сказать, высоколирический. При первых, застигших врасплох, вестях и слухах о Февральской революции, гонимый сомнениями, прокручивая в больной голове срочные варианты тактики, — он, как всегда, дает напряжение ногам и совершает крутой подъем на Цюрихберг, с отворачиванием минуя скопления богатых вилл и пробираясь лесными тропами в высоту и тишину. «И тут же из темного леса, в послезакатной уже неполноте света, показалась женская шляпа, притянутая лентой, — затем сама женщина в красном — и светло-рыжая лошадь — Инесса?!.. <...> хотя никак было невозможно. <...> Да тут главной красавицей со знавала себя лошадь — из светло рыжей даже желтая, лощеная, уборно заузdana, переборчиво ставила стаканчики копыт. А всадница сидела невозмутимо или печально, смотрела только перед собой под уклон дороги, не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, внизу к скамейке придавленного, в черном котелке гриба.

И он просидел, не шевельнувшись, разглядывая ее лицо, черное крыло волос из-под шляпы.

Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач — ведь красиво! Красивая женщина! <...> Она проехала вниз, там дорога завернула — и только еще копытный перебор доносился немного.

Проехала, что-то еще отобрала — и увезла».

Для меня этот эпизод — одно из избраннейших мест русской прозы (привожу с небольшими сокращениями). После этого видения, знаменующего иную жизнь, иное, навсегда отобранное отношение к ней, мы уже встретим только Ленина-функцию: комету, увлекающую за собой в хвост, кукловода, дергающего адептов за «невидимые нитки», трубу, в которой гудит неопознанная сила. Человека, каков бы он ни был, больше нет.

Хочу обратить внимание на то, что Ленин не только не вычерчен по лекалам солженицынской «идеологии» (ежели таковая уяснима из публицистических сочинений писателя), но и сама ленинская идеология, то, что зовется *ленинизмом*, писателя интересует в гораздо меньшей мере, чем можно было ожидать. Кое-что означено: нена-

висть к религии и Церкви (не выносит колокольного перезвона даже в Цюрихе); отвращение к роскоши или к тому, что ему представляется ею («буржуазность»), и вообще ко всякому непотревоженному достатку («мелкобуржузность»); рядом с прозаической неразборчивостью практики отвлеченно-романтическое отношение ко всем свирепо-революционным предшественникам — от Спартака до в особенности якобинцев и Парижской коммуны; неприятие нормального землевладения и радикальное недоверие к крестьянской массе, к ее укладу (непременно — «Советы *батрацких* депутатов»!); наконец, о чем уже говорилось, война на уничтожение традиционного российского менталитета и всей вообще национальной органики. Но все это — не скрепы ленинского портрета, а штрихи на нем вскользь.

В основе же — не объяснимое никакими идеологическими и политическими выкладками восхождение к верховной власти человека, давшего овладеть собой метафизическому злу. Ленин, казалось бы разгаданный изнутри, у Солженицына все равно остается и даже нарочито отставлен *з а г а д к о й*. Ее разрешение — во всем ходе русской истории, не только прошлой, но и будущей; мы еще до этого разрешения не дожили. Быть может, она вообще неразрешима по сую сторону бытия, даже для выигравшего «земное соревнование» с протагонистом.

А что по ту сторону, нам знать не дано, — разве вот что: ныне между автором и его избранным персонажем, как сказано в Евангелии от Луки, «утверждена великая пропасть» (16: 26) и второй, оказавшийся не в силах помешать первому здесь, бессилен сделать это и там.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Отец Александр Шмеман именуется Солженицына антиидеологом и визионером, и мне приятно вспомнить, что я независимо от него произнесла те же слова в докладе 1991 года «Уроки Четвертого Узла».

² Как уместно процитировала слова самого автора Н. Щедрина в своей статье «Природа художественности в “Красном Колесе”» (в сб.: Между двумя юбилеями: 1998–2003: Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах / Сост. Н.А. Струве, В.А. Москвин. М.: Русский путь, 2005. С. 485).

³ Автор еще будет подкреплять этот символ в других обстоятельствах и масштабах. Например, колечко из красной резины на столе Гиммера-Суханова («Март Семнадцатого»): «...Оно кружилось, как пропеллер аэроплана. Вытягивалось, расширялось — откуда брался такой охват? И мелькало как сплошное, красное».

⁴ Точно так же Солженицын, твердо предполагавший не оставившую документальных следов важную встречу Ленина с Парвусом в Швеции, по пути в Петроград, тем не менее, не взялся ее описывать — не доверился услугам одного лишь воображения.

СОЛЖЕНИЦЫН — ПИСАТЕЛЬ ХХІ ВЕКА

Зимним утром, днем или вечером 1887 года отдохавший в Ницце отставной немецкий профессор зашел в книжную лавку. Это был очень близорукий человек, не любивший носить очки. Тем не менее маленькая библиографическая экспедиция оказалась неожиданно успешной, и вскоре затем профессор писал другу: «...Моя рука случайно коснулась переведенной на французский книги *L'esprit souterrain*... Инстинкт родства (или как его еще назвать?) среагировал моментально, и радость моя была чрезвычайной...»¹ Так Фридрих Ницше, в своем обычном рассеянии протянувший руку к книжной полке, нечаянно снял с нее перевод «Записок из подполья» и открыл для себя Достоевского, с далеко идущими последствиями для своей разработки концепции экзистенциального подполья, и тем более критики христианства и Церкви посредством культурно-психологического анализа личности Иисуса.

Ницше и Достоевский вместе с Бодлером, Рембо, Дарвином, Марксом (назову лишь несколько имен) — отцы-основатели парадигмы Современного. Все они люди девятнадцатого века, прочитанные и признанные, чудесным или роковым образом, в двадцатом.

Возьмем Достоевского и Ницше.

В романах Достоевского мы находим сотканых из противоречий (анти)героев, страдающих и бунтующих в семейных, городских, бюрократических, пенитенциарных контекстах. Причем его персонажи гораздо более современны двадцатому или двадцать первому веку, чем столетию, в котором они художественно обретаются. В стремлении обрести свободу они планомерно — и экзальтированно — пытаются превзойти законы Божии и человеческие, как Раскольников или террористы в «Бесах»; спрятаться в некоей экзистенциальной норке, чтобы оттуда поднять свое подземное, мышинное восстание против демократии, науки, прогресса, как безымянный протагонист «Записок...»; мистическим образом выцедить из себя допельгангера, как Голядкин, дабы вырваться из сумрачного, клаустрофобного лабиринта

жизни. Осторожно! Богоданный импульс к свободе может заставить ее искателя совершить убийство из одного лишь любопытства — или в качестве эксперимента — или чтобы завестись — или чтобы оттянуться — или просто так. В этом центральный парадокс Достоевского, его парадокс парадоксов.

Персонажи писателя психологически, эмоционально, идеологически корчатся на авторском крючке. Эти люди-оксюмороны пребывают в постоянном текстуальном периоде полураспада: кощунствующие праведники, здравомыслящие безумцы, общительные отшельники, человеконенавидящие гуманисты, трудолюбивые тунеядцы, сердобольные садисты, целомудренные развратницы.

Оглянитесь вокруг...

Согласно определению Людмилы Сараскиной «Бесы» — «роман-предупреждение». Если расширить эту формулу и дать ей страшный, телеологический оттенок, то история двадцатого века есть последовательность событий-подтверждений и личностей-подтверждений, цепь материализованных цитат, взятых из этого и других текстов Достоевского.

Ницше предвидел, предвосхитил, предощутил патологию Современного не менее остро, чем Достоевский.

«Безумие в отдельных личностей — явление достаточно редкое — но для групп, партий, народов и эпох оно является нормой», — писал он. Или:

«То, чем представилась при полном свете новейших времен французская революция, это ужасающий и, если судить о нем с близкого расстояния, излишний фарс, к которому, однако, благородные и восторженные зрители всей Европы, взирая на него издали, так долго и так страстно примешивали вместе с толкованиями свои собственные негодования и восторги, пока *текст не исчез под толкованиями*; так, пожалуй, некое благородное потомство могло бы еще раз ложно понять все прошлое, которое только тогда и сделалось бы сносным на вид»².

Замените фразу «французская революция» фразой «русская революция 1917 года» — и перед нами формула солженицынского Красного Колеса!

Экзистенциальный проект Ницше состоит в самоосуществлении индивидуума через превосхождение личного страдания, через его прорыв над распадающимся сознанием и фрагментирующейся общественной действительностью — явлений столь характерных для эпохи Современного. По видению немецкого «психолога культуры», такие страдающие, тонко мыслящие личности — эти избранные, окруженные «чандалами», стадно мыслящими и чувствующими (без)личностями, предводимыми стадными же вожаками. Ницшеанский сверхчело-

век себя превоссоздает, изобретая собственный, единоличный моральный кодекс и одновременно противопоставляя себя массовой посредственности и массовому конформизму.

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).

11 декабря 1918 года. Солженицын родился под сенью Блоковых Люциферовых крыл. Двадцатый век – русский двадцатый век – стал свидетелем распада цельных политических, нравственных, религиозных, культурных смыслов, предвиденного Ницше. Своей жизнью, творчеством, личностью Солженицын – участник Второй мировой войны, очевидец и летописец ГУЛАГа, борец с тоталитарным государством, аналитик и комментатор посткоммунистического обвала – противопоставил себя течению всемирно-исторической энтропии. В созданных им автономных художественных мирах он восстанавливал перерывы постепенности, собирал и воссоединял кусочки и осколки – «крохотки» – утерянных, искаженных, раздробленных традиций, идей и концептов. И конечно, представил читателю ряд ярких, страстных, мудрых автобиографических героев, на долю которых выпадает тяжелое личное и национальное страдание и которые это страдание осознают, преодолевают, превосходят. Которые восстают против муравьиной массовости и в этом смысле ведут себя по-ницшеански.

Я совсем не хочу сказать, что Солженицын – последователь Ницше, стихийный или тем более сознательный. Несколько лет тому назад я написал статью, где попытался показать точки *несовпадения* между этими двумя фигурами³. Солженицынские борцы против массовости, например Олег Костоготов или Георгий Воротынцев, верны именно тем кодексам морали, которые для Ницше ужасающе устарели. Но мне кажется, что ницшеанский проект индивидуального самоопределения и самоутверждения вопреки или даже благодаря жестокому, почти невыносимому страданию близок писателю.

Скажу больше. Солженицын для меня, безусловно, элитарный автор, причем в нескольких смыслах. Костоготов, Нержин, Воротынцев, быть может, Саня Лаженицын противопоставляют себя современной им теории и практике массовости. Но в то же время эти умные и талантливые люди окунаются, – вернее, окунуты историей – в плотную народную среду и именно в ней самоутверждаются и самоопределяются, хотя всегда остаются для нее аутсайдерами. То же

можно сказать об Игнатыче в рассказе «Матренин двор», абсолютно автобиографическом персонаже, обрисованном, однако, пунктирно.

В этом отношении показателен образ Сологодина в «Круге первом», личности, безусловно, незаурядной. Блестящий инженер, отважный зэк и удачливый соблазнитель красивых женщин, он предпочитает разговаривать на придуманном им Языке Предельной Ясности, осовремененном варианте «Славянорусского корнеслова» адмирала Шишкова. Сологдин обладает харизмой. Со своей «белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древнерусского витязя»⁴ он двойник Николая Черкасова в фильме «Александр Невский». Для вдумчивого читателя эта физиогномическая деталь является тончайшим интертекстуальным предостережением: вспомним уничижительные отзывы о фильмах Эйзенштейна кавторанга Буйновского и ветерана лагерей X-123 в «Одном дне Ивана Денисовича». Гипер-патриот и супер-славянофил Сологдин подчеркнуто манкирует Спиридоном Егоровым, едва ли не единственным «представителем Народа»⁵ в шарашке, послем от русского крестьянства в тексте произведения. Спиридон вызывает у харизматического инженера высокомерную усмешку, которую последний не пытается скрыть. Снобу Сологдину неведомо, что истинный джентльмен разговаривает с представителями всех социальных слоев одинаковым языком и тоном, как это делает его приятель Нержин или (в «Раковом корпусе») Костоглотов. В круглосуточном споре Сологодина с марксистом-ленинистом Рубиным, добродетельным адептом ошибочной, если не античеловеческой идеологии, Сологдин риторически и просто по-человечески проигрывает. Он предстает как позер, а его лексические и поведенческие завихрения — как пустой перформанс. Кстати, тут мы имеем дело с приемом, который часто присутствует у Достоевского: один неправильно мыслящий спорщик (Рубин) дезавуирует другого неправильно мыслящего спорщика (Сологодина). Истина рождается из столкновения двух не-истин.

Раз речь зашла о Спиридоне, упомяну также Ивана Шухова и Матрену Григорьеву. Подобно Спиридону, эти крестьянские персонажи отмечены печатью — не образования или интеллекта, но тонкой внутренней организации, деликатности, нравственного чувства. Они тоже духовно автономные личности; «ценные люди», если использовать определение Ницше. Однако в отличие от Нержина, Костоглотова, Воротынцева им не дано осознать себя социально или политически, сориентироваться в происходящем и его осмыслить — концептуализировать. Застигнутые врасплох историей, лишенные ею в прямом жестоком смысле семьи, земли, возможности простого человеческого счастья, они продолжают пребывать в том же внеис-

торическом, досовременном измерении, в котором жили их предки и родились они сами. Однако повторю: эти персонажи дают пример душевной высоты. Они способны подняться над барьерами национальности или класса. Спиридон понимает скорбь немецкого рабочего, потерявшего сына на Восточном фронте; благодарен немецким врачам за то, что они сумели спасти ему остатки зрения; становится настоящим другом для интроспективного интеллектуала Нержина. Но тот же Спиридон, эпически преданный своей семье, для которого она и родина, и религия, и социализм, неизменно принимает неправильное решение, когда трагические события двадцатого века выносят его на вне-семейную, политическую плоскость и ставят перед выбором или – или.

Впрочем, в «Одном дне...» Солженицын дал образ Тюрина – крестьянина, под теми же ударами исторического процесса пришедшего к ветхозаветной по форме, постхристианской по сути концепции исторической справедливости: «Все ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь»⁶. А сам Спиридон вырабатывает свой «критерий», в котором постхристианский элемент присутствует еще более brutally: «Волкодав прав, а людоед – нет!»⁷ В экзальтации ненависти он доверяет Нержину, что готов погибнуть с семьей «и еще милею людей», если атомный взрыв уничтожит «Отца Усатого и все заведение их с корнем»⁸.

Потеряно не все; непобедима воля,
Мечта возмездия и ненависть бессмертны,
И мужество всегда быть непокорным...⁹

Создатель этих образов осуществил литературное возмездие поколениям одержимых интеллектуалов, идеологизированных фанатиков и безликих бюрократов, убивших или лишивших счастья миллионы людей. Не говоря уже о том, что в своих художественных текстах он вылепил канонические образы Ленина – Сталина, зафиксировав их навеки как стадных вожаков стадных масс. Но мне кажется, что в этом литературном проекте возмездия присутствовал и личный элемент. Своими произведениями Солженицын десятилетиями спустя отомстил – текстуально и опосредствованно – «экспроприаторам экспроприаторов», низменным личностям, которые разрушили хозяйство деда, отняли обручальное кольцо у матери, разорили могилу отца.

Далее. Солженицын – великий интегратор. Он противопоставил себя дробящим тенденциям, определившим судьбу России в прошлом столетии.

Интегратор он, прежде всего, литературный.

В «Красном Колесе» и связанных с эпопеей тематически и структурно двучастных рассказах читатель сталкивается с эффектом эксперимента в гораздо большей степени, чем, скажем, в «Одном дне...» или «Раковом корпусе». Реалистическая модель, которую автор усвоил, освоил и развил в молодости и зрелости, оказалась неадекватной его новому эпическому проекту. И тогда он изобрел, а местами и позаимствовал (у Дос Пасоса, Замятина, Цветаевой, даже Набокова) ряд приемов и подходов, которые можно назвать модернистскими: в том смысле, что модернизм — это «единственное искусство, которое содержит в себе ответ на хаос нашей эпохи»¹⁰. Но если Солженицын модернист — другими словами, стилист Современного, — то он модернист, преодолевающий хаос, последовательно восстанавливающий и реставрирующий поверженные, искаженные, раздробленные смыслы, авторитетный, даже авторитарный проповедник абсолютной системы нравственных и эстетических ценностей. Тут он напоминает Т.С. Элиота или тех же Замятина и Набокова.

В девяностых годах прошлого века я возглавлял программу изучения русского языка Иллинойского университета в Санкт-Петербурге. Помню разговор между одним из преподавателей и нашими студентами в классе разговорного языка. Моя российская коллега попросила каждого из них перечислить, разумеется по-русски, членов своей семьи. Оказалось, что американская семья состоит из папы с мамой и полутора детей. Дяди, тети, кузены и кузины оказались вне этих генетических параметров. Коллега была изумлена!

Семейственность русского уклада жизни — характернейшая и очень привлекательная для иностранцев ее особенность. Семьдесят лет назад немецкий филолог Эрих Ауэрбах заметил, что когда русская литература в лице Достоевского и Толстого вошла в культурное сознание Запада, она была воспринята как продукт «великой и гомогенной национальной семьи»¹¹. Уход Солженицына — потеря национального патриарха, последнего семейного главы.

Но все-таки, почему Солженицын — писатель двадцать первого века?

Идеологии, события, персоналии двадцатого века были для него первичным литературным материалом. Он писал для современников. Однако читать его будут и потомки, а для них художественная, магическая сторона его романов и рассказов, наверное, будет значить очень много — может быть, даже больше их полемического, политического, исторического аспекта.

В «Войне и мире» Андрей Болконский входит в политические сношения с Михаилом Сперанским, а немного позже Пьер Безухов пускается в масонские изыски. Однако для нас реформы Сперанского

или масонское движение в России начала XIX века не определяют содержание произведения, так же как сельскохозяйственные занятия Константина Левина не определяют таковое романа «Анна Каренина». Мы не воспринимаем «Преступление и наказание» лишь как полемический ответ на книгу Наполеона III о Юлии Цезаре или другой роман Достоевского, «Бесы», как узкий пропагандистский выпад против Нечаева и его «Народной расправы», антинигилистическую филиппику *tout court*.

Так что теперь я хотел бы поговорить на мою любимую тему — о поэтике солженицынских произведений. В двадцать первом веке Солженицын наконец будет признан и понят в русской культуре именно как первоклассный художник, соразмерный своим предшественникам Достоевскому и Толстому не только как культурно-историческое и личностное явление, но и как великий архитектор суверенных художественных миров, как мощный литературный интеллект, как изощренный стилист. Задача филологов и текстологов, задача для двадцать первого века — показать и подсказать читателям, как писатель творил. Она уже осуществляется, причем не только в России, но и за ее пределами, о чем свидетельствуют доклады, представленные на нашей конференции.

Ницше как-то назвал Паскаля «единственным логическим христианином»¹². И если автор «Красного Колеса» христианский писатель — хотя такое определение далеко не покрывает всего спектра смыслов, содержащихся в его произведениях, — то он тоже представляется мне именно логическим христианином.

Действительно, литературные тексты этого писателя-математика очень структурированы и даже исчисляемы.

Возьмем главу 75 «Октября Шестнадцатого». В ней Солженицын изобразил Зинаиду, молодую невоцерковленную женщину, которая в противоречие стилю эпохи симпатизирует Церкви. Она думает об умершем ребенке: «Еще не вырвался из небытия, три четверти времени во сне — и туда же опять»¹³. (Заметьте фразу «три четверти»: она арифметична.) Затем Зинаида в смятенном состоянии духа входит в Уткинскую церковь в Тамбове. Озирается. Взгляд ее скользит вверх по арке столпа, вбирает в себя купольный свод («как малое круглое небо»), роспись на нем «Бога-Отца в облаках»¹⁴, икону Христа с большой розовой лампадой. Она видит сочетание розовости лампадного света и коричневости «вполне человеческого лица» Спасителя и странность иконного лика («спускались двумя косичками волосы, и нос был так длинен и тонок, как не бывает»¹⁵).

Подробности вполне в духе «Храмового действия как синтеза искусств» Флоренского!

И далее:

«Она думала, что если применить церковное понятие греха, то у нее грех — тройной.

Нет, четверной.

Нет, даже пятерной. (Без сопротивления насчитывалось, как на чужую)»¹⁶.

«Без сопротивления» — и потому, что насчитывает Зинаиде грехи всемогущий, всеведующий автор.

«Она соблазнила женатого. Она не поверхностно повредила, но своим настоящим *открыть* — во всю глубину рванула трещиной ту семью. Она покинула умирающую мать. Она покинула сына — ради возлюбленного. Она... Четыре. А где же пятый? Вился еще тут где-то и пятый. <...>

Ах, вот он, четвертый, или пятый, — как с корнем дернули из нее изо всей!»¹⁷

Заметьте слово «поверхностно»: оно геометрично.

Прижавшись лбом к Евангелию, чувствуя, но не видя серебряное распятие справа от себя, Зинаида исповедуется.

«— Я — соблазнила женатого. <...>

Уф, первый порог. <...>

— Я — заставила его открыться жене. И этим... думаю... разломала их жизнь... навсегда...

Второй порог. <...> »¹⁸

Зинаида признает, что скрыла беременность от умирающей матери:

«Нет, это — как колодезной бы кошкой, три крюка в три стороны, — и надо там, на темном дне души, найти горячий камень, нащупать, подцепить, а он не цепляется, а он срывается, он семьдесят раз срывается...»¹⁹

Наконец «голос... с подкупольным значением»²⁰ дарует пятигрешной Зинаиде отпущение.

Процитированный пассаж насыщен математическими величинами и понятиями. Цифры три и семьдесят — библейские, фольклорные; кошачьи крюки суть миниатюрные образные траектории; метафорический колодец — это цилиндр, вертикально вросший в метафорическую же землю. Божественная сфера над головой Зинаиды и темный цилиндр ее души — две противоположности. Но сфера накрывает цилиндр, и мистическое наложение одной геометрической фигуры на другую исцеляет душу грешницы.

А теперь обратимся к стихийному нищезанцу Олегу Костоглоту — персонажу духовно и телесно бунтующему против любой власти, будь она государственной, военной, медицинской, любовной.

Любовной властью над непокорным Олегом обладает умная, изящная Вера Гангарт, его лечащий врач. Описание их первой встречи в онкологической больнице насыщено библейскими нотами.

Пасмурная ташкентская ночь в январе 1955 года. По просьбе одной из санитарок Вера отправляется на первый этаж, чтобы урезонить некоего «безобразничавшего» больного. Там она видит лежащего на коридорном полу Костоглотова, ветхая шинель и сапоги которого мокры от непогоды. Он пришел сюда умирать. Это самое экстремальное состояние, в котором мы увидим героя повести на всем ее протяжении.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Че-ло-век, — негромко, с безразличием ответил он²¹.

Так женщина с говорящим, поясняющим именем *Вера* созерцает материализованную библейскую цитату: «Се, человек»²². Но это цитата и ницшеанская: название последнего трактата Ницше, в котором он пытался показать, что быть *только* человеком значит превзойти Христа.

Костоглотов же, как мы позднее узнаем, убежденный атеист, хотя отнюдь не воинствующий и, несомненно, Ницше никогда не читавший.

Глава 32 повести заканчивается следующей сценой. В этот день в Ташкенте опять пасмурно, но уже настала весна. Выздоровливающий Костоглотов входит в палату в момент, когда его сосед по койке, солдат Ахмаджан, поносит — *поносит* — зеков: «А их бы говном кормить!»²³ (Почти ту же фразу произносит в «Одном дне...» надзиратель, который разговаривает с тремя своими коллегами пока Шухов моет для них пол: «Дерьмом бы их кормить»²⁴.)

Костоглотов пытается понять:

«— Ты пошутил, да?

— Ничего шутил! Они — не люди! Они — не люди!»²⁵

Так в тексте вновь проскальзывает фраза «Се, человек», на сей раз данная в инверсии косноязычного, коснодушевного Ахмаджана, не ведающего, что он цитирует.

Оказывается, этот туповатый парень, «не развитый выше игры в домино»²⁶ (двое из надзирателей в «Одном дне...» — любители шашек), — лагерный охранник, советский эквивалент рядового подразделений СС «Тотенкопф», которые служили в нацистских концлагерях.

Вернемся к Вере. В ее комнате висит фотография:

«...Мальчишеское чистенькое лицо; незащищенная светлость еще ничего не видавших глаз; первый в жизни галстук на беленькой сорочке; первый в жизни костюм на плечах — и, не жалея пиджачного отворота, ввинченный строгий значок: белый кружок, в нем черный

профиль. Карточка — шесть на девять, значок совсем крохотный, и все же днем отчетливо видно, а на память видно и сейчас, что профиль этот — Ленина»²⁷.

Это фотопортрет погибшего на фронте Вериного жениха, который называл ее Вегой. Но это и описание ранней фотографии самого Солженицына, являющейся частью опубликованной иконографии писателя. Снимок был сделан в 1937 году, когда он учился в Ростовском университете, и лишь лик на лацкане был не Ленина, а Сталина: то был значок сталинского стипендианта. Всемогущий автор устроил так, что его очаровательная героиня в юности была влюблена в него самого, тоже юного! И пока Вера грустит и мечтает, глаза автора наблюдают ее со стены комнаты-кельи.

Вот пример изощренной и в то же время трогательной солженицынской интратекстуальности!

Наряду с образами Ленина и Сталина в художественных текстах Солженицына присутствует и ряд других известных в истории имен. Среди них министр Абакумов в «Круге первом» (гангстер и головорез, атлетическое натренированное тело которого автор, однако, вырисовывает с раннетолстовской любовью к плоти); маршал Жуков в рассказе «На краях» (способный военачальник, в каждой победе терявший больше солдат, чем противник, и не всегда верный воинскому кодексу чести); зашифрованный Константин Симонов в «Круге первом» (где он выведен под именем Николая Галахова, романиста и журналиста не без таланта, но и не без страха) и расшифрованный Алексей Толстой в рассказе «Абрикосовое варенье» (там он фигурирует как Писатель, блестящий, умный, циничный, даже игровой, знающий себе цену в переносном и прямом смысле).

Несколько слов об этом персонаже.

Действие во второй части «Абрикосового варенья», в которой изображен Толстой, происходит году в 1933-м. Знаменитый литератор рассказывает робкому реципиенту своих откровений профессору киноведения Василию Киприановичу о разработанном им методе обновления литературного языка:

«И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов Семнадцатого века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником — из груди пытаемого вырывалась самая оголенная, нутряная речь. ...Это — язык, на котором русские говорят уже тысячу лет, но никто из писателей не использовал»²⁸.

Заметьте субтильную ноту метаиронии: оказывается, десять веков подряд русские люди говорили (кричали, стонали) — под пыткой.

Вот такой Писатель (земли русской)!

Еще одна деталь. На письменном столе романиста возвышается «мощный чернильный прибор» «в виде Кремля»²⁹, юбилейный подарок от власть предержащих. Этот вульгарный бюрократический артефакт, который совсем не сочетается с репродукциями Мане и Серова на стенах, — у Писателя, надо сказать, недурной вкус — представляет собой копию точно такого же в домашнем кабинете прокурора Петра Макарыгина в «Круге первом»:

«Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением, чуть не в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой»³⁰.

Приведенные мною примеры *инфратекстуальны* в том смысле, что все они определяются элементом авторского самоцитирования, а в случае с портретом жениха Веры Гангарт — двухступенчато опосредствованного авторского самоизображения. Но не менее характерно для Солженицына *интертекстуальное* цитирование, синдром весьма распространенный в литературе модернизма.

Так, в «Круге первом» праздник на квартире Макарыгина по случаю награждения его орденом Трудового Красного Знамени в точности следует сценарию вечера в салоне Анны Павловны Шерер, которым открывается «Война и мир»: советская вариация на светскую тему.

Анна Павловна приглашает к себе двух иностранных знаменитостей, виконта де Мортемара и аббата Морио, которых она «сервировала своим гостям... как нечто сверхъестественно-утонченное»³¹. Макарыгин надеется, что присутствие его зятей Галахова и Володина на празднике впечатлит высокопоставленного коллегу, генерал-майора юстиции Словуту:

«Ради Словуты и стали так настойчиво звать Иннокентия, и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы выдающуюся компанию»³².

Володин входит в макарыгинский дом «с кислой физиономией»³³. Андрей Болконский озирает комнату «усталым, скучающим взглядом», а увидев нелюбимую жену, «с гримасой, портившею его красивое лицо... отвернулся от нее»³⁴. Причем Володин тоже отчужден от своей жены, Дотти.

Во время разговора Володина с Галаховым Дотти присоединяется к ним, и по-супружески наблюдательный Володин замечает, что «чуть подергивалась ее верхняя губа — это оленье подергивание, так знакомое и так любимое им»³⁵. А вот описание Лизы Болконской в салоне Анны Павловны: «Ее хорошенькая, с чуть черневшими усика-

ми верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась...»³⁶

Анна Павловна обеспокоена возможностью того, что склонный к серьезным интеллектуальным дискуссиям Пьер Безухов, «молодой человек, не умеющий жить»³⁷, произведет в ее гостиной какой-нибудь faux pas. Для хозяйки салона Пьер, которому еще только предстоит получить статус законного сына старого графа Безухова, — личность «самой низшей иерархии»³⁸. На вечере у прокурора присутствует такой же почти нежеланный гость, «давнишний и коренной неудачник»³⁹. Это друг молодости Макарыгина Душан Радович — вовсе не душевный, вовсе не радостный старый большевик. Язвенник, аскет и фанатик Радович, с нетерпением ждущий скорой войны за рынки сбыта между США и Англией, бродит по роскошной макарыгинской квартире, как призрак коммунизма.

Анна Павловна зорко наблюдает за тем, чтобы «разговорная машина»⁴⁰ великосветского вечера работала без перебоев. Советский партайбонза Макарыгин, разумеется, не обладает ее аристократическим французским, аристократическими манерами или аристократической осанкой, но та скромная мера общественных навыков, которая отпущена прокурору неласковым к нему автором, достаточна в данной сталинско-светской ситуации: «...Макарыгин напряженно маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Словуте все время было приятно и Галахову нескучно»⁴¹.

У Анны Павловны князь Василий Куракин, «состарившийся в свете и при дворе значительный человек», который говорит с «тихими, покровительственными интонациями»⁴², нехотя уступает настояниям княгини Друбецкой и соглашается оказать ее сыну протекцию. Параллельным персонажем на празднике у Макарыгиных является «государственный молодой человек»⁴³ Виталий Евгеньевич, референт в секретариате Президиума Верховного Совета. В свои двадцать четыре года Виталий выглядит много старше: редкие волосы, сдержан в движениях, «с достоинством подбирал нижнюю губу»⁴⁴. Молодая девушка, чей тяжело больной отец находится в лагере, обращается к нему с просьбой дать ход ее прошению о помиловании, но лысоватый подпарламентарий отвечает ей леденящим отказом...

«Макарыгинские» главы «Круга первого» содержат элементы еще одной переключки текстов. Голову прокурора (не)украшает пара оттопыренных ушей, похожих на «крылья сфинкса»⁴⁵. Такая необычная анатомическая деталь роднит его с другим высокопоставленным странноухим чиновником, Алексеем Карениным, который, несмотря на свои супружеские изъяны, был все-таки более достойным человеком, чем этот огрубелый представитель сталинской юстиции. Вспом-

ним также сенатора Аблеухова в «Петербурге» Белого, обладателя «совершенно зеленых... и увеличенных до громадности ушей»⁴⁶. В «некрасовской» редакции романа они имеют серо-зеленый оттенок и выглядят как бы «принадлежавшими труппе»⁴⁷.

Верно, что Солженицын прочитал «Петербург» лишь в Вермонте⁴⁸, годы спустя после окончания работы над «Кругом первым», но прелесть интертекстуальности, модернистской или общелитературной, состоит как раз в том, что она есть «непременное условие литературы, что все тексты сплетены из тканей других текстов, сознает ли это автор или нет», как замечает английский филолог — и писатель-интертекстуалист — Дейвид Лодж⁴⁹.

Слово «ухо», конечно, спрятано в фамилии Аблеухов. Для своего прокурора Солженицын выбрал фамилию не менее уместную; ржущую; имплицитно длинноухую: на сербском языке — приятель прокурора Душан Радович по национальности серб — *магарац* значит «осел».

В сочинении «По ту сторону добра и зла» Ницше писал о «моральном лицемерии повелевающих»:

«Они не умеют иначе защититься от своей нечистой совести, как тем, что корчат из себя исполнителей старейших и высших повелений (своих предшественников, конституции, права, закона и даже Бога) или заимствуют сами у стадного образа мыслей стадные максимумы, называя себя, например, “первыми слугами своего народа” или “орудиями общего блага”»⁵⁰.

Таков Макарыгин. Таков и Русанов.

С Русановым вообще интересно. Антигерой «Ракового корпуса» физиогномически, анатомически тоже интертекстуален. Его эмбриональные черты лица, белая кожа и мягкость тела напоминают гоголевского Чичикова, с которым его роднят и общие им (без)нравственные качества. Протагонист «Мертвых душ», предполагает Набоков, — «коммивояжер из Гадеса», гонец, *низ*-посланный Сатаной. Демоническое естество этого гонца из преисподней сквозит в его отвратительно склизкой внешности: «...Кругловатый Чичиков, можно сказать, составлен из тугих колец громадного червя цвета плоти»⁵¹. Заметим, что фабрика, на которой Русанов работал в далекой пролетарской молодости, выпускала макароны. Представим себе этого белесого молодого человека, пухлыми пальцами месящего тесто с тем, чтобы превратить его во вьющиеся, липкие трубки. Русанов — метафорическая макаронина. Недаром он недоволен своим сыном Юрием, начинающим сотрудником прокуратуры, когда тот снисходит к водителю грузовика, обвиненного в краже ящика *макарон*, и дает ему пять лет условно вместо пяти лет лагерей.

«Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя»⁵².

И еще одна причина, быть может самая главная, почему Солженицын — автор для двадцать первого века.

Очень любивший Россию писатель призывает и своих читателей любить ее. И он делает это не только в форме прямого публицистического обращения, не только нравственной и исторической направленностью своей прозы, но и ее прекрасной художественностью, чудесным образом эстетизированной конструкцией и фактурой. Конечно, призыв Солженицына был обращен в первую очередь к соотечественникам. Однако ведь его читают не только на родине и не только по-русски. По всему миру рассеяны люди, которых увлекают и вдохновляют его художественные миры и герои, их населяющие. Таким читателям он тоже помогает любить Россию.

А в двадцать первом веке России будет очень нужна любовь.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фридрих Ницше — Францу Овербеку. 23 февр. 1887. Цит. (с исправлениями) по: *Ницше Ф.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 798. Примеч. 60.

² Там же. С. 271.

³ *Темпест Р.* К проблеме героического мировоззрения (Солженицын и Ницше) // Звезда. 1994. № 6. С. 93–108.

⁴ *Солженицын А.И.* В круге первом. М.: Наука, 2006. С. 337.

⁵ Там же. С. 408.

⁶ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006–... Т. 1. С. 63.

⁷ Он же. В круге первом. С. 419.

⁸ Там же. С. 420.

⁹ *Мильтон Дж.* Потерянный рай. Кн. I. (Пер. мой. — *Р.Т.*)

¹⁰ *Modernism: A Guide To European Literature 1890–1930* / Ed. M. Bradbury, J. McFarlane. New York: Penguin Books, 1991. P. 27.

¹¹ *Auerbach E.* Mimesis. Princeton: Princeton University Press, 1953. P. 522.

¹² *Friedrich Nietzsche — Georg Brandes.* November 20, 1888 // *Nietzsche F. Selected Letters of Friedrich Nietzsche.* Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1996. P. 327.

¹³ *Солженицын А.И.* Собр. соч. Т. 10. С. 515.

¹⁴ Там же. С. 522.

¹⁵ Там же. С. 523.

¹⁶ Там же. С. 524.

¹⁷ Там же. С. 524–525.

¹⁸ Там же. С. 526–527.

¹⁹ Там же. С. 527.

²⁰ Там же. С. 529.

²¹ *Солженицын А.И.* Избранная проза. М.: Советская Россия, 1990. С. 320.

- ²² Ин. 19: 4–8.
- ²³ *Солженицын А.И.* Избранная проза. С. 640.
- ²⁴ Он же. Собр. соч. Т. 1. С. 21.
- ²⁵ Он же. Избранная проза. С. 641.
- ²⁶ Там же. С. 641.
- ²⁷ Там же. С. 552.
- ²⁸ *Солженицын А.И.* Собр. соч. Т. 1. С. 385.
- ²⁹ Там же. С. 379–380.
- ³⁰ *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 384–385.
- ³¹ *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1960–1965. Т. 4. С. 18.
- ³² *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 377.
- ³³ Там же. С. 377.
- ³⁴ *Толстой Л.Н.* Собр. соч. Т. 4. С. 22.
- ³⁵ *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 382.
- ³⁶ *Толстой Л.Н.* Собр. соч. Т. 4. С. 14.
- ³⁷ Там же. С. 17.
- ³⁸ Там же. С. 16.
- ³⁹ *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 384.
- ⁴⁰ *Толстой Л.Н.* Собр. соч. Т. 4. С. 17.
- ⁴¹ *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 382.
- ⁴² *Толстой Л.Н.* Собр. соч. Т. 4. С. 8.
- ⁴³ *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 392.
- ⁴⁴ Там же. С. 390.
- ⁴⁵ Там же. С. 389.
- ⁴⁶ *Белый А.* Петербург. М.: Наука, 1981. С. 13.
- ⁴⁷ Там же. С. 422.
- ⁴⁸ Беседа с Н.Д. Солженицыной.
- ⁴⁹ *Lodge D.* The Art of Fiction. New York: Penguin Books, 1992. P. 98–99.
- ⁵⁰ *Ницше Ф.* Соч. Т. 2. С. 317.
- ⁵¹ *Nabokov V. Nikolai Gogol.* Toronto: New Directions, 1961. P. 74.
- ⁵² *Ницше Ф.* Соч. Т. 2. С. 8.

Анатолий Разумов

С.-ПЕТЕРБУРГ

ОПЫТ РАБОТЫ НАД ИМЕННЫМ УКАЗАТЕЛЕМ К «АРХИПЕЛАГУ ГУЛАГ»

Опыт работы над Именным указателем для меня, прежде всего, есть дар общения с автором и редактором «Архипелага...» — Александром Исаевичем и Наталией Дмитриевной.

Я благодарен также составителю Указателя Надежде Григорьевне Левитской, благодарен Елене Цезаревне Чуковской — она всегда одобряет и поддерживает мои начинания, благодарен сотрудникам Русского Общественного Фонда Александра Солженицына — они берегли мой уют во время приездов в Москву.

Непосредственно же работа моя состояла в поиске дополнительных сведений о персоналиях и редактировании Указателя.

А было, а сложилось все так

31 декабря 2004 я, как обычно, работал у себя в Центре «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке — над двумя очередными томами «Ленинградского мартиролога», подводил итоги году, просматривал почту, отвечал на накопившиеся вопросы о погибших и пропавших без вести в советское время — о Гагариных, о неведомом мне Майском, родные которого полагали, что, может быть, именно он, а не дипломат Майский помянут в «Архипелаге...». И тогда можно написать Александру Исаевичу, и вдруг судьба эта прояснится... Я знал, что готовится новое отечественное издание «Архипелага...» с Именным указателем. И как-то само собой подумалось — доступен ли Указатель для работы. Изменив обычной привычке не задавать вопросы, я тотчас адресовал важнейший из них в Москву электронной почтой. После Нового года на службу долго не пускали. 6 января 2005 я открыл почтовый ящик и получил в ряду других писем важнейшее — с Указателем. В это время Указатель содержал 2164 аннотированные биографические записи, общим объемом пять авторских листов. Указатель составили Н.Г. Левитская, Александр Анатольевич Шумилин, помог материалами Николай Николаевич Сафонов. При первом же просмотре Указателя у меня появились

предложения по тексту. 12 января 2005 года, ряд таких предложений я отправил в Москву. 19 февраля был согласован и решен вопрос о моей работе по редактированию Указателя.

Задачи

Согласие — есть начало.

Но вот передо мною сам «Архипелаг...». Если кумулировать некогда услышанное от Лидии Чуковской, — книга новой, не всеми понятой формы и оглушительного содержания. Литературный памятник. Подход единственный: максимальное сбережение текста. В этом смысле, думаю, было просто, потому что для меня из основных правил: автор всегда прав. Что бы и как бы ему ни доказывали, он лучше чувствует ткань написанного и в каждом предлагаемом к обсуждению случае окончательное решение принимает сам.

Но неожиданно оказалось, что легко и с Александром Исаевичем. Книгу свою А.И. как бы оглядывал из иного времени и полнообъемно. К этому времени А.И., с одной стороны, уже был составителем сборника мемуаров «Поживши в ГУЛАГе» (М., 2001), с другой стороны — написал предисловие к капитальному своду документов «История сталинского ГУЛАГа», первый том как раз был издан Государственным архивом Российской Федерации (М., 2004). То есть А.И. прекрасно чувствовал огромный и новый пласт разнообразных источников по истории советского времени. А Указатель оценивал с точки зрения уточнения и дополнения текста. Пусть Указатель не всегда следует тексту, в Указателе допустимо слово «возможно»: «Понимаете, Анатолий Яковлевич, как эта книга писалась — бесконечно пряталась и перепрятывалась, дополнялась и уточнялась и перепечатывалась». Решающими для меня стали слова А.И.: «Терзайте меня вопросами сколько хотите».

Но вот передо мною Указатель, который продуман и подготовлен тщательно и профессионально. Следовало только попытаться найти несколько иную форму, по возможности сохранив все бесспорное и лучшее. Из формального:

1. Вывести из аннотаций авторские оценки персонажей — на это работает текст «Архипелага...», сдержанность — есть достоинство Указателя.

2. Обстоятельства неестественной смерти подверстать по возможности к датам или знакам вопроса в скобках — туда, в скобки, вернуть все эти хронологически повторяющиеся варианты (имеющиеся и дополнительно отысканные): «казнен», «четвертован», «повешен», «погиб при покушении», «погиб в бою», «покончил с собой», «расстрелян», «погиб в заключении», «повешен», «погиб при невыясненных обстоятельствах», «утонул»...

3. Ввести в аннотации указания на ряд источников дополнительных сведений — мемуаров по преимуществу.

4. Остальное — по чувству меры.

Работа

Форму Указателя А.И. принял полностью при предварительной подаче по материалам первых двух литер. Во всяком случае, я так понял по услышанным от А.И. высоким словам. Он сделал лишь два небольших фактических наблюдения-уточнения. И одно важное — именно то, чему я следовал интуитивно, без формулирования для себя: «Старайтесь, чтобы Указатель, в конце концов, не воспринимался как совершенно самостоятельное чтение».

Это и позволило заняться редактированием всерьез. Работа и состояла из двух этапов. Сначала — преимущественно с Указателем, обычная работа по поиску дополнительных сведений, раскрытию инициалов, установлению дат и мест событий. Затем работа с обращением от текста «Архипелага...», от контекста, — к именам Указателя и обратно.

Были привлечены дополнительные источники. Дело в том, что Шумилин завершил работу над своим вариантом Указателя к осени 1997-го. Для идентификации персонажей и составления аннотированных биографических записей он использовал опубликованные к тому времени справочники, мемуары, а также в ряде случаев архив общества «Мемориал». Левитская использовала более широкий круг источников. Надежда Григорьевна сама свидетель Архипелага, упомянута в «Архипелаге...», многолетний помощник Александра Исаевича, собиратель и составитель его биобиблиографии, ей посвящены строки в «Невидимках». И все же ряд важнейших источников не был в полной мере учтен к 2004 году, в их числе справочники «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР» (1998), «Кто руководил НКВД» (1999), компакт-диск «Жертвы политического террора в СССР» (3-е изд., 2004), упомянутый выше свод документов «История сталинского ГУЛАГа».

Помог и собственный опыт работы над «Ленинградским мартирологом», над Указателем «Книги памяти жертв политических репрессий в СССР», опыт участия в международном проекте «Возвращенные имена» по созданию электронного свода имен репрессированных.

Ряд примеров

На нескольких примерах покажу источники дополнительных сведений и характер уточнений.

Семья Сузи: Арнольд, Арно, Хели — свидетели Архипелага, друзья А.И., помогавшие ему в лагере и в Эстонии. Сведения уточнила Хели Сузи при личной встрече в Таллине.

Фаликс (Соколик) Татьяна Моисеевна — свидетель Архипелага, А.И. цитирует ее мысль: «Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него» (II: 508). Первоначально в «Архипелаге...» она Фалике (возможно, от не разобранный при переписке). Найдена и идентифицирована по созвучию фамилии в «Белой книге о жертвах политических репрессий» (Самара, 1997. Т. 1) и в «Одесском мартирологе» (Одесса, 1997. Т. 1). Сведения уточнила составитель «Одесского мартиролога» Л.В. Ковальчук (Одесский академический центр).

Белозеров Константин Семенович — соловецкий охранник. Первоначально в «Архипелаге...» он Белобородов. Источник сведений — воспоминания Д.С. Лихачева, сообщенные А.И. В лагерных записях Лихачева он именно Белобородов, видимо, Белозерову невольно приписывалась фамилия более известного чекиста. Позднее в тексте «Воспоминаний» Лихачева (СПб., 1995) он уже Белозеров. Архивные сведения о нем опубликованы в альманахе «Звенья» (М., 1991. Вып. 1), а также в книге Ю.А. Бродского «Соловки: Двадцать лет Особого Назначения» (М., 2002).

Соловецкие узники — основные источники сведений о соловчаных — воспоминания Д.С. Лихачева и О.В. Волкова. Список имен в «Архипелаге...» (II: 36) содержал ряд искажений. Так, оперный певец Георгий Григорьевич Асатиани первоначально был упомянут как Асоциани-Эристов. Фамилия его искажена как в документах госбезопасности, так и в мемуарах. Сведения уточнил составитель «Книги памяти жертв политических репрессий Красноярского края» А.А. Бабий. Сведения о нем и других соловчаных уточнены также по архивно-следственным делам, прежде всего по хранящимся в Петербурге.

Воркутинские узники (Кашкетинские расстрелы) — список имен в «Архипелаге...» (II: 257) уточнен по Книге памяти «Покаяние», в которой опубликованы документы о голодовке в Воркуте, включая заявление заключенных и список участников голодовки (Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий = Каитчӧм : Коми муын мыжтӧг мыждӧмаяс / Коми респ. обществ. фонд жертв полит. репрессий «Покаяние»; Обществ. редкол.: Ю.А. Спиридонов, И.Е. Кулаков и др. Сыктывкар, 2005. Т. 7. С. 107–135). Дополнительно по делам заключенных сведения уточнил составитель «Покаяния» М.Б. Рогачев.

Карпунич (Карпунич-Бравен) Иван Семенович — идентифицирован по одному из вариантов фамилии. Уточнена сложная фамилия и

звание — комполка. Сведения уточнил архив УФСБ по Самарской области.

Гандаль Берта Карловна — архивные сведения о ней содержатся в комментарии к мемуарам Анны Гарасевой «Я жила в самой бесчеловечной стране...» (М., 1997). Гарасева — свидетель Архипелага, история сестер Гарасевых передана в «Архипелаге...». Мемуары Гарасевой позволяют уточнить ряд персональных сведений. Так, в справку о Гандаль введена ссылка на мемуары, а также ремарка: «не все рассказы Берты Гандаль подтвердились».

Флоренский Павел Александрович — в «Архипелаге...» так переданы предания о его гибели: «Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно: сибирская ссылка (в ссылке писал работы и публиковал под чужим именем в трудах Сибирской экспедиции Академии наук), Соловки (кажется, создал там бригаду по добыванию йода из водорослей), после их ликвидации — Крайний Север и Колыма. И там занимался флорой и минералами (это — сверх работы киркой). Не известно ни место, ни время его гибели в лагере. (Есть слух, что он умер в 1938 на Колыме на прииске “Пятилетка”. Есть и такой, что до Колымы он не доплыл, потонул на одном из кораблей» (II: 544–545). Более десяти лет я занимаюсь поисками места гибели и погребения о. Павла Флоренского и того соловецкого этапа, в составе которого он был расстрелян. Дата гибели считается установленной согласно акту о расстреле. Долгое время я полагал, что это произошло в Ленинграде. В последнее время склоняюсь к тому, что до Ленинграда этап не довезли. Когда-нибудь это место станет известно, но лишь когда-нибудь, речь идет о надежде. Текст «Архипелага...» я рекомендовал оставить неизменным. Но предложил привести уточняющие сведения в виде сноски от редактора. Такая сноска введена.

Наконец, еще один персональный случай

«Вот, — сказал я Александру Исаевичу при обсуждении, — з/к имярек, ничего не могу отыскать о нем, ничем подтвердить или опровергнуть приведенные сведения. Нигде не находится. К тому же, обратите внимание, именно о нем пишется, что иголки загоняли под ногти. Эту историю оцениваю как своего рода народную правду, предание, как бесчисленные баржи, потопленные с заключенными. Иголки под ногти — очень уж сильно». Так и осталось в тексте «Архипелага...» о нем все неизменно, а в Указателе никаким определением кроме «з/к» его имя не сопровождается. Прошло полгода после издания «У-Факторией» обновленного «Архипелага...». Я заставил себя сесть за очерк «Скорбный путь соловецких этапов» к 8-му тому «Ленинградского мартиролога» и — отступать некуда — начал анализиро-

вать материалы о процедуре расстрела. Пора было подвести итоги осознанному. За долгие годы я стал свидетелем исследования Архипелага как историк и археолог. Принимал участие в раскопках крупнейшего расстрельного могильника — Бутовского полигона под Москвой (исследование проходило по благословию Святейшего Патриарха Алексия). Во время экспедиций на Соловки вместе с составителем «Поминальных списков Карелии» Ю.А. Дмитриевым мы нашли кладбище расстрелянных на знаменитой Секирной горе. Мне довелось расчищать переплетенные кисти двух рук, протянутых друг другу на дне глубокого рва, и держать в руках документы с пятнами крови. Я узнал, что сотням тысяч расстрелянных никто не сообщал о приговоре, а сам «приговор», как правило, был бессудным. Им говорили, что переводят в другое место, что ведут на медосмотр, профосмотр. Что считающихся расстрелянными также душили веревочными петлями и полотенцами, убивали деревянными дубинами, протыкали металлической пикой, придушивали выхлопными газами в фургонах по пути к месту гибели. Что при осмотре у них изымали личные вещи для сдачи в пользу государства, как указано в описях: микроскоп, чью-то готовальню, чью-то гармонь, чьи-то шинели, чьи-то ситцевые дамские платья, чей-то детский пиджачок, брюки, джемперы, шапки, сапоги, деньги, кольца желтого и белого металла, иконы, образки, кресты, царские монеты, зубы и коронки желтого и белого металла... И, представьте, нашел. Один из тех, кто отвечал за осмотр и расстрел большого соловецкого этапа, именно тот, кто протыкал живых людей металлической пикой с приваренным к ней молотком, говорил: «Люблю пощекотать под ногтями!» И загонял иголки под ногти. Даже не подследственным, а тем, кто отправлялся в безвозвратный путь к могильной яме.

Память об авторе

Есть в «Архипелаге...» описание: «На каких картах или в чьей памяти сохранились эти тысячи временных лесных лагучастков, разбитых на год, на два, на три, пока не вырубил ближнего лесу, а потом снятых начисто? Да почему только лесозаготовки? А полный список всех островков Архипелага, когда-либо бывших над поверхностью, — знаменитых устойчивых по десяткам лет лагерей и кочующих точек вдоль строительства трасс, и могучих отсидочных централов, и лагерных палаточно-жердевых пересылок? И разве взялся бы кто-нибудь нанести на такую карту еще и КПЗ? еще и тюрьмы каждого города (а их там по несколько)? Еще и сельхозколонии с их покосными и животноводческими подкомандировками? Еще и мелкие промколонии, как семечки засыпавшие города? А Москву да Ленинград пришлось бы от-

дельно крупно вычерчивать» (II: 481). Различные карты ГУЛАГа были созданы после этого описания. Одна из лучших, выполненная под руководством С.П. Сигачева, отмечена в сноске в новом издании «Архипелага...». Но ни одна рисованная карта не достигает силы описания, достигнутого методом художественного исследования. И видно по описанию: было где пропасть без вести.

А в памяти навсегда останутся реплики при обсуждении Именного указателя.

«Понимаете, Александр Исаевич, встают они передо мной, будто они здесь, с нами. Ведь как не хватает людей в России. Тут и герои, а я не нашел многих сведений о них. Плохо спится. Вот предстал я перед Грозным Судией, и он спросил: “Ты почему так мало сделал?” Проснулся в полном смятении, пришел в себя и думаю: “Как многое можно успеть”. — «Спите, Анатолий Яковлевич, много сделано, а все не найдется. Давайте к именам. Фалике на Фаликс? Меняем, да, в тексте меняем».

«Белозеров? Да не просите вы все время прощения. Я верю вашим источникам и доказательствам. Меняем в тексте».

«Ассоциани-Эристов — Асатиани? — меняем в тексте, с пояснением в Указателе».

«Карпунич-Бравен... — он сам мне так рассказывал, пусть останется».

«А вот здесь, Александр Исаевич, прошу прощения, “падла”. Бывает ведь и “падло” по написанию, отсюда “западло”...» — «Вы ведь только с именами, это зачем?» — «Важно текст лучше чувствовать». — «“Падла”, да. Много такого есть еще: “кодла”, “шобла”... Давайте к именам, Анатолий Яковлевич».

Помню разговоры перед возвращением А.И. в Россию. И настороженные: «К какому *лагерю* примкнет»? А мне казалось — легче дышать станет в России. Как хотел он здесь уюта, обустроенности.

Теперь А.И. ушел. Стало неприятнее. Но редко который день я не думаю: «Какая жизнь, Господи. Какой ответ Создателю». И становится светлее.

Михаил Голубков

МОСКВА

СОЛЖЕНИЦЫН В ШКОЛЕ

Приходится с грустью констатировать: в современной школе творчество А.И. Солженицына, величайшего художника XX века, создателя самобытной эстетической системы, философа, религиозного мыслителя, чье творчество имеет не только национальное, но и мировое значение, представлено крайне ущербно. В образовательном стандарте и в многочисленных программах по литературе для старших классов он выступает как автор двух рассказов 1960-х годов: «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор». В Стандарте среднего (полного) общего образования по литературе профильного уровня предлагаются фрагменты (они не названы) из «Архипелага ГУЛАГ», жанр которого к тому же определяется как роман. Таким образом, выпускник средней школы не имеет ни малейшего понятия о наиболее значимых книгах Солженицына: ни о повести «Раковый корпус», ни о романе «В круге первом», ни об эпосе «Красное Колесо», ни о рассказах 1990-х годов. О мемуарных книгах и о публицистике говорить просто не приходится.

Причин тому несколько.

Одна из них — положение литературы как предмета в современной школе. Часы на литературу катастрофически сокращаются. Современные чиновники от образования, включая двух последних министров, которые друг от друга отличаются лишь фамилией, убеждены, что *инновации в образовании*, которые они понимают как подключение к сети Интернет, отодвигают чтение на периферию образовательного процесса, делают его не только не престижной, но и архаичной формой получения знания. Они и их подчиненные на полном серьезе размышляют о том, что более полутора страниц современный школьник прочесть не может, т.е., по сути дела, утверждают приоритет клипового мышления, которое, вероятно, соответствует *инновациям в образовании*. При таком подходе литературе как сфере национального самосознания, формирования национально значимых идей места в школе нет.

Увы, вытеснению литературы из школы служит и пресловутый ЕГЭ, который внедряется, как картошка при Екатерине. Так как гуманитарное знание, и прежде всего знание литературы, не поддается формализации, то сами тесты ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам критики не выдерживают, о чем написаны горы статей, в том числе и автором этих строк. Общественные протесты привели к тому, что отменили не ЕГЭ по литературе, а саму литературу, раз уж она не укладывается в формализованные задания А, В и С. Ее исключили из списка обязательных предметов, сдается она теперь лишь по желанию — но в той же самой тестообразной форме. Поэтому задача школы, особенно в выпускном классе, резко изменилась: нужно не научить читать и понимать художественное произведение и соотносить его с историей национальной жизни (это архаика!), а подготовить к тесту. В результате пострадала литература XX века, начиная с Чехова и заканчивая Солженицыным.

А тут еще и перегруженность программы по литературе XX века! Один «Тихий Дон» с его четырьмя томами чего стоит.

Еще одна причина — в неготовности современного читателя понять литературу, требующую серьезного интеллектуального усилия. И вина здесь не только читателя, но и критика, который болен той же болезнью, и литературоведа, который порой просто ленится читать Солженицына и готов принять многочисленные мифы о его «нечитабельности», усложненности, затянутости, архаичности и т.д. К счастью, современное литературоведение избавляется от этой болезни, и свидетельством тому — сборник, который читатель держит в руках. И все же общественное сознание не развернулось еще в сторону серьезной литературы, в том числе Солженицына. Интеллектуальное чтение не стало (хочется сказать — еще не стало) престижным занятием, значимой формой частной и социальной жизни личности.

Творчество Солженицына показывает, что Россия много чего в XX веке пережила: две революции, две мировые войны, коммунистическую идеологию... И все же выходила, распрямляясь, с надеждой — даже одна из самых драматических книг писателя «Россия в обвале» этой надеждой дышит. Переживет наша страна и нынешнее положение в школе, и ЕГЭ преодолет — вот только какой ценой? И чтобы эта цена была наименьшей, уже сейчас нужно стремиться, невзирая на *инновации*, восстанавливать, во-первых, литературу в ряду дисциплин, формирующих гражданскую личность молодого человека, во-вторых, подлинную иерархию литературных репутаций минувшего столетия, в том числе и в школьном образовательном стандарте. И здесь имя Александра Исаевича Солженицына должно быть на одном из первых мест.

Подобный опыт уже есть. Автором этой статьи написан учебник для 11-го класса средней школы, он вышел в издательстве «Мнемозина» в нынешнем 2009 году. Насколько можно судить, в нем содержится первая попытка представить школьнику Солженицына — романиста, автора «В круге первом». Эта попытка оказалась возможной благодаря изданию в начале 2000-х годов ста томов библиотеки отечественной классики для школ Российской Федерации (издательства «Дрофа» и «Вече»). Тогда вместо нескольких рассказов 60-х годов в школьной библиотеке был опубликован роман писателя.

В учебнике предлагается анализ романа с точки зрения его жанра, композиции, системы персонажей. Но в центре оказывается нравственная проблематика, связанная с выбором, возможность которого есть у каждого из героев романа: компромисс с системой или же отказ от него. Проблема личной свободы или несвободы человека обуславливает этическую и философскую проблематику романа. Она же и определяет *концепцию личности*, предложенную Солженицыным.

Идею свободной личности в обстоятельствах, которые, казалось бы, лишают человека всяческой свободы, высказывает заключенный Бобынин в своей беседе с Абакумовым, утверждая себя значительно более свободным человеком, чем всемогущий министр МГБ: «Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самих. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима — чем еще можете вы мне угрожать? Чего еще лишить? <...> Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не в с е. Но человек, у которого вы отобрали в с е — уже не подвластен вам, он снова свободен»¹.

Свобода, о которой говорит Бобынин, отнюдь не внешняя. Это внутренняя свобода, свобода духа, которая доступна людям, наделенным даром интенсивной внутренней, духовной жизни. Таковы Бобынин, Нержин, Сологдин, Герасимович. Эти герои совершают важный жизненный выбор: сохранить блага шарашки, продолжая отдавать системе свой инженерный математический дар, дар изобретателей, или же, обрекая себя на неизвестность и мучения, отказаться от сотрудничества.

Проблема свободы или несвободы человека, центральная для романа, заставляет обращаться к системе персонажей. Оказывается, герои, принадлежащие разным хронотопам романа, при всем различии их жизненного положения существуют в рамках одной и той же социально-политической системы (которая трактуется Солженицыным как среда, как типические обстоятельства, воздействующие на

характер). Именно эта среда лишает героев всех степеней внешней свободы.

Поэтому нельзя воспринять систему персонажей как построенную по принципу противопоставления заключенных и их тюремщиков, свободных и несвободных людей. Это будет принцип ложного противопоставления: в равной степени несвободны все. Но различны варианты их несвободы: офицеры МГБ оказываются не только заложниками жизненных благ, которых могут лишиться в любой момент, — престижных квартир, дорогого хрусталя, фарфора, огромных зарплат, персональных машин и роскошных кабинетов — но и любого неожиданного политического поворота, который система продуцирует как бы сама по себе, без видимого участия людей, входящих в нее. Поэтому и ныне власть имущие неизбежно ощущают себя возможными будущими жертвами такого поворота.

Резко меняется положение Адама Ройтмана. Набирающая обороты кампания борьбы с космополитизмом грозит не только его карьере, но и свободе. Этот новый зигзаг системы парторг марфинской шарашки Степанов воспринимает с привычной готовностью: он с нетерпением ждет двух товарищей из Политуправления, «которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед границей», тогда линия партии будет прояснена, и он сможет выстроить свои отношения во вверенном ему партией коллективе. После их визита изменилось его отношение к еврею Ройтману и русскому Яконову.

Истинно свободными людьми предстают в романе те из героев, что сумели найти свободу в собственной душе — внутреннюю, тайную свободу в пушкинском смысле. Их свобода не зависит от внешних обстоятельств — зигзагов системы, расположенности или нерасположенности начальства. Лишенные системой всего — имущества, нормальной семьи, отцовства, свободы, — эти герои способны осмыслить собственное положение как позитивное и забыть заботы *самоустроения*, обретя свободу внутреннего *самостояния*.

В забвении забот самоустроения и в поисках истины самостояния и лежит философская идея, постигнутая автором и его мыслящими героями: Нержиным, Герасимовичем, Бобыниным. Самостояние требует жертвы — арестантскими благами шарашки, надеждой, пусть и призрачной, на скорое освобождение, на обретение семейного счастья. Но лучшие герои Солженицына идут на эти жертвы, выходя из конфликта с системой победителями и не соблазняясь компромиссами, предложенными ей.

Эти компромиссы могут быть различны. Вся жизнь Яконова — история одного большого компромисса с системой. На компромисс с

ней идет в итоге своих размышлений и Дмитрий Сологдин. От него отказываются Нержин и Герасимович. Но в любом случае предложенный компромисс ставит человека перед выбором и требует от него самоопределения. По Солженицыну, выигрывает и получает истинное освобождение сумевший отказаться от компромисса. В этом убеждает и разрешение конфликта в романе, и судьба его автора.

Нам представляется, что подобная проблематика романа весьма актуальна и вполне может быть осмыслена выпускником средней школы.

Однако необходимо отметить, что далеко не только роман «В круге первом» может быть представлен для подробного изучения в 11-м классе. Не менее интересным мог бы быть опыт прочтения «Августа Четырнадцатого», Первого Узла эпопеи «Красное Колесо». Возможно, это было бы важным шагом в развенчании мифа о «нечитабельности» «Красного Колеса». Ведь перед нами захватывающее произведение, в художественном и композиционном отношении завершенное, которое современный школьник мог бы прочитать именно как роман о войне, о любви, о великих исторических деятелях начала века, о царе и царской семье, о Столыпине и о его убийце... Известно, что в основе художественного метода Солженицына лежит строгий документализм. Иными словами, по его произведениям можно изучать историю. Введение в школу Первого Узла эпопеи дало бы возможность осветить малоизвестные обстоятельства начала Первой мировой войны, показать русскую жизнь на катастрофическом переломе, накануне великих исторических потрясений, против которых так восставал Столыпин, актуализировать его фигуру в сознании современного школьника. Это оказало бы и неоценимую помощь учителю-историку, получившему в подмогу такой материал.

Разумеется, если бы «Август Четырнадцатого» вошел в программу, то с неизбежностью встал бы вопрос о том, в каком соотношении он находится с эпопеей «Тихий Дон» М. Шолохова. В самом деле, две эпопеи в один год не поднять. Не боясь навлечь на себя гнев шолоховедов, скажу: Первый Узел «Красного Колеса» уместнее в школе, чем «Тихий Дон» — роман, очень во многом окутанный мифологией советской эпохи. Когда он в начале 1990-х годов появился в школьной программе как антитеза «советской» колхозной «Поднятой целине», многим это показалось странным тогда. И дело даже не в проблеме авторства (хотя без ее интерпретации не понять художественной концепции «Тихого Дона», запутанной и в основе своей противоречивой). Дело в композиционной рыхлости и даже противоречивости этого произведения, в странной и запутанной соотнесенности его фрагментов, на чем и строится гипотеза «двух авторов». На ней нет

смысла подробно останавливаться, ее аргументы хорошо известны и давно являются предметом ожесточенной полемики об авторстве романа между апологетами и скептиками.

Напротив, «Август Четырнадцатого» обладает безупречным построением. Его композиционным центром становится образ Столыпина, кульминацией — сцена его убийства, данная дважды, с двух точек зрения. Описание самсоновской катастрофы и философия истории Солженицына соотнесется в сознании ученика с философией истории Л.Н. Толстого. Единственным затруднением для молодого читателя могут быть главы романа, рассказывающие об экономике Томчака, воспроизводящие южнорусский диалект. Думается, учитель вполне сможет помочь преодолеть это затруднение.

Читать Солженицына и изучать его — большой труд. Однако без труда нельзя дать образование человеку, воспитать из него гражданина и патриота. И если вспомнить, что задача школы состоит в образовании и воспитании личности, а не в подготовке к гостестированию, то творчество Солженицына должно занять подобающее место в образовательных стандартах и программах.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ *Солженицын А.И.* В круге первом // Собр. соч.: В 9 т. М.: Терра, 1999. Т. 2. С. 110.

Прот. Борис Пивоваров

НОВОСИБИРСК

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН В ШКОЛЕ:
ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РОДНОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ

Дорогая Наталия Дмитриевна!

Дорогие организаторы и участники конференции!

Учитывая скорбную весть, которую мы услышали в первый день работы конференции, позвольте, не нарушая по времени регламента выступления, начать свое сообщение с ранее не запланированного предисловия.

Святейший Патриарх Алексей II в своем соболезновании в связи с кончиной Александра Исаевича отметил, что на жизненном и творческом пути писателю «выпало немало испытаний, которые он всегда принимал со смирением и христианским достоинством. Он вынес все тяготы Великой Отечественной войны, несправедливых судов и лагерей, а также высылку из родного Отечества. Много сил и энергии он отдавал любимому делу – литературе. Долгое время, живя в вынужденной эмиграции, он продолжал свидетельствовать об истине и нелегкой судьбе России XX века. Его выдающиеся, яркие произведения снискали заслуженную любовь и глубокое уважение многих людей как в нашей стране, так и за ее пределами. Александр Исаевич стремился сделать все возможное, дабы сохранить русскую литературу, обеспечить преемственность традиций. Он принимал деятельное участие в общественной жизни нашей страны, занимал активную гражданскую позицию, живо откликался на развитие социальной, культурной и духовной жизни в новой, обновленной России. Он был инициатором многих благих дел и начинаний. С большим воодушевлением Александр Исаевич относился к возрождению исконных традиций нашего народа, к сохранению богатого культурного наследия».

Скончался Святейший Патриарх Алексей в Патриаршей резиденции в Переделкине, близ храма Преображения Господня, где, побывав на пасхальной службе 10 апреля 1966 года, Александр Исаевич написал потрясающий рассказ – «Пасхальный крестный ход».

Вечная память Святейшему Патриарху Алексию и незабвенному Александру Исаевичу!

А теперь позвольте сказать несколько слов по теме, обозначенной в программе конференции: **«А.И. Солженицын в школе: обновление концепции преподавания родной истории и литературы»**.

Александр Исаевич, как известно, был замечательным учителем математики, физики, астрономии. При этом, в силу известных обстоятельств, он довольно долго скрывал от сотрудников и учеников свои литературные занятия. Но однажды как-то невзначай, мимоходом он сказал своим ученикам, которым преподавал математику: «Ребята, я лучше знаю литературу».

Что в те годы (а это был конец 1960-х годов) думал о школьном преподавании литературы и истории учитель математики и физики Солженицын, мы не знаем, но думал наверняка, поскольку сказал, что лучше знает литературу...

В телевыступлениях 1994–1995 годов писатель неоднократно говорил о проблемах образования, о школе:

«Образование в кризисе!» — четко говорил он.

«Необходимо национальное воспитание» — вот о чем заботился писатель.

Говорил он также о неравных возможностях обучения для детей богатых и бедных родителей.

А как говорил он о значении родного языка! «Язык — зеркало души». А «язык извратился»...

Давайте задумаемся, а как бы сейчас стал преподавать в школе историю России XX века и русскую литературу сам Александр Исаевич Солженицын? Ведь он был опытейшим школьным Учителем. Учителем с большой буквы, Учителем от Бога.

Когда я учился в школе, произведения Достоевского в школе не изучали. И о писателе Солженицыне тогда в школе не говорили, хотя рассказ «Один день Ивана Денисовича» уже был напечатан в журнале «Новый мир».

Произошли ли серьезные изменения в школьном преподавании русской литературы и отечественной истории за последние сорок или хотя бы двадцать лет? Естественно, произошли. И оценивать эти перемены, конечно, можно по-разному. На мой взгляд, одни несовершенные формы и методы преподавания таких важнейших воспитательных дисциплин, как отечественная история и родная литература, сменились другими — столь же или даже более несовершенными. В настоящее время в школьное преподавание интенсивно внедряются новые технологии, широко используются возможности компьютерного обучения, при этом существенного обновления содержания образования в таких образовательных областях, как история и литература, к сожалению, не произошло.

Сигурд Оттович Шмидт на выставке «Александр Солженицын и его время в фотографиях» очень убедительно сказал о сильнейшей источниковой базе произведений Солженицына. И о значении трудов писателя для развития краеведения Шмидт сказал очень выразительно. Жаль, что нынешние историки, составляющие школьные учебники по истории России XX века, значительно отстают от мощного источниковедения великого писателя.

Евангелие же Христово утверждает, что «не вливают вина молодого в мехи ветхие» (Мф. 9: 17) и не пришивают новую заплату к изветшавшей одежде (См.: Мф. 6: 16).

Реальное повышение качества образования зависит не от новой формы финансирования школ, не от перестройки системы управления школой, а зависит от коренного изменения в системе воспитания детей. Здесь-то особенно нужны книги Александра Исаевича Солженицына.

Хотя Александр Исаевич осуществил демифологизацию так называемой *советской литературы* и *советской культуры*, в целом преподавание литературы по-прежнему руководствуется принципами соцреализма. О сути соцреализма и его значимости он говорил: «Нашлись охотники писать немало критических исследований, — а я бы не писал ни одного, ибо он — вообще вне рамок искусства, ибо не существовало самого объекта — стиля “социалистический реализм”, а доступная любому бытовому взгляду простая угодливость: стиль “чего изволите?”» (Фома. 2008. № 12. С. 26).

Поэтому Солженицына особенно огорчало то, что «мертвенный лакейский соцреализм объявляли и представляли органическим продолжением полнокровной русской литературы».

В моих руках письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации (от 4 сентября 2008) «О методических рекомендациях по расширению изучения творческого наследия А.И. Солженицына в общеобразовательных учреждениях». В этом письме писатель назван «символом русской культуры XX века». Рекомендации, содержащиеся в этом документе, будут изучаться школьными учителями... Но ведь задача освоения школой литературно-исторического наследия Александра Исаевича Солженицына заключается не в том, чтобы приспособить его произведения к существующим реалиям и не лучшим запросам школы (где образование объявлялось услугой наряду с другими видами услуг), а в том, чтобы, осознав духовно-нравственный голод школы, утолить его доброкачественным преподаванием и изучением родной литературы, истории и культуры. Здесь как раз и помогут произведения Александра Исаевича Солженицына. Очень

хотелось бы, чтобы российская школа не упустила такой благодатной возможности.

Журнал «Источниковедение в школе», посвященный 90-летию Александра Исаевича Солженицына, здесь уже был представлен Людмилой Ивановной Сараскиной. Задача настоящего выпуска – содействовать более глубокому освоению российской школой творческого наследия писателя. Именно *освоению*, а не «*прохождению*». Насколько удалось достигнуть желаемого – судить читателю.

Хочется выразить надежду, что произведения Александра Исаевича Солженицына, будучи освоенными российской школой, помогут детям и молодежи полюбить родной язык, родную историю, родную литературу и культуру в целом и, что не менее важно для многих, многих детей России, – родную православную веру.

Тщательное изучение произведений Александра Исаевича в школе потребует новой методологии. Нынешняя методология преподавания родной истории и литературы слишком негибкая. Она разрабатывалась на идеологии антирелигиозного гуманизма, о кризисе которого в XX веке ясно свидетельствовал писатель.

Одним из приоритетных направлений современной государственной политики в сфере образования является духовно-нравственное развитие, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, формирование духовно-нравственной личности обучающихся в российской школе. Благодаря этому стало возможным и более полноценное определение понятия «образование».

Если в настоящее время в преамбуле закона «Об образовании» под образованием понимается «целенаправленный процесс *воспитания и обучения* в интересах человека, общества, государства», то с учетом поправок, внесенных Федеральным Законом № 309 от 1 декабря 2007 года, понятие «образование» может стать более конкретным и определенным. **Под образованием можно понимать целенаправленный процесс обучения, включающий духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а также развитие их национального самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан России.** Этому, несомненно, будет способствовать освоение всего творческого наследия великого писателя Земли Русской – Александра Исаевича Солженицына.

Людмила Герасимова

САРАТОВ

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ
ТВОРЧЕСТВА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
СТУДЕНТАМИ-ГУМАНИТАРИЯМИ
И ВОСПИТАННИКАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

А.И. Солженицын — писатель остро современный, художник XXI века. Но для студентов IV–V курсов, которым по 20–22 года, он прежде всего — писатель исторический. И здесь преподаватель сталкивается с неожиданной для себя сложностью в восприятии студентами историософии Солженицына. Историософия вообще для них архаизм — не лексический, а понятийный. Если лет двадцать назад выпускники советских школ, получившие псевдоцелостное представление об истории, но понимавшие его лживость, стремились к целостному постижению исторической **правды**, жадно вчитываясь в каждое слово «Архипелага ГУЛАГ», «Красного Колеса», романов А.И. Солженицына, — то у сегодняшних старшеклассников, да и у студентов часто отсутствует не только знание фактов, но сам **историзм** мышления. События в их сознании свободно «плавают» по векам, механизм причинно-следственных связей расшатан. Думается, что происходит это не только из-за бессистемного преподавания истории в 1990-е годы, существования полярно противоречивых учебников (что очевидно), но и под влиянием феномена «клипового сознания», продуцируемого СМИ, увлечения жанром «исторического фэнтези». У молодых людей возникает неверие в то, что можно узнать реальную правду. История представляется набором версий. И это чаще всего не угнетает, не тревожит. Возможно, в этой особенности современного мышления — одна из причин той легкости, с которой реанимируется советский исторический дискурс в официальных источниках и в массовом сознании. (Иногда, правда, студенты ощущают шаткость своих знаний о прошлом. Студентка-журналистка на вопрос анкеты «Что вам мешает проникнуть в художественный мир Солженицына?» ответила: «Часто наше поколение не может постигнуть весь смысл творчества Солженицына в силу того, что наше восприятие той эпохи искажено стараниями современных историков».)

В Духовной семинарии дело обстоит несколько иначе. Вчерашние школьники тоже плохо знают историю, но у них историческое мышление создается самой христианской парадигмой: евангельское мировоззрение исторично. Читая произведения А.И. Солженицына, веря писателю, они вдумываются в историю России, прежде всего через историю Православной церкви. Первокурсников семинарии волнуют значение раскола, степень достоверности в изображении Николая II, событий, связанных с отречением его от престола. Пытаясь понять исторический Узел «Марта Семнадцатого», самые вдумчивые сравнивают произведение Солженицына с историографическими источниками, с мемуарами.

Бывает, правда, и так, что наученные Солженицыным пробиваться к исторической истине, но не очень чувствующие специфику художественного произведения семинаристы задают неожиданные вопросы. Например: «Почему в таком замечательном произведении, как “Один день Ивана Денисовича”, истинно верующим выведен Алешка-баптист? Ведь от гонений православные страдали не меньше».

Студенты-филологи не склонны к сопоставлению исторических источников; их (если они втягиваются в чтение «Красного Колеса») увлекает история в лицах, страсти, борения персонажей, и через это начинают они задумываться над судьбой России. От наивного вопроса «Неужели это все так было?» при чтении «Архипелага...» чуткие молодые люди идут к психологической и экзистенциальной глубине, к историческим истокам, к бесценному опыту «одного из свидетелей и страдателей бесконечно жестокого века России», как говорил о себе Александр Исаевич.

Современное школьное преподавание не дает, к сожалению, увидеть в полной мере огромную силу Солженицына-художника, акцентируя внимание лишь на «содержательной» стороне его произведений. Поэтому студенты часто начинают говорить о нем готовыми формулами и словами, пытаясь с их помощью выразить свое отношение к прочитанному или заменить ими знание текста. Задача преподавателя видится мне в том, чтобы направить учеников, студентов к вдумчивому, непредвзятому чтению.

Тогда через Красоту, неопровержимость художественного мира читатель выйдет к Истине и Добру.

Через поэтику художественных произведений А.И. Солженицына стараюсь вести своих слушателей и в университете, и в семинарии к духовному содержанию его творчества. Например, показывая особенности **психологизма** Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ», в рассказе «Эго», в «Красном Колесе», обращаю внимание на **пневматологическое** его измерение, на сосредоточенность писателя на психологичес-

ких ситуациях, психологической динамике, связанных с законами «невидимой брани». С интересом воспринимают и студенты университета, и воспитанники Православной Духовной семинарии опыт пневматологического анализа текстов Солженицына, содержащийся в статьях протопресвитера А. Шмемана, опубликованных в 70-х годах прошлого века. Особую роль А.И. Солженицына о. Александр видит в освобождении русского сознания от «всех идолов, пленявших и пленивших его»; в «чуде совести, правды и свободы»¹, вырастающем из образной системы, композиции, языка, особой «зрительности» «Августа Четырнадцатого», из тона и темпа повествования. Шмеман пишет о празднике в душе, возникшем после прочтения «Августа...». Этот праздник — «как прорыв в какую-то глубину, как прикосновение к скрытой сути вещей, как приобщение тому, что *за* видимым, внешним и преходящим»².

Большинству студентов удается почувствовать в произведениях Солженицына не только страдание, боль, ужас перед бессмыслицей, но дух победы над злом, «оптимизм», как они говорят, «надежду». Важно в ходе занятий возводить толчки интуиций, наблюдений студентов, эмоциональное переживание ими текста к пониманию **природы** преодоления, победы в поединке со злом. Победы, о которой хорошо сказала О. Седакова: «Пасхальная победа, прошедшая через смерть к воскресению»³.

«Русский реализм Солженицына может быть понят по-настоящему только друзьями правды последней», — писал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)⁴. Большинству нынешних студентов нелегко встать на этот путь понимания. Многие из них охотно говорят о христианстве Солженицына, цитируют и Темплтоновскую лекцию, и «Россию в обвале», но внутренне сопротивляются последовательно христианскому осмыслению всей полноты жизни. Мирозрение, основанное на самоограничении (не только материальном, но и всяком ином), никак не примирить с идеологией успеха, внедряемой всеми способами, да и природно более притягательной. Современное эклектичное сознание противится проявлению последовательности даже в области этики: принимая «в целом» этические принципы, не распространяет их на «частные случаи» повседневной жизни.

Целостность мирозрения Солженицына не дает увильнуть и читателю от ответственности. И тогда студенты начинают говорить заемными словами о «морализаторстве», о «давлении» автора на персонажей и на читателя, о «травматичности» чтения «Архипелага...». «В его [Солженицына] произведениях очень много жестокой реальности. Это просто психологически тяжело, — пишет студентка IV кур-

са, — особенно если читать в школе. Это рано и отталкивает». Есть и другой путь самозащиты — перевод содержания произведений писателя на нетравматичный язык современных реалий. Этому способствует не только незнание понятийного языка описываемой эпохи, но и привычка быстро редуцировать любую психологическую ситуацию к набору знакомых «по личному опыту» стереотипов. (Так, студентка говорит о Русанове как о советском менеджере среднего звена, вспоминающем в больнице свою молодость, а главный смысл «Ракового корпуса» усматривает в том, что каждый человек хочет остаться живым любой ценой.)

Давление стереотипов заметно и в рассуждениях студентов о свободе личности в связи с произведениями Солженицына. Александр Исаевич говорит об «онемении» личности, о глубинном психологическом изменении человечества, разорвавшем связь с духовной традицией, а студенты нередко, соглашаясь с ним «в целом», транслируют современные либеральные представления о том, что человек тем более личностен, чем более «независим» от любых «коллективных» представлений (в том числе и религиозных), и тем, следовательно, он духовно свободнее.

В семинарии, естественно, восприятие духовной значимости творчества Солженицына гораздо глубже. Очень интересно размышляли первокурсники о памяти смертной, об испытании качества души, об отношении к страданию в «Раковом корпусе». Воспитанники говорят, что при чтении произведений Солженицына человек очищается от страхов, укрепляется, духовно сосредоточивается. Студент I курса пишет: «В своих сочинениях он [Солженицын] не занимается пропагандой религии, однако из его произведений можно увидеть его отношение к Богу».

Трудность преподавания состоит в том, что, идя за авторами пособий (прежде всего — шеститомный труд М.М. Дунаева «Православие и русская литература»), семинаристы напрямую соотносят реплики персонажей произведений с цитатами из Священного Писания, укоряют писателя, отождествляя его слово со словом героя, не учитывая процессуальность художественной мысли, полноту средств ее выражения. Единство духовного и эстетического анализа как необходимое условие постижения художественного текста восстанавливается постепенно. Но дорогого стоит радость молодых людей, открывающих в ходе эстетического анализа новые духовные смыслы.

Каждый раз, ища способ проникновения в глубину творчества А.И. Солженицына, убеждаешься в том, что триада «Истина — Добро — Красота» может быть понята и как **методологический принцип**.

Язык Солженицына и удивляет студентов, и привлекает, и... затрудняет, как некоторые из них говорят, понимание текста. Притягивают многослойность, символичность словесных образов, визуализация («Словно смотришь свой собственный фильм по этой книге», — отмечает студентка-журналистка), языковое богатство. Трудности восприятия, как мне кажется, объясняются разнонаправленностью языковых процессов: «языкового расширения» у Солженицына и языкового сужения повседневной разговорной речи, медиа-языка, sms-общения и общения в чатах. Быстро выветривается и память языка, если ею не дорожат.

И.А. Тарасова, профессор Саратовского педагогического института, провела интересный эксперимент⁵. Студентам II курса факультета педагогики, психологии и начального образования, прослушавшим в течение семестра курс «Лексикология», было предложено проанализировать четыре крохотки (по одной на каждого студента): «Петушьё пеньё», «Лихое зельё», «В сумерки», «Ночные мысли». Задания были даны такие:

1. Выпишите слова, с которыми вы раньше не встречались, попробуйте определить их значение (направлено на установление «степени неологичности» произведений Солженицына и их понятности для молодого читателя);

2. Есть ли среди слов авторские окказионализмы, неологизмы, устаревшие слова, возвращенные писателем в язык?

3. Какую роль играют эти слова в тексте? (Направлено на уяснение стилистической функции неологизмов);

4. Сформулируйте главную мысль крохотки (цель: установление корреляции между пониманием смысла текста и его неологической плотностью).

Анализ результатов эксперимента показал, что количество слов, воспринятых как новые, в два раза превысило расчетные показатели. Так, к незнакомым были отнесены слова *благодатный, понуро, сумерничанье, сиживали, прожекты, желчно, досмотр* и др. Наибольшие трудности вызвало определение значений слов «сумерничанье» (истолковано как ‘сумерки’), «изважены» (понято как ‘измучены’), «напорхнет» (воспринято как ‘начнется’, ‘настанет’). Отмечаются случаи в целом верных, но неточных толкований, без учета образности, эстетической функции, внутренней формы слова: «невылазность истории» (мыслится как ‘трудность, сложность’), «незашумленный» (‘с посторонними звуками’), «день тек досюда» (‘наступал день’), «обезлюженье» (‘демографический спад’). Трудным для студентов оказалось и понимание ключевых слов: «лихое зельё» толкуется как ‘посев’, «растеребленный смысл жизни» — как ‘неизученный’. В целом студен-

ты довольно четко разграничивают окказионализмы и устаревшие слова, хотя есть и ошибки, например, «сумерничанье» определяется как окказионализм, «огляд», «устояние» — как устаревшие слова.

Язык Солженицына в целом характеризуется опрошенными как «замысловатый», «точный», «тяжелый, многие выражения непонятны», «очень сложный язык», «текст насыщен словами, не очень понятными читателю».

Большинство участников эксперимента считают, что неологизмы Солженицына непосредственно участвуют в выражении главной мысли крохотки: «подчеркивают дух того времени» или «делают текст более выразительным, хотя и более сложным для восприятия».

Сложными для восприятия студентов оказались не только слова, но и сами понятия, ими выраженные. Когда будущие педагоги относятся к устаревшим таким словам, как *суетный*, *успокоение*, *благословенный*, *благодатный*, задумываешься о том, что им незнакома очень важная область жизни, которой принадлежат эти понятия. Тревожат редукция смысла крохоток, отсутствие духовной сосредоточенности, объясняемые не только бедностью языка читателей, их эстетической неразвитостью. Вот, например, как понимает студентка смысл крохотки «Лихое зелье»: «Когда человек ухаживает за растениями, они, наоборот, растут хуже, чем те растения, которые сами по себе растут и за ними нет никакого ухода». А вот еще два толкования главной мысли этой крохотки: «За свой труд всегда отвечает хозяин. Что он сделал — всегда для себя»; «У каждого человека своя ноша, которую он должен нести сам».

«Ночные мысли» восприняты на таком уровне: «Главная мысль в том, что когда человек очень устает за день, то ночью спит и ни о чем не думает; когда нет — ночью думает постоянно о чем-то». (Есть, правда, и более здравое умозаключение: «...надо в бесконечном потоке мыслей отсеивать мелкие, ничего не значащие мысли, а оставлять крупные, благодатные мысли».) В крохотке «Петушьё пенье» читатели увидели нравоучение: «Главная мысль состоит в том, что люди, как и эти птицы, должны жить так же беспечно»; «Главной мыслью крохотки является то, что нынешнее поколение в суете города совсем забыло о спокойствии».

Характерной особенностью и письменных работ, и выступлений на семинарах, и ответов на экзамене является стремление «перевести» текст писателя на более «простой», стереотипный язык, а не приблизиться к лексике, тону, строю авторской речи. Причина этого не только в неповторимости языка Солженицына, но и в устойчивой привычке к спекуляции на понижение, продуцируемой стилем бытового общения, языком СМИ.

Еще до того, как молодые люди задумаются над произведениями Солженицына, они уже втянуты в систему массовой культуры, усредняющей вкусы, «утягивающей», по словам Александра Исаевича, «просвещение — мимо подлинной культуры»⁶. Корни тревожных явлений современности — в глубине истории, и прежде всего — истории XX века.

А.И. Солженицын не раз говорил о том, что «русский язык от потрясений XX века — болезненно покорежился, испытал коррозию, быстро оскудел, сузился потерей своих неповторимых красок и соков, своей гибкости и глубины. А с разложения языка начинается и им сопровождается разложение культуры. Это — и символичное, и духовно опаснейшее повреждение»⁷. Как часто и лингвистам, и культурологам, и преподавателям всех уровней не хватает солженицынской отваги и последовательности в анализе современного состояния культуры. Мы все надеемся, что «великий, могучий» сам все преодолеет, все вынесет. Но не без наших же усилий. «Если судить по более близкой мне области художественной литературы, — говорил А.И. Солженицын на круглом столе Российской академии наук в 1997 году, — путь к восстановлению высоких уровней еще не закрыт, еще не отнят у нас, хотя и потребует большой концентрации способностей и усилий»⁸. И в 2000 году в беседе с Витторио Страда: «Я никогда не поверю, что наша литература может кончиться, оборваться. Она вынырнет, но при таком разорванном культурном пространстве — нелегко»⁹.

Остановить снижение культуры, по мысли А.И. Солженицына, нельзя без возвращения ей духовной составляющей: «Сколько раз мы могли уже убедиться, что суть всех исторических процессов — не на зримой поверхности, а в духовной глубине. Так — и возникший в нынешнем человечестве кризис мировоззрения и этический хаос. Так и культура не распахнется нам вновь в ее неискаженных глубинах, пока не возродится к тому нравственная почва»¹⁰. Справедливость этой мысли великого писателя открывается — откуда ни посмотри, хотя бы со стороны восприятия его собственного творчества молодыми людьми, для которых самое трудное и самое необходимое — медленно, «протеревши глаза», **прочитать** Солженицына.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Шмеман А., прот. Зрячая любовь // Вестник РСХД. 1971. № 2 (100). С. 147.

² Там же. С. 142.

³ Седакова О. Сила, которая нас не оставит // Фома. 2008. № 12. С. 30.

⁴ Иоанн Сан-Францисский, архиеп. Избранное / Сост., авт. вступ. ст. Ю. Линник. Петрозаводск: Святой остров, 1992. С. 336.

⁵ Результаты эксперимента использованы с разрешения И.А. Тарасовой.

⁶ *Солженицын А.И.* Исчерпание культуры?: Выступление на «круглом столе» Российской академии наук. Москва, 24 сентября 1997 // Собр. соч.: В 9 т. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2005. Т. 8: Публицистика: На западе. 1990–1994; В России. 1994–2003. С. 426.

⁷ Он же. Наука в пиратском государстве: Слово при получении Большой Ломоносовской медали Российской академии наук. Москва, 2 июня 1999 // Там же. С. 453.

⁸ Он же. Исчерпание культуры? С. 427–428.

⁹ Он же. Беседа с Витторио Страда 20 октября 2000 // Собр. соч. Т. 8. С. 502.

¹⁰ Он же. Исчерпание культуры? С. 428–429.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

На рубеже столетий многое меняется очень быстро, часто намного быстрее, чем предполагалось. Мы все, хотим мы этого или не хотим, живем в эпоху «предчувствий и предвестий», когда массовое отталкивание от психологии и культуры прошлого века и ожидание невиданной новизны сочетается со страхами, опасениями, эсхатологическими ожиданиями, а это, в свою очередь, порождает совершенно особую, странную и неустойчивую, декадентски сложную и во многом нездоровую атмосферу, в которой постепенно на наших глазах рождается новая культура XXI столетия.

Очевидно, что преподавать литературу в нынешней ситуации надо как-то по-другому, не так, как это делалось до сих пор, в частности, это относится и к преподаванию творчества Александра Исаевича Солженицына.

Вот, например, подготовишки, одиннадцатиклассники (а мне довелось более десяти лет преподавать литературу в центре довузовской подготовки при МГУП, а также в лицее при факультете государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова) приходят на занятия с полным набором школьных представлений, основанных на вульгарно-социологическом подходе к литературе. Увы, советская мифология царит в нынешней школе почти безраздельно. Грибоедов и Пушкин (так их научили) — это пламенные революционеры, а о том, что первый презрительно называл декабристов дураками, а второй после написания «Бориса Годунова» стал убежденным монархистом и противником «всяких насильственных потрясений», дети и не подозревают. Идеологическая предвзятость — это, пожалуй, главное, чему их учили. Более того, основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что, где бы ни учились одиннадцатиклассники, — в «обыкновенной» средней школе или в каком-нибудь высокооплачиваемом лицее, уровень их знаний очень плохой, причем с каждым годом опускается все ниже. А теперь, когда резко сократились часы преподавания литературы, учителя стали не просто разрешать, но часто уже почти требуют

списывать тексты домашних сочинений из Интернета — им так легко проверить... Связана эта ситуация во многом с тем, что качество подготовки современных школьных учителей является поистине ужасающим. Долгое время в советскую эпоху преподавание литературы было важной отраслью идеологического воспитания подрастающего поколения, а профессиональный уровень считался чем-то второстепенным, и теперь мы пожинаем плоды этой системы.

И поэтому первым делом приходилось говорить: забудьте то, чему вас научили в школе, теперь все будет по-другому. И выясняется, что А.С. Пушкина вполне можно (и нужно!) изучать по В.С. Непомнящему, Н.В. Гоголя — по В.А. Воропаеву, А.Н. Островского — не по кошмарной вульгарно-социологической статье Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», а по работам А.И. Журавлевой. И драматургию Чехова, оказывается, можно воспринять не в пошло-социологизированном духе, а по работам выдающегося чеховеда нашего времени В.Б. Катаева, причем все это реально и достижимо, хотя школа негодует и всячески сопротивляется. Так, например, одна моя ученица во время урока сказала своей школьной учительнице, что в пьесах Чехова проявляются черты театра абсурда — разумеется, она тут же получила «два» и гневный вердикт: «Чехов — реалист!» Иначе говоря, то, что нормально для вуза, в школе воспринимается как «апокалипсис».

Увы, Солженицына в школе если и изучают (нередко занятия организуются так, чтобы на неугодного писателя «не хватило времени»), то очень нередко это изучение превращается в «уроки ненависти» и школьников приучают с неприязнью и опаской воспринимать даже само имя писателя. Правда, есть и иные примеры, есть учителя, с интересом и без предубеждения относящиеся к его творчеству, но, к сожалению, анализ текстов, предлагаемый ими, оказывается нестерпимо примитивным, и связано это с проблемой подбора филологических материалов, на которые педагог так или иначе опирается. Таким учителям прежде всего я бы посоветовал прочитать статью британского ученого Майкла Николсона «Иван Денисович: мифы происхождения» (Континент. 2003. № 118), к счастью, она выложена в сети, в «Журнальном зале», а также статью О.А. Лекманова «“От железной дороги подале, к озерам...” (о том, как устроено пространство в рассказе А.И. Солженицына “Матренин двор”», опубликованную в его сборнике «Книга об акмеизме и другие работы» (Томск: Водолей, 2000). Обе статьи содержат глубокий, а главное адекватный, анализ произведений Солженицына, они написаны простым языком, так что вполне доступны для старшеклассников.

Кроме того, я считаю важным записывать и распространять среди учащихся тексты на DVD, что позволяет им получить большое количе-

ство высококачественной филологической информации (например, таким образом доступны работы Ж. Нива, Р. Темпеста, М. Николсона, Л.И. Сараскиной, М.М. Голубкова, С.В. Шешуновой, Д.М. Штурман, А.С. Немзера, С.С. Аверинцева, А.В. Урманова, Л.В. Лосева и других исследователей) и помогает опираться на достоверные текстологические источники и по-настоящему качественные литературоведческие работы. В наше время распространение текстов на компьютерных дисках очень облегчает жизнь, поскольку многие школьники и студенты не в состоянии приобретать большое количество книг.

Что же касается недавней президентской инициативы ввести дополнительные произведения Солженицына в школьную программу, то это начинание можно было бы только приветствовать, и, думается, в этом плане наилучшим решением было бы изучение «Августа Четырнадцатого». «Красное Колесо» — главное произведение солженицынского творчества, но эту эпопею трудно, да и не обязательно изучать целиком, а вот Первый Узел, «Август Четырнадцатого», давно уже пора бы было включить в школьную программу. Если бы... Если бы не вполне предсказуемое отторжение со стороны подавляющего большинства школьных учителей. Если же представить себе некий сценарий возможного изменения к лучшему (только пока еще не вполне понятно, хочет ли нынешняя власть этого *изменения к лучшему* или же взят курс на постепенное вытеснение литературы из школы), то оно прежде всего должно начаться с педагогических институтов, культурная обстановка в которых должна стать куда менее ретроградной и просоветской. Увы, наше все еще во многом архаичное общественное сознание пока продолжает цепляться за призраки тоталитарного прошлого, а это, в свою очередь, осложняет и без того достаточно катастрофическое положение в сфере гуманитарного образования.

На вузовском уровне (могу сослаться на семилетний опыт преподавания на русском отделении филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) восприятие произведений Солженицына существенно иное. Очень многие студенты живо интересуются литературой XXI века, в той или иной мере соотносенной с постмодернистской традицией, а о творчестве Солженицына у них представления смутные и по преимуществу довольно негативные. Но когда на лекциях и семинарских занятиях по новейшей русской литературе эти студенты, уже более или менее сносно разбирающиеся в творчестве В.Г. Соколова, Т.Н. Толстой, П.В. Крусанова и других современных писателей, начинают читать «Август Четырнадцатого», то их поджидает масса неожиданностей. Они-то думали, что будут изучать ретрограда, архаиста (именно такой образ создали в их сознании наши высокоум-

ные СМИ), а перед ними открывается потрясающе красивое и горько-трагическое повествование о гибели русской земли, о том, почему и как победила у нас революция, безбожная и кровавая... А еще их поражает смелость и новизна художественного мышления Солженицына. «Красное Колесо», как справедливо замечал В.М. Живов, «получает структуру, совершенно отличную от традиционного реалистического романа», а «формальная новизна» этого произведения до сих пор продолжает «приводить в смятение критиков»¹. Но дело тут не только в новаторских приемах. Конечно, средства сценарной драматургии («экран»), монтажа газетных материалов, главы, состоящие из фрагментов (каждый в несколько строк), смелое языковое новаторство, деконструкция единого образа автора, порождающая принципиально новый вид полифонии, использование монтажного стыка, коллажа и множество других приемов значимы и сами по себе, но в первую очередь они являются проявлением новаторского художественного мышления писателя.

Когда на спецсеминаре по современной русской литературе я предложил «сплотку» глав из первых двух Узлов «Красного Колеса», включив туда «самсоновские», «стольпинские», «шингаревские» и «ленинские» главы, а также финальные главы «Октября Шестнадцатого», это вызвало не только большой интерес среди студентов, но и во многом перевернуло их представления: «Я совсем по-другому представляла себе тексты Солженицына, — призналась мне одна студентка, — такое впечатление, что все это пишет абсолютно современный писатель!» И я полагаю, что она была права. Именно контекст литературы XXI века помогает по-настоящему глубоко и адекватно воспринять творчество Солженицына. Мы пока к этому не привыкли, а зря.

«Вперед, к новым берегам!» — примерно за год до смерти провозглашал М.П. Мусоргский, предвосхитивший множество гениальных открытий композиторов XX века. И мне представляется, что творчество Александра Солженицына зовет нас именно в эту сторону. Цепляться за осколки ушедшего бессмысленно. Несомненно, именно культуре XXI столетия суждено заново понять и освоить литературные шедевры этого писателя, творчество которого всегда было устремлено в будущее. И приближается время, когда это станет очевидным для всех.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Живов В.М. Как вращается «Красное Колесо» // Новый мир. 1992. № 3. С. 249.

Олег Алейников

ВОРОНЕЖ

СПЕЦКУРС О СОЛЖЕНИЦЫНЕ. ПОИСК ОРИЕНТИРОВ

Позволю себе отступление в прошлое...

С материалами спецкурса по творчеству Солженицына я начинал знакомить студентов, а затем — школьников в далеком 1989 году, когда возбранялось даже упоминать это имя в вузовской и школьной программах по литературе. Впрочем, я и не помышлял рассматривать обращение к прозе писателя на занятиях по теории и практике литературоведческого анализа как героическое деяние: ко многим вопросам, связанным с творчеством Александра Солженицына, выводила тема моей кандидатской диссертации о публицистичности как стилевой проблеме развития русской прозы второй половины XX века.

Если говорить о сугубо исследовательском интересе, то в «Архипелаге ГУЛАГ» я находил уникальный (и вместе с тем — показательный) материал для изучения особенностей функционирования прямого публицистического высказывания в структуре художественного текста. К тому же читательские отклики на «Один день Ивана Денисовича», их последующая судьба в творческой истории «Архипелага...» показывали, что для воплощения «боли и страданий миллионов» (слова А.И. Солженицына) опыта единичной жизни явно недостаточно, как недостаточно для воссоздания уникальных свидетельств и фактов — повествовательных форм, традиционных для художественного мышления XX века.

Изучение произведений Александра Солженицына в системе подготовки студентов-филологов, таким образом, совпало с необходимостью обращения к эстетически неординарному и значимому материалу, с задачей его осмысления на занятиях по теории и практике литературоведческого анализа на 4-м и 5-м курсах.

Стоит подумать: почему бы не использовать теоретические и специальные дисциплины, предусмотренные учебным планом по подготовке студентов-филологов¹, а также вузовские курсы по этике, эстетике, культурологии, истории философии и политической истории

для изучения более широкой проблематики, связанной с постижением творческого наследия А.И. Солженицына и сейчас, в наши относительно благополучные дни?

Даже в глухие и невнятные годы, когда писатель был в изгнании, на занятиях по теории и практике литературоведческого анализа мы говорили, например, о взаимодействии сюжета и фабулы в художественном тексте и рассматривали в качестве примера особенности распределения этих величин в повести «Один день Ивана Денисовича», показывая, как фабульная эмпирика, связанная с лагерным бытом, имеет тенденцию распространять свое влияние на сакральные и онтологически значимые сферы жизни. Именно поэтому, как мы помним, герой видит в процедуре обновления номеров переименованный обряд крещения и готов поверить, что даже дневное светило может подчиниться декретам советской власти. Анализируя архитектуру повести, мы устанавливали, как на уровне сюжета происходило опровержение этих претензий, приходили к выводу, что народная точка зрения, заявляющая о себе и на уровне внефабульных элементов, и сюжетно-композиционно, оказывается намного значительнее, чем лагерный быт и стоящая за ним социальная реальность.

О поэтике сказовых конструкций, принципиальной нетождественности рассказчика и повествователя, биографического и концептированного автора, о специфике субъектных и внесубъектных форм выражения авторской позиции мы говорили, обращаясь к тексту рассказов «Матренин двор», «Захар-Калита», «Случай на станции Кочетовка» (отрывок из последнего был опубликован в «Правде» и, кстати, циркулярным письмом Главлита не удален со страниц главной газеты ЦК КПСС).

Этими разборами мы занимались все-таки не совсем легально, но материал, что называется, вел. Отклики о наших экзерсисах дошли до начальства, и один из либерально настроенных профессоров, читавший, правда, весьма ортодоксальные курсы, два раза посетил занятия, но докладывать дальше по инстанции, видимо, не захотел. В памяти остались его произнесенные с явным сожалением слова: «Вы отдаете себе отчет, Ч Е М все это может закончиться?..»

Однако время распорядилось иначе: вскоре разрешили опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ», программа спецкурса «Александр Солженицын – художник и публицист» была утверждена на заседании кафедры русской литературы XX века. С того времени его слушателями не раз становились старшекурсники, а в лицеях, гимназиях и школах – старшеклассники и учителя, работающие в классах с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла.

Два наиболее общих принципа мы исповедуем в практике анализа.

Первый заключается в том, чтобы в рассуждениях, обобщениях и выводах идти прежде всего от текста, а не от тематической схемы (к сожалению, по-прежнему популярной в школьной практике). По моему глубокому убеждению, начинающие исследователи выбирают то направление рассуждений, которое им подсказывают самостоятельные наблюдения, полученные в ходе предварительной работы с произведением.

Вторую заповедь, не менее важную при обращении к классическому наследию (а таковым, безусловно, является творчество А. Солженицына), можно сформулировать так: «ПЕРЕД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ ВСЕ РАВНЫ. И признанные мэтры, и школьные учителя, и наши единомышленники – студенты и школьники». Очевидно, что такой подход не противоречит и рекомендациям Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации, изложенным в письме от 4 сентября 2008 года и подчеркивающим задачу изучать творчество А.И. Солженицына прежде всего с опорой на текст².

Понятно, что внимание к художественной конкретике, к творческой индивидуальности писателя, к эстетической феноменологии его художественного мира позволяет поставить на обсуждение в классе (или вузовской аудитории) вопросы поэтики и нравственно-философскую проблематику произведений Солженицына как единое целое.

Классика многомерна, не поддается изучению «по шаблону», каждый раз открываясь в зависимости от избранного ракурса анализа в разных созвучиях и семантических связях. Чтобы не впасть в грех излишней формализации, важно продумывать не только последовательность вводимого учебного материала, но и его способность восприниматься как часть незавершенного литературного процесса.

Случай Солженицына предоставляет благодатный материал для этой работы с учащимися.

Так, например, история опубликования повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор» позволяет говорить о выборе героя, об особенностях демократической среды преломления авторского голоса и о других вопросах интерпретации текста, но – вновь подчеркну – вся эта проблематика оказывается доступнее, если ее рассматривать как часть живой истории нашей литературы, а не застывшей музейной экспозиции.

На мой взгляд, больше всего сегодня может повредить писателю стремление иных чиновников от образования «расширить изучение наследия» привычными методами – приказом увеличить количество часов, не учитывающим ни места, ни времени, ни возраста аудитории.

И главное: не забывать, зачем предлагается «вдумчивое прочтение» его произведений вместо «обзорного» освещения на лекции творений «нобелевского лауреата». Попытаемся прислушаться к Натальи Дмитриевне Солженицыной: «Читать Солженицына в школе, я считаю, нужно, и не ради его самого, конечно. Там заложены ценности, которые сегодня не то что затоптаны... но считается, что они не обязательны. Якобы можно без них обойтись. На самом деле — нельзя. Без них не прожить достойной жизни»³.

Подлинное значение Солженицына как художника открывается в сокровенном читательском опыте, а не в очередной кампании по изучению творческого наследия классика, признанного таковым официальной властью, не всегда, правда, понимающей истинный смысл его выступлений и созданных произведений.

У школьников, например, вызывает неподдельный интерес рассказ о том, как на одной из своих «исторических» встреч с творческой интеллигенцией Н. Хрущев назвал Солженицына Иваном Денисовичем. Приводимые затем цитаты из отзыва К. Чуковского, охарактеризовавшего «Один день...» как «литературное чудо», открывают возможность сравнить столь разные отклики на прочитанное. С учащимися мы стараемся найти серьезные объяснения, почему так необычно в наивном и профессиональном читательском сознании воспринимался этот текст, задавший новый уровень жизненной и художественной правды и — в конечном счете — установивший особый эстетический рубеж, по своему значению для судеб русской прозы не сопоставимый ни с каким другим явлением той недолгой «оттепели».

Еще один резерв интерпретации (и преподавания) произведений Александра Солженицына заключается в понимании истинного масштаба участников литературного процесса.

Еще в 1990-е годы, когда «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» стали включать в программу общеобразовательных школ, само признание относительности привычных очертаний истории русской литературы советского периода, где персоналии и тексты были расставлены по сложившейся идейно-тематической иерархии, порождало желание многих учителей получить универсально ясные «концепции» и «версии», чтобы поместить творчество прозаика в привычные для изучения «тематические» блоки, переименованные в соответствии с изменившейся политической конъюнктурой. Но и сейчас школьникам предлагают размышлять «о судьбе человека в тоталитарном государстве» или о «лагерной теме в русской литературе». Подобная практика явно редуцирует восприятие произведений Солженицына и мешает адекватному их прочтению.

В поиске ориентиров для изучения творчества писателя важно не забывать, что именно ему в середине прошлого века было отпущено продолжить линию русской классики по постижению основ национальной жизни России в условиях исторической и культурной энтропии. И — возвращать веру в человека с позиций христианской и народной нравственности.

В школе традиционно удачно проходят занятия, построенные на сопоставлении моделей поведения героев, ориентированных на советский и явно ему противоположный — подлинно русский образы жизни (центральное место отводим вопросам изображения русского национального характера в повести «Один день Ивана Денисовича» и в рассказе «Матренин двор»)⁴.

Нельзя согласиться и с тем, что звезда Солженицына — совершенно одинока на литературном небосклоне российской словесности, что у него нет последователей, нет «учеников». Когда-то мне пришлось писать редакторам «Литературной России» о стилистической и духовной родственной восприимчивости писателей-деревенщиков, не раз подтверждавших продуктивность художественных открытий писателя для предпринятого ими исследования угасающей русской цивилизации на трагических изломах двадцатого столетия⁵.

Влияние создателя «Архипелага ГУЛАГ» на русскую литературу и публицистику XX века нам еще предстоит осознать. Незримое присутствие Солженицына было ощутимо и в подцензурное время. Сегодня доступны текстологические свидетельства, позволяющие на занятиях подробно говорить об истории создания текстов, предназначенных для открытой печати⁶, о феномене самиздата, о том, как писатель искал противоядие от цензуры, осваивая опыт русской классики и полемизируя с ним⁷.

У подцензурного повествования — своя логика, свои особенности⁸. Без знания этих неявных смыслов тексты Солженицына можно истолковать неточно. Такая опасность подстерегает читателя, не ведающего, что в условиях цензуры вырабатывались узнаваемые особенности поэтики А. Солженицына: склонность к выбору «говорящих» имен и фамилий, использование наряду с аллегорической (требующей единственной разгадки) многозначной иносказательности, обеспечивающей вариативность прочтения отдельных сцен, эпизодов, важнейших образов и сюжетных линий. В специальной литературе, посвященной А.И. Солженицыну, есть интересные работы, позволяющие найти точные ориентиры для понимания символических проекций его творчества.

«Архипелаг ГУЛАГ» — напротив — написан против всяких подцензурных «правил». Убежден, что эту книгу и в школе, и в вузе нельзя

изучать факультативно, так сказать, за скобками программы. Можно согласиться с тем, что объем материала слишком велик, можно принять замысел издателей, выпустить «опыт художественного исследования» в одном томе. Но для нашей работы... Не готов пока сказать, насколько этот путь облегчит изучение книги.

Двадцатилетний опыт преподавания произведений писателя подсказывает, что оптимальной формой может быть объединение исследовательских и учебных задач. На занятиях мы исходим из того, что «Архипелаг ГУЛАГ», соединяющий анализ с развернутой инвективой против человеконенавистнического режима, построен по аналогии с воображаемым открытым судебным процессом: от имени погибших и выживших узников ведется следствие, приводятся документы, факты многочисленных преступлений, выступают свидетели, звучат обвинения... Учащиеся находят многочисленные примеры, характеризующие столь разные «точки зрения», мы говорим об особенностях их созвучия в структуре повествования, о Солженицыне-мыслителе, о его философии свободы.

Отдельный сюжет спецкурса составляют вопросы, связанные с изучением архаики и эксперимента. Мы исходим из того, что с 1960–1970-х годов взгляды писателя на искусство, отечественную историю, в сущности, мало менялись. В публицистике, драматургии, стихах и прозе, дистанцируясь от «советского образа жизни», Солженицын отчасти идеализировал черты былой «подлинной России», по его мнению почти стертой с лица земли, искал пути возрождения «русского речевого склада».

Солженицын не создавал новых утопий. Предложенная им программа возрождения русского литературного языка была реализована в собственной художественной практике, а затем обоснована в статьях и предисловиях к собраниям сочинений, систематизирована в «Русском словаре языкового расширения». В работе с учащимися у преподавателя поэтому есть возможность, рассказывая об этой программе, самостоятельно выбирать тексты, в том числе созданные Солженицыным после возвращения в Россию (и прежде всего – «Абрикосовое варенье»).

Преодоление излишней социологизации и связанной с нею мифологизации – еще одна задача для всех, кто обращается к изучению творческого наследия А. Солженицына.

Исходя из опыта работы многих лет, могу сказать, что камнем преткновения в школе и вузе до недавнего времени были вопросы интерпретации таких взаимосвязанных величин, как биография писателя и текст.

Эти вопросы оказывались и продолжают оставаться в эпицентре ожесточенной идеологической борьбы и до самого последнего времени не перестают привлекать внимание исследователей.

Едва ли есть необходимость подробно останавливаться на разборе всех предложенных «версий».

Интересными мне представляются концепции М.М. Голубкова, Л.И. Сараскиной, доклад которой я с удовольствием слушал на пленарном заседании. Тема отнятой биографии у человека, писателя, страны действительно составляет важнейший смысловой мотив творчества Солженицына (здесь можно приводить примеры из текстов, созданных в разные времена).

Хотелось бы, впрочем, обратить внимание на одну характерную особенность воплощения этой темы. У Солженицына она во многом восходит к традиции восприятия писателя как объекта приложения метафизических сил, ведущих неустанную борьбу за его душу и природный дар письма.

Постановка в центр произведения жизни, имеющей общественное значение, в русской традиции восходит, очевидно, к опыту протопопа Аввакума (можно напомнить о его опыте изображения человека, оказавшегося в центре вечной борьбы Бога и дьявола, о соединении покаянного и проповеднического начал в структуре повествования).

Вокруг исповеди и проповеди — этих категорий русского общественного сознания — строятся многие тексты А.И. Солженицына, но особенно очевидно это на примере «Архипелага ГУЛАГ». Как отмечает Л.И. Сараскина, Солженицына «терзала совесть за то зло, которое он мог бы совершить в параметрах другой судьбы». Но повествователь в «Архипелаге...» пытается обнародовать факты всех мыслимых и немыслимых своих прегрешений (в том числе — чемодан, который за него несли другие арестованные, подписанная в тюрьме бумага, оставшаяся не исполненной). Критерий для покаяния в каждом таком случае один — отход от общенародной судьбы и этики. Всевозможные подробности и признания, не столь существенные для личной биографии, имеют исключительное значение для автора, для нравственного обоснования его позиции.

Только так — через полноту правды о себе — повествователь получает право на пророческое слово.

После уточнения этой проблематики мы выясняем с учащимися, почему в СССР, зарубежном изгнании, а затем и в России Солженицын шел против предсказуемого течения политической жизни, не сторонясь резких шагов и заявлений. Отдельное занятие посвящено публицистическим произведениям писателя, в разные годы выступавшего убежденным критиком «партийных идеологий», подавляю-

щих суверенитет личности. В одном из последних интервью он подтвердил, что не видит «органичности в политических партиях: связь по политическим убеждениям может быть и не стойка, а часто и не бескорыстна».

Духовно значимым ориентиром, спасительным для национальной и мировой истории, Солженицын считал способность каждого человека не поддаваться гипнозу внедренных в общественное сознание «идей» и «мнений».

В заключение скажу только, что произведения А. Солженицына принадлежат Большому Времени, их будут читать внуки и правнуки детей наших студентов. Но именно на нас, его современниках, лежит особая ответственность. На нас будут смотреть как на интерпретаторов и комментаторов, живших в одни и те же годы с великим писателем. Очень надеюсь, что мы со смирением и доброй волей подойдем к решению этих задач, забыв о полете безудержных, а подчас и безответственных фантазий.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Меня не оставляет уверенность в том, что для значительного расширения знаний о писателе и ценностях, которые он отстаивал, нужна добрая воля всех, от кого зависит подготовка новых поколений граждан нашей страны.

² О методических рекомендациях по расширению изучения творческого наследия А.И. Солженицына в общеобразовательных учреждениях: Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России № 03-1905 от 4 сент. 2008 г. // www.educom.ru/gu/departament/news.

³ «Архипелаг ГУЛАГ» прожигает сердце»: Интервью Н. Солженицыной // Известия. 2008. 8 сент.

⁴ См.: *Алейников О.Ю.* Уроки по творчеству Александра Солженицына: (Пособие для учителей, работающих в классах с углубленным изучением литературы). Воронеж, 1992. С. 10–19.

⁵ 18 июля 1989 г. заметка была принята к печати, но затем отклонена по цензурным соображениям (хранится в архиве автора).

⁶ См., напр.: *Петрова М.* Первый опыт работы текстолога с автором // Между двумя юбилеями: 1998–2003: Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах / Сост. Н.А. Струве, В.А. Москвин. М.: Русский путь, 2005. С. 424–436.

⁷ Подробнее см.: *Алейников О.Ю.* Особенности подцензурного повествования: «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского и «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж. 1998. Вып. 11. С. 19–29.

⁸ См.: *Алейников О.Ю.* Из редакторского опыта А.Т. Твардовского (две цензурные истории) // А.Т. Твардовский и русская литература. Воронеж, 2000. С. 22–32.

Нэллн Щедрина

МОСКВА

СПЕЦКУРС:
«КРАСНОЕ КОЛЕСО» А. СОЛЖЕНИЦЫНА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Спецкурс как вузовская форма обучения рассчитан на работу с небольшим количеством слушателей, которые уже в целом знакомы с наследием А. Солженицына. И задача преподавателя – вовлечь студентов в процесс научного творчества. Применить интегрированный подход к изучению «Красного Колеса», которому в общем курсе не отводится достаточного места. Это становится возможным, если рассматривать произведение через призму русской исторической прозы.

А. Солженицын чутко относился к молодежи, интересовался восприятием ею эпопеи, о чем свидетельствует реакция на полученное письмо от студентов нашего университета весной 2004 года и ответы на вопросы, заданные по этому поводу. На семинарском занятии на тему «Двучастные рассказы А. Солженицына» возникали споры не только о героях рассказа «Молодняк», студенте Коноплеве и профессоре Воздвиженском, но и о кульминации, о том, почему заключительная фраза «Через неделю его освободили» удалена от основного текста еще на одну строку. Почему обеих героинь из одноименного рассказа зовут Настеньками, как имя связано с финалами «двучастных», можно ли говорить о «воскрешении» героини в том и другом случае? Солженицын включился в диалог рьяно, одобряв студентов за проникательность, интересовался, узнали ли они в «знаменитом Писателе» из рассказа «Абрикосовое варенье» Алексея Толстого или потребовался «наводчик» в лице преподавателя.

Занятия по малым формам солженицынских произведений проходят традиционно гладко. Обеспокоен писатель был прочтением десяти томного романа «Красное Колесо», через повествовательную структуру которого просматривается сущностная модель русской истории и революции. А наши студенты от нее далеки, их интересует модель будущего. А как их к ней приблизить? Роман-эпопея создавался ради предупреждения следующего этапа обвала России.

Спецкурс, посвященный соприкосновению произведений исторической прозы, и отечественной, и русского зарубежья, с романом

А. Солженицына, способствует выявлению вершинной роли «Красного Колеса» в литературе XX столетия. Для этого избраны романы писателей русского зарубежья — М. Алданова — «Истоки» (1946), «Самоубийство» (1957), В. Максимова «Заглянуть в бездну» (1990). В один ряд с ними поставлены: цикл Д. Балашова «Государи Московские» (1977–1997), роман Ю. Трифонова «Нетерпение» (1973), произведения Ю. Давыдова («Глухая пора листопада» (1970), «Завещаю вам, братья...» (1975), «Соломенная сторожка» (1986), «Бестселлер» (2000)), принадлежащие литературе метрополии. Этих писателей объединяет с Солженицыным стремление к переоценке устоявшейся точки зрения на предшествующие этапы исторического движения России.

А. Солженицын считал автора цикла «Государи Московские» самой крупной фигурой в отечественной исторической романистике 70-х — 90-х годов XX века. Его дети в Вермонте учили русскую историю по книгам Д. Балашова. Об этом говорил А. Солженицын на встрече с автором цикла романов «Государи Московские» по возвращении из изгнания, назвав его «талантливым писателем» и «заочным учителем» своих сыновей¹.

Через анализ концепции цикла «Государи Московские» просматривается обращение Солженицына к тем кризисным и переломным факторам, которые способствуют реализации сознания главных героев, как исторических, так и вымышленных, объясняют их нравственно-психологическое состояние. Д. Балашова и А. Солженицына роднит ориентация на «смолистый» Русский Север, где рождались характеры чистые, крепкие и здоровые. Д. Балашов исследовал ранний период формирования русской государственности, то, с чего начиналась Русь, А. Солженицыну важно было то, чем это все закончилось и в чем нынешняя трагедия России.

В «Красном Колесе» четко проступает мыслительное и философское начало произведения, что позволяет вести разговор об его историко-философской основе. Материал спецкурса позволяет обратиться к основоположнику «романа философии истории»² в XX веке Д. Мережковскому. Как и Мережковский, Солженицын создает свою философию, выстраивает свой индивидуальный мир, нередко философская доктрина подчиняет весь художественный строй произведения. И того и другого называют пророками русской истории, только в разные периоды XX века.

Из этой же плеяды первой волны эмиграции исторического романиста М. Алданова, современника Октябрьской революции, интересовали события, перевернувшие русскую империю. В «Истоках» (1946) и «Самоубийстве» (1957) заложена мысль, близкая автору «Красного

Колеса», начавшего в эти годы работу над Первым Узлом, — об истоках русской революции в России и влиянии ее на XX столетие в целом. Оба писателя рассматривали русскую историю в контексте мировой. По их мнению, всякая революция по своей природе ужасна и другой быть не должно.

В трактовке событий революции и Гражданской войны есть общее между А. Солженицыным и В. Максимовым. Оба полагают, что русский народ, не будучи скованным окаменелыми формами жизни, обладает свободой духа для выполнения великих задач грядущего. Что Россия станет центром интеллектуальной жизни Европы в том случае, если усвоит все, что есть ценного в Европе и начнет осуществлять свою Богом предначертанную миссию.

В центре романа В. Максимова «Заглянуть в бездну» (1986, 1990) трагическая судьба сорокалетнего адмирала Колчака — прославленного в Русско-японской войне флотоводца, пережившего революцию на флоте и давшего согласие возглавить сухопутную армию в борьбе против красных, расстрелянного чекистами без суда и следствия.

Как и в «Красном Колесе», адмирал Колчак нарисован талантливым военачальником, человеком долга, любящим Россию, опирающимся на лучшее русское офицерство и простых солдат, идущих за ним. Ни одно из этих качеств не реализовало своего истинного предназначения. А. Солженицын раньше В. Максимова обратился к Колчаку и изобразил его в тот период жизни, когда еще были надежды на преобразование России и созидание, обреченности в адмирале нет. От начала до конца повествования он полон бодрости, сил. Как И. Бунин, А. Куприн, автор «Красного Колеса» считал, что к поражению в Сибири его привели не личные качества, а малодушие разложившегося после отречения царя русского общества и предательство союзников.

В. Максимов периоду марта и апреля 1917 года не уделяет большого внимания, а сосредоточивается на внутреннем противостоянии Колчака той силе, которая ввергла его, морского адмирала, в сухопутную стихию.

К «Красному Колесу» тяготеют произведения советского периода Ю. Трифонова и Ю. Давыдова. В их романах осмыслены события народолюбивости с точки зрения нравственности, во всей сложности и драматизме. Работа над «Нетерпением» (1973) Ю. Трифонова совпала по времени с созданием А. Солженицыным «Архипелага...» и «Августа Четырнадцатого». Оба писателя раскрывали одну из кардинальных тем русской истории — государственный терроризм, его истоки и историю. Солженицын восстанавливал подлинную историю русской революции и не мог не коснуться ее предшествующих этапов.

Трифонов через трагедию своей семьи, пережившей репрессии, заговорил об истреблении русского народа, его лучшей части, в том числе и во время террора.

Размышления Ю. Давыдова о том, можно ли считать террор принципом революционной борьбы, был ли он исторически обусловлен веянием времени, легли в основу концепции его романов о народовольчестве, тайных агентах полиции.

Как и А. Солженицын, Ю. Давыдов рассматривал народовольчество с позиции нравственности и революционной этики, посвятив этому один из лучших своих романов «Глухая пора листопада» (1970, 1975), героем которого выведен Герман Лопатин. В «Красном Колесе» Герман Лопатин нарисован в Третьем Узле «Март Семнадцатого», когда «необъятная толпа, будто в каком-то церковном стоянии, вся лицом к фасаду Таврического дворца занимала Шпалерную и сквер перед дворцом»³. Появление его в толпе дано через восприятие Ольги Львовны, жены Керенского, пришедшей разделить с Александром нагрывавшую великую народную радость в этой «таврической гуще». В «Храме Народной Победы», где Потемкин «закатывал немислимые балы в честь императрицы», под семью ослепительными люстрами кружился уже не петербургский высший свет, а «хоровод демократии».

И А. Солженицын, и Ю. Давыдов на примере судьбы Лопатина запечатлели эволюцию русского освободительного движения. Различные этапы его доведены этими писателями до вершинной выразительности, в том числе и тема предательства. А. Солженицын, анализируя предательство перед Россией Николая II, России перед Богом, уделяет внимание предательству в армии, в Думе, среди большевиков. И приходит к глобальным обобщениям, связав народовольчество, терроризм с большевизмом, раскрыв их цели, общие истоки, меры воздействия на окружающих, показав, к чему этот путь привел Россию.

Феноменальность «Красного Колеса» становится очевидной, когда на уровне анализа выходишь к сравнению исторических произведений, что позволяет прийти к выводу, что творение А. Солженицына является тем основанием и в тоже время стержнем, вокруг которого располагаются романы М. Алданова, В. Максимова, Ю. Трифонова, Ю. Давыдова и других писателей.

Плодотворные подходы, используемые в спецкурсе, позволяют выявить центричность «Красного Колеса», ибо эпическое полотно всеохватно как по воплощению замысла, так и по эстетической и художественной оценке изображаемого исторического периода.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ По книгам Д. Балашова учили историю дети Солженицына // Трибуна. 2000. 25 авг. № 158. С. 7.

² Колобаева Л.А. Мережковский – романист // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1991. № 5. С. 152.

³ Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках в четырех Узлах. Узел Третий: Март Семнадцатого. М.: Воениздат, 1994. Т. 5. С. 563.

Александр Урманов

БЛАГОВЕЩЕНСК

«КРАСНОЕ КОЛЕСО»:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Даже на фоне самых великих художественных творений русских писателей последних двух веков «Красное Колесо» — явление по-настоящему грандиозное. К этому произведению, как ни к какому другому, подходит определение *самое*: самое объемное, самое впечатляющее по продолжительности творческой истории, самое масштабное по охвату жизненной реальности, уникальное в жанровом, композиционном, повествовательном, стилевом и многих других отношениях, самое, увы, непрочитанное, непонятое... Ну и, наверное, самое неудобное для изучения в вузе.

Может быть, и не стоит пытаться? Ведь и без того творчество Солженицына как будто бы достаточно широко представлено в школьных и вузовских программах по литературе. Сегодня уже почти никого не нужно убеждать, что художественное наследие писателя заслуживает самого уважительного отношения. Хотя и с опозданием, но пришло осознание, что без его книг русская цивилизация существенно обедняла себя. Очень важно, что такое понимание возобладало в системе образования.

Но вот в каком объеме и каким образом изучать творчество Солженицына — вопросы, на которые у составителей программ и методических рекомендаций, у редакторов и авторов учебников, у вузовских преподавателей и школьных учителей нет однозначных ответов. Вширь или вглубь? При общей скудости учебных часов чаще выбор делается в пользу как будто бы глубины, то есть более-менее подробного анализа сравнительно небольшого ряда давно уже ставших хрестоматийными текстов: рассказов «Матренин двор» (1959) и «Один день Ивана Денисовича» (1959), романа «В круге первом» (1955–1968), книги «Архипелаг ГУЛАГ» (1958–1968, 1979). А это не может не приводить к тому, что Солженицын поколением молодых читателей начинает восприниматься как художник из прошлого, как автор произведений, ставших фактом литературной и общественной жизни 40–50 лет назад. Почти все написанное им позже в лучшем слу-

чае дается обзорно. Что касается «Красного Колеса», то если о нем и заходит речь, то преподаватели обычно ориентируют студентов на Первый Узел — «Август Четырнадцатого», то есть опять-таки на произведение, прочитанное (в первой редакции) и хотя бы в самом общем виде осмысленное еще в 70-е годы. Иначе говоря, уже сам подход к подбору произведений, сам их перечень, хотим мы того или нет, формирует представление об Александре Исаевиче как об авторе текстов, вызывавших резонанс, воспринимавшихся как остроактуальные сравнительно давно. И в этом смысле обращение к исторической эпопее «Красное Колесо» — произведению, работу над которым писатель завершил сравнительно недавно, произведению, животрепещущая актуальность которого только-только начинает осознаваться нашим обществом, уравнивает ситуацию.

Но дело даже не в этом. В принципе имеем ли мы право, обращаясь к творчеству А. Солженицына, обходиться без прочтения его главной книги, причем не в урезанном виде, а в целостном? На практике, наверное, да (собственно, сейчас все обстоит именно так). Но можем ли мы в таком случае утверждать, что существенно продвинулись в постижении того поистине грандиозного художественного, идейного, духовно-нравственного наследия, которое всем нам оставил Александр Исаевич? Сформулируем вопрос иначе: можно ли претендовать на понимание Толстого без его «Войны и мира», Достоевского — без «Братьев Карамазовых» и «Бесов», Горького — без «Жизни Клима Самгина», Пастернака — без «Доктора Живаго»? Можно ли, ссылаясь на какие-либо трудности (объем текста, сложность повествовательной техники и т.д.), отказываться от постижения книг, содержащих квинтэссенцию важнейших авторских идей, от книг, которые воспринимались великими писателями как главный итог их жизни? Безусловно, нет.

Хочется надеяться, не за горами то время, когда аксиомой станет убеждение, что «Красное Колесо» — не только вершинное творение одного из самых выдающихся писателей XX столетия, но и наиболее значительное эстетическое явление русской литературы последних десятилетий. Если сейчас такое понимание не утвердилось, значит, наша критика, наше литературоведение пока не вполне готовы подняться до уровня, который задан автором исторической эпопеи, не в состоянии осмыслить масштаб поднятых в этом произведении проблем, своеобразие его поистине уникальной поэтики. Думается все же, что ситуация не столь безнадежна.

Как представляется, главный вопрос сегодняшнего дня — необходимость более полного охвата и осмысления творческого наследия А. Солженицына, и прежде всего «Красного Колеса». Почему именно это произведение должно быть в центре внимания?

Да уже потому, что именно оно вбирает в себя все самое важное, что хотел донести до своих читателей Александр Солженицын. В его эпопее не только воссоздано во всем своем подлинном грандиозном масштабе и мельчайших значимых подробностях самое значительное по последствиям событие русской истории XX века — Февральская революция, а также предваряющие ее и сопутствующие ей факторы, но и, что не менее важно, заключено всестороннее, целостное авторское представление об устройстве мироздания, о природе человека, о смысле человеческой жизни, о глобальных закономерностях исторического процесса, об исторических судьбах и духовной миссии России. Обращаясь к отдельным образам и аспектам этого уникального произведения, важно за всеми исторически и социально значимыми проблемами, частностями и нюансами не упустить из виду главное — универсальный, всеобъемлющий характер авторского Слова о бытии.

Конечно, существуют разного рода трудности, препятствующие изучению «Красного Колеса» в вузе. Во-первых, далеко не в каждой университетской библиотеке найдется хотя бы один комплект десятитомной эпопеи, выпущенной Воениздатом в 1993–1997 годах. И вряд ли велико число вузов, подписавшихся на Полное собрание сочинений Солженицына, которое выходит сейчас в издательстве «Время». Можно сколь угодно убедительно вещать об универсальном смысле книги, неустанно призывать читать ее, но что это даст, если произведение фактически недоступно студентам? А не приобретается оно библиотеками (если не брать во внимание финансовые трудности) еще и потому, что очень живуче мнение о нем как о некоей литературной экзотике, как о весьма специфическом явлении, которое даже человеку, получающему филологическое образование, знать не обязательно.

Нельзя не сказать и об очень странной в контексте сегодняшнего времени вещи — об отсутствии в большинстве вузовских учебников и учебных пособий характеристики (иногда даже краткой) эпопеи Солженицына. А если она и есть, то, как правило, сводится к вещам сугубо формальным — композиционной структуре, жанровой форме, видам повествования (особой популярностью почему-то в этом случае пользуются так называемые «экраны» — тринадцать небольших фрагментов, занимающих весьма скромный объем: 58 страниц из более чем шести тысяч). И крайне редко речь заходит о вещах содержательных, связанных с авторскими концептуальными идеями, воплощенными в этом произведении. Так что получить адекватное представление о содержательном наполнении «Красного Колеса» по существующим ныне учебникам и учебным пособиям весьма затруднительно. Еще одна сходная проблема — недостаток глубоких, отвеча-

ющих современному уровню науки исследовательских работ о Солженицыне, в том числе посвященных его исторической эпохее, а отсюда недопроясненность некоторых вопросов, связанных с осмыслением воплощенной в этом произведении концепции мира и человека, недопонимание всей глубинной сложности этико-философских и историософских воззрений автора.

Еще одна проблема – пугающий при современных темпах, ритмах и образе жизни объем произведения. Помимо того, чтение «повествования в отмеренных сроках» требует интеллектуальных и духовных усилий, определенной читательской культуры. Если современный студент и возьмется читать это произведение, то только если преподаватель сумеет расположить его к чтению, поможет найти ключ к этому необычному тексту, сумеет убедить, что без освоения, понимания этого произведения знания, филологическая культура, жизненный опыт, наконец, будут неполноценными (как если бы, например, непрочитанными остались те же «Война и мир» и «Братья Карамазовы»).

Поэтому главная задача, которая, на мой взгляд, стоит перед вузовским преподавателем, заключается в том, чтобы расположить, подготовить студента к восприятию книги Солженицына. А к этому и самому нужно быть готовым. Не стоит и пытаться постичь сокровенный смысл произведения, не испытывая к нему внутренней расположенности, ибо, как говорил И.А. Ильин, «искусство подобно молитвенному зову, который должен быть услышан; и любви, которая требует взаимности». Услышать самому и помочь студенту услышать «молитвенный зов» автора «Красного Колеса» и, кроме того, помочь получить объемное представление о комплексе основных авторских идей – вот первоочередные задачи вузовского преподавателя. А когда именно студент сумеет прочитать эпопею в полном объеме – в вузе или позже – вопрос второго порядка.

Хотя, основываясь на личном опыте, могу сказать, что к заинтересованному чтению «Красного Колеса», в том числе его ключевого Узла – четырехтомного «Марта Семнадцатого», по крайней мере часть студентов-филологов готова, о чем свидетельствует и их желание писать курсовые и дипломные работы, участвовать в работе соответствующего спецкурса. Если еще несколько лет назад студенты наибольший интерес проявляли, например, к М. Булгакову или к писателям-постмодернистам, то сейчас их безусловный приоритет – личность и творчество А. Солженицына. Именно его книги они обсуждают наиболее заинтересованно и горячо, именно о нем, о его художественных и публицистических произведениях готовы спорить бесконечно.

Способны студенты и живо отзываться на «Красное Колесо», но только не на сугубо формальные свойства произведения (хотя знать их, безусловно, необходимо), не на описание повествовательной техники и особенностей жанра, а на саму воссоздаваемую автором историческую реальность. Не нужно недооценивать интерес современных студентов к истории, особенно к ее переломным моментам. Хотя в последние годы уровень исторических знаний, с которыми они приходят из средней школы, снизился, тем не менее жажда познания истории России очень велика. Еще и поэтому эпопея Солженицына вызывает у студентов огромный интерес и самую непосредственную реакцию. Изучая произведение, они не только узнают новые факты, но и, самое важное, сопереживают, пропуская воссоздаваемые автором события и судьбы через свои сердца. Не раз приходилось слышать от студентов, что у них иногда исчезает ощущение, что они читают книгу, и возникает иллюзия абсолютного присутствия в романном мире «Красного Колеса», чувство, что эти события происходят с ними, вокруг них, что их они касаются самым непосредственным образом.

И вот еще что удивительно: студенты оказываются способны улавливать напрямую не выраженную авторскую позицию. Для примера сошлюсь на один ракурс эпопеи, к которому они проявляют повышенный интерес. Чтобы стало понятно, о чем речь, напомним два важных эпизода из Третьего и Четвертого Узлов.

Итак, во время драматических мартовских событий обладающему обостренной интуицией философу Варсонофьеву снится вещий сон — будто ему приносят телеграмму, но не простую, а *астральную*. В ней заключен важный смысл, который должен помочь понять то, что происходит с Россией. Но текст телеграммы герой разобрать не может, тот оказывается слишком мелким и размытым, расплывается прямо на глазах. Мистический знак остается непонятым: «Что-то в этом было истое: какой-то посланный нам, но не доходящий до нас смысл. <...> Какие-то знаки посылались, но — не разгадаемые» (VIII: 7)¹. Варсонофьев надеется, что смысл этих небесных знамений все же откроется, что посылаемое человечеству откровение будет понято.

Как мне представляется, автор «Красного Колеса» и поставил целью прикоснуться к самым сокровенным, мистериальным тайнам бытия, понять Божий замысел о мире и о России, высший смысл и подлинное значение того урока, который вытекает из революционной катастрофы. В июне 1965 года в «Дневнике Р-17» он сделал важное признание, которое заставляет скорректировать распространенное представление о произведении исключительно как о документально точной хронике революционных событий: «Этот Роман, еще ненапи-

санный, всегда был величайшей любовью моей жизни. Ничего на свете я не любил до такого обмирания сердца»². Писатель признался в чувствах, которые, зная его крайне негативное отношение и к революции в целом, и к ее главным действующим лицам, могут показаться не вполне адекватными, не соответствующими видимым целям и задачам произведения, в котором воссоздается величайшая русская катастрофа. Значит, за книгу о революции он взялся «совсем с другими чувствами», чем это иногда принято считать, не так, как если бы речь шла всего лишь о произведении, посвященном предтечам, идеологам, организаторам и исполнителям чудовищного социального катаклизма, приведшего Россию к краху.

У меня сложилось впечатление, что студенты оказываются способны понять позицию автора эпопеи, который не только исследует причины величайшей русской трагедии, но и вместе со своими героями ведет поиск путей выхода России из исторического тупика. Что противостоит в «Красном Колесе» хаосу чудовищного социального катаклизма, порожденному им тотальному разрушению и деградации огромной страны? Точно так же как главная причина катастрофы находилась в самих людях, в поразившем их духовном недуге, надежда на спасение России, по мнению автора, тоже заключена в человеческих душах. В одной из последних глав «Апреля Семнадцатого» автор рисует важную сцену – диалог двух подростков, двух чистых русских мальчиков – Юрика Харитоновна и Виталия Кочармина. Догадываясь, что неотклонимо надвигаются грозные времена, что совсем скоро у них могут отнять все – возможность учиться, участвовать в обустройстве России, право на человеческое счастье и, возможно, даже самую жизнь, Юрик в высоком душевном порыве предлагает своему другу: «А давай поклянемся друг другу, что вот мы – будем против всякой мерзости биться! / И Виталий тоже встал, безо всякой усмешки. И они соединили руки, неловко сцепясь: правую с правой, левую с левой, крест-накрест» (X: 469). Эта клятва, осененная крестом соединенных рук, дает представление о том, как, с точки зрения автора, должен поступать человек, казалось бы бессильный остановить вращение революционного *Колеса* – невзирая ни на что биться «против всякой мерзости». К такому же решению на последней странице эпопеи автор приводит и полковника Воротынцева: «Сколь бы мало нас ни сплотилось, – ни это правительство, ни Совет – не отнимут у нас последнего права: еще раз побиться. <...> Кажется: все – хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны? и не знаешь, где быть, где стать? / А плечи – опять распрямились. Нет, впереди – что-то светит. Еще не все мы просадили» (X: 555).

Вот на такие сцены студенты обращают самое пристальное внимание, очевидно, соотнося их с тем, что наблюдают в современной России. Для них, как и для героев эпопеи, поиск такой жизненной позиции, которая даже в самых, казалось бы, безысходных ситуациях позволяет противостоять злу, видимо, весьма актуален.

Существует мнение, что в «Красном Колесе» автор не показывает путей преодоления хаоса и зла, что повествование в последних Узлах эпопеи лишено горизонтов будущего или же что это будущее — ГУЛАГ. Что, дескать, герои не знают об этом, а читатель знает, поэтому при чтении эпопеи так тяжело на душе. Во время дискуссии на эту тему студенты доказывали, что горизонты будущего в «Красном Колесе» просматриваются, и не соглашались, что автор в будущем предполагает только Архипелаг ГУЛАГ, что далее его взгляд не проникает. Читать некоторые главы эпопеи, по их словам, действительно тяжело, но чувства безысходности при этом не возникает.

Такая позиция, как мне представляется, имеет очень серьезные основания, ибо воссозданный в «Красном Колесе» хаос 1917 года — страшное, катастрофическое, но все же временное, преходящее явление. С точки зрения автора, самое важное — понять подлинный, высший смысл этого события и извлечь из этого понимания урок. Собственно, ради того, чтобы помочь России вывести из постигнутого ее трагического поражения суровый урок, писатель и работал над эпопеей. Им, уверен, двигала надежда, что русские люди, заплатив за свою трагическую ошибку страшную цену, смогут найти силы для духовного выздоровления и, как результат — для возрождения своей страны. Такой смысл отчетливо проступает в 641-й главе Третьего Узла, в которой Варсонофьеву снится очередной вещий сон: на этот раз о мальчике «с дивно светящимся лицом», который несет перед собой какой-то сверкающий предмет. Варсонофьев вдруг понимает, что «этот мальчик — Христос, а в руках у него бомба! — ужасного взрыва для целого мира — и сейчас, через секунду, она взорвется!» (VIII: 574). Несмотря на то что и наяву Павла Ивановича еще долго не отпускает «ужас этого космического подошедшего взрыва», все же герой, пытающийся постичь смысл пророческого знака, приходит к мысли, что мистически открытая ему космическая катастрофа не есть еще конец истории: «И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв — но он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком светилось лицо мальчика» (VIII: 574). Суть трагического парадокса, открывшегося герою, заключается в том, что путь России к *свету* лежит через *тьму*, через порожденную самими людьми разрушительную катастрофу.

Автор «Красного Колеса» не только рисует картины дьявольского мрака, опустившегося на Россию в 1917 году, но и обозначает путь ис-

целения и спасения. Преодоление хаоса и мрака возможно, если человеческие души сохранят потребность в свете и гармонии, если не утратят чувства ностальгии по сотворенному Господом природному совершенству, по непреходящим ценностям. Потребностью и способностью живой души тянуться к свету автор наделяет многих своих героев — как вымышленных, так и реальных. Например, Саню Лаженицына — самого близкого автору героя, которого даже в марте 17-го захватывает ностальгия по естественной мирной жизни: «Он хотел вернуться в ту жизнь, какую знал раньше <...>. / Хотелось — этого мира! Размышлений. Уединения. / Чуть-чуть, вот, отъединись, — и греет солнышко, попискивают клесты, и с дыхательным шорохом оседает отяжелевший снег. / Ясная тишина — и царствует над ней тайна Божья. / И хочется подняться к ней и влиться в нее как в самое свое родное» (VIII: 32). И вот эту-то устремленность близких автору героев в сферу непреходящих начал бытия студенты ощущают и в ней видят тот самый «горизонт будущего», который дарит всем нам надежду.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и далее текст эпопеи цитируется по изданию: *Солженицын А.И.* Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М.: Воениздат, 1993–1997.

² *Солженицын А.И.* Три отрывка из «Дневника Р-17» // Между двумя юбилеями: 1998–2003: Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах / Сост. Н.А. Струве, В.А. Москвин. М.: Русский путь, 2005. С. 10.

Наталья Солженицына

МОСКВА

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА:
ЗАДАЧИ БЛИЖНИЕ И ДАЛЬНИЕ

Имя Александра Солженицына читающая публика узнала 46 лет назад. Дебютанту было тогда 44 года. С тех пор у этого автора вышли – рассказы, повести, романы, Крохотки, пьесы и киносценарии, художественное исследование «Архипелаг ГУЛАГ», историческая эпопея «Красное Колесо», большой корпус публицистики, куда – помимо статей, заявлений, речей, интервью – можно с некоторой натяжкой отнести и книги «Россия в обвале», «Двести лет вместе»; а сверх того – ранняя лагерная проза, поэма и стихи, а еще этюды из «Литературной коллекции», и «Русский словарь языкового расширения», и наконец – мемуарные очерки. Переводя на язык объемов – 27 многостраничных томов.

1. И при этом, удивительным образом, – **еще остались неопубликованными** законченные работы писателя, которые составят по крайней мере **четыре столь же многостраничных тома**. Вот краткое их представление:

– «**Дневник Р-17**», или «Дневник Романа», как в обиходе называл его автор. Это по-дневные, хотя и не ежедневные записи, которые писатель вел в ходе четвертьвековой работы над «Красным Колесом». Дневник представляет собой две рукописные общие тетради в кожаных переплетах (около 200 страниц каждая вместе с вклейками). Первая запись сделана в 1960 году, последняя – 28 ноября 1991. Это были сугубо рабочие записи, необходимая автору площадка для споров с самим собой, для сомнений, обдумываний, для оценок достоверности источников и выбора художественных средств. На всем протяжении ведения «Дневника...» он к печати не предназначался, даже мысли такой не было, – тем ценнее он окажется для исследователей и просто читателей. Но по той же причине (писал для себя, да к тому же в годы *до изгнания* – зашифровывал имена и события) – публикация «Дневника...» требует затекстовых пояснений, что стоит среди моих задач «ближних».

Существуют и более поздние записи, сделанные А.И. в ходе работы над последней редакцией «Красного Колеса». Вероятно, их следует опубликовать вместе с «Дневником...», хотя они являются частью некоего целого, которое автор тоже не назначал к печати. Это требует еще обдумывания. Но я твердо намерена напечатать «Дневник Романа» в 2009 году. Он выйдет в составе Собрания сочинений Александра Солженицына в 30 томах (издательство «Время», том 17).

— **«Литературная коллекция».** — Начиная в 1997 году печатать в «Новом мире» отдельные этюды из «Литературной коллекции», А.И. предварил публикацию так: «Заметки эти — вовсе не критические рецензии в принятом смысле, служащие оценке произведения в потребность современному читателю. Каждый такой очерк — это моя попытка войти в душевное соприкосновение с избранным автором, попытаться проникнуть в его замысел, как если б тот предстоял мне самому, — и в мысленной беседе с ним угадать, что он мог ощущать в работе, и оценить, насколько он свою задачу выполнил».

До сих пор опубликовано 23 этюда: 22 — в «Новом мире» (последний из них, «Награды Михаилу Булгакову при жизни и посмертно», в 12-м номере за 2004 год), а 23-й этюд, «Мой Лермонтов», — в сентябре этого года, в первом номере нового журнала «Что читать».

В публикуемом Собрании сочинений отведено «Литературной коллекции» 2 тома (20-й и 21-й). Сверх уже напечатанного туда войдут заметки о Лескове, Тургеневе, Гончарове, Писемском, Глебе Успенском, Григоровиче, Мельникове-Печерском, Бунине, о прозе Марины Цветаевой, о Мандельштаме, еще о Михаиле Булгакове, об Илье Эренбурге, о Викторе Астафьеве, еще много, много имен, — так что общий объем новых, прежде не публиковавшихся текстов превышает уже опубликованное более чем в три раза.

В эти тома войдут также известные критические разборы середины 80-х годов («По донскому разбору», «Колелет твой треножник» и др.), статьи о языке и небольшой раздел неопубликованных записей «литературных встреч» и «не-встреч».

— **«Иное время — иное бремя: Очерки возвратных лет».** Эти мемуарные очерки написаны по свежим впечатлениям первых пяти лет на родине и — как и предыдущие «Теленок» (Очерки литературной жизни) и «Зернышко» (Очерки изгнания) — выстраивались этаж за этажом, последовательными надстройками. А.И. завершил их десять лет назад, но не спешил печатать, хотел, чтобы они «отлежались», говорил: «Напечатаете после моей смерти». Этим летом, однако, взялся их перечитывать, кое-что правил, это была одна из его последних работ, на столе осталась неоконченная редакция.

По плану Собрания сочинений, который мы составляли вместе с А.И., — «Иное время» должно его завершать, это том 30-й.

— «4-я Публицистика». — Изданные в 1995–1997 годах три тома публицистики А.И. останавливаются перед возвратом в Россию в мае 1994-го. По возможности все речи, статьи, доклады, интервью, выступления, сделанные после возвращения на родину, я надеюсь собрать в «4-ю Публицистику» — так называл А.И. этот будущий том (т. 25). Это не просто, так как многих выступлений и записей публичных встреч 1994–1998 годов нет в нашем архиве, их предстоит разыскивать. Хотелось бы включить в этот том и некоторые общественно значимые письма — разумеется, с разрешения адресатов. Этот том требует еще большой предварительной работы, и я буду благодарна всем, кто поможет восполнить недостающее.

Сам А.И. ставил передо мной как **первоочередную** — задачу завершить начатое Собрание сочинений.

2. Аудиозаписи, авторское чтение. — Существующие записи авторского чтения Солженицына делятся на три периода.

Первые записи относятся к 60-м годам, они делались в домах друзей по их настоянию и на их магнитофонах. Во второй половине 60-х чтение Солженицына было записано в Институте русского языка АН СССР и в ЦГАЛИ. В Архиве записи сохранились, в Институте русского языка сейчас ведутся поиски, в домах, где велась запись, тоже ищут (теперь уже дети друзей), и кое-что сохранилось в нашем архиве — только потому, что переправлялось тайно, вместе с архивом рукописным, а все другие пленки, не А.И., которые я везла в 1974 году открыто — «пограничники» размагнитили. Из всех записей 60-х годов изданы только «Прусские ночи» (глава из поэмы «Дороженька»): издана уже в изгнании, в виде пластинки.

Второй период — 80-е годы. — А.И. прочитал «Один день Ивана Денисовича» для Би-би-би. Эта запись была выпущена в виде трех магнитофонных кассет в 1983 году. — В 1985-м прочитал «Столыпинский» цикл из «Августа Четырнадцатого» для «Голоса Америки», в 1987-м и 1988-м — монтаж глав из «Марта Семнадцатого». Получить исходники этих записей пока не удалось, но в копиях они существуют.

Третий период — после возвращения. Записывал дважды: в 1996 году и в 2000-м, на современном оборудовании. Записаны пять из восьми рассказов 60-х годов, лагерная поэма «Дороженька», все Крохотки, три двучастных рассказа, отрывок из «Архипелага...», главы из «Красного Колеса», всего 56 часов. Сейчас мы успели издать — «Один день...», «Матрену», Крохотки, двучастные рассказы и «Адлиг Швен-

киттен». Вскоре последует «Случай на станции...», «Правая кисть», «Захар-Калита». — Остальное — впереди, по мере возможности.

Но А.И. хотел, чтобы **записи его чтения были изданы**, и это я тоже считаю своей **ближней** задачей.

3. Официальный сайт А.И. Солженицына. — До сих пор такого не существовало, хотя есть несколько сайтов, посвященных Солженицыну, открытых неизвестными нам доброхотами в разные годы, и, кроме того, многие произведения А.И. доступны в электронных библиотеках. Однако представлены они там, — некоторые хуже, некоторые лучше, — но почти все небрежно, с потерей авторских выделений, с произвольно опущенными примечаниями и проч.

Главная цель нашего сайта — выложить в нем «эталонные тексты», со всеми интонационными указаниями — курсивами, разрядками, ударениями, а главное — в последних авторских редакциях. Мы обильно представим и архив документов, и фотоархив. Сайт будет открыт 11 декабря, в день 90-летия Александра Исаевича, в доступном нам начальном объеме и будет постоянно пополняться¹.

ЗАДАЧИ ДАЛЬНИЕ:

4. Неоконченное.

«Есть у меня сюжеты, которые так никогда и не написались. Вот задуманы, а написано несколько слов, и все так и останется», — говорил А.И. в 1976-м. — «И так никогда и не напишется?» — спрашивал интервьюер (Н.А. Струве). — «Боюсь, что нет, потому что моя главная тема меня гонит, а времени уже в жизни мало осталось».

Так никогда и не написались, лежат отдельными листочками в конверте «Сюжеты».

Но есть и большие тексты, к которым А.И. возвращался несколько раз, но оставил недописанными. Так, он в разное время писал воспоминания, как он говорил — «для сыновей и внуков» и добавлял: «Либо не печатать вовсе, либо нескоро».

А есть небольшие тексты-размышления, начатые в последнее время, но неоконченные. Один такой текст будет на днях напечатан в «Российской газете».

5. Переписка. — За долгую жизнь — и переписка огромная. Чтобы ее обозреть и откомментировать, понадобятся годы. Елена Чуковская уже говорила на нашей конференции о переписке А.И. с Корнеем Ивановичем и Лидией Корнеевной Чуковскими. Только что вы-

шла книга Вл. Лакшина, где приводятся письма Лакшина к А.И., — значит, предстоит опубликовать письма А.И. к Лакшину. Существует многолетняя переписка А.И. с Никитой Струве. Эти, в основном сохранившиеся, длительные и общественно значимые переписки будут, конечно, опубликованы — хотя и не в ближайшие, но в достаточно близкие сроки. Но помимо них есть еще многие-многие сотни однократных-двукратных обменов письмами с частными корреспондентами, писем-ответов, писем-запросов, деловых писем, в которых, однако, часто содержатся мысли общественного интереса, при этом сформулированные так сущностно, сжато, точно, что такая переписка будет ценным источником не только для биографов, но для изучающих публицистику Солженицына, его исторические взгляды, его язык.

6. Разбор и описание архива. — К этой задаче приступить всерьез можно будет только после исполнения задач ближних. Архив огромен и многообразен.

Фонды Солженицына есть в РГАЛИ и в Пушкинском Доме — в основном это документы, относящиеся ко времени *до* изгнания писателя из СССР. Оба фонда пока закрыты по распоряжению автора.

По мере освоения архива я буду, конечно, информировать заинтересованную общественность о тех его частях, которые могут стать для нее открытыми.

ЗАДАЧИ НЕ МОИ (но требующие сотрудничества):

7. Театральная жизнь произведений Солженицына. — Вчера мы видели с вами «Шарашку» у Юрия Петровича Любимова в Театре на Таганке. — Сейчас в Москве идет еще два репертуарных спектакля: «Матренин двор» в Театре им. Вахтангова и театрализованное чтение «Одного дня Ивана Денисовича» в театре «Практика» (актер Александр Филиппенко). — Из прежних постановок 90-х годов — очень жаль, хотелось бы восстановить яркий спектакль «Пир победителей», который с постоянным аншлагом шел в 1995/96-м в Малом театре, но оборвался с уходом из театра режиссера. — В мае 2009 года в Пермском театре оперы и балета предстоит премьера оперы «Один день Ивана Денисовича», музыка композитора Александра Чайковского.

8. Фильмы по книгам А.И. — В 2006 году с успехом прошел на канале «Россия» многосерийный телефильм Глеба Панфилова по роману «В круге первом». С тех пор — пауза, и хотя предварительных раз-

говоров немало, но не возьмусь предполагать, когда появится что-нибудь новое.

9. Музеи. — Сейчас существует два маленьких музея. Первый — классная комната в **мезиновской средней школе** во Владимирской области, где в 1956/57 учебном году А.И. преподавал математику и физику. Второй — в **Рязанском колледже электроники**, будням которого в начале 60-х годов посвящен рассказ Солженицына «Для пользы дела», — так называемый «музей рассказа».

После смерти А.И. принято решение создать музей в городе его рождения **Кисловодске** — в доме его тети по матери, где он провел младенческие годы. Попытки создать там музей делались и раньше, но А.И. этому воспротивился, он считал прижизненные музеи неприемлемыми. И даже к будущему своему возможному музею относился крайне скептически, часто повторял: «Мой музей — это мои книги». Поэтому до сих пор в перечисленных местах нет личных вещей или рукописей А.И., полученных от него. Только книги с автографами. Но в будущем мы конечно будем по мере сил помогать в создании экспозиции.

Занимаясь в последние недели авторским чтением А.И., я набрела на его слова, которыми, мне кажется, уместно закончить не только свое сообщение, но и всю нашу конференцию. Вот он пишет в 1982 году:

«Этой весной напомнила мне Би-Би-Си, что осенью исполняется 20 лет от напечатания “Ивана Денисовича”, и предложила полностью записать в моем чтении текст для передачи в Россию. Отлично! Я охотно согласился. И вот сейчас, в первые дни июня, приехал заведующий русской секцией Барри Холланд, записывали мы полный текст и интервью. И в тексте “Ивана Денисовича”, произнося его для России, я почувствовал вневременную поддержку — нечто начавшееся ранее меня, и весь изойденный путь, и уходящее далеко вперед за край моей жизни. Уверенней почувствовал себя звеном неистребимого длительного русского хода».

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ 11 декабря 2008 был открыт официальный сайт А.И. Солженицына: www.solzhenitsyn.ru.

ПРИСЛАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Михаил Кураев

С.-ПЕТЕРБУРГ¹

СОЛЖЕНИЦЫН И МЫ

Все люди, большинство во всяком случае, прекрасно знают, как нужно жить. Однако, руководствуясь этим знанием, живут очень немногие. А те, кто все-таки считает для себя непреложным следовать вечным истинам человеческого сосуществования, оказывается, возвышаются столь значимо, что становятся вождями, пророками, святыми.

Странное дело, те, кто берет на себя груз, непосильный большинству, вызывают, как правило, сначала восхищение, едва ли не поклонение, но довольно скоро становятся неудобными, нежелательными, а то и враждебными этому же большинству. И происходит так из века в век.

Вот и нынче разногласица, а то и мстительное молчание, поджатые губы на похоронах давно уже пришли на смену дружному и восторженному хору, встретившему сорок шесть лет назад на достойнейшем подиуме русской литературы, в журнале «Новый мир», появление нового, долгожданного имени — Александр Солженицын. Почему долгожданного?

Да потому, что тайных любовников свободы и строгих евнухов свободы, шептунов и певцов свободы было множество, не хватало лишь действительно *свободного*, реально свободного человека. Именно таким пришел к нам автор «Одного дня Ивана Денисовича». И мы не ошиблись. Пройдет время, и можно будет смело сказать, что такие исключительные явления русской жизни, как Пушкин, Герцен, Чехов, Солженицын стали для нас школой духовной свободы, той единственной, быть может, школой, где экзамен на аттестат зрелости держат каждый день.

«Там, где вместо преодоления трагедии происходит примирение, неизменно воцаряется мещанство», — писал Сергей Булгаков. Солженицын расколол скорлупу нашего мещанского благополучия, быть может, в самые мирные и потому единственно возможные для освобождения годы советской власти. Мы даже не заметили, как треснула

эта скорлупа. Кто-то не смог заметить, что скорлупа расколота, а кто-то не захотел, находя скорлупу мещанской благонадежности гарантией житейского благополучия.

Отчего же так сильно и счастливо соединившая всех нас личность оказалась такой неудобной? Для властей — понятно, но и для борцов с властью неудобен, и для левых, и для правых, и для считающих себя свободными, и для дорожащих самодержавной крепью, выступающей в разных обличьях... Солженицыну, одному из немногих, довелось услышать обвинения как в юдофильстве, так и в антисемитизме, в прозападничестве и в российском шовинизме, в угодничестве все тому же Западу и в неблагодарности ему же...

Как же так?

Все дело, как мне кажется, в том, что Солженицын не оглядывался на то, что подумают и скажут «вожди Советского Союза», президент США, советские люди, антисоветские люди... Такое может себе позволить только подлинно свободный человек. Он не спрашивал дозволения и мог бы вслед за римским республиканцем Цицероном сказать: «Мне поистине дозволено и всегда будет дозволено хранить достоинство и презирать смерть»². Кто из сторонников Солженицына, а равно и оппонентов ответственно подпишется под этими словами?

Но где же корень столь многообразных и даже неожиданных противостояний? Могу только догадываться, но догадка небезосновательна, как мне кажется.

«Мещанство победит и должно победить. Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что *мещанство — окончательная форма западной цивилизации*», — свидетельствует свою солидарность с Дж.Ст. Милем Герцен в статье «Концы и начала». — «*Мещанство — это та самодержавная толпа сплоченной посредственности... толпа без невежества, но и без образования*». Суживание ума, стертости личности, мельчание жизни, исключаяющей общечеловеческие интересы и сведение всех интересов к торговой конторе и мещанскому благополучию — вот что обожгло на Западе душу Герцена, вырвавшегося из российской несвободы. Как свежо и знакомо звучат его слова: «Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма... С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией — западный мир стал отстаиваться, уравниваться».

Да разве это плохо, уравновешенность, устойчивость?

«Лимит революций исчерпан! Ура, товарищи!»

Но почему-то и Герцену и даже отдельным нашим современникам не по душе эта «уравновешенность»: «Везде, где людские муравейни-

ки и улы достигали относительного удовлетворения и уравнивания, — движение вперед делалось тише и тише... ..Вся Европа... идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к “мещанской кристаллизации”...»

Что же составляет психологическую, человеческую основу мещанства — эгоизм во всех его проявлениях, от лавочного до государственного.

«Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер?» — спрашивал Герцен³.

Не эти ли слова, ни этот ли голос, обращенный к живым, отозвался словом и делом Солженицына? И та враждебная, сплоченная масса «без невежества, но и без образования» заклеяна Солженицыным его словом — *образованщина!* В этом последовательном, твердом противостоянии и нашему домашнему, и всемирному мещанству, как мне видится, и лежит объяснение природы конфликта и художника Солженицына, и политика Солженицына со своими современниками. Так и хочется прочесть серьезный труд под названием: «Три источника и три составные части мировоззрения Солженицына», тогда можно было бы увидеть во всей конкретности Солженицына — проводником и продолжателем великих гуманистических традиций противостояния бесчеловечности и насилию во всех формах, как явных, так и скрытых.

«Рабом ли ты призван — не смущайся; но если и можешь сделаться свободным — то лучшим воспользуйся», — писал апостол Павел (1 Кор. 7: 21). Ведь и мы «воспользовались» в легкий час, но так свободными и не стали, цепляясь кто за бесплодное благополучие, кто за право жить в «свободном мире», кто, упражняясь в бесстрашном сведении счетов со своим успешным партийно-коммунистическим прошлым.

Не те ли, кто еще недавно возводил автора «Одного дня Ивана Денисовича» в ранг пророка, сегодня с особым тщанием покаявшихся, почти мстительным, высчитывают несбывшиеся пророчества?

Почему людям нужны пророки, если их или не слышат, или избивают?

Наверное, пророчества — это лекарство от неведомого, это утешение и освобождение от ответственности перед лицом как бы неотвратимого.

Но значимость художника вовсе не в предугадывании будущего, а в его *предуготовлении*.

Нравственная позиция в творчестве, недвусмысленная, без уловок и компромиссов позиция в общественной и политической жизни не-

сут в себе заразительную энергию. Вот что готовит нацию к утверждению и защите человеческого достоинства. Не схемы и проекты, не рецепты и социальные программы, а в первую очередь собственный жизненный опыт и творчество способны утверждать прежде всего моральные принципы человеческого общежития.

Программы и рецепты обладают соблазнительной приманчивостью кратчайшего пути. Но строить можно только из соответствующего замыслу постройки материала, а этот «материал» — люди. Сам Солженицын, к примеру, различал церковь как организацию и как духовное тело. Так же можно различать и социально-политическое устройство общества, и его *духовное тело*. И дело писателя, художника — в первую очередь пестовать и крепить духовные силы нации, а уже нация, крепкая духом, или не позволит надеть на себя чуждое ей политическое ярмо, а, однажды обманувшись, сумеет его с себя скинуть.

Отцы Зарубежной русской церкви едва ли рассчитывали услышать столько горьких слов в адрес прежде всего управителей Церкви, приглашая Солженицына высказаться на Третьем Соборе ЗРЦ. Убеденный в поддержке человека прямого, бескомпромиссного, только что оказавшегося на Западе и ничем в слове не стесненного, митрополит Филарет предложил Солженицыну поделиться своими мыслями о том, как «неугнетенная часть русской православной Церкви», то есть западная, катакомбная, может помочь ее «плененной части», то есть существующей в Советском Союзе⁴. Трудные попытки диалога между Церковью, разделенной не только государственной границей, прерывались долгим недружеским молчанием. Поддержка столь авторитетного и крайне популярного лица, как Солженицын, безусловно укрепило бы позиции одной из сторон.

И вот ответ. «...Хотел бы предостеречь деятелей Зарубежной Церкви от ошибок дальнего зрения: считать эту многомиллионную нашу Церковь — “падшей”, а ей противопоставлять некую “истинную”, “потаенную”, “катакомбную”... Не надо сегодня образом катакомбной церкви подменять реальный русский православный народ. Не надо, как я замечаю в некоторых ваших публикациях, игнорировать, обходить умозаключением — самовозникший и самокрепнущий в нашей стране православный мир»⁵.

Не ожидали отцы западной церкви услышать убийственные слова о ее «бестелесности».

Не пощадил православный писатель церковных водителей и одной, и другой стороны. «Если бы грехи иерархов перекладывались на верующих, то не была бы вечна и непобедима Христова Церковь, а всецело зависела бы от случайностей характеров и поведений»⁶. До сих пор мы слышали, что лишь внешние силы угрожают Церкви, и

вдруг – одни лишь грехи иерархов способны обрушить «вечную и непобедимую». Не знаю, предполагает ли каноническое право возможность лицам, не возведенным в сан, судить поставленных над ними священнослужителей, едва ли. Это ли хотели услышать устроители Собора, противопоставление греховных пастырей, несущих угрозу Церкви, и паствы, Церковь спасающей?

В ту пору, когда революцию в России старались изобразить то ли делом кучки заговорщиков, то ли немецких шпионов, Солженицын бросает горький упрек, граничащий с обвинением, – Церкви.

Состояние Русской церкви к началу XX века («вековое униженное положение ее священства, пригнетенность от государства и слитие с ним, утеря духовной независимости») «*явилось одной из главных причин необратимости революционных событий*»⁷.

В своей исторической критике Русской церкви Солженицын пошел еще дальше, в полный голос назвав *раскол* «дальним, трехсотлетним грехом нашей русской Церкви».

«Я осмеливаюсь, – говорит Солженицын, – полнозвучно повторить слово – грехе, еще чтоб избежать употребить более тяжкое, – грехе, в котором Церковь наша – и весь православный народ! – *никогда не раскаялись*, а значит, грехе, тяготевшем над нами в 17-м году, тяготеющем поныне и, по пониманию нашей веры, могущем быть причиною кары Божьей над нами, избытой причиной постигнувших нас бед»⁸.

Нет, не случайно образ несгибаемого огнепального Аввакума вспоминается чаще других, когда думаешь о подвижничестве Солженицына.

Он безжалостно призывает нас увидеть «нашу собственную вину в том, что постигло Россию»⁹. Подняться до этого могут немногие, быть может, поэтому так быстро «устали от Солженицына в России», как писала в дни прощания с писателем итальянская пресса. Но кто еще из современников был способен так тревожить совесть, так будить общественную мысль, так широко и полно чувствовать пространство истории, на котором совершается жизнь России?

Для того чтобы глубже и полнее понять такое многосторонне и емкое явление, чем стал Солженицын, нужно, как мне кажется, понять его личность, что то же, его единственность. И здесь на память приходит встреча в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее. Увы, я не запомнил имени женщины-скульптора из Мексики. В обширном зале с застекленной стеной была представлена скульптурная композиция «Тайная вечеря». По одну сторону деревянного стола, установленно-го без подиума, прямо на полу зала восседали двенадцать апостолов, вырезанных из дерева. В центре по канону располагалась фигура Спа-

сителя... исполненная в камне. И если фигуры апостолов были вырезаны гранями, были как бы взъерошены, то обтекаемая гладкая фигура Христа, с едва намеченными чертами лица, была полна покоя и сосредоточенности. Я был восхищен замыслом мастера! Никаким иным образом или средством ни в живописи, ни в слове, ни в музыке невозможно с такой полнотой и очевидностью сказать: ОН ДРУГОЙ! И пока не будет осознана эта важнейшая, определяющая разница, двигаться в постижении полноты явления невозможно.

Едва ли нужно говорить о том, что речь не идет о nepозволительных параллелях. Речь идет о счастливой идее художника, скульптора, сумевшей так, казалось бы, просто сказать о самом трудном и важном.

Непонимание Солженицына, а в конечном счете и разного рода конфронтации как раз, на мой взгляд, и начинались с непонимания того, что он по отношению к нам — другой!

Все минувшие годы, все сорок шесть лет имя Солженицына не уходило за горизонт ни литературный, ни общественный, ни политический, все значимые события его жизни становились тут же предметом всеобщего внимания, суда и, как водится, пересудов.

Еще бы, он все время поступал не так, как от него ожидали.

Характерны, казалось бы, и частности.

Появившись в редакции «Нового мира» в день выхода в свет журнала с «Одним днем Ивана Денисовича», Солженицын, к удивлению Твардовского, не проявил никакого интереса к хвалебной статье Константина Симонова, опубликованной в этот же день в газете «Известия». Вторая по весу газета в стране! Приветствует сам Симонов, любимец богов!.. Для дебютанта в литературе поведение, по крайней мере, странное. Окажись мы на его месте... Но мы не только по многим причинам не можем оказаться на его месте, но и осознать это *место* не хотим или не можем.

Если признать, что литературное дело для Солженицына не существовало само по себе, если это был скорее обет и послушание в служении Отечеству во всей полноте осознания национальной трагедии, тогда становится ясно, что речь не идет о литературном дебюте.

В минуту своего триумфа его мысль была занята проблемой нерешенных задач: «...Надо бить по Союзу писателей, бить по ЦК, бить по системе»¹⁰. Нам трудно было в те дни, первые месяцы ощущения, как это ни странно, даже своей причастности к этой победе представить, как последовательно и непреклонно он будет отстаивать непреложное право художника на критическое, оппозиционное отношение к жизни, к действительности, к обществу. Косная и вздорная человеческая натура, желание жить по инерции, «как все», разумный и неразумный эгоизм определяют мироощущение большинства.

Нужно быть Гете, чтобы сказать: «С высоты разума вся жизнь представляется злым недугом, а мир — сумасшедшим домом». И нужно быть Солженицыным, чтобы не отступить перед тотальными болезнями.

Тем от нас и отличался этот вступивший на литературную арену «рязанский учитель», что его стратегическое сознание, ясно рисовавшее перспективы предстоящей борьбы, не позволяло излишне отвлекаться на личный успех, словно его и не было вовсе. Это был успех, создававший пусть временный, но прочный плацдарм для нового шага в борьбе пока еще с «домашним» безумием, а придет час — и он выступит против безумия всемирного.

Потому, быть может, и не было «испытания успехом». Ни в тот день, ни при получении Нобелевской премии.

И здесь он так непохож на нас. Необычайный успех «Ивана Денисовича» и огромная читательская почта стали для автора лишь средством для сбора материала для своего главного, «стенобитного» труда — «Архипелаг ГУЛАГ».

Вот и оказавшись на Западе, с первых же минут, часов после высылки из Советского Союза Солженицын повел себя не так, как от него ожидали.

Естественно, к нему ринулись журналисты, толпами. Они сделали немало для того, чтобы оградить неугодного коммунистическим вождем писателя и политика от расправы. Они вправе были ожидать не только слов благодарности, но и «возвращения долга». Вот здесь-то во всей очевидности обнаружила себя не в первый и далеко не в последний раз разномасштабность сознания, послужившая несовпадению и непониманию. Да, западная пресса ждала от человека, только что пережившего унижение от произвола властей, откровенностей, признаний, сенсационных подробностей о жизни в неволе. И что же? «Я — достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь — помолчу»¹¹.

Такой благодарности западная пресса не ожидала.

Солженицын впоследствии вспоминал: «...Десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту — говори! и даже не естественно не говорить! Сейчас можно сделать самые важные заявления — и их разнесут, разнесут... А внутри меня что-то пресеклось... Вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности...»¹² «Молчанием моим — они оказались крайне разочарованы. Так — с первого шага мы с западной “медиа” не сдружились. Не поняли друг друга»¹³.

Свои правила борьбы, свое представление о человеческом достоинстве всегда были для Солженицына выше соображений сиюминутной пользы, резонов житейского практицизма.

Не «сдружится» он и с эмиграцией, не «сдружится» и с верховной властью страны, давшей ему приют и возможность работать. История с несостоявшейся, благодаря интригам вполне определенных сил, личной встречи Солженицына с действующим президентом США весьма показательна. Открытое письмо в этой связи, направленное Рейгану, — свидетельство исключительной цельности личности писателя и политика, твердости позиции в защите в первую очередь интересов России, а никак не своих личных.

Чего стоят только его бесплодные попытки отвести от себя обвинения в русском «национализме». Ни академику Сахарову, ни президенту Рейгану (какое сочетание!) само их окружение не позволило правильно понять писателя и патриота. «Русский патриотизм» тактически недопустим в решении их далеко идущих стратегических задач.

Он разговаривал с сильными мира сего так, как говорил протопоп Аввакум с царями, как говорили с помазанниками Божиими Владимир Соловьев и Лев Толстой, пренебрегая раболепным титулованием.

И вернувшись на родину, Солженицын «не сдружится» с ельцинской властью и свое восьмидесятилетие отметит выпуском «России в обвале», книги обличительной по отношению к «шоковым терапевтам», новым экспериментаторам над живым телом России. Деликатно попросит не украшать его к юбилею орденом знаком. Самоуверенная, не внявшая предупреждению ельцинская власть, убежденная в неодолимой силе ее подкупающей щедрости, услышала то, что заслужила.

Последовательный и непреклонный в своих убеждениях писатель и политик был вынужден публично объяснить свое нежелание получать награду из рук власти, «ведущей страну гибельным путем»¹⁴. Да, именно так — писатель и политик, это вполне в российской традиции, точно обозначенной декабристом Михаилом Луниным: «...Политика таится в глубине всех нравственных, научных и литературных вопросов»¹⁵.

Исконного своего врага, препятствующего движению общественной жизни, Солженицын заклеил словом «образованщина».

Полузнайство, фраза вместо мысли, поза вместо позиции — все это издержки насильственного насаждения казенной идеологии.

Нынче только ленивый не повторяет услышанные из чужих уст пушкинские слова о бунте «бессмысленном и беспощадном», служащими почти уже доказательством исчерпанности «лимита революций». Опасное самоусыпление. И слова одного из умнейших и совестливых современников Пушкина, декабриста Михаила Сергеевича Лунина, может быть, тоже следовало бы повторять столь же часто:

«Крайность бед, достигнув высшей степени, пробудила дух народный, без которого не совершается коренных переворотов»¹⁶.

Менялись времена, менялись, да еще как, люди. «Начни перестройку с себя», — страстно призывал, «перестроившийся» генеральный секретарь ЦК КПСС. Галопирующе «перестраивались» секретари ЦК, кандидаты в члены Политбюро, редакторы журналов «Коммунист» и «Партийная жизнь», не говоря уже о партийных столоначальниках и дьяках, о генералах, неустанной политработой укреплявших мозги армии.

А Солженицын не перестраивался, он просто так же, как и раньше, не мог оставаться безучастным к очередной страшной драме в жизни народа, разыгрывавшейся у всех на глазах, когда в стране началось сокрушительное «строительство» капитализма. Еще при первом заводе капитализма на Руси Достоевский заметил: «Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет»¹⁷. Вот и в пору второго пришествия капитализма теперь уже Солженицын показывал это короткомыслие ослепленной своей удачей новой буржуазии. А еще раньше Карамзин увидел, как новые дворяне, «которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностью закрыть свою подлость». И об этом, глядя на нынешних «деньгохватов», говорил и писал Солженицын. А вот и Федор Глинка, говоря о крахе реформ Сперанского, горько сетовал: «Себялюбие и частные выгоды растерзали общее дело»...

Ловлю себя на том, что разговор о Солженицыне невольно заставляет привлекать общественную мысль различных времен и народов. Его труд и мысль продолжают и скрепляют стремление к жизни советливой и справедливой, неистребимое в нашем народе, в умах лучших его представителей. Это естественно, мировоззрение и убеждения Солженицына как раз и питаются и опираются на огромный исторический опыт, его взгляды укоренены в российскую духовную культуру и европейский гуманизм.

Но опыт этот не всегда добавляет оптимизма.

Трагедия многих народов, быть может, состоит в глухоте, в неспособности слышать голоса пророков. Вот пример. 1850 год! До 1905 года еще пятьдесят пять лет, до 1917-го — шестьдесят семь. Герцен: «...Петр I окончательно оторвал дворянство от народа и пожаловал ему страшную власть над крестьянами (Указ 1710 года. — М.К.), он поселил в народе глубокий антагонизм, которого раньше не было... Этот антагонизм приведет к социальной революции, и не найдется в

Зимнем дворце такого бога, который отвел бы сию чашу судьбы от России»¹⁸.

Назван исток, названо и устье, но — «горох имеет свойство отлетать от стены».

А мы слышим стук дятлов, долбящих и долбящих газетные пошлости об истоках наших революций. Вот так же разменивается в навязанной полемике, в газетно-журнальной шебуршне возможность осмысления отечественной истории с трагических вершин XX века.

Приходится только удивляться, как много сил тратится на защиту от Солженицына, на обсуждение его заблуждений. Но заблуждения, как сказал Гельвеций, перестают быть опасными, когда дозволено их опровергать. Опасности Солженицын не несет, опасность в нас, не способных услышать и понять глубокого мыслителя, искреннего и бескорыстного защитника своего Отечества и народа, великолепно, открытого в своих сокровенных движениях души человека.

В живом общении с Александром Исаевичем Солженицыным меня больше всего поражала его улыбка, его смех. Если глаза называют зеркалом души, то смех — это живое эхо души. Чтобы вернее всего понять человека, посмотрите, как он смеется. Смех выдает человека куда больше, чем взгляд или голос... Когда я видел Александра Исаевича смеющимся — я видел счастливого человека! Смех делал его незащитным, смех вырывался, с ним невозможно было управиться, казалось, что он сознает в эту минуту свою незащищенность, но ничего не может поделать. Смех — это счастливая минута незащитной слабости, но именно в эту минуту вы видели перед собой свободного, счастливого, открытого человека, чья улыбка так неожиданно и полно освещала и его необыкновенную жизнь, и непостижимый для одного человека труд, и подвиг ума и души...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В декабре 1997 года я получил письмо от А.И. Солженицына. Его рукой на конверте был написан адрес: «Петроград», дальше проспект, номер дома и т.д. Письмо дошло без задержек.

² *Цицерон*. Первая филиппика против Марка Антония // Речи: В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 277.

³ Цит. по: *Мережковский Д.С.* Грядущий Хам // Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М.: Советский писатель, 1991. С. 350–351.

⁴ *Солженицын А.И.* Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви // Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995–1997. Т. 1. С. 199.

⁵ Там же. С. 202–203.

⁶ Там же. С. 203–204.

⁷ Там же. С. 208 (курсив А.С.).

⁸ *Солженицын А.И.* Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви. С. 209 (курсив А.С.).

⁹ Там же. С. 210.

¹⁰ *Солженицын А.И.* Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-Би-Си // Публицистика. Т. 3. С. 27.

¹¹ Он же. Телеинтервью компании CBS, Цюрих, 17 июня 1974 // Там же. Т. 2. С. 92.

¹² Он же. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 399.

¹³ Он же. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Ч. 1. Гл. 1 // Новый мир. 1998. № 9. С. 48.

¹⁴ Магнитофонная запись выступления А.И. Солженицына в Театре на Таганке 11 декабря 1998.

¹⁵ *Лунин М.С.* Письма из Сибири. М.: Наука, 1988. С. 17.

¹⁶ Там же. С. 64.

¹⁷ *Достоевский Ф.М.* Зимние заметки о летних впечатлениях // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 5. С. 85.

¹⁸ *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 7. С. 169.

СОЛЖЕНИЦЫН: ПРОРОЧЕСКОЕ ВЕЛИЧИЕ

Среди всех современников века нет никого, кто мог бы оспорить звание человека XX столетия у Александра Солженицына. С его беспримерной судьбой может лишь отдаленно сравниться жизненный путь другого великого каторжника, Достоевского, — как может сравниться царская каторга с адскими безднами ГУЛАГа, в соответствии с тем, — насколько вообще XX век злее века XIX.

Мы знаем, что Солженицын — крупнейший писатель, неожиданный, казалось бы, для перевалившего к концу этого века представитель и последователь великой русской литературы, свидетель его; и не только писатель и свидетель, но и — учитель и пророк. Но учитель учит, а пророк обличает. Чему он учит и что обличает? В какой век попал?

Александр Исаевич отводил от себя звание пророка — самому человеку не с руки признавать за собой подобный статус, да и как-то нет нужды вообще размышлять об этом, — но пророческая миссия была вторым, равновеликим художественному, его призванием и неотделимым от последнего. Исходя из классического определения Владимира Соловьева, данного в статье «Когда жили еврейские пророки?», пророк — это такой «единичный избранник», носитель высшего религиозного сознания, который «обличает и судит действительное состояние своего народа как противоречащее» идеалу, и «предсказывает народные бедствия как необходимое последствие такого противоречия», и, наконец, «самим своим явлением и деятельностью *предсказывает* выход из этого противоречия в ближайшей будущности народа, именно через признания им этого высшего сознания и подчинения ему». В этой формуле трудно найти что-нибудь выходящее за пределы возможностей А. Солженицына, что-нибудь чуждое его задачам, постороннее ему. Напротив, его профетический охват даже вышел за пределы национального кругозора библейских избранников (да простят они меня!) в изложении Соловьева, трактовавшего роль пророка как национального просветителя, вождя своего народа; Солженицын оглядывал сразу весь мир, его заботой было все человечество.

С центром, конечно, в России. — Хотя привычно изображать А. Солженицына как сугубого предстателя России, национального, а в пристрастном, широко распространенном случае — националистического идеолога. Мы увидим, так ли это.

Какие же язвы обличал он, и оправдались ли его предсказания?

С Нобелевской лекции, посвященной роли искусства и литературы, писатель (анализируя тогдашнее их состояние) задается вопросом, «могут ли они на деле помочь сегодняшнему миру» «в его раскаленный час», перед лицом нарастающих деструктивных сил, «полных решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию». Как обычно, с напряжением и страстью он стремится вдохнуть веру в высокое предназначение писателя, в его «объединяющую силу: «не заглядываться на самого себя, не порхать слишком беспечно», не уходить «в пространства субъективных порывов», отдавая «мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и «безумных», а выйти на бой! Прошло не так много времени, открылись шлюзы, и новоявленные романисты и стихотворцы теперь уже в России бурным потоком сами влились в ряды перечисленных категорий. Сокрушительное воздействие на жизнь со стороны художественного авангарда («сотрясающая революция»), не откликнувшегося на обращение нобелевского лауреата, будет предметом его постоянного горестного размышления.

Но он видит страшную опасность для всего человечества и с другой стороны. Предвидя участь, которая ожидает свободный мир, играющий в поддавки с советской Россией с первых дней ее существования, Солженицын призывает его очнуться, увидеть наконец близкий край пропасти, к которой подвел пораженческий курс; он не устает стучаться в глухие двери западных правительств. Проследившая историю их отношений с коммунистическим режимом, писатель в своих многочисленных речах и публичных статьях (а публицистика и есть наш предмет) сразу по приезде на Запад¹ развертывает чудовищную картину предательства свободы, цепь уступок и отступлений, «отдачу страны за страной», выдачу Сталину на погибель полутора миллионов человек... «Положение в мире, — заявляет он с пророческой убежденностью, — не просто угрожаемое, положение в мире ка-та-стро-фическое».

Почему же не случилось прямой катастрофы и мир не соскользнул в пропасть в своем трусливо-истерическом упоении разрядкой? Потому что — о победа! — глас не оказался вопиющим в пустыне, призывы и предупреждения не остались безответными: его страстной и убеждающей силе вняла главная власть западного мира — высшая американская администрация сменила орала расслабляющего детанта на

мечи мобилизующей гонки вооружений. Можно предположить, что сама формула «империи зла» применительно к коммунистической системе родилась под влиянием солженицынской дефиниции «организованного зла». И не только властные верхи, но и радикальные интеллектуалы Европы, запевалы вчерашнего студенческого бунта под знаменами Маркса — Мао — Маркузе после знакомства с вестью из другого мира, принесенной русским изгнанником, явили чудо перевоплощения. Среди бесконечной череды во Франции все «новых и новых левых» вдруг предстали «правые», «дети Солженицына» — группа так называемых новых философов, явившая собой аналог знаменитых российских «Вех».

Удачливый пророк — это пророк Иона, чьи предсказания не исполняются, потому что выполняются его призывы, внимают его предупреждениям. Однако нет пророка в своем отечестве. «Письмо вождям Советского Союза», к которым он обратился почти без надежды на успех, но все же не без надежды на чудо — прорваться через железную броню идеологии (а вдруг? тоже ведь люди!), было ими проигнорировано. Обращение к интеллектуальным оппонентам власти, диссидентам, «братьям по классу», казалось бы естественным союзникам Солженицына, вызвало град камней в его сторону. Повторилось то же, что и с авторами «Вех» в начале века.

Вступив в борьбу с коммунизмом, он внезапно стал бойцом на два фронта; выйдя на битву с тоталитарным режимом, оказался также перед сплоченным строем своих несбывшихся союзников. Мы знаем, какой яростной атаке подвергся — и не перестает подвергаться — Солженицын со стороны известных своей оппозиционностью к режиму, в том числе и потерпевших от него инакомыслящих, казалось бы, повторюсь, естественных единомышленников бывшего узника ГУЛАГа, заслуженного врага их общего противника.

Что же вызвало к нему такую, по определению самого писателя, «дружную, сосредоточенную ненависть» («звериную», по впечатлению соприкасавшегося с эмигрантской средой о. Александра Шмемана)? Вот эти характеристики: «аятолла», «Великий инквизитор», «одинокий волк», «неосталинист», «капитулянт перед тоталитаризмом», «проповедник аморальности» и т.п., наконец, «основатель нового ГУЛАГа». «Но даже этих, кажется уж высших, обвинений им казалось мало, — заметил Александр Исаевич, — и стали лепить больше по личной части». И до сих пор не появилось в нашей идейной печати никакого расчета с таковой позицией и с исторической ролью этих воителей (Б. Шрагина, П. Литвинова, Л. Плюща, Г.С. Померанца, Е. Эткинда, В. Чалидзе, Алтаева, «шустрой пары» — А. Синявского с М. Розановой и вообще целиком журнала «Синтаксис» и др.); не

подведено никакого итога этому противостоянию. «Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью все это громко вывездет режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим»².

А дело в том, что у них с Солженицыным оказались разные конечные цели, разные, как говорится, ценностные приоритеты. Писатель мечтал о том и работал на то, чтобы Россия не только высвободилась «из-под глыб» коммунизма, но и вернулась к себе, возродилась и вышла на исторический, органический, оздоравливающий путь. Для его противников же Россия — это безнадежная страна «Иванов и Емель», христианство ей вообще не привилось, «духовная структура» русских унаследована от монголов, и далее в таком же роде. И тут обнаружилось, что для диссидентских идеологов (не реально действующих правозащитников!) возрождение России — худший из вариантов; что Россию они ненавидят также «лютее, чем сам режим», и они заранее предупреждают Запад, что опасность русского возрождения «для всего человечества... станет еще страшнейшим тоталитаризмом». Писатель стремится устранить чреватую для России и для мира аберрацию, вносимую в мировое общественное сознание алармистской пропагандой наших диссидентов, тут же подхватываемую и распространяемую левой прессой. С неопровержимой доказательностью, на бесконечных фактических примерах он не устает демонстрировать злостную предумышленность гигантского кома обвинений из махровой лжи, вдохновляемую «звериной ненавистью» к России (впечатление о. Александра Шмемана). «...Вот, — пишет Солженицын, — приезжают на Запад “живые свидетели” из СССР и вместо распутывания западных предрассудков — вдруг начинают облыжно валить коммунизм на проклятую Россию и на проклятый русский народ. Тем усугубляя и западное ослепление, и западную незащищенность против коммунизма. И здесь-то и лежит вся растрava между нами»³.

Как и его идейные предшественники, создатели «Вех», он призывает новую интеллигенцию опомниться, осознать последствия своей активности, ибо она не только вколачивают гвозди в гроб своего отечества, но и разоружает перед наглой силой любезный им свободный мир. Но так же как никакой метанойи не способна была пережить не только ревдемократическая, но и либеральная интеллигенция прошлого, так и нынешние передовые либералы с негодованием и оскорблениями отвергли воззвание к ним Солженицына. В конце концов он не выдержал и даже прямо призвал: «Опомнитесь, господа! В своем недоброжелательстве к России какой же вздор вы несете Западу?»

А ведь ясно: то, что его аргументы и предупреждения, отвергнутые диссидентской партией, роковым образом отозвалось в той путанице понятий и взглядов, которая и ныне бытует в нашем общественном мнении, обществоведении и политологии. Да вот хотя бы одна только теория «единого потока русской истории»: не давая очистить взгляд на прошлое, настоящее, а следовательно, и на будущее, она лишает нас исторической перспективы. Подлинно трагическую роль сыграло это деятельное недоброжелательство к России как в формировании ее нынешнего самосознания, так и в политическом положении в мире, работая на отчужденное и опасливое отношение к ней Запада.

Солженицын вступил в противоборство с тем же самым — точнее, с продвинутым вариантом того же самого «ордена интеллигенции», с которым боролись и которого убеждали, призывали, просвещали, наконец, увещевали авторы «Вех». Один из них, С.Н. Булгаков, провидчески писал, что «душа интеллигенции есть... ключ к грядущим судьбам русской государственности и общественности». В предисловии к сборнику было сказано: «Путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь разбухшая великими потрясениями (революцией 1905 года. — *Р.Г.*), она услышит более слабые голоса»⁴. Пробуждения, как известно, не случилось. «Безвыходный тупик» не миновал России — в 17-м году. Традиция противостояния продолжилась.

Их было семеро. Он был один. Они сражались с «душой интеллигенции», о которой писал Булгаков; он — непосредственно с материализованным последствием глухоты этой «души», с взошедшей на ревдемократической и леволиберальной закваске тоталитарной системой, затем с этой вот интеллигенцией в новом изводе («образованщиной», как нарек ее Солженицын), наконец — со всем миром, с духом века сего.

Подумать только, в какую всемирно-историческую битву ввязался одиночка из советской провинциальной среды, без семейных и служебных тылов (хотя и они тут не в помощь) — только с ГУЛАГом и смертельной болезнью за плечами?! И победил. Все это, вместе с невероятным излечением — чудо и избранничество. И не зря враги нарекли его «одиноким волком».

Несмотря на пришедшую вскоре мировую славу и поистине всенародную любовь, он мог ощущать себя таковым даже среди ближайших и преданных людей. Гений слишком недвусмыслен, слишком от-

важен умом, чтобы эту четкость всегда могли разделить люди, пусть и одаренные... Он слишком обделен временем, чтобы в этот ритм могли включиться другие. Бывает, огорчаешься, читая «Дневники» замечательного проповедника и богослова о. Александра Шмемана, поклонника произведений Солженицына, встретившего в Европе писателя с великим пиететом и сердечностью, а в дальнейшем — приходившего подчас в смущение от его бескомпромиссности в вопросах, касающихся отношения к отечеству и путей мировой цивилизации. Отец Александр Шмеман — автор ряда существенных статей о Солженицыне⁵. Познакомившись с «Архипелагом...», о. Александр писал об авторе: о «поразительности его явления, глубины, высоты», широты охвата. «Удивительный, грандиозный человек. По сравнению с этим пророчеством все остальное выглядит как потемки, растерянность и детский лепет»; у него «дар изгонять бесов», — записывал автор «Дневников» свои впечатления от «Письма вождям...».

Отец Александр цитирует письмо Н. Струве от 22 февраля 1974 года, с которым, как замечает адресат в другом месте, «наше согласие нерушимо», передавая «ошеломляющее» впечатление от встречи с Солженицыным, от трехдневного пребывания вместе с ним. «Он [писал Н. Струве] как огонь, в вечной мысли, внимании, устремлении при невероятной доброте, ласковости и простоте... Такого человека в русской литературе не было, он и не Пушкин (нет и не может быть той надмирной гармонии), он и не Достоевский (нет той философски-космической глубины [вероятно, точнее было бы сказать — целенаправленного «углубления». — Р.Г.] в подвалы человека и вверх ко Христу), он Солженицын — нечто новое и огромное, призванное произвести какой-то всемирный *катафисис*, очищение истории и человеческого сознания от всевозможных миазмов... В некотором роде он визионер...»⁶

Но вот разгорелась схватка с русской диссидентской средой, и о. Александр уже готов признать, что (в области конкретизации идейных позиций) «не всё так однозначно», говоря современным клише. «Я стою между двумя правдами — большой (о которой пишет Никита мне и с которой я согласен) и “малой”, человеческой. По-человечески я понимаю обиду “диссидентов” на Солженицына, а когда смотрю “выше” — вижу правду Солженицына, даже по отношению к ним, к их интеллигентской гнильце и разложению, к этому “гуманизму”». Так, выходит, правда-то их «гнилая», тгни — и развалится? Что ж колебаться подле нее... Тем более, кто на кого должен обиду держать? Ведь именно диссидентский лагерь начал фронтальное наступление против него, вышел первым с разносом России⁷. Между тем о. А. Шмеман даже задумывает, делясь своим замыслом со своим другом Н. Струве, соорудить сборник («Единое на потребу»), в котором

«мы бы ответили и “Из-под глыб”, и “Континенту”, и литвиновско-шрагинской “фракции”», чтобы «поставить все на свои места во взлохмаченном снова мире “русской проблематики”». Вот какой будет «проплыв» между двух берегов (как, мне кажется, не против был бы выразиться Александр Исаевич)! Однако задумке не суждено было сбыться. Вместо всеразрешающего «Единого на потребу» в 1979 году в «Вестнике РХД» (№ 130) появляется статья о. Александра «На злобу дня», в которой автор недвусмысленно и мужественно реагирует на ситуацию, когда «один за другим появляются как в русских, так и не русских изданиях варианты, хотя и разными людьми составленного, но единого по духу “обвинительного акта”, предъявляемого сейчас Солженицыну... Цель у всех одна: низвести автора Архипелага ГУЛАГ с пьедестала...». Один, поименованный из «фракции» обвинителей, на которых направлено внимание критика, — В.Н. Чалидзе. Основной прием ниспровергателей — метод редукции солженицынской позиции в обход всех приводимых фактов к затверженным штампам.

Сравнивая два этапа интеллигентской оппозиции, к чьим разуму и совести взывали веховцы в начале XX века, и — этап, в конце 60-х, Солженицыну приходится констатировать «большой скачок» в мировоззрении при сохранении преемственности двух существенных характеристик: «отщепенства от русской истории и от русского государства» (П. Струве) и — атеистического умонастроения (С.Н. Булгаков). Конечно, до августа 1991 года можно было думать, что это было общее у нас с ними «отщепенство» — от советской коммунистической власти, оккупировавшей историческую Россию. Но вот стены рухнули, окопы пали, и мы с удивлением обнаружили, что за этими стенами открылась панорама с другими, ненавистными для нашей либеральной «орденской» интеллигенции стенами — исторической России, требующей слома. Все помнят, как в дни августовской победы Е. Боннер в духе воинствующего атеизма 30-х годов выговаривала Ельцину, что если он будет так привержен российским традициям и символике, то «они», прогрессивный свободолюбивый лагерь, откажут ему в поддержке. Впрочем, с выражениями их любви к России мы уже встречались. И вся дальнейшая неудача нашего расчищенного вроде бы пути оказалась следствием не только ситуации двоевластия (при участии невытравленных из правящих сфер коммунистов), но и неотступного противодействия новых либералов.

Главная — и поразительная — новизна новой формации интеллигентского «ордена» заключалась в том, что идейно заряженный и идеологически заостренный, собственно, и организовавшийся вокруг идеи, он (по немеркнувшей дефиниции Г.П. Федотова, характери-

зующийся «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей») решительно отмежевался от идеологии как таковой. После глубочайшего разочарования в коммунизме-марксизме-ленинизме она получила в западном мире волчий билет как предвестник и симптом тоталитаризма. Между тем идеи бывают разные, и идеологии — тоже, помимо тоталитарных (их мы знаем две) есть и обычные — т. е. системы социальных взглядов, без притязаний на переделку общества «по новому штату». Демократия же без идеологии, будучи лишена идейной охраны, как раз и становится жертвой тоталитаризма. Солженицын ссылается на яркие факты истории, когда тоталитарные системы возникают именно на почве кризиса демократии, захватывая опустошенные, дезориентированные умы своей мобилизующей и организующей идеей. Пренебрежение к идеологии выдает печальную близорукость и даже безмыслие новой генерации профессиональных интеллектуалов, их регресс по сравнению с собратьями прошлого. В таковой принципиальной деидеологизации коренится главная новизна «ордена интеллигенции» второй половины XX века.

Исследование этой формации интеллигентского сознания предпринял Солженицын в блистательном эссе «Наши плюралисты»⁸. «Плюрализм» — таково наименование (своего рода пароль на принадлежность к либеральности и демократичности) новейшей для передовой отечественной интеллигенции, по давно укоренившейся в западном общественном сознании точке зрения, отменяющей точки зрения как таковые, ибо признает их равными друг другу. «Однако может ли плюрализм, — ставит коренной вопрос писатель и строго логически, и образно, — фигурировать отдельным принципом, и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возводилось в такой сан». Утверждение множественности истин означает отрицание истины как таковой, и оно «есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства». Разнообразие как высший принцип отменяет «универсальную основу» для различения не только истинного и ложного, но и добра и зла, т. е. отменяет саму мораль. Плюрализм, таким образом, являет собой предельную версию релятивизма и аморализма.

Но это еще не все, Солженицын обращает внимание на парадокс этого мировоззрения: его свирепую, тоталитарную нетерпимость — волчью сущность, скрытую под овечьей шкурой всепримятия. «Плюрализм остается скорее лишь лозунгом, чем делом». Итак, при объявленной всеядности он не выносит возражений, ибо диктует свой категорический императив — в форме неразрешимых апорий Зенона — «абсолютная истина в том, что абсолютной истины нет».

Продолжая мысль Солженицына, приходим к неизбежному, но неожиданному поначалу выводу. Прежде всего, обратимся к истории: плюрализм имеет долгую и именитую родословную — традицию либерализма, берущего начало в эпохе античного полиса, в мысли Аристотеля, автора «Политики» — этико-философского трактата, обосновывающего гуманистическую альтернативу как социальной утопии идеального общества, так и деспотическому (тоталитарному) государству. История либерализма — это в конечном итоге история деволюции, вырождения политической философии: от воззрения на полис, на общество как основанное на содержательных гарантиях свободы к современной беспредпосылочной демократии, т.е. такому социальному устройству, которое регулируется механической балансировкой разнонаправленных интересов. В этой формальной процедуре постмодернистский плюрализм видит достаточное основание для обеспечения свободы, не нуждающейся будто бы ни в каком скрепляющем ценностном фундаменте. «Свобода, — обращается Солженицын к западному обществу в Гарвардской речи, — деградировала от своих первоначальных высоких форм». Причину деградации, или, по выражению автора, «ошибку» истории, он, в русле христианской культурфилософии, видит «в самом корне, в основе мышления Нового времени», в «миросозерцании, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось в Просвещение... и может быть названо... гуманистической автономностью», «автономностью человека от всякой высшей над ним силы, либо, иначе» — известным термином «антропоцентризм». «Обнаженная свобода», т.е. свобода, не подкреплённая смысловым образом (свобода без истины. — Р.Г.), не только «не решает всех проблем человеческого существования, а во множестве ставит новые», — размышляет Солженицын, вовлекая нас в этот процесс.

Размывание смысловых основ классического либерализма (в христианскую эпоху известных под именем «естественного права», или «естественного закона», отражающего закон Божественный в приложении к социальной жизни) оказалось подрывным процессом по отношению к той самой правовой демократии, чей бренд присвоили себе и от чьего лица выступают идеологи релятивистского плюрализма.

Секрет тут в двоении самого термина «плюрализм», в существовании двух разных понятий под одной обложкой: 1) это — многообразие форм гражданского общества, децентрализация властных институтов, независимость разных общественных сфер, наличие многочисленных местных сообществ и т.д.; назовем его *гражданский* плюрализм; и 2) плюрализм, о котором мы вели речь выше, плюрализм в сфере духа — уравнивание всех норм и «истин», т.е. упразднение их,

ликвидация иерархии ценностей; это, скажем, *мировоззренческий*, или *философский*, плюрализм⁹. Вопреки пропаганде мировоззренческих плюралистов, два этих понятия не только не поддерживают друг друга, но — из различных, даже полярных миров. Второй безосновательно спекулирует на первом, выдавая себя за его идейное обеспечение и являясь на деле его злейшим врагом, подрывным элементом. Беспредпосылочная демократия (у Солженицына есть формула: «выветренный гуманизм») все больше существует по инерции, за счет старого золотого фонда, полученного по наследству от классического, консервативного либерализма. Но гражданский *плюрализм*, т.е. разнообразие форм социальной жизни, является детищем как раз единой общечеловеческой истины и основан на ней, заимствованной из области мировоззренческого *монизма*.

Что касается идеологии плюрализма, или деидеологизма, не признающей никаких истин, мнений и убеждений, то есть у нее все-таки одно исключение, одна первая среди равных истин, это — права и свободы человека. Однако дело не только в кричащей непоследовательности этого принципиального релятивизма, но и в некотором еще одном сюрпризе, который тут заключен. Казалось бы, права и свободы человека — самая гуманная из всех возможных идей; однако когда эти права и свободы (что в данном случае одно и то же) превращаются в единственное абсолютное начало, не терпящее рядом с собой никакого другого начала, рождается тоталитарная идеология. «Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество», — обнажает Солженицын уязвимый пункт новой идеологии; он называет такую свободу «истерической» и «разрушительной».

Писатель подталкивает нас к раскрытию того, как хитроумно — сознательно или неосознанно — закамouflирован этот враг и какой обман гнездится в его святая святых. Свобода для кого? — задает вопрос Солженицын, стремясь обратить взор современников к потаенной сути этой системы взглядов, и напоминает: «Права человека относятся ко всем людям, а не только к ним самим», т.е. к пропагандистам вероучения. Ведь объявляя себя защитником прав и свобод человека, идейный авангард имеет в виду вовсе не всякого человека, — напротив, он оборачивается дискриминацией прав большинства человечества, поскольку защищает и продвигает экстраординарные, агрессивные права прогрессивного меньшинства (подобие *inner party*, по Оруэллу) за счет проверенных жизнью и вошедших в обиход традиционных прав и норм. Так, сохраняя за собой звание идеологически нейтрального, он осуществляет жесткий идейный диктат. В этом но-

вый тоталитет смыкается со старым, с коммунистической, марксистско-ленинской идеологией, чему писатель находит естественное объяснение: оба явления имеют один глубокий корень — материалистическое мировоззрение.

Права человека, как видим, требуют другого, содержательного мировоззрения. Точно так же как социальный строй демократии для своего достойного функционирования нуждается в положительном, ценностном фундаменте, так и обеспечение прав и свобод человека предполагает подобный фундамент и находит его в уникальной почве христианского универсализма. Именно благодаря христианской антропологии, провозгласившей право человека на существование в качестве неповторимой личности, его права и свободы приобрели такое неоспоримое, верховное место в общественном сознании и создали объединяющую социальную платформу для людей разных вер и убеждений. — Чем втайне и пользуются не помнящие родства знаменосцы плюрализма.

Между тем обличение Солженицыным состояния современной демократии, отказывающейся от исторического наследства, вызвало шквальный огонь критики со стороны неолиберальных поклонников постмодернистского социума. Обывательская по сути мысль образованца, бездвижная, живущая слепой верой в прогресс, отказывалась понимать профетическое слово. Тот, кто ради свободы подавленной половины человечества побывал во чреве дракона — как опять же пророк Иона во чреве кита, — персоналист и сочувственник миллионам несчастных, чей пепел, как «пепел Клааса», стучал в его сердце; тот, кто на самом деле был главным правозащитником нашего времени (недаром же награжден на Западе премией «Фонда свободы», в конце концов!), — в прогрессивном лагере своих соотечественников был назван врагом свободы и демократии. «...Я никогда не забывал страданий, поисков и порывов того безмолвного множества и не имел иной цели в жизни, как выразить именно их», — сказал он на приеме в Сенате США 15 июля 1975 года. Неудачу истории, ее возвратное движение Солженицын как чтитель свободы связывал именно с пренебрежением к личности. «Средние века когда-то не удержали человечества, оттого что построение Царства Божия на Земле внедрялось насильственно, с отобранием существенных прав личности в пользу Целого».

Осознавая ключевую роль идеологии в поддержании тоталитарной системы, Солженицын предложил простое и гениальное know how. Как мыслитель и проповедник и как боец-одиночка на два фронта он обратился к обеим сторонам: к институциональной и к оппозиционной ей интеллектуальной власти, и к верхам и к интеллигенции, с призывом совершить посильное действие. Последних он призвал к

неучастие во лжи, навязываемой партидеологией. (После высылки, познакомившись с Западом, — во лжи, навязываемой оглушенным общественным мнением.) Это был путь, который в позднесоветское время стершихся режимных зубов для подобных индифферентистов, «неактивных» строителей коммунизма, не нес угрозы жизни (лишь их благополучию); гражданина он звал не на баррикады, а всего лишь сделать доступный нравственный шаг, достойный звания человека. Но этот путь грозил режиму, лишая его главного столпа и утверждения. И грозил автору. Однако наша освободительная мысль не вместила призыва «жить не по лжи», она пошла другим путем.

Такова же была и судьба обращения к противоположной стороне — написанного и отправленного (5 сентября 1973) еще до «выдворения» писателя из России «Письма вождям Советского Союза», которых автор призывал отказаться от марксизма-ленинизма (без болезненных жертв своими постами и привилегиями), что частично потом осуществил Горбачев, объявив о приоритете общечеловеческих ценностей перед классовыми. Выбор адресата «Письма...» вызвал усмешки и критику ведущих диссидентов: к кому, мол, обращается?.. (Но почему же, почему не использовать шанс, там ведь тоже люди, значит, возможен хотя бы какой-то волевой люфт?..) И, главное, московские интеллигенты, «многословные критики» «Письма...», набросившись на обращение не к ним, обращения к себе не заметили. А ведь «...был предложен второй и более верный путь, с нашей стороны: отшатнуться от идеологии н а м, перестать н а м поддерживать это зловонное чучело — и оно рухнет помимо воли вождей».

Давно и напряженно размышлял Солженицын о выходе России «из-под глыб» тоталитаризма, не переставая предупреждать об опасности немедленного введения демократии без авторитарного переходного периода, замешенного на принципах классического либерализма, или либерального консерватизма. «Любую из западных систем — к а к именно перенять?» через какую процедуру? — так, чтобы страна не перевернулась и не утонула?.. Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот». Он боялся этапа феврализации, которая приводит к Октябрю. Россия в конце XX века не перевернулась на революционный манер, но пережила свой Февраль в ослабленной форме, выпущенная на непротопанную дорогу ускоренной демократизации. В начале 90-х так же, как в начале века, во времена «Вех», Россия стояла перед решающим выбором. В этот осевой момент Февраль был представлен оппозиционной интеллигенцией. Ельцин, провозгласивший: «Я верю, что Россия возродится» — и заявивший о преемственности ее будущего с ее историческим, органическим прошлым, оказался зажат между вылезшими на поверхность коммуниста-

ми и непримиримой интеллигентской оппозицией. Иначе говоря, между теми же Февралем и Октябрем. В бескровном варианте повторылась ситуация 17-го: период неопределившейся, стихийной свободы ступень вывалился, сходил на нет в начавшемся в нулевые годы процессе реставрации советских символов и атрибутов, умонастроений и упований в духе октябрьского прошлого, возвращении марксистских трактовок российской и советской истории, сокращении гласности, утеснении свободы слова, фальсификации выборной системы, наконец, вследствие неудавшейся декоммунизации страны, сначала робкой, но постепенно осмелевшей и принявшей теперь уже спонтанный характер ресталинизации общественного сознания.

Плюралистическая идеология, не вооруженная никакой воодушевляющей задачей, кроме эфемерного в глазах простого человека девиза «права и свободы человека», бессильна и неконкурентоспособна в противостоянии железному кулаку марксизма-ленинизма (вариант: национал-социализма) и обречена на социальное поражение. В этом хитроумном, противоречащем себе и здравому смыслу учении «люди запутаются, как в лесу» — предупреждал писатель. Неспособная одолеть коммунистическую идеологию, эта непролазная идейная чаща заслонила искомую для России дорогу и подвела ее к новой несчастливой форме бытия, к социальной системе, которая была поименована «бюзнесом»¹⁰, сращением бюрократического и бизнес-аппаратов.

Подведем итоги: капиталистическая система у нас не задалась, потому что уничтожилась конкуренция. Демократия не задалась, потому что, как писал Солженицын, «не создано живое, нескованное местное самоуправление: оно осталось под давлением тех же местных боссов и местных коммунистов, а до Москвы — и тем более не докричишься»¹¹. Партийная система не задалась, потому что по сочетанию обстоятельств она к нашей стране мало подходит: выборы в правящие органы тут должны проходить не от партий, а «от земли», по территориальному принципу. В результате: мы живем в присутствии партийной системы, которая имеет, скорее всего, декоративный, симулятивный характер. Горькие последствия и плоды скоропалительной демократии писатель предсказывал, непрерывно о них предупреждал.

В общем — «обвал», как и было сказано¹².

Настолько же, насколько разны идеологии в зависимости от лежащего в их основании принципа, настолько же разны авторитарные системы в зависимости от их отношения к закону и к личности. «Невыносима не столько авторитарность — невыносимы произвол и беззаконие» («Письмо вождям...»), нужен авторитарный строй «с твердой реальной законностью, отражающей волю населения». И второе,

что писатель отмечал в качестве неперменной характеристики искомого для России авторитаризма, — это человеколюбие, опыт которого, как мы можем вспомнить по истории, у страны был в разные времена, в частности, в попытках проведения «христианской политики». Но пока наш строй (названный младореформатором Е. Гайдаром «мягким авторитаризмом») если и нельзя назвать нечеловеколюбивым — поскольку он объявил себя «социальным государством» (да и во главе его сегодня стоит человек, которого нечеловеколюбивым называть нельзя), — то никак нельзя назвать и законосообразным.

Получается, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.

Между тем в оценке современной демократии и авторитаризма как формы правления с писателем расходились и близкие ему люди на Западе, восторженные и преданные ему почитатели, глубокие ценители его гения и подвига. — Так трудна его веховская позиция для привычного современного восприятия. В отклике на Гарвардскую речь с критикой нынешней демократии Н.А. Струве¹³ затрагивает тему устойчивой неприязни русской историософской традиции к демократии как царству посредственности и материальных интересов, к которой рецензент осторожно и оговорчиво относит и Александра Исаевича. Более того, последний, по мысли Струве, находится в менее оправданной позиции, поскольку славянофильским нелюбителям Запада было что ему противопоставить, а у Солженицына такого козыря нет: «А что теперь противопоставить Западу?» На это можно возразить, что бывают разные времена, и не всегда есть в наличии, в сущем, образцовый предмет, но его можно найти в должном, что особенно объяснимо, если учитывать, что речь идет во времена подневольного оккупационного состояния России в течение 70 лет. Кстати, славянофилы тоже противопоставляли должное, из прошедшего сущего, из допетровской Руси. Но далее критик обмолвился, что у Солженицына нет возможности противопоставить худому Западу не только реальное, но и потенциально лучше, и в этом «ахиллесова пята Гарвардской речи». А вот тут нужно вступить и заметить: «потенциально лучшее» многожды описано у Солженицына. Для него, повторим, таким предметом было возрождение России на путях классического, т.е. консервативного, либерализма, на первых порах в виде просвещенного авторитаризма, — России, которую он не хотел бы видеть уподобленной выродившейся сегодняшней демократии. Прибавим к тому же, что писатель, как всякий соотечественник со «страждущим сердцем» (выражение С. Булгакова), находил, что и в советское время в народе, особенно в провинции, с которой писатель был всегда душевно связан, еще не все потеряно (что подтвердилось для него воочию во время его возвратного движения по стране

в 1994 году). И вечная аберрация: *не* правовое сознание считал избыточным Солженицын, как на это намекает рецензент, а панюридизм, вытесняющий правовое сознание, за которым стоит не одна формальная, а и нравственная правота. «Правду Гарвардской речи» Струве делит пополам: она не столько «в конкретных обличениях», сколько «в Божьей руке», присутствие которой критик видит в общем характере солженицынских пророчеств. Трудно представить такую дихотомию. Поражает как раз глубина и точность конкретной мысли, которую, кстати, никак не назовешь «нутряной», по характеристике рецензента. Впрочем, через год в статье «О демократии и авторитаризме»¹⁴ Н. Струве снимает большинство несогласий с автором.

Но насколько же мысль писателя была чужда и потому недоступна для его оппонентов?! Какой клубок недоразумений возник при встрече соображений Солженицына со средой передовой интеллигенции! К сожалению, образцом тут послужил критический отклик на «Письмо вождям...» такой значительной и значимой фигуры, как А.Д. Сахаров, начавший нашумевшую полемику.

Каждая позиция Солженицына была не просто перетолкована, а вообще не воспринята. Судите сами. Сомнения автора письма по поводу последствий внезапного перехода СССР к демократии оппонент расценивает как засевшую в душе антидемократическую приверженность к властным режимам, в то время как Солженицын мыслит авторитарное правление (и какое?! в качестве *моста* для перехода от тоталитарного режима к демократическому. Причем эта модель выдвигалась и против конвергенции между социализмом и капитализмом, которую поддерживал Сахаров, но в которой Солженицын видел соединение *профок* двух систем.

Призыв к властям отказаться от агрессии, перестать «пригреть державной рукой соседей», отбросить «чуждые мировые фантастические задачи» был истолкован в качестве призыва к «изоляционизму». Критика распродажи недр вместо развития собственной экономики (до чего сегодня злободневны эти давние предупреждения!) воспринимается тут как отказ от мировой торговли. И наконец, центральный пункт — идеология, роль которой, с точки зрения Сахарова, автор «Письма...» безосновательно преувеличил. Но ее «преувеличить невозможно», — ответил Солженицын, что он доказал и обосновал исторически и логически. Между тем можно вспомнить, что в разгар полемики писатель выдвинул Сахарова на Нобелевскую премию мира как «гиганта борьбы за человеческое достоинство». Со временем позиции их сблизались, спор знаменательно окончился: в сборник статей А.Д. Сахарова «О стране и мире» (1975) злополучный отклик на «Письмо вождям...» автор не включил.

Однако в лагере бывших единомышленников Сахарова, бездвигательных сторонников бесперебойного прогресса, агитаторов догматического западничества не перестает резонировать прошлое размежевание. «На тех мыслях, которые Сахаров прошел, миновал, еще коснеет массивный слой образованного общества... Еще немалые круги на Западе разделяют те надежды, иллюзии и заблуждения». Это было написано в 1973 году, но и сегодня можно повторить: эти круги у нас, и на Западе коснеют на тех же позициях.

Одно из неизбывных заблуждений в *vir*-диссидентской среде: Солженицын – антизападник, нетерпимый для его идейных противников славянофил. Между тем был он – веховцем, суровым критиком Запада, но Запада, изменившего самому себе в процессе секуляризации. – В такой же степени, в какой был им критик Запада знаменитый европеец, философ культуры и христианский публицист Романо Гвардини («Европа восстала против своей сущности» – образа Христа). Солженицын не ищет в процессе обезбожения некие специфически западные корни и импульсы, а видит общие с нами, Восточной Европой, причины – утрату веры, плоды дехристианизации. «Люди забыли Бога, оттого и всё». В том, что Запад далеко опередил нас на пути разложения традиционного общества, мы должны благодарить 17-й год, «подморозивший» страну. (Не было бы счастья, да несчастье помогло.) Под глыбами коммунизма мы задержались «в развитии», но семимильными шагами догоняем и перегоняем цивилизованный мир именно в этом направлении.

Писатель вдумывается в наше время, время не только политического расстройств. С пророческой тревогой исследует он духовное состояние современного мира, новое положение в нем художника, искусства и литературы в первом же, как мы помним, тематическом выступлении – в Нобелевской лекции. Что такое искусство и что с ним происходит? – задается неотвязными вопросами писатель и обнажает глубокий разлом внутри искусства и внутри русской литературы. Да, искусство вечно, и, прибавим от себя, врата ада не одолеют его. Однако не всё есть искусство.

Как и во всех других вопросах, так же и здесь, мысль Солженицына идет по магистральному, царскому пути, не соскальзывая ни по декадентскому, ни по авангардному ее уклону (что в конечном счете сводится к одному), и все его, солженицынские новые формы-открытия идут не по этим линиям.

Нетрудно понять, что писатель выступает как наследник и защитник классической эстетики, опирающейся на онтологию красоты, оставленной художественной теорией и практикой последнего столетия ради эстетики выразительности (по Дж. Кроче); что он про-

должатель Вл. Соловьева и русского религиозно-философского ренессанса, разделявших представления о мире как гармоническом в своем прообразе целом. Для писателя благое устройство бытия есть его имманентная истина, которая проявляется вовне как красота и присутствие которой за всеми трагедиями мира есть условие и гарантия подлинного творчества.

Спасет ли мир красота? — ставит снова еще один знаменитый дискуссионный вопрос и, обращаясь к вечному триединству «Истина, Добро и Красота», видит в нем «не просто парадную, обветшавшую формулу, как казалось нам в пору нашей самонадеянной юности», а возможность положительного ответа на сакраментальный вопрос. Различая разные службы у начал, входящих в эту неслиянную и нераздельную троицу, писатель художественным образом акцентирует особую роль, специфический способ бытия в ней Красоты: «Если вершины этих трех деревьев сходятся... но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся *в то же самое место*, и так выполнят работу за всех трех? И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: “Мир спасет красота”?»¹⁵ Но поскольку источник красоты есть прекрасный прообраз мира, сотворенного Демигургом с любовью, потому истинно художественное произведение, то, которое «подчиняет себе даже противящееся сердце», земной творец должен создавать с благоговением, т. е. по тем же законам, по которым Творец создавал мир. (Трудно представить себе, чтобы можно было создать какой-то новый *художественный*, иначе говоря, *живой* мир по целиком выдуманному закону.) Но если такова сила красоты, «тогда искусство и литература могут на деле помочь сегодняшнему миру», — завершает нобелевский лауреат философское умозаключение.

Но что увидел Солженицын, вернувшийся на волю и, как зэк, жаждавший встречи с этим сегодняшним миром, верящий в то, «как сразу отзывно откликнется мир» «на крик исстрадавшейся души», пережившей на себе нечеловеческий опыт? И не от себя только, а за тех, «кто канул в ту пропасть уже с литературным именем». И сколько их, *unknelled, uncoffined and unknowled!*¹⁶ Но между мирами, колодочным и свободным, зияла целая пропасть окамененного нечувствия. Нынешний мир веселится и пирует во время чумы. Пропать писатель увидел зияющей и между литературами, русской, какой мы ее знали, и — какой мы ее узнаем. Всегдашняя сострадательность, сочувственность, больная совесть русской литературы куда-то исчезли. Художник не благоволит к Божьему творению, он «мнит себя творцом

независимого духовного мира... объявляет себя центром бытия», хотя «мир не им создан, не им управляется».

Наследуя мысли Солженицына, мы должны объявить здесь водораздел между искусством, которое «и на дне существования — в нищете, тюрьме и болезнях» передает ощущение «устойчивой гармонии» первооснов мира, и — не-искусством, антиискусством. Писатель сразу обнажает ахиллесову пяту нынешнего творчества, чей критерий — новизна, вытеснившая онтологический критерий классической эстетики — красоту. Погоня за новизной подменила красоту деформированными и шокирующими образами, ставшими в конце концов главной целью творчества. Искусственный и надуманный мир потенциально может быть любым, ему закон не писан, но по своему главному импульсу — поражать своим несходством с миром реальным — он обычно предстает перед нами миром абсурда, лишенным гармонии и смысла в своих первоначальных основаниях. И к теме этой плодоносящей по своему, разрушительной пустоты на месте святе, которое пусто не бывает, писатель возвращается в разных местах своей публицистики. Среди симптомов нынешней языковой и духовной разрухи он отмечает: утрату смысла у отдельных слов и превращение их в «пустышки»; ситуацию, «когда иерархия ценностей, которой мы поклоняемся, что мы считаем самым для себя дорогим и что менее, из-за чего колотится наша жизнь и наше сердце — эта иерархия начинает качаться и может рухнуть». С тех пор, когда говорились эти слова (Речь на приеме в Сенате США 15 июля 1975 г.), прошло больше трети века. Крот истории в лице захлестнувшего сегодняшнее сознание постмодернистского мировоззрения, который объявил иерархию ценностей вместе с «логоцентризмом» (т.е., по сути, со здравым смыслом) своим главным врагом и вступил с ней в реальную борьбу на подмостках культуры, сумел добиться больших успехов, повалив ее, иерархию и вовсе набок. Иллюстрации это не требует; мы, те из нас, кто не захвачен этой деструктивной борьбой, можем без труда засвидетельствовать ее достижения в качестве зрителей.

«Приближается крупный поворот всей мировой истории, всей цивилизации», мы «подшли к последнему краю великой исторической катастрофы»¹⁷, — возвещает писатель, предостерегая свободный мир и как пророк, и как культурфилософ. Культурфилософия не раз предрекала «закаты Европы» и приход «нового средневековья». О. Шпенглер выстраивал культурную историю человечества в виде сменяющих друг друга замкнутых циклов, разнящихся своим тактом и ритмом; в «новом средневековье» Н. Бердяева эклектически сочетается натуралистический взгляд на ритмическую смену эпох à la Шпенглер с эволюцией основополагающей для той или иной культуры духовно-нравственной

идеи, истощение которой по какой-либо причине ведет к смене эпох. Солженицын вносит в культурфилософию последовательный взгляд, базируя ее на христианской онтологии: культурные эпохи кончаются из-за одностороннего развития какого-либо одного «отвлеченного начала» (используем термин Вл. Соловьева) и утраты необходимого равновесия, взаимодействия с другими дополняющими его началами (вера в Бога и — уважение к человеческой личности).

«Как когда-то человечество разглядело ошибочный нетерпимый уклон позднего Средневековья и отшатнулось от него — так пришло нам время разглядеть и губительный уклон позднего Просвещения. Нас глубоко затянуло в рабское служение удобным материальным вещам, вещам, вещам и продуктам. Удастся ли нам встряхнуться от этого бремени и расправить вдунутый в нас от рождения Дух, только и отличающий нас от животного мира?..» — вопрошал он европейскую аудиторию (Выступление по английскому радио 26 февраля 1976).

Все, что отвращало писателя в культуре Запада в 70-е годы — культ наслаждения и потребительства, утрата чувства чести и стыда, долга и ответственности, «отвратный напор рекламы», одурение телевидения и непереносимой музыки, — все это перенеслось в 90-х годах и к нам, пышно расцвело и стало насильственной тотальной атмосферой российской жизни. «Свободой Рим возрос, а рабством погублен»¹⁸. Писатель предвидел такую судьбу для России и стремился к тому, чтобы чаша сия миновала ее, чтобы из одной бездны она не попала в другую. Он пытался объяснить современникам, что существуют не только «мрачные пропасти тоталитаризма», но и непроглядная тьма «светлой твердыни свободы». И потому, думая о России, настаивал на переходном авторитарном управлении не без царя в голове и с законом в руках.

Величие Солженицына как мыслителя и пророка — в том, что его смертельная борьба с коммунизмом не затмила смертельную же опасность, которую миру и России несет, казалось бы, полярное, а по существу — единое в своем материалистически-атеистическом корне новое свободолобие.

Но мир не услышал его
Услышит ли еще Россия?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В 1975: «Третья мировая?..» 28 апреля 1975, Речь в Вашингтоне перед представителями профсоюзов АФТ — КПП 30 июня, Речь в Нью-Йорке перед такой же аудиторией 9 июля; Речь на приеме в Сенате США 15 июля 1976, Выступление по английскому радио 26 февраля 1976, Слово на приеме в Гуверовском институте 24 мая;

Слово при получении премии «Фонда свободы» 1 июня; в 1978: Речь в Гарварде 8 июня; статьи в 1980 году: «Коммунизм у всех на виду – и не понят» в январе 1980; «Чем грозит Америке плохое понимание России» в феврале 1980, «Иметь мужество видеть» в июле 1980.

² Отец Александр Шмеман вспоминает, как он с Н. Струве заезжали к Литвиновым. «Кончилось своеобразным скандалом: Майя (жена Литвинова, вообще-то милая и симпатичная) стала орать, что “Солженицын – нуль”, ничто, “наполненное”, вытянутое из ничто ими – московскими и ленинградскими “интеллигентами» (Шмеман А., *прот.* Дневники. М., 2005. С. 360).

³ *Солженицын А.И.* Наши плюралисты // Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995–1997. Т. 1. С. 409–410.

⁴ Вехи. М., 1990. С. 4.

⁵ См.: Шмеман А., *прот.* Собрание статей. 1947–1983. М., 2009.

⁶ Он же. Дневники. С. 77.

⁷ См.: Вестник РХД. Париж, 1970. № 99.

⁸ См.: Вестник РХД. 1982. № 5; см. также 7-е дополнение к очеркам литературной жизни: Бодался теленок с дубом. Париж, 1975. Т. 1.

⁹ См.: Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. Summa ideologiae // Формирование идеологии и социальная практика. М.: ИНИОН АН СССР, 1987.

¹⁰ Словообразование политолога Д. Орешкина.

¹¹ *Солженицын А.И.* Русский вопрос к концу XX века // Новый мир. 1994. № 7. С. 171–172.

¹² Ср.: Он же. Россия в обвале. М., 1998.

¹³ См.: Струве Н.А. О Гарвардской речи А. Солженицына // Вестник РХД. 1978. № 126.

¹⁴ Вестник РХД. 1979. № 130.

¹⁵ Фраза вложена в уста Л.Н. Мышкина, персонажа романа «Идиот».

¹⁶ Неотпетых, непогребенных и неузнанных (Дж. Байрон).

¹⁷ *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 1. С. 296.

¹⁸ Пушкин А.С. Лицинию.

Александр Урманов

БЛАГОВЕЩЕНСК

ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ В ЭПОПЕЕ «КРАСНОЕ КОЛЕСО»

В лексическом отношении главное и самое значительное произведение А. Солженицына – историческая эпопея «Красное Колесо» – стереофонически воссоздает многообразие сословных, политических, профессиональных, региональных, культурных и иных языковых сфер эпохи революционных потрясений начала XX века. Однако если в первых двух Узлах произведения (особенно в «Августе Четырнадцатого») эти сферы существуют относительно автономно, в совокупности создавая яркую, многообразную, многослойную и при этом в целом непротиворечивую картину бытования русского языка, то в последних двух Узлах языковые пласты причудливо перемешиваются, образуя чудовищную лексическую какофонию. Какова природа данного феномена, каковы причины этого глобального *словосмешения*?

Некоторые исследователи «Красного Колеса» делают акцент на существовании в изображаемой Солженицыным революционной России двух замкнутых культур и, соответственно, двух несовпадающих языковых кодов, на непонимании, которое возникает между простым народом и образованной частью общества. Будто бы именно раскол нации по линии *интеллигенция – народ*, отсутствие взаимопонимания между этими двумя основными группами населения Российской империи, их нежелание и неумение понять друг друга и привели страну к катастрофе. В какой-то степени это так и есть. Эпопея Солженицына воссоздает множество реальных и вымышленных, исторических и бытовых, драматических и комических сцен и эпизодов, отражающих это взаимонепонимание. Однако объяснять взаимную глухоту персонажей «Красного Колеса» только лишь их принадлежностью к полярным по степени образованности группам российского общества было бы несправедливо. На разных языках в произведении весьма часто говорят не только «два важнейших слоя общества», на чем акцентирует внимание П.Е. Спиваковский¹, но и представители одного сословия, одного культурного слоя.

Другое дело, что создателю «Красного Колеса» действительно близок (до определенной границы!) вывод авторов сборника «Вехи» (1909), которые отпадение от веры всецело считали «заслугой» интеллигенции. По словам видного веховца С. Булгакова, основным различием между интеллигенцией и народом стало именно отношение к религии: «Народное мировоззрение и духовный уклад определяется христианской верой»; «влияние интеллигенции выражается прежде всего тем, что она, разрушая народную религию, разлагает и народную душу, сдвигает ее с ее незыблемых доселе вековых оснований»². Согласен ли автор «Красного Колеса» с тем, что основная ответственность за распространение в России атеизма и, как следствие, за разрушение национального единства (в том числе в языковой сфере) лежит на интеллигенции, что именно она внедряла в национальное речевое пространство чужеродную лексику? Наверное, да (с поправкой, что в этом участвовала не вся российская интеллигенция). Только предстает ли в его эпопее народ в качестве невинной жертвы, в роли пассивного объекта, на который направлено внешнее вредоносное воздействие? Попробуем разобраться в этом.

Начнем с интеллигенции, которая никогда в России не была мировоззренчески однородной. В своем произведении автор «Красного Колеса» рисует образы интеллигентов, не поддавшихся массовому безумию, сохранивших веру, твердость духа, верность традиционным ценностям, в том числе и выработанному многовековой культурой национальному языку. Среди них — философ Павел Варсонофьев, профессор Ольда Андозерская, «народник» Саня Лаженицын. Но таких интеллигентов в охваченной революционным пожаром России немного, и заметного влияния на формирование общественного мнения они не оказывают. Самый же многочисленный и социально активный слой российской интеллигенции периода Февральской революции — так называемые *либералы*.

Мышление многих персонажей «Красного Колеса» детерминировано тем положением, которое они занимают в обществе, в профессиональной среде, обусловлено партийной принадлежностью, сословными предрассудками, образованием. В результате языковое сознание и, соответственно, речь героев заполняются штампами, оказывающими влияние на формирование их представлений о мире. В первую очередь это касается либеральной интеллигенции, добровольно подчинившей себя влиянию «революционной парадигмы».

Писатель показывает, как превратно понимаемый либералами «общественный долг» оборачивается их полным отрывом от национальной почвы. Потребность «прогрессивной» (почти сплошь атеистической) интеллигенции, «передовой» (то есть по преимуществу ли-

беральной) российской общественности в сакрализации всего, что имеет отношение к революционным потрясениям, формирует особую лексику, своеобразный «возвышенный» язык, на котором общаются представители данного слоя. Слово «революция» и сопутствующие ему речевые формы, тянущиеся из эпохи Великой французской революции, становятся для посвященных своеобразным *паролем*, вызывающим ответную экстатическую реакцию. Таковую, какая возникает, например, в 15-й главе «Марта Семнадцатого» у Саши Ленартовича, получившего в своей семье революционное воспитание: «Революция! Волшебное слово! Как нам его напевают в детстве! Дивное мелькание красных знамен с косыми древками сквозь дымы ружейных залпов! Баррикады! — и гавроши на баррикадах! Взятие Бастилии! Пламенный Конвент! Бегство и казнь короля! Высшее самопожертвование и высшее благородство! Фигуры героев, застывающие в изваяния! Слова, застывающие в веках!» (V: 95)³. Этот переполняющий героя пафос будет понятен, если вспомнить, что несколько поколений предоктябрьской российской интеллигенции почти единодушно важнейшими своими задачами считали борьбу с самодержавием и «служение» народу.

В изображении автора «Красного Колеса» интеллигенция всех либеральных оттенков словно бы не видит того, что в реальности происходит с Россией. Для нее революция — не хаос и насилие, не разрушение и грабеж, не грандиозная социальная катастрофа, а сплошная «феерия» (VI: 222); «светлое Преображение, величайшее из земных чудес!» (VII: 600); «Деяние, обвеянное духом несомненной святости! Наитие Святого Духа» (VII: 603); «Всероссийская Пасха» (VII: 603); «П р а з д н и к о в п р а з д н и к!» (VIII: 391); «дивная святая молитва» (VIII: 396); «Огненная радость» (VIII: 538) и т. д.

Подобная лексика совершенно не соответствует реальному развороту революционных событий, скрывает, затемняет, искажает характер происходящих в стране разрушительных процессов. Что стоит за этим — лицемерие, глупость, искреннее заблуждение, абберрация зрения, проявление власти общественного мнения, инерция? Видимо, все вместе. В любом случае, такая лексика свидетельствует об отрыве речи (и, соответственно, сознания, мышления) либералов от действительности, которая, следовательно, уже не может быть ими адекватно воспринята и объяснена.

Российская интеллигенция предреволюционного и революционного времени видела свою миссию в том, чтобы выразить и формировать самосознание нации. Автор «Красного Колеса», напротив, показывает, что в период тяжелых для страны испытаний либеральная общественность такой нагрузки не выдерживает. Лицемерие участву-

ющих в *демократизации* России либералов входит в привычку, становится их натурой, поэтому ими самими не замечается. Любопытна в этом смысле 634-я глава «Марта Семнадцатого», в которой иронически выведен цвет либеральной столичной интеллигенции: «символистическая поэтесса», ее муж – «поэт, прозаик, драматург, мыслитель, критик и публицист» и «их друг, всего лишь только мыслитель, критик и публицист» (намек на З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова очевиден, но писатель намеренно не называет имен; для него в данном случае важнее не документальная точность в описании реальных участников исторических событий, а обобщение, цель которого – воссоздание типического явления). В течение трех недель (с начала февральско-мартовских событий) в символистском салоне «почти непрерывно» льются восторженные речи: «события настолько сотрясали, настолько багряно освещали души и горизонты, что онемели их перья». В квартиру символистов, тоже непрерывно, «заходили воспринять охватывающий свет» и журналисты, и представители искусства, и церковные деятели, и политики («Раза два на четверть часа влетал сюда – кометой, гранатой! – распираемый счастьем Керенский»). И всех их хозяйка квартиры (видимо, именно себя видевшая *выразителем и формирователем самосознания нации*) «успевала консультировать и направлять». 17 марта, во время очередного «ракетного» визита на квартиру к символистам их «друга» Керенского, она дает восторженную оценку манифесту «К народам всего мира», от имени Совета составленному «интернационалистом» Гиммером. Ее похвал гибельный для страны документ удастаивается, в частности, за то, что «не зачеркивает войну как субстанцию, как мы ее понимаем, символисты: не в грубо прямолинейном смысле всеобщего истребления, но как жертвенное крещение, экстатический подъем, очистительную жертву вселенского костра, в котором и является Мировая Красота» (VIII: 543). Услышав такое, даже Керенский, первый на Руси словесный эквилибрист, «оглянул их троих – и испугался их торжественных, загадочных, философических лиц». В глухоте к тому, что происходит со страной, чем живут миллионы людей, в оторванности от народа, в словесной изощренности, призванной прикрыть мировоззренческую и духовную пустоту, либеральные столичные интеллигенты-гуманитарии превзошли самого Керенского!

Этот слащаво-лицемерный, непереносимо приторный, напыщенный и фальшивый язык «прогрессивной» интеллигенции, эту псевдопатетическую словесную патоку либеральной российской общестственности простой народ не переносит на дух. Он готов воспринимать

даже грубую агитационную трескотню большевиков, но только не восторженно-лицемерное словоблудие либералов.

Народ, здоровая его часть, находит слова, очень точно, без всяких прикрас отражающие характер происходящего и одновременно обнажающие фальшь либеральной лексики. В 271-й главе «Марта Семнадцатого», в которой события 1 марта даются через восприятие идейно близкой к кадетам сотрудницы Публичной библиотеки Веры Воротынцевой, героиня испытывает необыкновенный подъем, слушая восторженные речи известных российских либералов. Но когда возвращается домой, переполненная «весенним поющим» настроением, ее обдает холодным душем няня: «Пакоcтники! <...> Злодыри! По всем этажам обыскивать шастают, глядят — где б спереть, что плохо лежит. Так и валят, кучка за кучкой, и морды-то колодников, небось из тюрем да попереодевались. Полное для них нестеснение. <...> Разорению — чего же радоваться?» Услышав это суждение трезвого и здравого народного ума, Вера онемела: «Нельзя было серьезно повторить ей (няне. — А.У.) хоть и самыми простыми словами того, что говорилось сегодня в Публичной: ни про заветную сказку, ни про мечты поколений, ни уж, конечно, про Христово Воскресение.

Но оттого что слова эти все оказались недействительны перед няней (читай: перед народом. — А.У.) — сразу стали они маленькими, маленькими и блеклыми» (VI: 393–394).

Сфера распространения либеральной лексики была сравнительно ограниченной и по времени непродолжительной: безумно пофонтировав в период мартовских событий 1917 года, она постепенно сошла на нет, локализовавшись в ряде малотиражных периодических изданий, в некоторых столичных политических и творческих салонах, во внутренней жизни отдельных, теряющих остатки влияния партий.

Либеральная интеллигенция — отнюдь не главный распространитель хлынувшего на Россию революционного жаргона. Кто же внедряет его в общественное сознание? Оказавшийся в мартовские дни в Петрограде фронтовой делегат Фрол Горовой подмечает, что «больше эти слова нагораживали советско-партийные» (X: 266), то есть представители Исполнительного Комитета Совета и функционеры примазавшихся к перевороту политических партий. А кем эти люди были по сословному и идейному признакам? Большинство из них представляли все ту же непомерно политизированную российскую интеллигенцию, а именно два ее важных ответвления: умеренно-социалистическое и радикальное. Вообще же гипертрофированный интерес к политике — родовая черта денационализированной («прогрессивной») российской общественности. Еще в 1909 году веховец

Гершензон писал: «С первого пробуждения сознательной мысли интеллигент становился рабом политики, только о ней думал, читал и спорил, ее одну искал во всем...»⁴

В 540-й главе «Марта Семнадцатого» с представителями этого слоя сталкивается командующий Петроградским округом генерал Корнилов, вызванный, как провинившийся школьник, на заседание Военной комиссии Совета:

«Никаких там хмуроватых рабочих не увидел, а все белоручки, все с выражениями значащими, а то и заносчивыми. И поражало — что почти вовсе не было русских⁵. А когда сели — то прямо перед ним оказались какие-то резко наскочливые наглецы. <...>

Метали — “конъюнктуру”, “плутократию”, “империализм”. А патриотизм назвали — иезуитским понятием» (VIII: 47).

Данный слой общественности использует лексику, существенно отличающуюся от лексики либералов. Именно она получает широкое распространение во всех сферах российской жизни, в том числе в простонародной среде. Что придает силу этим словам? Почему те, кто их использует, заведомо оказываются сильнее тех, кто хотел бы сохранить верность традиционному языку (и, соответственно, традиционным ценностям)? Почему даже люди, облеченные немалой властью, пользующиеся авторитетом и широкой поддержкой в армии, вынуждены лицемерить, скрывать слова, которые выражают их подлинное мнение? Почему Корнилов, боевой твердокаменный генерал, под началом которого находились войска округа, в разговоре с наглыми выскочками из самозванного ИК не стал произносить тех слов, которые рвались из его души? Только ли из стремления не обострять раскол в стране и армии? А мог бы он победить в споре с функционерами Военной комиссии, противопоставив *их* словам *свои*? Выдержали бы *его* слова такое противостояние? Вряд ли.

П. Флоренский утверждал: слово — это *человеческая энергия*⁶. Если логически продолжить мысль философа, получается, что широкое, практически беспрепятственное распространение революционного жаргона, то парализующее или магнетическое воздействие, которое он оказывает на большинство жителей страны, свидетельствуют: волевой потенциал разрушителей государства несравнимо выше энергетического ресурса, еще сохраняющегося у защитников державной России, у тех, кто отстаивает традиционные ценности и слова.

Колоссальным энергетическим потенциалом в эпопее Солженицына обладают возвращающиеся в Россию «революционные эмигранты» — интернациональные бесы, легко перепархивающие из страны в страну, не имеющие подпитки из национальной культурной почвы. Эмигрантские круги — один из основных «возбудителей» и

«переносчиков» революционного новояза. В 176-й главе «Апреля Семнадцатого» свидетелем возвращения в Россию группы эмигрантов из Нью-Йорка (во главе с Троцким) становится доктор Федонин. Он наблюдает, как на одной из станций «в вагон хлынула шумная компания друзей этих эмигрантов. Они остро, пересыпчато заговорили уже только между собой, тарабарскими терминами, на революционном жаргоне» (X: 484). В совершенстве владеет «жаргонно-подбойным языком» и сам лидер «революционных интернационалистов», с которым по простоте душевной вздумал было поспорить случайно оказавшийся в одном с ним вагоне Федонин. В ответ на реплику Троцкого о бездарности внешней политики России доктор осмелился напомнить:

«— Ведь Германия же первая напала на нас?

Да не на того напал Федонин.

— Не нужно нам этого вероломного беспристрастия в плоскости фальшивого объективизма!» (X: 479).

Что называется, срезал... Федонин не нашелся возразить, да и как, на каком языке, какими словами можно вести вменяемый диалог с этим демагогом-острословцем, с этим оголтелым ультрареволюционным Глебом Капустинным?

Итак, самая характерная черта языка революционной эпохи — вторжение не только в политику и газетную публицистику, но и в повседневную жизнь обычных людей, в обыденную разговорную речь совершенно новой, доселе невиданной и неведомой лексики, обладающей какой-то непостижимой пробивной силой и притягательностью. Персонажи исторической эпопеи, вовлеченные в круговорот революционных событий, кто с желанием, а кто и вынужденно осваивают новые слова, мощным потоком вливающиеся в русский язык. Без них встроиться в новую реальность невозможно. Это понимают даже люди, не принадлежащие к интеллектуальной элите российского общества, например волей случая оказавшийся в эпицентре политической жизни столицы фронтовой делегат Фрол Горовой, точка зрения которого представлена в 137-й главе «Апреля Семнадцатого»: «Тут еще чтоб уметь — надо слова все знать, без слов теперь никуда. Кончил Горовой когда-то два класса городского училища, читать-писать грамотно научился <...>. И книжки же потом кой-какие почитывал на досуге — а вот этих слов ни одного никогда не встречал. А без них теперь — потонешь <...>. Купил себе Горовой книжечку такую, для записи, и два карандаша на подсменку, как затупляются. И как новое слово услышит — так тут же его записывает <...>. Еще от места знал он несколько: демократия — это значит новый порядок, как сейчас, без власти <...>. Но дальше слова нарастали комом, и каж-

дый день по многу: реформа, фракция, коалиция, диктатура, сепаратный, активный, организовать, интернационал, результат, перспектива, мотив, диагноз, колоссальный, трагизм, организм, метализм, — елки-палки! А там хуже: психологически, константировать, иерархия, протипонизм, этуизм, санкционировать <...>» (X: 266).

В «Апреле Семнадцатого» с таким же явлением сталкивается еще один представитель народа — депутат Солдатской секции Совета ефрейтор Волынского батальона Клим Орлов: «Новых слов — тут много наберешься, только уши распяливай, так и чешут неслышанными словами. Авторитет — значит кого уважают. Анархия — никого не уважают. Контр-революция. Контр-ибуция» (IX: 249). Чтобы не отстать от жизни, Климу частенько приходится пользоваться подобными словами и выражениями, усваиваемыми им на слух: *эсплотация, прилифованное положение, феллюциенная армия, ни копейки перереалистам!*

В романе Б. Пильняка «Голый год» (1921), в который, по признанию самого А. Солженицына, ему «досталось заглянуть еще ребенком»⁷, приведен «поразивший» будущего автора «Красного Колеса» и показавшийся ему «блистательным» полуанекдотический эпизод из революционной эпохи:

«В Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина: “Коммутаторы, аккумуляторы”.

— Ком-му... таторы, а... ккому... лядоры... — и говорит: — Вишь, и тут оманывают простой народ!...»⁸

В этом эпизоде, заинтересовавшем Солженицына, не без юмора показан характерный для революционной эпохи механизм осмысления малограмотными слоями населения иноязычных по происхождению, неясных в своем морфологическом составе слов. Иначе говоря, речь идет о так называемой народной этимологии — то есть такой переделке фонеморфологической структуры непонятого слова, которая сближает его с более привычным словом как фонетически, так и по значению и позволяет осмыслить его⁹.

Фердинанд де Соссюр называл народную этимологию явлением «патологическим», то есть уродливым, основанным на отклонении от нормы. В годы русской революции народная этимология приобретает чрезвычайно масштабный характер, так как национальный язык просто не успевает переваривать вторгающиеся в него потоки варваризмов. Эти слова отказываются от фонетической и морфологической ассимиляции, отвергают принципы словообразования данного языка потому, что сопровождают проводимую в стране безжалостную ломку национального уклада, национальной культуры.

Такие уродливые процессы, существенно сказывающиеся на состоянии русского языка, повсеместно происходят в описываемой авто-

ром «Красного Колеса» революционной России. В эпопее многократно встречаются типичные для данного времени ситуации, когда человек из народа, сталкиваясь с непонятными словами, самостоятельно пытается разгадать их смысл:

«На сельском митинге, приезжий:

— Теперь будут все — граждане, и брак — гражданский, не церковный.

Бабы переполошились:

— Гожанский?.. Говянский?.. Баранский?..» (IX: 214).

«Скинули царя, а кто ж хозяином будет? Понять нельзя. Какие-то ка-ды, се-ды, се-ры (кадеты, социал-демократы, эсеры. — А.У.) — а откуда они повывлазили?»

И еще “меньшевики” какие-то-сь, мелкота значит.

Нет, это они — за “меньшого брата”, значит за нас» (IX: 210).

Чаще всего значение таких слов расшифровывается через установление случайного, чисто внешнего звукового сходства с другими словами, понятными персонажу. Примером подобной речевой ситуации, весьма характерной для революционной эпохи, является следующий фрагмент 107-й главы (*из реплик той весны*) Четвертого Узла:

«— Да здравствует Интернационал! — А что это такое? — Значит: интересы нации» (X: 101).

Русский человек, привыкший к тому, что значение слов со славянской корневой основой связано с внутренней формой, с лежащей как бы на поверхности этимологией, пытается даже в словах с непривычным звучанием обнаружить хоть что-то знакомое, привычное для слуха. В результате не только значение (как в предыдущем случае), но и форма варваризмов могут быть существенно искажены или даже полностью переосмыслены. Так происходит, например, с тем же словом «Интернационал», которое впервые слышит Клим Орлов. В его восприятии высказывание одного из лидеров ИК Совета Ираклия Церетели выглядит курьезно: «Мы положили первый камень Тринадцинала» (IX: 256). Фонетико-морфологические и семантические изменения в лексеме «Интернационал» в данном случае обусловлены индивидуальными ассоциациями персонажа, которые помогают ему вычленив из речевого потока, идентифицировать новое для него слово и по-своему понять его значение. На этот раз ассоциации связаны с числом тринадцать, которое в русской культурной традиции принято соотносить с несчастьем, невезением. То обстоятельство, что фонеморфологическая трансформация слова привела к появлению в нем принципиально нового значения, доказывает, что перед нами именно случай народной этимологии.

Когда же изменение непонятного человеку из народа слова не приводит к его переосмыслению, к появлению нового значения, следует

говорить не о народной этимологии, а лишь о «порче», искажении слова. Примером этого распространенного речевого феномена революционной эпохи может служить следующий фрагмент все той же 107-й главы «Апреля Семнадцатого»:

«— Ну, царя у нас не будет, а кто же будет главный? — А вот република, это значит: три года в царях походит, хорош — ходи еще, а не хорош — по шее. <...>

— А какая прохрама у них?

— Лизарюция.

— Буржувазия» (X: 101).

«Испорченные» слова во множестве употребляют Иван Кожедуров, Фрол Горовой, Клим Орлов, Тимофей Кирпичников и многие другие представители народных масс.

Сталкиваясь с революционной тарабарщиной, народное сознание пытается осмыслить ее через звуковое сходство со словами родными, исконными, понятными и потому находит в них то, чего на самом деле нет, — внутреннюю форму. Но такое становится возможным лишь при «переозвучивании» (сознательном или бессознательном) этих слов. Только с помощью механизма фонеморфологической трансформации чужеродные в контексте национального языка варваризмы становятся более удобными для произношения и понятными по смыслу (при том, что приписываемые им значения часто не имеют ничего общего с реальными). Этот незамысловатый механизм вызывает к жизни разного рода комичные речевые ситуации:

«Прислуга бегаёт на митинги и, возвращаясь, рассказывает хозяевам:

— О каком-то *старом рыжем* (старом режиме. — А.У.) говорят... И — перелетайте всех стран, собирайтесь (пролетарии всех стран, соединитесь. — А.У.)» (VII: 167).

Однако уже через месяц, в апреле, некоторые из этих слов переозвучиваются по-другому — теперь уже вполне осмысленно, что, несомненно, отражает перемены в сознании простонародья: «И “режим” — особенно быстро усвоили: “*Новый прижим*: раньше нас прижимали, а теперь мы будем!”» (IX: 325). То есть народ уже уловил, что из лексического сумбура, сопровождающего революцию, он может извлекать выгоду.

И в этом примере народной этимологии, и в других переделка исходного слова происходит через изменение одной из его частей — самой непонятной, затрудняющей понимание всего слова: «И чем меньше крестьяне могут понять происходящее, тем настойчивей ползут слухи. “Теперь вместо царя какая-то *рублика* (республика. — А.У.) будет!”» (X: 98). Иногда, как в случае с превращением *республики* в *рубли-*

ку, это делается всерьез, иногда – при помощи намеренного коверканья иностранного слова:

«– Не республика, а “режь публику”, – сказал командир 2-го батальона ходившее *mot*» (VIII: 204).

Здесь автор эпопеи продемонстрировал механизм сознательного переозвучивания новых слов, с помощью которого противники перемен остроумно и метко обнажают скрытые, официально не провозглашаемые методы и цели революции.

Приведем еще два схожих примера: «А то стали ходить меж людьми, допытываться: “вы, товарищи, к какой примыкаете партии? мы теперь будем разделяться по фракциям”» (IX: 249); «Известно, чем отметны большевики: у меньшевиков, у эсеров – фракции, дракци, всегда тринадцать мнений, а большевики ходят все заодно <...>» (III: 478). Тут налицо приметы каламбурной игры со словами (*фракции-вракциии-дракциии*), основывающейся на звуковом сходстве при различном смысле. При этом народ подбирает такие близкие по звучанию слова, которые семантически указывают на специфический характер политической деятельности эпохи революционных потрясений – на потоки вранья, которыми сопровождается борьба за власть; на разобщенность основных политических сил страны; на отсутствие жесткой партийной дисциплины и четкой идейной программы у оппонентов большевиков, что оборачивается внутрипартийными спорами, стычками.

Отношение к уродливым словообразованиям революционной эпохи (как положительное, так и негативное) у народа и образованных слоев может совпадать, но при этом по-разному выражаться. Интеллектуалы предпочитают формулировать свои ощущения, как это делает, например, активный участник мартовско-апрельских событий 1917 года Владимир Станкевич: «“Аннексии и контрибуции” стали таким повторяемым сочетанием, что никто из ораторов их не объясняет (да и поперву не толковали)¹⁰, но что-то в них очень мерзкое, как какие-то червяки или пауки» (IX: 433). Народ по-своему реагирует на эти варваризмы, с помощью своеобразной фонеморфологической «вивисекции» обнажая их чужеродность и уродливость. В одной из глав «Апреля Семнадцатого», например, приводится следующая характерная реплика той весны:

«– Без нексий, без ебущий» (X: 102).

Здесь, видимо, проявляется такая специфическая национальная форма смеха, как балагурство. В балагурстве, истоки которого восходят к культуре Древней Руси, важную роль играют «лингвистические» механизмы. Как отмечают известные исследователи древнерусской литературы, «балагурство разрушает значение слов и коверкает

их внешнюю форму. Балагур вскрывает нелепость в строении слов, дает неверную этимологию или неуместно подчеркивает этимологическое значение слова, связывает слова, внешне похожие по звучанию, и т. д.»¹¹.

То, что отражено в приведенных выше и других подобных фрагментах эпопеи, напоминает не лексическое обогащение русского языка или, напротив, его засорение варваризмами, а кардинальную смену языковой парадигмы, которая, в свою очередь, вызвана грандиозным тектоническим сломом всего национального мироустройства.

Современник описываемых в «Красном Колесе» событий Вяч. Иванов в статье «Наш язык», вошедшей в знаменитый сборник «Из глубины» (1918), писал: «Язык наш свят — его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом — неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучаниями, стоящими на границе членораздельной речи, понятными только как переключки сообщников, как разинское “сарынь на кичку”. Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к насущному, полезному, механически-целесообразному <...>. Язык наш свободен: его оскопляют и укрощают; чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют поступь»¹².

На уровне констатации здесь все верно, но возникает вопрос: а кто именно *оскверняет, обедняет, оскопляет, укрощает, ломает и уродует* русский язык? По мнению Вяч. Иванова, развивающего веховские идеи, ответственность всецело лежит на российской интеллигенции: «В обиходе образованных слоев общества уже давно язык наш растратил то исконное свое достояние, которое Потебня называл “внутреннюю форму слова”. <...> язык наших грамотеев уже не живая дубрава народной речи, а свинцовый набор печатника»¹³. Образованное общество, утверждает в цитируемой статье, целенаправленно стремится к его «обмирщению», к уничтожению «двупостасной» сути национального языка, к выкорчевыванию из него «животворящих струй языка церковно-славянского», придающего русскому языку подлинную одухотворенность. Иначе говоря, все те негативные процессы в сфере языка, которые фиксирует сторонник веховской идеологии Иванов, имеют один-единственный источник — российское образованное общество. Насколько справедливы обвинения по адресу российских «грамотеев», насколько убедительно столь простое объяснение причин деструктивных языковых процессов революционной эпохи?

На ту же тему, что и Вяч. Иванов, но приходя к иным итогам, в «Красном Колесе» размышляет Федор Ковынев, прототипом которого, как известно, является донской писатель Ф.Д. Крюков: «Столько

десятилетий в великом безмолвии страны было нечто значительное, сосредоточенность страдания и мысли. А как заговорила... — ах, лучше б ты не говорила! — словами потертыми, пошлыми, занятыми из листовок» (X: 45). То есть, по Ковыневу, «пошлыми» словами заговорила вся Россия, а не одно из ее сословий. Если же учесть, что российская интеллигенция и до революции 1917 года вовсе не пребывала в состоянии «великого безмолвия», а, напротив, весьма активно и громко высказывалась — устно и печатно (литератору, газетчику, бывшему думцу Ковыневу это хорошо известно), то, возможно, персонаж имеет в виду вовсе не «грамотеев» и даже не все русское общество в целом, а прежде всего простой народ, обычных обывателей. Ибо, если воспользоваться метафорой Маяковского из «Облака в штанах» (1916), в преддверии революции именно «улица корчится безъязыкая», именно «ей нечем кричать и разговаривать».

Еще один современник воссоздаваемых в эпопее А. Солженицына революционных катаклизмов поэт М. Волошин в стихотворении «Москва» (март 1917) нарисовал следующую выразительную картину:

В Москве на Красной площади
Толпа черным-черна.
Гудит от тяжелой поступи
Кремлевская стена.

На рву у места Лобного,
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.

Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят.
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.

По грязи ноги хлюпают.
Молчат. Подходят. Ждут.
На паперти слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд¹⁴.

Сама эта картина марта 1917 года (и в общих чертах, и в выразительных подробностях) удивительно походит на ту, которую художественно-документально воссоздает А. Солженицын в своей исторической эпопее. Интересно, что и у Волошина «неподобные

нерусские» слова «возносит» (то есть не просто произносит, а *возвышает, возвеличивает*) уличная толпа, обычные городские обыватели.

Когда и почему, под воздействием каких факторов и процессов начинает деформироваться исконное русское слово, разрушаться складывавшийся в течение веков народный язык? О том, что он существовал, в произведении Солженицына свидетельствуют, например, крестьянские («каменные») главы «Октября Шестнадцатого» (35–36, 45–46), в которых автор мастерски реконструирует красочную, необыкновенно поэтичную народную речь:

«Ростом и крепостью до батьки дотягивал он, но не было ни в нем, ни в брате Адриане отцовской ровноты и струнности. Они и волосами и полечьем были потемней, носы поширше, скулы пораздатистей, по-тамбовски, и губы пораспустенней, и голова так не взнесена на шею» (III: 536); «...опять к столу, яства пересменились, зовут томленные кравайцы в сливки кунать аль черепельники заливать чаем. / А потом праздничный обед сном золотили» (IV: 130).

Здесь, в этих главах, практически абсолютная лексическая чистота, ясный, образный, гармоничный народный язык, для характеристики которого подходят восторженные оценки того же Вяч. Иванова: «Достойны удивления богатство этого языка, его гибкость, величавость, благозвучие, его звуковая и ритмическая пластика, его прямая, многоместительная, меткая, мощная краткость и художественная выразительность, его свобода в сочетании и расположении слов, его многострунность в ладе и строе речи, отражающей неуловимые оттенки душевности»¹⁵.

Но предстоящая в упомянутых фрагментах «Октября Шестнадцатого» речевая идиллия в какой-то степени кажущаяся, так как речевой фон «каменных» глав Второго Узла отражает мировосприятие героев с незамутненным народным сознанием, точку зрения нравственно здоровой крестьянской семьи Благодаревых — Арсения, Елисея, Катены. Но в той же Каменке есть и те, кто говорит на другом языке («озорник» Мишка Руль со своей компанией, например). Процесс деформации уже идет, но пока в полускрытой форме. В недрах народного речевого сознания происходят еще внешне слабо проявленные, почти незаметные для стороннего наблюдателя процессы, под воздействием которых национальный язык постепенно утрачивает прежнюю лексическую чистоту, теряет свой строй, свою музыкальность.

В тех же 45–46-й главах «Октября Шестнадцатого» Арсений Благодарев, прибывший в краткосрочный отпуск с фронта в родную тамбовскую деревню Каменка, присутствует при споре мужичьего вожака Плужникова с земским чиновником Зяблицким, который исповедует теорию «малых дел», доказывая, что проблемы деревни может ре-

шить кооперация. Но само слово *кооперация*, звучащее в устах чужака Зяблицкого, представляется Арсению чем-то очень далеким от нужд крестьянства: «Наворотили, наворотили на его молодой памяти — кооперация, мобилизация, тилигенция, революция, реквизиция, — только успевай продираться, как в еловом подсаде» (IV: 147). То есть в данный исторический момент слова, отражающие и воплощающие устремленность социально активной, «передовой» части российского образованного общества к революционным переменам, к внедрению новых, «прогрессивных» форм общественной (социально-политической, экономической, культурной) жизни, еще не проникли в глубинное сознание народа, не стали восприниматься крестьянством (его здоровой частью) как то, что близко его мироощущению, что соответствует его внутренним запросам и устремлениям.

Но проходит всего полгода, и в апреле 1917-го в той же Каменке подобные и даже более чужеродные слова воспринимаются уже совершенно иначе — как что-то чрезвычайно притягательное, манящее, многообещающее: «Чем больше слов непонятных у оратора — тем пристальней слушают. Национализация, социализация — одна тарабарщина» (X: 97). Здесь, в этом высказывании очевидное совмещение двух точек зрения: жители Каменки (по крайней мере, подавляющее их число) стали «пристальней», то есть с повышенным вниманием и интересом, относиться к новым словам, а повествователь, напротив, именует это лексическое вторжение *тарабарщиной*. В такой завуалированной форме автор выражает свое отношение к происходящим в революционной России языковым процессам.

Характер и особенности языка имеют несомненное родство с глубинным духом народа, с национальной ментальностью. Такая взаимозависимость заставляет предположить, что у русского народа в описываемый исторический период появляется настоятельная потребность в этих словах (и, следовательно, в том, что они называют, обозначают, обещают), иначе они были бы отторгнуты. Ведь народ, как отмечалось выше, впитывает как губка далеко не всякие словоновшества. Видимо, это и есть одно из проявлений глобального «замутнения» народного духа и сознания, о котором размышляют и высказываются многие персонажи эпопеи.

Издавна привыкшая жить по старинке и сторониться, пугаться всего нового, непонятного, что идет из городской цивилизации, из образованных слоев общества, русская деревня теперь, напротив, начинает бояться, что, не сумев разобраться в происходящих радикальных переменам, которые и вызывают к жизни подобные слова, она каким-то образом упустит свою выгоду, пройдет мимо своего возможного счастья. И вот уже происходит неслыханное: крестьянская об-

щина, казалось бы, непоколебимый в своих основаниях и устоях тысячелетний православно-патриархальный мир сам устремляется к тому, что несет ему погибель. В 624-й фрагментарной (документальной) главе «Марта Семнадцатого» автор приводит интересные факты подобного рода: «Местами в деревнях собирают в складчину копейки и посылают мужика в город — за газетой. Такую б газетину купить, где все как след прописано. А может — и *орателя* (оратора. — А.У.) какого заманит к ним» (VIII: 483). То есть мужики здесь уже не просто жертва идущей извне лексической экспансии, они добровольно, сами идут навстречу вызванным революцией словоновшествами.

Такие же случаи происходят и на Тамбовщине, в родных местах Арсения Благодарева — тех самых, где еще совсем недавно, казалось, царил лексическая прозрачность и чистота: «От такого сумбура крупное Туголуково устроило складчину, да послали одного своего в Питер: своими глазами повидать, все узнать. Воротился — и на сходе повинился: “Так много разного слышал, братцы, так много разного, все перепуталось, все забыл!” И сельчане посадили его в холодную за то, что деньги зря проездил» (X: 97–98) — то есть, по сути, за то, что не привез из столицы образчики революционной тарабарщины.

Подобным процессам не в силах противостоять не только русская деревня, но и воюющая армия: даже это, казалось бы, наглухо закрытое от внешнего воздействия пространство, в котором действуют суровые законы военного времени, жесткая армейская дисциплина, казачество, субординация и корпоративная психология, оказывается беззащитным перед новыми словами, которые легко проникают сквозь все препоны, оказывая разрушительное воздействие на сознание человека с ружьем (или, точнее, проявляя и закрепляя перемены в этом сознании).

Почему же беззащитны оказались вырабатываемые государством, церковью, искусством, армейскими уставами защитные механизмы? Ответить на этот непростой вопрос в какой-то степени помогает 611-я глава «Марта Семнадцатого», повествующая о возвращении после отпуска в родной полк Ярика Харитонов. Встретившийся поручику попутный курносый солдат с санками, на которые офицер хотел было поставить свой чемодан, осадил его:

«— Вашбродь, я не прямо. Тут — митин будет, я к нему заверну.

— Какого Мити? — не понял Ярослав.

— Ну как? — удивился и тот бестолковому поручику. — Митин, не знаете? Послухать, о чем гуторят.

Ах, митинг! Этого слова и образованные-то люди не знали, кто не бегал по левым сходкам, — а вот солдат уже знал, и на круглом лице его отображалась важность прикосновения.

— Чей же митинг?
— Епутатов! — так же важно заявлял картофельный нос» (VIII: 409–410).

Несколько озадаченный таким поведением нижнего чина Ярослав чуть заметно иронизирует (хотя и горько) по поводу внешности, манер и чудовищной речевой эклектики солдата, но сам-то «картофельный нос» интуитивно ощущает или даже уже начинает понимать, что новые слова расшатывают, разрушают сословно-классовые границы, снимают с него запретительные, сковывающие уставные и моральные обязательства, уравнивают его с господами офицерами, обещают скорый конец войне и счастливые жизненные перемены дома. И наверное прежде всего потому с видимой охотой поддается влиянию большевистской пропаганды, впитывает революционный жаргон. Так новые ли слова, пришедшие извне, круто переменяли сознание круглолицего обладателя картофельного носа или же они попали на хорошо подготовленную почву и потому дали столь пышные всходы? Более правдоподобным представляется последнее предположение.

Спустя короткое время, в апреле того же 1917-го, поручик Харитонов уже почти без удивления, привычно отмечает, как проникающая в армейскую среду политическая лексика существенно меняет поведение солдат, характер их взаимоотношений с офицерским составом:

«— Мы без а-нексий, — уже знали, затвердили солдаты, — а вы как хотите.

Вот такими несколькими словами солдаты были теперь загорожены, и уши заложены, — и говорить с ними по-прежнему, как умел Ярослав всю войну, он теперь не мог...» (X: 131).

Иначе говоря, новые слова востребованы солдатской массой и даже, оставаясь не вполне понятными, становятся формой выражения тех смутных настроений и ожиданий, которые долгое время подспудно зрели в народном сознании. Эти совершенно чуждые для русского слуха и языка слова солдаты словно бы давно уже ждали. Дисгармоничные словоформы революционной эпохи русские воины не воспринимают как аномалию. Почему же благозвучная церковнославянская лексика слетает с народа, как старая шелуха, возвышенно-экстатический язык либеральной интеллигенции изначально отторгается, а уродливый революционный новояз намертво прикипает к нему? Почему в народном языке воцаряется настоящий хаос?

Автор «Красного Колеса» не дает однозначного ответа на эти вопросы, но все же главная причина очевидна: она кроется не во внешних обстоятельствах и воздействиях, а в самом народе. Характер языка, строй речи имеют прямую зависимость от особенностей народного духа, поэтому напрашивается вывод, что разрушение усто-

явшихся речевых норм симметрично отражает разрушение традиционной морали и свидетельствует о деформации в течение веков складывавшихся основополагающих свойств национального характера. Революция не столько растлевает русский народ, сколько обнажает, проявляет те нравственные болезни, те духовные изъяны, которые формировались в течение длительного времени. Деформация языка, речи — отражение деформации народного сознания, народной души.

В наше время сформировалось устойчивое мнение, что процесс кардинальных перемен в русском языке начался после победы большевиков: «сразу после Октября 1917 года», «в конце 1917 — начале 1918 гг.», «с конца 1917 года»¹⁶. При этом «экспансия политической лексики в общественный быт» обычно понимается как примета уже советской эпохи, а сам этот процесс трактуется как «насаждение языка советской цивилизации»¹⁷.

А. Солженицын такую позицию вряд ли разделяет в полном объеме. Он обрывает свое «повествование в отмеренных сроках» апрельскими событиями 1917-го (то есть за полгода до октябрьского переворота), однако практически все негативные языковые процессы, которые принято связывать исключительно с большевистской эпохой, с «насаждением языка советской цивилизации», в достоверно отражаемой писателем российской дооктябрьской действительности идут полным ходом. Видимо, автор эпопеи несколько иначе понимает причины, которые привели к ломке и деградации русского языка. В чем они состоят? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вновь вспомнить высказывание П. Флоренского, что «слово — конденсатор воли <...> конденсатор всей душевной жизни»¹⁸.

В эпопее же Солженицына слова, которые произносят десятки, сотни реальных и вымышленных персонажей, не являются конденсацией общей устремленности народа, не являются формальным (в лексике выраженным) воплощением его однонаправленной исторической воли. В чем она состояла — историческая воля русского народа и почему была сломлена, подавлена или не проявлена? Если бы она, предположим, была, если бы совокупность отдельных волей сливалась в единый порыв, который находил бы соответствующее словесное воплощение, то кто бы и каким образом извне мог навязать чуждые общенациональной устремленности цели? Где она — собранная в один фокус историческая воля русского народа? Может быть, таковой и не существовало? Может быть, лексический эклектизм отражает, фиксирует отсутствие ясной государственной и общенациональной воли? Отсутствие непоколебимого духовно-нравственного основания, на котором только и может строиться прочное государственное и общественное здание?

Да, бессмысленность, нелепость, противоречивость, уродливость и чудовищный эклектизм языка воссоздаваемой писателем эпохи не только отражают хаос революционной действительности, но и проявляют хаос мировоззренческий и духовный. Лексические процессы, отраженные в «Красном Колесе», фиксируют отсутствие целостности народного сознания. И это касается всех без исключения сословий. Языкового взаимопонимания нет ни внутри интеллигенции, разорванной, разделенной на множество партий, фракций, направлений, группировок, ни внутри народных масс, которые тоже не являются монолитным образованием. Сходные языковые процессы происходят в каждой из групп российского общества. По этой причине правильнее говорить не столько об отсутствии взаимопонимания между интеллигенцией и простым народом, сколько о всеобщем, поистине *вавилонском* «смещении языков» — наказании за богоотступничество, богоборчество. Русские люди перестают понимать друг друга, и происходит это не только на границах разных общественных, сословных, культурных групп, но и внутри каждого такого сообщества, внутри круга близких людей, даже внутри семьи.

Сама динамика запечатленных в эпосе А. Солженицына речевых изменений отражает динамику тех глубинных процессов, которые происходят в сознании отдельных людей, внутри всех сословий и общественных групп, во всем русском обществе в целом. Автор воссоздает одну из самых масштабных и трагических по последствиям попыток человечества поставить под сомнение прежнее, теоцентрическое устройство мира. Вовлеченные в демоническое круговращение *Красного Колеса* персонажи исторической эпопеи своими действиями, по сути, повторяют то, что отражено Ветхим Заветом в сюжете Вавилонского столпотворения¹⁹. Строители Вавилонской «башни вышиною до небес» ставили целью продемонстрировать свое всемогущество, свое намерение утвердить новый центр всемирной власти. Господь разрушил этот богоборческий план, смешав язык строителей, после чего они перестали понимать друг друга и не смогли договориться о том, как достроить башню. Таким образом, «разноязычие, по библейскому воззрению, есть <...> наказание Божие, наложенное на людей с целью затруднить сношения их между собою, так как, в силу греховной склонности сердца человеческого, подобными сношениями люди по преимуществу пользуются ко злу»²⁰. Российские революционеры 1917 года, строители очередной, самой грандиозной за всю историю человечества «Вавилонской башни», наказаны так же, как и их ветхозаветные предтечи, — смещением языка, невозможностью понять друг друга, договориться о чем-либо. Языковой и речевой хаос в революционной России — следствие богоотступнических деяний лю-

дей. И он же — знак свыше, ясное предзнаменование неминуемости краха очередной попытки революционного переустройства мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Спиваковский П.Е.* Формы отражения жизненной реальности в эпопее А.И. Солженицына «Красное Колесо»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. С. 17.

² *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. статей. 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 77, 78.

³ Здесь и далее текст эпопеи цитируется по изданию: *Солженицын А.И.* Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М.: Воениздат, 1993–1997.

⁴ *Гершензон М.О.* Творческое самосознание // Вехи; Интеллигенция в России. С. 96.

⁵ В книге «Двести лет вместе» Солженицын приводит фрагмент опубликованных в 1920 году в Берлине воспоминаний В.В. Станкевича — единственного в ИК офицера-социалиста: «...факт этот [обилие евреев в ИК] сам по себе имел громадное влияние на склад общественных настроений и симпатий... И кстати, деталь: во время первого посещения Комитета Корниловым он совершенно случайно сел так, что со всех сторон оказался окруженным евреями, а против него сидели двое не только не влиятельных, но вообще даже незаметных членов Комитета, которых я помню только потому, что у них были карикатурно выраженные еврейские черты лица. Кто знает, какое влияние имело это на отношение Корнилова к русской революции» (*Солженицын А.И.* Двести лет вместе: В 2 ч. М.: Русский путь, 2002. Ч. 2. С. 61–62).

⁶ *Флоренский П.А.* Имяславие как философская предпосылка // *Флоренский П.А.* У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. Т. 2. С. 281.

⁷ См.: *Солженицын А.И.* «Гольый год» Бориса Пильняка: Из «Литературной коллекции» // Новый мир. 1997. № 1. С. 201.

⁸ *Пильняк Б.А.* Избранные произведения. М.: Худож. лит., 1976. С. 120.

⁹ См.: *Введенская Л.А., Колесников Н.П.* Этимология: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. С. 37.

¹⁰ Это суждение противоречит мнению известного русского слависта А.М. Селищева, который в статье «Революция и язык» (1925) утверждал, что на начальном этапе революции язык печати был доступен пониманию даже «среднего рабочего», что малопонятные иностранные слова в то время обычно пояснялись в скобках близкими по значению русскими словами (См.: *Селищев А.М.* Избранные труды. М.: Просвещение, 1968. С. 142).

¹¹ *Лихачев Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В.* Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 21.

¹² *Иванов Вяч.* Наш язык // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 147.

¹³ Там же. С. 147–148.

¹⁴ *Волошин М.А.* Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М.: Правда, 1991. С. 114.

¹⁵ *Иванов Вяч.* Наш язык. С. 145.

¹⁶ *Чудакова М.О.* О советском языке и словаре советизмов: (Тезисы) // Тыняновский сборник. Вып. 12: X–XI–XII Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 491, 492, 495.

¹⁷ Там же. С. 493.

¹⁸ *Флоренский П.А.* Мысль и язык // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т. 2. С. 264.

¹⁹ Развернутый анализ используемого автором «повествования в отмеренных сроках» символического образа Вавилонской башни содержится в статье: *Спиваковский П.Е.* Система онтологических символов в эпосе «Красное Колесо» // «Красное Колесо» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Международный сб. науч. тр. / Отв. ред. А.В. Урманов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. С. 36–51.

²⁰ Христианство: Энциклопедический словарь: В 2 т. М.: Большая российская энциклопедия, 1993. Т. 1. С. 318.

Светлана Шешунова

ДУБНА

ТВОРЧЕСТВО А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА И ПРОБЛЕМА ТОПОНИМИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ

Ономастикон художественного мира А.И. Солженицына не привлекал к себе внимание. Так, О.А. Лекманов показал значение личных имен в «Одном дне Ивана Денисовича»¹. Обстоятельное и глубокое исследование А.В. Урманова посвящено антропонимике «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов», отразившей «тектонические разломы русской именной системы»². Эта система, которая за многие столетия сложилась как органичная часть национальной культуры, была разрушена с помощью тотальной смены имен в ходе революции. Отмечая в творчестве писателя «прочную онтологическую связь между именем и его носителем»³, ученый рассматривает манипуляции персонажей с именами как проявление расщепления и деградации личности.

Русская топонимика пострадала в XX веке еще больше, чем антропонимика. Переименование «Мишек и Машек — в Кимов, Владленов, Марксин и Октябрь»⁴ было массовым, но стихийным и относительно недолговременным; новые поколения жителей России давно уже получают, как правило, традиционные имена. По контрасту советское переименование городов и улиц не просто было намного более масштабным; оно планомерно проводилось государством в течение десятилетий, а его результаты и сегодня определяют топонимический облик страны. Начало ему положил декрет Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке памятников Российской социалистической революции» (апрель 1918), позднее названный «ленинским планом монументальной пропаганды». Этот документ, подписанный Лениным, Луначарским и Сталиным, предписывал, в частности, переименовать улицы городов в соответствии с коммунистической идеологией. Таким образом, сами большевики признали топонимы *памятниками*: их искоренение стало частью целенаправленной борьбы с исторической памятью народа.

Не случайно завоеватели, подчинив себе какую-либо страну, нередко давали ее городам и другим заметным объектам собственные назва-

ния. Например, город Юрьев, основанный в 1030 году Ярославом Мудрым, при захвате немецкими рыцарями-крестоносцами (1224) был переименован в Дерпт (ныне – Тарту). Именно так ленинцы поступили с Россией: кардинальный слом прежней топонимической системы выражал их ненависть к тысячелетней русской истории. Уже к первой годовщине их прихода к власти было переименовано 45 петербургских улиц; Знаменскую площадь превратили в площадь Восстания, Невский проспект – в Проспект 25-го октября (исконное название вернули через 25 лет, незадолго до снятия блокады) и т. д. В том же 1918-м старинная Немецкая улица в Москве стала Бауманской, а Мясницкая – Первомайской. Со временем в сотнях городов появились одинаковые названия – площадь Революции, улицы Советская, Ленина, Маркса, Луначарского, Калинина и т. д. В честь Сталина, как напоминал Солженицын, «во множестве были переименованы города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли – и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну»⁵. Имя Сталина давно исчезло с карты России, но ленинско-сталинская топонимическая модель благоденствует. В начале 1990-х она была местами поколеблена, но не разрушена. По данным Ю. Бондаренко, возглавляющего общественное движение «Возвращение», самое на сей день распространенное название улицы – Советская – встречается на карте 8409 раз, а в честь Ленина в современной России названо 5618 улиц (это имя, безусловно, господствует в отечественной топонимике)⁶. Исконные названия были возвращены лишь нескольким городам и нескольким сотням (в общей сложности) улиц. Массовая реабилитация исторических топонимов затронула только Москву и Петербург. Но, например, в Суздале и Ростове Великом даже улицы, которым по 600 и более лет, носят имена коммунистических лидеров.

Еще в работе «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» (1973), которую он впоследствии назвал своей главной программной статьей, Солженицын предлагал осмыслять бытие наций в тех же духовно-нравственных категориях, в которых рассматривается жизнь отдельных людей. К той же мысли писатель вернулся в «Красном Колесе»: один из «двойников» автора, Саня Лаженицын, верит, что «законы личной жизни и законы больших образований сходны»⁷. В таком случае если смена имени отдельным человеком ведет к расщеплению его личности, то и смена традиционной для страны топонимической системы – к деградации национального сознания. Как напоминает специалист по межкультурной коммуникации,

«имена собственные — важнейшая национальная составляющая и языковой, и культурной картины мира, и поэтому они... <...> мощное оружие обороны, защиты национальной идентичности»⁸. В рассказе «Настенька» юные пионеры, превращаясь из Мишек и Машек в Кимов и Октябрин, «сияли от радости переменить имя, повторяли новое»⁹ — и не сознавали, что отрываются тем самым от своих корней. Но таким же отречением, в сущности, является согласие наших соотечественников именовать себя кирзовчанами, а не вятичами, ульяновцами, а не симбирцами.

В своих произведениях Солженицын с любовью перебирает традиционные русские топонимы: Елифань, Казановку и Монастырщину¹⁰ («Захар-Калита»), «Льгово, а прежде древний город Ольгов»¹¹ («Прах поэта»), «ручеек Березовец, деревню Сетуху <...> Благодатное <...> и Желябугу»¹² («Желябугские выселки»). В рассказе «Случай на станции Кочетовка»¹³ подробно перечисляются населенные пункты, до которых идут минующие станцию поезда: Липецк, Елец, Верховье, Отрожка, Арчеда, Пачелма, Грязи, Поворино и многие другие. Как правило, в таких нанизываниях топонимов нет сюжетной необходимости; их функция в художественном мире писателя — свидетельствовать об исконной России. В отличие от советских «переназваний», они естественны, лишены какой-либо идеологичности. Недаром рассказчик «Матренина двора» признается, что от самих имен деревень Тальново, Часлицы, Овинцы, Спудни на него тянуло «ветром успокоения»¹⁴. По контрасту от искусственно возникших топонимов, перенесших на карту имена партийных функционеров, веет жестокими ветрами Гражданской войны. Переименование Царицына (известен с 1589) в Сталинград (1925) легло в основу трагического сюжета «Случай на станции Кочетовка». Как известно, Солженицын использовал истинное происшествие с его приятелем Леонидом Власовым, который осенью 1941 года был комендантом на этой станции. Герой рассказа арестовывается проезжего только потому, что тот забыл о переименовании Царицына: «...все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек — не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак!»¹⁵ На обсуждении «Кочетовки» в редакции «Нового мира» Твардовский и его подчиненные убеждали писателя, что в реальности человек не мог этого забыть. Однако Солженицын возразил, что «для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой прищепки»¹⁶.

Как чуждая «прищепка» расцениваются советские переименования и в романе «В круге первом». Упоминание Иннокентия о том, что его дядя живет в Твери, вызывает недоумение Клары: «Где?» — «В Калининне», — поясняет Володин¹⁷. Для девушки имя старинного русско-

го города, когда-то соперничавшего с Москвой, уже ни о чем не говорит; но молодой дипломат, осознавший лживость советского режима, предпочитает употреблять исконное название. В этом эпизоде топонимическая проблема лишь намечается, но не обсуждается. По контрасту в другой главе о ней говорят в полный голос. Когда один из заключенных сравнил «куйбышевскую пересылку с горьковской и Кировской», его собрат по шарашке Илья Хоробров откликнулся на это всей душой: он «в сердцах швырнул кирпичом об пол» и «лицо его выразило боль»: «Слышать не могу! <...> Говори как человек: самарская пересылка, нижегородская, вятская! Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься!»¹⁸ Этот персонаж — один из тех, кто в финале с миром в душе уезжает в лагерный ад, — по словам повествователя, «понимал побольше многих» и испытывал «тошноту от несправедливости, даже не касавшейся лично его»¹⁹. Поэтому мнение Хороброва в идейной структуре романа предстает авторитетным.

«Хоробров был вятич»²⁰. Родной город этого персонажа впервые упоминается в летописях как Хлынов (1374), в 1780-м стал Вяткой, а в 1934-м был переименован в честь партийного функционера С.М. Кострикова, взявшего себе псевдоним Киров. Псевдоним Солженицына — Степан Хлынов — был данью памяти изначальному имени древнего города. Но и Вятка была для него, как видим, более приемлема, чем Киров. Для сравнения, в своем обращении «К жителям города на Неве» (28 апреля 1991) писатель высказался против возвращения названия «Санкт-Петербург», ратуя за форму «Свято-Петроград»²¹, однако дальнейшее закрепление за городом имени Ленина в этом тексте заведомо исключается. В более позднем интервью журналу «Фокус» (1993) Солженицын с горечью говорил о том, что «...вся Россия заставлена памятниками Ленину и весь язык засорен коммунистическими названиями»²². Подобно Хороброву, повествователь «Круга» избегает этих названий, употребляя отмененные коммунистами исконно русские топонимы. Так, в романе возникает «Лубянская площадь»²³ вместо существовавшего в то время названия площадь Дзержинского, «Большая Лубянская улица»²⁴ (в 1926–1991 годах улица Дзержинского) и «Мясницкие ворота»²⁵ (в 1935–1993 годах площадь Кировских ворот). Уже упоминавшееся прежнее имя города Калинина вынесено и в название главы: «Тверской дядюшка». Во всех этих случаях выбор писателя предварил реальное возвращение исконных топонимов на карту.

Автор этих строк решил выяснить, как относится к подобной топонимической реставрации новое поколение. Способом узнать это стал опрос, проведенный в марте 2007 года в Международном университете природы, общества и человека «Дубна». Студентам двух на-

правлений – будущим социальным работникам и лингвистам – было предложено ответить на вопрос «Следует ли вернуть городам и улицам исторические названия (снова сделать Ульяновск Симбирском, Киров – Вяткой и т. д.)?» и аргументировать свой ответ. Результаты оказались такими: среди социальных работников 47,5% – против возвращения исторических названий, 43% – за, 9,5% высказались неопределенно. Среди лингвистов 41% – против, 40% – за, 19% воздержались от однозначного ответа. Такое же задание получили новые студенты тех же направлений в феврале 2009 года. На этот раз среди социальных работников против возвращения досоветских имен оказались 55,6% опрошенных, за – 41%, «не знаю» ответили 3,4%; среди лингвистов 52,2% – против, 43% – за, 4,8% воздержались. Как нетрудно убедиться, число сторонников топонимической реставрации осталось примерно на том же уровне, а число сторонников советских названий выросло примерно на 10% за счет резкого сокращения числа колеблющихся.

Как в 2007-м, так и в 2009-м большинство противников возвращения прежних имен обосновали свой выбор тем, что это возвращение вызовет путаницу: «Огромному количеству людей придется менять паспорта и другие важные документы с местом прописки или жительства»; «В наше время люди уже привыкли к современным названиям, и им будет трудно выучить новые. Многие люди даже и не знают, какие были исторические названия их города или улицы»; «Я считаю, что не следует возвращать улицам исторические названия, поскольку в этом есть некоторые неудобства» и т. п. Студенты дружно апеллируют к привычке: неприятие любых затруднений и беспокойства оказывается более значимым, чем сам смысл предлагаемых изменений. Указывая на повсеместное историческое беспамятство, респонденты воспринимают его как нечто естественное: «Если посмотреть с позиции современных людей, то многие даже не вспомнят, зачем был назван город Царицын или что такое Великий Октябрь; тогда становится непонятно, зачем возвращать названия. Поэтому я думаю, этого можно не делать». Формулируя «позицию современных людей», респондент в скрытой форме выражает собственное мнение: знание истории – излишество, без которого можно обойтись. «И зачем нужно возвращаться к старым названиям? – пишет другая студентка. – Все движется вперед. Зачем поворачивать время назад». Значение спорных названий в таких ответах, как правило, не обсуждается.

В 2007 году вторым по распространенности был финансовый аргумент: «Данное мероприятие займет уйму времени, потребует огромного количества финансовых затрат, которые, я уверена, в любом государстве могут пойти и на более жизненно важные цели. У простых

людей и так куча повседневных забот и проблем, они и внимания не обращают на название того места, где живут». И лишь немногие студенты, выступавшие в том году за советские названия, взялись защищать их суть — идеологию, которая за ними стоит. Советские предпочтения выражались чаще всего косвенно — например, в форме фантастического предположения, что названия Симбирск или Вятка «будет трудно выучить». В 2009 году, несмотря на финансовый кризис, только одна студентка написала, что переименование — ненужная трата денег, а убежденных поклонников советской государственности стало намного больше. Очень распространено мнение о том, что названия Ульяновск, Дзержинск и т. д. «связаны с именами выдающихся деятелей, которых мы должны помнить». Подобные ответы повторяются вновь и вновь: «Я считаю, что названия городов, которые были переименованы в советское время <...>, нужно оставить, чтобы современный народ помнил имена достойных людей». И в 2007-м, и в 2009-м выражалось недовольство уже давно состоявшимся возвращением на карту Твери и Петербурга: «На мой взгляд, стоит оставить те названия, которые использовались в СССР. Это дань великой державе, что существовала около 70 лет»; «В случае с Ленинградом название было заменено по политическим причинам. Вклад Владимира Ильича в развитие нашей страны...» и т. д.

Нередко приходится слышать, что просоветские настроения наших дней объясняются ностальгией старшего поколения по ушедшей молодости. Но перед нами — признания очень молодых людей, которые встретили конец СССР в младенческом возрасте. Возмущаясь реставрацией некоторых известных топонимов в начале 1990-х годов, одна из студенток пишет: «Все эти новые модные названия — они не связаны с историей страны, они взялись ниоткуда. Они ничего не говорят нам. Не понимаю, зачем вообще нужно было трогать города?» И так, для современной русской девушки с университетским образованием Тверь, Самара, Вятка, Сергиев Посад — *новые названия*, которые *взялись ниоткуда*. Имена русских городов, вошедшие в летописи, народные песни и поговорки ей попросту *ничего не говорят*; это не ее история, не ее страна. И она далеко не одинока: несмотря на внешнюю аполитичность, весьма многие ее сверстники ощущают себя наследниками не тысячелетней России, а отменившей ее советской державы.

Иначе говоря, перед нами почти та же ментальность, которую в конце 1930-х обнаруживал Нержин в незаконченной повести Солженицына «Люби революцию»: «У этой страны последнее время появилось второе подставное название — “Россия” <...>. Слово это чем-то льстило, что-то напоминало, но не рождало своего законченного

стройка чувств и даже раздражало...»²⁶ Как видно, для автобиографического героя, как и для многих миллионов советских граждан, историческая Россия была чуждой страной. Однако в отличие от этих миллионов Солженицын такое восприятие родины изжил и преодолел.

Автор данной статьи решил выяснить, как те же самые студенты относятся к творчеству этого писателя. И в 2009 году респондентам был задан еще один вопрос: «Согласны ли вы с предложением Президента более полно изучать в школе и вузе произведения Солженицына?» Оказалось, что Александр Исаевич пользуется у них намного большей симпатией, чем исторические топонимы. Особую расположенность к его творчеству проявили будущие социальные работники — 70% этих юношей и девушек заявили, что произведения Солженицына нужны (24% — против, 6% воздержались). Те из них, кто аргументировал положительный ответ, назвали достоинствами писателя «внимание к простым людям» и умение «побудить читателя к размышлениям» (каким именно — не уточнялось). При этом один из опрошенных особенно хвалил Солженицына за рассказ «Судьба человека»; хорошо еще, что не за «Тихий Дон».

Среди лингвистов 55% одобрили широкое изучение Солженицына (34% — против, 11% воздержались). При этом треть давших положительный ответ опиралась на следующий довод: благом является чтение любых мастеров родного языка, Солженицын входит в число классиков, поэтому его изучение можно приветствовать. Один респондент отметил экзистенциальную проблематику творчества Александра Исаевича: «Считаю, что, уделяя внимание творчеству Солженицына, школьники и студенты смогут глубоко понять смысл жизни, вникнуть в суть человеческого существа». Но преобладала «историческая» мотивировка: «Его произведения дают полное и яркое представление об эпохе»; «Солженицын прекрасно отразил советский период российской истории»; «Он помогает понять историю нашей страны» и т. п.

Итак, немалое число тех студентов, которые выступают за коммунистические названия старинных русских городов и улиц, одобряют противника этих названий Солженицына. Для такого сочетания типичен пример, когда на вопрос о топонимике респондент отвечает весьма решительно, а на вопрос о Солженицыне — безразлично: «Если город переименовали, значит, его название сделали более подходящим под современную жизнь. Зачем же возвращаться в прошлое? Нужно идти вперед. <...> Если дети станут более подробно изучать в школе творчество Солженицына, то в этом нет ничего отрицательно. Всякое в будущей жизни может пригодиться». Другая студентка предлагает оставить советские названия городов и улиц, потому что

они, по ее словам, «звучат красивее», но приветствует изучение произведений Солженицына, поскольку они «могут передать читателю ценности, необходимые для русского православного человека». Анонимность опроса не позволила уточнить у этого респондента, как сочетается с «православными ценностями» повсеместное увековечивание имен людей, искоренявших в стране православие.

Однако и в отношении к Солженицыну у студентов ярко выражается то мироощущение, которое побуждает их отвергать исторические топонимы. Весьма характерен такой, например, отзыв сторонника советских переименований: «Произведения Солженицына, безусловно, интересны с лингвистической точки зрения <...>. Однако же с точки зрения их правдивости рассказы Солженицына находятся на слишком низком уровне. Поэтому я считаю, что повышать количество произведений Солженицына для изучения в школах не стоит. Это вводит в заблуждение учеников, заставляет ненавидеть СССР». Одна из лингвисток IV курса утверждает: «Переименовывать обратно имело бы смысл, если бы вернулся прежний государственный строй. Если же нашим политикам так мешают советские названия, можно придумать совершенно новые». На вопрос, нужно ли шире изучать Солженицына, она ответила так: «Судя по тому, что мало кто знает, как пишется его фамилия – нужно. А то, что Сталин плохой дядя, не запомнил только тот, у кого нет телевизора». Иными словами, для этой девушки весь смысл творчества Солженицына состоит в утверждении, что «Сталин – плохой дядя». Другая девушка написала, что расширить знакомство с творчеством Солженицына допустимо при условии, что в программу включают и побольше «произведений просоветских авторов для сохранения равновесия».

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о сохранности и даже заметном в последние годы укреплении в молодых умах той идеологии, которая когда-то обрекла Солженицына на изгнание. Однако уверенно звучал и голос меньшинства, желающего сохранить преемственность – в данном случае топонимическую – с тысячелетней Россией, загадку гибели которой всю жизнь постигал великий писатель. Согласно таким ответам исконные названия «являются историческим наследием нашей родины, которое было порушено в советскую эпоху»; «это часть нашей истории, которую нельзя менять и переделывать». «Названия, данные в советское время... <...> не пробуждают чувства патриотизма»; «Я думаю, что будущим поколениям важнее знать настоящие названия городов, а не те, которые дали в угоду советской власти» и т. д. Можно предположить, что эти студенты одобрили бы возвращение Большой Коммунистической улице в Москве ее исконного имени Большая Алексеевская (по церкви Алексея Митрополита и Алексеев-

ской слободе XVII века). Но, судя по их ответам на второй вопрос, они поддержали бы и решение, принятое в августе 2008 года, — о присвоении этой улице имени Александра Солженицына.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лекманов О.* Иваны в «Иване Денисовиче» // Между двумя юбилеями (1998–2003): Писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына. М.: Русский путь, 2005. С. 437–440.

² *Урманов А.В.* Распалась связь... имен: Антропонимика как форма воплощения авторских взглядов в «Красном Колесе» и «Двучастных рассказах» // Проза А. Солженицына 1990-х годов: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. С. 62.

³ Там же. С. 67.

⁴ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2007. Т. 1: Рассказы и Крохотки. С. 348.

⁵ Он же. В круге первом. М.: Наука, 2006. С. 86.

⁶ <http://www.rosbalt.ru/2008/11/07/539710.html>.

⁷ *Солженицын А.И.* Собр. соч. Т. 9: Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках. Узел II: Октябрь Шестнадцатого. Кн. 1. М.: Время, 2007. С. 54.

⁸ *Тер-Минасова С.Г.* Война и мир языков и культур. М.: Слово/Slovo, 2008. С. 176.

⁹ *Солженицын А.И.* Собр. соч. Т. 1. С. 348.

¹⁰ Там же. С. 249.

¹¹ Там же. С. 537.

¹² Там же. С. 443–444.

¹³ Кстати, лежащий неподалеку от Кочетовки и упомянутый в этом произведении город Мичуринск до своего переименования (1932) назывался Козловом (известен с 1635); смена имен в стране была поистине тотальной.

¹⁴ *Солженицын А.И.* Собр. соч. Т. 1. С. 118.

¹⁵ Там же. С. 202.

¹⁶ *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 47.

¹⁷ Он же. В круге первом. С. 255.

¹⁸ Там же. С. 604.

¹⁹ Там же. С. 56, 57.

²⁰ Там же. С. 56.

²¹ *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1997. Т. 3. С. 351.

²² Там же. С. 447

²³ *Солженицын А.И.* В круге первом. С. 79.

²⁴ Там же. С. 132.

²⁵ Там же. С. 133.

²⁶ *Солженицын А.И.* Дороженька. М.: Вагриус, 2004. С. 251.

Петр Глушковский

ПОЛЬША

ПОЛЬША И ПОЛЯКИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Тема Польши и поляков никогда не была главной в творчестве Александра Исаевича Солженицына, несмотря на то что писатель неоднократно затрагивал ее. В контексте распространенного мнения о полонофобии в русской литературе стоит представить мнение автора «Архипелага ГУЛАГ» о размерах, независимости, суверенитете Польши, а также истории ее отношений с Россией (раньше Советским Союзом). Не менее интересным является отношение самих поляков к А. Солженицыну, который в 70-е годы был кумиром и примером для подражания для многих граждан социалистических стран. Однако на протяжении последних двадцати лет это отношение к писателю претерпело значительные изменения.

Тема Польши и поляков существовала в русской литературе почти всегда. Долгое время Польша была самым сильным европейским соседом Российской империи. В XVI веке и в начале XVII века Польша пыталась распространить свое влияние на русские земли. Во время великой Смуты появилась даже такая идея, чтобы польский наследник престола Владислав IV Ваза стал царем России. Начиная со второй половины XVII века ситуация изменилась коренным образом: Россия начала экспансию на польские территории. Это привело в 1795 году к гибели Речи Посполитой.

Постоянные войны, смешанные семьи, проблема национальности граждан Великого княжества Литовского являются причиной того, что тема Польши была всегда актуальной в России. Пик интереса русской литературы к полякам начался в XIX веке, когда самая большая часть Польши стала частью Российской империи. К полякам, которые с 1795 года (или 1815) стали гражданами империи, почти все русские относились как к чужим. Большинство поляков также, несмотря на свое привилегированное положение в империи, не чувствовали себя подданными царя и стремились к восстанию и полной независимости своей родины. Русская литература реагировала на действия поляков импульсивно, не всегда понимая их поведение. Если до 1830 го-

да многие русские писатели дружили с польскими, то с 1830 года — со времен польского, или так называемого ноябрьского, восстания они начали отрицательно высказываться о своих польских друзьях, и особенно об их стремлении к независимости. В это время популярным стал даже тезис о Польше как Иуде — предателе славянства. Это, несомненно, позволяет говорить о явлении широко распространенной полонофобии в русской литературе¹. Отрицательно о поляках писали не только авторы XIX века, например Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» и «Игроке», но и такие современные писатели, как Станислав Куняев в «Шляхта и мы». Однако история русской литературы знает также и много писателей, которые положительно относились к Польше и полякам. Об Александре Герцене можно даже сказать, что он боролся за независимость Польши. Александру Солженицыну намного ближе по отношению к Польше взгляды А. Герцена, чем Ф.М. Достоевского.

Лауреат Нобелевской премии по литературе многократно высказывался о Польше в своих художественных произведениях, интервью и многочисленных публикациях. В «Архипелаге ГУЛАГ» он дважды писал о Ежи Венгерском — польском инженере, который, подобно многим другим солдатам Армии Крайовой (*Armia Krajowa*), попал в лагерь. Первый раз автор вспоминает о Е. Венгерском, когда тот согласился одолжить ему, почти незнакомому человеку, свой складной метр². Это не был обычный поступок, потому что в лагере была другая система ценностей и метр был самым ценным сокровищем заключенного. Однако польский инженер, который в это время работал бригадиром, был еще в состоянии поверить другому человеку. Такого в то время практически не случалось в лагерях. С одной стороны, это можно назвать наивностью или даже глупостью, но для Солженицына это был пример нормального человеческого поведения в нечеловеческих условиях. Второй раз А. Солженицын описывает Е. Венгерского во время забастовки, когда заключенные, протестуя против нечеловеческих условий, отказались принимать пищу. Однако после нескольких дней голодовки властям лагеря удалось сломить сопротивление заключенных. По свидетельству Александра Исаевича Солженицына, не покорился только один человек — Ежи Венгерский. Это, без сомнений, — один из самых ярких фрагментов русско-польских литературных связей. Описание поведения Ежи Венгерского ярко иллюстрирует то, как писатель относился к полякам. Стоит еще подчеркнуть, что автор очень редко писал с таким восторгом о своих соотечественниках, с каким он пишет о гордом поляке Ежи Венгерском. Процитируем фрагмент «Архипелага ГУЛАГ», в котором об этом идет речь:

«Девятый барак был голодный барак. Там были сплошь разнорабочие бригады, редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть, они сдались, чтоб не было еще новых трупов?..

Мы расходились от окон молча.

И тут я понял, что значит польская гордость — и в чем же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был прорабом — никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок.

А сейчас — исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом крикнул:

— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду!

Взобрался на верх вагонки, отвернулся к стене и — не встал. МЫ ночью пошли есть, а он — не встал! Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт — и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него — бестелесной Свободы!

Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?»³

Вышеприведенный фрагмент свидетельствует не только о том, что А.И. Солженицын положительно относился к полякам, но и о том, что поляки ему импонировали. Позже автор неоднократно подтверждал в своих произведениях и высказываниях, что поляков считает гордым, храбрым и, прежде всего, очень независимым народом. Ежи Венгерскому, как и Солженицыну, удалось выжить. В 1962 году в еженедельнике «Политика» он увидел под выдержкой из книги «Один день Ивана Денисовича» фотографию ее автора — своего бывшего знакомого по лагерю. Это натолкнуло его на мысль написать своему товарищу по лагерю. Благодаря посредничеству «Нового мира» А. Солженицын узнал, что его польский друг, который так ему импонировал, живет сейчас в г. Катовице в Польше. В 2007 году были в Польше изданы письма А. Солженицына, написанные Е. Венгерскому. Их переписка — это яркое свидетельство того, что два фрагмента о Ежи Венгерском, помещенные в «Архипелаге ГУЛАГ», не оказались там случайно. А. Солженицын, как только узнал, что польский инженер, который так гордо боролся с ужасами лагеря, живет в Польше, сразу же ответил ему:

«Среди сотен писем, которые я теперь получаю, было особенно радостно и приятно получить Ваше. Я искренне Вас любил и люблю, часто вспоминаю эти годы. Удивительное в Вас сочетание, с одной стороны, доброты и человеческого расположения, с другой стороны, выдержки и чувства чести. Никогда не забуду Вас 26-го января, как Вы отказались идти на ужин»⁴.

Е. Венгерский получил еще в шестидесятые годы несколько коротких, но очень теплых писем от А. Солженицына. Они очень хотели встретиться друг с другом, но им, к сожалению, это не удалось. Потом А. Солженицын был вынужден эмигрировать на Запад, и долгие годы не могло быть речи о том, чтобы встретиться. После выдворения писателя из Советского Союза Ежи Венгерский только один раз получил письмо-микрофильм из США от А. Солженицына⁵. Возможно, А. Солженицын написал таких писем намного больше, но польские службы безопасности, по всей вероятности, перехватили их переписку. О вышеупомянутом фрагменте «Архипелага ГУЛАГ» Е. Венгерский узнал от знакомых, которые слушали польские передачи радио «Свобода». С одной стороны, этот фрагмент был для него поводом для гордости, но, с другой стороны, у него сразу же могли появиться проблемы с польскими службами безопасности. Как он это и предчувствовал, его вызвали в комиссариат милиции. Но, к счастью, это были уже семидесятые годы и все закончилось только несколькими неприятными разговорами.

Е. Венгерский ушел на пенсию с должности профессора политехнического института. Уже будучи на пенсии, он издал свою автобиографию⁶, в которой вспоминает об А. Солженицыне. По его мнению и мнению большинства поляков, А. Солженицын изменился после распада СССР. Е. Венгерскому было особенно жаль, что автор «Архипелага ГУЛАГ» не встретился с ним на торжественном открытии памятника в Катыни. Отсутствие А. Солженицына на этом мероприятии — это очень противоречивая тема. Большинство поляков, занимающихся вопросами катынской трагедии, уверено, что А. Солженицын не приехал по причине своих национальных, великорусских взглядов. Однако высказываются и другие мнения: так, например, профессор Анджей де Лазари уверен в том, что писатель отказался от приезда, потому что ожидал в Катыни памятника жертвам коммунизма, а не только польским жертвам, ведь в Катыни, кроме польской интеллигенции, были расстреляны также очень много солдат и невоенных граждан Советского Союза. Нельзя также исключать отсутствия А. Солженицына в Катыни по причинам, связанным с состоянием его здоровья.

Думается, что дискуссия по этому поводу не имеет смысла, потому что А. Солженицын уже в начале 70-х годов высказал свое мнение по поводу катынского расстрела. Однако отсутствие А. Солженицына на встрече в Катыни не означает, что у писателя возникло другое мнение, чем у поляков, по поводу преступления советских властей. В 1973 году он высказал его в статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». Рассуждая о сложных отношениях между Польшей и Россией, А. Солженицын призывал оба народа к тому, чтобы они признались (точнее, раскаялись) в том, что каж-

дый из них виноват перед соседом. Писатель от имени россиян просил прощения за все грехи России: за три раздела Польши, за подавление восстаний, за русификацию. А. Солженицын не забыл также о других событиях: «...высокоблагородный удар в спину гибнущей Польше 17 сентября 1939 года; и уничтожение цвета Польши в наших лагерях; и отдельно Катынь; и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе 1944 года, наблюдение в бинокли, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил, — чтоб им не воспарять, а мы-то найдем, кого поставить в правительство. (Я был там рядом и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы)»⁷.

Одновременно Солженицын заявил, что со стороны Польши он также ожидает взаимного раскаяния. По его мнению, Польша также неоднократно была виновата перед Россией и должна попросить прощения за завоевание и угнетение русских земель в XVI веке (Галицкая Русь, Подолье, Подлясье, Волынь и Украина), за войны Сигизмунда III, за двух самозванцев на русском престоле, за захват Смоленска, за поход Владислав IV и за подавление восстания Богдана Хмельницкого⁸. А. Солженицын к этому списку добавляет еще и разрушение более 100 православных церквей в Польше в 1937 году и поход Ю. Пилсудского на Киев. По его мнению, это самый яркий пример довоенного польского экспансионизма. По этому поводу А. Солженицын пишет следующее: «Больше столетия, испытав горечь разделенного состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию (опять за счет Украины и Белоруссии). Первое внешнее действие ее — в 1920 году напасть на Советскую Россию — напасть энергично, взять Киев и иметь цель выйти к Черному морю. <...> Эта цель Польше не вполне удалась (но контрибуция с Советов взята). Тогда второе внешнее действие ее, 1921 года: незаконное отобрание Вильнюса со всею областью от слабой Литвы»⁹.

Конечно, хотелось бы с писателем поспорить по поводу некоторых преступлений Польши, но сейчас стоит прежде всего подчеркнуть, что А. Солженицын, как один из первых русских авторитетов, публично заявил о Катыни и действиях Советской армии на берегах Вислы во время Варшавского восстания. Эта статья была официально издана только на Западе, но россияне также ее читали благодаря самиздату и тамиздату. О Варшавском восстании — одной из самых больших трагедии польского народа во время Второй мировой войны, А. Солженицын писал также в пьесе «Знают истину танки».¹⁰

Писатель одним из первых в 1978 году поздравил Польшу с выбором Кароля Войтылы на должность понтифика. Он выразил свое

убеждение в том, что выбор поляка на ватиканский престол — это следующий удар по коммунистической системе. В отличие от многих глубоко верующих православных русских А. Солженицын был очень рад, что у католиков будет сильный и мудрый наставник — Папа Римский. А. Солженицын не боялся католической экспансии на православную Россию, а, наоборот, был уверен, что сейчас все христиане с новыми силами будут вместе бороться с советским режимом. Поэтому писатель откровенно заявил, что: «Вместе с католиками восточно-европейских стран мы, русские, глубоко радуемся этому избранию. Мы верим, что оно поможет укреплению нашей общей христианской веры во всем мире, — только она сегодня и может спасти человечество»¹¹.

О польском Папе Римском А. Солженицын всегда высказывался очень положительно. Перед возвращением в Россию ему удалось в Ватикане встретиться с Иоанном Павлом II. А. Солженицын в интервью, данном Джозефу Пирсу, вспоминал, что во время беседы, которая длилась полтора часа, их мнения разошлись только один раз — в ходе дискуссии на тему попыток католиков сотрудничать с большевиками в двадцатые годы XX века. Папа Римский не соглашался с мнением писателя, который был убежден, что Ватикан пытался расширить свое влияние на востоке во время кризиса православной церкви в 30-е годы XX века. Понтифик ответил, что эта идея не могла быть идеей Папы Римского и Ватикана и что такие разговоры велись только по собственной инициативе отдельных священнослужителей¹².

Не все знают, что А. Солженицын поддерживал также польский независимый профсоюз «Солидарность». В его поддержку он отправил телеграмму польским рабочим, в которой восхищался их духом и достоинством¹³.

Не оставил он своих польских собратьев и в декабре 1980 года, когда в Гданьске начались репрессии против оппозиционеров — борцов за независимую Польшу. В их защиту автор написал короткое сообщение, в котором заявлял о репрессиях советской системы против народов, живущих в Центральной и Восточной Европе. Это была даже не статья, а всего лишь несколько предложений о стремлениях «кровавых последователей Ленина» покорить мир. И в заключение добавил, что в эти дни «сердце подневольного русского народа — вместе с польским»¹⁴.

Он высказывал свое мнение и по поводу лидера «Солидарности» — Леха Валенсы. В 1982 году он отправил Нобелевскому комитету мира письмо в поддержку его кандидатуры. У А. Солженицына не было никаких сомнений, что Л. Валенса — это мужественный лидер польской оппозиции, стремящейся, самым простым путем к независимости, с которой должны брать пример и другие народы социалистического

лагеря. Писатель в своем письме заявил, что «мы все в долгу у Валенсы — больше, чем это, может быть, сознают сегодня в Европе»¹⁵. Поэтому он был особенно рад, что Л. Валенса получил Нобелевскую премию. Через польскую службу Би-би-си он заявил, что раньше такие премии получали люди, которые капитулировали перед агрессором, а «сегодня этой премией награжден безоружный человек высокого духа, самый выдающийся борец не только за права народных масс, но и за будущее всего мира, на самом горячем участке борьбы и в самые мрачные месяцы Польши»¹⁶. На основании других высказываний А. Солженицына можно сделать вывод, что поляки с их стремлением создать независимое государство очень импонировали ему. А. Солженицын болел за успех «Солидарности», считал, что если полякам повезет в борьбе с коммунизмом, то, возможно, и русские смогут разрушить СССР. Думается, что А. Солженицын соглашался с мнением Уинстона Черчилля, который когда-то сказал, что нет таких достоинств, которых не найдешь у поляков, и нет таких ошибок, которых бы они не совершили.

А. Солженицын никогда не был в Польше, но во время Великой Отечественной войны вместе с советским фронтом наступал на территорию тогдашней Восточной Пруссии — сегодняшней Польши. Он всегда очень внимательно следил за этой территорией. Самым ярким свидетельством тому являются описания Восточной Пруссии, которые он позднее представил в «Красном Колесе», описывая шествие и судьбы армии Самсонова. Читатели «Архипелага ГУЛАГ», наверное, помнят, что именно на территории сегодняшней Польши А. Солженицын был арестован. В январе 1945 года вместе со всей батареей он освободил несколько польских городов: 20 января — Нидзицу (нем. Neidenburg, пол. Nidzica); 22 января — Ольштын (нем. Allenstein, пол. Olsztyn). 9 февраля, когда армия Константина Рокоссовского боролась уже на берегах моря, А. Солженицын был арестован НКВД. Первые свои дни ареста он провел в Польше: сначала в карцере, а потом его отправили пешком из Остероды в Бродницу. Писатель вспоминает в «Архипелаге ГУЛАГ» свой арест и дорогу в Москву: «Я молчал в польском городе Бродница — но, может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть поляков это все не касается?»¹⁷ В 2008 году жители и мэр города Бродница установили памятную доску в честь трехдневного пребывания А. Солженицына в их городе¹⁸. Эта доска была открыта 13 декабря 2008 года в честь 90-летия со дня рождения А. Солженицына в парке им. Яна (Июанна) Павла II — одном из самых почетных мест г. Бродница.

Нет никаких сомнений, что А. Солженицын для тех поляков, которые в 70-80-е годы имели возможность прочитать его произведения,

был авторитетом и примером для подражания. Свидетельствуют об этом многочисленные высказывания. Часть из них была опубликована еще в советские времена в польских эмигрантских журналах, таких, например, как парижская «Kultura» или лондонские «Wiadomości». В этих журналах можно было найти не только переводы текстов А. Солженицына, но и комментарии и отзывы на эти произведения. Конечно, не все поляки восхищались русским писателем. Например, известный польский диссидент Юзеф Мацкевич сильно критиковал А. Солженицына как человека и как писателя. Он повторял почти все упреки, высказанные ранее А. Солженицыну советской прессой. Польский публицист сильно удивлялся тому, что А. Солженицын получил такую популярность на Западе. По его мнению, в книгах А. Солженицына не было ничего нового, чего раньше нельзя было бы прочитать у Варлама Шаламова, Густава Герлинга-Грудзинского или в его книге «Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów». Он также не понимал, почему советские власти арестовывали или ссылали других русских антикоммунистических писателей, а А. Солженицыну разрешили писать и эмигрировать. Ю. Мацкевич даже писал о том, что, вполне возможно (он ссылаясь на статью Николая Ульянова), что А. Солженицын — это не один человек, а «институт — литературная шарашка», которая родилась, чтобы заработать денег на западных антисоветских тенденциях семидесятых годов. В другом месте он написал, что лично не верит в эту теорию, но это высказывание является ярким свидетельством отношения Ю. Мацкевича к А. Солженицыну¹⁹.

Это было важное, но непопулярное мнение отдельных представителей польского общества. На все статьи Ю. Мацкевича моментально реагировал Юзеф Лободовский — также очень известный польский эмигрантский публицист и деятель. Полемизируя с ним в «Wiadomościach», Ю. Лободовский отмечал, что Ю. Мацкевич таким образом реагирует на травлю, которую коммунисты устроили ему самому в Польше. Кроме того, Ю. Лободовский заметил, что мнения, высказанные у Ю. Мацкевичем и А. Солженицыным по поводу советского коммунизма, очень похожи: коммунизм — это чужая для России идеология, которая совершенно случайно изо всех сил ударила по этой стране. Ю. Лободовский, защищая А. Солженицына, согласился с Ю. Мацкевичем, что действительно коммунистические власти по-другому относились к автору произведения «В круге первом», чем к другим советским писателям. Однако, по его мнению, это не результат советского капкана, а следствие таланта А. Солженицына, которого просто невозможно сравнивать с другими писателями и к которому нельзя относиться как к другим мастерам слова. Ю. Лобо-

довский уверен, что А. Солженицына следует рассматривать как феномен.

Значительное большинство поляков после знакомства с произведениями А. Солженицына утвердилось в своем отрицательном отношении к коммунизму. Адам Михник – бывший польский оппозиционер и борец за независимую Польшу, сегодня редактор «Gazety Wyborczej», сказал, что «Архипелаг ГУЛАГ» был для него шоком. Благодаря этой книге русский язык перестал быть для него языком лжи и обмана, а он сам понял, что кроме России Брежнева существует еще и неизвестная ему до того времени Россия А. Солженицына²⁰. Уже в 70-е годы подобное мнение об А. Солженицыне высказывали Густав Герлинг-Грудзинский – автор «Другого мира» («Innego świata») – самой известной польской книги о лагерях и Ян Новак-Езеряньский – директор польского вещания радио «Свобода».

А. Солженицын для многих поляков был примером для подражания, примером борьбы за свободу и независимость. Идеи А. Солженицына, которые он произнес в статье-манифесте «Жить не по лжи», несомненно, нашли свое воплощение именно в Польше – в движении «Солидарности». Все книги А. Солженицына, изданные на Западе, попадали в Польшу. В 70-е годы практически все образованные поляки читали по-русски. Большинство произведений благодаря парижскому издательству «Культура» были очень быстро переведены на польский язык. «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом» блестяще перевел на польский язык профессор Ежи Помяновски – бывший узник лагеря. Благодаря его стараниям произведения А. Солженицына не утратили своего художественного колорита. Конечно, в Польше также была цензура и не было официальной возможности издавать книги. Однако все желающие могли познакомиться с творчеством А. Солженицына. Мне приходилось слышать о нескольких гражданах Советского Союза, которые первый раз прочитали «Архипелаг ГУЛАГ» именно в Польше. Поляки знали и по достоинству ценили творчество А. Солженицына.

Произведения, написанные А. Солженицыным после распада СССР, не вызвали в Польше большого интереса. Большинство из них были переведены на польский язык, но они не затронули проблем, с которыми столкнулась Польша после 90-х годов. А. Солженицын еще несколько раз высказывал свое мнение на тему Польши, но эти высказывания не были отмечены в польских СМИ. Его слова перестали вызывать интерес у польских специалистов по современной России, историков русской литературы, а тем более, у рядовых граждан. В 1999 году Юлиуш Зыхович перевел на русский язык «Россию в обвале». Это произведение утвердило тех немногочисленных поля-

ков, которые его прочитали, во мнении, что А. Солженицын после возвращения в Россию начал представлять идеи великорусского национализма. Это мнение, которое разделяли практически все поляки, не повлияло на популярность более ранних произведений А. Солженицына. В 2004 году был издан большим тиражом «Раковый корпус» в переводе Михала Ягеллы.

Последние десять лет в Польше почти не говорили об А. Солженицыне. Время от времени кто-то высказывался о нем как о мертвом писателе-пророке или как о русском националисте. Последнюю книгу о нем издал в 1994 году профессор Люциан Суханек²¹. В 2005 году появился перевод короткой американской биографии, написанной Джозефом Пирсом²². Стоит также отметить, что в 1997 году был издан сборник материалов конференции «Александр Солженицын и Польша»²³. Но он практически недоступен. В книге «Antyrosja – historyczne wizje Aleksandra Solżenicyna. Próba polskiego odczytania» мною была предпринята попытка обратить внимание на эту проблему и начать в Польше дискуссию о творчестве и деятельности А. Солженицына²⁴. К счастью, время от времени в Польше появляются новые издания произведений А. Солженицына. Но пока ни одно издательство еще не решилось издать «Красное Колесо» и «Двести лет вместе».

Эта ситуация немножко изменилась после смерти автора. Уже 4 августа появились первые статьи об авторе «Архипелага ГУЛАГ». На протяжении целой недели можно было услышать в польских СМИ информацию о жизни и деятельности А. Солженицына. В первый момент появились только положительные мнения, потом большинство комментаторов говорили о двух Солженицыных: одном – которого знали с юности – об авторе «Архипелага ГУЛАГ», диссиденте и борце за правду; и другом А. Солженицыне последних лет – русском националисте, провозглашающем идеи великой России.

Мне кажется, что поляки после опыта XIX и XX веков, на протяжении которых они почти 170 лет боролись за свою независимость, – сначала с Российской империей, а потом с Советским Союзом – никогда не будут рады идеям сильной и единой Руси. Россия, в состав которой входила бы Украина, всегда будет ассоциироваться у поляков с опасностью. Большинство поляков, в том числе и Ежи Венгерский, бывший президент Лех Валенса и нынешний президент Лех Качинский, выразили свое разочарование А. Солженицыным²⁵. Хочется верить, что как сейчас, так и в будущем будут помнить в Польше, что не процесс Кравченко, не книги В. Шаламова и даже не «пражская весна», а жизнь и творчество А. Солженицына открыли глаза Запада на сущность коммунизма и СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Orłowski J.* Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej. Warszawa, 1992.
- ² *Солженицын А.* Архипелаг ГУЛАГ. Екатеринбург, 2006. Т. 3. С. 104.
- ³ Там же. С. 237–238.
- ⁴ *Солженицын А.* Письмо Ю.Ю. Венгерскому // *Węgerski J.* Drogi Juriju Jurijewiczu... Listy Aleksandra Sołżenicyna do Jerzego Julijana Węgerskiego. Katowice, 2007. С. 19.
- ⁵ *Węgerski J.* Rozmowa z W. Paźniewskim // *Węgerski J.* Drogi... С. 35.
- ⁶ *Idem.* Bardzo różne życie: we Lwowie, w sowieckich łagrach, na Śląsku. Katowice, 2003.
- ⁷ *Солженицын А.* Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни // Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995–1997. Т. 1. С. 74.
- ⁸ Там же. С. 74.
- ⁹ Там же. С. 74–75.
- ¹⁰ *Солженицын А.* Знают истину танки // Собр. соч. Paris, 1981. Т. 8.
- ¹¹ Он же. Ответ польскому журналу «Культура» // Публицистика. Т. 2. С. 482.
- ¹² *Pearce J.* Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Warszawa, 2005. С. 224.
- ¹³ *Солженицын А.* Бастующим польским рабочим (20 августа 1980) // Публицистика. Т. 2. С. 544.
- ¹⁴ Он же. Об угрозе Польше (4 декабря 1980) // Там же. С. 546.
- ¹⁵ Он же. Нобелевскому комитету мира (14 сентября 1982) // Там же. Т. 3. С. 45.
- ¹⁶ Он же. О присуждении Нобелевской премии Леху Валенсе (5 октября 1983) // Там же. С. 168.
- ¹⁷ Он же. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 32.
- ¹⁸ *Drogoryb B.* Aleksander Sołżenicyn i jego pobyt w Brodnicy // *Gazeta Pomorska.* 2008. 13 XII.
- ¹⁹ *Mackiewicz J.* Nierozwiązana zagadka Aleksandra Sołżenicyna // *Wiadomości.* 1972. № 21; *Łobodowski J.* Mackiewicz inny, ale ten sam // *Wiadomości.* 1974. № 17.
- ²⁰ *Michnik A.* Sołżenicyn – gigant XX wieku // *Gazeta wyborcza.* 2008. 05.08.
- ²¹ *Suchanek L.* Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta. Kraków, 1994.
- ²² *Pearce J.* Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Warszawa, 2005.
- ²³ Александр Солженицын и Польша / Под ред. Е. Литвинова. Poznań, 1997.
- ²⁴ *Głuszkowski P.* Antyrosja – historyczne wizje Aleksandra Sołżenicyna. Próba polskiego odczytania. Warszawa, 2008.
- ²⁵ Лех Валенса. Сообщение для Le Figaro // <http://wiadomosci.onet.pl/1801387,12,1,1,item.html> (17 августа 2008); Лех Качиньский. Сообщение для Sygnałów dnia // <http://www.wprost.pl/ar/135617/LKaczynski-rola-Solzenicyna-jest-olbrzymia> (20 августа 2008).

Сергей Гродзенский

МОСКВА

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН: КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ

В 1961 году я окончил 2-ю среднюю школу Рязани. В пору моего детства она была известна тем, что в 60-е годы XIX века в размещавшейся в ее стенах духовной семинарии учился будущий академик, первый русский лауреат Нобелевской премии И.П. Павлов, а в 20-е годы прошлого века здесь получил начальное образование многократный сталинский лауреат писатель К.М. Симонов.

В мои школьные годы особенной симпатией учеников пользовался преподаватель физики и астрономии Александр Исаевич Солженицын, которого мы за глаза называли Исаич. Я считаю своим долгом рассказать о малоизвестной стороне его деятельности в конце 50-х годов, когда имя Александра Исаевича было известно лишь узкому кругу знакомых, считаному числу коллег да нескольким десяткам учеников.

Случилось так, что Александр Исаевич пришел в наш 8-й «А» класс не с начала учебного года. Чем запомнился его первый урок. Пробежав в классном журнале список учащихся, он вызвал к доске меня, видимо заинтересовавшись учеником с громоздкой фамилией. Мы изучали закон сохранения энергии. Учитель скомкал в шарик подвернувшийся под руку исписанный лист бумаги, подбрасывал его, ловил, при этом спрашивал, как происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую. Вопросы учитель ставил простые, я пояснял: когда шарик летит к потолку, растет потенциальная энергия и уменьшается кинетическая, а когда падает, то наоборот. Ко всеобщему удовольствию, энергия, которой обладал бумажный шарик, не исчезла, я легко получил пять, удостоившись одобрительной улыбки нового учителя.

Что же отличало Солженицына-педагога? Прежде всего — пунктуальность. За считанные минуты до урока приходил он в школу. Едва звучал звонок на перемену, урок прекращался. Солженицын не имел привычки задерживать учащихся и не мешкая покидал школу сам. Бывало, еще перемена после физики не кончилась, а он уже своей стремительной походкой удалялся от здания школы.

Несомненное педагогическое дарование и живущее в нем творческое начало позволяли ему сделать урок увлекательным, исподволь прививая нам любовь к физике, одному из труднейших школьных предметов. Помню, он читал сочиненный им «Рассказ незадачливого фантаста», а мы должны были отмечать содержащиеся в нем ошибки, относящиеся к изучаемой теме. Чем больше неточностей обнаружишь у «фантаста», тем выше получишь оценку.

В другой раз Александр Исаевич предложил конкурс на лучший способ определения географической широты, а услышав один из ответов, среагировал: «Все очень хорошо. Только каждый раз, как понадобится узнать, на какой широте находишься, придется лезть в центр Земли». В этом же духе звучали и его иронические замечания к определению коэффициента полезного действия устройства, никакой пользы не приносящего. Рассказывая о скорости звука, он вспомнил, что на фронте в ходу была поговорка: «Не бойся пули, которая свистит, раз ты ее слышишь — значит, она не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьет, — ты не услышишь». Примеров таких можно приводить и приводить еще очень много.

Зная о моем увлечении шахматами, Александр Исаевич иногда заговаривал о них. Вспоминая о годах юности, рассказывал, что было время, когда и сам ими увлекался, участвуя в турнирах, получил третью категорию. Позднее он разочаровался в «игре королей», считая, что она вынуждает человека тратить много энергии впустую. По воспоминаниям литератора Владимира Гусарова о встречах с Солженицыным в середине 60-х годов, на предложение сыграть партию в шахматы, тот ответил: «Я играл в них только в тюрьме, и то когда не было интересных людей».

При мне же Исаич не раз высказывался в том смысле, что наши шахматные успехи потому и афишируются, чтобы прикрыть отставание в иных, более важных областях. Помнится, между нами состоялся такой диалог:

— Все-таки, Сережа, шахматы напрасно отнесены к спорту.

— Почему?!

— Да потому, что спорт предполагает физическое развитие человека. А если шахматы — спорт, то почему бы не причислить к спорту домино, карточную игру и еще бог знает что?

— Александр Исаевич, давайте договоримся о терминах. По-моему, спортивное состязание — это соревнование, участники которого находятся в равных условиях, и успех не зависит от случайности. Потому-то шахматы — спорт, а домино и карты — нет.

— Все же спорт обязательно предполагает физическое соревнование.

– Что же тогда, по-вашему, шахматы? Игра, средство убить время?

– Наверное, шахматы ближе к науке. Есть же учебники шахматной игры, да и успех в них во многом зависит от того, насколько добросовестно проштудирован учебник...

Жаль, не запомнил я, чем наш спор завершился. Не думал, что придет время, когда мнение моего школьного учителя по самым разным вопросам будет представлять интерес.

Заметно было, что среди именитых шахматистов симпатии у Александра Исаевича вызывали те, кто совмещал игру с достижениями в других интеллектуальных областях. Так, он с уважением отзывался о многолетнем чемпионе мира Эммануиле Ласкере, бывшем доктором философии и математики. При этом не скрывал, что не любит доктора наук М. Ботвинника за его, как ему казалось, слишком практичный стиль игры, и всю жизнь «болел против» него.

Во время матчей на мировое первенство между шахматистом-ученым М. Ботвинником и шахматистом-профессионалом М. Талем Солженицын желал успеха молодому рижанину. Первые поражения Таля в матче-реванше повергли Александра Исаевича в уныние: «Ну как же так, какая досада!» — восклицал он со скорбным выражением лица. Когда же матч-реванш завершился, сделал вывод, что результат противоестественен и вызван болезненным состоянием М. Таля.

В школе существовал порядок — в начале первого урока преподаватель несколько минут должен посвятить текущей политинформации. Когда школьный день начинался с физики, беседа была предельно краткой — несколько фраз о важнейших событиях. Как-то, когда политинформация закончилась и Александр Исаевич устремился к доске, я позволил себе реплику с места:

— А спортивные новости?!

Исаич только буркнул:

— Хватит. Им еще спортивные новости!

И тут же, начав писать на доске физическую формулу, бросил взгляд в мою сторону, продолжил:

— Я слышал, что проходит чемпионат школы по шахматам, в котором Гродзенский, втайне конечно, претендует на первое место. Вот когда турнир закончится, обязательно на политинформации оглашу его итоги.

Я почувствовал, что краснею, класс развеселился, но Исаич умел обуздывать веселье, направляя энергию учеников в нужное русло. А чемпионат школы мы действительно тогда проводили. За отсутствием специального помещения игра проходила в свободном классе. Бывало, занимали шахматисты и физический кабинет. Помню, Алек-

сандр Исаевич задержался возле одной из досок. Обратив внимание на первые ходы, произнес:

– Сицилианская защита.

– Вы и это знаете? – осведомился я.

– Когда-то немного знал теорию дебютов. Теперь помню лишь названия нескольких начал, – ответил Солженицын.

Он назвал дебюты, которые предпочитал в пору увлечения шахматами, но, честно скажу, я пропустил это мимо ушей: шахматные вкусы бывшего третьекатегорника меня не особо интересовали. ...Вдруг один из участников турнира порывисто встал из-за стола и, ни на кого не глядя, вышел.

– Что, проиграл Валерий? – послышался голос сидевшего в дальнем углу и, казалось, поглощенного своими делами А.И. Встретив мой кивок, – прокомментировал: – Я так и понял. Для шахмат он слишком разболтан.

Услышав, что какой-то турнир проводится по швейцарской системе, поинтересовался, в чем ее суть, так как до этого знал только круговую (каждый с каждым) и олимпийскую (проигравший выбывает). Когда я объяснил существо «швейцарки», он назвал ее «методом последовательных приближений при определении относительной силы шахматиста».

Все же занятий шахматами он не одобрял. На одном из уроков после моего не слишком удачного ответа с грустью заметил: «Сказываются шахматные неудачи». В тот день местная газета сообщила итоги юношеского чемпионата Рязани, в котором я сыграл плохо. А в конце последнего учебного года, увидев в газете мое имя среди участников юношеского первенства области, Александр Исаевич с укоризной заметил: «Ты, наверно, все лето будешь играть в шахматы, а потом опозоришь школу на вступительных экзаменах в институт».

Тем не менее и я, и почти все другие ученики А.И. Солженицына нашего выпуска на вступительных экзаменах по физике получили пятерки. Встретившись со мной, Александр Исаевич подробно расспрашивал меня о том, как проходил экзамен, радовался успехам своих учеников.

Учитель физики трепетно относился к русской речи. Болезненно реагировал на ее искажения, но возражал и против догматического пуризма – стремления к чистоте языка, иногда показному. Когда в его присутствии поправили сказавшего «слесаря» вместо «слесари», он сказал:

– Язык – живой, развивающийся организм. Было время, нельзя было произнести «профессора» – обязательно «профессоры», а теперь не слышно, чтобы так говорили. Пройдет время, и все станут го-

ворить «слесаря», «токаря». Это будет считаться единственно правильным. Я думаю, будут говорить «ихний», что совсем не по правилам.

Я не удержался от реплики:

— Александр Исаевич, а мы по биологии проходили, что любой «живой, развивающийся организм» рано или поздно умирает?!

— Так, и язык умирает, есть даже такое понятие «мертвый язык», в том смысле, что он не употребляется в разговорной речи. Скажем, латынь. Правда, в Израиле пытаются воскресить мертвый древнееврейский язык — иврит, но я не уверен, что это получится.

Мало что могу вспомнить о его литературных привязанностях. Огорчившись, что я не читал Стефана Цвейга (он произнес — «Цвайга»), высоко оценил творчество этого писателя, его биографические романы и особенно «Америко». По поводу одной из экзаменационных тем по литературе, посвященной творчеству М. Горького, заметил: «К сочинению готовиться совсем просто. Каждый год дают тему по Горькому». Сказано это было таким тоном, что можно подумать, будто этот учитель физики непочтительно относится к «основоположнику соцреализма».

Услышав, что мы изучаем на уроке литературы новый рассказ Шолохова «Судьба человека», с недоверием осведомился: «Неужели такое посредственное произведение собираются включить в школьную программу?» Услышав утвердительный ответ, рассмеялся. Почему он ставит такую низкую оценку живому классику, педагог объяснил: «Образ Ирины — хорош, а в целом рассказ слабый, а для того, кто прошел войну, он неинтересен». В разгар травли Пастернака я поинтересовался, читал ли Александр Исаевич изданный за рубежом и вызвавший такой скандал роман «Доктор Живаго». Солженицын сказал, что читал, роман ему не нравится, «слишком рассудочное произведение».

Один из учеников сочинил шутивную пьесу, в которой под фамилиями-характеристиками (Сорокина, Тугодумов) легко узнавались одноклассники. Исаич сказал, что такой литературный прием ему неприятен. На замечание, что им пользовались Фонвизин, да и Гоголь, возразил, что вел речь не о литературе XVIII и первой половины XIX веков. Догадывались ли мы, что он — писатель? Нет, могу сказать определенно. Несмотря на внешнюю открытость Солженицына, его жизнь за школьным порогом была нам неведома. Мы знали о нем меньше, чем об иных учителях, чьи радости и горести живо обсуждались учениками. Но почему-то мнение физика интересовало меня более всего, когда речь шла о литературном произведении, и именно с Исаичем я стремился подискутировать на темы очень далекие от преподаваемых им учебных дисциплин.

Что можно сказать о его тогдашних увлечениях? Он любил теннис, туристические походы, но казалось, что его главное пристрастие — фотодело. Исаич организовал из нескольких учеников нашего класса фотокружок. Не имея особого интереса к фотографии, я любил общаться с учителем физики и потому с удовольствием занимался в кружке. Во время каникул после 9-го класса нужно было месяц посвятить общественно полезному труду. Я с радостью в июне трудился под руководством Александра Исаевича над оформлением стендов.

Из того времени мне запомнился короткий диалог между нами в фотолаборатории. Я был в восторге от только что прочитанного романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Он в ответ пожал плечами:

— Не понимаю, как можно вдвоем работать над литературным произведением. Не представляю, как я стал бы писать с соавтором.

Я еще подумал про себя: о каком это соавторстве говорит физик, ведь не для написания методички к лабораторной работе нужен помощник, и спросил:

— Вы что-нибудь пишете?

— Я сейчас работаю над одной вещью.

Лицо Александра Исаевича приняло страдальчески-озабоченное выражение, но тотчас просветлело, и он круто сменил тему разговора. Наверно, пишет пособие по физике», — решил я, поскольку он поругивал официальный учебник Перышкина. Больше о его литературных занятиях мы не заговаривали.

То, что мой школьный учитель — писатель, я узнал только после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». А много лет спустя выяснилось, что создан этот шедевр был в июне 1959 года, когда я проходил практику в фотолаборатории. Вот, оказывается, над чем он тогда работал!!

19 ноября 1962 года я — студент второго курса Рязанского радиотехнического института — пришел домой озабоченный предстоящей экзаменационной сессией. Едва переступил порог, отец спрашивает:

— У тебя в школе, кажется, был учитель по фамилии Солженицын?

— Да, физик, — отвечаю с удивлением, поскольку родитель никогда не проявлял особого интереса к моим учебным делам, а школьная тема и подавно уже более года как была исчерпана.

— Смотри-ка, он, оказывается, великий писатель, — говорит отец, протягивая мне свежий номер «Известий», в котором внизу пятой полосы заметка К. Симонова «О прошлом во имя будущего», начинающаяся словами: «О небольшой повести А. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, только что опубликованной в 11-й книжке “Нового мира”, наверное, будет написано много статей. А пока, толь-

ко что перевернув ее последнюю страницу, мне хочется высказать лишь несколько мыслей вслух».

«Высказав мысли вслух», Симонов завершает заметку: «Повесть “Один день Ивана Денисовича” написана уверенной рукой зрелого, своеобразного мастера. В нашу литературу пришел сильный талант. У меня лично не остается в этом никаких сомнений».

Признаюсь, похвала Симонова меня вслед за отцом мало в чем убеждала, а «зрелым мастером» и «сильным талантом» кого только из соцреалистов не именовали. Потому-то слова отца о моем учителе как великом писателе в тот момент были сказаны с большой долей иронии. Через несколько дней отец отъехал в Москву и вскоре звонил, полный восторженных впечатлений от прочитанного «Одного дня...».

Я посетил А.И. Солженицына, поздравил с литературным дебютом и поинтересовался, где происходит действие «Одного дня...», упомянув знакомые мне с детства названия: Джекказган, Экибастуз, Новорудное, Карсакапай. Александр Исаевич назвал Экибастуз. Подумалось мне, что я мог бы рассказать что-то интересное Солженицыну — зачинателю лагерной темы в художественной литературе.

В канун наступления 1963 года шлю А.И. Солженицыну письмо, в котором помимо поздравлений и пожеланий излагаю сведения, могущие его заинтересовать. «Многое из того, о чем написано в повести, известно мне от отца, который также был репрессирован и отбывал заключение в Воркутлаге, где я и появился на свет в августе 1944 года, — писал я и продолжал: — Говоря языком кино, «Один день Ивана Денисовича» — это кадр, талантливо показанный крупным планом. Ждем от Вас полнометражного фильма. Я выдам Вам нашу ребяческую тайну. Вы, конечно, знаете, что ученики всегда награждают своих учителей различными кличками. Вас мы, Ваши ученики, всегда именовали между собой уважительно и ласково — Исаич. Мы называли Вас так даже тогда, когда приходилось с горечью сознаваться: Исаич залепил мне сегодня двойку. Я, как и все мы, всегда знал, что Вы великолепный и разносторонний педагог. Мне нравилось, что математик, физик и астроном Исаич свободно заменяет и литератора. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что Вы еще и талантливый писатель».

Написал я также, что отец имеет два небольших замечания по тексту повести. Во-первых, из рассказа бригадира Тюрина следует, что в 30-м году комполка носил четыре шпалы, чего не могло быть, а во-вторых, желая урезонить, говорили «много об себе понимаешь», а не «много об себе думает», как рассуждает Иван Денисович Шухов.

Через несколько дней пришел ответ:

«Милый Сережа!

Я тронут твоим письмом и твоей неизменной привязанностью. С интересом прочел новые о тебе сведения. Я не возражал бы как-нибудь с тобой побеседовать вечером, но затрудняюсь заранее назвать дату. Школу я сейчас покидаю до сентября, однако обещал директору быть на вечере встречи с бывшими выпускниками (он же — “вечер за честь школы”). М. б., ты заглянешь туда после сессии? (Это будет, наверно, 26 января.) Относительно шпал ты мне напомнил что-то смутное, что я забыл. Ромбов четырех, во всяком случае, долго не было, верно. А “об себе понимает” — несколько затрепано и к тому же уже по объему понятия, — неприемлемо.

Мой поклон твоим маме и папе. А.И.»

Школьный «вечер встречи» 1963 года состоялся 9 февраля. Солженицына интересовала судьба моего отца — ветерана Воркутлага и Карлага. Я рассказал то немногое, что знал, вспомнив грустно-шутливое высказывание родителя: «Я получил три срока от трех врагов народа: по одному от Ягоды, Ежова и Берии». Прощаясь после вечера с Исаичем, я повторил то, что писал ему в письме: «Один день Ивана Денисовича» — это всего лишь отдельный кадр, а нужен полнометражный фильм. «Будет и полнометражный фильм», — пообещал Солженицын.

Не ведал я тогда, что «фильм» всю готовится и уже есть у него название — «Архипелаг ГУЛАГ». Некоторое время спустя по просьбе Александра Исаевича я познакомил его с моим отцом.

«Архипелаг ГУЛАГ» начинается словами: «Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага, — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — 257 свидетелей. Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым. ...Но не настала та пора, когда я посмею их назвать»¹. В последнем издании «Архипелага ГУЛАГ» имена названы. В перечне я нашел имя своего отца — Якова Давидовича Гродзенского.

...В течение 1963 года интерес к Солженицыну рос лавинообразно. С просьбой поделиться воспоминаниями обратилась моя школьная учительница литературы (коллега Александра Исаевича по 2-й школе). Я рассказал о своем предновогоднем письме, и в газете «Рязанский комсомолец» за 21 ноября 1963 года появилась статья «Учитель», в которой использованы мои «показания». Когда вновь посылаю поздравление А.И. Солженицыну с новым 1964 годом, то получаю ответ:

«Дорогой Сережа!

Я с большим удовольствием прочел твое письмо. Как ты повзрослел за это время! — просто нельзя себе представить, что три года на-

зад ты еще сидел за столом в физическом кабинете и прятал (порой) глаза в учебник. Боюсь, что многие твои одноклассники еще остались на прежнем уровне. Смешнее — что Нина Степановна недалеко от того уровня ушла. Я полагал, что у нее больше вкуса, чем она проявила в статье в «Ряз. комсомольце». А информацией ты зачем ее снабдил? Это уже не полагается между джентльменами! А в радиотехнике ты не разочаровался?...

Желаю тебе интересного, содержательного года, а еще раньше — самого обыкновенного здоровья, даже в твоём возрасте о нём не следует забывать.

Мой самый тёплый привет твоим маме и папе. А.И.»

«А в радиотехнике ты не разочаровался?» — спрашивалось в письме. Значит, помнил Исаич нашу беседу о выборе профессии. На исходе десятого, выпускного класса он поинтересовался, куда собираюсь я поступать после школы. Я ответил, что предпочёл бы заняться точными науками, а родители хотели бы видеть меня врачом. Исаич оживился и сказал, что мнение моих родителей он одобряет. Почему? Да потому, что профессия врача очень нужна в любых жизненных ситуациях, особенно это чувствуется... в заключении.

«Попал я в лагерь, — начал Александр Исаевич и, не обращая внимания на мой вопросительно-растерянный вид, продолжал: — и там понял преимущество профессии врача. Представляешь, первыми загибались историки, философы, вообще разные гуманитарии, которых использовали на тяжёлых, так называемых общих работах. Меня спасло то, что я — математик, смог попасть в “придурки” — на должность инженера. Теперь завидовал медикам, которые чувствовали себя в лагере ещё вольготнее. Бывало, перед врачом-зэком снимало шапку лагерное начальство».

Меня поразил этот принцип выбора жизненного пути: овладевай той профессией, которая пригодится, если попадешь в тюрьму! Я тогда не сказал учителю, что те же самые соображения были и у моего отца — философа по образованию, много хлебнувшего в лагере горя из-за своей гуманитарной профессии. Через несколько дней после школьного выпускного вечера, повстречав меня на улице, он спросил: «Итак, что решил семейный совет? Куда поступаешь?» Я сказал, что уже подал документы в радиотехнический институт, на что Исаич отреагировал с легкой укоризной: «Ну и характер у тебя, упрямец».

Пару лет спустя я увидел Солженицына в областной библиотеке. Это произошло вскоре после того, как было вынесено решение не присуждать автору «Одного дня...» Ленинскую премию. «Премии — дело наживное», — резюмировал Исаич. На мой вопрос, устоит ли «Новый мир», Александр Исаевич сказал, что он в библиотеку зашел

как раз для того, чтобы по периодике за 1954 год оценить обстановку, которая тогда привела к удалению А.Т. Твардовского из журнала. Когда я спросил про его собственные дела, помрачнел: «Непонятно. Роман мой «В круге первом» по-прежнему в КГБ». Он произнес «в ГБ». Последовала пауза.

Мы поговорили на близкую мне шахматную тему. В то время я увлекался шахматной композицией, и как раз в те дни в «Приокской правде» была опубликована с лестным отзывом моя задача. Александр Исаевич, осведомившись о моих делах, вдруг спросил: «Что значит “цугцванг” в шахматной задаче? — и продолжал своей обычной скороговоркой: — Мне понятно, что значит позиция цугцванга в партии, а вот как может возникнуть цугцванг в задаче, да еще в двухходовке?»

Я увлеченно стал объяснять разницу между задачами на угрозу и цугцванг. Он слушал как будто заинтересованно. Но когда я стал давать определения «правильного» и «чистого» мата, Александр Исаевич улыбнулся присущей ему иронической улыбкой, которая в данном случае означала, что усваивать азы шахматной композиции ему неинтересно.

После вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, ставшего рубежом воцарения реакции, имя Солженицына все больше предавалось хуле. Его уже в открытую (а не только на «активах») называли врагом. Простое знакомство с ним становилось опасным. И последствия от общения с писателем, которого вскоре стали именовать «литературным власовцем», могли оказаться самые неожиданные. Я же никогда не скрывал своих симпатий к опальному писателю, а одно время он хранил в нашей квартире часть своего литературного архива. Сохранилась записка, адресованная нашей семье:

«Нина Евгеньевна, Яков Давыдович, Сережа!

Сердечно Вас приветствую, благодарю за память! У нас все пока ничего, надеюсь, что и у Вас. Всего доброго!

30.9.69 Ваш А. Солженицын».

Последний раз я видел А.И. Солженицына майским вечером 1970 года. Выйдя из здания Центрального телеграфа и пройдя квартал вверх по ул. Горького (Тверской), обратил внимание на двух беседующих мужчин. Лицо одного показалось мне очень знакомым, если бы не борода. Я непроизвольно замедлил шаг. Бородач бросил на меня взгляд и окликнул:

— Сережа?!

Мы обнялись. Исаич представил меня собеседнику:

— Это мой ученик из Рязани Сережа Гродзенский. — И, обращаясь ко мне: — Сережа. Познакомься. Это — писатель Борис Можаяев.

На мой дежурный вопрос о делах ответил с безысходной грустью. Все плохо: и самочувствие, одолевают постоянные головные боли, и личные дела. На прощание Александр Исаевич обнял меня, и я увидел, что по его щекам катятся слезы. Он сказал что-то вроде «будь счастлив, дорогой». Я поплелся по Тверской. Через десяток шагов оглянулся. Исаич смотрел мне вслед. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой...

Перестройка, гласность, и вот настали времена, когда знакомство с А.И. Солженицыным уже не темное пятно биографии. Меня просят поделиться воспоминаниями. Берусь за перо, что-то появляется в печати. Одну вырезку я послал Александру Исаевичу в США, сопроводив запиской, в которой высказал надежду, что он помнит одного из своих учеников. Ответ из Вермонта пришел быстро:

«Дорогой Сережа! 30.9.90

Как же я мог бы тебя “не помнить”? — ты был не рядовой ученик. И ведь с отцом твоим ты меня познакомил, я был у вас. Спасибо за память. Воспоминания твои читаю уже не первые. В “Шахматах”, по-моему, ты прифантазировал, остальное — наверно, так.

Всего тебе доброго и кланяюсь твоей маме.

А. Солженицын».

После триумфального возвращения Солженицына на Родину я внимательно следил за его выступлениями, старался не пропустить никакой публикации о нем. Наконец решился послать одну из своих книг. Однажды, это было в феврале 2001 года, дома раздался телефонный звонок:

— Сергей Яковлевич?

— Да, я вас слушаю.

— Сереженька, это — Александр Исаевич.

Профессор, я почувствовал себя учеником, прячущим глаза в учебник. Исаич расспрашивал о разных делах и профессиональных, и семейных. Чувствовалось, что ему приятно слышать о моих результатах в науке. Я поведал, что одно из направлений, которым занимаюсь, — применение теории марковских процессов для исследования надежности систем. Так всплыло имя выдающегося математика XIX века академика А.А. Маркова.

Александр Исаевич оживился, вспомнив, что в университете на физмате изучал теорию вероятностей как раз по учебнику Маркова «Исчисление вероятностей», а я тут же упомянул, что Андрей Андреевич Марков был одним из сильнейших русских шахматистов своего времени, соратником М.И. Чигорина.

И, увлекшись, начал рассказывать о своей книге «Шахматы в жизни ученых». Исаич вздохнул: «Опять шахматы». Но я не хотел преры-

вать рассказ, поскольку в то время собирал материал для книги о репрессированных шахматистах и надеялся, что это заинтересует. Ведь одна из глав его эпопеи называется «Музы в ГУЛАГе», и я мечтал о том, чтобы мой «Лубянский гамбит» вышел с предисловием А.И. Солженицына.

Выслушав просьбу, Александр Исаевич выразил сочувствие шахматистам, которые пострадали в годы безвременья, но писать предисловие отказался: «Понимаешь, Сережа, я вообще не пишу предисловий. А если писать, то надо предварительно прочитать рукопись. Но на чтение книги про шахматы у меня нет ни сил, ни времени».

Когда «Лубянский гамбит» вышел в свет, Солженицын был уже тяжело болен, я послал ему книгу с дарственной надписью. Через некоторое время мне позвонили из его Представительства и от имени Александра Исаевича поблагодарили за книгу.

...На школьном выпускном вечере Исаич, намекая на меня, с улыбкой сказал, что пройдут годы и на нашей школе появится мемориальная доска в честь одного из выпускников 1961 года. В музей истории школы поместят классный журнал 10-го «А», предварительно подчистив оценки, недостойные гения... «Много вам придется подчищать, Александр Исаевич!» — в том же тоне откликнулся я.

Теперь на нашей школе есть мемориальная доска, напоминающая, что в этом здании когда-то работал великий писатель и гражданин.

А в моей памяти встает образ не пророка, писавшего «Как нам обустроить Россию?» и, кажется, знающего как обустроить весь мир, а 40-летнего наставника, обладавшего огромным педагогическим талантом, учиться у которого было подлинным счастьем.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования // Собр. соч.: В 9 т. М.: Терра-Книжный клуб, 1994. Т. 4. С. 11.

Алексей Шепель

С.-ПЕТЕРБУРГ

МЕМУАРЫ Г.И. ШАВЕЛЬСКОГО КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ РОМАНА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Как известно, А.И. Солженицын весьма тщательно отбирал источники для главного произведения своей жизни – эпопеи «Красное Колесо». Одним из источников романа «Август Четырнадцатого», открывающего собой эту грандиозную эпопею, стали мемуары о. Георгия Шавельского. Писатель не только воспользовался ими, но и самого их автора ввел в произведение, обрисовав подчеркнуто уважительно.

Протопресвитер военного и морского духовенства Российской империи Георгий Иванович Шавельский (1871–1951) вступил на эту должность в 1911 году. Она была высшей из числа доступных для белого духовенства, приравнивалась к сану архиепископа в духовной иерархии и к чину генерал-лейтенанта в иерархии военной, давала право входить с докладом лично к государю. С началом Первой мировой войны и вплоть до развала армии в 1917 году о. Георгий Шавельский служил в Ставке Верховного главнокомандующего, а на Всероссийском съезде военного духовенства в 1917 году был избран пожизненным протопресвитером. Последующие десятилетия эмиграции он проживал в Болгарии – работал рядовым священником, затем преподавателем духовной семинарии, наконец, профессором Богословского факультета Софийского университета. Послевоенные годы прошли для него в бездеятельности и кажущемся забвении, но негласное известие о его смерти в начале октября 1951 года разнеслось по стране молниеносно и вызвало огромное стечение верующих на его похоронах¹.

«Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота» о. Георгия являются ценным историческим источником, содержащим портреты членов императорской семьи и их окружения, многих влиятельных государственных, церковных, военных, политических деятелей предреволюционной эпохи, описание жизни двора, работы Святейшего синода, подробнейшее описание работы обеих ставок (великокняжеской и царской) в годы мировой войны. Автор

начал писать их в Софии в 1920 году. Вышли же они посмертно в Нью-Йорке в 1954 году. При работе над первыми томами эпопеи «Красное Колесо» А.И. Солженицын широко пользовался материалами, содержащимися в них. Показать, чем именно и как воспользовался писатель из «Воспоминаний...» о. Георгия Шавельского, составляет задачу статьи.

Взгляды протопресвитера и писателя имеют много точек соприкосновения. Оба рассматривали Сибирь как богатейшее и перспективнейшее место в стране, развитию которого необходимо способствовать всеми силами; они очень похоже оценивали предреволюционную ситуацию в России, в том числе роль, которую сыграли в ее истории последний русский царь и блестящий реформатор П.А. Столыпин. И мемуарист, и писатель констатировали, с одной стороны, огромный культурный и экономический рост в стране накануне Первой мировой войны, с другой стороны — религиозно-нравственный упадок общества (в малой, но наиболее подвижной его части). Оба были патриотами России и всеми силами боролись за возрождение страны.

В мемуарах о. Георгия детально прослеживается весь ход Первой мировой войны на Восточном (русском) фронте. Но нам представляется важным, что протопресвитер русской армии и писатель совпадают в своем понимании общего значения уже первой крупной наступательной операции 1914 года — Восточно-Прусской. Так, Шавельский пишет: «Постигшая наши войска, насколько кошмарная, настолько же и позорная, катастрофа в Восточной Пруссии чрезвычайно характерна не только для данного случая, но в значительной степени и для всего последующего времени войны»². Солженицын в интервью по поводу романа «Август Четырнадцатого» придерживался похожей оценки: «Самсоновская катастрофа поразительна во многих отношениях, типична, характерна, как бы репрезентативна для этой войны»³. Более того, они одинаково видят в катастрофическом исходе Восточно-Прусской операции 1914 года характерный симптом стремительно надвигавшейся на страну жесточайшей катастрофы. Этому, в сущности, и посвящен роман «Август Четырнадцатого». Несомненно, такая солидарность в понимании значения русского поражения в Восточной Пруссии и явилась одной из причин, по которым писатель в работе над своим произведением опирался на «Воспоминания...» Шавельского.

Фигура самого протопресвитера появляется в конце 80-й главы романа. Его приглашает к себе Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, чтобы разделить с ним радость в связи с полученной от Николая II телеграммы: «Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских вои-

нов! (в Восточной Пруссии. — А.Ш.) Но подчинимся Божьей воле! Претерпевый до конца спасен будет! Твой Ника»⁴. Шавельский, как и другие исторически реальные персонажи романа (в военных главах), рисуется таким, как его воспринимает главный герой романа — полковник Ставки Георгий Воротынцев (вымышленный персонаж, выражающий авторское понимание происходящего). Полковник, увидев «умное и мягкое» лицо о. Георгия, наблюдает за его реакцией на телеграмму: «Протопресвитер с наипустимым выражением принял услышанное, перекрестился на образ». Известие же о скором прибытии в Ставку иконы «Явление Божией Матери преподобному Сергию» протопресвитер принимает «достойным наклоением», добавляя: «Это — славная весть, Ваше Императорское Высочество! <...> Сия нерядовая икона написана на доске гробницы преподобного Сергия. Она третий век сопровождает наши войска в походах. Она была с царем Алексеем Михайловичем в его литовском походе. И с Петром Великим при Полтаве. И с Александром Благословенным в европейском походе. И... при Ставке Главнокомандующего в Японскую войну».

В ответ великий князь восклицает: «Какая радость! Это — знаменье милости Божьей! <...> От иконы придет нам содействие Божьей Матери!»⁵

Весь материал этой сцены почерпнут из «Воспоминаний...» Шавельского, но у мемуариста он содержится в разрозненных эпизодах, а романист объединил их.

В III главе мемуаров Шавельского («Распутинщина при дворе») протопресвитер, характеризуя Николая II, вспоминает такую подробность: «У него выработалась какая-то слепая покорность случаю, несчастью, в которых он неизменно видел волю Провидения. Он любил повторять слова Спасителя: “Претерпевший⁶ же до конца спасется” (Мф. XXIV, 13)»⁷. Момент же получения царской телеграммы великим князем о. Георгий описывает в VIII главе («Первые победы и первые поражения»): «Сам он переживал в эти дни большие страдания. Страшная неудача (разгром Второй армии. — А.Ш.) тем более волновала его, что он не знал, как отнесется к ней Государь. Но вот Государь ответил телеграммой. К сожалению, я не смогу передать буквальный текст ее, но прекрасно помню общий ее смысл: “Будь спокоен; претерпевший до конца, тот спасен будет”. Как только была получена телеграмма, великий князь тотчас позвал меня к себе». Солженицын посчитал нужным изменить в романе реакцию протопресвитера на царскую телеграмму, т. к. в «Воспоминаниях...» о. Георгий добавляет: «Я прочитал и прослезился. Телеграмма меня сильно тронула»⁸. Писатель, как нам видится, хотел придать о. Георгию,

принявшему услышанное «с наипустным» выражением, бóльшую сдержанность и скептицизм по поводу религиозно-фаталистического настроения царя и великого князя. Текст этой телеграммы — с одной стороны, и воодушевление великого князя после его прочтения — с другой, очень важны для романиста, т. к. все это вместе демонстрирует настроения императора и Верховного главнокомандующего, далеко не соответствующие должной, по мнению писателя, реакции на события со стороны высших лиц государства. Воротынецев в разговоре с полковником А. Свечиным, своим единственным другом в Ставке, высказывает эту солженицынскую мысль: «Но это — уже не военный вопрос, понимаешь? Это *чувствие* у них такое, — и его терпеть нельзя. Я потому и кинулся в операцию, что думал — судьба армии и победа решается в низах, на деле. Но когда на верхах так *чувствуют* — это уже за пределами тактики и стратегии. Претерпевый до конца! Они берутся претерпевать все и а ш и страдания — и до конца! — и даже не выезжая на рядовые позиции. Они готовы претерпеть еще три-четыре-пять таких окружений, и тогда Господь их спасет!»⁹ Солженицын уверен, что при таком стоическом отношении к нашим поражениям и таком самоутешении не было никакого смысла ввязываться в войну, ведь на войне надо действовать активно, воевать, а не терпеливо смиряться с поражениями, надеясь лишь на Божью снисходительность.

Свое авторское отношение к «радостям» участников сцены Солженицын выразил тем, что вслед за главой поместил отдельно стоящую поговорку: «Молитвой квашни не замесишь»¹⁰, которая звучит как отрезвляющая альтернативная интерпретация «радостных известий», поступивших от Николая II. Выражая так свое отношение к эпизоду с иконой, писатель соглашается с мнением протопресвитера, который выразился похоже: «Утопающий хватается за соломинку, и набожный великий князь был очень утешен в эти дни (в дни самосонской катастрофы. — А.Ш.) сообщением, что около 20-го августа Государь повелел доставить в Ставку из Троицко-Сергиевской Лавры икону Явление Божией Матери преп. Сергию, написанную на доске от гробницы преп. Сергия и с 17 в. всегда сопровождавшую в походах наши войска. Этот образ сопровождал царя Алексея Михайловича, когда он воевал с Литвой; был при Петре Великом во время Полтавской битвы, при Александре I в кампании 1813–1814 гг.; сопровождал Имп. Александра II в 1855 г. при его поездке в Николаев, был при главной квартире армии в Русско-турецкую войну 1877–78 гг.¹¹ и при Ставке Главнокомандующего в Русско-японскую войну 1904–1906 гг. Мистически настроенный великий князь в этом повелении видел особенное знамение милости Божией, обещающее успех

оружия, и с нетерпением ждал прибытия иконы»¹². Характерно, что Солженицын при передаче разговора Верховного с протопресвитером в том месте, где о. Георгий перечисляет места пребывания знаменитой иконы, ставит многоточие перед добавлением, что святыня находилась в Ставке во время Русско-японской войны. Этим многоточием писатель как бы намекает, что уповать только на чудесную помощь иконы очень легкомысленно. Как говорится в русской пословице: «На бога надейся, а сам не плошай».

Солженицын развивает мотив мистицизма и глубокой религиозности Верховного и в другом эпизоде романа, тоже опираясь на «Воспоминания...» Г.И. Шавельского. В VI главе («Ставка») о. Георгий сообщает интересную деталь: «...В центре железнодорожного городка (под Барановичами. — *А.Ш.*) стояла бригадная церковь. Верховный, да и многие другие из нас были удивлены совпадением: церковь эта оказалась посвященной имени Св. Николая (Кочана), Христа ради Юродивого, Новгородского Чудотворца, небесного покровителя великого князя (память — 27 июля). На Руси множество Николаевских храмов, но все они посвящены имени Св. Николая, Архиепископа Мирликийского Чудотворца (память — 9 мая и 6 дек.), церковь в честь Св. Николая Юродивого я встретил впервые. На мистически настроенного великого князя это обстоятельство, — что церковь в Ставке оказалась посвященной его патрону, — произвело большое впечатление»¹³.

Солженицын сохраняет все детали рассказа протопресвитера, но придает им форму несобственно-прямой речи самого великого князя: «Поразил его (Николая Николаевича. — *А.Ш.*), ободрил, обаял дивный небесный знак. Прибыв со Ставкой в Барановичи, великий князь получил внезапное предзнаменование, что его Верховное главнокомандование будет счастливо и, стало быть, Россия одержит победу. Это предзнаменование было послано ему через исключительное, почти невозможное и потому мистическое совпадение: в железнодорожном городке под Барановичами, куда еще из Петербурга определили Ставку, церковка оказалась памяти святого Николая — но не Николая Мирликийского, престолами которого уставлена вся Русь, тут бы не было ничего удивительного, а Николая Кочана, Христа ради юродивого, новгородского чудотворца, с памятью 27 июля (почти так и приехали!), в день тезоименитства Верховного Главнокомандующего, — и, стало быть, его небесного покровителя. Такой церкви в России почти не найти. Совпадение не могло быть случайным! Тут было мистическое указание!»¹⁴ Писатель здесь еще более усиливает мистицизм и потрясенность великого князя, а также его

надежды на счастливый исход военной кампании, связанные с таким невероятным совпадением.

Сюда же романист очень удачно добавляет еще одну мысль, заимствованную им у протопресвитера: «А чтобы полно и правильно сей небесный знак прочесть, очевидно не надо было великому князю и удаляться, надолго отлучаться от этого благоприятно-рокового места. Не метаться по фронтам, по дивизиям и полкам, но именно здесь находиться, где все линии перекрещиваются, и именно здесь определится им победа!»¹⁵ Ирония Солженицына очевидна, хотя писатель куда более деликатно мотивирует поведение великого князя. Толкование Шавельским этой «усидчивости» Верховного в Ставке, при всей уважительности к нему и выраженной в мемуарах личной привязанности и дружбе, все же более непримиримо: «...Великий князь до крайности оберегал свой покой и здоровье; на автомобиле он не делал более 25 верст в час, опасаясь несчастья¹⁶; он ни разу не выехал на фронт дальше ставок Главнокомандующих, боясь шальной пули <...>. У великого князя было много патриотического восторга, но ему недоставало патриотической жертвенности». Шавельский добавляет, что у великого князя была и еще одна веская причина не отлучаться из Ставки: «[М.Е.] Крупенский (заведующий двором. — А.Ш.) чистосердечно раскрыл мне карты: великий князь — оригинальный человек... Он ежедневно пишет жене и ежедневно получает от нее письма. Поездка лишила бы его на несколько дней вестей из Киева от жены. Это для него слишком большое лишение <...>»¹⁷. Солженицын в романе отметил и эту подробность: «Перед обедом садился великий князь у себя в вагоне писать ежедневное письмо жене в Киев — подробно обо всем, происшедшем сегодня: без душевного обмена с родным человеком он жить не мог, и как раз его бы он утрачивал, езжая по воинским частям; постоянным же местоположением Верховного достигалась регулярность получения писем от жены»¹⁸. Протопресвитер в «Воспоминаниях...» неоднократно укоряет великого князя в том, что тот боится выехать ближе к фронту, Солженицын опять же делает это более тактично, не слишком сильно акцентируя на этом внимание, но и такой способ подачи факта заставляет читателя задуматься.

VI глава «Воспоминаний...» («Ставка»), описывающая чинов штаба Верховного Главнокомандующего и дающая им характеристики, явилась ценнейшим источником для Солженицына, широко использовавшего в «Августе Четырнадцатого» эти оценочные характеристики Шавельского. Протопресвитер, между прочим, обращает внимание на то, что великий князь Петр Николаевич «в последние годы весь свой досуг отдавал живописи и церковному зодчеству»; светлейший

же князь генерал-адъютант Д.Б. Голицын «перед войной заведывал царской охотой»; и оба, «как отставшие от военного дела... <...> не могли быть советниками в военных вопросах»¹⁹. Мемуарист мимоходом обращает внимание на то, что генерал для поручений Б.М. Петрово-Соловово — «предводитель дворянства Рязанской губ., честный, добрый и прямой»; один из адъютантов, граф Г.Г. Менгден, «завел большую голубятню и ежедневно почти под окнами вагона великого князя “муштровал” своих голубей», он же «ежедневно с большим успехом дрессировал барсука и лисицу». По наблюдениям о. Георгия, начальник штаба Верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевич «сознавал свое несоответствие посту, на который его ставили, пытался отказаться от назначения, но по настойчивому требованию свыше принял назначение со страхом и проходил новую службу с трепетом и немалыми страданиями». Затем дополняет эту характеристику: «Как совершенно неподготовленный к стратегической работе, составлявшей главную сторону, так сказать, душу обязанностей начальника штаба Верховного Главнокомандующего, он отстранился от нее, передав ее всецело в руки “мастера” этого дела, генерала [Ю.Н.] Данилова (генерал-квартирмейстера. — А.Ш.), который, таким образом, фактически оказался полным распорядителем судеб великой русской армии». Сам же Ю. Данилов представлялся о. Георгию «тяжкодумом, без “орлиного” полета мысли, в известном отношении — узким, иногда наивным», к тому же Шавельский отмечает, что у этого генерала наблюдалось «большое упрямство, бóльшая, чем нужно, уверенность в себе <...>. Данилов иногда не сразу улавливал мысль, топтался на месте, ища решения, иногда мыслил и решал однобоко». Но все же при всей бедности талантами генерал-квартирмейстерской части Ставки «безусловно выделялись большими дарованиями полковники Свечин и Юзефович». Отец Георгий упоминает «доброе и способное, но ленивое и малодетальное» начальника военных сообщений С.А. Ронжина, который очень старательно пополнял в Ставке свою коллекцию этикеток от сигар: «Тут в его коллекции образовался новый отдел “великокняжеских”, так как великий князь Николай Николаевич, узнав об этом занятии генерала Ронжина, бережно сохранял и затем передавал Ронжину все этикетки от выкуриваемых им сигар».

Некоторые из вышеперечисленных деталей, упомянутых протопресвитером в мемуарах, весьма пригодились Солженицыну при создании картины совещания в Ставке (82-я глава «Августа Четырнадцатого»). Перечисляя состав совещающихся, писатель упоминает великого князя Петра Николаевича, в скобках замечая, что «войной он нисколько не занят, а — церковным зодчеством уже несколько лет»²⁰. От Петра Николаевича Солженицын переходит к следующим

лицам: «Дальше — светлейший князь генерал-адъютант Дмитрий Голицын (последние годы заведовавший царской охотой). Дальше — генерал для поручений Петрово-Соловово (милейший предводитель рязанского дворянства)». На совещании Ставки выступал генерал-квартирмейстер Данилов: «...нельзя же было не выступить главному, как все тут понимали, стратегу русской армии». Доверяя мнению о. Георгия, писатель продолжает: «А при его положении надо было и не просто выступить, а выказать глубокую мысль, дать понять, что череда заботных дум не устает проплывать за его лбом (а лоб-то был туп! А череда тягучая! А мысли дохлые!), — и именно поэтому с трегубой самоуверенностью малоподвижных умов стал говорить генерал-квартирмейстер особо непререкаемо. <...> А еще важнее сказанного была та важность, тупеющая сама от себя, с которой генерал-квартирмейстер замолчал». Последний пассаж свидетельствует, что романист, не жалея сарказма, не только не признает авторитета генерал-квартирмейстера, но видит в этой фигуре одного из главных виновников непродуманности нашей стратегии на начальном этапе Первой мировой войны. Очередь выступать на совещании тем временем доходит до начальника штаба. Солженицын упоминает, что «Янушкевич со сжатием сердца, как Красная Шапочка в темном лесу, чувствовал себя в стратегии, в оперативном искусстве», а в Ставке «с первого же дня оказался Янушкевич в плену у Данилова, который один тут что-то ведал и знал». Хорошо дополняет описание положения начальника штаба в Ставке следующее замечание писателя: «Но сколько мук ежеутренних, что не миновать вести стратегические разговоры и строить понимающий вид. Но какое усилие вот сейчас — подняться и держаться важно, чтоб никто не заметил, как ты сам боишься поскользнуться, как тоскливо и все непонятно тебе самому!»

На примере обрисовки последних двух генералов и их оценок писателем видно, как тонко Солженицын прорабатывает портреты своих персонажей на основании деталей, почерпнутых из «Воспоминаний...» о. Георгия. Как нам кажется, романист смог более точно оценить образы двух последних «героев» Ставки, ведь в отличие от мемуариста он не был с ними близко знаком и дружен и поэтому не мог чувствовать неловкости от столь саркастического обличения этих прямых виновников самсоновской катастрофы.

Г.Г. Менгден и С.А. Ронжин задействованы у Солженицына в 80-й главе романа. Чтобы показать, что жизнь Ставки продолжала течь размеренно даже после первых, еще не подтвержденных командованием фронта вестей о разгроме Второй армии, писатель замечает, что «граф Менгден между вагоном великого князя и домом генерал-квартирмейстера все так же пронзительно свистел, призывая, посылая го-

лубей, и дрессировал своего барсука». Портрет следующего персонажа дается у Солженицына глазами великого князя, выходящего из своего вагона: «Тут [он] увидел начальника военных сообщений, медлительного добряка, собирателя этикеток от сигар. Вспомнил, что у него есть этикетки нового сорта, вернулся за этикетками»²¹. Последние два примера демонстрируют, как скрупулезно Солженицын использует источник, не оставляя в стороне даже самые незначительные детали.

Полковника А.А. Свечина²², которого о. Георгий считал талантливым, Солженицын сделал одним из героев романа, другом полковника Воротынцева, который и приходит к Свечину за поддержкой и советом перед судьбоносным и опаснейшим для его личной карьеры докладом в Ставке.

По нашему мнению, проведенное сопоставление одного из источников романа с его текстом убедительно показывает, насколько тщательно романист вникал в позицию каждого автора и как умело пользовался различного рода деталями, превращая их в выпуклые и отчетливо-оценочные художественные характеристики персонажей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Краткие биографические сведения об о. Георгии Шавельском содержатся в предисловии «От издательства» при первой публикации его «Воспоминаний...» (Нью-Йорк, 1954). Репринтное воспроизведение этого издания (с переводом на нормы современной орфографии) см.: *Шавельский Г., протопресв.* Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота: В 2 т. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1996. (Материалы по истории Церкви. Кн. 11). В настоящей статье используется только первый том этого издания (ссылки приводятся сокращенно: до точки указывается — «Шавельский», после точки — страницы первого тома вышеназванного издания); второй том нами не используется, т. к. события, отраженные в нем, относятся к более позднему времени.

² *Шавельский*. С. 150.

³ *Солженицын А.* Интервью с Даниэлем Рондо для газеты «Либерасьон». (Вермонт, 1 ноября 1983) // Вестник РХД. Париж; Нью-Йорк; М., 1984. № 142. С. 155.

⁴ Он же. Август Четырнадцатого // Собр. соч.: В 30 т. М., 2007. Т. 8. С. 459.

⁵ Там же. С. 460.

⁶ Г. Шавельский употребляет слово «претерпевший», А. Солженицын — «претерпевый».

⁷ *Шавельский*. С. 58.

⁸ Там же. С. 145.

⁹ *Солженицын А.* Август Четырнадцатого. С. 464.

¹⁰ Там же. В цитированном выше интервью Солженицын объяснил значение, которое он придает в эпосе отдельно стоящим между главами пословицам, их «обычно так можно понять: какой-то дед как бы слушает мой рассказ и вдруг дает реплику.

Он предыдущую главу как-то комментирует, под каким-то новым углом, что дает еще новый объем восприятия» (Вестник РХД. 1984. № 142. С. 163).

¹¹ В оригинале опечатка: 1877–1876.

¹² *Шавельский*. С. 146.

¹³ Там же. С. 121–122.

¹⁴ *Солженицын А. Август Четырнадцатого*. С. 451.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Эту деталь Солженицын тоже ввел в роман, но чуть позже, указав, что после полуденного отдыха великий князь «катался на автомобиле (не быстрее двадцати пяти верст в час, опасаясь несчастного случая)» (*Солженицын А. Август Четырнадцатого*. С. 452).

¹⁷ *Шавельский*. С. 138, 233.

¹⁸ *Солженицын А. Август Четырнадцатого*. С. 452.

¹⁹ Здесь и далее до конца абзаца: *Шавельский*. С. 111–118.

²⁰ Здесь и далее по всему абзацу: *Солженицын А. Август Четырнадцатого*. С. 468–472.

²¹ Там же. С. 454, 455.

²² Уважительное отношение А. Солженицына к А. Свечину прямо формулируется им в письме к директору издательства «Русский путь» от 11 октября 1998 года: «Нечего и говорить о моих собственных теплых и почтительных чувствах к покойному генералу А.А. Свечину. <...> Эта книга — из важнейших, какие сегодня можно издать» (Постижение военного искусства: Идейное наследие А. Свечина. М., 1999. С. 690 (Российский военный сборник. Вып. 15)).

Мунира Уразова

МОСКВА

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Александр Исаевич Солженицын, еще будучи в Вермонте, учредил свое Литературное представительство в Москве весной 1992 года. 15 марта газета «Труд» опубликовала его обращение «К читателям и издателям», в котором говорилось: «...с большим опозданием узнал я... о постыдном беспорядке вокруг моих книг на родине... <...>

Теперь я образовал новое литературное представительство, которое отныне будет ведать всеми вопросами, связанными с изданием моих книг и других публикаций на территории России и всех бывших республик СССР»¹.

Ниже приводился адрес: Дом Марины Цветаевой, ул. Писемского, д. 6.

В том же номере газеты было помещено большое интервью Н.Д. Солженицыной «“Архипелаг ГУЛАГ” помогает выжить. Правда о Фонде Солженицына».

Образованию Литературного представительства предшествовал приезд из США историка и издателя Александра Серебrenникова, который по поручению А.И. разбирался в весьма запутанных издательских делах. Издательско-посредническая структура без ведома писателя распоряжалась его произведениями по своему усмотрению; этот произвол наносил ущерб как самим изданиям, так и добросовестным издателям, а в конечном счете и читателям. (Впоследствии А.И. уделил тяжелому разочарованию этого момента несколько страниц в своих «Очерках изгнания»².) В результате А.И. решил заново начать работу с издательствами в России, попросил принять в ней участие Е.Ц. Чуковскую и М.Т. Работягу, а мне предложил помогать им в качестве постоянного сотрудника – секретаря Представительства. Н.Г. Левитская, давний помощник А.И., продолжала сбор библиографических данных и обработку приходивших в его адрес писем. Встал вопрос о помещении. Предложение, которое первоначально исходило от одного из учреждений культуры, поставило нас в тупик, поскольку приравнивало солженицынское Представительство к зару-

бежной коммерческой фирме и предусматривало соответствующую арендную плату. О «бесприютности» Представительства случайно узнала директор Дома Марины Цветаевой Эсфирь Семеновна Красовская — из разговора с Е.Ц. Чуковской на тему дефицитных в ту далекую пору продуктов. Она тут же предложила занять комнату с телефоном в музее совершенно бесплатно. Это дружеское предложение было принято с радостью и благодарностью. Елену Цезаревну, Эсфирь Семеновну и меня связывало давнее знакомство и общие заботы в 1980-е годы: борьба за музей на даче К.И. Чуковского в Переделкине и за московский дом, в котором с 1914-го по 1922 год жила М.И. Цветаева. Да и солженицынская тема не была для музея новой: именно под маркой Дома Марины Цветаевой вышла в свет первая в России библиография А.И. Солженицына³.

Так в марте 1992-го Представительство обрело свой временный кров. Надо отметить, что приглашение музея было жестом великодушным, так как сам он находился в процессе становления и нуждался в помещениях, однако и Э.С. Красовская, и Н.И. Катаева-Лыткина — она спасала в трудные годы дом и была организатором музея — сделали все для нашей успешной работы.

В сентябре того же года состоялось торжественное открытие Дома-музея Марины Цветаевой. Той же осенью музей помог и дому в Переделкине во время его ремонта, приняв на временное хранение библиотеку Корнея Ивановича и часть мебели.

В этом гостеприимном доме Представительство находилось полтора года. Был назначен присутственный день — вторник, оставшийся и по сию пору. С Вермонтом осуществлялась постоянная телефонная и факсовая связь; по почте и с okazиями отсылались выходившие книги и журналы с публикациями, многочисленные письма и обращения, адресованные А.И. В Представительство часто приходили посетители, в том числе давние друзья Солженицыных; особо запомнилось знакомство с Натальей Константиновной Тэнно и Александром Ильичом Гинзбургом. В дальнейшем мне довелось общаться со многими замечательными людьми — и давними помощниками А.И., и простыми читателями, и знаменитыми поклонниками творчества и личности писателя.

В Доме Марины Цветаевой продолжилась в новых условиях и работа Русского Общественного Фонда помощи преследуемым и их семьям (впоследствии переименован в Русский Общественный Фонд Александра Солженицына). А.И. основал Фонд в 1974 году, сразу после высылки из СССР, и передал ему авторские права и гонорары за издание книги «Архипелаг ГУЛАГ» на разных языках. До перестройки помощь семьям политзаключенных передавалась с большими

трудностями, фактически подпольно. Власти препятствовали работе Фонда, преследовали его распорядителей: и Александр Гинзбург, и Сергей Ходорович были арестованы и осуждены. В начале 1990-х годов, в пору тотального дефицита по линии Фонда из США в разные города страны уже открыто присылались вещевые, продуктовые и лекарственные посылки. И в Москву, в музей поступали десятки объемных коробок, и здесь вещи распределялись нуждающимся. Эту работу вели Елена Санникова и Елена Дорман. Появилась Любовь Тимофеевна Мельникова – опытный бухгалтер и добрейшей души человек; она до сих пор работает в Фонде.

Летом 1992 года, во время первого приезда в Москву Наталии Дмитриевны Фонд был официально зарегистрирован. Но снова возникла проблема помещения, которая казалась неразрешимой. Одновременно московские власти предлагали вернуть Солженицыным квартиру в Козицком переулке (формальный адрес – ул. Тверская, дом 12), в которой прежде жила семья писателя и где он был арестован 12 февраля 1974 года. Семья решила отказаться в пользу Фонда, и Правительство Москвы передало эту квартиру Фонду в хозяйственное ведение. Процесс передачи, ремонта и обустройства квартиры занял больше года. Он проходил под руководством Валерия Николаевича Курдюмова и потребовал много времени и сил. Наконец в ноябре – декабре 1993 года Фонд и Представительство вселились в новое помещение.

В конце мая 1994 года А.И. Солженицын вернулся в Россию, прилетев во Владивосток. Около двух месяцев длилось его путешествие в поезде по стране, закончившееся приездом в Москву 21 июля. А 25 июля Александр Исаевич впервые после двадцати с лишним лет изгнания вошел в квартиру, с которой так много в его жизни было связано. Первый его приезд был торжественным – вместе с Наталией Дмитриевной его сопровождали Екатерина Фердинандовна, сыновья Ермолай и Игнат, а также съемочная группа Би-би-си. В дальнейшем А.И. много раз приезжал сюда. Здесь он назначал встречи, здесь проходили съемки телепередач, с 1997 года периодически заседает жюри учрежденной им Литературной премии. В этой квартире А.И. встречался с самыми разными людьми: своими друзьями, «невидимками», бывшими зэками и однополчанами, известными в ту пору политиками и журналистами, рабочими и фермерами, школьниками и писателями. Однажды, вскоре после возвращения, еще живя в городе, А.И. один приехал на троллейбусе. Это не осталось незамеченным вездесущими репортерами, и в газете появилась фотография едущего в троллейбусе Нобелевского лауреата с портфелем на коленях.

С возвратом А.И. функции Литературного представительства изменились, так как все издательские дела взяла на себя Наталия Дмитриевна. Я осталась как постоянный секретарь Представительства и помощник А.И. в его связях с читателями и общественностью. С самого начала работы А.И. установил распорядок, который сохранялся годами. Вторник — день передачи материалов (книг, газет, журналов, писем, рукописей и т. д.); в другие дни около пяти часов он звонил по телефону, чтобы узнать новости за день и дать поручения. Когда время от времени телефон в Троице-Лыкове выходил из строя (мобильные еще не были распространены), нарушение распорядка его огорчало; в этих случаях он писал длинные записки с поручениями, которые начинались так:

«...Вы уже знаете: телефон отказал, поэтому я сегодня не звонил. Посылаю...»⁴;

«...Без телефона ничего о Вас не знаю и посоветовать не могу. И боюсь, что еще неделю-полторы продлится так»;

«Какие набрались важные, значимые новости, помимо присылаемых Вами писем — напишите мне. Это вместо телефона...».

Однажды мне не удалось открыть входную дверь в помещение — пришлось чинить замок, и А.И. написал:

«...Очень я был огорчен сегодняшним неоткрытом... (А м. б., на самый из трех капризный замок вообще не запирать?) <...>

Если завтра проникнете внутрь — днем позвоню».

Как человеку организованному и пунктуальному, такие сбои были досадны А.И.; ему приходилось писать длинные записки со многими пунктами поручений. Но именно благодаря этим «техническим причинам» у меня сохранились обширные послания А.И.; обычно его записки были краткими.

Поручения А.И. охватывали несколько направлений. Это прием почты — писем, рукописей, книг, периодики — и телефонных звонков, поступавших на Козицкий; прием посетителей; отправка его писем, книг, денег в разные адреса; ответы на часть писем и телефонных звонков. Некоторые поручения были связаны с литературной работой А.И.

Письма, адресованные писателю, поступали во множестве; помимо Тверской, 12 их присылали непосредственно в Троице-Лыково, в редакцию «Нового мира»; после телевизионных передач письма текли в телекомпанию «Останкино»; иногда их пересылали из Союза писателей. Порой на конвертах были причудливые адреса: «Москва, Кремль, Солженицыну» или «Москва, Госдума, Солженицыну». Такие письма доставляли нам, и здесь хотелось бы сказать доброе слово о замечательном почтальоне — Валентине Алексеевне Сидоровой. Ис-

ключительно ответственная и доброжелательная, почти сорок лет она работает на одном и том же участке в центре Москвы. В течение многих лет благодаря ей наша обширная почта поступала бесперебойно.

А.И. разделял получаемые письма по темам – их были десятки, каждая имела свой номер и папку. Передав перечень номеров, А.И. просил ставить на письме в верхнем правом углу соответствующий номер. Вот, например, некоторые темы: отзывы на «Архипелаг...»; родственники, дети репрессированных; отзывы на «Красное Колесо»; эмиграция первой волны; казачество; непризнанные авторы; просьбы о помощи; молодежь; хорошие люди из провинции; читатели; проекты преобразования России; спасатели мира; нынешние энергичные бизнесмены; облученные; твердолобые коммунисты; резко враждебные письма (их, кстати, было немного) и т. д., и т. д. Эти десятки тем и подтем отражали весь спектр поступавших писем, запросов, просьб и обращений. Надо отметить, что в 90-е годы процент просто читательских писем был невелик. Люди писали в основном о своих и государственных проблемах, присылали жалобы и переписку с инстанциями, просили помощи и заступничества, жаловались на отсутствие книг и просили их прислать; присылали и приносили рукописи с просьбами их опубликовать.

А.И. выделял письма, авторы которых имели чьи-либо воспоминания или писали сами. Еще летом 1992-го в «Известиях» было опубликовано его «Обращение к российским эмигрантам» от 1977 года⁵, и тогда же многие хотели передать во Всероссийскую Мемуарную Библиотеку (ВМБ) свои материалы. Однако в маленьком помещении Цветаевского дома невозможно было хранить рукописи, и мы отложили их прием до переезда в постоянное помещение. А.И. с вниманием относился к письмам о мемуарах, часто отвечал сам или поручал ответить. Из его записок:

«Надеюсь, у Вас есть запас “Обращений” о ВМБ. Вложите одно в этот конверт – и отправьте»;

«Оба письма о ВМБ отправьте, вложив Воззвание. Сами их письма положите в “ожидание ВМБ”, а когда придут мемуары – пометьте на моих копиях, что именно пришло, и вернете мне. (Будем такой порядок в иных случаях выдерживать)»;

«Возвращаю Вам Р-386. И – письмо автору, киньте»;

«Ответьте ему: “А.И. благодарит за присылку воспоминаний Вашего отца. Мы берем их на вечное хранение во Всер. Мемуар. Биб-ку”».

Мемуары регистрировались под буквой «Р» (Россия) и передавались в архив Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» М.А. Котенко и Т.В. Есиной. Из семи присланных лагерных воспоминаний А.И.

составил сборник «Поживши в ГУЛАГе», который вышел в серии «Всероссийская Мемуарная Библиотека»⁶. В последние годы к присланным мемуарам присоединялись письма подопечных Фонда с описанием их судеб. К настоящему времени под «Р» зарегистрировано около 800 рукописей.

В середине 90-х годов в издании произведений А.И. Солженицына наступил временный «провал»; особенно много писем приходило из провинции с просьбами прислать книги. То и дело А.И. писал:

«Отправьте бумажный Архипелаг: <адрес>»;

«Пошлите этого Теленка бандеролью...»;

«Посоветуемся с Вами по телефону, что бы этому бедняге послать»;

«Пошлите N эту книженку...».

А.И. огорчало то, что его книги, выпущенные в Москве, практически не доходили до провинции. Библиотеки переживали большие трудности с комплектованием. В 1997 году А.И. подарил Собрание сочинений («вермонтское») библиотекам трех городов — Ростова-на-Дону, Рязани и Воронежа. А в 1998 году написал:

«Эти 12 писем пошлите обычными письмами. <...> И — для Вас, на сохранение экземпляр моего письма в библиотеки».

В его письме, которое начиналось с обращения «Дорогие друзья и коллеги!», А.И. предлагал библиотекам принять от него в дар комплект «Красного Колеса» и трехтомник публицистики. Письма были отправлены в Смоленск, Орел, Волгоград, Благовещенск, Омск, Мурманск, Пермь, Вятку (так написал сам А.И.), Тулу, Тамбов, Хабаровск и Астрахань. Затем к этим городам прибавились и другие. А.И. живо интересовался откликами на его письма, в одной из записок заметил: «Помните всегда о нашем долге перед библиотеками: чтобы весь служебный день дверь не была бы заперта. Вдруг приедут внезапно». По согласованию с А.И. я добавила к его книгам несколько книг, выпущенных в сериях «Всероссийская Мемуарная Библиотека» и «Исследования новейшей русской истории». Затем в течение нескольких месяцев за книгами приезжали благодарные представители библиотек — всего из тридцати шести городов разных регионов страны.

После выхода книги «Россия в обвале» к А.И. обращались журналисты и мэры небольших городов с просьбой разрешить напечатать в газетах фрагменты книги. А.И. поручил в ответ на такие запросы посылать книгу и сопровождать текстом: «А.И. ...посылает книгу, решает печатать ее местными средствами, в местной газете — любые главы, но каждую взятую — целиком». Если звонили по телефону, решение давалось устно. Точность публикации главы, без сокраще-

ний и искажений текста, была его единственным условием. Главы из «России в обвале», иногда все, были напечатаны в газетах Перми, Омска, Георгиевска, Козельска и других городов.

Упомяну о двух обращениях к А.И., которые, по-моему, живо затронули его. С.Н. Пушкарев из Симферополя сообщил о намерении издать сборник материалов о Елене Александровне и Николае Ивановиче Зубовых — их переписку, биографии, недавно найденные материалы. Он попросил разрешения А.И. напечатать посвященную Зубову главу из книги «Бодался теленок с дубом» и главы о Кадминих из «Ракового корпуса». А.И. откликнулся с интересом; спустя много лет у него появилась возможность прочесть письма дорогих ему людей. В письме к жене от 19 июня 1953 года из Кок-Терека Н.И. Зубов пишет: «У меня завелся новый приятель, ссыльный, преподаватель математики, очень молодежавый, хотя ему, верно, около тридцати лет. Зовут его Саня, из Ростова н/Д, терской казак, род. в Кисловодске. Ун-т кончил в Ростове... <...> Культурный, несомненно, человек, с интересом к литературе и истории»⁷. Сборник «Отношения сердец» вышел в Симферополе двумя изданиями при поддержке Русского Общественного Фонда.

Еще одно обращение, вернувшее А.И. к годам его молодости, было от С.С. Виленского — издателя и председателя общества «Возвращение». Он попросил разрешения опубликовать лагерные стихи А.И. в антологии «Поэзия узников ГУЛАГа». А.И. сам составил подборку нужного объема и приложил краткую биографическую справку⁸. Ранее «Один день Ивана Денисовича» был напечатан в хрестоматии для старшекласников «Есть всюду свет. Человек в тоталитарном обществе» — книга вышла в издательстве «Возвращение»⁹ и широко распространялась по школам.

В первой же деловой беседе А.И. предупредил, что если кто-то захочет получить автограф на книге, пусть принесет ее и укажет имя, отчество и фамилию. Приезжая в Козицкий, он выбирал время и подписывал стопки книг. Просил предупреждать, что не подписывает фотографий и не ставит автограф на листках — об этом просили зарубежные собиратели. Множество книг с автографами было разослано в разные города и страны. Много «Архипелагов...» было подписано бывшим зэкам и не только им. Конечно, в первую очередь новые книги и журналы с публикациями А.И. подписывал и передавал или просил послать своим «невидимкам», помощникам, старым друзьям. В этих случаях он присылал списки, по которым надо было развезти, разослать новые книги или передать тем, кто сам зайдет в Фонд. Книжки посылались в Ростов — сокурснику Эмилю Александровичу Мазину; в Рязань — давней помощнице Наталье Евгеньевне Радугиной; од-

нополчанам: в Ярославль — Виктору Васильевичу Овсянникову, герою «Желябугских выселок», в белорусский Светлогорск — Андрею Андреевичу Кончицу, москвичи Олег Николаевич Гусев, 18-летний боец из «односutoчной повести» «Аддиг Швенкиттен», и «одношарашечник» Виталий Федорович Деуль заходили сами.

Особо отмечал А.И. читателей, приносивших на подпись тома «Красного Колеса». Считая, что «Красное Колесо» остается непрочитанным, он очень ценил отклики внимательных читателей эпопеи, отвечал им, передавал для отсылки другие книги. Одно из таких писем он вернул мне с запиской: «Прилагаемое письмо из Симферополя попробуйте терпеливо, медленно разобрать (привыкая к его буквам) и перепечатайте (к след. вторнику)». Автору обширного отклика на «Красное Колесо» доктору медицинских наук из Симферополя А.И. ответил и послал в подарок трехтомник публицистики.

В течение многих лет к А.И. обращались с надеждой люди, чьим родным был поставлен роковой диагноз. Прочитав «Раковый корпус», они спрашивали, действительно ли писателю помог «иссыккульский корень» и как он им лечился. В ответ на одно из таких писем А.И. написал, что считает роль «иссык-кульского корня» значительной для своего выздоровления и описал «рецепт», по которому изготовил средство из порошка, полученного от старика Кременцова. Сообщал, что остатки порошка с тех пор раздал. Как дополнение приложил к письму «рецепт» употребления чаги. Копию этого письма с припиской от руки, что оно написано в ответ на аналогичный запрос, А.И. передал мне для рассылки. Таких писем было отправлено немало.

К А.И. писали родственники и знакомые тех, кого он упоминал в своих произведениях. Так, в 2004 году написал внучатый племянник Кременцова. А.И. передал на отправку ответное письмо, где подтверждал свое знакомство с «чудесным стариком» и назвал его своим спасителем. А раньше, в 1995 году, откликнулся на просьбу поделиться воспоминаниями о докторе, исследовавшем действие березового гриба чаги. А.И. написал письмо в Александров Владимирской области, в Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых — там проводилась выставка, посвященная земскому врачу С.Н. Масленникову. Из этого письма: «...он терпеливо и исчерпывающе дал мне все пояснения, а к тому же сообщил адреса трех “заготовителей”, живущих в Александрове... И так я стал получать чагу и лечился ею больше года... С тех пор и сам я, даже из Вермонта, посылаю на людские запросы — рецепт применения чаги — уже по своей памяти и пользуясь теперь легкой техникой ксерокопии»¹⁰.

Значительную часть почты Фонда и Представительства составляли книги, приходившие на имя А.И., — часто с дарственными надписями авторов. Это книги памяти и расстрельные списки; воспоминания, романы, повести и стихи; исследования в разных областях знания и сборники научных трудов; публицистические труды; после объявления об учреждении Литературной премии стали приходиться книги «на конкурс». Книги на лагерную тему А.И. передавал в библиотеку Фонда, и к настоящему времени эта тематическая библиотека содержит книги памяти из многих регионов страны и республик бывшего СССР, труды по истории ГУЛАГа, мемуарную литературу. (Полнению этой библиотеки до сих пор содействует А.Я. Разумов, возглавляющий центр «Возвращенные имена» в Петербурге.) С некоторыми из авторов книг А.И. вступал в переписку — например, по волновавшей его теме местного самоуправления. Иногда просил от его имени позвонить и поблагодарить за присланные книги, иногда, по мере возможности, откликался сам. Так, он написал В.В. Синюкову, подарившему свою книгу «А.В. Колчак как исследователь Арктики»: «Радуюсь Вашей книге о Колчаке»¹¹.

Конечно, А.И. получал от авторов, писавших в разных жанрах — от романов в стихах до трактатов о спасении человечества, — многочисленные просьбы опубликовать, написать предисловие или рецензию и даже отредактировать их рукописи. А.И. по мере возможности знакомился с этими просьбами. Вот как он просил отвечать: «Напишите ему: А.И. сверх сил завален письмами, просьбами, обществ. проектами — на 5 лет вперед! Он не может взять на себя рецензирования Вашей рукописи, не присылайте ее!»

Иные авторы хотели сделать самого А.И. героем своих произведений. Вот записка: «Этот пакет — NN, тому $\frac{1}{2}$ сумасшедшему, который хочет “вставить” меня в свое произведение».

Некоторые требовали вернуть их рукописи. А.И. пишет: «Я готов был ему вернуть, перевернул все — *нету*. Гляньте, нет ли у Вас...»

В отношении телефонных звонков А.И. установил такой порядок: записывал сам или просил прислать ему с другими материалами номера телефонов звонивших и их вопросы. Кому-то передавал ответы через меня, многим звонил сам, и это было неожиданно и радостно для тех, кто не ожидал звонка от него лично.

После возвращения А.И. в Москву к нему стали поступать многочисленные просьбы и приглашения войти в состав или возглавить всевозможные комитеты, комиссии, фонды, попечительские советы и т. д. А.И. неизменно отказывался, даже если вполне сочувствовал устремлениям организаторов. Просил объяснять так: активно работать

не может по занятости, а просто дать свое имя считает для себя невозможным. Исключение сделал, дав согласие войти в Попечительский совет строительства храма в Георгиевске на Ставрополье — там покоятся его родители.

Так же многочисленны были приглашения принять участие в работе форумов, конгрессов, съездов, конференций и т. д. В большинстве случаев просил отвечать: А.И. благодарит за приглашение, но по занятости не может его принять. На зарубежные приглашения его ответ был прост: за границу не выезжает. Почти всегда организаторы мероприятий просили, чтобы А.И. направил в их адрес приветствие. Но А.И. объяснил, почему не делает этого: если на все мероприятия посылать приветствия, то неизбежно обесценивается их значение и смысл.

Многие организации изъявляли желание вручить А.И. свои награды. Вот его ответ на одно из предложений: «Премия N? Позвоните (объясните, что я сам без телефона сейчас), очень от меня поблагодарите. Но скажите, что я премий *вообще* не принимаю, уже от нескольких отказался, начиная с Государственной»¹².

Нередко разные инициативные группы просили А.И. подписать какое-либо коллективное письмо или обращение. А.И. предупредил и просил сразу отвечать, что никогда не подписывает коллективных писем. Иные просители тут же предлагали, чтобы А.И. лично обратился по их вопросу, и даже доставали заготовленное заранее письмо, где надо было только поставить подпись. Приходилось объяснять, что А.И. не министр и не пользуется услугами референтов, а ставит свою подпись только под тем, что написал сам — и написал не формально, а зная цену каждому слову.

Известно, что А.И. крайне редко обращался к властям разных уровней. Одно из таких обращений — к главе администрации Новокубанска о поддержке церковной общины, организовавшей храм в доме его деда. Он подробно инструктировал, как следует отослать его письмо, какой указать обратный адрес, как связаться с местной прессой. Все это показывало, как близко к сердцу он принял судьбу дома своего деда и как хотелось ему, чтобы этот дом использовался именно так.хлопоты общины и поддержка А.И. увенчались успехом: власти Краснодарского края довольно быстро решили этот вопрос.

Время от времени в Фонд звонили художники, скульпторы и фотографы, просившие А.И. им позировать. Это всегда встречало решительный отказ. А.И. говорил, что, находясь в общественном месте или выступая где-либо, ничего не имеет против фотографов — это их работа. Но специальное позирование никак не вписывается в его

жизнь. Как-то я попросила разрешения сделать несколько снимков в Фонде — да-да, пожалуйста. Но когда все рассаживались за стол для чаепития и я навела аппарат, чтобы снять А.И. вместе с Еленой Цезаревной и Надеждой Григорьевной, А.И. сделал замечание: не надо снимать за обеденным столом. Но я уже успела нажать на спуск, и оставалось только извиниться. Как память об этом эпизоде сохранилась фотография А.И. с протестующе поднятой рукой рядом с его «невидимками».

Несколько меньшее количество поручений А.И. было связано с его литературным трудом. Они носили в основном организационно-технический характер: принести-отнести верстки, иногда вычитать их, получить в издательствах нужные документы, набрать тексты встреч или выступлений, перепечатать что-либо, взять книги в библиотеке. А.И. пользовался абонементом Государственной библиотеки и всегда аккуратно выдерживал сроки сдачи книг: «Срок Леонова в Румянцевской — 5 мая, но будут сплошные праздники, сдайте-ка на этой неделе»; «Закажите в Ленинке такие книги... Рассчитайте, когда им звонить, — так, чтобы получить книги *после* 15 ноября (откуда потечет месячный срок)». Затем А.И. стал пользоваться библиотекой редакции «Нового мира» — это было ему удобно, так как не требовалось строго выдерживать сроки пользования книгами. С «Новым миром» у него сохранялись традиционно тесные связи; на страницах этого журнала появлялись его новые рассказы, крохотки, очерки из «Литературной коллекции». Вот некоторые из его поручений: «Считывайте Замятина по нашему экземпляру. Но учтите, что 2–3 года (даты) появления произведений я согласился с Ириной Бенционовной <Роднянской> исправить, пусть будут, как у них»; «Сделайте копию “Петербурга” и оставьте у себя — для будущего считывания».

Отмечу, что А.И. сам печатал на машинке письма, а на конвертах — адреса. Иногда писал и от руки. Он не пользовался компьютером, а на предложения провести Интернет-интервью неизменно отвечал отказом, каждый раз говоря: «Я умру без Интернета». В конце 90-х годов, когда компьютеры полностью вытеснили печатные машинки, стала проблемой покупка лент. Вот записка: «Не знаете ли, где там в центре можно купить 1–2 катушки машинописной ленты, шириной 13 мм? Купите, если найдете. Моя стала бледная». А следующая записка была напечатана: «ПОСЫЛАЮ ВАМ ОБРАЗЕЦ ЛЕНТЫ НОВОЙ, КАК ОНА ПЕЧАТАЕТ. ПОЧЕМУ ОДНИМИ БОЛЬШИМИ? А МАЛЫМИ ВОТ КАК, — и дальше та же фраза строчными буквами, почти не читаемая. — НО ПОКУПАТЬ НОВУЮ БЕСПОЛЕЗНО: ИЛИ БУДЕТ

ТАКАЯ ЖЕ ГРЯЗНАЯ, ИЛИ БЛЕКЛО СЕРАЯ. НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ХУЖЕ?»

Свои задания по набору текстов А.И. сопровождал подробным объяснением, как располагать текст, на что обратить внимание, к какому сроку выполнить. Как правило, он говорил или писал: «это не срочно», «не торопитесь». Для него была важна точность и аккуратность выполнения поручения, а время он рассчитывал так, чтобы оно выполнялось без спешки. Если просил что-то сделать не откладывая, то обязательно справлялся, выполнено ли это.

К отправке писем и книг А.И. также был очень внимателен, указывал, как послать — простым, заказным или авиапочтой. Вот записка: «“Ветеранские” письма — вот так и посылаются, без марки». Просит послать книгу и замечает: «а книга войдет в а/ящ² если нет? — пошлите ей еще предупредительную открытку» или «это — нынешний экз. Дойдет ли?..». Конверты просил покупать без рисунков, как и почтовые открытки. Короткие письма писал или печатал на половине листа и меня призывал к тому же. (Записки, обращенные ко мне, зачастую написаны мельчайшим почерком на желтых листочках с клеевым краем, иногда самого малого размера; часто на оборотах и случайных листках разных небольших размеров.)

Одной из просьб А.И. была такая: при передаче ему телеграмм и поздравительных открыток отрезать декоративные части бланков, оставляя только текст. Как-то мне было жаль отрезать особо красивую открытку, и я передала ее ему, за что получила замечание и объяснение: невозможно при огромном архиве хранить лишнюю бумагу. (К этому можно добавить такой эпизод. Организаторы итальянской премии Бранкати попросили узнать у А.И., не хочет ли он, чтобы ему вручили ценный подарок, например вазу. На это А.И. ответил мне по телефону: «Я изнемогаю от ваз!»¹³)

А.И. редко говорил или писал что-либо неделовое, личное. Иногда в его записках встречаются такие фразы: «Еще раз с Новым годом!»; «Доброй Вам недели!»; «А с погодой Вам в этот раз очень повезло, да?».

Эти заметки относятся в основном ко времени, когда здоровье не подводило А.И. так, как в последние годы. В течение многих лет для меня стал привычным голос Александра Исаевича в телефонной трубке — как правило, энергичный и бодрый, иногда веселый, иногда раздраженный, подчеркнута деловой или неторопливо-домашний, но всегда узнаваемый. Как дорогие реликвии я храню подписанные Александром Исаевичем книги, его деловые записки и память о голосе в телефонной трубке.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* К читателям и издателям // Труд. 1992. 15 марта. С. 1.

² См.: Он же. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // Новый мир. 2003. № 11. С. 57–59, 77–79.

³ *Левитская Н.Г.* Александр Солженицын: Биобиблиографический указатель. Авг. 1988–1990. М., 1991.

⁴ Здесь и далее цитируются записки А.И. Солженицына, хранящиеся у автора.

⁵ *Солженицын А.И.* Обращение к российским эмигрантам // Известия. 1992. 14 мая. С. 3.

⁶ Поживши в ГУЛАГе. М.: Русский путь, 1997. (Всероссийская Мемуарная Библиотека).

⁷ Отношения сердец. Симферополь, 2004. С. 167. (1-е изд. — 2003.)

⁸ Поэзия узников ГУЛАГа: Антология. М., 2003.

⁹ Есть всюду свет: Человек в тоталитарном обществе: Хрестоматия для старшеклассников. М., 2000.

¹⁰ Земский доктор Сергей Никитич Масленников: Буклет. Александров, 2004.

¹¹ Отзыв А.И. воспроизведен в дополненном 2-м издании книги: *Симюков В.В.* А.В. Колчак: От исследователя Арктики до верховного правителя. М., 2004. С. 20.

¹² Имеется в виду отказ от Государственной премии Российской Федерации 1990 года за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». См.: *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995–1997. Т. 3. С. 350.

¹³ В этом восклицании выразилось отношение Александра Исаевича к подаркам. Он говорил, что «подарок — это вторжение в частную жизнь», имея в виду тягостную для него необходимость принимать и хранить зачастую ненужные вещи. Как выяснилось со слов Наталии Дмитриевны, именно ваз ему никогда не дарили.

ГОДОВЩИНА ПАМЯТИ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Выступления: *Н.Д. Солженицына, В.А. Успенский, А.Г. Битов, Л.И. Сараскина, Е.А. Евтушенко, о. Борис Михайлов, В.В. Штейн, В.А. Москвин, М.М. Уразова, Э.Е. Островская, Е.А. Ополовникова, Т.В. Есина, С.В. Мирошниченко, Н.М. Щедрина, М.А. Якубов, Е.В. Миронов, о. Николай Чернышев, Е.А. Солженицын, А.Г. Филиппенко*

Н.Д. Солженицына: Добро пожаловать. Это счастье, что мы все вместе сегодня. Но в будущем, я думаю, мы станем отмечать дни рождения Александра Исаевича, а память в день его ухода — будет делом семьи и тех, кто сам вспомнит. Меня переполняет, захлестывает благодарность за долгую жизнь Александра Исаевича, за то, что у него такое светлое место упокоения. Благодарность ему — за то, что он дал мне долгую, полную, счастливую жизнь, хороших сыновей. Благодарность сыновьям за их неизменную верность, надежность. И всем друзьям, кого знаю и кого не знаю, всем, кто сегодня здесь, и всем, для кого Александр Исаевич много значил, для кого его уход был событием личным. За прошедший год не было такого дня, когда бы я его не поминала, поэтому сегодня день помянуть не мой, а ваш. Если кто-либо захочет сказать одно слово, два слова или сколько угодно слов, то пожалуйста, ему принесут микрофон. И сегодня, я уверена, всякое слово, всякого человека — будет встречено всеми сочувственно, сердце будет биться в унисон с тем, кто говорит. А когда будем прощаться, каждого из вас ждет подарок, связанный с Александром Исаевичем: только что выпущенный каталог его книжной выставки и последняя аудиокнига, где он сам читает свои рассказы «Случай на станции...», «Захар-Калита» и «Правая кисть».

Ну, а теперь помянем Александра Исаевича.

В.А. Успенский: На панихиде пели «Вечную память». Я совершенно убежден, что память об Александре Исаевиче действительно будет вечной, настолько, насколько это вообще возможно в условиях земной цивилизации. Я хотел бы обратить внимание присутствующих на то, что *уже* состоялось в память об А.И. за прошедший год. Замечательно, что дело Солженицына продолжается. Была в конце прошлого 2008 года замечательная научная конференция, приуроченная к

Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына (Москва), 3 августа 2009.

его 90-летию. Эта конференция была задумана, когда он еще был жив, и предполагалось, что он сам если и не будет лично присутствовать, то во, всяком случае, будет заочным участником этой конференции. Конференция, тем не менее, состоялась и была чрезвычайно интересной. Я узнал две поразительные вещи. Первое. Там выступала Элен Каррер д'Анкосс, постоянный секретарь Французской Академии наук, прекрасно говорившая по-русски. Она рассказала, что, когда вышел «Один день Ивана Денисовича», левая интеллигенция Франции (насколько я понимаю, Александр Исаевич всегда скептически относился к так называемой левой европейской интеллигенции) ужаснулась и отшатнулась от коммунизма. Это был первый удар. А потом, когда вышел «Архипелаг ГУЛАГ», фактически прекратила свое существование в качестве одной из ведущих политических партий Франции Французская коммунистическая партия. Может быть, этого уже никто не помнит, но у Мориса Тореза, главы Французской компартии, в сталинские годы был такой титул — «вождь французского народа». Пальмиро Тольятти был «вождь итальянского народа», а, скажем, генеральные секретари американской и английской компартий были «вождями американского и английского прогрессивного рабочего класса». Так вот, вся эта чепуха перестала существовать. Коммунистическая партия рухнула.

Я узнал, что в России ведется интенсивная работа по изучению наследия Александра Исаевича Солженицына в школах. На конференции распространялся замечательный журнал «Источниковедение в школе», который сделали в Новосибирске. Его подготовил протоиерей Борис Пивоваров. Замечательный номер, посвященный тому, как нужно изучать Солженицына в школе.

Литературная премия Александра Солженицына продолжает присуждаться. Жюри работает, в него вошел Виктор Александрович Москвин. В 2008 году Премия присуждена посмертно Виктору Астафьеву. Лучшей кандидатуры, на мой взгляд, просто нельзя было найти. Это замечательное решение жюри.

Продолжается работа над 30-томным Собранием сочинений. Вышли два тома, завершившие публикацию «Красного Колеса».

Мы узнали из интервью Наталии Дмитриевны, что наша власть придает огромное значение изучению Солженицына в школе. Изучению и пропаганде, хотя против слова «пропаганда», насколько известно из прессы, Наталия Дмитриевна возражала. Но еще раз повторю, предложение изучать Солженицына в школе идет сверху, и, надо думать, это действительно будет реализовано. Кстати, Наталия Дмитриевна чрезвычайно трогательно защищала школу от «излишнего» насаждения Солженицына. Она говорила: во-первых, не надо

ничего пропагандировать и насильно внедрять, во-вторых, это что же, мы дадим часы на Солженицына и урежем Некрасова?

Я думаю, присутствующие понимают, что всеми свершениями прошедшего года мы обязаны Наталии Дмитриевне, хранительнице наследия, верной соратнице Александра Исаевича.

А.Г. Битов: Я очень рад, что после святых слов я выступаю третьим. И спасибо семье, что она меня позвала сюда. Я приехал сегодня из Питера для того, чтобы быть здесь. Сейчас в метро я думал, что же можно сказать — я понимал, что придется что-то сказать. СМИ меня уже испытали, достаточно стандартно, и всех интересовало, что же случилось за год после ухода Александра Исаевича. Я думаю, что ничего не случилось. Он остался, а мы есть. Но мы есть в том же качестве и достоинстве, которого мы заслуживаем. Август опять, не дай Бог нам очередных потрясений. Потому что тогда вслед за Александром Исаевичем последовала Грузия. Вообще, СМИ — это странная штука такая, они очень банальны, но какую-то суть они ловят, и особенно западные СМИ, которые всегда на день раньше оповещают. Как раньше нас оповещали «голоса», которые мы тайно слушали, так и сейчас они на день раньше оповещают нас о наших событиях.

Например, Александр Исаевич был событием на протяжении жизни, и это прекрасно понимали все. Но первым я узнавал всегда по звонку каких-нибудь западных СМИ, что вот он едет в Россию, и как Вы к этому относитесь. Я говорю — это его право. Год назад меня разбудил звонок в Питере: «Вы знаете, что Солженицын умер?» Я говорю: «Вы — первые». СМИ может нас на день раньше оповестить еще о чем-нибудь, не дай Бог.

Такого человека уже нет. Знаете, когда меня спросили в первый раз, зачем он возвращается в Россию, в это время у нас были уже и президент, и патриарх. Вроде бы Россия изменилась. Мне, простите меня за долю шутки, сразу померещилась любимая трактирная картина Васнецова «Три богатыря». И она тут же вылилась в формулу «православие, самодержавие и народность». Мол, самодержавие у нас уже есть — президент, православие у нас уже есть — патриарх, народа только не хватает. Ну, и я увидел этого из под малицы (это малицей, кажется, называется, перчатка) выглядывающего Илью Муромца. Он вроде на врага смотрит, а на самом деле он смотрит — где там мой народ? Вот приехал человек посмотреть, где там мой народ. Что он увидел, он успел сказать. Услышали ли мы? Но слово «богатырь» с тех пор в меня запало. Я думаю, что это именно былинная фигура. Я думаю, что он к фольклору тянулся всегда, но он не фольклорно былинный. Он один произвел за нас за всех ту работу, которую должны бы-

ли произвести мы все. Но мы ее не произвели. Следовательно, он и есть народ. Он воплотил народ в большой надежде на то, что этот народ есть и будет.

Работа чем хороша? Если она правильно сделана, ее больше делать не надо. Не так давно я понял, отчего это в России дорог нет. А дорог нет потому, что они уже столько раз были построены. И первый, кто донес до нас понятие туфты, был опять же Александр Исаевич. Дорог нет, туфта есть, а работа сделана.

Меня тут уже допрашивали о всяческих литературных делах. Не подходит Солженицын под эти параметры. Это праздные суды, то либеральные, то вкусовые, то патриотические. Он подчинил свой стиль одному — внятности. И этой своей внятностью он и был абсолютно великий художник. Это дается трудно, это было подчинение дара задаче.

В общем, это — абсолютная величина. Александр Исаевич не был чужд математике. Все со школы знают, что такое абсолютная величина. «Плюс» и «минус», заключенные в скобки, являются равными величинами. Я думаю, это прозвучит жестко, но по абсолютной величине это — фигура, равная Сталину. Только с другим знаком. Один построил ГУЛАГ, то есть сохранил империю с помощью ГУЛАГа. А другой — разрушил ГУЛАГ и... Кстати, образ Сталина не был чужд Александру Исаевичу, он интересовал его. В конце «Круга первого» это видно, это очень трогательные страницы при всем ужасе.

Что еще я могу к этому добавить? Да, пожалуй, все. Я собирался еще при жизни Александра Исаевича, году, наверное, в 1995, написать о нем и начал даже эссе «День Солженицына». Но так и не написал. Придется к этому вернуться.

Что же дал он лично мне? Лично мне, я думаю, — раньше я об этом никогда не задумывался — он дал свободу писать как бог на душу положит.

Л.И. Сараскина: Уважаемые друзья! Разрешите тоже сказать небольшое слово. Я очень внимательно прочитала то, что Александр Исаевич писал в последний год своей жизни. Это очень серьезно, очень веско. Это имело колоссальный резонанс и в нашей стране, и в мире. Я имею в виду его высказывания о голодоморе, о сербах, о литературе. В этом смысле тот год, который прошел после его ухода, показал, как сильно его не хватает. Это главное мое чувство сегодня — мне лично как человеку и литератору его очень не хватает. В порядке фантазии я подумала: если бы он жил и этот год, и дальше, что бы он сказал, реагируя на те события, которые у нас произошли? Что было бы то главное, о чем бы он не счел возможным молчать? Простите,

если фантазия моя не совпадет с тем, что думаете вы, или думал бы он, или думает Наталия Дмитриевна, но я полагала, что такая фантазия тоже имеет право на существование, потому что мы его читатели, мы продолжаем думать о том, о чем думал он. И вот — первое.

Как историк милостью Божией, он бы обязательно, наверное (я буду каждый раз говорить «наверное»), он бы обязательно сказал бы, что разговоры о фальсификации истории *в пользу* родины или *в ущерб* родине — бессмысленны, потому что фальсификация, она и есть фальсификация, она не требует дополнительных слов. Ибо фальсификация *в пользу* — она тоже идет *во вред*. Ибо это тоже ложь, ибо это тоже деформация истины. Он как историк это обязательно сказал бы и поправил бы те разговоры, которые ведутся в верхах, в СМИ и среди историков: давайте, дескать, писать такую историю, чтоб она была на пользу родине. Во-первых, эту пользу понимают все по-разному, и, во-вторых, это все равно получается конъюнктура и неправда. Мне кажется, Солженицын со своим чувством правды обязательно бы это сказал.

Второе. Как замечательный писатель и педагог, школьный учитель, он бы не остался равнодушным к тому, что литература вытеснена из школы. Она вытеснена и теперь стала предметом необязательным, предметом фактически факультативным, на который можно обращать внимание, а можно и не обращать внимание. И он бы, с присущей ему скромностью, обязательно сказал бы, что уроки по Солженицыну, обязательные в той ситуации, когда литература не обязательна, получатся бессмысленным лицемерием и фарисейством. Я уповаю на Наталию Дмитриевну, которая обязательно скажет это где-нибудь наверху, что в отсутствие литературы как обязательного предмета в школе обязательные уроки по Солженицыну в школе — это бессмысленная и неосуществимая вещь. Этот перекосяк нужно как-то исправить.

И третье, о чем я думаю. Вот смотрите. Нам объявили, что вводят обязательные уроки религии в школе — основы православной культуры, основы иудаизма, основы буддизма, основы исламской культуры, основы светской этики. Все эти предметы, наверное, нужны; каждый культурный человек их обязан знать, все эти уважаемые дисциплины дают ответы на вечные вопросы, причем, заметьте, каждая дисциплина по-своему. Отечественная словесность — она *задает* вопросы, причем те самые вопросы, на которые как будто уже давно есть ответы. Но как показывает опыт тысячелетий, вопросы возникают независимо от того, что уже есть ответы. И опять же в той ситуации, когда литература вытеснена, когда некому и негде будет задавать вопросы, на которые религии давно уже ответили, в этом случае у нас

останутся одни ответы без вопросов. Поэтому, мне кажется, эта затея тоже провалится. Как христианин Александр Исаевич, наверное (повторяю, это моя фантазия), на это тоже как-то отреагировал бы. Ведь литература, религия, история в нашей стране вещи определяющие, жизненно важные. Здесь много литераторов, я обращаюсь к вам. Конечно, сумма наших голосов не будет равна одному его голосу. Но поскольку его голоса нет, очень важно, чтобы и сумма наших голосов как-то эти моменты все-таки акцентировала. Если мы будем с вами безучастно смотреть на вытеснение литературы, которая задает вопросы — «как поверуши али вовсе не веруеши», *зачем человек живет и чем он живет*, — мы и ответов не услышим. Литературы не будет, и не будет воздуха свободы. И если его не будет, у нас провалится все: и изучение истории, и изучение религии. Без литературы мы будем банкроты, потому что нефть кончится, газ кончится, кончатся деньги, литература — это то, что не кончается. Поэтому я очень прошу, чтобы присутствующие здесь литераторы и читатели об этом думали. Может быть, кто-то согласится со мной, что Александр Исаевич обязательно бы сказал об этом, не молчал бы. Поэтому его так жутко не хватает сегодня. Ведь обо всем этом надо сказать так, чтобы быть услышанным. Понимаете, мы все говорим и пишем, но надо быть услышанным. У него было это высочайшее искусство, высочайшее умение быть услышанным.

Е.А. Евтушенко: Когда-то давным-давно, в 60-х годах, я написал стихотворение об Александре Исаевиче, когда был наивысший, наиболее опасный момент его преследования... И меня особенно поразило в тот момент, что некоторые поэты и писатели-фронтовики, которые сначала выступали с безусловной поддержкой «Одного дня Ивана Денисовича», потом отрекались от него. Я поражаюсь, как эти люди, которые так мужественно себя вели на фронте, когда они рисковали самым драгоценным, что есть у человека, — жизнью, вдруг сдавались из-за того, что рисковали местом редактора или еще каким-нибудь официальным местом. Там, в этом стихотворении, были строчки, навеянные всеми этими отречениями: «Мужество сражаться в одиночестве много выше мужества в строю». Но Солженицын прошел и через другие испытания, в частности через испытание официальным признанием, что не менее трудно иногда.

У меня несколько стихотворений написаны об Александре Исаевиче в разные периоды. Это одно из последних. Я написал его как послесловие к включению некоторых стихов Александра Исаевича в антологию «Десять веков русской поэзии», над которой сейчас мы работаем вместе с Владимиром Владимировичем Радзишевским.

РОССИЕЛЮБИЕ

Россиелюбие – афишка
для тех, кто правят, но крадут,
а для пророка – это «вышка»,
что в исполнение приведут.

Все русолюбы записные
властям внушили неспроста,
что он любил не ту Россию,
да и любовь была не та.

И смертной кары нависанье,
войдя условьем в ремесло,
под мертвенными небесами
его опасностью спасло.

Вся клевета, интриги, тайны
и хор завистников тупой
его спасли от нечитанья
нелюбопытственной толпой.

А ныне – даровая гласность,
когда исплетнилась печать,
когда сама госбезопасность
поэтов бросила читать.

Он стал настолько почитаем,
везде на банерах вися,
что стал почти что не читаем –
его побаиваемся.

А ты, зевающая Дума,
скрывая темные дела,
его ты слушала, как дура,
и ухом ты не повела.

Когда пророка хоронили,
припав ко лбу его, к рукам,
то маловеры хором ныли
и разбрелись по кабакам.

Россиелюбие – скорбенье
о всех, угробленных войной,
и невозможность оскорбленья
хотя бы нации одной.

Из тех, кто сызмала закланьны,
прорвется кто-то, может, я
в свободных русских,
кто заглавны
во Самиздате бытия.

И только там прорыв народа,
но лучшего, а не всего,
где начинается свобода
хотя бы просто с одного.

Он спрашивает: «Что ж молчите?
Где ваше слово? Ваш черед!» —
россиелюбия учитель,
вочеловеченный народ.

Спасибо!

О. Борис Михайлов: Я вспоминаю рубеж 1973–1974 годов, когда все мы читали «Архипелаг ГУЛАГ» и было страшно, прежде всего, за себя, прости, Господи. Но когда ты читал эту книгу, было такое чувство, что ты приобщаешься к некоему свету. И этот свет — это Правда Божия. И оказывается, что эта книга о страшных преступлениях, книга, которую трудно читать, она несла, и несет, и будет нести свет Христов, правду Божью. Так же как и все творчество Александра Исаевича. Его подвижническая, я хочу сказать, не только жизнь, но житие, его служение тому призванию, которое он, наверное, когда-то почувствовал, — быть, я так думаю, гласом Божиим и отвечать этому призванию. И это давало ему силы, это его укрепляло, давало ему то веселье, которым веселился Давид, скача перед ковчегом Завета. Поэтому, хотя горько сознавать, что его нет среди нас, нет в России, он действительно принадлежит вечности. И не в том только смысле, о котором говорили здесь предыдущие уважаемые ораторы, ведь память вечная — это память человека у Бога. Человеческая память, как бы она ни была крепка, как бы она ни была свята сама по себе, она так или иначе проходит. А вот память у Бога — да, вечная память. В это и я верю, и я уверен, что мы с вами верим в это, что он стяжал подвигом своей жизни эту память у Бога. Поэтому вечная память! Мы выражаем нашу веру в это, что он принят Господом. Вечная память Александру Исаевичу у Господа и благодарная и радостная память всех нас.

Н.Д. Солженицына: Я обещала, что сегодня не я буду говорить, но вот маленький комментарий. Сегодня здесь есть люди, которые знают Александра Исаевича дольше, чем я. Их немного, но они есть. А еще есть люди, о роли которых, может быть, никто не знает. Вот, например, отец Борис, который только что говорил. Он ведь был один из волонтеров солженицынского Фонда, не сегодня, а в те годы, когда это было смертельно опасно, и у него уже тогда было пятеро детей. Он стоял на самом опасном звене цепочки, через которую мы отсюда передавали помощь в действующий архипелаг ГУЛАГ. И Алек-

сандр Исаевич всегда говорил: «Хоть бы он из этого вышел. Ну уж ему-то с пятью детьми куда?!» А он вот стоял там.

И я, пользуясь тем, что опять держу микрофон, хочу попросить всех вот о чем. Что касается места Александра Исаевича в истории, в литературе — это будет по его трудам, от нас с вами это не зависит. Но его мало знают как человека. Мало того, его образ человеческий оброс большим числом таких твердочешуйчатых легенд, которые мне одной разрушить не под силу. И вот я прошу всех, кому есть что вспомнить, кто когда-либо встречался с Александром Исаевичем, пожалуйста, пока вы не забыли, напишите какие-нибудь две странички, три странички. Потому что время стирает все. Когда в 74-м году выслали Александра Исаевича и я на шесть недель позже приехала с детьми вслед за ним, — он весь с головой был погружен, сидел и писал «Невидимки», пятое дополнение «Теленка», о всех людях, которые ему помогали. Меня это поразило, у нас не было посуды, не было где спать детям, вообще все было неустроено, впереди все неясно. Я спрашиваю: «Ты не нашел лучше времени писать мемуары?» Он сказал: «Вот именно правильное время. Я не уверен, что потом ничего не забуду. Пока я все помню, я пишу о каждом, кто в чем мне помог». Написал и положил в сейф, в банк, потому что каждое имя в этой рукописи было бы как донос, если бы ее нашли. И там она пролежала шестнадцать лет. А в 90-м году мы ее опубликовали. И вот я вас призываю, пожалуйста, пока вы помните, не ленитесь, напишите тоже хоть кратко о своих частных с ним встречах — те, у кого они были.

Людмила Ивановна опытнее меня в литературных делах, она мне подсказывает, что такой призыв — просто утонет, если не сказать, что мы собираем все эти воспоминания, как минимум чтобы положить их на официальный сайт Солженицына, а в идеале — для сборника памяти. Это будет опубликовано.

В.В. Штейн: Я действительно Александра Исаевича знаю очень давно, с 1940 года. Я хотела бы сказать какие-то общие соображения, кроме воспоминаний, насчет того, что проходить в школах, что не проходить в школах, что ввести как обязательный предмет в институтах и так далее. Наверное, это постепенно будет делаться и сделается, если уж делается на Западе. Вот, например, знаменитый Ричард Пайпс, историк и в какой-то мере недруг Александра Исаевича. Он очень ожидал от Александра Исаевича поддержки, когда тот был выслан. А оказалось, что Александр Исаевич очень критически отнесся к его книге о России. И Ричард Пайпс, умный, знающий, но закомплексованный человек, очень обиделся и говорил всякие глупости своим студентам о Солженицыне, называя его антисемитом; и почему-то

Сахарова тоже называл антисемитом, а студенты и аспиранты удивлялись. Но когда они проходили период русской революции, Пайпс неожиданно сказал: «Если вам что-нибудь нужно будет действительно узнать точное о русской революции, читайте “Красное Колесо”». Так если *Пайпс* советовал *западным* студентам читать «Красное Колесо», почему бы нашим не почитать? Это очень серьезно.

А насчет какого-нибудь эпизода из жизни, ну, может быть, вот какой. Вы знаете, что Александр Исаевич всегда был занят, каждая минута у него была занята. Но однажды у нас на кухне сидел поэт Наум Коржавин. А Солженицын был в другой комнате, собирался уходить. Когда появился в дверном проеме, Коржавин увидел его и сказал, что сейчас для него стихи прочитает. Солженицын облокотился о притолоку и стоял, ожидая с нетерпением стихи. Это было чудное стихотворение, Коржавин только что его написал — «Церковь Спаса на Крови». И то ли оттого, что волновался, то ли оттого, что стихи действительно трагические, драматические, самую концовку он произнес побелевшими губами, как студент, который сам ждет карету государя. «Чу! Карета вдалеке... / Стук копыт. Слышней... Слышней. / Все! — сказал Коржавин и побелел, — / В надежде — и в тоске / Сам пошел навстречу ей». И замолчал. Солженицын бросился на шею Коржавину, расцеловал его и убежал. Вот все.

В.А. Москвин: Уважаемая Наталия Дмитриевна, уважаемые Степан и Ермолай, дорогие друзья! Наш Дом теперь носит имя Александра Исаевича Солженицына, и это не случайно, поскольку он и Наталия Дмитриевна сыграли в этом деле ключевую роль, поддержав идею Дома еще в Вермонте, а, вернувшись в Россию, А.И. приложил немало усилий для того, чтобы этот проект состоялся. И здесь, на выставке, которая находится в фойе, вы можете увидеть фотографии, часть из них сделана здесь, на Таганке, в нашем Доме, и первая — 7 декабря 1995 года, когда Дом открылся. Время идет очень быстро, четырнадцать лет прошло, как существует уже этот Дом на Таганке, его Солженицынской библиотекой называли, Солженицынским Домом. И это верно. В основе архивной коллекции Дома лежат мемуары, которые Александр Исаевич собрал, находясь на Западе и получив в ответ на свой призыв писать и присылать воспоминания. Было привезено из Вермонта около тысячи текстов, сейчас в собрании Дома их уже более двух тысяч, и они продолжают поступать. То есть солженицынский призыв 70-х годов продолжает действовать.

Здесь сегодня говорили об увековечении памяти Александра Исаевича. Я думаю, действительно очень важно записать воспоминания о встречах, беседах с Александром Исаевичем. Но, думаю, настало

время создавать музей Солженицына. И для этого есть место в Москве, это — квартира, в которой сейчас работает Русский Общественный Фонд и где Александр Исаевич три с половиной года жил до своего ареста. Там он был арестован, и там родились его дети. И я думаю, что не нужно это откладывать на будущее — музей нужно создавать сейчас. И я хотел бы обратиться ко всем присутствующим, у кого есть вещи, связанные с Александром Исаевичем, документы, письма. Давайте объединим усилия — пока будем все собирать и хранить у нас, в Солженицынском Доме на Таганке, для того чтобы получилась хорошая экспозиция в квартире в Козицком и чтобы была создана мемориальная музей-квартира Александра Солженицына.

Вот, к примеру, я знаю, что у отца Бориса есть столик замечательный, который Александр Исаевич передал, когда уезжал, когда был выслан из страны. Наталия Дмитриевна, когда уезжала, тоже многое раздала. Все это должно вернуться в Козицкий!

М.М. Уразова: Исполнилось ровно пятнадцать лет с того дня, как Александр Исаевич впервые приехал на ту самую квартиру в Козицком переулке, откуда его выслали и где в ту пору находился его Фонд и его Литературное представительство. Мне довелось много лет быть свидетелем и скромным участником в основном общественных трудов Александра Исаевича. Но, перебирая в памяти эти годы, скажу, что самым сильным и ярким впечатлением о нем, очень личным впечатлением, был его голос по телефону. Дело в том, что я, будучи секретарем Литературного представительства, находилась все время на месте и общались мы с ним в основном по телефону. У меня даже такое ощущение, что, может быть, я — тот человек, с которым Александр Исаевич больше всех говорил по телефону, потому что это было ежедневно, иногда по два раза в день, и однажды заведенный порядок сохранялся годами. Обычно в пять — в начале шестого вечера он звонил, чтобы справиться о новостях за день, иногда звонил утром, в одиннадцать и бывал недоволен, если телефон оказывался занят или почему-либо меня не заставал на месте. Эти звонки настолько вошли в обиход и настолько стали для меня привычными, что если по какой-то причине он не смог позвонить, я уже начинала беспокоиться. Но на другой день он звонил и объяснял причину, почему не позвонил накануне. Но потом, уже в последние годы, эти звонки стали очень редкими, а совсем уже последние — каждый звонок его был для меня как подарок.

Весь минувший год я перебирала и перечитывала те записки, которые Александр Исаевич мне писал, потому что, помимо телефонного общения, было общение эпистолярное в виде деловых записок. Их

просто огромное количество, на каких-то случайных листочках, на оборотках, на наклейках, мельчайшим почерком и более и менее подробные. Десятки поручений — каждодневных, сиюминутных: отправить кому-то книжку, попросить кого-то, чтоб присылал свои рукописи в ВМБ; другому просителю, наоборот, — написать, чтобы он свою рукопись не присылал, потому что роман, а проситель просит, чтобы Александр Исаевич его отредактировал и напечатал. Ну и так далее. Масса каждодневных дел, и чувствуешь, что это ведь какой-то малый процент от его огромной деятельности, и общественной, и литературной.

Еще бы мне хотелось сказать о читателях Александра Исаевича. Почти за восемнадцать лет мне довелось познакомиться, встретиться и пообщаться с очень многими его истинными читателями, почитателями его таланта, причем не только из числа его друзей, помощников, или бывших эзков, или их детей, или литературоведов, которые занимаются творчеством писателя профессионально, а просто приходили письма из провинции от простых людей разных профессий, разных возрастов. Но читать их без волнения мне было невозможно. А у Александра Исаевича для таких писем в его реестре переписки был определенный номер и надпись: «Читатели», просто читатели. Я думаю, ему эти письма доставляли радость. Он, как правило, откликался на них, ведь таких писем в общем огромном потоке его переписки было не так много. И мне бы очень хотелось, чтобы судьба книг Александра Исаевича в нашей стране сложилась счастливо, чтобы у него были внимательные, преданные читатели.

И еще мне очень хотелось бы поблагодарить за многолетнее доверие Наталию Дмитриевну. Спасибо большое, Наталия Дмитриевна!

Э.Е. Островская: Я хочу сказать несколько слов, обращаясь к читателям Солженицына, кем являюсь и сама. Большинство из нас, пожилых людей, впервые прочли Солженицына, первые его вещи, лет сорок назад. И тогда это оглушило нас, но в силу своей молодости мы не могли оценить еще всей глубины его произведений. Постепенно взрослея, вернее даже старея, мы можем более цельно, более полно оценить всю значимость, всю художественную ценность этих вещей, потому что, когда душа наша становится более зрелой, мы больше видим и понимаем. И я сама перечитываю сейчас его вещи уже новым взглядом, с новым пониманием и призываю всех, кто этого не делает, тоже перечитывать его вещи.

Е.А. Ополовникова: Я имела счастье лично встречаться с Александром Исаевичем и говорить с ним по телефону. Дело в том, что я архи-

тектор и занимаюсь древнерусским деревянным зодчеством. Один из томов последней нашей серии был посвящен Иркутску, «Земля Иркутская деревянная». Я и мои коллеги были на Ангаре семью годами ранее Александра Исаевича. Я это описала в книге и послала А.И. текст с просьбой разрешить публикацию, и Александр Исаевич позвонил. Оказалось, что мы с ним писали об одних и тех же людях, только их имена и фамилии были изменены у Александра Исаевича. Для меня это было удивительно и радостно, его звонок — это величайшая честь. Это действительно так, это не красивые слова. Потрясает его всеохватная мысль, мощь проникновения в суть русской истории, то, как он понял старообрядчество. Помню, в 90-е годы я выписывала «Наш современник», открываю «Красное Колесо», и именно разговор отца Северьяна с Саней Лаженицыным. Понимаете? Вот действительно, «делай по-Божьи, мирское приложится». Вот помогает Господь во всем, в каждой мелочи, как бы тяжела жизнь ни была. Александр Исаевич Солженицын — для меня (я крещена во младенчестве) и, я думаю, для многих присутствующих — святой человек. Поражает всеохватность мысли Александра Исаевича, его внутренняя святость, его целостность, его мощь.

Т.В. Есина: Я позволю себе говорить от имени тех полутора тысяч людей, которые ничего уже о себе не смогут сказать сами. Моя судьба сложилась таким образом, что Александр Исаевич поручил мне начать обработку вермонтского архива. Более полутора тысяч воспоминаний людей, которые откликнулись на его призыв. Что такое эти воспоминания? Одна, две, три страницы, тысяча страниц, две тысячи страниц. За каждым воспоминанием — человеческая судьба. Это те самые люди, которые так шаржированно показаны в наших горячо любимых фильмах «Бег» и «Служили два товарища», когда они, бросая свои вещи, толкая друг друга, пытаются взобраться на трапы пароходов, покидающих Россию. Поразительные судьбы, поразительные люди. Читаешь эти воспоминания и думаешь, каких людей лишилась Россия. И как бы мы жили, если бы они остались здесь, какой была бы наша страна. Этим людям, которые всю свою жизнь, до конца дней своих мечтали вернуться в Россию, Александр Исаевич помог это сделать. Они вернулись — хотя бы своими рукописями. Вот это тоже своего рода памятник Александру Исаевичу на все времена.

С.В. Мирошниченко: Я — один из тех, кто узнал Александра Исаевича поздно, наверное позже всех здесь присутствующих. Я был знаком с ним последние десять лет, и мне очень повезло с ним и с его семьей. Так случилось, что сегодня я пришел раньше, до панихиды, стоял

у его могилы и вдруг заговорил с ним мысленно об очень личном. И — поразительно — стал получать ответы, то есть мысленно сам себе отвечать. Эти ответы были очень точные, и я понял, как поступил бы на моем месте этот сильный человек, отец большой семьи, герой, делавший все по уму. Таких сейчас больше нет. Это надо точно знать.

Александр Исаевич был очень сильным мужчиной и крепким человеком, который точно выбрал себе, и Господь ему помог в этом, супругу, и они вместе воспитали прекрасных детей. С такой семьей ничего не страшно; его наследие в надежных руках. Когда сегодня у его могилы я понял, как мне поступать, я поверил, что это именно он дал мне совет, с его помощью я получил ответ на свой вопрос. Спасибо Господу за то, что я знаком с Александром Исаевичем и его семьей.

Н.М. Щедрина: Уважаемые дамы и господа, дорогая Наталия Дмитриевна!

Я смотрю на портрет Александра Исаевича и думаю, что он по жизни был учителем. Он был и по профессии учитель, он был учителем и для нас всех. Мне кажется, больше всего он реагировал на то, как молодежь воспринимает его творчество. Я читаю лекции студентам, но при всем желании заинтересовать их по-настоящему глубоко Солженицыным очень сложно в наше время, потому что это от них очень далеко. За те четыре лекционных часа, невероятных четыре часа, которые даются в вузе на Александра Исаевича, ничего невозможно сказать об этом писателе. Поэтому я решила обсудить двучастные рассказы Солженицына на практическом занятии. Мы спорили о рассказе «Настенька», о других рассказах, опубликованных в 1995 году в «Новом мире». Студенты спорят, им интересно, у них появляются свои суждения, им хочется общения. Спорили о том, есть ли две Настеньки в рассказе, и почему он так заканчивается, и есть ли момент возрождения героини, потому что по своему имени она — «воскресшая». И тогда я им сказала: «Напишите Александру Исаевичу». Они письмо написали, я отнесла его в Фонд Солженицына, Мунира Мухаммеджановна, спасибо ей, передала Александру Исаевичу, и через несколько дней он позвонил мне. Меня не было дома, так он предупредил моих домашних, что через два дня будет звонить снова. Вы не представляете, как я готовилась к разговору — как раз было десять лет, как Александр Исаевич вернулся в Россию, много было информации в газетах. Звонок — и вдруг такой голос обычный, знакомый, ведь он, когда вернулся, читал свое «Красное Колесо» по радио. Услышав его, я говорю: «Здравствуйте, Александр Исаевич!» Он отвечает: «А откуда Вы знаете, что это я?» Я объясняю: «Я Ваш голос знаю, я его слышала!» — «Откуда?» И начались разговоры о студентах. По-моему, самое главное до-

стоинство этого человека — это забота о будущем: нашей страны, нас с вами, поколения нашего, наших детей и внуков. Нужно не только донести до них произведения Солженицына, нужно донести дух Солженицына.

И я очень поддерживаю Людмилу Ивановну. Мне кажется, мы теперь с вами должны стараться встать на этот уровень учительства — учить по Солженицыну, не жить, не интерпретировать его произведения, а чувствовать так Россию, как он ее чувствовал. Потому что в нем, мне кажется, это чувство Родины, чувство страны, чувство своего народа, чувство близких людей, чувство детей было невероятно тонким. И поэтому я низко кланяюсь той памяти, которая в нас живет, и хочу, чтобы эта память жила очень долго и была бы столь же проникновенной и глобальной, каким масштабным человеком был Александр Исаевич. Низкий Вам поклон!

М.А. Якубов: Я музыковед. Я не думал, что решусь здесь в присутствии литературной и правозащитной элиты говорить. Но — решился. Мне было двадцать шесть лет, когда появился «Один день Ивана Денисовича». Когда мне попал в руки номер «Нового мира» с рассказом, я прочел первую страницу, и первое, что сделал, стал звонить друзьям. Это не было для нас явлением литературы, это было каким-то совершенно невероятным, великим событием жизни, событием нравственного порядка. Мы читали эту книгу по много раз. Я не постесняюсь вам сказать, что и до сих пор могу наизусть читать первые страницы. Мы просто с ума сходили от восторга, от того, как это написано. Я не хочу сказать, что это не литература, по-моему, это гениальное произведение, и мы это воспринимали как великое явление великой русской литературы. Но все-таки это было больше, чем литература. Это было явление нравственной стойкости, невероятной смелости. Это было жизненным примером.

Извините, что приходится говорить о себе. Мои родители были репрессированы и познакомились в лагере. Иногда меня спрашивают: «А ты в лагере родился?» Нет, я родился не в лагере. Но когда в издательстве «Советский писатель» вышел отдельным изданием «Один день Ивана Денисовича» маленького, карманного формата, я привез книжечку отцу. У него был такой тяжелый бушлат с большими карманами, и он с тех пор так мне и не вернул эту книжку, он ее возил с собой все время в кармане, читал ее рабочим на заводе, с которыми работал, и она истерлась — первые и последние страницы (это была такая полубумажная обложка) истерлись, истлели, там даже уже не все можно прочесть в конце книги. Но я ее храню как великую семейную реликвию. Папа мне говорил: «Вот *это* — книга, вот *это* — писатель».

Потом, когда Александр Исаевич оказался в изгнании, что-то нам попадало, и мы печатали, я сам печатал на машинке, раздавая это друзьям. Причем скажу честно: может быть, будь я старше, я бы, наверное, побоялся. Но тогда я, наверное, просто не понимал в полной мере опасности того, что мы делали. Некоторые экземпляры этих перепечаток у меня сохранились, и теперь я их показываю своим детям, стараюсь им рассказать, что это значило тогда для нас. Я решил говорить, так как мне кажется, что очень важно не потерять чувство масштаба того явления, которое представляет собой Александр Исаевич Солженицын. Конечно, он — писатель, конечно, он — русский человек, конечно, он — православный и так далее, он принадлежит ко многим множествам. Я думаю, что как математик он был бы рад этому определению. Но выше всего и больше всего он был человек. Мы многого не сделали, и мне кажется, что, вспоминая его, мы должны попросить у него прощения. Спасибо вам за внимание.

Е.В. Миронов: Уважаемая Наталия Дмитриевна, дорогие друзья! Я — актер Евгений Миронов. Наверное, я меньше всех вас был знаком с Александром Исаевичем. Но вот судьба мне подарила этот подарок, и я не знаю за что, видимо, авансом. Так случилось, что я был, наверное, последним не из семьи, кто с ним виделся. А приехав домой, я записал нашу встречу, я никогда прежде такого не делал, записал, чувствуя какую-то ответственность, которая выше меня. Записал, как все было, не просто факты, но и все свои ощущения... Я не сразу смог найти дом, хотя у вас уже был. Остановил своего водителя возле шикарного огромного забора и думаю: «Боже, неужели обнесли! Семья, так сказать, так вот серьезно все». Оказалось, слава Богу, что это забор соседа. А рядом увидел родной зеленый забор, и какой-то замечательный ваш помощник открыл нам ворота, хотя они не были заперты. Мы въехали, а когда ехали обратно, помощника не было, оказалось, ушел в отпуск, и закрывать ворота было уже некому.

И вот сегодня, здесь — так все правильно! Знаете, по роду своей деятельности (я руковожу театром теперь, такой есть Театр Наций) я последнее время вынужден бывать на разных торжествах и собраниях, где встречаю лица, на которые смотреть в страшном сне не хотелось бы. Понимаете? А еще приезжают, и ждут, и не начинают, и к еде не притрагиваются, ждут заместителей министров или руководителей администрации. Так полагается. Какое счастье, что здесь все по-простому, как и должно быть. Правда, если б это был юбилей Александра Исаевича или его день рождения и он был бы жив, его давно, мне кажется, здесь бы не было, он бы пошел работать. Это точно. Потому что даже в те две встречи, которые у меня с ним были, я понимал, что

отнимаю у него время, но я был наглый, мне нужно было играть Нержина в «Круге первом». Я благодарен Панфилову за то, что эта работа вообще состоялась. И так было странно, что это состоялось, что сняли этот телевизионный фильм. Я еду по Москве и вижу плакаты — там обычно звезды, артисты. А тут была главная звезда, одна звезда на всех плакатах, и эта звезда — Солженицын... Представить себе, что такое могло бы быть двадцать лет назад или тридцать, что по всей Москве и по Петербургу, по всей стране будут развешаны большие, огромные плакаты с Солженицыным! Что-то в этом, может быть, есть и ненормальное, потому что все же шоу-бизнес и Александр Исаевич как-то мало совместимы. Но мне лично это было очень приятно.

Эти встречи с ним, конечно, останутся в моем сердце на всю жизнь, и я как сейчас вижу, как он меня слушал. Его глаза светились такой «атомной» энергией, несмотря на то что на последней встрече у него не работала левая рука и он мог только сидеть, но как он ловко справлялся со своим недомоганием и как это *ничего* для него не значило. Он говорил: «Правая работает!» Рука. Это значит, что он может работать, может писать. И меня это так восхищало, что я даже на секунду забывал, что он действительно не встает. Что для него было важно — чтобы закрыта была форточка: «Форточку закройте, форточку!» Потому что сквозняк, а это значит, что, заболев, он не сможет дописать. До последней секунды...

Сейчас замечательный режиссер-документалист Сергей Мирошниченко рассказывал о своем ощущении присутствия Александра Исаевича, о том, что он рядом. Я хочу сказать о своем везении, которое обязательно должен передать близким своим. Везение какого рода? Однажды соприкоснувшись с Александром Исаевичем и с его семьей, с Наталией Дмитриевной, я заразился, как будто меня кто-то уколол. Я надеюсь, что не вылечусь от этой болезни. Какого рода болезни? Что бы ни происходило после его смерти, какие бы события в стране — печальные, ужасные — ни случались, относиться к ним я буду с его точки зрения: а как он бы сейчас? И тогда все встает на свои места. И у меня есть позиция. За это я ему безумно благодарен и надеюсь, что не собою с пути. Спасибо.

О. Николай Чернышев: Кажется, это было на сорок дней, когда собирались близкие Александру Исаевичу люди. Наталия Дмитриевна тогда с опасением говорила, что, наверное, будут пытаться как-то снивелировать его значение, что-то скрыть, что-то исказить. И вот мы видим сейчас, что не сбываются эти опасения, что память об Александре Исаевиче конечно жива. Этому свидетелями будем не только мы все, кто здесь находится, но и многие другие люди из раз-

ных миров, кому вы будете передавать то, что видели и слышали сегодня, — из мира Церкви, из мира литературы, из мира музыки, философии. Верно Андрей Георгиевич Битов сказал, что личность Александра Исаевича не вмещается ни в какие миры человеческие. И конечно, он вечности принадлежит. Но это все общие слова. У каждого из вас есть что-то очень личное, уникальное, неповторимое. И права Людмила Ивановна, что необходимо записывать. Коротка и слаба память человеческая, потому нужно вовремя записать, чтобы не стерлись не только факты, но и впечатления, и их оттенки. И это — долг каждого из нас, кто больше, кто меньше общался с Александром Исаевичем. Конечно, это важно сохранить, и замечательно, что идет собрание такого материала.

Есть и у меня несколько таких личных и уникальных моментов. Об одном хочется сейчас рассказать. В день отпевания, когда мы тело Александра Исаевича предавали земле, а душу отдавали Создателю, Спасителю, Промыслителю, многие из вас, наверное, были в зале Академии наук и слышали замечательные, удивительные, проникновенные слова, искренние слова, и это-то самое дорогое и есть, что проникновенные и искренние, а вовсе не какие-то официальные это были слова. И до слез они трогали. Но чем закончился этот день, мало кто знает даже из вас, из близких людей. Закончился этот день крещением внука Александра Исаевича. Вот так устроил Господь. И конечно не без прошения, наверняка не без прошения самого Александра Исаевича. До этого много готовились, говорили о разных датах, назначали разные варианты, что-то не складывалось то у меня, то у кого-то из членов семьи, как хотелось бы, чтобы все были собраны вместе. И вот кончина скомкала многие планы, но тут собрались все вместе. И когда разговор об этом зашел, то подумалось, а что мешает вот именно сейчас, не откладывая больше никуда, ни на какой другой день, именно так этот день завершить. Мгновенно Наталия Дмитриевна всех оповестила, всю семью, которая, конечно, была в сборе. И вот именно день отпевания Александра Исаевича закончился тем, что родился от воды и Духа новый христианин, его внук. И вот это тоже надо знать, как в вечности продолжается влияние Александра Исаевича, как его заботами новое чадо Церкви рождается. И это тоже, мне кажется, нельзя из истории вычеркнуть. Спасибо.

Е.А. Солженицын: Я хочу немного продлить тему, которую батюшка начал. Об этом продолжении жизни в теле и Духе, когда маленький Андрей крестился.

Во-первых, спасибо всем, кто вспоминал сегодня и знакомство с отцом, и значение его для себя, для окружающих. Прозвучали с раз-

ных сторон оценки, высокие слова — об энергии, о всеохватности мысли, о масштабе. Но вот перед нами его портрет, эта фотография — во Владивостоке, как только вернулся в Россию, мы там были вместе, и когда я смотрю на папу (для меня папа), я вижу: он смотрит вперед, и смотрит с доброй заинтересованностью и уверенностью. Есть добро в этом взгляде; несомненно, на нас смотрит добрый человек. И уверенность явно читается, нечего говорить. Но и интерес. Вот одно из прекрасных качеств, которое в отце всегда просвечивалось, была заинтересованность всем вокруг, интерес к собеседникам. Уж на что он был занят, вот рассказывают, как и минуты стеснялись у него отнять, но когда он отрывался на эти минуты, то он погружался в собеседника полностью. Из того, что я видел. Вот это небезразличие — на самом деле замечательное и совсем не всеобщее качество.

И я думаю: какой был бы лучший отцу подарок от нас всех? Наверное, ему было бы радостней всего, если бы наше общество лет через тридцать было здоровее, чем сейчас, по довольно длинному, увы, списку параметров. А для того каждому из нас в своей жизни и в своем деле надо постараться избавиться от безразличия. И более того, найти в себе заботу о том, что вокруг, в ближайшем радиусе в два метра, но и в радиусе километра тоже. Вот этого у нас очень не хватает сейчас. Но это то, что двигало отца все время, он был небезразличен к людям и событиям — и как человек, и как писатель, и как историк, как однополчанин, как солагерник. Мне кажется, нам нужен новый виток безразличия к тому, что у нас происходит и что у нас впереди. Не только жаловаться на то, что все рушится или криво идет, а подумать, как это исправить *делом*. Как хотел отец видеть, что народ в России взял в руки вожжи своей судьбы и сам ею правит.

Так что взгляните на него — это человек, смотрящий вперед. И как бы хотелось, чтобы он увидел XXI век, сильный для России. Не имперски сильный, а здоровый, внутри здоровый. Он всегда говорил, что если внутри у себя выстроить все правильно, то и вокруг все будет хорошо. Очень бы так хотелось, и, я думаю, ему бы это сверху... очень понравилось.

И всем вам большое спасибо, что сегодня вы пришли разделить этот день с нами.

Н.Д. Солженицына: У нас большое событие: пришел замечательный наш друг, артист Александр Филиппенко, который может нам доставить большую радость. Давайте-ка мы послушаем его.

(А.Г. Филиппенко читает Крохотки А.И. Солженицына.)

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	5
----------------------	---

XX ВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Круглый стол

Ведущая – Л.И. Сараскина

<i>Выступления:</i> Н.Д. Солженицына, Р. Темпест, о. Петр Мещеринов, Б.Н. Любимов, А.Н. Варламов, С.В. Шешунова, А.С. Курбасов, Г.М. Щетинина, М.М. Голубков, А.С. Немзер, П.Е. Сливаковский, И.Н. Сухих, Ю.Л. Фидельгольц, П.В. Басинский	9
---	---

ПУТЬ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОГО ВРЕМЕНИ

Международная научная конференция к 90-летию со дня рождения

ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ

Ведущий – М.В. Сеславинский

<i>Выступления:</i> С.О. Шмидт, С.С. Говорухин, Н.Д. Солженицына	47
--	----

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ: «СЛОВО ОБ АЛЕКСАНДРЕ СОЛЖЕНИЦЫНЕ»

Ведущий – М.В. Сеславинский

Приветствия: Президент РФ Д.А. Медведев, мэр г. Москвы Ю.М. Лужков,
Принц Уэльский Чарльз, историк Р. Конквест, главный редактор
журнала «Нью-Йоркер» Д. Рэмник, директор издательства «Файар»
К. Дюран

<i>Выступления:</i> Дж.Р. Полльева, И.О. Щеголев, Ю.С. Осипов, В.П. Лукин, А.Н. Сокуров, В.Ю. Виноградов, М.Е. Швыдкой, Н.Д. Солженицына, Е.В. Миронов, С.В. Мирошниченко, Э. Каррер д'Анкокс, В. Страда, С.Ю. Юрский, С. Фредриксон, А.Г. Филиппенко	53
---	----

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ: НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

СЕССИЯ 1

<i>Людмила Сараскина (Москва).</i> «Персональное прошлое»: уроки прижизненной биографии	91
<i>Елена Чуковская (Москва).</i> А.И. Солженицын в переписке с Чуковскими	102
<i>Владимир Котельников (С.-Петербург).</i> Человек эпический — Александр Солженицын	107
<i>Тоёфуса Киносита (Япония).</i> Повествовательный стиль А.И. Солженицына и поэтика Достоевского	121
<i>Никита Струве (Франция).</i> Религиозное значение творчества Солженицына	131
<i>Андрей Немзер (Москва).</i> Диалог с русской классикой в «Августе Четырнадцатого»	137
<i>Адриано Делль'Аста (Италия).</i> Солженицын и возрождение художественной литературы в эпоху тоталитаризма	150
<i>Анджей де Лазари (Польша).</i> Как быть русским?	162
<i>Арвидас Юозайтис (Литва).</i> «Парадокс Солженицына» и литовское общество 60–80-х годов XX столетия	167
<i>Юрий Рокотян (С.-Петербург).</i> Петербургское общество друзей Солженицына	171

СЕССИЯ 2

<i>Madhavan K. Palat (India).</i> Solzhenitsyn: Historian of Decline and Prophet of Resurrection (<i>Мадхаван Палат (Индия).</i> А.И. Солженицын: видение русской истории)	177
<i>Владимир Лавров (Москва).</i> Февральская революция как национально-духовная катастрофа (А.И. Солженицын о сути того, что привело к Октябрю и ГУЛАГу)	208
<i>Edward E. Ericson (USA).</i> Worldview Criticism of Solzhenitsyn (<i>Эдвард Эриксон (США).</i> Мировоззренческая критика произведений А.И. Солженицына)	215
<i>Борис Любимов (Москва).</i> «Уплотненное время»: категория времени в произведениях А.И. Солженицына	221
<i>Dietrich Beyrau (BRD).</i> Solschenizyn über die Juden im sowjetischen Experiment (<i>Дитрих Байрау (ФРГ).</i> А.И. Солженицын и русско-еврейский вопрос)	226

<i>Владимир Радзишевский (Москва)</i> . Исторический контекст в романе «В круге первом»: наблюдения комментатора	243
<i>Жорж Нива (Франция)</i> . Сны в межузельях поэтики Солженицына	249
<i>Майкл Николсон (Великобритания)</i> . «Да где ж ты была, Дороженька?» Жанровые поиски Солженицына в 40–50-е годы	256

СЕССИЯ 3

<i>Ирина Роднянская (Москва)</i> . Ленин: художественно-исторический портрет за гранью идеологий	265
<i>Ричард Темпест (США)</i> . Солженицын — писатель XXI века	277
<i>Анатолий Разумов (С.-Петербург)</i> . Опыт работы над Именным указателем к «Архипелагу ГУЛАГ»	292
<i>Михаил Голубков (Москва)</i> . Солженицын в школе	299
<i>Прот. Борис Пивоваров (Новосибирск)</i> . А.И. Солженицын в школе: обновление концепции преподавания родной истории и литературы	305
<i>Людмила Герасимова (Саратов)</i> . Проблемы восприятия творчества А.И. Солженицына студентами-гуманитариями и воспитанниками Православной Духовной семинарии	309
<i>Павел Спиваковский (Москва)</i> . Проблемы преподавания произведений А.И. Солженицына в начале XXI века	317
<i>Олег Алейников (Воронеж)</i> . Спецкурс о Солженицыне. Поиск ориентиров	321
<i>Нэлли Щедрина (Москва)</i> . Спецкурс: «Красное Колесо» А. Солженицына через призму русской исторической прозы второй половины XX века	329
<i>Александр Урманов (Благовещенск)</i> . «Красное Колесо»: проблемы изучения в вузе	334
<i>Наталья Солженицына (Москва)</i> . Литературное наследие А.И. Солженицына: задачи ближние и дальние	342

ПРИСЛАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

<i>Михаил Кураев (С.-Петербург)</i> . Солженицын и мы	348
<i>Рената Гальцева (Москва)</i> . Солженицын: пророческое величие	359
<i>Александр Урманов (Благовещенск)</i> . Отражение глобальных лексических процессов революционной эпохи в эпосе «Красное Колесо»	379
<i>Светлана Шешунова (Дубна)</i> . Творчество А.И. Солженицына и проблема топонимической реставрации	400
<i>Петр Глушковский (Польша)</i> . Польша и поляки в творчестве А.И. Солженицына	409
<i>Сергей Гродзенский (Москва)</i> . Александр Исаевич Солженицын: каким я его помню	420
<i>Алексей Шепель (С.-Петербург)</i> . Мемуары Г.И. Шавельского как один из источников романа А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого»	432

Мунира Уразова (Москва). А.И. Солженицын и его Литературное представительство 442

ГОДОВЩИНА ПАМЯТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Выступления: Н.Д. Солженицына, В.А. Успенский, А.Г. Битов, Л.И. Сараскина, Е.А. Евтушенко, о. Борис Михайлов, В.В. Штейн, В.А. Москвин, М.М. Уразова, Э.Е. Островская, Е.А. Ополовникова, Т.В. Есина, С.В. Мирошниченко, Н.М. Щедрина, М.А. Якубов, Е.В. Миронов, о. Николай Чернышев, Е.А. Солженицын, А.Г. Филиппенко 457

Путь Солженицына в контексте Большого Времени: Сборник
П 904 памяти: 1918–2008 / Сост., подгот. текста и общ. ред. Л.И. Сараскиной. М.: Русский путь, 2009. — 480 с.

ISBN 978-5-85887-319-8

Сборник составили наиболее значимые материалы о событиях культуры и литературы, проходивших в Москве в связи с 90-летием А.И. Солженицына и в память о нем. Книгу открывает стенографическое изложение круглого стола «XX век в творчестве А.И. Солженицына», который состоялся в рамках сентябрьской XXI Московской международной книжной выставки-ярмарки 2008 года, где с анализом творческого наследия Солженицына и его значения для современности выступили московские писатели, критики, филологи-литературоведы, представители Русской православной церкви.

Центральный раздел сборника посвящен Международной научной конференции «Путь А.И. Солженицына в контексте Большого Времени», прошедшей в Москве в декабре 2008 года. В докладах исследователей из России, США, Японии, Франции, Италии, Польши, Литвы, Индии, Румынии, Германии, Великобритании рассматриваются новые аспекты биографии, гражданская позиция и историческая мысль А.И. Солженицына, художественные эксперименты и связь его творчества с традициями русской классической литературы, ближние и дальние задачи изучения литературного наследия. Последний раздел книги содержит стенограмму выступлений, прозвучавших в годовщину кончины писателя, 3 августа 2009 года, в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.

УДК 929
ББК 83.3(2Рос)6

ПУТЬ СОЛЖЕНИЦЫНА В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОГО ВРЕМЕНИ

СБОРНИК ПАМЯТИ
1918–2008

Верстка *П.А. Сандомирский*
Корректор *О.А. Савичева*

Подписано в печать 09.11.2009
Формат 70х108/16. Тираж 2000 экз.

ЗАО «Издательство «Русский путь»
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт книжного магазина: www.kmrgz.ru

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50-лет Октября, 46